А.М. РЕМИЗОВ

СОЧИНЕНИЯ



А. М. Ремизов. Париж
Конец 1920 — начало 1930-х гг.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2002

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**

Подготовка текста «Учителя музыки», статья, комментарии, Словарь русифицированных французских слов **Антонеллы д'Амелия**

Подготовка текста «Воровского самоучителя», комментарии **А. М. Грачевой**

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Ответственный редактор тома **А. М. Грачева**

Оформление **Г. Л. Шацкого, Е. В. Полякова**

Ремизов А. М.

Р 38 Собрание сочинений. Т. 9. Учитель музыки: Каторжная идиллия. — М.: Русская книга, 2002. — 512 с., 1 л. портр.

В 9-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова входит одно из последних значительных произведений эмигрантского периода творчества писателя — «стоглавая повесть», «каторжная идиллия» «Учитель музыки». Это очередной жанровый эксперимент Ремизова. Используя необычную форму, он развертывает перед читателем панораму жизни русского Парижа 1920—1930-х гг. В книге даны яркие портреты представителей духовной элиты эмиграции первой волны (Н. Бердяева, Льва Шестова, И. Ильина, П. Сувчинского и др.), гротесково представлены перипетии литературных полемик известных периодических изданий Русского зарубежья. Описания реальной жизни автора и его окружения перемежаются изображением мира легенд и сказок.

Книга «Учитель музыки» впервые публикуется в России по наборной рукописи парижского архива Ремизова.

ISBN 5-268-00497-2 **УДК 882**
ISBN 5-268-00482-X **ББК 84Р**

Учитель музыки

Каторжная идиллия

«Учитель музыки» — идиллия. Начал о здравии, кончил за упокой. Незаметно перешла в «каторжную идиллию» с припевом «пропад».

Затеи Корнетова — учитель музыки с камертоном, без инструмента — петербургские канун Революции 1917 г.: Сочельник и Летопроводец 1 сентября, по-старинному новый год и «Парижское воскресенье» 1924—1939 — 15 лет по смерти Барреса до войны.

Событиями бедно, все мелочи жизни, жаловаться на скуку никогда не приходилось, но мне со стороны, дочитав до конца, показалось одним и тем же серым однообразно без блеска — без улыбки.

«Учитель музыки» — моя бытовая автобиография.

1.III—1949

Часть первая

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СВЯТКИ И ЛЕТОПРОВОДЕЦ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Легенда[1] о Александре Александровиче Корнетове складывается не с Берлина и Парижа, а с Петербурга. Да и немыслимо: Корнетов роду московского и прозвище, данное ему приятелями, «глаголица» есть имя древнего славянского алфавита, загадочного происхождения, а вида фигурного, а кроме того — имя человека, наделенного даром «сказывать», непереводимое никаким словом на иностранные языки, обличает в нем человека по уши вросшего в русскую землю.

Петербургская легенда о Корнетове начинается после 1905 года святочными крещенскими вечерами, — которые обрываются в канун Революции. Этот дореволюционный легендарный период жизни, закончившийся войной, Корнетов не любит вспоминать:

«Воздух был тяжелый и полный грозовых предчувствий, а лучше уж гроза, когда или выжил или пропал, нет, если бы мне предложили снова жить и поставили бы условием повторение этих годов, я не согласен!»

Из революции, героический период которой прожил Корнетов в Петербурге, по моим наблюдениям, вынес он свое поваренное искусство и окончательную запуганность жизнью. В житейских затруднениях и постоянных житейских ошибках Корнетов говорил не раз:

«Как бы я был рад, если бы объявили меня невменяемым и развязали мне руки от всяких контрактов, одно горе — некому!»

---

[1] В публикуемой книге «Учитель музыки» сохранены авторские особенности орфографии и пунктуации, иногда различающиеся в разных разделах произведения (например: Ничше — Ницше: Э. Т. А. Гоффманн — Э. Т. А. Гофман; Рожество — Рождество и т. д).

И правда, никому никакой пользы от этого не было бы.

И вот имея в руках карт-дидантитэ и чувствуя себя в Париже «вольным» человеком, Корнетов обречен был на трудную жизнь, защищенный одним только страхом: боязнь его всеобъемлющая — от автомобиля до консьержек...

Глава первая
ТЫСЯЧА СЪЕДЕННЫХ КОТЛЕТ

1. ЛИЧНОСТЬ

Александр Александрович Корнетов, учитель музыки и никакой музыкант, единственный на всем земном шаре писал письма и всякие дружеские послания «глаголицей». И это была его гордость, этим он хвастал и в этом чувствовал свое право быть на земле среди миллиона подобных и неподобных единственный и — сам-по-себе — Александр Александрович Корнетов.

«Глаголица», вытесненная «кириллицей», мертвая грамота, и никто толком не знает, откуда она, и кто ее на свет пустил. А от всей премудрости уцелело наперечет несколько ветхих памятников, над которыми и трудятся ученые, умудренные не только в нашей прародительской грамоте, но и в самой эфиопской и кельтской.

Не «ученый», нет у Корнетова ни ученых трудов, ни орленого золотого значка Археологического Института, но и без всяких отличий, как ловко, как бережно, затейливо выводит он крючки и ставит крестики, впору тому же ученому и книжному справщику. Уж такой дар отпущен ему от рождения к вещам темным, на мудреное дело.

Приятели и знакомые в шутку звали Корнетова «глаголицей».

Была тоже страсть у Корнетова и навык к пустякам и мелочи: собирал он от свертков палочки — к сверткам прицепляются, чтобы удобнее нести было. Всякий раз, возвращаясь домой с покупкою, Корнетов, старательно и терпеливо развязав узелки, веревку отдает Ивановне на кухню, а палочки себе спрячет в коробку. Когда же коробка наполнялась доверху, нанизывает он эти палочки все вместе на одну веревку, и выходила погремушка.

И в сущности из ничего, из вещей совсем неподходящих составленная — «Братья Елисеевы», «О. Гурмэ», «Жорж Борман», «А. И. Абрикосов С-ья» и других петербургских кондитерских, фруктовых и гастрономических с Невского, Садовой, Суворовского, а так заправски гремела корнетовская погремушка, словно бы не на Кавалергардской, а где-нибудь у Троицы-Сергия в посаде сделанная игрушечником.

Приятели и знакомые, навещая Корнетова, в гостях у него не скучали: живо что-нибудь такое придумает, из ничего погремушку сделает — зевнуть не даст.

Корнетов, службой никакой не занятый, и все-таки минуты ему нет свободной, минуты не мог усидеть без дела, все что-нибудь да кропает, все суетится — и так в занятиях с утра до ночи. И дела, одолевавшие его, такие — тут и зоркость и внимательность, а главное, и прежде всего, терпение — дела кропотливые, ну, те же узелки с палочками, та же мертвая грамота-глаголица, да мало ли еще что: при смертельной-то охоте найдешь всегда, чем заняться.

Корнетов одинокий человек. И нет тут ничего мудреного. Нет, ты попробуй, избудь жизнь об-бок с такою занятостью, с палочками, с глаголицей, с суетой и торопливостью — за три моря уйдешь, не оглянешься!

«Маниак, — говорили про Корнетова, — вконец замучает!»

А другие не без добродушия подсмеивались:

«Глаголица!»

Была тоже страсть у Корнетова к именам: подбирал он людей себе и не каких-нибудь, а особенных — «вышних», прообраз будущих «нарицательных», когда из простых людей будет создавать он мифических — свое высокое окружение.

Одну зиму завсегдатаем у Корнетова был Соломон, самый обыкновенный, таких тысяча, но Корнетов так его всем представлял и так смотрел на него и слушал, словно был этот Соломон Леонтьевич сам царь Соломон, мудрейший из царей. Ходил еще к Корнетову Алей, ну так простой человек — «князь», но Корнетов так его всем представлял и так смотрел на него и слушал, словно был этот тихий Алей сам Шиг-Алей, царь казанский. Приютил

у себя Корнетов бродячего человека: Пауль Рюкерт из Митавы — и носился с ним, чуть не пальцем каждому показывал: «вот он, мол, вам какой, Па́уль Рюкерт, немецкий поэт!»

Приискал Соломон себе дело, и уж ни ногой к Корнетову; определился и Алей на какую-то должность, и уж с огнем его не сыщешь; уехал Пауль Рюкерт к себе в Митаву, и поминай, как звали. И нет ничего тут неожиданного: что им до Корнетова, затянул он их к себе на Кавалергардскую, когда без дела они ходили и притом не простые, а именные — «вышние»! А ведь они совсем простые — и Соломон и Алей и Рюкерт. А простому человеку трудно сладиться — все как-то и непонятно и чудно, чтобы только, например, не вовремя нарочно спать валиться, чтобы только сны видеть, и постараться запомнить, и все потом рассказать Корнетову.

Невзначай приходящие не раз заставали какого-нибудь «именного» посетителя, распростертого на диване, а Корнетов на цыпочках ходит; а уложил его Корнетов с специальным заданием: увидеть сон. И представьте себе: и заснуть-то нарочно нелегко, а заснул, проснешься — или ничего не приснилось, или все забыл! Да и корнетовская погремушка в ушах звенит, — тут отбежишь и не на три, а на тридцать три поприща, как бес от угодника.

Жил Корнетов на Кавалергардской. Квартира на высотах — три комнаты с ванною. Что ни комната, то свое название: рабочая — нечто неподобное в семь углов — «избушка ледяная», тут Корнетов проводил за делами свои дневные часы; затем большая комната — «палаты пировые брусяные», а из них ход в самую маленькую — в «логовище»; ванная звалась «купельницей»; кухня, где вечерами штопала чулки Ивановна — «куховар», а под праздники Корнетов сухари толок — «поварня». Гости располагались в «палатках» или толклись в «ледяной», где такая стояла жара, ну, как банная: и от тесноты — повернуться негде! — и от жаркого парового отопления. В «логовище» Корнетов гостей не пускал, «купель» же всем показывал, а через «поварню» по нужде водил.

Народу — гостей толчея, шли к Корнетову и званые и незваные. Сам Корнетов особенный: не кинет слова наобум и корысти не ждет, тоненький, ну словно «курил-

ка»; и одет по-своему: чулки васильковые, маковый галстук и на плечах неизменно вишневый теплый платок — посиди-ка день-деньской в «ледяной избушке», не лиса, с ног простынешь!

У Корнетова все было особенное: купит он вишневку у Елисеева, сдерет ярлык с бутылки и уж готова своя домашняя «варенуха»; гости пьют и удивляются:

«Экая, ведь, варенуха, так и тянется, горчит косточкой, правильно: домашняя!»

Примется Корнетов папиросами потчевать, откроет красную коробку со стеклянной крышкой, и чего только не наскажет и уж так выхваливает — дешевые, с дымком, превращаются в желтые крепкие «пушки»: которые папиросы сам Шапшал курит; гости курят да похваливают:

«И вправду, только Шапшалу и курить такие!»

Как-то на Рожество захворал Корнетов. Покупку не развертывал: не до еды было. Забредшие на третий день два приятеля тронувшегося поросенка съели, да как еще съели, все косточки обглодали и мозг высосали: корнетовская похвала и сам тлетворный дух отшибала!

Что говорить, приманчив: умел Корнетов и время занять, умел и душу ублажить.

Два больших сборища бывало в году у Корнетова. Одни сборы собирались в день Симеона-Летопроводца 1-го сентября, когда по русскому исстаринному обычаю справлял Корнетов «кудесовы» поминки — хоронил трех зверей самых лютых: муху, блоху, комара — веруя, что впредь донимать его не будут, а все подберутся и тихонько уйдут через стенку к соседу. Другие сборы бывали на Святках, на пятый день Рожества, в день 14 000 младенцев, от Ирода царя в Вифлиеме избиенных.

И кого только ни набиралось на Кавалергардскую провести на высотах у Корнетова вечер, кого тебе надо, изволь: и старики-моховики и молодежь желторотые, и тихие и крикуны, и спорщики, и ссоршики, и наустители, писатели, художники, музыканты, актеры, ученые и философы.

Карт не полагалось, одни разговоры. И во всем, во всех разговорных словах коноводил сам неутомимый глагольник Александр Александрович Корнетов.

2. САМОЕ СТРАШНОЕ

Повести вечериночный крещенский разговор надо толково. На Святках так и подмывает рассказать что-нибудь страшное. А как начнешь перебирать в памяти страхи свои и всякие, то, в конце концов, непременно и окажется, что есть где-то еще более страшное — еще большая безвыходность и все твои страхи не страшны.

Или уж нет ничего страшного, а все сплошь одна загадка?

Разговор не ладился. Гостей занимала Корнетовская домашняя варенуха, да селедка из особенных — «королевская», над которой трудился Корнетов чуть ли не с самого сочельника, вымачивая в уксусе с горчицей, перцем и прованским маслом.

Первым попробовал рассказать о страшном заслуженный актер Рокотов — но случай оказался целиком взятый из пьесы, а пьесу весь Петербург видел. За Рокотовым выступил скоропоспешный журналист Смелков и совсем беззаботно, нажигом, передал напечатанное в вечерней газете происшествие — загадочный случай; и было ни на что не похоже: газету все читали.

— Вина горячие, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый! — не унывая, потчевал хозяин и, желая поправить неловкость, обнес гостей маковниками.

Маковники не удались: маковники вышли жесткие и горькие. Но Корнетов и тут нашелся: он уверял, что надо войти во вкус — «мак первого сбора, а потому все так крепко и горько!»

В озарении ли от маковников «первого сбора» или по привычке говорить вообще, зоолог Копылов, получивший название «зоолога» за свое необыкновенное пристрастие к аквариуму, припомнил «страшный» случай из своего детства: за какую-то шалость заперли его вечером одного в комнате, о которой взрослые только что наговорили всяких страхов.

— Втолкнули меня в комнату, — рассказывал зоолог, — комната в мезонине, повернули ключ и все вниз ушли. Темнь, одна лампадка в углу мигает и что-то шумит, плывет в темноте. Зажмуриться боюсь: знаю, как только открою глаза, так сейчас и увижу. И смотреть страшно: чувствую, вот сейчас оно и появится...

— А со мной такое было, — трудясь над неподдающимся крепким маковником, заговорил профессор-византолог, ума гордостного и лукавого, — собрались мы как-то летом на богомолье, недалеко от Москвы, в Косино. Ночью шли по дороге, а к утру на железнодорожные пути свернули: торопились поспеть к заутрене. И вот под мостом нагоняет нас поезд и так незаметно подкрался, никто его и не слышал, вдруг увидали. Да уж поздно. Я — в канаву, дворник — в канаву, нянька — в канаву, а сестра няньки, богаделка, со страха как влипнет в стену... И прошел поезд, вылез я из канавы, вылез и дворник, вылезла и нянька, а она все висит, не отлипает. Насилу оттащили. Ну, как летучая мышь, так вот и влипла...

Маковник влип в зубы, профессор, забывшись, задумал расправиться с ним круто — откусить кусочек, а хряпнул — и сломал себе передний вставной зуб, да с перепугу и проглотил.

Вот незадача! Гости бросились к профессору выколачивать зуб, чтобы выскочил: инженер Дымов, искусный в разорении домов, и знаменитый певец Труханов, лишенный всякого голоса и все-таки певший, не жалея горла, по упорному настоянию Корнетова, больше всех отличились — и профессорский зуб благополучно выскочил.

— А у нас сейчас швейцара в сумасшедший дом свезли, случай необыкновенный! — сказал стрепетный полковник с колючими шпорами, небезызвестный доктор Абраменко, — наш Таврический швейцар Наум вы знаете, не лицо — один волос, кулачищи — ломовой извозчик, своего жильца норовит в дом не пустить, не только постороннего, всех наводит на страх. Приехал с визитом к генералу Куропаткину эмир бухарский. Поднял Наум эмира на лифте к генералу и всю его бухарскую свиту; а на другой день вызывают Наума через полицию в участок. Удостоверили личность, дали бумагу подписать, да в кабинет, к приставу. «Вот, говорит пристав, тебе, Наум, дар от эмира, халат бухарский, получай для ношения!» Принял Наум жалованный халат и оробел. И пока еще из участка до дому — ничего, а как пришел домой, забился в свою швейцарскую, развернул халат да как глянул, и уж от страха ничего в толк не возьмет и все из рук валится. Надеть халат, носить его вместо ливреи — страшно: а ну как и чалму дадут и обратишься в их веру, а в их вере

и места лишишься. И не носить халат, спрятать в сундук — страшно: взыщут! — в сундуке лежать такому халату не полагается, сказано: жалованный для ношения. Переделать халат жене на платье — и опять страшно: приедет эмир к генералу, увидит Наума, спросит о халате: «Где, скажет, халат? Покажи халат!» Неправду сказать, сослаться, что потерял или в печке сгорело, все равно донесет сыщик, и по их законам голову тебе усекнут. Правду сказать, и от правды не легче, опять же голову долой. Отказаться совсем от халата — не имеешь права, да и поздно: и бумага подписана, и халат на руках. Запутался Наум, все концы потерял, и все халат на уме — желтый, узорчатый, цветами, и уж везде один он бухарский, жалованный, треплется, и по улице льнет. Думал, думал Наум, с ума и спятил.

— Мне вспоминается случай на Таврической же, — сказал сосед Корнетова писатель Иван Козлок, — мы только что переехали на новую квартиру в дом Хренова. Дом еще не совсем был кончен и с отоплением и трубами продолжались работы. К нам пришел Чуковский. Сидели с ним, чай пили. Разговор самый мирный: помню, я читал из моей повести «Гвадалквивир». И вдруг из стены — из крохотной дверцы, незаклеенной обоями, выполз — очень уж узко отверстие! — огромный человек, не то маляр, не то печник, и не обращая на нас никакого внимания, прошел через комнату и скрылся за дверью. Я сообразил сразу, хоть это было и для меня неожиданно, но для Чуковского осталось: среди бела дня вылез человек из стены, прошел через комнату и пропал. Я помню его лицо — исступленное, точно в чем-то его уличили и надо ответить, а ответить и не знаешь что, слов таких нет. И еще случай, тоже на Таврической. Повадилась к нам ходить одна барышня. Ничего она — дурного ничего не скажешь, только очень разговорчивая и ужасно восторженная: конечно, разговор про любовь. И это бы не беда, но главное такую взяла повадку: непременно ночевать. А комнаты у нас маленькие, и по ночам я обыкновенно долго сидел занимался, и уж тут всякий посторонний для меня помеха. И не то, что ей негде ночевать, у нее своя была квартира и хорошая, нет, это такая повадка. И вот я как-то за чаем, когда подошло время — или ей идти домой или оставаться ночевать — и говорю: «Бог знает,

что у нас творится по ночам». — «Что такое?» — «А видите, — говорю, — тот вон отдушник-вентилятор, и из этого отдушника ночью вываливаются колбаски — одна за другой». И должно быть, я сказал с такой верой в эти таинственные колбаски, вижу, барышня-то как застыла: поверила! Как тогда маляр или печник, внезапно вышедший из стены, был для Чуковского необъяснимым страхом, так для этой барышни вываливающиеся из отдушины колбаски, которых она не видела, но кто знает: останешься ночевать и увидишь. «Вываливается колбаска за колбаской!» — повторил я. (Я тогда сказку про «мышку-морщинку» писал и там как раз в Забругальском замке мышка эти самые колбаски видит.) Барышня заторопилась домой. И больше никогда не ночевала у нас: посидит, расскажет за чаем какую-нибудь любовную историю и вовремя домой. И еще: но это из далеких времен, московское. Я не знаю, отчего так, а еще с детства находило на меня — «так ничего, смирный, — говорили про меня, — все за книгой, и вдруг ни с того ни с сего какие-то безобразия!» И немало было от этого хлопот другим, да и мне попадало. Одно время, помню, — я был тогда «естественником» на первом курсе — прислуга у нас постоянно менялась из-за «страхов». Купил я себе за 15 рублей скелет, не составленный — отдельные кости, чтобы дома изучить все позвонки с отростками и бугорками. А жил я наверху и вот поздно вечером, как идти вниз чай пить, лампу я не гасил — керосиновая с голубым абажуром — и возьму другой раз да на кровать к себе (кровать за печкой укромно), возьму на подушку положу череп и все такое сделаю и полотенцем и одеялом, как человек лежит. А сам вниз и что-нибудь выдумаю, будто забыл наверху, и к прислуге: прошу — «принесите, пожалуйста, у меня на столе осталось!» А подойти к столу — кровати не минуешь. Ну, та, ничего не подозревая, и пойдет. И, представьте себе, входит: а на кровати-то лежит — — и свет такой от лампы. Как сумасшедшая, кубарем слетала вниз, — куда уж там на столе искать! — забыв, зачем и пошла. И этот страх будет пострашнее вылезшего из стены среди бела дня маляра или печника и вываливающихся по ночам из отдушника колбасок — — или это только потом так рассуждаешь, а сам «страх» — нет ни больше, ни меньше, а есть одно — «страшно».

— А я под сочельник черта видел, — сказал Корнетов, — и не то, что видел, этими глазами не увидишь, а почувствовал всю его злую силу и так ощутительно, словно бы за хвост его дернул или до шаршавой его лапы дотронулся. Вздумал я перед праздником ванну принять. Дома никого. Ивановна к Смольному в баню пошла. Пустой дом. Сижу я в ванне, намылил пиксафоном голову и чего-то задумался, и чувствую, что где-то тут, в ванной, появился он, и так почувствовал, что не успел сказать себе: «черт» — слышу, кто-то закурлыкал. Насторожился я — курлычет! И стало мне очень тоскливо, безнадежно, и я как-то понял, что мне все равно, что бы там ни делалось, что бы ни случилось, все безразлично, а на сердце дымно, чадно, отчаянно. Он тут в ванной со мною, и не весь, а просунулась в ванну какая-нибудь одна квадриллионная его частица, какой-нибудь отросток его самый негодный, червовидный, а все остальное, головища, лапы, туловище — там, на воле, над Петербургом, над всей Россией, и оттого везде такая безлепица, нескладица, бестолочь, бесстыдство — все равно, безразлично, безнадежно. Сижу я так, мыла не смываю, задумался, а он все курлычет — —

И Корнетов закурлыкал. И все «пировые брусяные палаты» ответили громким смехом. И даже прокурор Жижин, в жизнь не смеявшийся, мертвецки ощерился, вроде как засмеялся; а придворный музыкант Кирюшин в своем малиновом кафтане, с медалями, весь затрясся, малиновый, как кафтан, а за ним инженер Дымов и журналист Смелков и правовед Сухов, прозванный кавалергардом, и моряк с кортиком Мукалов, и актер Рокотов, и певец Труханов и бритый адвокат во фраке Багров и весь сонм необнаружившихся, пока безымянных, помирали со смеху. Стрепетный Абраменко, вздурясь, колол колючими шпорами зоолога Копылова, профессор-византолог, оправившись от зуба, без зуба не разевая рта, подхихикивал.

— Да, то ли еще будет... столпотворение будет! — Корнетов, указуя перстом по-халдейски, чудил, — потихоньку да полегоньку все мы съежимся — так, и на бок — так, без языка — так, с глупеньким смешком. И уж будет совсем неважно, безразлично, когда придет тот же псоголовый Индиан, ступит на Красную площадь и

тихо займет Кремль, а у нас, в Петербурге, поволокут Петра куда-нибудь в Мурзинку и вылетит последний русский дух!

Нет, хоть бы дух перевести, сам царь Валтасар Халдейский ничего б не расслышал — ничего б не расслышал — ни про какого Индиана, впустую шла корнетовская глаголица. «Ванный черт» вызвал смех, смех возбудил позыв на корм — и пошла в ход варенуха, королевская селедка, вина горячие и меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый и все, что около и за, заготовленное Корнетовым.

— В ту ночь и сон мне приснился особенный, — не унимался Корнетов, настраиваясь на крещенский лад, — снилось мне, будто я вроде как на вокзале — огромное здание со стеклянной крышей. И не знаю, для чего такое здание, одно знаю, что это-то и есть мир, весь мир. А сложено оно из коробок, из всяких плетушек, и много лестниц во все концы, со всех концов, — и деревянные и бревенчатые и из веревок и просто из паутины, прозрачные. Народу — не проберешься: и дети и женщины и старики и молодые. И все такие несчастные, измученные, и все только и делают, что прячутся. Этим только и заняты: одни заворачиваются в тряпки, другие в стружки, третьи заставляются каменными людьми — каменные такие полуживые стоят истуканы. Но как ни прячутся, как ни хоронятся, а схорониться не могут, их видно — а видны они эфиопу и эфиопке. Эфиоп — тощий-претощий и длинный, сухой, а эфиопка — паучиха, короткие ноги. Над всем и везде — они прытко белкой бегают по лестницам и всех и все видят; только они умеют так легко и ловко бегать с лестницы на лестницу, перебегать и спускаться из конца в конец, сверху вниз. И этого никто не может, а которые идут — с трудом подымаются, считают ступеньки. И я вижу, как по горизонту мечутся люди и никуда убежать не могут: их и там видно — их видит эфиоп с эфиопкой. Тут я не помню, что-то говорилось — ничего мне не в память, только вдруг откуда-то свет и страшно блестящие с синевою пушки...

— Очень жизненно! — крякнул стрепетный Абраменко с колючими шпорами.

— По моему положению я в сны не верю, — сказал прокурор, — но должен признаться, сон ваш — сама жизнь.

— Жизнь? — подцепил Багров, — что такое жизнь? — тысяча съеденных котлет...

И, как камень о камень, снова смех: багровые котлеты пришлись по сердцу: «тысяча съеденных котлет»! — посыпались невские анекдоты.

Тут догадливый хозяин, чтобы не порвалось дело, выскочил на кухню к Ивановне. И уж скоро вернулся и не один, а с Ивановной: Ивановна расскажет святочное — крещенское, чего все забоятся: лапландскую сказку.

* * *

Ивановна смерти не боится и пожара не боится, и темноты не боится, Ивановна «второго пришествия» боится — громогласной трубы архангельской, колдунов и лешего. Лешего Ивановна не раз видела и очень хорошо упомнила: «мужик большой, глаза светлые, и ребята у него есть, ребята черные, худые». Ивановна дальняя — отъезжица из Лапландии от Студеного моря. Там она прожила всю жизнь, там и быть бы ей до своего смертного конца, но судьба выбила ее из родной земли вон — в Петербург. Неграмотна, один «твердый знак» знает, а много чего видела и слышала.

Уехали родители в Колу. Осталась она одна дом караулить. Сидит у окна, шьет. Погасал ясный вечер. И вдруг две барышни прилетели, будто на крыльях, в черном: черные шляпы, черные ленты. Стали у окна — говорят:

«Мы шли-шли —
по пути избушка,
в той избушке маленькая подружка,
очень маленькая!»

И качают головой — черные шляпы, черные ленты. Которая постарше, у той ключи в кармане, брякает ключами:

«Отдать этой ключи?» — показывает на Ивановну. «Нет, — говорит младшая, — рано ей еще: не может она владеть нашими ключами».

А Ивановна и спрашивает:

«Барышни колец не носят, а у вас много колец на руках?»

«Мы эти кольца раздаем: кому два, кому три, кому пять!» — и качают головой.

Еще много чего насказали они Ивановне и на прощанье дали ломаное кольцо.

— В худых душах лежала, черная, как уголь, а сказать боюсь: «Смотри до трех лет не сказывай!» запретили мне барышни.

И все сбылось. Вышла Ивановна замуж, были у нее дети. И муж и дети померли. В Петербург попала. И не вернуться ей к Студеному морю, не обменять ломаного кольца на крепкое литое — не выменять горькую долю на счастливую.

3. НОЙДА

Не было и нет на земле страшнее нойдов — лапландские колдуны. Много их было да и теперь не перевелись у Студеного моря, где живет кит-рыба, мать рыбам. Нечеловеческими чарами владели нойды: орлы доносили им чужие речи, рыбы приходили на их зов и на рыбах переносились они с земли в царство мертвых, вызовут мертвеца на землю — узнают от него тайны, они угадывали, что делается в далеких чужих странах, предскажут будущее — царю Ивану Грозному нарекли Кириллин день! — помогали и вредили человеку — привораживали, напустят болезнь, наведут порчу и мертвый сон, насылали и смерть, переносились на облаках, подымут ветер, грозу и бурю, их можно было убить до смерти, но они знали, как воскресить себя, и опять подымались, как ни в чем не бывало.

Нойда, умирая, благословлял своим колдовством. Если же не находил способного или не успевал передать свою тайну, его дух не успокаивался — и по смерти бродил он по земле с колдовскими ключами.

Там, у Студеного моря, где лелеется лунный олений мох волнистый — примени к волнующемуся морю! — там, где летней порой стоит день и ночь незакатное солнце червонное — примени к червонному золоту! — а в зимнюю темь и ночью и днем — звезды; там, где в звездном сиянии, как ударит мороз, и сполохи — души убиенных — подымут резню на небе: кровь их студеная — примени к студеному морю! — алой волной лелеется, и от звезды

до звезды дыблет нож; там, где по звездному небу сполохи алым окатным жемчугом убирают самоцветные солнца, по белой дремучей пустыни среди живых бродят неуспокоенные чародейные духи. Страшны нойды при жизни, еще страшней после смерти; мертвец может больше живого!

Жил в Нотозере большой нойда — Ризь. И умер. Положили его в гроб, а везти хоронить боятся. Был Ризь страшен живой, а мертвый еще страшнее! Вызвался смельчак, запряг оленей и повез мертвеца. С вечера выехал — не ближний конец — думал к утру на месте быть. Едет он вечер, и стала ночь. Бойко бегут олени — споро дорога идет. К полночи чего-то испугались олени. Посмотрел возница — и туда и сюда — нет никого. Оглянулся — а мертвец сидит.

«Коли помер, лежи!» — крикнул на мертвеца.

Послушал мертвец, лег. Поехали дальше. Глухая ночь. И опять испугались олени: мертвый сидел в гробу. Тогда выскочил из саней возница, выхватил из-за пояса нож:

«Ложись! — кричит. — Коли не ляжешь, зарежу!»

А мертвец зубы оскалил — и стали зубы, как нож. (Покажи мертвецу палку, и стали бы зубы деревянные!) Спохватился возница, да поздно. А мертвец все-таки лег. Поехали дальше. Катит глухое время — стынет немая полночь. Дважды сошла беда, в третий раз не минует: встанет мертвец, загрызет! Соскочил возница, выпряг оленей, а сам на ель — до самой верхушки. А ждать не пришлось, встал мертвец — и к ели. Острые, как нож, железные чернели зубы — скрипел зубами, а руки его крестом на груди, как в гробу. Обошел он вокруг ели, пригнулся и грызет. Обгрыз ветви, за ствол принялся — он грыз, как россомаха! — летели щепки, падали ветви. И зашаталась ель — возница сам стал ветви ломать, бросал мертвецу. Мертвец подумал: падает ель! — и остановился. Не падала ель. И опять стал грызть. И не раз живой обманывал мертвеца: только б дотянуть до зари — с зарею мертвец ляжет в гроб! Возница запел петухом: прокукурекает, похрипит и опять кукореку. Встрепенулся мертвец, бросил ель: не заря ли? Нет, еще не зареет. И опять грызть, грыз, подгрызал под сердцевину. Дрожала ель — упадет: несдобровать! И обреченный сам стал спускаться на землю. Мертвец подумал: поддается! —

и перестал грызть. Острые, как нож, железные чернели зубы — скрипел зубами.

«Заря! — закричал возница. — Ложись в свой гроб!» Заря алела — алый жемчуг. Не разымая сложенных крестом рук, покорно лег мертвец в гроб. Спустился возница на землю, закрыл крышкою гроб, впряг оленей и пустил вовсю по алой дороге. Только к вечеру был он на месте, там вырыл могилу и набок опустил в нее гроб.

Семь лет боялись! Семь лет боялись громко слово сказать, боялись ходить мимо. А кто ходил, слышал — ой, как свистит там и воет, и галит! Был Ризь большой нойда.

Глава вторая
ОКАЗИОН

1. ЧЕРТОВА РЮМКА

В прошлые святки все мы по обычаю получили приглашение, и точно, в указанный час явились на Кавалергардскую. Но к нашему огорчению хозяина не оказалось дома, а Ивановна, не впуская никого в прихожую и держа дверь на цепочке, через цепочку всем и каждому одно толковала, что Александр Александрович только что вышел, а вернется неизвестно когда.

Не лучше случилось и нынче осенью на Семенин день. Опять мы получили приглашение и точно, в назначенный час явились к Корнетову и, впущенные на этот раз Ивановной в дом, битый час просидели в «палатах», дожидаясь хозяина.

По словам Ивановны, Корнетов, выходя из дому, гостей принимать велел, но когда вернется, ничего не сказал.

Стол был накрыт, и всего на нем, сластей всяких — и пряников, и слив висбаденских, и варенья, и меду, и пастилы, и фиников, и винной ягоды стояло довольно, и пряник лежал в полстола Ржевский — шесть фунтов полупряник, белый в узорах с миндалем, а дух фисташковый, и коробочка стояла, кленовым листком покрытая, с «лютыми зверями» — муха, блоха и комар — которых зверей хоронить, но хозяина и след простыл.

Все мы терялись в догадках и никак решить не могли, что бы такое все это значило, и как понять: пригласить гостей, а самому уйти.

Багров, из всех нас самый умудренный, жизнь для которого мерялась количеством съеденных котлет, уверял, что Корнетов никуда и не думал выходить, а преспокойно сидит тут же под диваном, а проделал все это нарочно, из любопытства посмотреть на «дураков».

И правда, более дурацкого положения не придумаешь! И то правда, за Корнетовым всякое водилось и ожидать от него всего можно.

Посидели, позевали и разошлись.

Кое-кто пробовал понаведаться на Кавалергардскую и притом в час неурочный, чтобы уж наверняка застать Корнетова дома, но толку никакого не вышло. С парадного Ивановна хоть через цепочку разговаривает, а с черного хода всю глотку надсадишь — разговор через глухую дверь и один ответ: «дома нет, а когда вернется, ничего не сказал».

С нетерпением ждали мы Святок — опять ли подшутит хозяин или по примеру прошлых лет позабавит крещенскими рассказами?

И наступило Рождество и все мы опять явились точно, в назначенный час на Кавалергардскую. Корнетов был больше, чем когда-либо, приветлив.

И вовсе тогда под диваном он не высиживался, да и диван-то у него такой, с ящиком, никак не подлезешь, а уж чтобы сидеть и совсем невозможно, нет, другая оказалась причина — находка! из-за которой не только гостей, а и все на свете забудешь. Гордость Корнетова — «глаголица», на которой, казалось ему, он единственный на всем земном шаре писал дружеские послания, эта «глаголица» оказалась не мертвой грамотой, и такое открытие привез археолог Баукин, с которым зимой встретился Корнетов и вечерами пропадал у него в разговорах: Баукин объехал Балканы и нашел в Далмации остров Крък, где и поныне не только богослужебные книги печатают, но и газета издается, и жители все пишут не иначе, как на глаголице.

— И разговаривают! — добавлял Корнетов, представляя нового гостя старым приятелям.

Целый год мы не видали Корнетова, а как будто и

году не проходило, все такой же. Поднес нам своей забористой домашней варенухи, и хоть все мы хорошо знали, что Елисеевская наливка и нисколько не домашняя, но пили и похваливали, как самую настоящую, настоянную на косточке и годами выдержанную — так убедить и глаза отвести мог только Корнетов.

За варенухой, пока гости чокались да к рюмке принюхивались, да на языке смаковали, успел Корнетов проскочить в свою «ледяную избушку» и вернулся не с пустыми руками — большущую граненую рюмку бережно нес.

С рюмки и начался вечеровый разговор.

— Видите вы эту рюмку?

— Видим, — ответили мы разом и потянулись к рюмке поближе.

— Что же вы на ней видите? — Корнетов поставил рюмку на блюдце, блюдце на белый шестифунтовый ржевский полупряник, чтобы как следует всем было видно.

— Отпечатки вдавленных пальцев, — сказал прокурор Жижин, привыкший разбираться в криминальных подробностях, скрытых от простых житейских глаз.

— Отпечатки вдавленных пальцев, совершенно верно, но скольких?

— Конечно, трех! — ответили мы разом: кто же не знает, что рюмку держат в трех пальцах!

— То-то и есть, что трех, но чьих?

И тут все мы прикусили язык: кто же мог знать, чьи пальцы и как узнаешь, чьи такие пальцы так явственно вдавлены были на рюмке?

— Черта, — сказал Корнетов, — самого черта, случай необыкновенный.

Рюмка с чертовыми пальцами досталась Корнетову из старинной заброшенной усадьбы Таракановых. Со всеми подробностями описал Корнетов усадьбу и все родословие Таракановых до последнего представителя, скитается нынче где-то в Москве на Хитровке. А когда-то в усадьбе шла жизнь и полно и богато и прохладно, и чудес водилось немало.

— В столовой стоял большой желтый буфет, в столовой обычно собиралась вся Таракановская семья, и черт, приставленный к Таракановскому роду, поселился в буфете. И пристрастился он, глядя на хозяев, к простяку-водке и скоро уж выпивал не меньше, а облюбовал себе эту самую

дедовскую рюмку. И вот однажды в грозу сидит себе черт в буфете, выпивает мирно рюмку за рюмкой, но после седьмой развезло его что ли и уж по природе своей, возьми да и сболтни что-то совсем неподходящее про божественное громовержение, и хоть про себя сказал черт, да там-то уж все слышно, и метнул Илья стрелу да прямо в буфет — и расшиб черта вдребезги и как раз в ту самую минуту, как поднес он к губам рюмку. А прошла гроза, раскрыли буфет, тут-то и заметили, что на дедовской рюмке эти вдавленки, а рядом на полке лежит большущая стрела.

Корнетов налил в чертову рюмку варенухи, сперва сам выпил, потом гостей обнес. Не без любопытства пили мы из чертовой рюмки, и как будто совсем ничего, варенуха на вкус такая же, так же сладко тянется, и разве что на самом донышке чуть погорчее — косточка, действия же другого не оказывала. И только профессор-византолог вдруг порозовел весь и такое понес — не-весть-что византийское — и так руками стал выделывать что-то, ей-Богу, бес вселился.

— Вина горячие токайские, меды разные, квас сладкий, квас черствый, квас выкислый, вишневка первачок! — потчевал хозяин, тихонько выпроваживая бесноватого в свою «ледяную избушку».

И пока гости занялись «токайскими», Корнетов уложил профессора на диван, а чтобы бес скорее выскочил, прикрыл его шкурами. Стал профессор из-под шкур высвистывать: «покойной ночи!» — и вернулся Корнетов в «палаты».

Гости повеселели. И стрепетный Абраменко с колючими шпорами и инженер Дымов и моряк Мукалов и зоолог Копылов и авиатор Соколов, летавший где-то за Уралом на собственном аэроплане, и актер Рокотов — все казались в большом ударе, и каждый готов был подобрать в памяти случай, не уступающий византийскому. Но хозяин ухватился за Баукина: Баукин, объездивший весь свет, должен был порассказать что-нибудь действительно чудесное, не зубоскал.

И Баукин, хоть с виду и очень свирепый, а так совсем ладный, даже не крякнув, прямо приступил к рассказу: парижский случай. —

2. АВТОМОБИЛЬ

Побывать за границей и не купить себе чего-нибудь из одежды: пальто там какое, смокинг или полосатую жилетку, — считалось по меньшей мере глупо. И на первый взгляд такое мнение, могу сказать, справедливо. Знал я одного, такой был у меня приятель Петр Прокопов из Петербургских «кошкодавов», поехал он за границу страсть и взглянуть в чем, а вернулся в Петербург, встречаю на Невском — жених! Да и не одного знал я такого, переделанного так за границей, а в срок самый кратчайший, — и все от дешевизны тамошней, а главное от вкуса. И скажу по всей по правде, эта мысль и у меня в голове вертела, ну, если не женихом, то уж во всяком случае так принарядиться, чтобы хоть и малую да пустить пыль в глаза.

«Главное дело, дешевка, а сделано с необыкновенным вкусом!»

Это общий голос бывалых, против которого не поспоришь — этот голос и меня напутствовал в мои дальние странствия по чужим краям.

Первое-то время, как приехал в Париж, было мне не до покупок: все смотрел я, на что все смотрели, и удивлялся, чему всякий своим долгом считает подивиться в Париже — всяким Венерам, Джиокондам, Мумиям. И хоть не все оно было так, как говорилось, да уж некогда разбирать, успевай только осматривать. А как обжился да огляделся и пришло время назад домой ехать, вспомнились и те напутственные советы:

«Главное дело, дешевка, а сделано с необыкновенным вкусом!»

Так в ушах долбит и долбит. И уж идешь по улице завидишь, манекены — за стеклом торчат изнаряженные и розовые и восковые! — и обязательно остановишься и цену высмотришь. И действительно, что-что, а дешево на удивление, а уж вкус... И в Большие магазины пошел я для этой же цели. И чем дольше смотрел да присматривался, тем все больше глаза разбегались, и уж остановиться ни на чем не могу — все бы купил! А всего-то покупать мне и не к чему: мне надо было летнее пальто.

Ранней весной я приехал в Париж в осеннем на ватине, а как наступила жара, на ватине-то и неудобно: без летнего, что говорить, нечего было и думать домой возвращаться.

Хотел я попробовать на свой страх — уж очень мне одно понравилось: так, ни на что не похожее, мешком. Да раздумался: еще думаю, выразиться не сумею толком и подсунут какой дамский сак да и сдерут втридорога!

И рассказываю знакомому — решил я на него положиться и воспользоваться его указаниями. А этот мой знакомый, Барладьян, замечательный человек: русский до кончика, а так замоторел на чужой земле и уж по-русски разучиваться стал и, если невзначай ругался, то обязательно по-французски, и, конечно, знал все не хуже настоящего парижанина! — вот ему-то и рассказываю и само собой о Больших магазинах.

— Большие магазины! — так и напустился Барладьян, — да в Больших магазинах только одни дураки покупают: для них и магазины эти открыты. Большие магазины! И дорого и дрянь, и покупать — только деньгами сорить.

И все это он знает по собственному опыту, на себе испытал и уж другу и недругу по Большим магазинам ходить закажет. Но зато может указать такой магазин и совсем небольшой, где просто даром дают — «оказион».

И адрес Оказиона для верности написал на своей карточке улицу и номер дома, и как идти: магазин неподалеку от Сен-Сюльписа, на узенькой поперечной улице, такой тесной, где дай Бог одному автомобилю проскочить, и только автобус бегает.

— Черт их не знает, откуда они там такие сокровища собирают! И вообразить себе трудно, какая дешевка, ниже цен нет на всем свете и не было. С покойников что ли доставляют им, черт их не знает!

— С каких покойников?

— Оказион.

И так зудел, так нахваливал Барладьян этот самый магазин и повторял на все лады и по-французски и по-нашему, бросил я ходить по Большим магазинам и на манекены больше не пялил глаза. Я твердо решил: отыщу ту самую улицу под Сен-Сюльписом, этот магазин Оказион и куплю пальто — без летнего нечего было и думать домой возвращаться.

И пошел. И удачно. Не очень плутал. Вот и дом. Ну все, как говорил и записал Барладьян.

И только одно меня смутило: действительно, в доме

оказался магазин, но никакой одежды не видно — на дверях, на стекле огромный желтый башмак нарисован, и, кроме этого башмака, ничего, ни подписи, ни названия. Заглянул в окно — темновато: крючки и обувь, а больше какие-то подозрительные туфли вроде купальных — а никаких смокингов, ни пальто, ни жилеток.

Думаю: на такой улице два одинаковых номера есть, ведь все возможно! И перешел на другую сторону. Прошел всю улицу. Но другого такого номера не оказалось. Стало быть, не ошибся. И опять вернулся к магазину.

Стою под дверью, смотрю на башмак, а войти спросить не решаюсь. Ведь ясно, башмак да вдобавок еще желтый большущий, чего же лезть пальто спрашивать? Постою — посмотрю, отойду немного и опять вернусь, и опять стою — смотрю.

«Да что же это, — думаю, — башмака я, что ли, испугался: войти спросить страшно?»

И собрал я всю, какая есть, решимость — чувствую, покраснел весь — и с пущим еще остервенением толкнул дверь.

— — —

— Как же, есть! И пальто. Сколько угодно.

Продавщица в черном — у них это везде: и в кафе и в магазинах, все в черном! — продавщица, как две капли лиса, словно обрадовалась чему, так вся и распустилась.

— Какое угодно пальто, все есть!

И повела меня куда-то наверх через самую тьму египетскую.

Кое-как добрался я до верху, до той комнаты, где и пальто и все есть. Чуть посветлее стало. И сейчас же мне продавщица все показывает: и одно тащит и другое тянет и третье выкладывает, только смотри, только выбирай — и фраки и смокинги и жилетки.

А вот брюки, белые, как наш сахар, и всего лишь у коленки кофейное пятнышко — так пятнышко червячком: — а цена 5 франков. А вот жилетка — перо павое! — 3 франка. А вот туфли — —

— Мне, — говорю, — пальто покажите летнее!

Сам говорю, а у самого голова кружится, нетерпение берет взглянуть поскорей; уж очень все хорошо и ни на какую стать дешево.

А продавщица порылась за прилавком, зацепила — вытянула из узла — и тащит.

— Аккурат на ваш рост: автомобиль!

Растопырила рукава, примерять держит, чего-то смеется — ну, две капли лиса! Потом уж я узнал, что это у них так принято и обязаны: хочешь не хочешь, а должен зубы скалить.

Ничего пальто: пальто как пальто, длинновато как будто — и рукава и полы длинноваты, свободно что-то очень.

— Автомобиль! ваш рост! — а сама так лисой и смотрит, так вся и вылисывается.

«Может, — думаю, — это так и полагается: длинное-то очень! Но главное, вкус-то какой!»

Пощупал я материю: плотно и точно из волос одних, махровое, а цвет — березовый лист со снежинкой. И только эта штрипка сзади болтается, ну такая, как на шинелях. Тоже халаты такие бывают с такою штрипкой.

— Нельзя ли, — говорю, — убрать?

Но тут продавщица словно бы сконфузилась за меня.

— Автомобиль!? — повторила она и так укоризненно и так убедительно, что и возразить невозможно.

«Стало быть, — думаю, — это так и полагается. И придется видно, и как это ни глупо, а ходить со штрипкой!»

— А цена?

— 30 франков.

30 франков — наших 12 рублей! Ну, как вам кажется? И где же это, скажите, в каких таких Рядах или Гостином за такие деньги такое добро получишь?

Рассчитался я. Записали мой адрес. И пошел я себе домой вот как довольный! А к вечеру у меня новое пальто было — березовый лист со снежинкой.

Теперь спокойно я мог взять билет, уложить книги и ехать в Россию. Так я и сделал. Так я в это самое пальто и обрядился — «автомобиль». И в путь. И не скажу, чтобы дорогой было мне очень приятно: полы длинные, как станешь в вагон влезать, путаешься-путаешься, а рукава широченные и опять же длинные, папиросу не закуришь. Намаялся я, что говорить, и уж как пенял на себя, что не надел старого своего на ватине. Ну, как-никак доехал.

А дома как огляделся, и делать не знаю что. Надену я этот халат, посмотрю в зеркало — да как увижу эту

длинноту попятную, эту самую дурацкую штрипку, и скорей долой с плеч да на вешалку. Ну, хоть иди на Гороховую и покупай новое.

По улицам хожу, примечаю, кто в чем, и нет ли у кого еще такого? И сколько ни смотрел, ну хоть что-нибудь подобное, ну, хоть раз бы на глаза попалось такое, чтобы живой человек в таком по улицам разгуливал.

«Может, на следующий год мода выйдет на такие халаты!» — стал я утешать себя и решил до весны дождаться, а пока что оставил пальто на вешалке висеть.

Приехал из Coppet Шестов: Шестов в Coppet на Lac Léman в Швейцарии жил, а в Петербург приезжал свои книги устраивать. Нарочно обрядился я в мой парижский «автомобиль», думаю, вот удивлю! А он нисколечко не удивился.

— Откуда, — говорит, — покойницкое?

— Какое покойницкое?

Я рассказал ему всю историю, как и где купил;

— От Сен-Сюльписа рукой подать.

— Ну, конечно! — смеется.

Нет, думаю, он нарочно, просто завидует — пальто замечательное: березовый лист со снежинкой!

. . . .

И завелась у нас моль в доме. И чем я ни травил ее — вывести не могу. Уж я и к профессору физики обращался — дал он мне каких-то синеньких камушек, разложил я камушки по всем углам, но и камушки не помогают. Все ее больше и больше. Каюсь, погрешил на соседа, на физика. «От него, — думаю, — никто, как он разводит!» А навела меня на эти мысли моя же собственная неосторожность: как-то рассказал я ему, будто, если собрать несколько десятков моли и послать в Китай, обязательно выдадут фарфоровую китайскую вазу. А вскоре замечаю, как вечерами, нарядившись в майский костюм — тепло: паровое отопление! — ходит сосед по комнатам с сачком и моль ловит. Да, погрешил тогда на профессора. А моли — тучи летят! Что делать? И взялся я за вещи: пересмотрю, думаю, все, не найду ли гнездо, тут ей и конец будет. И все пересмотрел, все старье, а гнезда нет нигде. А как дошла очередь до пальто, распахнул я свой

парижский «автомобиль», а на нем — живого места нет, одна моль — и ползет и скачет и, Бог знает что, моль на моли, да все крупная, раздавишь, как маслом мазнешь.

В первый весенний теплый день пошел я на Гороховую и купил себе самое простое летнее пальто.

. . . .

— Оказион! — подхватил Корнетов и взялся за всякие варенухи и прохладительные сласти: прохладиться не мешало.

— А со мной был такой оказион, — сказал прокурор Жижин и улыбнулся своим мертвецким оскалом.

Корнетов так и сиял весь от удовольствия — еще бы, на вечер не пожалуешься и Ивановну нечего звать о колдунах рассказывать.

3. ПОГАСИЛИ

Читал я в газетах, как мальчишку какого-то, Петьку «погасили»: был на свете Петька и вот не стало, и хоть и жив он живехонек и вихры торчат по-прежнему, а уж нет его — «погасили»!

Скажу кратко, как это все вышло и что это такое «погасить».

У Петьки мать прачка Марья, по стиркам ходит. Идет она раз вечером к себе на Карповку, а на берегу у моста народ. И как увидели ее, кричат: «Твоего выловили, утоп!» Ну, поплакала, потужила, да видно уж судьба, и похоронили мальчишку — разговаривать много не будут, живо схоронят! А так дня через три к ночи и является Петька — экий, сбежал на тот свет за счастьем, да чего-то вернулся! Тут-то и начинаются Петькины мытарства. Повела его Марья к сапожнику, думала по сапожному мастерству определить. И сапожник принять Петьку не отказывается, только давай метрику. Марья к дьякону. А дьякон-то уж отметил в церковных книгах, что Петька помер, и никакой метрики выдать не может. «Я, — говорит, — его погасил». Так и «погасили» Петьку, и ходу ему никакого.

Про эту историю я как вычитал в газете и очень меня тогда растрогало: я себе все представлял этого бродячего «погашенного» Петьку среди нас «не погашенных», и мне

очень было его жалко. Потом я позабыл о Петьке. И вот вспомнил. А вспомнил я Петьку при обстоятельствах самых плачевных — в жандармской дежурной в Вержболове.

Возвращался я домой в Россию. В первый раз я был за границей. Не малого труда стоила мне поездка, но жалеть не пожалел. От всего не нашего был я тогда в восторге — все мне показалось там и бело и хорошо и благодатно: какую крепкую церковь построили они себе каменную, воистину: «врата адовы не одолеют!» — прямо по колокольчику доведет до врат небесных; а какие мудрецы и ученые жили на их земле и великие духовидцы, воистину: Фаворский неизреченный свет въявь видели; да и в житейском обиходе чего только не повыдумано, ну, клопа, нашего доморощенного, паром у себя вывели и разве что так последыши остались, в Париже; а как трудятся — по-лошадиному, и не без проку!

И вот, увидев у них только одну белизну, одну чистоту, одну благодать, я был от всего в восторге, и все-таки с неменьшим восхищением подъезжал я к нашей земле: ну, какая ни есть, а своя, и пусть мы раздорны и разбродны и несуразны — выгоды своей частенько, хоть и под носом она, не замечаем, мимо прем, и обойти нас не так уж трудно, пускай это все так, но ведь и у нас тоже старцы по лесам не перевелись тоже «Фаворские» и есть русские «мощи» — памятник русских людей, потрудившихся для создания России, и баня у нас есть..., а порядку и мы научимся, безобразничать и нынче не очень ловко становится, и не так уж мы все ленивы и сиволапы, как сами о себе на весь мир протрубили, а что если на вокзал за два часа забираемся, то, ей-Богу, это везде, это и в самых первых городах Европы, все равно, как и везде, поезда опаздывают!

С нетерпеливым чувством подъезжал я к границе — к России, лучше которой на всем свете ничего для меня нет.

Осмотрели мои чемоданы. Недозволенного я ничего не вез. Правда, много у меня было ненужного — да ненужное в расчет не берется. И, проверив мой паспорт, вернули мне. Взял я билет, сдал багаж и сел чай пить: до горячего чаю охота большая была — конечно, хорошо, там все хорошо, да чай-то теплый подают, и никакими словами

не вдолбить, что теплого этого и даром тебе не надо! Сижу я за столиком, пью горячий чай. И такое благодушие нашло на меня, чувствую, распариваюсь весь — эх, и кипяток же крутой! Так и час прошел.

Минут за двадцать до первого звонка, расплатился я за чай, хожу по тем местам, где чемоданы осматривали, хожу так — сейчас, думаю, и! — покачу по родной земле!..

— Вы Жижин Петр Иваныч? — меня называют, жандарм называет, и откуда такой взялся?

— Я, — говорю, — самый, Жижин.

А он рукой мне так — дорогу показывает:

— В дежурную пожалуйте. Ротмистр просит! — а сам агромадный: поперек возьмет, переломит.

И вижу: ротмистр торопливо так проскочил — телеграммой помахивает.

Уверенно иду, я знаю, ничего за мной нет такого. И пришел в дежурную. И тот жандарм со мной. А в дежурной таких штук пять верзил. А комнатенка — тесней не придумать: как стал, так и стой. Тут подошел и ротмистр. Жандарм ему на меня:

— Вот они — которые по телеграфу.

Смотрит на меня ротмистр — молодой еще человек и чисто так одет франтом.

— Вы Петр Иваныч Жижин?

— Я, — говорю, — я самый, Жижин.

— А чем вы докажете, вы самый Петр Иваныч Жижин и есть?

— Как чем? Да вот же паспорт, сами же вы его только что мне выдали! — да скорее в карман за паспортом и паспорт тащу.

Ротмистр у меня из рук паспорт мой взял. Повертел-повертел, да жандарму, не глядя, и сунул. Стоим друг против друга, смотрим. Ничего я не понимаю и, как понять, не придумаю. А вижу, он-то себе понимает...

— Так чем же вы докажете, вы и есть Петр Иваныч Жижин?

Тут-то вот и вспомнил я Петьку: вспомнил, как «погасили» мальчишку — и подлинно, душа у меня в сапоги ушла. И что ответить, и сам не знаю. Ехал я за границу — и мысленно называю себя по имени, отчеству и

фамилию свою, а вернулся уж не такой — и мысленно опять называю себя: был Петр Иваныч Жижин — и вот «погасили!». Стою, душа в сапогах, и нет на языке слов. А ротмистр знай свое:

— Докажите и докажите, что вы Петр Иваныч.

И должно быть, вид у меня был жалости подобный — еще бы! когда тебя не признают за тебя, а ты сам и есть живой налицо.

— Может, вас тут знает кто?

А кому тут знать, в Вержболове? И вдруг вспоминаю: видел, в буфете, и как раз против меня за столиком сидел, тоже чай пил и тоже, как я, распаривался благодушно, артист Варламов, и я заметил, ротмистр подходил к нему.

— Постойте, есть! Сидит тут в буфете артист Варламов, известный всей России.

— Варламов, как же! — и ротмистр с необыкновенной готовностью вышел справиться обо мне в буфет.

А я остался с жандармами. Признаюсь, и посмотреть на них мне было страшно.

— Нет, не слыхал, не знает! ничего не знает!

«Ну, — думаю, — погасили!».

— По телеграфу вас задержать велено, — сказал ротмистр как-то совсем по-другому, совсем не так, как встретил, или прочитал он что на моем «погашенном» лице? — вот и ваша карточка.

И как глянул я на карточку, так не то, что в сапоги, а из сапог вот-вот душа выскочит: поразительно — моя! я — вылитый я! все, и глаза и нос и даже шляпа, с меня, с меня самого! А вместе с тем, не могу уловить что, а не мое — нет, не я. И вижу, что не я, а в чем дело, не догадываюсь.

И долго бы мне так в догадках мучиться, спасло наитие — на наитии, как известно, основаны все великие изобретения — снял я шляпу, да себя за ухо: то за одно, то за другое.

— Уши, — говорю, — видите?

А сам все тяну: то за одно, то за другое.

— Уши не мои.

Тут и ротмистр к ушам. И все жандармы — и откуда такой народ подбирается рослый, жандармы! — все жандармы за ротмистром: посмотрят на карточку — и на уши, и опять на карточку — и на меня.

— Ошибка! не ваши! совершенно верно.

И я почувствовал, как в руках у меня очутился паспорт — ротмистр в руку его мне сунул.

До вагона дошел я без шляпы: в одной руке — шляпа, в другой паспорт, в третьей... (от страха и других высоких чувств не только теряют голову — голову потерял! — но, я вас уверяю, что-то новое приобретается!) в третьей руке — уши.

До вагона провожал меня ротмистр: с ним тоже раз было, это он мне дорогой рассказал, чуть не «погасили»...

*

Три кукушки одна за другой прокуковали полночь. Оставалось только посошок да и по домам. И на загладку обнес хозяин пряником — заглядишься: как сливки самые густые, такой на вид, и конь на нем в упряжи вскачь несется, везет телегу, — из Городца пряник, Городецкий, а раскусить не то что зубом, не возьмет и зубило, а надпись: *«берегися»*.

Глава третья
НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

1. ДИКОВИНКИ

По обычаю прежних лет на «Избиение младенцев» мы отправились к Корнетову. Чудак не предупредил и, торкнувшись на Кавалергардскую, мы поцеловали замок: оказалось, еще осенью вскоре после Летопроводца, никому не сказавшись, покинул он свое долголетнее насиженное гнездо. Хочешь не хочешь, а пришлось тащиться на противоположный конец. И с грехом пополам на «птичьих правах», вися на подножке трамвая, а само собой без билетов, добрались мы до Карповки. А от Карповки до Песочной рукой подать. И благополучно отыскали дом — вроде дачи, такая легкая стройка. Но тут-то и натерпелись.

Нам не только сказано было на Кавалергардской, но и собственными глазами все мы видели — в домовой книге записано, что квартира Корнетова № 3, а как раз № 3 в доме не было: было всего две квартиры и никакой третьей. И дворника не разыщешь — какие уж по ны-

нешним военным временам дворники, хотя бы дворничиха высунулась! — и дворничихи нет, и спросить не у кого. Кто посмелее, заглянул было на черный ход, да сейчас же и назад: через всю лестницу врастяжку лежал рыжий пес, тихий и смирный, да кто же его знает! Правильнее всего было бы разойтись по домам, но это показалось очень обидно: в самом деле, не маленькие, в Петербурге и не отыскать!

Кто-то заметил в верхнем этаже красные корнетовские занавески. И ободрившись, решили ломиться в квартиру № 2. Впрочем, зачем и ломиться? — звонка не было, а дверь не заперта — и оставалось только приоткрыть дверь. Да так мы и сделали. И попали во тьму кромешную.

Абраменко, превратившийся по военному времени в начальника собачьей команды, наш поводырь, из всех самый находчивый, зажег спичку. И со всякими предосторожностями двинулись мы по кривой, промерзшей лестнице, которая и привела нас к искомой двери. Тут помянешь и математику!

Спичка догорела, а новую зажечь поскупились. Кто-то впотьмах нащупал кнопку. И звонили мы по очереди, во сколько уж, не знаю, а отклика все не было. Разорились еще на спичку. Нет, не ошиблись: на двери висела корнетовская карточка. И тут же под карточкой: «позвоните и стучите». Ну, понятно, почему и отклику нам не было. И принялись мы дубасить, не щадя ни двери, ни кулаков.

А того только и требовалось. На лестнице зажглась лампочка. И, сверх ожидания, никто нас, как бывало, через цепочку не опрашивал, а без всяких на всю половину растворилась перед нами дверь. Но это еще не все. Поднявшись по ступенькам, мы прошли темным «погребом», как после разъяснил нам хозяин, и только тогда попали в узенькую прихожую с окном, занимавшим большую половину стены, и с лестницей куда-то вверх к стеклянной двери не то на балкон, не то еще в какой погреб. В простенке между окном и дверью висело зеркало, а против зеркала знакомая разбитая вешалка. И хоть бы завалящая калоша — пусто. Для безопаски, что ли, ожидая гостей, припрятал хозяин свою шубу, или от сырости для сохранности? — под окном стояла лужа, и с двери текло.

Разместив шубы на перилах лестницы и прихорошившись перед зеркалом, мы приготовились вступить в кор-

нетовские «палаты», но, и шага не сделав, все мы попадали, кланяясь земно раскрывшему нам дверь хозяину: оказались еще приступки, о которых Корнетов не предупредил.

— Чертячья комната... на птичьих правах! — оправдывался хозяин, отряхивая нас, палых, и вводя в «чертячью», такую же неподобную, как прежняя «ледяная» на Кавалергардской.

И пока подходили новые гости, как и мы, колесившие по всему Петербургу и проделывавшие все, что и мы, до падения на приступках, Корнетов занимал нас своими диковинками.

За книжной полкой между печкой и «философией» жил у Корнетова сверчок, какие водятся в банях. Тут же на полке стояло сверчку пойло в стаканчике. Сверчок пел только в холод, а в тепло спит.

И все мы тихонько по примеру хозяина подходили к полке и старались не дышать, чтобы сверчка послушать. Что-то будто и пищало. Но кто ж его разберет: сверчок это или гвоздик?

— Сверчок спит! — объявлял Корнетов и для проверки сам свистел по-сверчиному.

Сверчок не откликнулся. Должно быть, и вправду спал. Еще бы, от одних наших папирос, а курили мы больше «египетские», стояло угарное облако.

По переезде с Кавалергардского Корнетов две недели жил без дров и за это время сжег немало стульев: очень боялся, что сверчок замерзнет.

Расхвалив своего любимца, как он поет, и как никогда с ним не соскучишься, Корнетов отодвинул письменный стол и, отдернув красную занавеску, пригласил заглянуть в окно. И все мы, заходя гуськом, прикладывались к холодному запотелому стеклу, но за морозом разглядеть ничего не могли, — одна лестница торчала под самое окно.

А на дворе — мы поверили Корнетову — в конце сада среди берез, стояла стеклянная избушка, а в избушке жила Баба-Яга.

— Питается березовыми дровами! — толковал Корнетов, описывая с подробностями образ жизни своей, не совсем обыкновенной, соседки.

Покончив с Ягой, Корнетов собирался было показать

нам и еще одну диковину — мышонка: всякое утро выходит к нему из норки маленький такой, горбатенький мыш, садится на подоконник и, объедая замазку, поет, — но мышонка решено было не беспокоить. Уж слышно было, как самовар заводит свою самоварную песню: пора было просить гостей в «пировые палаты».

2. ВОЛЧИЙ ВЕК

В «пировых палатах» была такая жара, как когда-то в «ледяной» на Кавалергардской, и стол был накрыт, как когда-то, белой скатертью, расшитой по углам красными орлами.

Полагалось в первую голову обнести гостей самодельной, настоянной на косточках, варенухой, а ее-то как раз и не было. Еще до праздников зоолог Копылов, устроившийся при Красном Кресте, обещал достать через лазарет и достал бутылку и уж нес, да, говорит, поскользнулся, выронил портфель и все вино пропало.

Бедновато было и вареньем — так какая-то малина засахаренная. И тоже какой-то приятель обещал и уж вез банку вологодской поляники, да, говорит, на трамвай как вскочил и кокнул, и все варенье пропало.

И одна лишь «оболенская» пастила украшала стол. Но и тут хозяин сплошал: расхваливая пастилу — а и в самом деле удивительная! — как свою домашнюю, собственноручно приготовленную, позабыл с коробок «оболенские» наклейки содрать. Была еще початая банка с вразумительной надписью: «пчелиный мед протопопа Алмазова». А то так, всякий ералаш, и всего понемногу.

Конечно, мудрено теперь таким, как Корнетов, пиры задавать: насчет поставок он не мастер, в банковском деле тоже не очень понятлив, на олове, говорят, большие деньги нажить можно! — не пробовал. И то удивительно, как еще жил и был он на белом свете со своей ни на что и никому не нужной глаголицей.

Ну что делать, нет варенухи и не надобно! И принялись гости за чай. Слава Богу, что еще сахар-то есть и не мелкий «песок», а настоящий колотый.

Кому же и с чего начать вечеровый разговор — крещенские рассказы.

Абраменко, начальник собачьей команды, знал по пре-

имуществу о всяких военных зверствах, но благоразумно воздержался: все истории его давно попали в газеты и потеряли всякую веру. Молчаливый, довольно-таки диковатого вида, писатель, стеснявшийся своего имени и отчества, а его звали Карл Карлыч, а по военному времени — Карп Карпыч, угрюмо держал что-то наготове — про войну, конечно, о своих предчувствиях, но первым выступить не решался. Известный Иван Александрович Рязановский-Электрический, носивший для плотского ободрения электрический пояс, разжигаемый страстным бесом, сидел, насупившись, потому что не было ни одной дамы. Сосед его инженер Дымов, теперь строитель подводных лодок, запоем курил свою египетскую. Писатель Зерефер (псевдоним), нашедший свою линию в чертовщине, потому что, как и сам он признавался, описание чертячьих деяний ему нипочем давалось, грелся у накаленной железной печки, отогреваясь за все студеные голодные месяцы (на чертях-то нынче не больно выедешь!) и безжалостно подъедая «оболенскую» пастилу. Другие гости старались около чаю.

— Александр Александрович, да как же это вы покинули вашу Кавалергардскую? — спросил кто-то.

И вот вместо страшных рассказов начал Корнетов о своем переселении и положил начало вечеровым разговорам.

Корнетов нынче летом ездил лечиться, а когда вернулся, квартиру его уже сдали. Сроку до окончания контракта оставалась неделя, за эту неделю он и должен был отыскать себе новую. И сейчас же по возвращении в Петербург он и вышел на поиски, очень-то не жалея о старом своем гнезде, где с начала года, ссылаясь на военное время, перестали топить, и «ледяная избушка», когда-то горячая, как баня, обратилась и впрямь в ледяную. Но случилось и совсем не ко времени: лазая по лестницам, натрудился Корнетов и слег, и о переезде нечего было и думать. Новые хозяева, которым доставалась его квартира, слышал он, что люди душевные и сердечные, а ведь это в волчий наш век большая редкость! — и лежал спокойно: такие его не прогонят. И письмо им написал и еще больше убедился: не тронут. А вышло-то совсем не так: погнали! Сами-то не пошли на такое — все-таки слава о душевности и сердечности при всяких обстоятельствах притягательная,

и отрекаться от нее неразумно! — нет, конечно, не сами, а послали знакомого: третьим в таких делах куда способнее, а главное нечувствительно.

— Пятница была, лежу я спокойно, думаю: неделю пролежу еще, а там и действовать. И вдруг звонок. Ивановна вошла, говорит: какой-то из шоферов, о квартире поговорить лично. Я кое-как оделся — какой такой шофер, ничего не понимаю. А это совсем не шофер, а от новых хозяев с поручением: «очистить квартиру к воскресенью, привезут мебель!». Я на дыбы: «я болен, мне лежать еще надо, да и поставить мебель некуда». Сами посудите, куда же в тесноте такой «поместить мебель»? Да и то не забудьте: когда мебель эту вносить будут, двери, небось, настежь, тут и здоровому опасно. «Нет, — говорю, — подождите дня три, оправлюсь, да и деваться-то мне некуда»! — «Да и им тоже деваться некуда, — говорит, — они уж на воскресенье и лошадей наняли мебель перевозить». Что поделаешь, выходит, что правы: ведь и лошадей наняли!

И за два дня решилась судьба. Ивановна пошла искать квартиру. Долго пропадала и нашла. А Корнетов принялся добро укладывать — не поваляешься. И как нашла квартиру Ивановна и как с добром управлялся Корнетов, напихивая ящики, один Бог знает. Когда в воскресенье состоялся переезд, встречные смотрели на них, как на «беженцев», вырвавшихся из самого опасного места — «с театра военных действий».

Новая квартира на Карповке оказалась еще не готовой и жить в такой невозможно, Ивановна попросила расчет: ей и далеко от старых мест и скучно. Так и остался один. Целую неделю, пока мазали и красили, бродил Корнетов по Петербургу.

— Чего только я за это время не навидался, за эту бесприютную неделю. Тычусь от дома к дому, приятелей-то никак не сыщешь, куда постучаться на ночь. А вы знаете, новые-то жильцы, которые выгнали меня — требовали очистить к воскресенью квартиру, а сами и не подумали в воскресенье въезжать, хоть, как говорится, и лошадей наняли, а въехали только в четверг.

То же с моей женой было, — сказал строитель подводных лодок Дымов, — на Михайлов день вышла история.

— Катастрофа? — отозвался Карп Карпыч, привыкший озадачивать слушателей всякими катастрофическими «прогнозами».

— Вроде. Дожидалась она трамвая. Знаете, у Летнего сада мостик — там очень узкое место. А уж темно было и ветер с дождем. Когда она так стояла, наехал на нее извозчик и от удара — ей показалось в висок — упала. Очнулась, когда уж ее подняли. А подняли ее какие-то рабочие и солдат. «Нет, — кричали рабочие на извозчика, — ты так не отвертишься»! Извозчик оправдывался: «Я кричу, а чего ж она лезет»! И тут увидела она и старика-извозчика и седоков: лица седоков показались ей наглые — теперь такая порода пошла: рвачи. «Мы кричали: берегись, берегись!» — выгораживались нагло рвачи. С трудом подошла она к извозчику, нагнулась к номеру и слышно произнесла номер. Извозчик уехал. А тех рабочих уж не было, только солдат. «Я бы помог вам, — сказал солдат, — да завтра на позиции еду!» И пошел. Так и осталась одна. «Идите, вон там городовой!» — сказал кто-то. А она едва на ногах держится, куда ей искать городового, и уж боится перейти через улицу, и липкое что-то, это кровь, мажет ей губы. Нанять бы извозчика, но самой ей никак невозможно. Тут подъехал трамвай, и на счастье не очень набитый. Прошла в вагон. Народ стоит, и она стала сзади. «Что вы! вы меня пачкаете!» — кто-то толкнул ее. И она увидела сзади расфуфыренную даму. «Вы тоже не бессмертная, это меня извозчик!» — только и могла она сказать ей. «А мне какое дело, посмотрите на мои перчатки»! Поднялся хохот. Но дама видела только свои перчатки, измазанные кровью, и стала выгонять ее из вагона. Кондукторша повела ее на площадку. И никого не нашлось, кто бы заступался. Хуже: вдогонку смеялись. Так на площадке и простояла она до остановки. Дома часа два молчала — не могла сказать слова. Но вы понимаете, во всем вагоне не нашлось ни одного человека...

— Выделяться никому не хотелось! — заметил Карл Карлыч.

— Только у нас и можно встретить такую мерзость! — отозвался Иван Александрович.

— А я бы каждого там по морде! — покрыл всех начальник собачьей команды Абраменко.

3. СОВРЕМЕННЫЙ МЕРТВЯК

— Постойте: сейчас ровно полночь, — сказал Корнетов, — к Акулине пришел зять!

И предложил гостям пройти в «чертячью комнату», а из чертячьей в прихожую и там подняться по той лестнице, на которой разместились наши шубы: Акулина спала наверху в темной комнате.

Акулина, заменившая у Корнетова Ивановну, пришла от Ивановны, с которой водила дружбу ее тетка, известная тем, что стоило ей где переночевать, и оттуда обязательно уходили все тараканы. Прошлой зимой у Акулины умерла сестра, а нынче летом зять: оба покойника не затвердели, а лежали в гробу мягкие, как живые, — верная примета, что в семье будет еще и третий покойник. А кому же и быть этим третьим? Никому, как самой Акулине, и вот она ждала себе смерти. Вечерами она усаживалась на теплую плиту и часами так сидела — так не раз заставал ее Корнетов, — сидела в смертной думе. А всякую ночь приходил к ней с того света зять, корил ее, что плохие туфли ему мертвому надела, и наказывал ей: когда она приедет, чтобы захватила с собой крепкие...

— Так вот, господа, зять уж сидит! — объявил хозяин.

И все мы на цыпочках потянулись из холодной прихожей по лестнице к стеклянной двери: впереди Абраменко, а за Абраменкой кто посмелее.

Зять-мертвяк и вправду сидел у Акулины — это чувствовалось. Только не слышно было, что он говорит ей, о чем таком то-светом, о каких чудесах, или жаловался? Вот туфли-то плохие положила она ему в гроб, сносил он... — стало быть, не в каретах там разъезжают, а может, и холод такой же и беда такая же?

И вдруг все ясно услышали:

— Привези мне говядины, — сказала Акулина, — филейную часть. Хозяин-то всякий день блинчики, одними блинчиками питается. Филейную часть.

И словно бы поцеловались: что-то чмокнуло.

А мы, кто как стоял, так и застыли. И слышно было: там заскрипели полозья.

— Уехал! — прошептал Корнетов.

И опять на цыпочках потянулись мы с лестницы от стеклянной двери в прихожую.

«Мертвяк» подогрел Крещенское настроение. И на загладку Иван Александрович рассказал чудесные сказки о басаркунах Подкарпатской Руси — кто читал «Страшную месть», тот помнит, какие чары связаны с именем Карпат, откуда выходят колдуны, не уступают по силе Лапландским нойдам — и этим Гоголем и кончился вечер, последний петербургский в канун Революции.

Часть вторая

ПАРИЖСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава первая
БУЙВОЛОВЫ РОГА

1. КИТАЙСКИЙ ПОВАР

Александр Александрович Корнетов имел такую повадку: всякое утро сбегает на угол за папиросами и пальто не снимет — пальто у Корнетова серое, в Париже такое только у русских «Берлинской волны 1923 года» — так в пальто кофе себе и варит.

Я как-то зашел утром и говорю:

— Александр Александрович, чего вы это в пальто: тепло.

Он не сразу ответил — не любит, когда к нему с утра: «Ни говорить, ни смотреть на свет не могу!» — и, не глядя, следя за молоком, чтобы не убежало, медленно выговорил и совсем тихо:

— Такая у меня повадка: Россия, последние годы там все в польтах ходили и дома, бывало, сидим.

Корнетов из России с начала Нэпа или, как принято выражаться, «седьмой год в изгнании», но и до сих пор сохраняет приемы, по ним различаешь русских, с которого они года из России и с которой волной: константинопольская или берлинская.

После кофе Корнетов оживет и сейчас же примется обед себе стряпать: чистит картошку, морковь, лук. И всегда он все стоя — тоже повадка. Во время своей поварской работы он нет-нет да и заглянет в окно: против кухня, и там повар в колпаке — Корнетов старается перенять настоящие поварские повадки «французской кухни».

— Что ж, хоть поварское дело изучу, — говорит он, — по девять лет русские, как говорится, в изгнании, а кроме «тьэн» ничего у французов не переняли и замызгали русскую речь.

А тот повар в колпаке с любопытством следит за Корнетовым — за китайским поваром, искренне веруя, что Корнетов китаец. И видно по его белому колпаку, немало его удивляют китайские повадки.

* * *

За наше знакомство еще с Петербурга, когда Петербург назывался Петербургом, много я чего заметил за Корнетовым удивительного, и часто голову ломаешь, не объяснит, в чем дело. Да и в Париже «китайские» повадки обнаружились как-то само собой безо всякой преднамеренности и умысла.

Осенью бесчисленные воскресные посетители Корнетова разносили после вечера к себе по домам и, не догадываясь, морские раковинки, а кому недостало, хозяин подложит в карман чего из ненужного. Я возвращался в метро с Балдахалом, сидим, прижались к стенке, и чего-то ему понадобилось, полез в карман и вытаскивает — электрическая лампочка! очень перепугался, а потом смотрит: прутика и звания нет, перегорелая! — и вижу, повеселел. А у меня полный карман ракушек: «Смотрите, говорю, какие накры!»

Объясняется это очень просто: кто из знакомых побывал на океане, всякий принесет ему ракушек, и собиралось у него их видимо-невидимо — а это хорошо прямо со дна собирать, а как соберешь, все под одну, серенькие. Корнетов и решил их ликвидировать. А электрическая лампочка — это по жалости: вещей, хоть и отслуживших, жалко ему выбрасывать — это у него давнишнее, петербургское.

Или еще повадка: выйдешь от Корнетова после разговора и долго не соображаешь, откуда это чем-то едким пахнет — морильный дух, а внюхаешься — да это, оказывается, от тебя самого, от твоего пальто. Никто ничего не может понять, а все очень просто: Корнетов сам объявил, что теперь у него такая повадка: «всех гостей флитоксом прыскаю!»

В воскресенье у Корнетова с девяти, но Пытко-Пытковский и Птицин пришли загодя. Корнетов до гостей разглаживал оберточную бумагу — все, что собиралось за неделю, он ничего не бросает — а из этой бумаги, подрезая, сшивал тетради. Пытко-Пытковский и Птицин

расселись на сомье и, чтобы не мешать, затеяли философский разговор, и хотя к философии никакого — Пытко-Пытковский прирожденный, навсегда напуганный издатель, Птицин экономист — а вот залезла им эта философия, и с час они проспорили про Бердяева, о его философии: «мистическое бродяжничество». И оба, разгоряченные спором, чистосердечно признались, что на их квартиры великое нашествие блох, и сегодня, несмотря на праздничный день, морильную машину с пылесосом привозили и из окна через трубу блох выкачивали. Пришедший как раз на блошиное признание Миша Писарев, инженер, изобретатель всяких предохранителей, тоже сознался, что в его квартире с год уж блохи, и нет от них отбою, и, не прибегая к машине, он выморил всех дочиста замечательным предохранительным средством: флитоксом. А между тем профессор математики Сушилов, сидя на сомье за самыми отвлеченными разговорами, очень подозрительно почесывался, и после его ухода Корнетов поймал блоху. Вот откуда завелась морильная прыскалка, и почему все мы, постоянные гости Корнетова, пропитаны едким флитоксом.

Корнетов марки не собирает — это у Петушковых большущий альбом и, когда гости, они этот альбом, чтобы поменьше было разговору о выеденных яйцах, всем показывают, но Корнетов и не бросал, а всегда пальцем отдерет — это он делал артистически — и в коробочку «для архива». И началось это с заграницы, отчасти русская закваска «пережитого опыта» в годы военного коммунизма, приучившего к бережливости и к пользованию всякими отбросами, а отчасти все по той же жалости к вещам, хотя и ненужным: Корнетов не бросит и самой перепрелой веревочки, а навяжет ее на клубок, разгладит из-под мыла розовую бумажку и фруктовую из-под конфет — пригодятся ему для переплета архивных тетрадей, осторожно подрежет конверт — чистой цветной стороной хорошо оклеить донышко ящика, чтобы книге было стоять мягко и тепло, как в гнездышке, а из папиросной разноцветной подкладки конвертов он сделает у себя на стеклянных дверях такие волшебные узоры, при свете глядят, как витро в старинных соборах. Старые марки Корнетов употреблял для своего архива: он наклеивал их к письмам, чтобы отличать, из какой страны письмо — для «удобства

быстрого нахождения адресата», хотя это мало чему поможет, и когда надобилось, примется искать, перелистывает-перелистывает, да так и бросит: адресаты, запестренные марками, ловко от него прячутся. Но кроме того, по одному экземпляру вклеивал он в свои самодельные географические альбомы вместе с деньгами, портретами королей и диктаторов — соблазн для всех, кто пережил в Германии инфляцию, был и миллионщиком и миллиардером, через руки которого прошли всевозможные денежные знаки, впоследствии «аннулированные».

Но тут ничего нет особенного — это общечеловеческое, а вот, что все мы, бесчисленные его гости, по его наущению собирали марки для философа Бердяева и посылали их Бердяеву в Кламар, вот это удивительно.

Давно я мечтал познакомиться с Бердяевым. В России, хоть я и бывал в Москве, трудно это было осуществить: я по профессии бухгалтер и никаких у меня философских вопросов нет. А тут такой блестящий случай: набрал я порядочную стопку голубых двадцатипятисантимных и решил лично поднести философу. И поднес — и, выражая ему всякие чувства его почитателя, замечаю что-то неладно: развернул он конверт и несколько марок на пол уронил.

«Старые марки, — говорит, — мне ни к чему, я наклеиваю всегда новые!»

Эти слова я очень хорошо запомнил.

«Как же так! — говорю. — Мы все уж с год вас снабжаем!»

А он расхохотался:

«Вы верно от Корнетова?»

Хорошо еще, что все так кончилось: посудите сами, я, как говорится, девятый год в изгнании, мое искреннее желание познакомиться с нашим знаменитым философом, ведь он же мог обидеться! Оказалось, Корнетова он давно знает — старые приятели.

«А старые марки, — говорит, — мне ни к чему, я наклеиваю всегда новые!»

Я к Корнетову:

«Помилуйте, ведь вы меня подвели: понес я марок Бердяеву, а он говорит...» — и я повторил слова философа.

«Да кто же вас просил передавать, я сказал: посылайте — —?»

Или вот еще: взял такую повадку в своих письмах делать приписку: «Якобсон очень про вас справляется!» Десять, двадцать знакомых получают в течение недели от Корнетова такую приписку. А ведь Париж, единственный и последний пункт земли, откуда только и остается или взлететь на воздух или зарыться в пески — этот мировой город — глушейшая провинция для русских, не Вологда и не Пенза, а какой-то Усть-Сысольск, все знают друг друга, и у всякого есть до всего дело и какие-нибудь дела, и получить в письме такую «теплую» приписку — невольно задумаешься: не хочет ли Якобсон предложить работу, или у Якобсона есть поручение выдать благотворительные деньги? Тут воображению нет удержу и, про себя скажу, я мечтал встретить Якобсона, как мечтают о весне, о солнце в пасмурнейшую парижскую зиму, когда и сиротливо и зябко. Меня только очень удивило, с чего мною заинтересовался Якобсон, я не философ и дела мои очень скромные. А нашлись такие, что не могли уж вытерпеть и ходили к Якобсону и всякими намеками доискивались, а сам Якобсон понять никак не может, чего к нему народ пошел, и на него все так смотрят, ждут. И однажды не выдержал и профессору Сушилову, явившемуся к нему невзначай, сам задал вопрос — «в чем дело?» и поспешил предупредить, что в средствах он стеснен и не располагает даже франком, но Сушилов его успокоил и удивил.

«Позвольте, да кто вам писал, не Корнетов ли?» — и расхохотался, как Бердяев, хотя с Бердяевым у Якобсона ничего не было общего.

Оказалось, Якобсон еще с Петербурга знает Корнетова — старые приятели.

А за границу — у Корнетова кругосветная переписка — писались самые фантастические сведения о знакомых — главным образом о путешествиях: «Ржов едет в Амстердам читать лекцию» или «вчера проводили Дулова в Албанию к Ахмету Зоге» или «вы спрашиваете о Бадине, а он, говорят, в Дагомее доктором». И это пишется о людях, которые как прикованы к Парижу. Я сколько раз к таким, и не мечтающим тронуться с места, на конвертах надписывал: «prière de faire suivre», что значит: «будьте любезны, шлите вдогон».

И вот, зная всякие повадки Корнетова — соседнему

повару никогда не узнать! — все мы, бесчисленные его посетители, безгранично ему верили: у Корнетова никогда не было скучно, а смотрел он на всех такими благодарными глазами, искренно веря, что от тебя будет ему одно добро.

И я не знаю, веселость ли духа или эта ничем не прошибаемая вера, что ты непременно сделаешь что-то хорошее, эта неподозрительность к человеку влекла к Корнетову.

Я знаю Корнетова с незапамятных времен — до войны, в войну и в революцию — и всегда у него толчея. И что меня поразило: в Нарве в карантине, когда мы из России ехали через Эстонию, вхожу я в общую камеру, все по-тюремному «камерами» называли, и вижу: на кровати у него — стульев не полагается — так на кровати сидят! а сам он на краешке! И я подумал: на земле нет такого места, где бы Корнетов очутился один, и на необитаемом острове, если не люди, так звери, а нет зверей, так воздушные и подземные духи, а непременно явятся, обсядут и окружат его. Может, это большое счастье, но и очень трудно. Нет ведь часа на дню, когда бы не позвонили, нет минуты, чтобы остаться одному и подумать.

«Ночью, — как-то сказал Корнетов, — только ночью, когда одна кукушка — часы кукует».

Веселость духа, без которой мир мертв, и вера в человека, без которой человек не человек, — вот где магнит.

Еще в Петербурге я спросил Корнетова, как он к человеку относится?

«Ничему не удивляюсь, — ответил Корнетов, — жду от всякого самой последней подлости, но всегда искренне верю в добро. Такая у меня повадка».

2. «COMPLET»

Сегодня знаменательный день: Корнетова напечатали. Рассказ под псевдонимом, но все мы догадались, кто истинный автор. Я подсчитал строчки: если без звездочек — восемьсот сорок семь: газ, значит, покроет, а то газ закрыли, и повар в колпаке совсем с толку сбился, какие такие тончайшие кушанья китайский сосед на спиртовке готовит, не выдерживающие газового пламени.

Я шел к Корнетову со всякими проектами: во-пер-

вых, — благодарственный отклик читателя — мы его пошлем в редакцию и это послужит чувствительным толчком для дальнейшей литературной деятельности нашего приятеля: у редактора в руках будет документ и, если нападут, что он печатает ерунду, он всегда может сослаться на читателя; во-вторых, устройство литературного вечера — Корнетов чтец не громкий, но это не беда, вечер можно заполнить и не литературой, и тут каждый из нас постарается, все мы музыканты; в-третьих, перевод на французский — мы скажем, что Корнетов молодой советский писатель, — наверняка напечатают; в-четвертых, прошение в Комитет помощи писателям и ученым о вспомоществовании; и в-пятых..., но это к литературе не относится, это будет сюрприз.

Каково же было мое огорчение, когда на дверях у Корнетова около звонка я увидел карточку: на карточке наклеено мелко, золотом напечатанное откуда-то из объявлений «complet» — это как в автобусах и трамваях, когда переполнено, такое вывешивается и означает, что «местов нет». Сколько я ни звонил — голоса слышу, двигаются, а никакого внимания. Тогда я прибег к последнему средству: я позвонил условным звонком консьержки — я это, сидя у Корнетова во все часы дня, изучил до точности — и после наступившего затишья мне отворил сам хозяин.

И действительно, «компле»: в теснющей комнатенке, отделенной стеклянной дверью, глядевшей волшебными цветами, не толпились, а кто как сел, так и остался, вплотную, а кому недостало стульев, стояли, сливаясь с книгами, географическими картами и пестрыми планами.

Хозяин, неизменно стоя, трудился над «самоваром» — раскутывал и закутывал серым теплым платком огромный никелированный чайник, разливая чай, и дирижировал, чтобы в комплектном собрании звучало только соло, и никто не трогался с места и не двигал стулом.

Над Ржовым и Дуловым — двух «нарицательных», — тоже повадка: изберет себе самого незаметного и так его расхвалит и везде выставляет, что имя его становится нарицательным! — над этими нарицательными висит объявление, наклеенное на старый календарь с картинкой: перед держащим нож и плачущим поваром стоят зайцы и тоже плачут, и подпись — под поваром: «это я сам»,

а под зайцами: «мои непоседливые посетители», и выше: «диплом на шум и топанье», а внизу — по-французски: письмо управляющего дома о жалобе нижних жильцов на Корнетова.

В рассказе Корнетова, о котором, как и надо было ожидать, шла речь, описывалось, между прочим, происшествие с тряпкой: однажды Корнетов из жалости к вещам подобрал чью-то упавшую на подоконник тряпку; тряпки хватились и было смятение по всему дому, найти не могут, а Корнетов держал ее у себя до тех пор, пока не спросила консьержка; очень ему не хотелось отдавать, да и трудно было признаться: — «ведь это все равно, как если бы я украл тряпку».

Пискин, напоминавший материализованного духа своим неподобным толкачиком, умилительно восторженный, говорил тоненьким голосом:

— К чему вы ни прикоснетесь, начинает жить: все мы видели тряпки, но когда вы говорите: «тряпка лежала на подоконнике, как biscuit de mousseline», тряпка останется для нас живой, мы ее запомним во всей полноте и навсегда. Вы настоящий писатель.

— Какой я писатель, я так, — Корнетов глядел из-за своего закутанного чайника, насторожившись.

— Манерность и нарочитость, — щегольнул Петушков, слывший в нашей компании за отчаянного критика.

— Просто бездарно, — сказал Корнетов, — и говорить не о чем. Три вещи красят литературное произведение: язык, изобразительность и выдумка. Писать — это дар и подвиг.

Любители философии заспорили: Пытко-Пытковский говорил, что писать надо так, чтобы всем было понятно, а Птицин по обыкновению опровергал, и по Птицину выходило, что такого понятного для всех еще на свете ничего не появлялось и не может:

— И гнаться за такой понятной всеобщностью, ничего не достигнешь, да ничего и не выйдет, потому что пишется не для кого-нибудь, а для того самого, что пишется.

Балдахал напустился на Петушкова за «манерность» и «нарочитость».

Точно есть что-нибудь живое без манеры? — говорил Балдахал, — а ваше ничего не объясняющее нарочито», точно есть в искусстве что-то само собой?

И спор никогда бы не кончился, выручила случайность, впрочем постоянная на воскресных собраниях у Корнетова: профессору Сушилову попала чашка с подклеенной ручкой — упорная работа Корнетова, как говорили, в надежде за разбитую чашку получить полный сервиз — чашка, вовремя подхваченная профессором, не разбилась, но соседей подмочило.

Корнетов юркнул куда-то под платок, и на столе появилась связка баранок.

— Ешьте конурку: московские баранки («конуркой» называлось большое блюдо, с каждым воскресеньем подкладывалось свежее печенье, но можно было вытянуть и прошлогоднее) — я вам расскажу чудесный случай: чудо с 50-ью франками.

Руки потянулись к «конурке», а хозяин, стоя над чайником, рассказывал под вкусный чавк обольстительной Москвы.

— Выбежал я поутру купить папиросы; мелочь у меня вся вышла, взял я единственную бумажку — 50 франков. И представьте себе, дают мне сдачу: четыре по 10 франков, мелочь и мои обратно 50. Я говорю: «вы ошибаетесь, 50 мне не следует». А хозяин не берет, говорит, что я ошибся. И тут же при мне ящик открыл, куда мои 50 сунул, и я вижу, что там одни сотенные. «Странно, говорю, я очень хорошо помню, да у меня и не было 100 франков, эти 50 последние!» А ничего не поделаешь, взял я чудесные деньги. Вот оно, думаю, настоящее чудо! Но тут начались мои мытарства. Хозяин-то ничего, а хозяйка: как ни приду, пересчитает мою мелочь и непременно спросит, не вспомнил ли я, 100 франков я дал тогда или 50?

А мне и припоминать нечего. И смотрит такими глазами, точно я жулик.

Корнетов получил еще с Петербурга прозвище «глаголица»: и за свое уменье писать на глаголице — глаголица темная грамота вроде ефиопской, и за свой дар вызывать на разговоры — усовершенствованный инстигатор.

Африканский доктор первый поддался и рассказал свое африканское чудо — из чудес тысяча первое: как он представлялся черному королю.

— Затруднения настали с первого же момента, — африканский доктор говорил до того громко и страшно, Корнетов, боясь, что докторов голос разбудит соседей,

поднялся на цыпочки, а все присутствующие, как говорится, затаили дыхание, — король пожелал меня видеть, и я явился в смокинге, не учтя того обстоятельства, что у них это не принято: круглый год все поголовно ходят голые. Глушь непроходимая, все дороги испещрены разбойниками, и вид у всех пакостный, говорят же по-своему, ничего не поймешь, и, что я говорю, ни слова не понимают. На минуту я растерялся. И один мне шепчет: «снимите хоть брюки!» Пришлось подчиниться, снял, стою, ветерок продувает. Поправил я галстук: «можно ли, говорю, остаться в носках?» И тот отвечает, что это не имеет большого значения. Так меня к королю и ввели. И сейчас же все на брюхо упали и я один остался. Стою, разговариваю с королем, да по привычке все руку хочу в карман — проверить, и ловлю себя поминутно за ногу. И это на короля произвело огромное впечатление, или это у них публично не принято? На прощанье король мне подарил всевозможных размеров кольца: и самые маленькие, какими кур метят, и вроде браслет, такие — —

Чудесные рассказы продолжались: поэт Козлок о «тайнах ночи», Ржов из гражданской войны, Дулов — из петербургского «опыта» в революцию. Оттого ли, что такие рассказы уж очень часто рассказывались, или рассказчики неумелые, разговор пошел друг с другом, или по-здешнему «бавардаж». И тут наступила очередь за стульями, под Балдахалом подломилась ножка, а от Пытко-Пытковского отлетела спинка — работа Корнетова, тщательно склеивавшего поломанное, но не крепко.

Подымались и переходили в соседнюю комнату.

Там у Корнетова особенная полка под названием «наши достижения» — собрание русских периодических заграничных изданий, на каком-то роковом третьем номере оканчивающих свое существование: на корешках наклеены кресты и елочки; тут же для публичного обозрения выставлены были и всякие самодельные альбомы: знаменитый географический с королями, диктаторами и деньгами; исторический, составленный из газетной хроники и эмигрантских литературных «образцов» под названием «Колпак», и альбом «Россия»: царская, Керенского и Ленина — в портретах, деньгах и марках, оканчивающаяся рекламой мыла: целый выводок голышков-ребятишек, а под ними картинка — «Милюков со Струве играют в

шахматы», а на переплете с табачных коробок — «Нева»-«Сафо»-«Зефир»-«Цыганка»-«Стенька Разин»-«Ю.-Ю.».

Воспользовавшись всеобщим рассеянием — уж время было по домам — я вынул грамоту, разрисованную на китайский манер, моего великого собрата китайца Гоу-Ян-Сиу*.

— Послушайте меня, — сказал я, — предлагаю почтить нашего хозяина высшей наградой, какую только может дать человечество. Международные бандиты, играющие на человеческой глупости, изобретают себе всякие почести и титулы и добиваются признания подкупом, подлостью и лестью, но мы, собравшиеся здесь, без никаких выдаем Александру Александровичу Корнетову «премию мира» и увенчиваем его буйволовыми рогами.

При этих словах африканский доктор, подняв высоко над головой буйволовы рога и прокричав зловеще что-то вроде ура на непонятном языке, подал рога Корнетову, а я положил на стол у «России» мою китайскую грамоту.

И всякий, уходя, подписывался. И имен было столько, сколько гостей явилось в этот знаменательный вечер «компле».

3. НОЧЬ

День живым, ночь мертвым. Ночью усопшие совершают на земле покаяние. Каждой душе назначено свое особое место: одни души живут сто лет на ветвях, другие ходят по морскому песку; есть души, которые птицами летают по небу и зайцами бегают по полям. Ночью души, каясь, ищут спасения. Ночь мертвым.

Ночью на скрипучей телеге по ухабистым дорогам ездит Костяная. В телегу запряжена запаленная лошадь, худа и костлява. Тяжко скрипят колеса. На телегу навалены кости — руки, ноги, черепа. У домов останавливается телега, быстро проходит Костяная вокруг дома, высматривает: нет ли чем поживиться? Если хлопает дверь, когда нет ветра — это стучит она: не выйдет ли кто? Если в окне словно дождик, а небо звездное и месяц — это стучит она, не отворят ли? Если собаки лают к полуночи — и это она: она их дразнит.

---

* Гоу-Ян-Сиу — китайский поэт XI века. *(Примеч. автора. — Ред)*

Ночью человеку нельзя выходить на дорогу. Ночь не для живых, ночь мертвым. Ночью творится такое, чего живым нельзя видеть. Особенно опасно — кто ночью идет и свистит: кто ночью свистит, тот тревожит покаяние душ. Шел ночью весельчак-свистун, свистел, забавлялся, вдруг слышит: кто-то сзади свистит и так звонко... Оглянулся — а за ним весь черный в красном сиянии — только ему можно свистеть по ночам. И человек онемел.

Ночью нельзя просить милостыню. Шел ночью нищий по полю и видит, навстречу человек: нищий протянул руку. А тот говорит: «вот тебе, прими!» — снял обеими руками свою голову и подал ее нищему. Утром нашли нищего в поле — мертвый: в руках череп.

Ночью совершаются великие тайны. Один человек возвращался домой из города и в дороге застигла ночь. До самой полночи шел он один, а как взошла луна, вдруг появился, идет с ним рядом — весь такой светлый. Поздоровались. А тот его за плечи, отвел в кусты к краю дороги и распростер перед ним руки. «Стой, — говорит, — не смотри!» И раздался близко лай — словно два пса бегут и лают — и с лаем хрип и стон. Не вытерпел, открыл глаза: по дороге бежит женщина, ее растрепанные волосы мотались, рубаха разорвана, бежит босиком, а из ног ручьями кровь; бежит она из всех сил, и стонет, а за ней два огромных пса — белый и черный. При дороге крест — по кресту она бросилась и обняла подножие. Черный схватил ее — и рвать, но где-то далеко ударил церковный колокол — и черный исчез, а белый лег у креста и стал зализывать ей раны. «Какой ужас!» — и человек закрыл глаза. «Ты видел душу, бежавшую от своего греха, — сказал спутник, — иди скорее домой, сегодня я спас тебя, но и моим силам есть предел». — «Кто ты?» — И тот, опуская руки, ответил: «Я твой ангел-хранитель».

День живым, ночь мертвым. Ночь — совершение тайн, и ночь — горестный поезд безвозвратный.

Этот ненапечатанный рассказ Корнетова: «Из Бретонских поверий», Корнетов приготовил для заключения вечера, но сколько ни шарил, не мог отыскать на столе рукопись: рукопись сама спряталась, что бывает с живыми капризными вещами.

Глава вторая
СЧАСТЛИВЫЕ СЛОНЫ

1. ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ

В Париже есть замечательные уголки, мало их замечают! Загляните на рю Монж — на перекресток с Муфтар, станьте на площади перед Сен-Мэдаром и вы почувствуете: оттого ли, что около этой старинной церкви совершилось столько чудесных дел, вы вдруг спохватитесь, что погружены в века — все стало по-другому и ваши чувства и ваши мысли, но не пропало и Почтовое бюро, которое вас связывает с миром, и Газовое общество, которое атаковывает вас каждые шесть недель с немедленной уплатой по счету, все живет, но где-то тонко, как сквозь дым, над вами. Или подымитесь в сквэр-Монж — там сидит Вольтер — сядьте в садике на скамейку и все ваши заботы и тревога — вся эта отрава от жестоких сюрпризов жизни и от глубокого сознания, что не поспеть и не исполнишь всего отпущенного на твою долю, дни так кратки! — но тут и неизбежное, такое забудется, вы вдруг почувствуете свободу чистой мысли без конца и без начала, бессмертной, и час пронесется, не заметите.

А есть не только уголки, а и целые улицы — и особенно воздушны их перекрестки: XIII аррондисман Авеню-дэ-Гобелен — где бульвар Порт-Рояль, соединяясь с Араго, переходит в Сен-Марсель...

«Выйдешь поутру из углового бистро „Гобеленовский Шкалик“ — ближе папирос нет! нацелишься перескочить с тротуара к трамвайным островкам и вдруг, как поднятый на воздух, стоишь и глазеешь, не знай чего — а это-то и замечательно, что не знаешь! — трамваи, автобусы, автомобили, все это идет, бежит и мчится с тобой и твои мысли неразделимы с их вертящимся колесом — со всем движущимся на глубине и по земле Парижем, походя обнажающим голову и поспешно крестящимся, когда, как из распахнувшихся воздушных занавесей, вдруг выступит медленно тянущаяся колесница, где из-под спущенных черных драпировок глядят алые цветы, и ты снимаешь шляпу — знак почтения перед человеком, которому больше не надо искать квартиру!»

Это говорю я со слов Корнетова. Вы, конечно, знаете, Корнетов переехал на новую квартиру — и больше вы его не найдете в сумрачном Отэй.

Теперь Корнетов — на этом берегу в самом холодном Париже, что и называется «Гласьер» — и есть такая лавочка на Гобелен, где продается лед: «не тает», франк кило — «Ледник», где на бульварах платаны распускаются по-московскому с липами на Садовой и стоят зеленые до Михайлова дня, когда где-нибудь на Сен-Жермене или в Тюльери выжженные солнцем и выдымленные автомобилями одни голые черные сучья. Поздняя весна! Но зато из окна не одни залитые белым огнем заводы и серая громоздь домов, а поверх труб и тесно прижавшихся стен и совсем неожиданно и к великому удивлению, как воспоминание из детских годов, невероятно — звезды! и такая ходит луна, все уголки комнаты высвечены — вот какой слой лунной зелени — и если не завесить окна теплым платком, просто деваться некуда, а о сне и думать нечего, но и жарит солнце — юго-восток — с полдня до вечера.

Когда пришел срок к переезду, все мы, постоянные воскресные посетители, временно как бы пропали. Всем известно, как не любит Корнетов, когда ему мешают, а переезд на другую квартиру, по себе знаю, дело очень мудреное, тут и поднять надо и передвинуть и денег нет, вы понимаете? Все мы, и не сговариваясь, решили, что лучше не мешать, а когда устроится, в одно из воскресений и нагрянем справлять новоселье.

А ведь хорошее место выбрал себе Корнетов: на этой стороне и воздуху больше, и светлее солнце, и проще — тут никакими «Климатами» не завлечешь, ну никаких и гранатных яблок не достать — всем там, в XVI-ом, но зато на Муфтаре вы найдете все в готовом, только разогреть, — и картошка, и капуста, и спаржа, и горошек, и артишок, и бульон, чего хотите.

Горе ему с автобусами. Да не сами автобусы — автобусы самое легкое и приятное передвижение, — а подход, чтобы вскочить. Три автобуса в вашем распоряжении: H, U, U-bis. На U и U-bis с закрытыми глазами и в любой час вскочишь, а в H — стоит под носом, а не сунешься — такси шныряют и скачут безо всякой, попробуйте перейти, а главное никак не наметишься: эти и U загораживают.

Хорошо еще, что Корнетов не ездок... впрочем, все равно, всякое утро вы можете увидеть его на Араго, высматривающим из-за U — вид, я бы сказал, замышляющего террористический акт: метит перебежать на ту сторону, чтобы потом от «Голубого циферблата» — на Гобелен, а там, перепрыгнув по трамвайным островкам, попасть в угловое бистро «Шкалик».

Здраво рассуждая, Корнетову следовало бы сразу купить себе на неделю свою порцию «синих», а не репетировать «покушение», тем более, что по своему мирному складу... «премию мира» не зря получил! такая героическая тренировка ему ни к чему, но я понимаю... освободи его от папирос, и уж он из дому ни на шаг.

Дом найти немыслимо: № прикреплен не над дверью, где его обыкновенно смотрят, а висит на балконной решетке на первом этаже, а задирать голову не всякий догадается.

Профессор математики Сушилов, впрочем, давно забросивший свою математику — чего ему с ней в городе математиков! — а в качестве репетитора преподававший русский и латынь, уча без всяких наставительных «ключей» хорошему тону и изысканным манерам, Сушилов не раз подступал к самой двери — нет №-а! То же и африканский доктор, получивший славу африканского за свой дикий экваториальный год, и больше не практикующий — Париж не Дагомея! — безнадежно шарил глазами под дверью — нет №-а! Пока кто-то из «проникновенных» не предупредил, что Корнетов там — где кинематограф, а никакого №-а искать не надо.

Но если вы, ни на что не обращая внимания и вопреки всем правилам, установленным о домовых №№-х, нашли и попали в дом, вы подымаетесь по узкой, где-нибудь в Москве или в Петербурге немыслимой, такой узкой лестнице, начищенной в «тримэстр» — ко дню платить за квартиру и под праздник такой едкой восковой смесью, от которой, еще при перестройке заведенные в доме, неистребимые синие навозные мухи, без всякой липкой бумажки помаленьку дохнут, а у человека с воли такая вдруг жгучая жажда, точно только что пообедал в русской столовой, вы подымаетесь мимо прижавшихся к стене покорно и как-то робко (внизу кинематограф!) уступающих вам дорогу. Музыка гремит цирковой задорный марш или

наскакивающий фокстрот или такую выводит захватывающую гренадину — лестница, как подъемная в метро, катится ступенями вам под ноги и тащит вверх без всякого вашего усилия и даже без желания, и ни о каком лифте вы не спохватитесь, хотя бы лезть вам на самый последний.

А лифт есть и начало берет не с земли, как это принято, а от консьержа, у которого под носом неугасимо что-то вроде папиросы, выпыхивающей несоразмерно густые клубы сизого дыма, — как в облако вы входите в кабинку. Только не трогайте последнюю кнопку: предельный подъем шестой! — вас-то и выше дотянет, но потом так упрется, так крепко и вниз никак, а ведь монтер не только этот лифт исправляет, а и у всех соседей — какой же это в Париже лифт без «пана», или, по-русски, г...о! Спокойней и вернее подыматься до пятого — для предосторожности все-таки, нажав кнопку, не отпускайте ее до второго, а потом можете отпустить руку, а то случалось, что с первого же вздрыга и — застрянет; так застрял Балдахал со своим «Русским стилем» — книгой, изданной в количестве ста экземпляров по подписке и не нашедшей ни одного подписчика! — но, как бывший историк-педагог, здесь устроившийся гарсоном в химической лаборатории, Балдахал нашелся: с остервенением надавил кнопку и, не сводя глаз с пальца, как ни в чем, поднялся.

День на день не приходится, и если с музыкой вас охватит гарью и глаза щиплет, не обращайте внимания, ничего опасного: это отопление в кинематографе. Как затопят камин — весь дым на лестницу и по всем этажам — двери щелястые, «Les Nouvelles Littéraires» пролезет, а письмо подсунешь, как в ящик — во всех квартирах стоит дым коромыслом и так все разбегаются — пожар! — как крысы на новой стройке, когда фундамент подводят. Но, говорят, что это совсем не вредно, только неприятно и в носу щекочет. Почтальон, разносящий деньги, предусмотрительно в противодымной маске даже и когда никаким дымом не пахнет, но позвольте вас уверить, что все это неправда, просто такое у него от природы, и обзаводиться маской не стоит.

Так под музыку легко и весело вы попадаете к Корнетову.

И первое — тепло: и в самый сибирский мороз, какой лютовал эту зиму в бесснежной Европе, только двумя

теплыми платками закутывался Корнетов поверх двух свитеров и нательной шведской фуфайки, и на голову вывезенную из России расшитую шелками самаркандскую тюбетейку, и все, кто ни побывал у него за эту зиму, говорили, что против других домов чувствуешь себя, как в бане.

Шкинев и Паняев, инженеры, наконец-то устроившиеся на вокзале мыть вагоны, объясняли такую температуру не столько площадью радиаторов, сколько необыкновенной даже для теперешней послевоенной стройки тонкостью стен — «явление тепловой диффузии, говорили, локатер локатера греет»! Этот закон диффузии почувствовался куда острее, когда в апреле с прекращением центральной топки «локатер» превратился в ледышку.

А, что стены по тонкости беспримерные, это верно: слышишь, как у соседей щелкает выключатель и еще какой-то звук, хотя нигде ничего не строится, а все точно тес отдирают: днем — ничего, в водопроводе швыряет и выпрыгивает куда зловещее, но если ночью, этот звук можно еще сравнить с первой весенней грозой. Впрочем, к звукам легко привыкаешь, а при таком наплыве — трамвай, автомобили, водопровод и этот «отдирают» — они превращаются в шум, а шум, что серый цвет, никакого впечатления — пустое место.

Везде принято, как всем известно, ложиться в десять, по крайней мере с этого часа не кричать, не топать и не прибивай гвоздей, а у Корнетова, как правило, спать только с двенадцати, по окончании кинематографа: и не потому, что музыка — под музыку и спится крепче, и сон легкий, и притом музыка не до небес, верхам не слыхать, только звонок на переменах, но звонок, хотя по природе сгонщик, но и через картонные стены тон его мягкий, никак не напоминает будильник — нет, для безопаски.

В первые недели, когда контракт был подписан и заселились все квартиры, консьерж, обходя «локатеров» и несоразмерно выдыхая дым, — тогда-то Корнетов и заметил этот его неугасимый огонек, — невозмутимо и как-то иронически заявлял каждому, что в доме жить очень опасно:

«Кинематограф!»

«Когда же это можно ожидать?» — справлялся всякий, делая вид невозмутимый.

«Когда идет представление», — тлел, дымя, огонек.

«А когда оканчивается?»

«В двенадцать», — пыхало дымом.

И хотя вскоре появился агент страхового общества и всякий застраховал свое имущество от огня и застраховал соседей, переплатив в шестьдесят раз за риск — «кинематограф!» — время сна нисколько не передвинулось к нормальному и осталось, как правило, полночь. И как бы другой раз ни манило, если кто и ляжет, а заснуть — все равно, сон не придет. Первое время даже избегали выходить до двенадцати, а караулили дома, ожидая пожара, когда начнется.

К пожарным привыкнуть невозможно: каждый день — а это на дню и не раз бывает — на пожарный гудок срывается весь дом со всех этажей смотреть пожарных.

Три автомобиля — пожарные в касках, пожарные с пожарными снарядами, кишками, крюки и веревки и, наконец, огромная складная пожарная лестница — три гудка, и эти три гудка сливаются в один истошный: «рас-ступись — до-ро-гууу!» — замирают такси, трясется на месте рвущаяся мотоциклетка, пригвождаются к тротуарам прохожие, и ажан на перекрестке свистит само собой. И всякий раз Корнетов влипает в стекло, провожая глазами, пока не замрут гудки и снова не покатятся автомобили, снова не затрясется мотоциклетка и опять не заспешат прохожие, и ажан пошел.

Невозможно еще привыкнуть, что в погоду, когда подымается ветер, каждую минуту может провалиться дом, современная постройка! И еще никак не привыкнешь, что топают над головой.

Я застал Корнетова, обложенного Византией — книги и на столе и на высоких, как в бистро, табуретках: тут и знаменитый X век Шлюмберже, и три огромных тома «Истории Византии» Кулаковского, и ни с чем не сравнимый, разве что с церковной минеей, Успенский, и лекции Васильева, и иллюстрированный Диль.

«Изучаю, — сказал Корнетов, — не могу только про иконоборство дознаться, а хочется все века, всю жизнь, чтобы понять: сил моих нет — верхние соседи греки,

греческие мальчишки, вы понимаете?» — и показал на окно.

Перед окном искусно, как на мачте, спускались к Корнетову — я сосчитал: шесть пар штанишек и какие-то лифчики — их было куда больше, и парусом раздувались простыни.

Греческая жизнь начинается с шести: все дети бегают и стучат, это уж! — но греческие особенно, как и все в них, — да и как же иначе, такой истории нет ни у кого, а греческий огонь всех жгуче! — тоненькие, остренькие, ушки, носики, глазки — если столкнешься у лифта, они поддаются и Корнетов всех рукой смазывает, всех сразу — изумительные! А что они только выделывают, когда острые носики повыпрыгнут из теплых кроваток, какой подымается прыг, какой скак — безостановочно — какие-то шарики перекатывают. Зимой еще туда-сюда, но когда стало пригревать — окна на юго-восток! — в первые весенние дни они остервенели и безо всяких видимых поводов — весна! — они наскакивали друг на друга, как молодые телятки, перепрыгивали через голову чехардой и цапались. А один есть самый маленький — его Корнетов не видел — он еще не прыгает, только подает голос, и ночами его баюкают. И когда среди ночи старый грек поет над ним песню — что-то вроде попугая — и конца не видно, а, видно, сам не замечает или не до того? но когда поет нянька — и из какой дикой Исаврии принесла она сюда песню? или поет в ней пленница из волшебного Алеппо, родины арабской сказки и песни? — не заснуть, всю бы ночь слушал.

Я думаю, этот «греческий огонь» куда кинематограф с постоянным ожиданием пожара, и никакая Византия не поможет. А когда подрастут греческие ребятишки, кончится квартирный контракт, и, если суждено Корнетову еще жить на белом свете, с Византией и без Византии, все равно ищи квартиру.

2. ВЕТЧИНА С ГОРЧИЦЕЙ

Окно на юго-восток — черешни на обоях за первые солнечные дни превратились в волчьи ягоды, а от нахохлившихся птиц на бордюре — одни клювы. Стена — книги, книги заходят и на другую стену, и там по стенке над «Раем» — картой Ближнего Востока — инструменты:

долота, сверла, стамески, навертки, молотки, пять пил, есть и круглая для распилки несгораемых шкапов — опытные мастера это делают теперь чище и вернее электричеством, но пила никогда не помеха — и нож с металлическим отворотом на рукоятке, как сабля, для разрезания кожи.

Подбор инструментов объясняется не столько работой Корнетова — и разве уж так много ящиков сделает он себе для книг, а сапожное дело не его! — нет, скорее, как сам он говорит: «по случаю юбилея Льва Толстого». Не хватает косы, увековеченной Репиным, но Париж не Ясная Поляна и больше подошла бы «Maman Jeannette» — гладильная доска, раздвигающаяся, как козлы.

Корнетов спал на полу под «Раем» и инструментами и только к концу месяца появилось сомье; из обрезков от покрышки кнопками он прикрепил над сомье что-то вроде спинки — совсем как диван!

Другая комната на север — пунцовыми цветами с темной зеленью и на бордюре бутылки — нелегко было подобрать: «да, как в бистро!» — говорит Корнетов. Тут он будет в воскресные вечера колдовать над своим «лионским» чаем, а умеет — и так заварит и так подаст — горячий, душистый, крепкий, и еще бы попросил чашку, только он не любит, когда тянутся за второй, это я заметил.

В коридоре лампочка — круглая, как дыня, в красных пупырышках, раковина из Роскова — свет никакой, а зловеще.

Первые недели по утрам осаждали со всякими счетами, потом пошла поверка: проверяли газ, электричество, окна и двери. А когда все оказалось в порядке, начались звонки: демонстрация с пылесосом.

Демонстрация предполагалась утром и Корнетов под предлогом, что как раз по утрам он должен выходить из дому, отказывал. Но каждое утро, отворяя дверь, натыкался. И вдруг его осенило — и когда началось обычное:

«Это вам ничего не будет стоить, вы только посмотрите, как он будет действовать...»

«Да у меня и ковра нет!» — торжествовал Корнетов.

«А ковер мы свой принесем».

И на это без подготовки, ну что бы вы сказали?

На другой же день принесли: и ковер и такую вот огромадную кишку — началась демонстрация. Кишка дыхнула — и на глазах у Корнетова мелочь, какая была на столе, заготовил на папиросы и газету, в эту кишку все и ухнуло — ну, как сглотнула. А какой был грязнущий коврик — новенький смотрит, только что этикетка сорвана.

Зря истрачено электричество — кишка прожорливая! — а рад, что все кончилось и больше не будут звонить с пылесосом. А прошло несколько дней, звонок:

«Демонстрация с пылесосом...»

«Да были уже!»

«Ничего не значит: мы из другого общества».

Не отворять дверей? — а может почтальон: деньги...

Корнетов не ждал никаких денег: ведь если бы действительно кто-нибудь хотел ответить на его просьбы о деньгах, давно бы ответил! — а уж прошел месяц.

В безопасный час — после кинематографа вышел он письмо опустить.

Нет, он верил... Ведь некоторые письма и особенно просительные, как говорится, пропадают или еще и так говорят: «вы забыли свой адрес написать!». Вот если бы он умирал... но, «вы просите на устройство — разве это такая крайность; ведь другие и хуже живут!». Нет, и такой ответ его не удивил бы — он всего ждал. Но его ничем не прошибаемая вера, что человек может и хочет сделать тебе добро — ведь устроиться, это все равно, что падал и вот поднялся, теперь надо как-то, чтобы удержаться! — эта вера в человека внушила ему писать письма.

Ближе, как на почте, он не знал ящика — не сразу показываются вещи, а как раз против «Шкалика» фонарь с синим «Lettres». Декабрь — ярмарка на Гобелен. И там, где автобусы, из-за которых каждое утро высматривает Корнетов, стоит карусель со свинками. Ярмарка еще не открывалась, но езда по Араго прекращена — путь чист.

Опустив письмо, Корнетов шел по заставленной по обе стороны лавками, палатками и фургонами улице, как у себя по коридору. Ночью ему всегда беспомощно — зрение 11 диоптрий! — но что же ему вглядываться и осматриваться? И эта свобода — куда хочешь! — и вера, что выручат! — он чувствовал крепкие ноги, и легко. И был весь переполнен тем самим чувством, которое вдруг подымается во всем существе человека, и потом долго

помнится час, день, где — редкие счастливые минуты, какие даются человеку, это какая-то беззаботность, безмятежность и всемогущество.

Даже не заметил, как прошел Гобелен и, уже переходя Араго, вдруг остановился: прямо на него шли звери — лев, обезьяна, еще один ушастый и лисица, а сзади, прихрамывая, журавль; они были на цепи и какой-то сопровождает их. Корнетов ждал пропустить — наверно, это из цирка вроде прогулки. И лев, поравнявшись, подал Корнетову лапу — —

А ночью приснилось, входит он в комнату: стоит свинья необыкновенных размеров, каких не бывает, с буфет, а похожа на тех, что на карусели бегают, розовая, атласная, но не искусственная она, бок у нее надрезан — а никаких внутренностей! — белый слой сала обнажает ветчину — это гигантский окорок — ветчина! и тут же рядом миска с ярко-желтой горчицей и отточенный нож.

3. ЭМБЛЕМА СЧАСТЬЯ

Я не знаю, что затевали другие, а я остановился... эмблема счастья! — пара слонов, не брелки, а как стоячая лампа, а сделаны под яшму, но для яшмы легковаты, впрочем, если рванет, ноги их крепки, никакая и самая крохотная бумажонка не подумает улететь с ветром, и предназначались они — «художественная работа!» и на случай бури. Этих слонов я подарю Корнетову на новоселье, тем более, что они мне ни к чему.

Наступило воскресенье — срок вполне достаточный для устройства, и опять, и не сговариваясь, нагрянули гости. И я со своими слонами. Хозяину я только шепнул, показывая на мой солидный сверток, что это «счастье», и, не развертывая, положил в углу, к его калошам.

Корнетов сиял от счастья.

Переезд — перемена вещей. Я думаю, что даже необходимо — ведь сколько появляется всяких ненужных, с которыми расстаешься только перед отъездом, а Корнетов — с его жалостью что-нибудь бросить, другого нет способа, чтобы освободиться.

И эта свобода сразу чувствовалась в новой квартире: комната с бутылками под потолком и географическими картами и планами по стене — только буфет с красными

шторками, как в бистро, стол и вокруг — на стульях, на чемоданах, на табуретках, а кто и на пол сел.

И как с вещами, так и с людьми. Кое-кого, кто не переводился на воскресеньях, я не заметил: не было «изобретателя» Миши Писарева. А вместо него, на высоченной табуретке, вопреки всей своей судьбе незамечаемого человека, Бауткин смотрел поверх.

Бауткина я знаю еще с Петербурга, хотя и не знакомы, меня всегда ему представляют; странная судьба: писатель, пишет ничего, но когда начинает рассуждать, такую несет чушь и всегда о грехопадении, при перечне сотрудников всегда попадает во «многие другие», а в рецензиях на сборник с его рассказом, когда доходило до него, всегда читаешь — «об остальных поговорим в следующий раз», а этого следующего раза никогда не наступит — или появлялась книга, на которую требовался немедленный отчет, или смерть «замечательного» человека — некролог, а потом, скажут, поздно; в России еще кое-когда мелькало его имя в газетах — писал письма в редакцию о своем выходе из только что возникшего журнала, в котором не было его ни строчки, но в Париже... Как здесь, так и в России, сколько за эти послереволюционные годы повылезло всяких серелньких «зозуль», раздутых политикой, партией и глупейшей провинцией знаменитостей — «замечательных» и даже «великих писателей», а ему не повезло, чего-то нет... он таскался на все торжественные панихиды с тайной надеждой, что хоть в отчет попадет — «среди присутствующих мы заметили». А не замечают. Такая судьба его, и бедовая.

«В нашем мире — все мы „бывшие“ — все инвалиды, дунет ветер и исчезнем и никто не хватится, не заметят, а все-таки цепляемся за последние нити жизни — есть всякие способы устраиваться, главным образом, „общественные“, при „общественных призраках“ (власть имен и названий живет долго!), а он — не умеет, очень бедовал, теперь шофер... и что из этого выйдет?». Такое я слышал как-то про него. Корнетов говорил.

Первый и неизменный вопрос всякого приходящего: «сколько вы платите за квартиру?» Корнетов трудился над своим волшебным чайником, и я заметил, сколько он ни уменьшает плату, ответ один: «дорого».

Ссылались на какого-то знакомого, который занимает большую квартиру, а платит меньше. Потом оказывалось, вовсе не меньше — а внес «отступного» столько, что, если разложить, выйдет, пожалуй, и дороже.

Мне казалось, так упорно и неотступно расспрашивая о плате, собираются внести «терм» за Корнетова и освободить его на три месяца от всяких квартирных забот, но скоро я понял, что это просто так полагается — новосельный чесать язык.

Но этим дело не кончилось: от квартиры перешли к обстановке — к столам, буфету, сомье, стульям. Корнетов взял в рассрочку и само собой переплатил, но где же было взять, чтобы сразу выложить? Дело ясное, и все-таки нашлись, которые доказывали, что в рассрочку не надо было брать, рассрочка и дороже и душит, а надо все — на Marché aux puces.

И тут я понял, что дураков на свете водится гораздо больше, чем это принято думать, или чем больше живешь, тем больше удивляешься.

К чаю стояли удивительные вещи: орехи в сахаре, пастила, английские и голландские печенья, миндальные «макароны», крендель, румяные еврейские халы, кавказский чурек, малороссийский хруст, алжирские финики, миндаль и варенье, а в кирпичной берлинской сахарнице знаменитый кристаллами «канарский» сахар.

— Птицы принесли, — сказал мне Корнетов, — попробуйте хворост.

Эти «птицы» — в первый раз вижу — две барышни с красными перышками.

Новой была и дама — служила кельнершей в русском ресторане, теперь ночной шофер: она вошла шумно и, торопясь, объявила, что у нее есть проект — и Корнетов сразу разбогатеет. Вы думаете, она сказала о чудесной невидимой руке византийских сказаний, которая дает и исчезает, или на современный лад, о каком-нибудь чудодейственном Форде, нет.

— Напишите сценарий для фильма.

— Да я не умею, — сказал Корнетов.

— Но это так просто...

И принялась рассказывать подробно о жизни какого-то своего знакомого, который был замечательным дансё-

ром — «нарасхват» — и ничего, а теперь пишет «звуковые» сценарии и так разбогател, что ни в чем не нуждается.

Никому нельзя было вставить слова: она одна говорила и с чаем и без чая, с орехами и без орехов, заполняя паузы многозначительными «и все такое». Я узнал, что за свою способность — «так из ничего насыщать словами», она получила прозвище «Борщок». Борщок был непрерывен и нескончаем — она забыла о фильме и о своем счастливом знакомом и убеждала Корнетова заняться: «работа не трудная и всем доступная — „дансёр!“ — успех у дам и он обеспечен». Глядя на Корнетова, я думал: «хорош тенёр, и до чего он похож на китайца!». И только раз — в момент глотка — прозвучал математически точный голос:

— Я восхищен без остатка!

Это профессор Сушилов над селедкой: в «готовом виде» эту селедку принесла барышня в шапочке, примостившаяся вместе с другою — «Кроликом», на чемодане; обе с приподнятой головой для равновесия.

Не было человеческих сил остановить Борщка — сорвала вечер! — и даже «Ситуация», дама говорливая в возвышенном тоне, художница, только многозначительно перешептывалась с соседями, «меча икру» на корзине под Кроликом и барышней в шапочке, и сама кукушка, запрятавшись в своем кукушечьем домике, хоть дверца и отворялась, но не слыхать — не куковала.

И надо было, чтобы весь «Монументальный Париж», от Сакре-Кер до Обсерватории, и от Июльской колонны до Трокадеро, все церкви, площади, дворцы, музеи, госпиталя, сады и памятники до последнего — Мицкевичу, рухнули на ее голову, хороня с ней и двух соседей ее, «нарицательных» Ржова и Дулова — «Увязку» и «Продукцию», названных так за неумеренное и невпопад употребление советской терминологии.

Корнетов принес гвозди и молоток, но самому подступиться к стене за стульями и табуретками не было никакого хода.

— Мои руки созданы не для гвоздей! — сказала неизвестная мне дама, по-видимому, манекенша, принимая от Корнетова молоток и гвозди.

А высвободившиеся первыми Увязка и Продукция помогли ей водворить Nouveau Paris Monumental на старое место.

Наступившим замешательством воспользовался Корнетов и для своей подстрекательной наводки рассказал о греческих соседях, пылесосе, зверях и ветчинном сне.

И, как всегда, первым выступил экономист Птицин.

— Если ваш грек — Аксиотис, — Птицин всегда все опровергал, — какой же это грек? Лакакон, Горгонит, Катакал, Пастила, Лаханодракон, вот это греки, а ваш Аксиотис вовсе не грек и даже не валах, это куце-валах, и изучать Византию ни к чему.

И, как всегда, Птицину ответил бывший издатель Пытко-Пытковский:

— Чтобы постигнуть кельтскую Европу, — сказал Пытко-Пытковский угрожающе, — надо знать Византию и, чтобы проникнуть в душу нашей родины — татарской России, без Византии нельзя: Византия это дух души России. А знаменитый «всешутейший собор», вы думаете это выдумал Петр? нет, еще в IX веке за него постарался византийский император Михаил III, прозванный не «великим», а «пьяницей» за свои сверхъестественные безобразия.

Петушков, как человек практический — «доставляет продукты на дом» — советовал Корнетову устроить где-нибудь в Гаво собрание и объявить о своем пророческом видении гигантского окорока:

— Не иначе, как к падению большевиков: успех обеспечен.

Кто-то поинтересовался о куце-валахах: где они живут, входят ли в Лигу Наций и как называется их главный город?

Но профессор Сушилов, поддавшийся на таинственное явление зверей, рассказал свое, не менее таинственное, и как раз в ту же самую ночь.

Как известно, смертная казнь совершается на Араго, там у бесконечной тюремной стены ставится гильотина, а это совсем по соседству с Корнетовым. Засидевшись на Монпарнасе в «Куполь» — «un quart de Vichy» (за стаканом Виши), домой ему не хотелось, задумал проведать Корнетова и дорогой наткнулся: «la veuve!». И как человек нежный и чувствительный при виде гильотины («la veuve») был он так потрясен, не помнит, как и очутился у себя в Нейи, а хорошо знает, что ни в метро, ни на трамвай не садился.

— При одном воспоминании волосы встают дыбом! — Сушилов, действительно, был взволнован, хотя волосы на его голове только сзади к вороту висли, с голой макушки.

И опять выступил Птицин: Птицин усомнился в Сушиловской гильотине — в газетах не было никакого сообщения, и вернее всего, Сушилов попал не на Араго, а на Порт-Рояль: как раз против рю-де-ля-Сантэ рынок:

— Не гильотину, а укрепляли чугунные стойки для навеса!

За Сушилова заступился его друг Monsieur Dorat: по его мнению, таинственное в мире не прекращается, а во Франции — в Париже, мировом центре, где жизнь так напряжена, среди самых нормальных явлений таинственное неизбежно, это как болотные огоньки из трясины — и явление дрессированных зверей и «la veuve» (гильотины) возможны.

— В «Action Française» в хронике было сообщение, очень интересный случай: на рю-Блорнэ какой-то остановился около камиона, запряженного парой лошадей, и выделывал перед лошадьми что-то странное: и спрашивал и понукал. И ажану он заявил под секретом, что он Мерлин, узнал в лошадях двух своих, обращенных злым волшебством, закадычных друзей и старается снять с них чары и снова обратить в людей, а что сам он скрывается под именем Альбер Мовьель, 53 лет.

— Со мной тоже случай, — сказал со своего возвышения всех выше незаметный Бауткин, — аксидан! Не знаю, каким образом пустил я машину не в том направлении, заволновался, стал поворачивать, наехал на тротуар и ранил ажана. Билет у меня отобрали — целый день канителился. И с последним трамваем возвращаюсь домой, соскочил на остановке, подымаюсь по рю Вильгельм, знаете, такая маленькая улица около Эглиз д'Отэй, и чувствую, что надо остановиться; осмотрелся, ни души — да и днем туда никто не заходит! Но тут и начинается грехопадение — ну, прямо, как с неба, откуда ни возьмись: две «ласточки». Слезли с велосипедов, подождали — а потом протокол. Теперь франков 20 придется заплатить и судебные издержки.

Мерлин или этот аксидан оживили Борщка — и Борщок заговорил о каком-то знакомом плонжере, перебившем в ресторане за мойкой посуды три дюжины севрских сер-

визов — «прямо с выставки старинного фарфора»! и о каком-то шассёре, сбежавшем из отеля — «на побегушках спятил»!

Стали высвобаживаться и подыматься. И тут кто за Корнетовым — в его «инструментальную», кто переменил место и положение, а кое-кто из оставшихся за «неуместностью» в инструментальной проникли в «бутылочную».

Я вышел за Корнетовым. Эта комната куда меньше — и много места занимают книги. Всех интересовали пилы и самовар.

Самовар — «дачный», летом вся подмосковная — Кусково, Царицыно, Останкино, Воробьевы горы. Сокольники — такие, прямо на травке ставят, и не углем, а на еловых шишках, дух хорош! — без крышки и деревянных шишечек, за что браться, и требует основательной полудки: новосельный дар Балдахала, неоднократно жаловавшегося на обузу — ни стола нет, ни ткнешь никуда, живет в отеле. Но что самовар!

— Вот посмотрите, — сказал Корнетов, показывая на книгу, — мой рассказ перевели на китайский!

И все мы заглянули в эту странную книгу — книга иллюстрированная. И хотя картинки не совсем подходили к рассказу: «пора цветения вишен», «девочки переносят через реку еще меньших у себя на закорках», «главная улица в... Шанхае»? — но кто же из нас понимает по-китайски!

— Извините, — прощалась барышня в шапочке, ей надо торопиться в Кламар, — я сегодня читала рассказ Корнетенки, ведь это тоже ваш, чудесно!

— И мы тоже, — прощались «Птицы» — две барышни с красными перышками: им завтра с утра на работу.

Корнетов сиял от счастья.

*

После — окурки — и под столом и в пепельницах (устричных раковинах) и на блюдечках — курятник!

Корнетов раскрыл окно и с нетерпением принялся развязывать сверток у калош — «счастье». Но это не так-то просто — крепко и основательно и в скольких газетах! — наконец добрался.

У него даже сердце упало: зеленые слоны! Слонов он никак не ожидал. Он был уверен, что там что-нибудь по хозяйству: кокот или кастрюли или электрический утюг.

И что ему с этими слонами? Поставить на стол — весь стол займут, сунуть куда в угол — не подходит: слон не табуретка. Только что освободился от вещей, а они опять!

В прихожей, загораживая уборную, громоздкая, тяжелющая вешалка, по тонкости домовых стен никакой гвоздь не выдержит — Бауткин принес — в крайнем случае ее можно в камин. А на столе самовар — а и самовар можно — да тем же «птицам» подарить на их новоселье: им пригодится — смотри, «Россия»! И на столе же около иллюстрированного японского календаря («перевод на китайский»!) фарфоровые головастики — подставки для ножей, шесть штук — принес африканский доктор — ну, эти головастики хоть места не занимают и можно по одиночке гостям по карманам рассовать. Но слоны — хоботы не спрячешь, выпираются, да и нет больше гоголевских карманов, вмещающих арбуз.

Корнетов не перенес слонов в комнату, оставил на полу в прихожей. Закрыл окно, а уборку на завтра. Стеля сомье, он заметил, что лоскуты, прикрепленные кнопками к стене, изображавшие спинку дивана, отпали и пришлось ползать по полу, кнопки искать. И сколько ни шарил — и за сомье, и по углам, и под столом — не иначе, как вошли в кого-нибудь! — ни одной не было.

И только уверившись, что кнопки разошлись по Парижу, лег.

Долго не мог он приладиться — слоны из прихожей перешли в комнату и, подымая и опуская хоботы, отгоняли сон. Кукушка прокуковала час-два и три — не уходили слоны. Вся комната была ими заставлена, зелеными, зелеными хоботами наставлялись они на Корнетова — «не гони нас, Александр Александрович, мы принесем тебе счастье!» — и, обвиваясь вокруг шеи, душили. И не было никакой надежды прогнать слонов, И вдруг осенило, как тогда с демонстрацией пылесоса: «ma tante» (заложить).

— — — — — — — — — — — —

Трудное дело упаковка, а когда вещи с хоботом — это уже замысловатая работа. Выпираются из газеты, ну, что хочешь. Знай Корнетов что до здешнего Credit Municipal ближе ему, чем до «Шкалика» за папиросами, нечего было бы и мудровать, а ведь он по привычке собирался, не ближний путь, на рю де-Рен!

Ветер-холод-дождик — только слоны выгнали его на улицу! С чемоданом — другого нет способа — примостился он в автобусе, хорошо еще, что пустили. А что если слонов не примут?

В ломбард поспел первым — только что кончился обеденный перерыв — народу никого. И это хорошо. Только бы приняли! А не легко слоны вынулись — это все хоботы! — не один, вдвоем потащили слонов разбирать. Чемодан не закрыл, ждет, могут вернуть. Какая это будет канитель назад тащить.

— — — приняли! вот и номерок.

Закрыл чемодан и только что присел на лавку, кричат:

— 50.

И головой, и руками, и по-русски, и по-французски: «согласен». Слоны приносят счастье: вот не думал — 50. Конечно, согласен!

Выучил свой номерок. Тут и народ стал подходить: несут и такое, куда слоны — нечего было и беспокоиться, слоны не салфетки! Все принимают. Выкликали номера тех, кто позже пришел, несколько раз подымался на чужой — как все иностранцы. Корнетов путал цифры, говоря, и когда говорят. Не могли же там перерешить? а перепутать возможно! — и он подошел, чтобы справиться, не прослышался ли? и услышал свой №.

Карт-дидантитэ и открытку с адресом, испещренную всякими хоботами (Корнетова зовут «хранителем великих заветов русской каллиграфии!») — нацелил под нос:

— Не надо.

И только в книге подписался. И к решетке, отдал №.

— Сколько?

— 50, — сказал Корнетов.

И кассир просунул: с квитанцией пять франков.

Корнетов взял деньги, но не отошел: «пять франков? — пятьдесят франков?». — Нет, он ошибся: «искусственные слоны — пять франков», — так и написано.

С пустым чемоданом вышел Корнетов из ломбарда. Дождик-ветер-холодно — одно только, что приняли...

— — — — — — — — — —

M.,

L'Administration croit devoir vous rappeler que votre contrat est arrivé à expiration et qu'elle va se trouver dans l'obligation

de réaliser son gage. Vous êtes done invité à effectuer, dans le plus bref délai, une opération de renouvellement ou de dégagement, si vous désirez éviter cette vente qui est imminente.

Dans le cas où vous feriez abandon de votre gage la vente peut donner lieu à un boni que le porteur du récépissé est admis à réclamer pendant trois ans, a dater de la derniére opération.

Le paiement des bonis s'effectue à la 1-re Succursale, tous les jours, de 9 heures à 16 heures, sans interruption (dimanche et fêtes exceptés).

А это значит: приходите в ломбард за слонами, перезимовали они в теплом помещении, а теперь лето, домой просятся... к хозяину.

«— — — какой же я хозяин! — ведь вас поставить негде!» — и жалко: в самом деле, не гнать же их? Уж как-нибудь. — «А мы тебе, Александр Александрович, — говорили слоны басом, — счастье принесем!». — «Спасибо».

«Бутылочная комната»! — трудно себе представить большего безобразия, чем эти обои с бордюром: «бутылки», ну а эти слоны — я-то их хорошо знаю! — вот именно то, что нужно для музея безобразных вещей, вот их где место.

А они у него стоят, ей-Богу! на стол все-таки не решился, или не помещаются? — а у радиатора: «обезвреженный» без крышки самовар и они, весь угол заняли, зеленые с зелеными хоботами.

— Ну, скажите, Александр Александрович, принесли они вам счастье?

И вижу, чего-то насупился — мне даже неловко стало, ведь я вроде как подсмеялся над ним!

И вдруг он улыбнулся:

— Принесли, как же! — и в голосе столько прозвучало, такой мир, и еще что-то, хотелось сделать что-то, чтобы и все это почувствовали! — ведь я живу только чудом щедрого человеческого сердца.

Глава третья
ЖЕЛЕЗНЫЕ САПОГИ

1. ПОПУГАЕВА БОЛЕЗНЬ

Я застал Корнетова перед дверью собственной его квартиры. И тут же влипавший в дверь слесарь. Слесарь в «железных сапогах» — «железных» в глазах Корнетова — длинными крючками пробовал отпереть дверь: трудность была в том, что совнутри вставлен ключ, и его надо выбить — Корнетов, выходя, захлопнул дверь, не вынув ключ.

— «Призоннье»! — сострил спускавшийся верхний сосед, удостоверившись, что его ключ болтается в кармане теплее тела.

Шутка шуткой, а завидовать нечему: «пленник»!

Да если бы такое в будний день. Корнетов давно бы гулял на свободе. Воскресенье — а в воскресенье да еще летом Париж, с утра кто куда, все из Парижа. И какой там слесарь, сам консьерж — он и дома и не собирается, и то делает вид, будто уехал и сидит где-нибудь в Барбизоне за столиком в ожидании завтрака: свежий воздух и из ресторанной кухни доносит свой щекочущий запах, а кругом лес и такая тишина, только и слышно, шмыгают автомобили и где-то над лесом трещит мотор. Корнетов с луком, репой, морковью и пуаро — суп варить, поднявшись, под самой дверью хватился, что уходя, не вынув ключ, захлопнул. Консьерж — а трудно было его дозваться — все-таки пошел за слесарем, но для уверенности, что перепадет, рассказал случай из прошлого воскресенья о позабытом ключе верхних соседей: «проникли в квартиру только потому, что у них балкон; а что по воздуху никак невозможно!» — и не уверен, застанет ли слесаря — «воскресенье!» — и придется Корнетову на воздухе перебыть до завтрашнего утра. Корнетов — никак «до завтрашнего утра!» — и нет папирос. А слесарь — еще минуту и уехал бы в какой-нибудь Барбизон, консьерж поймал его на пороге — слесарь согласен: 10 франков. И вот за работой.

— Ключ мешает: кабы ключа не было, отворить очень просто! — слесарь тыкал и повертывал в который раз длинным, как удочка, крючком, который ключи ловит.

Я дал Корнетову папиросу. С каким наслаждением он закурил. Вы, может быть, заметили удивительный цветистый вкус голубых папирос летом, да еще когда курить хочется.

А пока мы оба раскуривали и помогали слесарю всей душой — и я тут уверился, что сапоги на нем действительно железные: ну, как у водопроводчика! — какая-то закорючка, с нее он и начал дверь отворять, но потом бросил, как неподходящую, эта никакая как-то так обернулась и мы услышали: там за дверью об пол жалкий металлический стук, значит, ключ упал.

И слесарь моментально чуть ли не пальцем открыл дверь.

Я порадовался за Корнетова. И слесарь был доволен: 10 франков — раз плюнуть. И поднявшийся консьерж — он и не думал ни в какой Барбизон ездить! — получив за хлопоты 5 франков, ни на что не жаловался.

А это и называется: свобода... Вошел в свою квартиру, какое счастье! Никто не скажет: «пленник». Дверь на ключ, хоть на голове ходи — свобода: счастливейшее чувство.

Когда Балдахал в который раз рассказывает, как он «вырвался от большевиков» и, переехав границу, очутился на свободе и сейчас же почувствовал, как с этой свободой он потерял Россию — какая же это свобода! А вот, забыв ключ и истосковавшись перед запертой неотпираемой дверью, проникнуть в свою квартиру с помощью какой-то закорючки и уж не зависеть ни от какой закорючки — это называется свобода.

Другой пожалел бы выброшенных денег, но Корнетов, расплатившись, забыл: так его охватило счастливое чувство свободы. Я никогда не видал его таким взволнованным, он приподнялся, выпрямился, и с какой быстротой и ловко — так, когда кончится стройка, разбирают леса — молол кофе и кипятил молоко и убирал на столе: пить кофе.

Ни для кого не секрет: утро, когда Корнетов не любит, чтобы к нему приходили, и спросишь, не отвечает. А кроме того, он так варит кофе, как только в Германии да и то не в Берлине, не в Мюнхене, а где-нибудь в Обераммергау, в Хаус-Гвидо-Ланг, и все это совершается утром, никому не попадает.

Я с удовольствием остался. Я хотел было помочь, но Корнетов все сам. Впрочем, смотреть не воспрещается: через очки и самый путаный глаз только пуговица.

Оказывается, это целое предприятие — приготовить кофе: требует и тщательности и выдержки, потому что все надо, чтобы сухо-насухо и не бухать, а лить кипяток в фильтр погодя, «пока не впитает предыдущего». Зато и кофе — Хаус-Гвидо-Ланг, Обераммергау!

Корнетов предложил мне еще чашку. Я не отказался. И представьте, никакого неудовольствия не заметил. Или Корнетов не заметил или эта свобода — в собственную квартиру проник, и вот сам по себе и на столе кофе...

Да, не позабыть бы: непременно надо цикорию класть, без цикория и цвет не такой, а главное — цикорий сам по себе фильтрует, тоже и сахару не мешает ложечку при заварке — сахар конденсирует.

Эти премудрости я узнал от Корнетова, в такой ранний утренний час разговорившегося, как к полночи на своих воскресных вечерах. Еще я узнал, что кофейные тайны испытываются в Германии и только в Германии знают секрет жарить кофе, и эту немецкую науку перенял Корнетов еще в Петербурге в год революции от Маргариты Борисовны Исаевой, а довершила его кофейные познания в Берлине Александра Михайловна Полякова в год инфляции, когда деньги были нипочем.

Корнетов произносил эти имена так, будто говорилось о Маркони или еще о какой мировой знаменитости. Впрочем, что говорить, наш тесный мир с каждым годом теснее — Тургенев не поверил бы, что русский Париж в 13-й год революции узнает себя в «Затишье» 1854 года... Или автора «Сна» и снов, коснувшегося через Гете и Гоголя тайных сил, на которых строится жизнь, знающего, что прошедшее без пропада и этими силами может быть вызвано к жизни, как настоящее, для ученика Гоголя нет ничего невероятного, а наш «здравый рассудок» — никуда.

Я не видел Корнетова с месяц — летом все разъезжаются. В последний раз, когда приезжал голландец из Амстердама посмотреть на Корнетовские архивные достопримечательности и коллекцию пил, но тогда было, кажется, все в порядке.

Сегодня Корнетов позабыл вынуть ключ, а до ключа — он мне признался — посеял карт-дидантитэ. А это дело

куда сложнее — ни один француз и самый проникновенный (ученик Достоевского) и самый пламенный, какой-нибудь Бернанос, никогда не поймет, что такое русскому перебыть день в Париже без карт-дидантитэ, как не понять русскому и самому ученейшему, читающего все письмена (ученику Штейнера), что значит в воскресенье летом в Париже найти слесаря.

Ключ — рассеянность, а карт-дидантитэ — я уж и не знаю. Корнетов так ее запрятал — на случай пожара, чтобы всегда под рукой было схватить! — а когда среди ночи для проверки сделал ложную тревогу, найти и не может: потерял! Ошарил все уголки, пересмотрел все книги, перетряс весь архив, скопленный за восемь лет «на беженском положении» — до утра и весь день провел в поисках, а она в конверте у него... в столе.

— Вместе с квартирным контрактом, понятное дело.

Тут вот я и задумался: с чего такое может статься с человеком? Сегодня карт-дидантитэ, завтра ключ — эти дела такие, стоит только начаться и все растеряешь до самого безобидного «хочу» и самого невзыскательного «не желаю».

Зачитался книгами? Но как представить себе всю жизнь Корнетова, неотделимого от книги? и тотчас отверг мою догадку. Кроме того исторические примеры... Павел Николаевич Милюков: ведь еще с молодости — такая по Москве молва шла — живя летом под Звенигородом в санатории, круглые сутки не расставался он с книгой и даже в ванну сядет, а книга при нем: «Милюков под водой читает!» — очевидцы рассказывали: и чего ж, разве это так повлияло? А П. Б. Струве — «все книги прочитал!» — и сколько анекдотов испокон веков ходило про него и в Москве и в Петербурге — а между тем никаких таких признаков не обнаруживается. Ведь всякое «за» — «зачитался», «запутался», «зазнался» предполагает основное «без»: «бессмыслие», «беспутье», «бездарность», нет, дело не в книге.

А вот что я думаю: это-то и есть самая настоящая и не та, о которой теперь пишут — «пситакозис», а та, которую не замечают ни в себе, ни в других — «попугаева болезнь». И по моим наблюдениям этой самой болезнью заболевает всякое приниженное существо, человек или птица, все равно. И я при всей своей независимости, я

не литератор — мое дело проще: не буду сейчас говорить о моем изобретении — я плясье, знаете, такие резиновые трубки, чтобы, как говорится, меньше газу тратить — стоит только вставить трубку и, как бы вы ни отвертывали газовый кран, самый синющий огонь гореть будет медленно ниточкой, «экономия газу!» — и я с этими экономическими трубками, не минуя, во всякий дом заходил от Итали до Трокадеро с этажа на этаж, и скажу вам, чувствую, как с каждым годом на чужой земле захватывает и меня это «попугайное» поветрие.

Сначала человек бунтует и даже впадает в ярость — уперся в стену, что поделаешь? — и, кажется, кожу с себя содрал бы или что-нибудь такое, чтобы все рухнуло и завалило камнем или запустить бы такой камень... и вот человек не окостеневает, и не окаменеет, как в былине «Как перевелись богатыри на Руси», а затихнет — ему только иногда очень больно — а так он очень смирный и всего пугается — это-то и есть «попугаева болезнь».

И оставить человека в таком состоянии — грех.

Грехов, как вам известно, осталось в мире так мало, что и каяться не в чем: все можно оправдать всякими социальными условиями, государственной необходимостью, щитовидной железой, духовным возрастом и скотьим духом, да и практика показала в 13-й год революции, что много такого писалось и пишется; и говорится и вовсе не во имя какого-то одного незыблемого закона для всех, а только для соблюдения приличия. Но остается неизменным — один грех. Или все к одному подобрались? И я это очень глубоко почувствовал: что такое грех — как только что понял, войдя без ключа в квартиру к Корнетову, что такое свобода.

Моя профессия — бухгалтер, но какая тут бухгалтерия, когда концы с концами никак не сведешь, я и занялся газовыми трубками. Как-то на первых порах, подымаясь с этажа на этаж от Итали до Трокадеро — моя сторона правая — продуло меня, что ли, или с непривычки, вечером вернулся я домой, подсчитал свои волшебные трубки — «экономия газа», чувствую, разломило всего, выпил я горячего чаю, прилег и не то, что заснул, а дремлю, и видится мне камень — такой кирпич XI века с реки Смедыни, у Корнетова я в Петербурге видел, — этот камень мне на лицо положили, а проснулся: в огне

весь. Потом оказалось, что это такая нервная болезнь — в средние века у женщин от надрыва такое бывало — и не самые нервы, а корни нервов — боль, как зубы, воспаление надкостницы, и помочь нечем. Шартр, Ле-Пюи, Лион видели много таких: человек как перевязан огненным крестом «le feu sacré». Дней десять длится эта жгучесть и потом много недель, как избитый. И тут все в один голос: надо хоть на неделю уехать из Парижа, иначе осложнения и последствия — переменить обстановку вернейшее средство. А как уедешь — ведь не как-нибудь, а надо спокойно, ведь человек вздрагивает от собственных шагов! — нет, никак невозможно. Я рассказал Шадрину: Шадрин не чета нам, а когда-то, по его рассказам, тоже хлебнул, но вдруг (такое только вдруг и случается!) привалило счастье: слабый и малокровный, почувствовал он, как крепко идет по земле, и не холодно ему, не мерзнет, как прежде, и на все у него собственное мнение и никакого дела ни до каких судов и рядов, и уж он может себе позволить помочь другому «без всякого нарушения бюджета», как сам он выражался, и я заметил, в разговорах часто поминал об этой своей щедрости, теперь я очень сомневаюсь, и любил повторять Тургеневского Бабурина: «Бедный человек обязан помогать другому бедному, а для богатых это занятие...». И когда я ему рассказал, как мне надо уехать из Парижа, хоть на неделю, а невозможно, и в подкрепление помянул всякие последствия «священного огня», который не только жжет, а и душит — Шартр, Ле-Пюи, Лион видели много таких с выжженным крестом на груди и спине, остолбенелых с палкой — тут, в пищеводе. Он слушал меня, как мне показалось, сочувственно, и рассказ мой, я в этом убежден был, тронул его сердце. Расстались мы приятелями. Пошла неделя, и получаю я от него открытку с живописным видом: горы, снег... — пишет, что уехал отдыхать и лучшего места не найти на земле и отдыхает он вовсю. Глядя на эту открытку, я понял — я сказал себе: вот это грех. И какое надо иметь черствое сердце... да, это грех.

— — — — — — — — — — —

У меня были кое-какие возможности — с тех пор многое изменилось, меня ничего уж не трогает, изобретение мое, я верю, накануне всеобщего признания и на экономические трубки не жалуюсь, идут. Наступил мой

«ваканс» и я решил: вытащу-ка Корнетова на волю — это будет вернейшее средство.

И когда я про это сказал, вижу: испугался. Ну, конечно, самая настоящая «попугаева»! И этот беспричинный испуг его: ну чего тут страшного проехать недели на две куда-нибудь в От-Савуа? — укрепил мое решение бесповоротно.

2. ШАТО

Сосед, мосье Дора́, когда уезжает в Саль-ан-Божолэ, забирается на вокзал за час. А мы — за два. Я-то понемногу привык к здешнему и все в холодном виде могу есть и даже дыню натощак, а Корнетов очень волнуется.

На вокзале мы предъявили наши билеты — у нас и нумерованные места — и бросились к поезду. И только в пути сообразили, что попали не в «рапид», а в «омнибус»: скорые поезда, известно, не обращая внимания на станции, нарочно подпускают паров и гонят — сунься-ка! — а мы останавливались на каждой станции. Но это ничего — летнее время, омнибус куда удобнее экспресса: на экспрессе от жажды измотаешься, а уж на омнибусе, где только вздумается, пей вволю — никто не гонит. И виды природы отчетливее и на города так насмотришься, словно побывал. А какие соборы — мадам Лэ-де-Бреби говорит, что соборы все одинаковые и смотреть нечего... Но, позвольте, их, и не глядя, увидишь, вся земля в них, как в глазах — и они все поймут, и без них осиротеет эта узкая полоска — Европа — сырое побережье, и уж наверно, они-то останутся — пусть в обломках, когда от Европы ничего не останется, и Гастон Парис и Веселовский опять будут трудиться в своих розысканиях и встанет вопрос, кто был автором «Le Rouge et le Noir» и какой-нибудь из проницательнейших учеников откроет, что автором «Le Rouge et le Noir» был известнейший в Европе (никогда не существовавший) Сакесеп, он же автор неоконченного романа «Война и мир». В дороге лучше всего пить лимонад: и щиплет и насыщает. Мы только лимонадом и прохлаждались. Неожиданно выяснилось, что будет пересадка: заговорили соседи, справились у кондуктора, кондуктор сослался на контролера, а контролер говорит: «обязательно». И пришлось нам ссаживаться. Наш вагон последний,

и когда мы дошли до первого, расспрашивая носильщиков и неносильщиков, когда пойдет следующий поезд, оказалось, что следующего поезда нам ждать не имеет смысла, так как наш поезд прямой. И мы опять бросились, и уж влезли в первый вагон, но только что стали прилаживать свои чемоданы, как полетели в нас пакеты — бросали через окно, я кричу: «остановитесь, дайте выйти!» — не слушают, и выскочил: оказалось, почтовый вагон; а Корнетов застрял в imprimés (печатные пакеты), и не знаю, как выбросился, и опять мы куда-то влезли, едва поспели, тронулся поезд. И я понял, почему наш сосед мосье Дорá, имея нумерованное место, забирается на вокзал за час.

Доехали благополучно. Но еще не конец: надо еще на автобусе — а ждать его часа два. Пошли в единственное бистро лимонад пить. Время тянулось. И душно и мухи. Отбивались от мух: ноги больно кусают. В России таких мух нету: наша муха садится на открытое место, а эти, как злющие собачонки. Погрохатывала туча и пошел дождик. Вышли мы на дождик, постояли. Прошла гроза. Стал свежий вечер. И только когда смеркнулось, подкатил автобус.

Автобус бежал быстро и если бы не остановки — по пути пассажиров собирать — за час бы поспели, а так провели в дороге до самой ночи. Но и это еще не конец: до «Шато» — места нашего времяпрепровождения, этого «вернейшего средства» — еще автомобиль. Я заметил, все так: расстояния пустяковые и все кажется очень просто, а на самом деле — без автобусов и автомобилей никакое путешествие не обходится, вот и не рассчитаешь!

Кое-как уселись в автомобиль — ночь, ничего не видно, только видно, что дорога не простая: круть и повороты — трясет и бросает — то лбом, то носом.

Остановились, как мне показалось, на пустыре — тишина пропадная. Я думал: «шато» — как рисуется на открытках, а вылезли — так, вроде гостиницы. И сразу я почувствовал, что не туда. Да не воротишь. Повели на второй этаж — лестница: подымай ногу и смотри в оба; а поднялись в коридор — знакомые места: и не гостиница это, а номера — такие в Москве где-нибудь у Рогожской заставы «вокзальные», не то кельи Андрониева монастыря.

Наша комната. Одна лампочка, другая перегорела. Все равно, как-нибудь. Пить очень хочется. Конечно, лимонадом не напьешься: лимонад хорошо в дороге — чаю бы горячего. Хозяйка принесла холодный. И сама она едва на ногах, в чем душа. А папирос она может достать. Только просит оставить денег: «мелочи у нее нет». Я понимаю. Она хотела и ведро унести — руки мыли. Она непременно хочет все сама и не от чего — а из-за какой-то покорности. И как она смотрела, точно вот сейчас мы ее и кокнем, и как говорила — слезы, вот расплачется. И эта мелочь вперед и убогость комнаты — я сразу понял, что это тоже «попугаева болезнь», но какая — осложнения и последствия, от которых меня когда-то предостерегали; в ней, как в зеркале, я увидел всю нашу судьбу — измызганную долю — (в 13-й год революции, чего скрывать, ведь нас тут стесняются!) — запуганный, обескровленный, «поломанный» человек — выброшенный окурок. И я попенял Балдахалу: Балдахал, никуда не выезжавший из Парижа, странный человек, имел страсть собирать адреса пансионов, он и прельстил меня проспектом. Да если бы я знал как оно есть —

PENSION DE FAMILLE
dans un château
Parc. Ferme à proximité. Air pur.

(«Растворение воздухов» — приписка Балдахала)

Ombrage, promenades et excursions. Rivière au pied de la colline. (Pêche écrevisses, truites). A 3 kilomètres du chef-lieu de canton. Docteur. Pharmacie. Eglise catholique. Plusieurs magasins. Electricité dans la maison. Téléphone. Jolies chambres. Très bonne cuisine bourgeoise, au beurre exclusivement. Pension complète. On parle français, allemand, anglais, norvégien.

Не раскладываясь, молча готовились на ночлег. И я улегся тихо, а под Корнетовым такая поднялась буря — или надавил он волшебные кнопки и пошло стрелять, и ухало и ахало и гром в отдалении погрохатывает. А как успокоилось, полезли таракашки — они ничего не понимают — я не думаю, чтобы кусать полезли, а самим им

неприятно под одеяло попасть, на волю хочет- ся — тянет на волю все живое, незадавленное, в такую ночь. Какая ночь! Я поднялся, за мной Корнетов. И оба мы к окну сели — на дорогу.

Так гора — стена наша, а так — дорога. После узнал я, что это монахи выбрали себе такое скрытное место: эту пустынь. Луна вышла из-за горы — и деревья стали черные, а трава белой. И свет не черный, не белый — не мертвый стлал дорогу. Наши таракашки — ничьи их ноги не давят и пальцы не ловят — улизнули по лунной дороге: кто улетел, кто выполз. На воле в чуть мутном свете — настолько от земли — колыхалось, не различаешь, но это чувство жизни подходило с воли в окно к двум голубым огонькам; курим. Мечталось о какой-то жизни без рассуждений, неуловимой и быстротечной — кто ее не назовет однажды: «жизнь прошла!» и о которой в настоящем рассказывает музыка; мечталось об этой жизни и воле — самом простейшем и доступном всем, кто родится и умирает, о первородном, над которым носится дух безумия — насыщенная семенем «туманность». И спать расхотелось и все глядел бы — вот она какая воля!

Когда закричал филин, все вдруг присмирело — зов ли это оттуда или выкрик? — деревья запахнулись, дорога метнулась. И не пенял я на Балдахала: из-за одной такой ночи...

Мы поднялись поздно. Пекло. Никаких воспоминаний о вчерашнем. Везде солнце. И одно утешение, что в Париже еще жарче — дышать нечем. И не пустынность, а просто голое место — никакой скрыти: да, тут когда-нибудь был парк — это еще когда монахи жили в пустыне, а теперь одна-единственная дорожка короткая, вся заросшая кустами. О тени и говорить нечего, только лунная ночь превратила в дремучие эти одинокие редкие деревья. И река одно название — правда, есть что-то там под горой, этой естественной стеной от мира, от вида туда, но сомневаюсь, чтобы купаться, тут и раку не радость. Ферма — раз коровы ходят, значит, где-то есть ферма. Проверяем проспект. И опять я думаю: какая сила и власть слова — из мухи слон!

Кроме хозяйки оказалась еще одна, тоже русская, «константинопольской волны», я подумал: прислуга — нет, помощница. И ничего окурочного, ну, эта не того полета

и говорит: не по-норвежски, а «как хочите». Она нам так и сказала: вчера ее очень удивил наш приезд, и что «доместик» (она произносила «доместик» на латинский манер) — доместик Григорий собирается бросить Шато и ехать в Париж — и очень жарко и такая глушь; она бы тоже давно уехала... если бы не одно обстоятельство (а попросту говоря, она откуда-то сбежала) —

— Впрочем, как хочите.

Корнетов пришел в восторг от имени «доместик». Да и понятно — Византия заполняла все его мысли — и ничего не поймешь: доместик Фемы Опсикия Григорий Ивириц кухонный мужик в французском Шато! Но если и непонятно, то знаменательно: такое превращение, возможное в веках и открывающееся только внутренне зорким, в наш исторический век революций осязаемая и очень даже чувствительная реальность для всех; ведь Дантовские рвы и Феодорины «плачужные канавы» который год открыты для публичного обозрения, а действующие лица — мы сами.

Едва дождались вечера — время тянулось, как концертное отделение благотворительного бала для джазбандистов. Но и вечером не стало легче. Где-то погрохатывало, а до нас не достало, и ни такой капельки не капнуло. Гуляли по дороге — в пустыне. Возвращаясь, встретили доместика: угрюмо стоял он у дверей, не замечая нас да и нечего — так стоит человек, решившийся во что бы то ни стало бежать.

И мы решили — сразу-то никак невозможно, ну хотя бы дней пять перетерпим да за доместиком в Париж.

Мы задумали съездить в ближайший пункт — chef lieu de canton, где по проспекту значилась церковь, аптека, почта, доктор и всякие магазины. Вызвали автомобиль и опять по головоломной дороге, теперь при дневном свете, тычась друг в друга и в страхе: или скувырнемся или налетим. Купили папирос и марок, а больше нечего делать, и назад, не дай Бог никому. А за это удовольствие, как стали считать... ну, я хозяйке и сказал, что уезжаем.

Тяжелое было объяснение: ведь мы единственные — нашлись-таки дураки! — ясно, и она рассчитывала, что мы пробудем три недели, как полагается.

— Сколько было писем, я могла бы сдать вашу комнату, и я всем отказала! — слезы подступали к ее глазам,

но не может быть, чтобы она не понимала, и эти слезы не от моих слов, а над своей жестоко насмеявшейся судьбой.

Я сослался на Корнетова — я сказал, что с нами произошло недоразумение, напутал Балдахал, и про «попугаеву болезнь», а это самое внушительное:

— Мало ли что может случиться, и без доктора опасно.

На третий день доместик сбежал, а помощница захворала.

Ни на какие дороги мы больше не выходили, все в комнате. Я читаю вслух «Мертвые души». Корнетов рисует картинки. И всю ночь кричал филин. Под простыню заползали таракашки, но не кусали, и только когда лапками коснется, вздрогнешь. И лютовали мухи: наши голубые папиросы — цветной их вкус был мухам мед.

И вот собрались в дорогу — я заплатил за неделю. Спрашиваем, когда поезд в Париж, а никто не знает; послали на ферму — ну, откуда ж им знать! И шофер по головоломной дороге в час, по его соображению, подходящий, повез нас не на ту станцию, откуда нам ближе, а на дальнюю, где у него были свои дела.

И когда мы попали на станцию, нужную шоферу, а это нам опять обошлось чувствительно, или четыре часа ждать «рапида», или хоть сейчас омнибус. Мы бросились в омнибус.

Мы ехали весь день — в дороге кончили «Мертвые души», прочитали все варианты и неоконченные главы.

И теперь я знаю: «Мертвые души» — во II-й редко кем читаемой части есть слова, перекликающиеся с Толстым, и еще — по образцу «Мертвых душ» написаны «Записки охотника» или лучше сказать «Жестокие души», а лирика, которой по праву гордится Гоголь, ее исток — XVII век — великий ритор автор «Ключа Разумения» Иоанникий Голятовский.

Корнетов растолковал мне.

И как он был счастлив: опять дома, и уж на месяцы засядет он в своей комнате среди своих неизменных и верных друзей — книг.

— Говорят, — сказал мне на прощание растроганный Корнетов, — вы теперь часто услышите, что все люди одинаковые. И это глубоко неправда, нет, не все подлецы.

А мне было очень совестно.

3. СЪЕДЕННОЕ СЕРДЦЕ

Париж город художников и писателей. Каждый год издается больше тысячи сборников по беллетристике — вот вам верных тысяча писателей. А художников — шестьдесят тысяч. Такая искуснейшая насыщенность, кому хочешь вскружит голову. И русские с течением времени — кому восемь, кому и десять стукнуло парижских лет — относительно «беженской массы» не отстают от французов: русских писателей, проживающих по карт-дидантитэ, считается до трехсот. Всякий год устраивается большой новогодний бал в пользу писателей. Бал пользуется успехом, и со сбора отчисляется в среднем франков двести на нос.

А. А. Корнетов, сделавшись писателем, подал по моему настоянию прошение о вспомоществовании. Я ему и прошение написал.

Я объясняю и Союзу и Комитету одновременно, что Александр Александрович Корнетов — автор «Буйволовых рогов», напечатанных в «Последних Новостях», и хотя Корнетова там нигде не подписано, но это все равно: я, Семен Петрович Полетаев, изобретатель чудеснейшего аппарата, с помощью которого у человека делаются два уха вместо одного и изощряется слух до восприятия самых неуловимых и отдаленных звуков, и все постоянные воскресные посетители Корнетова — небезызвестный африканский доктор, экономист Птицин, бывший издатель Пытко-Пытковский, критик Петушков, Балдахал и многие другие, единогласно удостоверяем авторство Корнетова. Кроме того, у Корнетова есть еще написанное — «цикл», но на издание отдельной книги нет никакой надежды, любителя не находится, а профессиональные издательства не могут, потому что только книга, затрагивающая щекотливые мелочи, может быть в эмиграции самоокупаема, всякий же прочий художественный материал обречен на мышепитание. И тут для авторитетности я сослался на Лескова и Тургенева:

«Лесков сказал бы: мыше-пищепитание, а Тургенев: мышехлебопитание».

Прошение не осталось без последствий.

О получении денег извещал меня Корнетов. Но странно, упомянув о значении Союза и Комитета для поддержания начинающих писателей, добавил: «не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении». И эта приписка не сразу

далась мне. Впоследствии выяснилось, что не один я, а и многие из общих знакомых получили в то время и самые разнообразные письма, но все с таким оборотом, как будто ни с чем не вяжущимся; и были такие, что обиделись. Я скажу вам: это из II-й части «Мертвых душ», рефрен Чичикова «еду я...»; Корнетову очень понравилось: «не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, видеть свет и коловращение людей есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая природа».

Мой «ваканс» еще не кончился, на поездку в От-Савуа я просадил все мои деньги. И совесть меня мучила. А по приписке, тогда мне еще не ясной, я заключил, что мое выветривание не имело никакой силы, и теперь надо использовать комитетские деньги на наш «ваканс».

Но куда ехать? Куда ездят французы? Ведь нет человека, который бы летом не уехал из Парижа. И не будут же французы тратить такие деньги — От-Савуа.

Я спросил нашу газетчицу: куда она собирается ехать.

— Ваканс?

— В Куси, — сказала она, — Куси-ле-Шато, хорошо кормят.

Справился в Лярусе; а это совсем близко — часа два от Парижа, около Суассона. И сейчас же к Корнетову: уговорю вместе ехать.

Жара стояла невыносимая. В газетах писали, что в ресторанах не хватает прохладительных вод, но что простой водой население обеспечено. В Париже пьют прямо из-под крана и даже русские, забывая годами вдалбливаемое до и в революцию: «не пейте сырой воды».

Корнетов, не замечая никакой жары, сидел в самом блаженном состоянии над исследованием о византийском императоре Льве Мудром. Этот тот самый царь Лев, поэт-гимнограф, которого изображают на иконе «Покрова» с царицей Зоей, но с которой — Заутцой или Карбонопсиной — неизвестно.

Книга — чего больше, и дом — чего лучше. Как ценится после даже самых лучших отелей и самых спокойных дней, проведенных в гостях, дом — я это понимаю... И я ловлю себя на мысли: что такое для человека дом? и как же с нами, русскими, оторвавшимися от России? — ведь нам только и остается выработать в себе

способность усваивать арашид, как французы, и не перебегать через улицу... и вот приходят сроки: говорят «домой ехать» — домой? — и, пожалуй, призадумаешься. Или дом и, что то же, свобода, а это свобода на любом месте, с арашидом и без арашида, куда можно проникнуть без ключа и запереть за собою дверь.

Спросить у Корнетова не было никакой возможности: загороженный IX веком, мыслью обращался он около исторических событий этого века, похожих на наши церковные распри: Игнатий, Фотий, Ефимий, Николай Мистик, Арефа. Но меня это не занимает: я, как говорится, не мудрствуя лукаво... Для меня интересной о двух посвященных IX века.

Корнетов рассказал мне о Феофане, первой жене Льва Мудрого, и Афанасии с острова Эгины: что такое посвящение?

Судьба Феофаны — таким очень трудно на земле. Девочкой в грозу забежала она в церковь и в дрёме видит: две иконы подошли к ней — две Богородицы, и от прикосновения она проснулась; гроза прошла, стояло солнце и она вышла из церкви сама, как солнце. В шестнадцать лет ее выдали за царевича Льва (Льва Васильевича), у нее родилась девочка, но душа ее была обращена в другой мир, и все ее заботы к обреченным и молитва. Какая же она царица? Муж изменил, девочка померла, и будущая царица Зоя Заутца отравила ее.

Судьба другой посвященной Афанасии чудесна. О ее матери говорится, что была «зверовидная женщина, державшаяся агарянской веры», однажды — Афанасии было семь лет — ткала она и вдруг видит: летит звезда — и чувствует, как звезда прошла ей в грудь, и вышла из глаз. И с этого дня ее глаза зажглись, как звезды, внутренний свет их светил ей — и самые тайные помыслы и сама судьба открывалась перед ней.

— Тургенев, — сказал Корнетов, — был посвященный. О своем посвящении он рассказал в «Рассказе о. Алексея» — про зеленого старичка, как мальчик встретил в лесу этого зеленого старичка: маленький старичок с горбиной, ножками все семенит и посмеивается и весь, как лист зеленый, и лицо и волосы и самые даже глаза, и старичок дал ему вкусные орешки, ядрышко небольшое вроде каштанчика. Этот зеленый старичок — Гоголь.

От Гоголя Корнетов перешел к хирономии — началу евретмии и о двух направлениях агиографии половины IX века: о дьяконе Стефане — историке, для которого в основе жития должны быть исторические и биографические данные, и о дьяконе Игнатии, ученике Тарасия, вся повесть которого строится на украшении главных моментов биографии — Тарасиевская школа; и как это Тарасиевское направление привилось в России, завезенное в конце XV века сербом Пахомием Логофетом.

Но уж мое терпение истощилось и я решился подать голос.

— Что выше всего? — спросил я вопрошанием демона.

— Желаемое, — ответил Корнетов.

И тогда я сообщил ему мое решение: завтра же ехать.

— Но мы только что вернулись.

— «Шато» не считается.

И Корнетов, улыбнувшийся было на мое лукавое вопрошание, вдруг пришел в такое уныние и посмотрел на меня, как хозяйка Шато, когда я решительно сказал, что мы больше не можем оставаться в пустыне, и что Балдахал напутал. Но когда я назвал Куси, он оживился, как при имени «доместик».

— Куси, — сказал Корнетов, — а вы знаете роман XIII века о «съеденном сердце»: Le roman du chatelain de Coucy et de la dame de Fayel.

Amours que d'un poin n'i failli:
Ce fut qu'elle ot fait mari,
Et estoi dame de chastel
Qu'on apelait de Fayel.

(«Любовь ошиблась лишь в одном: — в том, что имела она мужа; — и была госпожой замка, — который назывался Файэль»).

* * *

Сегодня роковой пятый день — завтра мы уезжаем из Куси. Какое это счастье. Мы пересидели всех; оказывается, сюда приезжают на день, на два: в субботу или в канун праздника, а с вечерним поездом возвращаются в Париж. У меня разболелся живот от арашида. Я сижу на своей

кровати один. Мучитель мой и благодетель Семен Петрович Полетаев пошел с мадам Лэ-де-Бреби любоваться природой: они сидят высоко за разрушенной стеной у Суассонских ворот на лавочке и перед ними на дальнюю даль поля. И так просидят час и два. А я не могу, я уж видел — и я полон. На кровати писать неудобно, а стола так и не дали. Мадам Лэ-де-Бреби — стол ей совсем не нужен — получила в первый же день. Впрочем, писать мне вообще трудно и на столе и без стола: ко мне привязываются всякие мелкие частицы и особенно частица «же», а сами понимаете, какая от этого получается путаница — подмечено еще Лесковым! А как я рад, что мы завтра будем в Париже. Больше всего в таких местах меня стесняет одно место. По утрам оно всегда «оккупировано» — «лопатой» сидит старичок и не по нужде, а так — дверь никогда не заперта, и это называется «оккупация». Старичок занимал какую-то должность в Куси и у него был дом; в марте 1917 года при отступлении немцы взорвали город и ничего не осталось. После завтрака старичок бродит около разрушенных стен и всякого, кто только ни пройдет, остановит и, показывая на груду камней и в воздух, повторяет одно и то же:

«Cinq pièces — deux chambres à coucher — salon — salle de bain — électricité — chauffage central».

Из разросшегося бурьяна видны кое-где изразцы, но он видит весь свой дом живым и нерушимым: пять комнат, две спальни, салон, ванна, электричество, центральное отопление. Я заметил, что одни отходят, улыбаясь, другие с подмигом: рехнулся. Старичок и еще рассказывает, но мне невнятно, да и мадам Лэ-де-Бреби не все понимает: у него всему свои названия, и совсем не совпадающие с принятыми. И этот «старичок с перчиком» (такой разоренный описан Тургеневым в «Часах») вообразил, что мы с Семеном Петровичем — немцы, вот, должно быть, откуда и утренняя «оккупация».

Мы приехали в Куси поздним вечером и прямо из-за стола смотреть город. Среди развалин подымались редкие, все на одно лицо новые дома белее белого от лунного света. И нигде ни одного огонька. И только там, высоко над луной, голубая звезда. Я вспомнил ночь тоже лунную, но без единой звездочки — там, в савойской пустыне в Шато, но это был другой свет — так засветит месяц не

над живой пустыней, а над мертвым каменным полем, когда звездой отлетит от земли последняя мечта. И только мы вдвоем — одни наши шаги — стучат о камни.

Наши ли гулкие шаги о лунные камни или мои тайные глаза, пронизанные луной, вызывают к жизни похороненное в веках, как блеск изразцов тому старичку его разрушенный дом.

В лунном тумане мне видится замок Куси, живой и нерушимый, Рено — шателен Куси, и Дам-де-Файэль — ее золотые косы, какою помню с первой встречи на мессе. Муж ее Сир-де-Файэль — его замок тут под горой, вон видите, где теперь вокзал, там огоньки. Рено непременно заглянет к соседям. Он просит Дам-де-Файэль дать ему на счастье вот этот кружевной нарукавник: завтра турнир. И завтра на турнире неудача: ранен. Рено очнулся и видит: над ним золотые косы и сквозь голубые звезда его сердца. Это все видели, не осталось незаметным и для мужа. Но Рено, шателен Куси, после Рауля — Рауль Сир-де-Куси — первый. На другой день приехал Рено. Но уж никогда им не остаться одним. И приходится наряженному коробейником — только так еще и можно проникнуть в дом и остаться наедине. Но есть у человека чутье, и это чутье не обманешь. Сир-де-Файэль придумал: он знает, как извести ему Рено. Он сговорился с Раулем вместе отправиться в крестовый поход к Ричарду Львиное Сердце, и, конечно, Рено с ними едет — герб у Рено: голова львова в поле блакитном. Но в последний день Сир-де-Файэль отказался, и поехали вдвоем Рауль и Рено. Последнее свидание: в замке Куси работали маляры, русские — пришли из Санлиса, и один голос тонкой дорогой пробирался в комнату шателена Рено.

Уж как пал туман за сине море,
а злодей тоска в ретиво сердце,
не сойти туману со синя моря...

Дам-де-Файэль отрезала свои золотые косы: пусть они украсят шлем Рено. Не вернется ни Рауль, ни Рено. А никто не дрался так дерзко в свите Ричарда, как рыцарь Рено — золотые косы змеились на его шлеме, и отравленная сарацинская стрела не миновала. Умирая, Рено велел своему оруженосцу отвезти золотые косы и свое

сердце и передать, он знает... Недалеко от Куси на оруженосца напали, и ларец — последняя верная память — очутился в руках Сир-де-Файэль. Вечером в тот день были гости: за ужином угощали жареными потрохами, а Дам-де-Файэль досталось сердце — ей поднес его сам Сир-де-Файэль. И она съела. А когда остались одни, он сказал: Рено убит стрелой и о ларце — золотые косы и его сердце, вот чье сердце она съела! И тогда последняя надежда — «звезда морей» погасла —

не сойти туману со синя моря...

Наутро Дам-де-Файэль нашли мертвой.

Шаг за шагом идем по стене. У Суассонских ворот — Porte de Soissons в них вступили французы — вязко и жутко, там и воздух — дышать трудно. Вся асфальтовая, гладкая дорога и скат под гору — Baie Trepassés Океана, и от этого «жерла мертвых» воздушные дороги в Париж, Бретань, Прованс, Пиренеи, Савойю, Алжир, Тунис, Сенегалию, Дагомею, Либерию, Конго, и туда на Рейн и Эльбу и туда — в Сибирь.

По камням и бурьяну через весь город проходим на другой конец к Porte de Laon — Ланским воротам, откуда, отступая, спешили немцы. И нами овладела такая тревога, мы точно топтались на месте, точно что подхлестывало и страх хватался за грудь; еще одна минута и взорвет весь город и все погибнут — и зачем-то еще и еще над «жерлом мертвых» откроется живая воздушная дорога на озеро Аммер, в Нюрнберг, Берлин и дальше до русской границы.

Друг другу можно простить, а многое и забывается, а кто не может совладать с своим сердцем, того успокоит смерть, но зачем и почему и кому нужны эти мертвые жерла и эти все еще живые воздушные дороги? Или никакое время, и самой смерти не заглушить моего неотступного голоса? Но когда я раскрыл окно в нашей комнате и какой-то задумчивый свет осветил мне глаза, я одно понял, что эти камни и бурьян — тишина кладбища, где много перемучилось и все искуплено.

В первую ночь я видел во сне — моя кровать к окну — и в открытом окне вижу лицо священника, и такая скорбь

в глазах его и во всем, и я понимаю, что он за всех погибших здесь, он принял на себя все с какой тоской сказанные последние желания — им никак не затеряться среди камней и их не заглушить бурьяну. И еще прочитал я в его глазах, что есть какая-то высшая необходимость выше человеческой справедливости: каждый отвечает за всех и все за одного, так и в расплату попадаешь, не зная своей вины, только виновный за своих отцов — война и революция.

Во вторую ночь я увидел ясно: я смотрю из окна и вижу по дороге от ратуши (отель-де-виль) Штейнер и Андрей Белый. И они увидели меня. Я очень обрадовался и иду к ним навстречу. Но чем ближе подходил я, тем становились они меньше, так что казалось, они как точки на горизонте, но лица их были ясны, и по выражению их лиц я видел, что они тоже спешат мне навстречу. И вот на каком-то пересечении невозможности встречи — уж очень далеко, и желания встречи, я вдруг увидел в окне Штейнера: лицо его, как на экране, и только глаза — живые струились светом.

И в третью ночь: я лежу спиной к окну и чувствую, кто-то раскрыл окно. А за окном собралось очень много, я догадываюсь, они карабкаются ко мне на второй этаж — и я понимаю, что это «лярвы». Я никогда их не видел, но работу их хорошо знаю: их «кадавр». И кто-то говорит мне, чтобы я повернулся и посмотрел. Мне любопытно, но я не решаюсь, и я сам не знаю, чего я боюсь. И в третий раз окликают меня, но я лежал, не шевелясь. И тогда сухой взрыв смеха — какая мстительная злоба! — меня как обожгло и я проснулся.

Вчера мы кончили «Вечера» Гоголя. Я думал о «Вии» и о «Призраках» Тургенева: вот мера для ученика. Смоляная завязь Гоголевского волшебного полета — эта нестерпимая трель — «звенит и звенит и вьется и подступает и вонзается в душу» и отблеск этого волшебства чуть скользящий и на самых словесных высотах Тургеневских «Призраков». С детства слышавший странные голоса оттуда и окликающий голос о каком-то большом деле, назначенном совершить в жизни, рожденный посвященным Гоголь и посвященный Гоголем Тургенев, хлестнутый в ранней юности не по руке и не по лицу, а по живому сердцу.

К ночи разразилась гроза. Я смотрел с галереи нашего единственного отеля — открывалось далеко кругом, как с башен разрушенного замка.

И в врывавшемся вихре воронов и в рыси подземных зверей и вдруг наступавшей глухой тишине за грохотом гунских рогов под витье голубых веретен и лет до-зели белых валькирий мне слышался вещий голос Нибелунгов —

Schon drangten sich draussen mit dröhnenden Tritten
Zu jedem der Tore der Krieger tausend;
Schon hob sein Hifthorn der Honnenkönig,
Um Sturm zu blasen. Doch stumm noch blieb es,
Ob sein Herz auch zermalmt war, er musste horchen,
Und gramvoll beseufzte die grosse Seele
Verlorenen Grund begrabener Hoffnung
In des stolzen Germanen Sterbegesang.

(Уж теснились снаружи гулкой поступью — К каждым из ворот тысяча воинов; — Уж поднял свой охотничий рог король гуннов, — Чтобы трубить к штурму. Но он еще оставался немым. — Хотя его сердце и было размолото, он должен был слушать, — И со скорбью оплакивала большая душа — Потерянную землю погребенной надежды — В смертной песне гордого германца...)

4. ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

В воскресенье после Покрова — в первый осенний вечер к Корнетову сошлись его приятели и не просто для разговоров, а на чествование африканского доктора, литературное двадцатипятилетие которого исполнилось точно в сентябре.

Выработана была программа с торжественной минутой молчания и апофеозом: африканского доктора предполагалось публично почтить достоинством «мистика», не в нашем принятом значении — Плотин, Ангелус Силезиус, Екхарт, — а в византийском: «мистик-доктор-африканский» — государственный муж, которому поручаются дела, подлежащие тайне. На чествование должны были приехать известные садоводы, а, главное, искусные чтецы Псалтыря

старинным московским распевом — Федор Грешищев из Риги и Алексей Очкасов из Дубровника, обещал быть Иван Козлок и непременно привести только что приехавшего из Москвы молодого философа Пугавкина, который, по словам Козлока, «уже затмил Канта».

Корнетов предупреждал, чтобы не опаздывали и заготовили бы несколько приветственных телеграмм от особ, ученых обществ и какого-нибудь черного короля.

В «бутылочной» под географическими картами и планами, как всегда посадка — «масло жать», а в сиденье неуверенно: за год успели рассидеть и просидели новые рассрочные стулья. На самом видном месте против хозяина, неизменно трудящегося над закутанным теплым платком неостывающим чайником, на высокой, как в бистро, зеленой табуретке, единственный во фраке и «железных сапогах» возвышался африканский доктор, как Вергилий в двухтысячелетие с юбилейной страницы «Les Nouvelles Littéraires» над Сюаресом.

Инженер Михайлов — за тысячу верст скажу: истинно русский — придумал на 13-й год революции железные сапоги для работ в цистернах, но ни ходить, ни работать оказалось невозможно: все ноги в кровь. А то как же — «царские принадлежности!» — сидеть на троне в железных сапогах.

Все глаза устремлены на африканского доктора, а глаза африканского доктора на стол, а стол — «Мэзон Рами»: голубцы, пирожки, котлеты трех сортов, салат, маринованная рыба, творожники, вареники, гречневая каша, крымские яблоки, ватрушки, пастила, тянучки, бублики и раковые шейки.

По одну сторону юбиляра сидел Мосье Дорá, представитель города Парижа, как потом писали в русских американских газетах, а по другую автор «Бараньей головы», спутник африканского доктора по Каиру: лица их приходились с коленями доктора там, где начинались «железные сапоги».

Разговор шел тропический.

Автор «Бараньей головы» говорил по-французски очень медленно, а сосед его уж чересчур быстро.

— Человек тихий, смирный, непьющий, а ногу сломал! Ночью пол подломился и с кроватью с третьего этажа ухнул и угодил прямо в подвал: подвал старый — бутылки

и крысы. Хорошо, что все жильцы подобрались мягкие — друг на друга, не так чувствительно. Но чем все это кончилось! Или летевши с перепугу не заметили? А сняли гипс, тут только и обнаружилось: у кого нет уха, у кого полбока луплено, а у кого и кончиков не найти.

— Пустяки, цела нога, и говорить нечего! Поговорите-ка с Корнетовым, он вам столько примеров приведет из Византийской истории: какие были стратеги, куропалаты, протоспафарии, синкеллы... Или почитайте Шлюмберже.

И от пыхнувшей папиросы из-за монументальных голенищ доктора поднялось жертвенное облако.

— В Ленинграде из городской скотобойни бежал бык, — ближе к чайнику, по праву «нарицательных», переговаривались ангелолог Илтарев и китоврасик Белеутов, — пробежав по Обводному каналу, бык помчался по Измайловскому проспекту.

При этих словах африканский доктор перевел глаза со стола на ангелолога: сам ли он в молодости ходил по этому проспекту или, как и многие, подверженный попугайному поветрию, искал иносказания.

— Для задержания быка отправлено было несколько вооруженных милиционеров, которые дали по быку 37 выстрелов из револьверов, но бык, сбив милиционера Бастеева, побежал дальше. Лишь с большим трудом разъяренное животное удалось загнать во двор дома, где лишь после 30 выстрелов бык был убит.

— Пустяки, раз бык убит, и дело с концом.

— Но бык забодал троих прохожих и милиционера!

— Трех милиционеров?.. а вон, читали, в Борнео количество крокодилов настолько возросло, что население боится по вечерам выходить из своих жилищ. В течение года они съели ни больше ни меньше, как 800 человек.

Африканский доктор закрыл глаза: или вспомнил свой год в Конго и годы в Нигерии, реки — «кишмя кишат крокодилами», обезьяньи леса, где он до того привык, что запросто обращался как с крокодилами, равно и с обезьянами, и только не мог привыкнуть к африканской блохе, которая вовсе не таких грандиозных размеров, не вол и не лягушка, как это здесь представляют, а еще

мельче нашей, живет в песке, и вывести ее нет ни порошков, ни флитокса.

Корнетов чего-то подбегал к окну и смотрел на улицу: из кинематографа выходила публика — перерыв. Но ничего не было опасного и дело не в кинематографе, а верный признак нетерпения: когда случались скучные гости, он тоже все подходил к окну и смотрел.

— На поляне плясала лисица на лапках, только хвост завивался. Дорогу перебегал волк, и тут же, вижу, топчется медведь. По стенке пробираясь мимо зверей, я попал ногами... — Федор Грешищев, застененный Борщком, «Птицами» и Пытко-Пытковским, распевно, как Псалтырь, а нежно, как о каких-то рижских оранжерейных ананасах, рассказывает свой сон, который предрекает ему, по толкованию Очкасова, получение денег, правда, незначительную сумму и в мелкой купюре, — и только тогда сообразил я, какой опасности я подвергался; к счастью, звери не обратили внимания на меня, как на человека, оттого и не тронули. Шаркая ногами о траву, я смотрел на их лапочный танец и думал: если танцуя и опытному танцору бывает трудно удержаться, то зверю извинительно.

— Этим обстоятельством объясняется внезапно увеличившееся за последние недели количество крыс в Будапеште, — внезапно загремел такой внушительный голос, что сам монументальный доктор, оживляясь, протянул руку за раковыми шейками, а говорил это московский философ Пугавкин, привыкший говорить перед микрофоном: с Козлоком он появился в дверях, продолжая свой разговор, — да, крысы полчищами бегут из России! Министр здравоохранения обратился с призывом к населению бороться с крысиным нашествием и организовать в ударном порядке крысиную ловлю, чтобы не позже декабря Венгрия была очищена от крыс.

— Котофей Иваныч, — шепнул Корнетов своему ближайшему соседу, не проронившему слова и не подымающему глаз, — вы хоть начните, пора.

Но Котофей Иваныч, приехавший из Лондона, еще

только учился русскому языку, кое-что понимал, а про крыс очень хорошо понял, это видно было по его заблестевшим глазкам, но ни на каком языке не мог говорить, тем более приветственные речи.

Я вошел с пачкой телеграмм, я не без гордости показывал Корнетову, но передать их ему я не мог, чествование уже началось. Без меня и Псалтырь читали старинным московским распевом, сначала Грешищев, потом Очкасов — «самолично», как после передавал мне юбиляр. И все из-за этих телеграмм! Я застал только кончик речи: говорил экономист Птицин. И как это теперь принято, говорил не по своей специальности, не о колхозах и раскулачивании и вообще ни о каких земельных судьбах России, а о Достоевском.

Птицин оканчивал свою речь Майковым, который советовал Достоевскому скорее вернуться в Россию, чтобы совсем не отстать от русской жизни (Достоевский прожил за границей шесть лет), и что ему на это ответил Достоевский:

— «Действительно, я отстану — не от века, не от знания, что у нас делается (я, наверно, гораздо лучше вашего это знаю, я ежедневно прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала), но от живой струи жизни отстану; не от идеи, а от плоти ее».

И тут вот, кажется, и должен был бы наступить торжественный момент — минута молчания, но не успел Птицин покивать юбиляру, заговорил его неразлучный непримиримый спутник, бывший издатель Пытко-Пытковский. И, как всегда, речь свою повел против: если Птицин посвятил Достоевскому, Пытко-Пытковский заговорил о Тургеневе.

— О позабытом и нечитаемом, но живом и современном Тургеневе, о котором на все лады повторяются затверженные прописные отзывы.

Из современных прославленных ораторов по манере и одушевлению речи Пытко-Пытковского можно было сравнить с присяжным поверенным Авдеевым, о котором, как помнят «берлинцы», установилось бесспорное мнение, что своей речью может покрыть любой промежуток време-

ни — от часу и до трех, целый вечер безостановочно.

Корнетов хоть и торжествовал, что все так по-юбилейному — речи произносят и юбиляру приятно, но не без тревоги посматривал на Мадритскую кукушку и даже тихонечко, я это заметил, к кукушкину домику чего-то лазил, уговаривал ли кукушку не спешить и дать возможность всем высказаться, или замеченную постороннюю паутинку снимал — Корнетов аккуратный и без дела сидеть не любит.

Пытко-Пытковский говорил о Тургеневе сновидце, — а это новая неисследованная большая тема, ведь редкий рассказ у Тургенева без сна; о Тургеневе, который, как и Толстой, владел в совершенстве «обходительным», по определению Петра, разговорным языком или «крестьянским наречием», по Пушкину, и только раз сбившийся на барский лад в самом известном публике «Бежином луге»; о Тургеневе, ученике Гоголя, изобразителе земли и цветов, зорь и ночи.

— И какой надо глаз, чтобы по-своему посмотреть на землю и небо и сказать не по Гоголю и не по Тургеневу — в русской литературе нет такого писателя...

— Есть, — перебил Корнетов, — Пришвин Михаил Михайлович.

Но Пытко-Пытковский, только слыша свой голос, как это часто бывает в спорах, мимо ушей пропустил Пришвина и, устремляясь на своего противника, приятеля Птицина, подбирался к самому главному.

— Я не спорю, «Бесы» глубочайшее единственное произведение, заворожившее человеческую мысль на много поколений — кто умеет читать, тот вычитает! Но если в революцию всякий счел долгом прочитать «Бесов», то почему же никому в голову не пришло подумать о неумиренной и, я знаю, никогда не успокоющейся, пламенной Марианне из «Нови» и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, Елене из «Накануне», а кстати, и поискать «бесов» (в кавычках) совсем не там. Есть озорнейший Гоголевский рассказ «Шинель». Среди перелива на зубоскал и хохот незабываемые горькие строки о человеке и России: «как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости и, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным». У Тургенева не

было веселости духа. Гоголевское озорство не по нем, а вот эти случайные строки больно его хлестнули: почти все рассказы Тургенева, начиная с «Записок охотника», — о человеке: как человек мудрует над человеком. И разве это не современно и Тургенев не современен: современность ведь спрашивает не только «чего», а и «из-за чего»? Вы думали, что все пройдет и разрушится, как паутина, то-то, что нет, глубочайшие чувства человеческого сердца неизбывны, и вот наступил «суд жесточайший преимущим».

Корнетов стоял уже не над чайником, а над неукротимым Пытко-Пытковским, как над неостывающим чайником.

— Зверовидные женщины Тургенева — Одинцова, Ирина, Полозова, Лаврецкая — эта цепь такой цепкой «бессмертной жизни», чего же, это очень понятно. Но как еще мало осмыслен образ Лизы. В этом образе «верности» заключена тайна восхождения духа: восхождение через отречение. И судьба Лизы, недосказанная в Софье из «Странной истории», досказана в Евлампии из «Степного короля Лира». И разве это не живо и не современно? Хотят управлять волею других, не победив во имя какой-то высшей воли хотя бы одну из своих маленьких воль. И получается: с каким умом и способностями, не чета скромнейшей Лизе, а попадают в пылесос. А «Стук-стук» — эта тайна действия рока, движущего рукой и окликающего голосом помимо воли человеческой, этот тайный знак приближающегося удара того неизбывного часа, от которого не уйти и самому живучему, самому цепкому, самому зверовидному, вы об этом думали ли когда-нибудь, вспоминая Тургенева?

И в ответ пылесосной трубой взвился из-за Кролика Петушков и громче, а главное зловеще загудел о Толстом: он говорил о Толстом, который мимо Тургенева, перекликнувшись с Гоголем, со своей звериной силой на русские версты, открыл миру землю и человека, и со всей своей чудеснейшей верой в волю и власть человека объявил на все концы свою волю перевернуть весь мир.

— Есть много укоренившихся литературных предрассудков и один из самых вопиющих — это о Толстом, будто бы Толстой писал без всякого разбора, растягивая и громоздя «потому что» на «потому что», но я сомневаюсь,

чтобы так говорили те, кто действительно прочитал Толстого. У Толстого есть страницы, которые по праву могут считаться высшим достижением русской прозы по ясности и точности изображения сложнейших многомерных явлений чувств и мысли. Я укажу, как пример, сон Анны Карениной:

— Позвольте сказать несколько слов о критике... — сразу поднялись и ангелолог Илтарев и китоврасик Белеутов.

И началось в три голоса: Петушков, Илтарев, Белеутов, а всех покрывал, по своей необыкновенной вне всякой конкуренции чистоте и дроби натерпевшийся в молчании Борщок: она непременно хотела рассказать свой сон, как у Анны Карениной. Уж те несчастные вопиют, а разобрать ничего невозможно. А тут Грешищев со своим Псалтырем, говорит, обязательно надо повторить, потому что без этого ни один юбилей не обходится, такой ритуал. А за Грешищевым Очкасов. Корнетов вовремя выхватил у меня пачку телеграмм. Но нужно было большое усилие, чтобы прекратить столпотворение. И в этом посодействовал главным образом не Грешищев и не Очкасов, выражавшиеся по-русски и в меру членораздельно, а будущая знаменитость, пока что неизвестный, московский философ Пугавкин, который во весь свой микрофон пустил немым окриком перекрестков: «Halt». И все остановилось — с пастилой, тянучками, бубликами, ватрушками, творожниками, кого с чем застало. Кролик подавился кусочком раковой шейки, а сосед его Пытко-Пытковский вареником, ну а потом проскочило.

И тогда Корнетов торжественно объявил, что только что получены — и предлагает спокойно выслушать приветствия. И обратясь к африканскому доктору и не без гордости прочитав «от президента республики», чего-то вдруг очень заволновался и сразу перескочил на «бельгийского короля» и, на минуту опять запнувшись, точно бегом побежал, перечисляя имена высоких особ и учреждения, ни словом не касаясь содержания.

Я ничего не понимаю: почерк у меня ясный — я еще в приготовительном классе награду получил — «Семейную хронику» Аксакова именно за свой почерк! — и никакой несообразности, насколько припоминаю, я не писал... «Подвели, — пенял мне после Корнетов, — я понимаю, Махонин

или Тер-Погосян написали по-русски, это естественно, но президент-то республики или Макдональд или еще у вас там персидский принц, который, кстати, недавно умер, ведь они же по-русски не понимают или во всяком случае стесняются писать!» Ну, а я почем знал... а жаль, сколько теплых пожеланий и всяческого сочувствия — и все зря.

Единственное исключение было сделано для черного короля: телеграмма от него была прочитана полностью:

«Моему белому и незабвенному другу, африканскому доктору. Многоуважаемый африканский доктор, настоящим приветствую вас с днем вашего двадцатипятилетия. С наилучшими пожеланиями — черный король Тафа-Зунон Бо-бо».

Expediteur: Poletaef, 26, rue de Chartres, Neuilly sur Seine.

У меня даже в глазах позеленело. Но представьте — вот она магия высоких, а главное нужных слов! — отправителя телеграммы никто не заметил.

Это ли имя черного короля с таким громким «Бо-бо», погромче куда «царя царей», или все вместе — Достоевский, Тургенев, Толстой воодушевили африканского доктора и теперь один его не соответственно зычный голос с Вергилиевой высоты раздавался на всю комнату. Я выходил к Корнетову в его «пильную», мне необходимо было оправиться — «и как это меня дернуло себя подписать, не понимаю»! — но и в «пильной» слышно было так, будто только мне на ухо кричит доктор и не может остановиться: воспоминания его действительно были необъятны — «Полетаев-Полетаев-Полетаев»!

Начал он с Петербурга со своей первой встречи с Корнетовым в Благовещение, когда по обычаю выпускают на волю живых птиц. Он так и сказал, «живых», отклоняя всякие иносказания: против него сидели теперь те две барышни «птицы», с которыми, по уверению Корнетова, разговаривал св. Франциск. Потом о своей экспедиции в экваториальную Африку: как «не имея средств и только имея одних недоброжелателей», ему удалось проникнуть в Сенегалию, Дагомею, Либерию, Конго и углубиться в Нигерию в самый центр «черноводья».

У спутников доктора было по 50 жен, каждая стоила 50 сантимов — «и никаких больше разговоров». А сам африканский доктор этим не занимается, его интересовали

сказки — «таких нигде не услышишь, только в Нигерии»: эти нигерские сказки хранят память о далеких временах, когда люди и звери жили вместе, говорили одним языком и не было между ними вражды и страха.

Африканский доктор, зверски сосредоточившись на «Птицах», но едва ли различая со своей заоблачной высоты, рассказал две черные сказки: о «мудрой черепахе» и о «рыбе и ее друге леопарде», — а было это еще тогда, когда рыба говорила, как наша золотая рыбка, голосом человечьим, и была зверем вровень леопарду и никакой икры не метала. И кабильскую — память Атлантиды.

Но не менее сказок поразила воображение африканского доктора необычайная буйность экваториальной природы.

— Когда мы отправились к черному королю, мы ехали от нашего пункта пустыней: два-три деревца самых незначительных и только песок и камни. А через какой-нибудь час возвращаемся от короля, смотрим — и не узнать дороги: и какой, где песок? — на месте пустыни тропический непроходимый лес. Один за шофера, другой прорубает, так и продвигались. По дороге я убил трех слонов, едва дотащили.

А при воспоминании о черном короле голос африканского доктора зазвучал зловеще:

— Черный в блестящей пожарной каске и железных сапогах король объявил мне, чтобы я ничуть не опасался за свою жизнь: «Ваши белые мяса́, — сказал король, — соленые, на вкус противные, не то что наши — как копченые колбасы!» А между тем домой мне пришлось отправиться одному: спутники мои пропали. В газетах появилась заметка, будто всех нас черные съели! Это неправда. Я послал опровержение, но моего опровержения не напечатали; так и осталось: съели!

— — — — — — — — — — —

— Знаете что я хочу вам предложить, — вдруг поднялся, говорили, это и есть Иван Козлок, но я очень хорошо видел, что это Ростик Гофман, которому африканский

доктор подарил какие-то необыкновенные «людоедские» марки, и видно было, Ростик большое сделал усилие и победил свою застенчивость, — хотите я вам подарю котенка: мать русская, т. е. здешняя, а отец сибирский. Или лучше за франк, тут так не принято.

А между тем мадритской кукушке пришло время выскочить из домика и куковать. Все встрепенулись — и оказалось: предательская кукушка отстала ровно на час.

И вы представляете — какой уж там триумф с «мистикой»! — те, кому в Кламар и Медон, нет, ни на каком другом языке не передать, да и кто может здесь представить: ведь это где-нибудь на Москва-реке под Люблином или на Синичке в знойный летний день без всяких стеснительных трусиков, свободно, и лишь с естественной ухваткой, бежит какой по бережку прыгнуть в воду — — почему-то с этой самой ухваткой бросились в переднюю, чтобы одевшись кое-как, бежать поспеть на поезд.

Не убрав, как всегда, перевернутой после гостей комнаты, не проветрив, без чаю, только с папиросой, Корнетов сидел у себя за столом в «пильной» и записывал черные сказки — вековую память о людях и зверях.

И вдруг почувствовал, что ноги его как одеревенели — нет, не отсидел, и никаких мурашек, он ясно видит: у себя на ногах не стоптанные войлочные туфли, а высокие железные сапоги. — —

Смотри: «писатель!» — и, как это царственно: «писатель»! Но по опыту скажу, как это трудно, если бы вы все знали!

5. ЧЕРНЫЕ СКАЗКИ

Рыба

Которую рыбу ест человек и звери, не была когда-то такой самой рыбой, и никому в голову не пришло бы ни так, ни бранно отбрыкнуться: «экая ты, рыба!». И не в море, не в озере, не в речке жила рыба и плавать не умела, и не молчала. Рыба жила на земле с человеком и со зверями, а говорила, как человек и звери.

Жил-был рыбец, друг леопарда: с леопардом дружила рыба! И по всему Калабару шла молва о дружбе двух самых сильных — рыбца и леопарда. Часто в джунглях видели рыбца и леопарда — двух братьев. И дом леопарда

был домом рыбца. А была у леопарда жена. И полюбилась рыбцу жена леопарда. И рыбец приходил к леопарду, когда леопард уходил из джунглей. Ничего не знал леопард, и не узнать бы. А ходила в дом к леопарду старуха Свекла. Глаза у карги ничего не видят — или высмотрела она носом? Шепнула карга леопарду: «Какой твой друг рыбец — друг! хороша вера! с твоей женой...» Леопард не поверил: невозможно! и все, что хотите, только не это! А Свекла шепчет, Свекла учит, Свекла тычет: «Путается — видела — сам увидишь!»

Леопарда не было в джунглях, рыбец гостил у леопарда. Ночью внезапно вернулся леопард в джунгли. И уж не мог не поверить: леопард застал жену у друга. Что ему остается? — убить? Но вера убита и рука не подымается на друга. Он не знает: что надо? А что-то надо: такое так не проходит. Леопард пошел к царю Ейо. Рассказал царю о своем друге: как обманул его друг; и что ему делать? простить он не может, но и карать — не знает.

Мудрый был царь Ейо, царь над всем Калабаром. Ейо собрал сход: люди и звери. И велит рассказать леопарду о рыбце-друге. Все без утайки рассказал леопард: как он верил — не мог наговору поверить! — и вот убедился. А рыбец молчит: слова немеют, да и где найдешь такое слово — защитить измену: обманул друга! И сказал царь Ейо: «Леопарду быть на земле, а рыбцу в море: и будет земля ему смертью. Кто бы и где бы ни изловил рыбу, убей и съешь». И пошел леопард в джунгли, а рыбец поплыл рыбой в море.

С той поры живет рыба в море, а на землю ей ход закрыт — без воды умирает, и нет у ней голоса — немая плывет. И все ловят рыбу, и человек, и звери, убивают и едят.

Черепаха

Жил-был царь, не простой, звери покорялись ему. И был у царя единственный сын — Экпенион. Когда вырос Экпенион, дал ему отец в жены пятьдесят юных невест — и ни одна не оказалась по сердцу. Экпенион так и сказал отцу: «Ни одна не люба, ни одной мне не надо». Разгневался царь и дал наказ: «если бы нашлась в его царстве

девушка красивее невест царевича, и царевич полюбит ее: и ей, и отцу ее, и матери ее — смерть!». Это слышали люди и звери, и всякий намотал себе на ус грозное царское слово. А жила-была черепаха. И у черепахи единственная дочка — Эдэт. И черепаха и муж ее черепах очень встревожились. «Ничего не остается, мать, — сказал черепах, — такая наша судьба. Тюкнем-ка тихонько нашу черепиченку, много ль ей надо! и выбросим в кусты. А то ведь голова одна, и хвост один, влюбится в нее царевич, и ссекут голову — и тебе, и мне, и ей». А черепаха не согласна; «Нет, Скороходыч, надо выждать: переменится», И припрятала черепиченку. И три года держала она ее в скрыти — три года никто не домекнулся, что у черепаха и черепахи растет дочка.

Ушел черепах с черепахой со двора, осталась дома Эдэт. А случилось Экпениону ездить на охоте, едет он мимо черепашьего дома. И видит: на изгороди сидит маленькая птичка, ну такая чудесная, и куда-то пристально смотрит, а эта птичка залюбовалась на Эдэт и уж ничего не замечает. Экпенион пустил стрелу и попал прямо в птичку — убитая упала она на изгородь. Послал Экпенион слугу отыскать птичку, а слуга и наткнулся на Эдэт: никогда еще ничего подобного он не видел! — забыл и о птичке, скорее назад, и рассказал Экпениону, какую красавицу он встретил. Экпенион за изгородь и, как взглянул на Эдэт, тут и влюбился. И долго проговорили они — и Эдэт согласилась стать его женой.

Вернулся Экпенион с охоты и дома ни слова, что полюбил черепахову дочку и другой жены ему не надо. А наутро взял у царского управказа, который царской казной управляет, — шестьдесят штук материй и триста бронзовых пионов и отослал черепахе. А за послом и сам. И объявил, что хочет жениться на Эдэт. Случилось как раз то, чего черепах до смерти боялся. «По царскому наказу, — сказал черепах, — и меня, и черепаху, и нашу дочку царь казнит!» — «Нет, Скороходыч, этого не будет, — сказал Экпенион, — скорее меня убьют, но ни тебя, ни черепаху, ни Эдэт никто не посмеет тронуть». И черепах согласился. А Экпенион пошел домой и рассказал матери. «Узнает царь, — встревожилась мать, — казнит и тебя: ты его волю нарушил!» Но самой-то ей по сердцу — она согласна. И понесла к черепахам — и

денег и материй, и пальмового масла — выкуп за невесту: чтобы черепаха не отдала другому свою дочку.

Пять лет ходил Экпенион женихом. И когда выросла Эдэт, сказал отцу, что нашел себе невесту черепаху: «Черепахова дочка Эдэт». Разгневался царь и созвал сход — люди и звери: судить сына. Велит привести Эдэт. И когда появилась Эдэт, все были поражены ее красотой. «Я созвал вас сына судить: он нарушил мою волю. Но когда я увидел Эдэт, не могу его карать за выбор!» И царь простил сына. И все — и люди и звери — одобрили царя. И велел царь восьми эгбосам идти во все концы царства и объявить: «если бы оказалась в его царстве девушка красивее невест царевича и царевич полюбит ее, ни она, ни ее отец, ни ее мать не будут казнены». И дал эгбосам снег и пальмового вина. И в тот же день сыграли свадьбу. Пятьдесят дней длился пир: пять жареных коров и вдоволь сладкой фу-фу и пальмового масла, и по всем перекресткам горшки с пальмовым вином: пей, сколько душа возьмет. День и ночь шли пиры и пляски. Когда же кончился пир, царь отдал полцарства старой черепахе и триста рабов в помощь; и Экпенион дал ей двести женщин и сто девушек для работ. Были черепахи бедные из бедных, а стали богатыми — первые после царя. А когда помер царь, стал царем Экпенион, а Эдэт — царицей. И всякий — человек ли, зверь ли — понял тогда мудрую старую черепаху. И с той поры слывет черепаха премудрой среди людей и зверей.

Первые слезы
— Кабильская —

Тогда проходил по земле — ни отца, ни матери он не знал — беспризорный. И никто не позаботится, никто не спросит, почему он печален? А был он очень печален, но не плакал. Слез тогда еще не было в мире. Увидел его месяц: какой печальный и одинокий идет по земле. И когда пришла ночь, месяц спустился на землю, лег перед ним на земле. «Плачь! — сказал месяц. — Но слезами не слези землю: от земли человек ест. Я возьму твои слезы на небо». И заплакал печальный: вся покину-

тость и безродность, все одинокое кануло в слезах. Это были первые слезы.

Первые слезы упали не на землю, а на месяц. «Слезы, — сказал месяц, — я даю тебе этот дар и все тебя будут любить!» И месяц поднялся и поплыл по небу. А тот пошел по земле.

И с каждым днем все ему по-другому: не было человека, кто бы ни взглянул на него — и все его одаряли. А на месяце видите темные пятна? — не темные пятна — первые слезы покинутого, — первые слезы мира.

Часть третья

Глава первая
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОДКОВА

1. ZUT

Русскому человеку иностранный язык дается не словарем, а горбом. Знаете ли вы, что такое «zut» (зют)? — И я очень хорошо знаю. А лет через десять, если не произойдет еще более удивительного, все мы, живущие в Париже, за такой срок безнадежно окалеченные, но на язык — в карман за словом не полезешь. И сам А. А. Корнетов, стесняющийся переходить улицу по стальным пуговицам — «passage clouté» — и вопреки всяким правилам о пешеходах, не из удали, а от страха, шарахаясь и замирая, перебегающий по диагонали между автомобилей, ступит твердо, и легко пойдет — сам собой — как по движущейся лестнице в метро.

С того памятного всем вечера, на котором Корнетов отличился своим чтением, я его как-то из виду упустил. Да и куда там по гостям ходить! И дел по горло и заботы. Эти мои предохранительные трубки — «экономия газа», не знаю, что и придумать: одни говорят — «уже имеем», другие — и разговаривать не хотят; что же касается моего изобретения — «слуховой портативный аппарат — Münchhausensonor», и в самом деле не уступающий константинопольскому уху того самого слуги Мюнхаузена, который, лежа на земле, от нечего делать слушал, как растет трава, — пропащее дело, прямо скажу: из-под носу украли! — а кроме того о земле подумываю — нынче все покупают! — очень соблазнительно, обзаведусь виноградником около Канн, только бы дознаться, сколько сразу, и какая рассрочка; денег у меня нет, но у меня «колониальный» билет, и я всегда могу выиграть миллион; учусь по-английски — если бы я был женщина, я непре-

менно бы вышел замуж за американца; и хлопочу о натурализации: другого выхода не вижу — чуть только начнешь на свет выбираться — «зют!» — и полетел к черту, никакого тебе нигде хода и полная беззащитность, мудровать может над тобой всякий и свой брат, такой же бесправный, первый воспользуется — за эти десять лет вольной эмиграционной жизни собачье беженство опостылело, да и разве в названии дело — Семен Петрович Полетаев или de Simon! — русским я всегда останусь и всегда благодарю Бога, что родился русским, но не век же вечный бегать с экономическими трубками — трубочный пласье! — и почему Корнетов не натурализуется? — ему куда проще, все-таки как-никак сделался писателем, и французы у него есть, со временем мог бы найти себе хорошее место в Лиге Наций... Вот тут-то я и вспомнил Корнетова: через него, думаю, надо попытать счастье!

Всем известно, что к Корнетову так прийти, без предупреждения, нельзя: надо условиться. Я написал письмо. И каково мое было удивление, когда через несколько дней мое письмо вернулось ко мне с надписью: «уехал, не оставив адреса». Я глазам не поверил: так внезапно — и куда мог скрыться? — и как это непохоже: не оставить адрес? Музыкант Набоков, меняя квартиры, адресов не оставляет, и письма ищут его по всему Парижу и, нигде не находя, возвращаются, и в таком жалком виде — зачеркнутые, перечеркнутые, с наклейками, как с заплатами, чтобы только показаться и, не распечатываясь, шлепнуться в ордюр в соседство к картофельной кожуре, луковым перьям, ботве, обглоданным костям и спитому чаю, но зато и слава — музыкант! музыканты люди отвлеченные, а Корнетов — учитель музыки, никакой музыкант, и так сжился с «реальностью» — с «термами» квартирной платы, летним и зимним временем, сезоном винограда, мандаринов, спаржи и ягод, подачей и получением налоговых бюллетеней и сроками уплаты, подъемов Сены, крушением экспрессов, бурей в Ламанше, рекламой нового романа, срок жизни которому оплаченные дни рекламы, выступлениями коммунистов, рижским заговором в Москве, мировым рекордом «пятилетки», советским демпингом, войной неизвестно с кем в Китае, восстаниями в колониях, биржевой паникой в Америке, землетрясениями на Формозе, очередными перелетами через океан, изобре-

тениями истребительных газов и разговорами о всеобщем разоружении, убийствами и самоубийствами и пышными похоронами мексиканского или чикагского бандита, — так восчувствовал эту реальность с улицами, строющимися домами, банками, почтовыми бюро, табачными и нетабачными бистро — да ему просто больно было бы поступить по-набоковски. Ясно, недоразумение.

Утро, час абсолютно недопустимый для посещения, это я хорошо знаю. Я выбрал сумерки и по кинематографическому призывному звонку поднялся на 5-ый этаж. Но сколько ни звонил, а я и кашлял и стучал и скребся — прислушиваюсь, и кукушка не кукует, один тоскливый свист, как свистит в опустелых квартирах. Значит, правда: уехал! Но какая нечеловеческая сила могла поднять и погнала его с насиженного места: я знаю, ни на что не жаловался, ему очень нравилось место, да и контракт — срок еще не кончился, а и кончится, можно продлить: 3-6-9. Чудеса! Я еще постоял под дверью — да и коврика нет! — и стал спускаться по знакомой, столько раз хоженной лестнице. Прошел мимо Заков — и под Зачьей дверью не было коврика, значит, художник тоже уехал. На площадке первого этажа, где берет свое начало лифт, консьерж: «Вы к Корнетову? — уехал!» И сколько я ни расспрашивал: как, куда и почему? — из всех ответов — консьерж, как всегда, мямлил — я мог одно понять... невероятно, но это так: Корнетов уехал, потому что ему не нравилась квартира — «ассансер постоянно останавливается!» — а переехал он куда-то — «возле Булони, у жены где-то записано!» Странно — не нравилась квартира! ассансер! — но ведь Корнетов никогда лифтом не пользуется, и что значит «возле Булони»? Больше ничего не мог сказать консьерж. И я заметил из «ложи» консьержки приоткрылась занавеска, и два вспугнутых глаза жиганули меня. По привычке я поспешил к выходу.

«Возле Булони!» — точно это так просто! Корнетов не Кост и Беллонт — — впрочем после всяких премий и призов отыскать знаменитых летчиков еще мудренее, чем перебивающегося на милостыню учителя музыки Корнетова. В Париже адресных столов не полагается, тут и визитной карточки не принято вывешивать на двери — одно из средств, ограждающих от ненужных и нежелательных посетителей, а главным образом от просителя —

свобода и неприкосновенность! Обращаться в «Последние Новости» бесполезно: по французскому обычаю редакция не выдает адресов своих сотрудников — тоже предусмотрительно: гарантия от приватных мордобоев без свидетелей. Есть способ: адресовать письмо на редакцию: «aux bons soins...» — одно горе — Корнетов никогда не смотрит «Почтовый ящик», где печатаются фамилии получивших письма, я это хорошо знаю; по примеру самого Корнетова — его наука — я послал ему любовное письмо с вызовом на свидание к Люксембургской решетке, и о моем письме было объявлено в газете, а он никакого внимания, а между тем по такому же письму философ Бердяев специально из Кламара приезжал и лекцию пропустил; потом я завел всякие разговоры, как говорится, формального характера, о двух русских газетах, выходящих в Париже, в которых все отделы так совпадают и в конце после советских анекдотов перед объявлениями в каждой «Почтовый ящик», сразу и не разобрать, почему названия у них разные? — и что же вы думаете, Корнетов по двум газетам следит за скандальными судебными процессами, несколько раз упомянул Устрика — «я вроде, как Устрик», а «Почтовый ящик» никогда не смотрит — «потому что некому писать и не для чего». Конечно, в комиссариате можно, там все знают, но мне всегда чего-то страшно обращаться в комиссариат, и не понимаю, откуда этот страх, ведь так на перекрестке стоит ажан — и ничего, а войдешь в комиссариат, и никаких ажанов, а начнешь говорить, и голоса своего не узнаешь, язык заплетается, чувствуешь себя, точно ты жулик, но какой же я жулик, никакого отношения к общественным организациям, я сам по себе, и все мои экономические трубки под контролем... Я вспомнил Балдахала: Балдахал должен знать. И действительно, Балдахал, бродя день-деньской по знакомым, знал решительно все. И рассказ Балдахала о переезде Корнетова меня удивил: оказывается, Корнетов выдержал тридцатидневную осаду от консьержки и, потеряв последнее терпение, вынужден был бросить обжитую квартиру и уехал куда попало. Теперь все понятно: дело совсем не в том, что «квартира не нравится» и ни при чем «лифт»... но неужели из-за консьержки стоило переезжать? — какая ерунда! Балдахал дал мне адрес: и вовсе не возле, а в самом Булони: «сейчас же за лесом, между лесом и церковью!».

Выбрал я вечер — после дождливых недель тепло, даже чересчур! — и поехал. Хорошо летним вечером проехаться через весь город. Как пустынны улицы и застенчивы огни каруселей на ярмарке у Мотпикэ, и эти прячущиеся полураздетые... и вовсе они никуда не прячутся, а вышли по-домашнему на улицу: ведь только вечер и подышать после дневного зноя каменного и железного. Дорога показалась длинной — оттого ли, что пустой вагон, или и вагон устал, пить хочется. Сначала на «Н» до Сен-Сюльписа, а от Сен-Сюльписа на 25-м. И автобус и трамвай с «терминюса», конечной остановки — садись спокойно, бросать нечего, но я подумал: заберешься в такую даль — Булонь! ведь это только так говорится: «трамваев сколько хотите, и автобус бегает!» а никто не скажет, сколько приходится ждать на остановке, а и дождешься, не попасть — «complet» — нет местов, либо твой очередной номерок дальний, и опять стой. Мне повезло, и все-таки скажу, не ближний конец. Как всегда, спутал остановку и вылез двумя дальше, у церкви — но это ничего, тепло — даже чересчур; тротуары узковаты, чуть не скувырнул корзинку с томатами и прошел под тремя кишками — резервуары с бензином, очень страшно, вот-вот вспыхнешь! А дом отыскал легко, слепой найдет, освещен, как Сарра Бернар, все нумера разберешь, и правильно попал в подъезд — сразу чувствуешь уважение к жильцу, когда попадаешь в такой дом. Сел я в лифт, берет мягко, проехал три этажа и — застрял. По опыту знаю, «аларм» не надо нажимать, зря только тревожить, а тычьте в кнопку выше. Я ткнул на четвертый и благополучно поднялся. Вот и дверь, должно быть, эта... прислушался: кукует. Стало быть, туда: Корнетов при переезде прежде всего часы с кукушкой вешает и наружный градусник — это всем известно: «и чтобы все вовремя и за погодой глаз» — у Корнетова сохранились калоши, в них он выходит в дождь, и говорит, что за все вольные годы «безгражданства» ни разу не промочил ног, а все благодаря градуснику. И опять, вы подумайте, какая живейшая реальность: кукушка и градусник — а как часто Корнетов хотел остановить время и мысленно его нить закручивал в себя, отчего кукушка постоянно отстает, а градусник спасал его от гриппа. Нет, только «злое влияние созвездий»,

как любит повторять профессор математики Сушилов, принудило его бросить насиженную квартиру, переехать черт-знает-куда и не оставить адрес: «parti sans laisser d'adresse».

Я приготовился, как скажу: «горю от нетерпения услышать...». Но когда хозяин отворил дверь, и я очутился в теснющей гарсоньерке, я сразу понял, как было плохо Корнетову, если он попал сюда.

— Ни с кем этого не могло случиться, только с русским! — сказал я.

— Да она сумасшедшая! — ответил Корнетов как о чем-то, всем хорошо известном: так, должно быть, в который раз рассказывая историю своего переезда за «лес», объяснял он поведение консьержки, из-за которой все и произошло.

На воле было тепло, даже чересчур, а Корнетов в двух свитрах и красной вязаной безрукавке, сгорбленный загнанно смотрел из-за книг — точное изображение американской «депрессии!» — видно было, что, кроме кукушки и градусника, да велосипедная шестерня на двери — «индустриальная подкова», ее нашел Корнетов в день переезда на мостовой у церкви — Эглиз-Дотой, из вещей он ничего не трогал, только выпростал, не размещая: книги везде — на сдвинутых полках, в ящиках и на ящиках, на столе, на сомье, на полу, в коридоре — ни ступить, ни присесть.

— И неужели не нашли вы лучшего? Сколько домов строится... и почему в Булонь? Такой ужасный шум: у вас под самыми окнами проходят трамваи. Вы меня слышите? Ведь это же, как на большой дороге.

Корнетов слышал или не слышал, ничего не ответил. Да и не надо было — я это тоже понял, я понимаю, как могут опостылеть стены дома, и тогда кажется везде хорошо, только не дома, а если еще испугался, страх — всемогущий волшебник, он загонит тебя в щель, а тебе будет видеться — просторно.

— Вид у вас чудесный! — сказал я, и в самом деле, видно было далеко и все деревья, — но неужто это правда: вы покинули вашу чудесную квартиру из-за консьержки?

Корнетов покрутился около забаррикадированного стола, закрыл Шахматова «Синтаксис».

— Вы мне должны сказать какое-нибудь особенное наречие, — сказал он, заметив, что я смотрю на книгу, — помните, наречия сопутствуют глаголу, например, «всласть», «с размаху»... — и повел меня в кухню.

О «наречиях» я ничего не помню, молча следовал я за хозяином, перепрыгивая и спотыкаясь о книги.

В темной кухне я заметил, под краном раковина мелкая — дом-то, видно, только с виду казистый. Корнетов готовил чай. Не отступая от своего обычая, он закутал чайник шерстяным платком, выжидая какие-то «настоятельные» минуты для заварки. И когда эти минуты прошли и Корнетов зажег электричество, мне показалось: кухня — единственный угол квартиры по душе Корнетову, и не так шумно, и сам Корнетов не такой.

Это случилось в один прекрасный день, и не для слова сказано, а на самом деле, «прекрасный»: что может быть лучше первых летних дней не только в Париже, а и везде, где после зимы опять светит и греет солнце. Только что прошла Пасха, зацвели каштаны на Араго, показались первые листочки на поздних, долго зимующих платанах; саламандра погашена и зола выгреблена и заметена, а на зиму и самые расчетливые хозяева угля не требуют — еще рано делать запасы, и «шарбонщик» — (угольщик) Мосье Синегр отмылся от угольной пыли, совсем как куаффер, и дети его не боятся, и никому он не представляется во сне со своим тяжелым мешком и черными маслянистыми яйцами. Балдахал, ранней весной целыми днями пропадавший в Жарден-де-Плант около оранжерей и клеток, наблюдая за цветами и любуясь на зверей, вздернутый и взбудораженный, с первой кладкой яиц успокоился и ходил философом, бесстрастно глядя на влюбленных, всасывающихся друг в друга без времени и места. Самые сердитые, шипящие брюзги и кожаные фырки, получили драгоценное право стать незаметными, а обрадованный переменой глаз видит только улыбки, кротость и уступчивость даже в самых напиханных и утисканных метро в самые тесные нетерпимые и нетерпеливые часы — выездной, спешащий на службу, и разъездной, возвращающий по домам. И пьяная компания из самых невыносимых — обидчивый хвастун, оплевывающий все приставала, и дурак с математическим задором — добро-

душно горланят песню; а вечерние огни и весенние легкие наряды — самый громкий сезон в Париже — улица оживлена, и в ней и через нее одно чувство ко всему живому — ко всему миру разливается с теплой ночью и огнями.

«У меня было именно такое чувство — расположение к миру, — рассказывал Корнетов, — вот чего пожелаю людям. И непонятно, откуда это приходит на человека, не могу объяснить себе, как возможно, все видя, и мало того, все чувствуя, держать в своем сердце расположение ко всему... или это все, такое всякое, есть действительно одно где-то там перед сердцем всего? С кем ссорился — помирюсь; если могу помочь — на все готов. И дела не тормошили: налоговый бюллетень вовремя подан, а налоговых листов еще не прислали, обменена карт-дидантитэ, к терму собраны деньги за квартиру, и на воле и в комнатах тепло, раскрыты окна и ничего не болит и никто не мешает, жду новый полный перевод Дон-Кихота, только что вышел в Москве...»

Мир Корнетова — книга. События жизни — хроника — для него, как улица, куда он выходит всякий день и не может не выходить. Призраки его мысли и призраки чужой мысли, его собственная мысль и мысли о мыслях, чувства, слова и мелодия без слов и мысли — это то, что всегда окружает его, движется с ним в живой жизни. А эта живая жизнь может окриком и колесом распугнуть все призраки, заставить как проснуться и посмотреть в глаза — и какие жестокие! И тогда Корнетову особенно плохо приходится: трудно ему сообразиться, как быть и что делать в этой обнаженной жестокой живой жизни с расчетом, находчивостью и ладом: где лаской, а где в зубы.

Так случилось в это прекрасное утро...

Накануне Корнетов лег поздно: читал житие Филиппа Ирапского, написанное монахом Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере Германом, вступительная статья Ключевского, — о беспризорном XIV века или по церковно-славянски о «безприятном», от глагола «приять»; в голод умерли родители Филиппа, в мире Феофила, и пошел он бродить по свету и поселился в Вологде в Корнилиевом монастыре, но и там недолго пробыл, кто ступил, нельзя остановиться, пошел дальше — чтобы быть «единому единственно», и так добрался до Белозерской

Андоги и поселился, наконец, на Ирапе в Кросноборской пустыне. И что удивительно, шел он по голосу — пророки слышали глас Господень, слышал Гоголь окликающий голос Велиара, а его позвала Богородица и от ее голоса земля расцветает огнями, и этот свет будет ему дорогой в его странном пути к «единому единственному»...

Рано утром в самый забвенный сон звонок: так рано звонит только почтальон — деньги или заказное письмо, или шалое «pneu» несообразительного или от усердия брошенное на ночь, но это была не пневматичка и не деньги, а консьержка: пакет. Сквозь сон Корнетов почувствовал, что консьержка недовольна: книгу ей передали вчера в 11 часов.

— Onze heures du soir? — переспросил Корнетов.

Консьержка, спускаясь, что-то ответила, не разобрать.

Книга оказалась от Балдахала: давно жданный Дон-Кихот. И ведь только один Балдахал мог в 11 часов вечера разбудить консьержку и, наверное, ничего ей не дал. И сам Корнетов, приняв книгу, ничего консьержке не дал: со сна не спохватился, да и не о том было подумать: не мог поверить в «onze heures du soir» — такой поздний час, 11 часов. И пенял себе и пенял Балдахалу: ведь мог бы подняться и передать в руки, а не будить человека! Но за кофеем Корнетов позабыл и о консьержке и о Балдахале, он думал о судьбе Дон-Кихота с его пламенным мечом Амадиса и золотым шлемом Мамбрина.

«Течение созвездий навлекает на нас бедствия, которые небеса с яростью и бешенством низвергают на нас, и тогда никакая земная сила не может их остановить и никакие ухищрения — отбросить!»

Сразу видна искусная рука профессора математики Сушилова и кельтолога Смирнова: перевод с испанского. После своего вечера Корнетов ежедневно упражнялся в чтении для развития голосовых связок и для чистоты произношения, чтобы выходило громко, выразительно и отчетливо без слива слов и выпада букв. Отложив книгу до вечера — вслух читать Дон-Кихота будет одно удовольствие! — Корнетов стал собираться, как всякое утро собирался, чтобы выйти на волю — в волю этой живой жизни, перед которой имел такой неописуемый страх: точно отсчитал он 2 франка 55 сантимов — на папиросы и спички, чтобы не дожидаться сдачи и не обсчитали,

всегда могло выйти недоразумение — в бистро всегда народ — а так спокойно: 2 ф. 55 с.

За полтора года Корнетов осмотрелся, и теперь ему совсем не надо перебегать на Гобелен, ни к «Циферблату», ни к «Шкалику»: на углу Араго оказалось бистро с табаком: всякое утро безо всякого надрыва — шараханья и выжиданья спокойно шел он за папиросами и спичками, держа в руке 2 ф. 55 с. Спускаясь по лестнице, чувствовал он чудесное тепло первого летнего дня, и ему было легко без шерстяных зимних шкурок, а свободно и благорасположенно — Амадис Галльский, победивший волшебника Аркалая!

Выйдя на площадку, где лифт берет свое начало, Корнетов по обыкновению наметился посмотреть, нет ли объявления: вывешивалось о приходе газового и электрического счетчиков.

«И тут вот она на меня набросилась. Я видел только сжатые кулаки и глаза, готовые оловом выплюнуться — такое было у нее исступление. Но что она кричала, будь то и по-русски, ничего бы не понял. Уж очень она неожиданно и ни на какую стать быстро. «Медленнее говорите, ничего не понимаю». А она свое, она кричит, будто когда она подала мне книгу, я сказал: «зют». — «Зют!» — повторяю я, — но что такое «зют», я этого не говорил!» И прошу: «напишите мне это слово, я его в первый раз слышу». — «Vous êtes menteur! vous êtes menteur!» — и уж не кричит, а взвизгивает и таким взвизгом, что будь у нее под руками ключ или совок или еще что, долбанула бы».

Корнетов кое-как вышел. Он очень хорошо помнит, что единственное, что он спросил консьержку, взяв Дон-Кихота, — «onze heures du soir?» — («в одиннадцать вечера?») и как из этих слов вышло «zut» — непостижимо, и что значит это «зют»?

Корнетов прошел газетчицу — не купил газету, но папиросы и спички купил — 2 ф. 55 с. Корнетов не вернулся домой, а повернул к соседу: надо было прежде всего выяснить, что такое «зют», и что делать, чтобы оградить себя от подобных неожиданных нападений?

Соседа Дорà, или как называл его Корнетов, подтрунивая над французской клюквой русских романов по-фран-

цузски, Monsieur Escalier de service не было дома. А был его племянник, молодой ученый, кончил Школу Восточных языков — Ecole de langues orientales, теперь в Школе письмен — Ecole de chartes, читает и говорит по-русски. Корнетов рассказал ему всю историю с нападением и с таинственным «зют», смысл которого не мог понять.

«С консьержками всегда так, — сказал ученый, — жаловаться жерану не имеет смысла: они в соглашении. Оставьте это дело и не обращайте внимания».

«Я прожил весь героический период русской революции в Петербурге, — сказал Корнетов, — а ничего подобного со мной не случалось, никто на меня не набрасывался и так, здорово-живешь, не кричал».

«Да это похуже будет, — сказал ученый, — и нигде на них управы не найти. Это дело оставьте. А слово «зют»... вот пример из Пруста: «Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé: «Zut, zut, zut, zut...» Я затрудняюсь перевести, только ничего особенного, вроде «оставьте меня в покое».

Корнетов и сам думал: обратиться к жерану, хуже еще кабы не сделать — пожалуешься, и возможно, что этот управляющий-жеран — сделает консьержке внушение, а только от этого внушения добра не жди, она на тебе выместит, найдет чем извести.

Корнетов пошел на Распай к Петушкову. К Петушкову он обращался во все горестные минуты житейских неудач.

«Надо заявить в комиссариат, — сказал Петушков, — у нас еще до войны был такой случай, я пошел в комиссариат и сказал, что обращусь к консулу. Комиссар вызвал консьержку и так ее отшлифовал, шелковая стала».

«Но ведь это до войны, — сказал Корнетов, — теперь какой же консул: ведь мы вольные».

«Все равно, заявите в комиссариат, ее там отшлифуют, шелковая станет. А у нас, слава Богу, тихо».

Корнетов чувствовал, что ходить в комиссариат не следует: в комиссариате консьержку лучше знают, а что такое для них Корнетов, если он ни к какому консулу не может обратиться? И если даже вызовут консьержку, какая гарантия, что обратится в шелковую? Народ мстительный, житья не будет.

Корнетов пошел к африканскому доктору.

«А меня все консьержки боятся, — сказал доктор. — Попробовала бы она у меня пикнуть, я так на нее накричу, живо хвост подожмет. У нас в доме — ведьма, а передо мной по струнке ходит. Надо на нее хорошенько накричать».

Но что поделаешь, если Корнетов кричать не может, и вид у него — какой же это африканский задор? а если еще во всех своих зимних шерстяных шкурках, его и не видно совсем. Да и не всегда криком возьмешь: если человеку послышался «zut» в «onze heures du soir», тут что-то неладно, а как кричала! — нормальный человек так не закричит.

«Так надо заявить в «Здравоохранение», — сказал доктор, — но, чтобы ее удалили, надо обязательно, чтобы она сделала что-нибудь исключительное, ну, убила бы кого-нибудь из жильцов. А один ее крик — это не основание».

Корнетов пошел к Птицину. Птицин, как экономист, должен был понимать в таких делах, потому что основа всяких дел была и будет — «хлеб».

Птицин прямо сказал:

«У нас, слава Богу, все хорошо. Все дело в деньгах. Вы мало ей даете».

«Я всегда даю», — сказал Корнетов.

«Стало быть, кто-то из жильцов больше дает. Попробуйте дать ей сейчас же и вы увидите, все успокоится».

«Но она тогда еще больше кричать станет, чтобы еще больше получить...».

«Не обращайте внимания».

Если бы можно было не обращать внимания! И есть такие, кто могут, но Корнетов слишком обнаженный — его и кукушка, кукуя часы, пугает и на звонки он вздрагивает глубокой до стона дрожью.

Корнетов пошел к Пытко-Пытковскому. Пытко-Пытковского не застал и оставил записку. Надо было возвращаться. И по дороге опять заглянул к соседу: все-таки француз, больше всех скажет. Теперь племянника не было, ушел в Библиотеку, а был дядя — сам Дорà.

В Париж приехал итальянский поэт, — таких поэтов да еще итальянских немало на белом свете. Но итальянский

поэт приехал из Рима в Париж, а Париж любит иностранную знаменитость. Итальянца напичкали французскими авансами под стихи и книги — старались и самые изысканные «рэвю» и самые солидные издательства. Бедняге на его счастливой родине такого и не снилось! Дорà, говоривший по-итальянски, сопровождал итальянца по редакциям. А сегодня с утра ездил по магазинам: наряжал гостя — надо было все перемерить от воротничка до ботинок. И наряженного завез к литературной «princesse» завтракать, а сам домой — передышка. На кухне на медленном огне тушилась говядина с луком и пахло подгорелым.

Дорà слушал Корнетова очень внимательно.

«Так вы собираетесь переезжать?» — сказал Дорà.

Корнетов в первый раз об этом подумал: хорошо говорить — «переезжать!»

«Нет, мне еще 1½ года до окончания контракта».

«Так, может быть, передали бы квартиру?»

Корнетову в голову не приходило: передавать квартиру.

«Я попробую».

«Да, это будет всего лучше, переезжайте. Быть не в ладах с консьержкой, это не жизнь».

Совсем растерянный подходил Корнетов к дому. Из всего, что ему советовали, он понял, что советчики рассуждали не так, как если бы они находились на месте Корнетова, а так, как оно было бы в «идеальном» обществе и Корнетов был бы похож на человека, а этот припев — невольный подголосок «слава Богу», в нем слышалось с искренней жалостью и затаенное злорадство — «слава Богу не нас или не с нами!» — замеченное Достоевским в свидетелях несчастного случая. И только один Дорà, предвкушая в подгорелом кокоте тот княжеский завтрак, за которым, стесняясь, сидел наряженный итальянец, сказал жестокую правду. Чем ближе подходил Корнетов к дому, тем сильнее овладевала им одна-единственная мысль: войти незаметно. И когда, благополучно войдя, на лестнице он никого не встретил, очень обрадовался, но спохватился, что не навсегда же он входит в свою квартиру и завтра опять надо — будь черная лестница (escalier de service), другой вход, еще можно было бы как-нибудь... и он затих. Благословенна тишина в полях, хороша она и когда музыку слушаешь — пауза, но на душе у человека как часто

наступает тишина не мира, а тишина бессилия и безвыходности.

Корнетов взял Ларус и отыскал слово «зют»: «зют» означало le mépris (досаду), le dépit (презрение) и l'indifférence (все равно) — это стало быть вроде русского «цыц!». А ведь первое, что он подумал, когда из крика вырвалось это «зют», что это «Nord-sud» (нор-сюд) — метро, и мысленно пробежал он тогда от Порт-де-Версай к Порт-де-ля-Шапель и от Порт-Майо к Порт-де-Венсен — конечным станциям Нор-сюд. Теперь он «зют» с «сюд» не спутает, и бегать никуда не нужно. Но от этого не легче. Со многим можно помириться, но чтобы нельзя было спокойно войти в дом, имея свой собственный ключ в кармане, это невозможно.

В сумерки пришел Балдахал. В прошлом году у Балдахала «отпадала голова»: проснется утром, а она у него на ниточке; за зиму голова приросла — африканский доктор прирастил внушением, укрепив маринолем, по сладости превышающим все, что есть в мире самого приторного, но с какой-то способностью возбуждать к деторождению; теперь Балдахал чувствовал, что по утрам у него где-то в пищеводе встает металлический стержень и подпирает горло, острый, как шило; в течение дня шило медленно спускается и потихоньку выходит само собой — мучительное состояние, от которого единственное средство — валерьяновые капли. Корнетов напустился на Балдахала и за то, что Дон-Кихота передал консьержке в 11 часов вечера, а не поднялся передать в руки, и за то, что, передав, не дал ей на чай. Балдахал под напуском Корнетова вдруг почувствовал себя свободным от шила и стал оправдываться. И вовсе не в 11 — «onze heures du soir», а в 9 часов вечера, когда еще не ложилась консьержка, принес он Дон-Кихота, а не поднялся он передать в руки из боязни засидеться — у Балдахала было такое: придет на минутку, а сядет и сидит, не может уйти. Балдахал винился, что действительно на чай не дал. И очень сожалел, что из-за него все так вышло. Не задерживаясь, вынул он 5 франков — для Балдахала 5 франков деньги! — и пошел объясняться, т. е. дать консьержке за вчерашнее беспокойство эти 5 франков.

Дверь не закрыта — тепло на воле. И с 5-го этажа Корнетов слушал — знакомый утренний крик, с визгом разносясь по лестнице, царапал стены. Балдахал вернулся взволнованный: 5 франков не подействовали; его изругала консьержка и выгнала, а главное, случившийся при этом свидетель отказался.

Было так: Балдахал, положив на стол перед консьержкой 5 франков «за вчерашнее беспокойство», сказал, что это его вина, а Корнетов ни при чем; консьержка, посмотрев на 5 франков, уже неспокойно сказала, что когда она передала пакет Корнетову, Корнетов сказал ей «зют» и извиняться перед ним за 5 франков она не будет — «потому что я на своей земле, а вы отправляйтесь в вашу страну»; а когда Балдахал сказал, что Корнетов не мог этого слова произнести — «зют»: Корнетов это «зют» услыхал в первый раз от нее же, и эти 5 франков не за извинение, а за «вчерашнее беспокойство» от него, а не от Корнетова, она вдруг поднялась и закричала, что Корнетов «menteur», а она не раба и, крича «menteur», уж неизвестно кого имела в виду: то ли Корнетова, то ли самого Балдахала, который обманывает ее, «обманщик», выгораживая Корнетова; у Балдахала где-то в пищеводе встал его металлический стержень и шило кололо горло: пресекающимся голосом Балдахал сказал, что будет жаловаться в комиссариат — а на это с криком царапнул угрожающий визг — «я не воровка!» И под — «allez vous en!» Балдахал вышел вон. На площадке у лифта стоял грек, у которого бесчисленное количество греческих детей, и Балдахал, неожиданно очутившись за дверью, обратился к греку: «слышали ли вы?» И, с Балдахалом влезая в лифт, грек сказал, что все слышал. «Вы не откажетесь быть свидетелем?» — «Нет, пожалуйста, — сказал грек, — оставьте меня: у меня много было с ней неприятностей, она сумасшедшая». Вставший в пищеводе у Балдахала металлический стержень не опускался, и шилом колола не консьержка, не 5 франков, так и оставшиеся у нее на столе, колол отказавшийся свидетельствовать грек.

Как бы в другое время хорошо было за чаем читать Дон-Кихота. Корнетов так и предполагал. Но какой уж там Дон-Кихот! И за что? Балдахал передал книгу, когда еще можно, «без беспокойства» в 9 часов, и вот дал

5 франков — за передачу книги довольно было бы и десяти су! Корнетов, приняв поутру книгу, переспросил, чтобы увериться, не послышалось ли ему — такой поздний час: «onze heures du soir» — 11 часов? а это его «onze heures du soir» послышалось презрительным «цыц» — «zut» (зют).

Или правда — — «течение созвездий навлекает на нас бедствия, которые небеса с яростью и бешенством низвергают на нас, и тогда никакая земная сила не может их остановить и никакие ухищрения — отбросить!».

Когда зажгли электричество, явился Пытко-Пытковский. Какой чудесный вечер, как тесно в комнатах и тянет на волю, но Корнетов весь вечер рассказывал историю с консьержкой: «зют». Пытко-Пытковский синдикалист, все житейские матерьяльные противоречия перед его глазами откровенны, как купальщики на пляже, где проверяется ажанами пристойность костюма, и знает он Корнетова, его матерьяльное положение и его потерянность в практических делах; Пытко-Пытковский не советовал связываться с комиссариатом, он сам объяснится с консьержкой и уладит миром; а если ничего не выйдет, попытается увидеть жерана; а на всякий случай советует, не откладывая — «посмотрите квартиру в нашем доме, есть несколько свободных». И этим «на случай» подтвердил внимательное жестокое слово премудрого соседа, который, проводив на вокзал осчастливленного итальянского поэта, кроме авансов получившего еще тысячу франков на подарки детям, вернувшись домой, вздохнул свободно — две итальянские недели отбили его от работы, но никак не передвинули срока — сел за бесконечный перевод с немецкого «mille deux cents pages» — 1200 страниц, том.

Корнетов ждал от людей только всего хорошего и даже там и тогда, когда нечего было ждать, и не удивлялся, если вместо хорошего выходило не то что дурное, а просто ничего хорошего. Корнетов ждал, что Пытко-Пытковский сделает что-то такое и притом без всякого комиссариата, без жерана, без крика и без денег, и все пойдет по-старому — книжный мысленный мир его и изощренно-мыслечувство-словное восприятие мира с мелодией без мысли и слов — чистой музыки — вся эта стихия призраков звучащих и движущихся, то охватывающая беспричинной

радостью, то погружающая в глубокую тоску, — вернется к нему, как хлеб к оголодалому и, по эффекту насыщения, все забудется, и изводящая мысль, выскаливающая «зют», перестанет будить его без времени. А успокоился Корнетов на мысли, что надо ничего не бояться и быть ко всему готовым — необыкновенно увлекательная мысль, с которой, по опыту знал Корнетов, кляча рысаком бывает. Крепко держа в голове эту сверхъестественную мысль, повторяя — «не бояться и быть готову» и стараясь быть совсем незаметным, Корнетов на следующее утро проделал мучительный путь с 5 этажа к выходной двери и обратно к себе на 5 этаж, но избежать не удалось: каким-то исподним ненавистным чутьем консьержка расслышала его неслышные шаги и выскочила из своей ложи — Корнетов, не глядя, чувствовал, какое злое олово выплевывалось из ее глаз.

Гоголь, для которого наш видимый мир с палящей тоскою и жаркой печалью, скучный в однообразии и разнообразный — розовый под чарым глазом, и чаровной в вызмеивающейся вийной страсти подглубинной глуби, эта везде и всех обольщающая и обманывающая гиблая морока со своим смертельным оскалом, вечно смеющийся и в голубой лунной жути и в красной солнечной гульле; Гоголь, для которого в этой неизбывной мороке, застилающей глаза пеленой, испещренной и рассвеченной застывшими звуками «упоительных» цветов черной украинской земли Малороссии, — единственный проводник из единственного реального мира, не с неба, где столько же дряни, как и на земле, а оттуда из подглубинной над-глуби — звук — окликающий в тишине безоблачного дня голос; Гоголь, которому открылся этот полдневный таинственный голос, сам своей волей пустил гулять в этот мир наваждений двухсложное «гу-сак» — слово, разделяющее неделимое «друг», думал ли он когда, что Париж — «это вечное, волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещения, мод, изысканного вкуса... великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невиданных углах Европы, трепет и мечта двадцатилетнего юноши, размен и ярмарка Европы» — его Париж станет свидетелем и местом явления необычайного и самого несообразного для трезвого неумствующего ума: односложное, как «цыц»,

пустяковое зубное «зют», никогда не произносимое человеком и никогда им не слышанное, вдруг прозвучит в так мало имеющем с «зют» — «onze heures du soir» и, как камушек, брошенный оттуда, воспламенит лютейшую ненависть у «ослышавшегося» и отчаянный страх у того, кто «не дослышав» переспросил: «в 11 вечера?». И таким «недослышавшим» был не адъюнкт-профессор (с учеными все может статься), не писатель, обуреваемый гордой мечтой и носящий в себе высокое призвание «сделать что-нибудь для общего добра на государственной службе» (государственному мужу — сам Бог велел), а учитель музыки, никакой музыкант, реальнейший в этой призрачной реальности локатер «cinquième à droite» — —

«Николай Васильевич! ваш покорный слуга Корнетов».

На улице Корнетов только «китаец», которому ничего не делается — такое было однажды у собравшихся около автомобиля, из-под которого поднялся Корнетов, как ни в чем не бывало, но кто же он теперь у себя, в своей комнате под глазом книг, географических карт и неугомонной кукушки — часы идут-идут-и-идут, и будут идти, ни на минуту не перестанут: когда и последнее отнимется у человека, самое главное — голос («Зряще мя безгласна...»)?

Корнетов доедал остатки своих запасов — рис, макароны, тапиоку, а вместо хлеба «конурку» — ломаное печенье и черствые, а больше окаменелые куски «Петровского времени», собиравшиеся изо-дня-в-день в жестяные коробки из-под английского и голландского печенья, а за чаем — блестящие кристаллы «слонимовского» тростникового сахара, присылаемого Марком Слонимом из Праги, хотя, скажу, сам Марк Львович тот ни сном ни духом и, как всем известно, употребляет простой матовый свекловичный; а курил окурочный табак, вытряхиваемый всякий день из окурков без пепла «на случай» — этим прокуренным табаком угощал Корнетов доверчивых курильщиков, нахваливая, как самый настоящий турецкий, присылаемый ему из Люблян словенским поэтом Миркой Претнаром, и все курили без сомнения, как турецкий — Миркин; Миркин табак, залежавшийся, оказался злой и прелый, но куда уж разбирать, хорошо, что за папиросами не надо. Если бы можно было не выходить из дому!

Корнетов был уверен, что писем ему больше не будет — так всегда бывает с локатерами, провинившимися перед консьержкой. И действительно, его больше не беспокоили. И вот совсем неожиданно передал письмо консьерж. По почерку Корнетов сразу догадался: Пытко-Пытковский.

Пытко-Пытковский, не имея времени передать на словах о своей дипломатической миссии, но обещая зайти на днях, решил подробно описать, как был он с профессором математики Сушиловым у консьержки, и каких благоприятных результатов они достигли. В письме дано было всестороннее и исчерпывающее обследование консьержки, но ни слова не было, почему же все-таки Корнетов «menteur», и в чем его «mensonge» — когда и в чем он обманывал или обманывает, лгал или лжет?

Консьержка, по словам Пытко-Пытковского, женщина нервная, живет между парализованной теткой и дурковатым бессловесным мужем, единственный их сын полоумный находится в больнице для душевнобольных. В Париже с повышением температуры повышается революционный темперамент, а она принадлежит именно к тем историческим парижским женщинам, которые свирепствовали и в великую и во все революции. Болезненная обидчивость, свойственная французским мелким буржуа, у ней усугубляется сознанием, что она не хуже других и могла бы не быть консьержкой, а хозяйкой «bonneterie» — галантерейной лавки, но она не жалуется, наоборот, считает себя достойной всякого одолжения за свои «mérites» — заслуги, потому что она «честная труженица» и не стыдится своего звания, которое может казаться «некоторым» унизительным и не заслуживающим ни «мерси», ни «бонжур», что, она, наконец, «бедная работница», а Корнетов «буржуй», который встает в 10 часов утра.

«И вот чего мы достигли, — писал Пытко-Пытковский, — консьержка будет делать свой «service» — «c'est tout et pas plus» — и больше ничего, но никто не будет ни за 5 франков, ни за миллион требовать от нее «acte de soumission» — извиняться; военные действия на лестнице будут прекращены, и что желательно говорить ей «бонжур», по возможности сопровождая его улыбкой».

Пытко-Пытковскому казалось дело исчерпанным. Правда, преданный забвению «зют» остается не магическим

камушком оттуда — из «подглубинной над-глуби», а словом, сказанным Корнетовым. И какая гарантия, что и его «бонжур» не вызовет какого-нибудь метеорного падения более пламенного, чем «зют»? — Корнетов всех французских слов еще не знает и не может представить себе, какое сочетание произойдет из «b-o-n-j-o-u-r», а улыбаться так он не умеет: в России, слава Богу, этому искусству не обучали и, дай Бог, обучать не будут.

Улыбка! — озаряющая и жалостная (улыбка Ростовой и улыбка Масловой) — это свет того тайного голоса оттуда... сквозь смертельно оскаленную Гоголевскую мороку — и лгать в глаза подменой этого величайшего дара — «света уст»...

Между тем африканский доктор, улучив свободную минуту, нагрянул к Корнетову в самом благодушном расположении, жара стояла тропическая, вызывая неизгладимые воспоминания — кто побывал в Африке, тот навсегда отравлен! — ни о какой истории с консьержкой не было и памяти. Чтобы зря не подыматься, африканский доктор решил справиться у консьержки: дома ли Корнетов? И нарвался: консьержка задрала. Доктор отгрызнулся. Слово за слово, и пошло — и все африканское благодушие кончилось. И крик на лестнице стоял куда громче, чем при объяснении Балдахала, вооруженного 5-ью франками «за вчерашнее беспокойство» — кричали слышно и через затворенные двери, Балдахал никогда не кричит — таково уж его анатомическое строение, африканский же доктор привык командовать в экваториальной пустыне, и в мирной жизни приходится предупреждать: «Владимир Николаевич, говорите потише!» — а уж вгорячах он громче «громоотводной тучи». (Определение, заимствованное из приветственной юбилейной речи африканскому доктору небезызвестного поэта Ивана Козлока). Ну и консьержка не уступит. Кричали в раз и в голос.

«Я вам отделал ее так, никогда не забудет!»

Африканский доктор чувствовал себя гордым, а смотрел, как сам экваториальный черный король, имеющий власть над людьми и зверями, ухо которого отверсто — все слышит и понимает: «и голос птиц и человека и безгласных рыб».

С этого дня еще теснее сделалась лестница, и потянулись бесконечные ступеньки. При встрече с Корнетовым,

а встречи были неминуемы, консьержка выскакивала с пылающими глазами и хлопала дверью; под этот угрожающий стук Корнетов выходил из дому. И надо было возвращаться. Если бы можно было никогда не возвращаться!

Корнетов чувствовал себя не то, что связанным, а склеенным каким-то неотмокающим франколем, и квартира, с которой связано было его гордое сознание о независимости и неприкосновенности, обратилась в западню. И никак не привыкнешь. Вот уж подлинно «prisonnier»! — нет не пленник, а «reclu», как назвал его добрый и мудрый сосед Дорà, который видел единственный из невольного заключения выход — переехать.

Корнетов думал когда-то, что дело в ключе: стоит только иметь, т. е. не забывать ключ от квартиры, и ты в полной независимости и неприкосновенности. И вот ключ у него всегда при себе и что же: какая независимость и в чем неприкосновенность? Нет, он совсем забыл, что кроме собственной квартиры, куда он может проникнуть с ключом, запереться и делать, что ему угодно, есть еще бесконечная лестница от дверей его квартиры до дверей дома. И для того, чтобы чувствовать себя действительно независимым и неприкосновенным, надо иметь еще какой-то воздушный ключ на каждую ступень.

По лестнице он подымается с оглядкой, как все русские. Это совсем не то, как по приезде из России на первых порах ходил он, задравши нос — за десять лет своей вольной жизни, как называл Корнетов жизнь обреченных на эмиграцию, он опытом усвоил себе общерусскую оглядку. И если лифт в исправности, хотя в лифте никто не окликнет и не проворчит вслед, он и в лифте, как на лестнице. И не без языка — за такой срок он узнал и произносит механически все, ни к чему не обязывающие льстивые выражения, которые никем не принимаются всурьез, — изобретение глубочайшего познания и презрения к человеку, от близкого соприкосновения с которым единственная ограда «любезность». И ни в чем не одолжается: за все, что ему делают, он платит. Какой же еще надо ему воздушный ключ?

Вот мудреный вопрос, но на который очень просто ответить: все дело в том, что судьба его не такая — он «вольный» человек, и в этом все; и что бы он ни делал,

ни американского ключа, ни итальянской отмычки ему никак не достать. А без этих ключей и отмычек лестница всегда останется закрытой — «воля» так не дается. И стало быть, он обречен на вечное испытание чистилища, и поделать ничего нельзя. Но разве бывает такое, когда нельзя ничего поделать?

Корнетов понял, что все равно житья здесь не будет, сосед Дора̀ прав, и решил уйти со своей лестницы, перейти на другую без всякого ругательства, но с расчетом — может, и посчастливится, и испытания чистилища не то, что кончатся, кончиться они никогда не могут, а дан ему будет отдых, как грешникам в легенде о Хождении Богородицы по мукам — «от Великого Четверга до святыя Пятидесятницы».

Все стало в том, чтобы передать квартиру. Говорили, что это ничего не стоит, стоит только сказать в аптеке и в булочной. Корнетов так и сделал. Но толку никакого. Правда, приходила какая-то дама, удивлялась, что такой маленький квартирный налог, и чего-то даже забеспокоилась, Корнетов так и не понял, что тут страшного, коли бы большой... пообещала зайти в субботу с окончательным ответом; и не пришла; и пропало три дня ожиданий — каких ожиданий!

Комнату Корнетова и узнать нельзя: и всегда порядок, но теперь — как в музее комнаты знаменитых людей, все на своем месте, а нет и признака жизни. Дон-Кихот так и остался раскрытый на странице «о злом влиянии созвездий», а рядом „Introduction à l'étude de la littérature celtique" — Arbois de Jubainville — не тронута, и тут же Уильям Блейк «Венчание Неба и Ада», Оксфордское издание, на 247 странице.

Прошла неделя. Говорили, что надо сделать объявление в «Последних Новостях» и сразу 40 000 явятся квартиру смотреть. Корнетов согласен, и пусть бы миллион со всеми родственниками и ближайшими знакомыми, лишь бы поскорее все кончилось. И одно затрудняло, как написать объявление: пробовал, ничего не выходит. Решил вызвать Балдахала, просить его о помощи. Балдахал не заставил себя ждать, на другой же день явился, но не один, как ждал Корнетов, а неожиданно со спецом. А неожиданность для Корнетова, что мыло в глаз: что и знал, забыл, а наперед сообразить — дурак. Спец брался

все устроить единым духом — «не надо вам тратиться и на объявления». Корнетов поддался — конечно! и деньги сберегутся и этих 40 000 не потребуется! Корнетов согласился и пропал. Он в растерянности своей упустил самое главное, что без всяких отступных непосредственно с-рук-в-руки его квартира могла быть привлекательна, но теперь с посредником, которому тот, кто возьмет квартиру, должен заплатить, квартира перестала быть «случаем» и не была дешевкой; а кроме того, 40 000 по объявлению могли кончить в день, а «единым духом» — сколько это дней или недель или месяц?

Между тем консьержка, узнав квартирного агента, догадалась, в чем дело, и решила, что на этом она может заработать, и теперь всякого любопытствующего, посланного агентом, и вообще всякого, кто спрашивал Корнетова, останавливала, допрашивала и требовала вознаграждения — комиссионные за передачу квартиры. А за уклончивые ответы или за отказ вступать с ней в разговор она набрасывалась, поминая Корнетова — его жгущий ей сердце «зют», да заодно и тому влетало, кто подвернулся — какое уж там квартиру смотреть, давай Бог ноги!

Mon cher ami,

Je suis absolument désolé de tout ce qui vous arrive. Je comprends parfaitement que tout travail vous soit rendu impossible par suite des scènes épouvantables qui, depuis quelque temps, vous subissez de la part de votre concierge. L'autre jour en allant vous j'ai pu me rendre compte moi-même de l'état de l'exaltation pathologique dans lequel se trouve cette personne. Ne sachant pas exactement à quel étage vous habitez je me suis adressé à elle — très poliment — je vous prie de le croire — pour avoir le renseignement. Les yeux brillants, le teint vultueux elle m'a demandé d'un ton agressif pourquoi j'allais chez vous. Et sans me permettre de placer un mot elle m'a dit tout le mal possible de vous, prétendant que vous lui aviez dit «zut», que vous vouliez l'empêcher de gagner sa vie et qu'elle m'empêcherait de monter si je venais dans le but de louer l'appartement — parce qu'elle entendait avoir sa commission, qu'elle était une pauvre ouvrière et vous un bourgeois se levant à dix heures. Quand j'ai essayé de lui faire remarquer que j'ignorais toute cette histoire qui ne me regardait en aucune facon et que je venais pour affaire

personnelle — elle a encore élevé la voix davantage — elle est allée jusqu'à m'injurier, s'est levée de la chaise et s'est avancée vers moi d'une façon menaçante, remplissant de ses cris la cage de l'escalier.

J'ai l'impression très nette que cette malheureuse n'a pas le contrôle d'elle-même. Elle déraisonne et est dans un état de délire latent auquel se mêle l'idée de persécution. C'est une personne qui doit être soignée, calmée, sevrée d'alcool si elle a des habitudes d'intempérance qui pourraient la mettre dans l'état mental où elle se trouve.

En attendant je vous plains de tout mon coeur, mon cher ami, très amicalement votre

JEAN DORAT (Escalier-de-service)

[Дорогой друг

Я потрясен тем, что с Вами происходит. Я отлично понимаю, что Вы совершенно не в состоянии работать из-за ужасных сцен, которые с некоторых пор вам устраивает ваша консьержка. В прошлый раз идя к Вам я мог отдать себе отчет, в каком состоянии патологического возбуждения находится эта особа. Не зная в каком именно этаже вы живете, я обратился к ней за справкой — очень вежливо, верьте мне. Блестя глазами и покраснев она спросила у меня вызывающе по какому делу я иду к Вам. И не давая мне вставить слово, она сказала мне все, что можно плохого о вас, уверяя, что вы ей сказали «zut», что вы имели намерение помешать ей зарабатывать на жизнь и что она не позволит мне подняться, если я пришел нанимать квартиру, потому что она хочет получить комиссию, потому что она бедная труженица, а вы — буржуй, встающий в 10 часов.

Когда я попробовал ей заметить, что я не знаю всей этой истории, которая ни в какой мере меня не касается и что я пришел по личному делу — она еще громче раскричалась — даже обругала меня, поднялась со стула и подошла ко мне с угрозой, наполняя своими криками лестницу.

Я совершенно уверен, что эта несчастная невменяема. Она бредит и находится в состоянии скрытого помешательства с оттенком мании преследования. Эту особу следовало бы лечить, успокоить и воспрепятствовать ей употребление алкоголя, так как у нее наверное есть причины, которые доводят ее до такого состояния.

Пока соболезную Вам от всего сердца, дорогой друг, очень дружески ваш

Жан Дора́ (черная лестница)]

Проходили дни, и не только никто не подымался осматривать квартиру, а и постоянные-то посетители так поредели, что скоро в одном Балдахале сосредоточилась вся Корнетовская воскресная толчея. Вот уж действительно, люди отпадали, как листья на кочане. Но Балдахал и сам понимал, что что-то напутал — все не так надо было — а поправить не знает как. Балдахал, занявшись Корнетовым, больше не чувствовал свой встающий по утрам металлический стержень, и шило не кололо горло. Балдахал добился свидания с жераном.

Жеран был доволен консьержкой: хорошо дом ведет и везде чисто, а кроме того и залог внесла: но и Корнетову посочувствовал:

«Сумасшедшая баба!» — и пообещал пугнуть; а если еще будет жалоба, грозил прогнать.

И то, чего больше всего боялся Корнетов, то и произошло: обещания жерана оказались не впусту, он написал ей письмо — жеран был сурьезный человек — и слова его подействовали. Она больше не кричала, не хлопала дверью, но когда проходил Корнетов, она крадучись, сжав кулаки, вдруг останавливалась перед ним и выскаливала зубы — этот оскал видел Гоголь в «Страшной мести» — так оскалился Карпатский всадник, когда вихрем судьбы несло к нему, запутавшегося в паутине, колдуна — это было лицо таинственного «зют». Тогда Корнетов не понял еще всего, что ему открылось потом. И если раньше проходить мимо мучительно, теперь стало невозможно: было ощущение, как во сне: хотелось бежать, а ноги не двигались.

Идти опять жаловаться жерану — если будет еще жалоба, грозил жеран, он ее выгонит на улицу. Сурьезный он человек, а все таки выгнать-то еще подумает — «залог внесла!». А если — и лестница станет свободной, но тогда улица сузится, как лестница: ведь одну ее не выгонишь, с нею само собой выгонятся и дурковатый ее муж — консьерж и парализованная тетка, которая и теперь, парализованная, а пальцами что-то строит из-под одеяла вроде кукиша, когда мимо дверей проходит Корнетов —

она тоже задета его, не его — этим пламенным выпавшим оттуда зубатым, острым, как камушек, выскаливающимся «зют».

Кончался месяц. Невероятно. В Париже в Латинском квартале держат человека в заключении, а освободиться нет возможности.

Верите вы или не верите в планеты, но как и чем объяснить этот пламенный выскаливающийся «зют», как не низвергшимся оттуда — —.

«Течение созвездий навлекает на нас бедствия, которые небеса с яростью и бешенством низвергают на нас, и тогда никакая земная сила не может остановить и никакие ухищрения — отбросить».

Казалось бы, все так просто: собрать вещи, уложиться и свезти на склад, а самому — в отель. К такому решению и пришел Корнетов; его поддержал Балдахал, пообещав отыскать склад и найдет камионетку для перевозки. И они принялись подготовляться к укладке: сняли с окон шторы, и палки и костыли осторожно вынули, на чем висели шторы, а со стен карты и планы.

Вечером неожиданно пришел Козлок с Пугавкиным — Пугавкин, это тот самый «философ, уже затмивший Канта», приезжий из России, был всего раз у Корнетова на юбилее африканского доктора, и все хотел поближе познакомиться и поговорить о книгах. Корнетов предложил гостям помочь в укладке и рассказал, в чем дело.

«А разрешение на вывоз у вас есть?» — спросил Козлок.

«Какое разрешение?»

«От жерана. Иначе вас консьержка не выпустит».

Конечно, разрешение получить от жерана ничего не стоит: надо только внести терм, а пятнадцатое число не за горами, и само собой платить и следующие термы до окончания контракта, т. е. полтора года.

«А если попробовать без разрешения?» — спросил Балдахал.

«Революционным порядком», — поправил Пугавкин.

«Да пробовать нечего, консьержка все равно не выпустит, составят протокол, на веки вечные не выберетесь... впрочем, попробуйте заявить консьержке, что переезжаете на дачу».

«— — —»

Тогда Корнетов решил все бросить: и столы и стулья и сомье — всю свою жалкую обстановку, за которую выплачивал год. И пусть пропадет его залог за квартиру, лишь бы самому уйти, захватив самое драгоценное из книг. Если он однажды сумел уйти, несмотря на все, какие только есть загорождения, от консьержки-то он уйдет.

И тут ему помог этот самый Пугавкин.

Пугавкин оказался действительно не простой, а философ «уже затмивший Канта»: закал военного коммунизма, он был на все руки — во всякой хозяйственной работе мастер: и плотник и столяр и слесарь и по водопроводной части («только не говорите, что я все могу, — сказал он Корнетову, — а то подумают, что я жулик!»); но, кроме того, для развлечения он мог проделывать самые головоломные флитфлаки, отчасти в хозяйственных же интересах: так он мог проглотить с вечера нечищеную, только вымытую картошку, штуки три, а наутро выглотнет — и она из него чистенькая, хоть на сковородку; еще мог он, не морщась, прокалывать себе руку английской булавкой, а потом вынет и без всякого иода только подует, и как не было, а хотите, может вниз головой на руках подняться на 5 этаж и не просто, а под комсомольскую частушку; жадный до книги и упрямый — пока не кончит всю, не сойдет с места, он в вечер за один присест прочитал Шестова «На весах Иова» — книга не маленькая, а на следующий вечер три выпуска И. Ф. Федорова: «Философии общего дела»; одобрил и Шестова и Федорова: Шестова за то, что говорит, одни происходят от Природы (по цензурным условиям навык не произносить имя Божие), а другие от обезьяны, а Федорова за его «воскрешение мертвых» — натиск — против Природы — «вот, действительно, настоящий враг ее, есть враги, а есть клопы — клопов у нас много! — сказал Пугавкин, — и Ничше и Розанов перед ним дети!».

Корнетов с Балдахалом упаковывали книги, а Пугавкин, захватя такую неподъемную кладь — Пугавкин в затруднительных обстоятельствах периода нэпа грузил на железной дороге кирпичи! — ловко вынесет из квартиры, сохраняя на лестнице все присутствие духа — «только когда мимо вашей консьержки спешишь, а за ноги точно кто-то хватает», — и потом на трамвай к Птицам. Пернатые добрые певчие Птицы, — воистину с вами говорил Фран-

циск Ассизский! — приютили у себя корнетовские книги и альбомы — его единственную казну и гордость.

Корнетов из редких разговоров с Пугавкиным, — Пугавкин молчаливый, это тоже выработанная многолетнею цензурой привычка! — а главное, из его вопросов «дискуссионного порядка» понял, что у него на уме, а просто говоря, присматривается к заграничной жизни: оставаться или не оставаться? Неделя помощи решила его сомнения: перетащив корнетовские книги к Птицам, явился он прифранченный с приглаженной каленой от крепкой и липкой примочки головой — французский фриксион победил его не поддающийся никаким проборам самородный московский ерш.

«Нет, — говорит, — оставаться у вас страшно, поеду домой, все-таки свое, а ведь то, что у вас с консьержкой, это как у нас власть на местах, пропадешь. А в Москве я найдусь: и язык и стены помогут. Прощайте!»

Купил себе Пугавкин стило, завернул аллюминиевые ложечки — в кино к мороженому дают «Crême glacée Ch. Gervais», взял билет и уехал в Москву.

Нет человека, которому нечем было бы похвастать. Или как говорит Гоголь, — «у всякого есть свой задор». А это и есть в каждом то самое, что дает силы быть на белом свете самим собой, иначе потеряешься в кишащем мире разнообразных жизней, твердой воли, страстных желаний и даров, распределяемых судьбой неравно и несправедливо — никогда не знаешь, за что не тебе, а тому, а тот думает о третьем, чем тот заслужил?

В Петербурге на 14-ой линии Васильевского острова был младший дворник Иван — имя-то какое, стомиллионных! — а вместе с тем этот стомиллионный Иван чувствовал себя единственным Иваном во всем Петербурге: по его глубокому убеждению, никто не мог так чисто подмести двор, как он. «Ну, на что это похоже, — говорил он про соседнего дворника или про другого младшего, и так сказал бы про всякого, кого увидел бы с метлой в руке, — нешто так метут, вот я подмету!» Будь еще двор — как три двора, как где-нибудь на Невском, а то и повернуться негде и мести-то собственно нечего... Экономист Птицин по своей специальности ничего не выдумавший — ведь и то сказать, мало кто выдумывает, и таких внеис-

торических выдумщиков, как Шекспир, Гете, Гоголь, Толстой, Достоевский... таких наперечет, и где найти силы человеку, сознавая себя, что ты — «второй сорт»? да в этой же самой метле младшего дворника Ивана — и у Птицина, к тому же изуверски контуженного — так чисто сбритого, что и самому придирчивому скопческому учителю делать с ним было бы нечего, у Птицина такой метлой было сознание, что он, как сам выражался, всегда «чисто относился к женщинам». Посмотрите, как слушает он Шаляпина, — а ведь этакая силища раздавить кого хочешь может, но его, Птицина, с его метлой никогда; и пусть Шаляпин непревзойденный, и превзойти его нет возможности, но Птицин, всегда «чисто относившийся к женщинам»... и кто еще такой найдется в этой, задыхающейся от тесноты, зале? — и вот он один лицом к лицу с Шаляпиным. А Балдахал — его метла: «русский стиль» — на его книгу, изданную в количестве ста нумерованных экземпляров, так до сих пор не нашлось в Париже ни одного подписчика! — что бы он ни читал, кого бы ни слушал, он один, Балдахал, знает про себя, что он единственный, который поймет и все значение и все оттенки русских слов, и как по-русски сложить фразу, а у других у всех фальшивит — и у Аввакума есть и у Лескова и у Розанова, о Тургеневе и говорить нечего — «прочитайте вслух, если у вас есть уши, хваленый «Бежин луг» — мариноль!» — а у современных «эмигрантского заказа» или барская слюнявость под русское — «Русь православная» или затасканное «бьем челом» или барыня кухарку представляет... Петушков, начитавшийся философа Бердяева, жил «кончиной мира» — эсхатологией, все ему было наплевать и ничем не удивишь и никогда не потеряется и все объяснит; в этой «кончине» он единственный все понимал, и она была его метлой, утверждавшей его право быть на земле Петушковым... У Корнетова была заветная его «глаголица», на которой он умел писать письма, и был уверен, что лучше его никто не напишет, а кроме «глаголицы» его тончайший слух, различающий какие-то тысячные доли, пунктуальность, и известное всему Парижу уменье заваривать чай; а когда неизвестно откуда цикнул «зют» — его слышала не только консьержка, а по уверению консьержки и локатерка с первого этажа, находившаяся в то прекрасное утро на площадке перед лифтом, —

Корнетов нашелся за что ухватиться: это была сверхъестественная мысль, которую он внушил себе с самого первого дня — «ничего не бояться и быть ко всему готову»; и он мог прожить месяц, сознавая гордо, что он единственный, кто «ничего не боится и готов ко всему».

И вот с отъездом в Москву Пугавкина, очутившись вдвоем с Балдахалом, он вдруг почувствовал, что эта метла безбоязненности и готовности выскользнула из его рук — он испугался и с испугу в страхе почувствовал, что этот камушек оттуда — это скаленное зубное «зют» дошло и пробило его сердце, и там в «разрезе», как выразился бы Пугавкин, оказалась — вина, он почувствовал себя в чем-то виноватым; и это было так, как вдруг чувствуешь какую-то нахлынувшую беспричинно радость. И, почувствовав вину, он понял, что Дон-Кихотовские созвездия и планеты — «злое влияние» совсем ни при чем, а настоящая правда в его вине, и надо было цикнуть этому «зют», чтобы острием буквы «z» (зет) пробить его сердце и показать ему во все глаза, как он и видит теперь отчетливо и ясно, какую-то свою вину.

Какой надо быть святости человеку и чистоты, или какой принять очистительный подвиг, чтобы, заглянув в свое сердце..... а может и не сыскать такого человека, или тогда это будет не человек.

Самый жизнерадостный, а стало быть, самый благорасположенный, теперь, проходя по лестнице, шел Корнетов извергом — да, изверг! — как ходят героями — так ни с чего идет «герой» по Монпарнасу! — и чувствовал эту свою отмеченность — так чувствует тот, кто обидел или обманул — но в чем и кого обманул, он не мог разобрать, он только чувствовал, что несет в себе это черное, которое затмевает всякое искусственное в миллион свечей красное освещение в ночной час, а на рассвете белую зарю. И это чувство не покидало его и на улице — ему казалось, что все соседи: и эта булочница, у которой он покупал хлеб и Лионский чай, такая всегда услужливая, да и как не услужить — чаю ни один клиент столько не покупает! и газетчица и ее две маленькие девочки, одна остренькая, как летучая рыбка, в отца — каркасонец, другая, как блинчик, в мать, и хозяин бистро, всегда заспанный и немытый, только что молодой, и его жена,

вымытая, непропорционально одутловатая, пузырь, и шарбонщик (угольщик) мосье Синегр, скучающий без дела, с крепкими синими руками — все они что-то знали. А он нахмуренный, не то воробей, не то наемный убийца, как представляют на театре в Шекспире.

Так вот для чего надо было... — это Корнетов понял всем своим существом, всеми мыслями и сказал всеми словами — и вот отчего эта тень — черное заполняло его сердце.

Читал он когда-то историю одной девочки и теперь вспомнил: ее повезли в гости в город — в деревне это происходит — и в гостях во время игры с детьми в бирюльки очень ей понравилась одна из бирюлек, и она тихонько положила ее к себе в карман; когда возвращались домой, была теплая звездная ночь; держа в кармане эту с булавочную головку бирюльку, она чувствовала свою вину и была в этой ночи одна под звездами и эти звезды — они все знают — светили ей одной, освещая ее одну во всем мире с ее черной, огромной, как мир, бирюлькой на сердце. Корнетов вспомнил этот рассказ ночью, глядя в окно из своей комнаты на далеко трубами, как воздетыми руками уходящий в туман Париж, и на мелкие с булавочную головку, как блестящие бирюльки, незамечаемые в Париже, гаснущие под рекламой Ситроена, звезды и чувствовал себя, как та девочка, взявшая из тысячи одинаковых одну, только ей почему-то приглянувшуюся бирюльку, одним перед лицом этих звезд высоко над всеми трубами стеснившегося Парижа, и свое раскрытое черное сердце.

Так вот для чего все надо было и не могло не быть. Наступают какие-то сроки, когда человек должен заглянуть в глубь своего сердца. И это необходимо. Но это уж не мучительно, как проходя под крик и перед глазами — оловом-плевком, и не невозможно, как видя перед собой подкравшегося человека, выскаливающего зубы, а просто нельзя: быть человеку одному перед лицом звезд со своим раскрытым сердцем нельзя, потому что это и есть смерть.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — не может он найти выхода: куда ни пойдет — «correspondance», и много народа и все спешат на эти пересадки: метро Гар Монпарнас. Наконец нашел, растворил дверь — лестница выше, чем на Данфер-Рошеро,

но гораздо шире, и не каменная, а деревянная и ступеньки, как у стремянки, с пролетами; он шел быстро и не один, а с той маленькой девочкой из рассказа, и поднявшись высоко, обогнал ее — сейчас и выход, и уж мысленно видит и подъезд Монпарнасского вокзала и в то же время был этот вокзал — угол Садовой и Невского, Гостиный двор. Но двери не оказалось, а две доски поперек приколочены, и подлезая, он их легко отодрал и очутился на чердаке: пустой чердак, на бетонном полу лужа — что ему тут делать? Он назад — теперь свободно: оскаленные гвоздями висели доски. И, увидев эти оскаленные доски и над пропастью узкую без перил лестницу, он остановился и видит, та девочка сползает на руках — иначе не спуститься, и ей трудно, вся покраснела; и ему ясно, что и так не сойти, все равно сорвется. Он ступил на лестницу и в ужасе, как вынырнул, — проснулся, чтобы начать свой виновный безвыходный день.

В один из таких пришибленных дней Балдахал повез Корнетова в Булонь квартиру смотреть.

«И знаете, — рассказывал Корнетов, — когда у человека такое бывает, везде ему кажется хорошо, куда ни придет он; и должно быть, прожившему тяжелую жизнь на земле и очутившись по смерти в аду, пока не оглянешься, будет все хорошо — удобное помещение и свет и тепло».

Балдахал нашел эту квартиру через своего приятеля, и приятель торопил его — «если немедленно не подпишете контракт, квартиру из рук вырвут». И хотя пустых квартир было сколько угодно в этом доме и висел плакат, что сдаются на всякие цены, кому что, а стало быть, можно было не спеша и обдумав, Корнетов стал сам торопить, чтобы скорее подписать! И подписал — на три года.

Корнетов перемыл посуду и собирает со стола крошки и окуски.

— Это я для Черновской собаки, — сказал он, — собака ждет.

— А как зовут собаку? — спросил я так, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю, я ее никогда не видел.

— Как! не знаете, как зовут? — мне почему-то смешно стало: собирает корм для собаки, не зная, как и зовут, и не видел, — и никогда не видали?

Корнетов положил пакет в угол на другой столик, где пустые банки стояли, и присел к столу. В нем было что-то покорное, но совсем не жалкое.

— Я собак раньше боялся, а теперь не боюсь: мне их жалко. Идет — и так смотрит, а хвост в работе. А залает, мне только обидно, «чего лаешь?» — на меня лает, разве я ей враг? Я к ней по-человечески. Я собак стал любить.

2. ТРИ ЖЕЛАНИЯ

Сосед Дорà или, на франко-русском жаргоне, Monsieur Escalier de service через своих приятелей: журналиста Monsieur Prix reduit и Madame Place reservée устроил Корнетову льготный проезд до Бернери и обратно в Париж. Я предъявил удостоверение на Гар Монпарнас и получил за полцены билет, а себе взял обыкновенный и два «плас-резерве» около двери в купе друг против друга, чтобы, через соседние ноги не переходя, выходить в коридор; с билетами я прямо с вокзала в Булонь.

В моем распоряжении две недели — «ваканс» — и я свободен от моих экономических трубок. Скажу по секрету, я поступил пласье по полотерной части: «Cireuse Electro-Lux» — «в нашем распоряжении три электрические щетки, работают головокружительно, и результат, смотрите, у вас под ногами такая гладь, так блестит и сверкает, куда зеркало! — в зеркале таких объемов не захватишь, а тут вы себя видите с ног до головы и во всех направлениях, даже с заду, и можете автоматически завязать самый хитрый галстук, и без щетки смахнете с себя всякий волосок и ниточку, в одном надо быть осторожным — скользишь, как по льду, и без сноровки легко себе шею свернуть, либо ногу вывихнешь — Electro-Lux!» Но это только с осени, а пока трубки, от которых на две недели я свободен.

Корнетова не надо было уговаривать. Он находился в том состоянии «непротивления», когда человека бери с ногами и тащи. Он даже не спросил: куда? И понятно: ведь его держал дом, а теперь на новой квартире, как на вокзале, только пересадка. Для общего чтения я взял «Воскресение» Толстого, а для Корнетова, чтобы не бунтовался, «Синтаксис» Шахматова и Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» — ему эта премудрость,

что лисе виноград. Говорю иносказательно, потому что лиса винограда не ест — пример власти слов, внушающих ложные представления, которых никакая зоология не выбьет из головы!

Когда выберешься из Парижа, и пусть в самый дождик, а все кажется, солнце светит. Дорá прав: Париж утомительный. На вокзале мы запаслись лимонадом, наш поезд скорый, но ведь Бог его знает, мало ли какие пересадки вдруг? И неожиданно, не успели и пятую бутылку допить, как, говорят: приехали.

Мы поселились не в самом Бернери, а между Бернери и Клионом: везде все занято и расписано вперед до октября. Корнетов сейчас же устроился: разложил книги, бумагу, папиросы — хороший признак, за дорогу, значит, очнулся! — и сел за «наречия».

«Определяющим обстоятельством называем наречие или другую адвербиализированную часть речи, которая, означая признак или отношение, определяет природу другого, господствующего над ним психологически признака...».

А мне скучно. А пляж далеко и от дождей на «кòт» нет никаких тропок — озера и лужи, а идти к берегу по дороге — автомобили, изволь обертываться да оглядываться, а случаем сажаться в канаву — и там вода. Только в день нашего приезда не было дождя, а то всякий день, и довольно-таки прохладно. Попалось мне на глаза — в Бернери на столбе наклеено — «Paris-Auto-Cars: Programmes des excursions». Разве что с экскурсией поехать, а то хоть назад в Париж.

26 июля, праздник св. Анны — Pardon de Sainte Anne. В Сент-Анн д'Орей пелеринаж: 30 000 паломников — вся костюмированная Бретань; торжественная месса с бесчисленным духовенством — кардинал, аршевеки, эвеки и, какие есть, главные священники в Бретании — — все; туда и обратно с заездом в Карнак и Киброн — 75 франков с человека, а по случаю дурной погоды — 50.

Все это очень интересно, хотя говорили, что на Карнак и Киброн времени никак не хватит, но было еще и такое, чего не знал ни хозяин отокара Ронзо, ни шофер Гурион, а что было известно всякому бретонцу: чудесная лестница — «La Scala Sancta» в Сент-Анн д'Орей. По этой лестнице в день св. Анны подымаются на коленях, и надо задумать

три желания и, как подымешься, сказать их — и не было еще случая, чтобы желания не исполнились. Говорили и еще про одну диковинку, но точно не могли указать, то ли это в Сент-Анн д'Орей, то ли по соседству в Плоран — чудесный камень: около этого камня трутся женщины, желающие иметь детей, и по свидетельству многих — не без последствий. Но нам с Корнетовым этот плодородный камень посмотреть интересно, но корысти никакой, другое дело лестница: воспользоваться лестницей для осуществления своих желаний, это верней всякой лотереи.

От Корнетова я узнал, что Киброн-Карнак-Плоран-Сент-Анн д'Орей — самые таинственные места Бретани, наследие Атлантиды, родина Мерлина, где он до сего дня спит зачарованный, и самые невероятные чудеса.

Но кто такая св. Анна, которая имеет такую благодать и чудесный дар одарения, никто не мог объяснить: само собой, она была бретонка — в Бретани святые только бретонцы — королева ли бретонская Анна — Anne de Bretagne, или еще какая Анна? Корнетов дознался — в доме было много книг и самая подробная история Бретани — Arthur le Mogne de la Borderie, Histoire de la Bretagne. И оказалось, никакая королева, а мать Богородицы — по легенде родом она бретонка из Орей, вышний голос привел ее с Океана в Иерусалим, и там она встретилась с Иоакимом, который жил в горах и тоже по указанию пришел в Иерусалим. И еще узнал Корнетов, что праздник в честь св. Анны — Pardon de Sainte Anne — установлен с середины XVII века, когда по указанию теперь «праведного», а тогда безумного Николазика нашли статую св. Анны, зарытую на поле Босенно, где с VII века стояла каменная часовня. В революцию в 1790 году статую ни в какой музей не взяли, а просто сожгли, как сожгли в 1793 в Шартре чтимую до Рождества Христова друидическую деву Марию — Virgini partiturae, подземную Богородицу; и как в Шартре, так и тут сделали новую статую, кому-то из жителей Ванн посчастливилось найти кусок старой, и этот кусок вделали в пьедестал — св. Анна и с ней маленькой девочкой Богородица — статуя стоит в базилике в правом приделе, перед ней неугасимые свечи, и чудеса.

Когда я брал билеты, проглянуло солнце. Да и сам Гурион шофер говорит, — «ехать вам будет хорошо»,

только предупреждает: «встать пораньше, отокар прогудит, и сажайся, а не сядешь вовремя, ждать не будем, и билет пропал». Мы с Корнетовым поднялись, еще ночь. Смертниками вышли за ворота. Мелкий дождь и такая холодина, ровно осень. А стало рассветать, видим — кругом заволокло и нет океана — не узнать места, пустыня. Ничего не говорим, а думается: «напрасна эта затея! — И не дождаться нам никакого отокара — какой уж там пелеринаж в такую погоду!» А отокар и бежит, но гудка не слыхать, да и незачем, все видят: стоят дураки — иззяблись! Мне на станции показывали большой закрытый отокар, а этот оказался и маленький и открытый, верх — парусина: конечно, цена, и желающих немного. Кое-как втиснулись. И поскакали.

С парусины капает, в лицо ветер, и ничего не видать. Одно утешение: пройдет дождик. До Сен-Назер доскакали — не проходит, вышли на дождик и сели на «бато»: надо переправиться по заливу на тот берег. И езды-то десять минут, да пароход маленький, швыряет — волна велика, никак не справишься, и такое было, что никак не доехать. А все-таки справились, вышли на берег, опять втиснулись и опять поскакали. Дорогой и смотреть нечего — кругом болото: и как это здесь люди зиму проводят? — от русской белой зимы, сугробов и степной безнадежности было в этом болоте, которому не видно конца. Только, когда Ванн проезжали, точно въехали в волшебное царство! Отокар шел медленно, было на что посмотреть, и все высунулись из-под парусины, как телячьи морды из вагона. Но мостовая кончилась, кончилось и волшебное царство, смотреть нечего, и опять поскакали. Скачем, а дождик пуще.

А когда приехали в Сент-Анн д'Орей, дождик льет, как душ. Уговор: чтобы к четырем собраться к отокару домой ехать — иначе на «бато» не поспеешь, изволь до утра ждать в Сен-Назер. Народу — куда 30 000! И такая толкучка: так прямо по грязи и лужам, куда волна несет, туда и идешь. Но я Корнетова от себя не отпускаю ни на шаг: потеряется, что мне тогда делать?

Так, держась друг друга, дошли до церкви. И с народом проткнулись. А там полно́: и, чтобы сесть, нечего и думать. Стали в проходе: плечо-к-плечу. Кто сел, сидит мокрый, а кто стал, с того течет — живое болото.

Месса еще не началась. Ждем. И в ногах просачивается. Но тут кюре — мудрый старик — поднялся на кафедру, сердитый: дождь ли его рассердил, или такой у него вид напущенный, — начал он о чудесах рассказывать, и о прежних, какие совершались у статуи св. Анны — и недавние, только что вчера было чудо: мальчик, играя, сунул себе в рот крестик, и крестик застрял у него в горле, доктора отказались операцию делать, а вчера перед статуей св. Анны мальчик поперхнулся, и крестик сам вышел. Потом о памятнике погибшим на войне стал выговаривать: убитых бретонцев миллион, а подписалось жертвователей на памятник десять тысяч! И сделался еще сердитей... а нам стыдно: есть грех, забываем — человек все забывает! — и, пока жив еще, стесняются, а помрешь, никто не вспомнит. Заиграл орган. И сразу все насторожились: думали, начинается. Но орган поиграл-поиграл и замолк. И начал кюре молитвы о путешествующих и Богородицу. Еще и еще сердитее, так что сначала робко повторяли за ним. И сто раз прочитал он Богородицу — «Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария...»

Je vous salue, Marie, pleine de grâces;
Le Segneur est avec vous, vous êtes benie
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit
de vos entrailles est beni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
de notre mort. Ainsi soit-il.

Сто раз повторили мы — «Je vous salue, Marie»... и все шло само собой — «Je vous salue, Marie, pleine de grâces; le Seigneur est avec vous»... повторили бы и тысячу — «Je vous salue, Marie, pleine de grâces; le Seigneur est avec vous; vous êtes benie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est beni...». И обсушились.

Сошел кюре с кафедры — и вовсе он не сердитый! Заиграл орган, и показалась процессия — в голубом, в пурпуре, в малиновом и в белом — кардинал, аршевеки, эвеки, каноники и просто священники, и хор. И началась месса. А народ все идет и идет. Тем, кто сел, ничего. А нас со всех сторон прут. Мы потихоньку и стали пробираться к выходу. И благополучно вышли.

Вся площадь битком набита. И дождь, дождь. Идти не знай куда, ничего не разобрать: куда идут, туда и мы — мимо палаток с крестиками (мне все казалось, это те самые... мальчик проглотил), образками, статуэтками и открытками и просто лавок с галантереей — ярмарка! — придвинулись к лестнице; лестница каменная под навесом: с одной стороны подымаются, и там вроде часовни, и спуск. А подступиться нет возможности — очередь: нам, видавшим всякие хвосты, и то на удивление. От усердия и веры в желания или дождь перебыть, но кто уж стал, того ничто не сдвинет. И пришлось отступиться.

Стоять под дождем — ничего от тебя не останется. Вот мы и затеяли, пока что, пройти посмотреть, где нам с обедом устроиться — скоро обеденный час. И опять за народом вышли на главную улицу к магазинам. Отель на углу — единственный, туда нечего и думать попасть, а в кафе и бистро везде приготовлены столы, только подождать надо, обед через полчаса. Корнетов весь промок, но хуже всего, ноги промочил. И решили мы купить чего-нибудь — да все дорого: теплые чулки и парусиновые туфли... смотрим: есть — деревянные! — не сабо с загнутыми носками, а черные деревянные калоши, по-ихнему «Galoche». Корнетов в магазине и переобулся. И сейчас же в кафе напротив — хорошо что еще поторопились, а то бы и места не найти. И то сидели так — которая нога твоя — которая чужая! — да еще к тому же все мокрые. С грехом пополам поели, расплатились, теперь можно и на лестницу лезть: весь народ схлынул сюда.

Сначала-то в этих «галошах» шел Корнетов ничего, потом, заметно, отстает: ступит шаг и остановится; и не от тяжести, а дерево ему ногу поперек режет. Едва до лестницы добрели. И не ошиблись, очередь уж не такая. Только никто на коленях не подымается! Грязищи натаскали — болото.

Стоим за народом. И пошли: подымешь ногу — и в лужу, переступишь — в грязь. А в уме три желания: первое — достать денег; второе — надо денег; третье — если бы были деньги!

«Деньги! Что бы я только сделал, если бы у меня были деньги! И что тут кощунственного в моих желаниях? я хочу и прошу денег. «Деньги — голуби: прилетят и

опять улетят!» — есть такое по-русски. Я согласен, я и не собираюсь беречь, я хочу расточать. «Богатство питается кровью бедных, деньги — кровь бедного!» — это слово беднющего из бедных автора «Le Sang du Pauvre» Леона Блуа. Я дал бы денег Корнетову — ведь он вконец обескровленный: я дал бы ему этой крови — для чего и кому нужно, чтобы пропадал человек? Самому мне много не надо, я крепче и выносливее, мне совсем немного: все-таки с экономических трубок кое-что получаю, а с осени, может, в Electro-Lux дело пойдет, но надо же как-то по-человечески устроиться... и почему, почему это так, ну, если бы я не работал, а то ведь с утра до вечера, и неужто люди ничего не придумают, или когда же человеческому терпению придет конец? И не только Корнетову, я дал бы и Балдахалу, я подписался бы на все сто экземпляров его нечитаемой и непокупаемой книги о «русском стиле», и я знаю, это его очень подняло бы, я уверен, он выпустит и второй том, и этот второй я тоже куплю — я раздам в библиотеки, всем знакомым, а себе оставлю два экземпляра на случай — библиографическая редкость! И Козлоку и приятелю его Судоку и «баснописцу» Василию Куковникову, «бывшему младшему регистратору бывшей Государственной Думы». — Козлок ночной шофер, но это только слава, что устроился, а Судок — «нетуаер», моет окна, летом ему еще ничего, но у него рука отморожена, и зимой это очень чувствительно; я его спросил: «о чем вы думаете, когда моете окна?» — «стихи читаю, ответил он, Блока и Поплавского!» Господи Боже мой, Блок и Поплавский на окнах Больших Магазинов в Париже, какая реклама! но ее видит только один Василий Петрович Куковников... Куковников вяжет бесконечный джемпер, медленный человек, 175 франков за три недели работы, правда, он никогда не ропщет, «живет тихо и радостно», но это такой склад, а я так не хочу... скажите, пожалуйста, какие в Париже театры — Шанзелизе, Плейель, Опера — сколько мировых знаменитостей приезжает и в зиму и весной показывать свое искусство, но разве эти Козлоки, Судоки, Куковниковы могут хотя бы раз... и для кого же тогда эти театры и концерты, все то искусство, которым люди гордятся? скажи-ка, поди, какому-нибудь расфраченному в Опера,

что, мол, ты при всей своей независимости (независимыми могут быть только с деньгами!), неприкосновенности и власти от обезьяны произошел, он найдет ответ: «я, скажет, Бетховен, я — Бах, я — Вагнер, я — человек!» — человек? но Козлок и Судок и Куковников, да почему же они — обезьяны? и кому и для чего нужно, чтобы они обречены были на скотскую жизнь? А Птицам за то, что в беде приютили у себя книги Корнетова, я подарил бы автомобиль — пускай себе Птицы ездят! И всякому, перед которым стыдно бывает, что он еще беднее тебя, я дал бы денег — понимаете, мне надо этой братской крови как можно больше! Я хожу по улицам — трубочный пласье — если бы я умел, я мог бы рассказать о беде, перед которой опускаются руки... и какое лицемерие, какое ханжество, какие громкие слова и негодование и упрек в развращенности, разврате и преступлении, а это — эта точащая беда изо-дня-в-день, эта обреченность без просвета и терпение, почему же об этом жутком стиснутом терпении... и это будет! вы увидите! и самому жутчайшему и самому безропотному придет конец... Да, надо как-то устроиться — что ж мой хваленый «колониальный билет» — ерунда, на эти билеты никто не выигрывает, и только ждешь, как дурак. Денег! — Достать денег! Надо денег! Если бы были деньги!».

*

Корнетов шел рядом, ноги его были крепко зажаты деревянными черными тисками: переступая медленно, он чувствовал еще больнее режущую боль. Он шел молча. Но по его выражению я понял, о чем он думает — какие три желания выговаривались неотступно, я их слышал в звуке его тяжелых деревянных шагов: первое — разорвать контракт, второе — найти квартиру, и третье — переехать на новую квартиру. Я не мог ошибиться: да, ему — квартира, квартира, квартира, как мое — денег, денег, денег.

Так мы и подымались. Я промочил себе ноги, но для меня это неважно, я привык. И поднялись. И, поднявшись, приостановились на площадке, и я сказал:

— Достать денег! — надо денег! — если бы были деньги!

И все приостанавливались, но странно, тут бы и должна была стоять статуя св. Анны и свечи, но ничего не было, и мне подумалось, что в этой пустоте — в этом разочаровании — не скрывается ли символ пустоты всех человеческих желаний? Я видел по лицам других — это разочарование. И как и все, мы быстро спустились по другой лестнице.

А пока мы лазили с желаниями, дождик прошел, выглянуло солнце. И действительно: вся костюмированная Бретань, как на смотру манекенов: черное и белое — Бретань траурная — но какое разнообразие в форме и в нагофренных складках белых чепчиков и косынок; опытный глаз точно скажет по рубчикам и завиткам, откуда, и не только назовет департамент, город, но и селение — Финистер, Морбиан, Сен-Мало, Сен-Бриё, Кэмпер, Лориан, Ванн, Локронан, Дуарненез, Гуезек, Педернек, Плугастель-Даулас, Росков...

Опять — но теперь гораздо свободнее — в волне мы подошли к церкви. Месса кончилась, ждали «вепр» — вечерней службы, после которой процессия, ею и закончится праздник. Но проткнуться в церковь было очень трудно — входили и выходили, без уговора демонстрируя перед чудесной статуей.

Корнетову хотелось посмотреть дом Николазика. И пошли дом разыскивать. Спрашивать зря: по-французски не очень-то много понимают, хотя мы с говором на русский лад понятнее им, чем французы. К нашему счастью мы попали как раз в волну и добрели до дома. И если бы никто не сказал, такой дом из тысячи узнаешь, и по дворику и по каменной лестнице — дверь высоко — единственный. Только в нем, и нигде, мог жить Николазик.

На земле есть «заколдованные места» — пропадные и благодатные: на одном месте всю душу тянет, а есть, точно все кругом до камня и дерева высвечено. Я представляю себе лунную ночь — не окно, а эта лестница освещена, а там насторожившиеся тени... а сейчас все в солнце. И жить не всякий тут может. Николазик — pieux Nicolasic — праведный Николазик, ему сны снятся: перед его глазами расступается земля на поле Босенно — и он видит сквозь землю. А люди, чтобы как-то отделаться, успокоиться, ведь это же неестественно видеть человеку сквозь землю! —

говорят: сумасшедший! А может быть и правы: ведь кто такое увидит, или кто способен такое увидеть, как Николазик, тот не видит уж, что под носом, что налипает в суетных днях, когда ни до чего, а лишь работа (и часто сомнительная, и сколько работают, не спрашивая, для чего и для кого, и хорошо, что не спрашивают!), потом еда и беспробудный сон и... гложущие желания, как у меня: достать денег! надо денег! если бы были деньги!

И Корнетов говорит, что, читая про Николазика, он представлял именно таким дом праведного человека.

— Один дом, откуда уходит человек, такой есть в Риме, дом Алексея, человека Божия, — сказал Корнетов, — другой вот этот, в котором видел сны Николазик. Человек строит себе дом или устраивается в доме по себе, но никто не властен в выборе, это так же, как и в одежде. Что поделаешь, если на тебе все на нитке держится, или как эти вот «галоши».

Время еще было, но для верности, не задерживаясь, стали подвигаться. От церкви три дороги. Куда идти? Ну, конечно, или налево или прямо. Но, когда шли к церкви под дождем, смотрели под ноги, и теперь никак не сообразишь, откуда пришли. И тут вот у обоих у нас — вот и верь в чутье! — такое чувство, памяти никакой, что шли мы по той дороге, которая прямо. И пошли прямо, да не потихоньку, — Корнетов совсем обезножил — ступит и остановится, — а еле-еле, черепахами. И морить стало. Пить хочется. А солнце-то! Вот бы поутру такое! Ну, все равно, возвращаться будет приятно. Зашли в бистро. Посидели — выпили сидру. И дальше. Идем и идем — один гараж прошли: никакого там отокара из Бернери. Все гаражи похожи один на другой, конечно, ошиблись! Пошли к другому — и в другом нету. А далеко прошли, и вспоминается, словно бы тогда путь меньше был. Вот и третий гараж. А в третьем на первые два указывают — там, говорят, должен быть из Бернери. Мы назад. Времени точь-в-точь: если через пять минут не найдем, отокар без нас уедет. Но Корнетов так измаял себе ноги, не может идти. Что делать? Предложил я ему поменяться: он мои пусть, мои подсохли, а я его «галоши». У меня нога больше, Корнетову будет даже чересчур, а

эти «галоши» без размера, я как-нибудь втиснусь. Да присесть негде. Разъезд — кругом автомобили. Кое-как на одной ноге с поддержкой переобулись. Корнетов в моих, как в ладьях, а мне его в самый раз, и сначала-то незаметно, вгорячах не замечаю, но с каждым шагом чувствую, что режет — и как это Корнетов столько времени мучался? и на часы страшно посмотреть. Мне показалось, словно бы наш отокар проскакал в поле — но если и наш, никак не догнать, и не окликнешь. И опять мы спрашиваем, нет ли таких, что в Бернери? — нет, говорят, и гаражи показывают, где мы уже спрашивали. «А есть еще гаражи?» — «Нету, — говорят, — только три». Стало быть, наш отокар, не подождал. И уж потом разъяснилось, что действительно три гаража по этой дороге, а сколько по другой, неизвестно. Но все равно, идти искать на другой дороге поздно — ведь сколько прошло, так долго ждать отокар не будет. И опять пошли мы к церкви, теперь я плетусь, а Корнетов, хоть и не бойко — очень уж натрудил ноги — а все-таки куда ходчее.

Процессия кончилась, народ расходился. И другие подходили — кому никуда не надо ехать; какие-то солдаты появились. И, видно, навеселе. Веселый будет вечер. А нам надо что-то делать? Переночевать в отеле, и завтра... да, будь деньги, так бы всего разумней. Но у меня с собой сто франков и мелочь — у меня есть и еще, но я предусмотрительно не взял с собой, боялся — вытащат. А на сто франков... и надо на дорогу — нет, сейчас же на вокзал, поспеть к поезду — наверное, есть вечерние поезда. А вокзал, говорят, очень далеко. И автомобилей нет, только в отеле. Мы в отель. Да не добьешься толку: там не только навеселе, а развезло — ведь весь день один раз в году такая работа, тут и с работы сядешь. И после больших споров, убеждений и просьб наконец-то взялись довезти за десять франков. А для нас каждый франк стал, как тысяча. Пришлось согласиться. И прикатили на станцию: поезд через полчаса в Нант.

И страху же я натерпелся, стоя у кассы: а ну-ка, думаю, на билеты не хватит, и уж боюсь думать; а ничего не думается, только думается: не хватит. Очередь мне показалась длиннее всех очередей, а выстаивал я не часы, а дни. И представьте себе, хватило! — да еще и сдачу да-

ли — 15 франков. Вышли мы на платформу — народу порядочно, все к поезду. Когда подъезжали к станции, я заметил менгир у самого вокзала — если бы не такое, посмотреть бы поближе — место отмеченное: Pluneret — путь в Карнак. Корнетов все пенял себе, зачем пустился на авантюру: уж если ехать, так надо было ехать одним, никого не ждать — утро припомнил, когда мы под воротами на ветру с час ждали отокара; да чтобы и тебя никто не ждал — конечно, пока мы плутали, Гурион хоть и немного, а ждал нас, и другие пассажиры сердились. Корнетов вспомнил единственную свою поездку с экскурсией зимой из Петербурга на Иматру: компания веселая — студенты, курсистки и для развлечения затеяли в снежки — другим с рук сошло, а Корнетова так закидали — воспаление легких; и тогда он сказал себе, что ни на какие общественные авантюры его не соблазнишь. А вот я виноват, соблазнил, и теперь надо избывать, слава Богу, что хоть денег-то на билеты хватило!

А народу! — все подходят и подходят и все костюмированные — приезжие на праздник, набилась вся платформа. Я боюсь, что Корнетов скувырнется и попадет на рельсы, а Корнетов боится, что меня с моими черными «галошами» под поезд столкнут, не удержусь. И остерегаем друг друга. Страшно подумать, как будем в вагон влезать — ведь я вроде как без ног: и за собой смотри и за Корнетовым, он всегда не туда лезет. И подкатил поезд и вся Бретань смешалась — Финистер, Морбиан, Сен-Мало, Сен-Бриё, Лориан, Ванн, Локронан, Дуарненез, Гуезек, Педернек, Плугастель-Даулас, Росков... — но все вышло без всякой давки, вагоны пустые. Оно и понятно: не проехали и с полчаса, пересадка. До Нанта было пять пересадок. Пересаживаться не привыкать стать, но в этих «галошах» сидеть хоть и больно, но чуть высвободишь ноги, и ничего, а что влезать, что вылезать — нестерпимо. И если сидел я всю дорогу, как на иголках, выйдя в Нанте на улицу, ступил на ножи.

В Нанте на другой вокзал на трамвае, а до трамвая-то надо дойти, и Корнетов торопит: может, еще к поезду поспеем. Да куда там поспеть — я был в том виде, как Корнетов у третьего гаража, когда шли мы не туда, — не могу идти. И приехали на вокзал, а поезд ушел. А следующий в шесть утра.

*

И опять: если бы деньги, можно было бы переночевать в гостинице. И есть хочется. Заказали кофе с хлебом, а сами боимся, ну как не хватит: буфетные цены не лавочные, а мы «этранже»: Корнетов — «китаец», а я, хоть со временем и буду Де-Симон, а пока Семен Петрович Полетаев из Кинишемской Гольчихи и грамматически женский род путаю с мужским и ноздри выдают. Выпили мы кофе и весь хлеб съели. И к великому нашему успокоению получили шесть франков сдачи: это нам на утро — кофе. Что ж, подождать восемь часов не такой уж срок — где-нибудь на станции Круты ждали Черниговского поезда сутки, это в мирное время, а в революцию и счет потеряешь. Снял я свои «галоши» и сел по-турецки, и Корнетов в моих ладьях нахохлился.

С час просидели. Холодновато становилось: и ночь после дождей, и океан близко. Но сон не посмотрит, так и пройдет время. Но тут пришел железнодорожник ожидающих проверять. У нас билеты III класса — самыми вежливыми, самыми изысканными словами, жалобными и патриотическими, ссылаясь на ноги, Pardon de Sainte Anne и что мы русские, просили не гнать, не соглашается: раз билеты III класса, и жди в зале III класса, и это так же ясно, как то, что, у кого II класса, тот ждет во втором. Надел я свои «галоши» и потащились в III-ий. А там и темнее и грязищи натаскано за день — везде прошел дождь — и разорванные газеты разбросаны по полу; вы заметили, разорванные газеты производят всегда впечатление нечистоты, хотя бы все кругом было подметено и вычищено. Ну, да как-нибудь — не в таких еще залах сиживали. И опять я снял «галоши» и устроился по-турецки, а Корнетов в ладьях нахохлился. И успокоились: может он и прав: если все с билетами III-го полезут во II-ой, то к чему же тогда существует III-ий, а раз III-ий существует, стало быть, из III-го во II-ой нельзя... и не догадается спросить себя, да имеет ли право существовать этот III-ий, а как догадается, никакого уж III-го и не будет, но когда догадается...? Так бы, наверное, под вопросы — как да когда? — заснуть можно было, да, откуда ни возьмись, летучая мышь. Заведешь глаза — жжиг! — вздрогнешь и насторожишься, и опять — жжиг! — —

Перешли в другой угол — будто потемнее. А она и тут. Минута передышки и опять — жжиг! — так над шляпой, вот-вот влипнет. Взять с полу газету, покрыться газетой — да белое ей будет еще заметней. Пришлось подняться. Думали так: походим по платформе, она и улетит. И пошли — черепахи. На платформе грузили почтовые вагоны — пришлось проходить мимо посылок — грузчики не очень любезно на нас смотрели: ходят черепахи! — но потом надоело, перестали замечать... если бы нам так нашу мышку! и мне мои ноги! — каждый шаг мне, как рана. Терпел, все надеялся, улетит мышка: и чего мы ей дались, в самом деле? или никого другого нет? а во II-ой класс, как и нам, ей ходу нет? И с час так ходили, а вернулись — мышка только и ждет — и только-только уселись — жжиг! Я и возроптал:

— Александр Александрович, — говорю, — за что? что мы такое сделали?

— Все из-за меня, — говорит, — моя беда.

И я подумал: или и вправду, срок его бедам не кончился, а я за одно.

— И пропали наши деньги, — говорю, — Гурион не отдаст: опоздали, скажет, билет пропал, и он не виноват.

Корнетов ничего не ответил. Он только вздрагивал на ширяющуюся мышь. И было в нем что-то уверенно-покорное — он и вздрагивал: как-то ритмически в лад — уверенный, что рано или поздно, а наступит конец. И мне неловко стало, точно я попрекаю. Но я совсем не попрекаю, мне только досадно: ведь туда и обратно на отокаре 100 франков, а теперь по железной дороге — 85, да автомобиль — 10, да трамвай, стало быть еще 100 франков, и за что?

Ночь-то показалась — я ни на минуту не мог заснуть, следил за мышью и за часами — и не запомню, когда еще была она длиннее.

Этим дело не кончилось. Скажу за себя: я ни в какие приметы не верю, и 13-ое число для меня самое удачливое, но вот я знаю, что-то есть не от человека, какие-то такие полосы — попадешь и до какого-то срока не выберешься, и в такую пору никто уж не обережет тебя, а сам себя и подавно. Еще три дня мы прожили между Бернери и

Клионом. На другой день после нашей скандальной авантюры Madame Rogier, наша хозяйка, поехала в Порник — Порник за Клионом — и взяла нам билеты: мне обыкновенный, а Корнетову по удостоверению льготный и два «плас-резерве»; хотя движение и небольшое, с «платцкартами» всегда спокойней.

В эти дни шел дождик. Ходить под дождем на пляж не соблазняло. Я оставался с Корнетовым, попеременно читали вслух «Воскресенье». И потом Корнетов толковал мне. Не очень внимательно я его слушал — я все досадовал: изволь проводить ваканс в комнате, разве это не досадно? И мало помню, что-то о Гоголе и Толстом: о таинственных голосах, которые слышал Гоголь, и о сокровенном голосе сердца у Толстого с настойчивым и неотступным — зачем и почему? и о тайном зрении: под их глазом обнажалась призрачная реальность и видимо становилось не то переменчивое, что сожжется, а то судьбинное, что движет и движется за обольстительной пеленой мира.

А из «Воскресенья» — «собачья лапа», пример, как люди никогда не решают вопросов прямо и для себя, в главном, и в мелочах — кому не памятны ответы на просительные письма? «Нехлюдов спросил мальчика, выучился ли он складывать?» — «Выучился». — «Ну, сложи: лапа». — «Какая лапа, собачья?» — с хитрым лицом ответил мальчик»; и еще из «Воскресенья» же замечание фабричного, соседа Нехлюдова в вагоне, когда Нехлюдов смотрел, как фабричный пил из бутылки и из этой же бутылки свою жену угощал: «Как работаем, — сказал фабричный, — никто не видит, а вот как пьем, все видят». «Собачья лапа» и это «никто не видит, как работаем» засели у меня в голове.

Распростившись с хозяевами, после обеда в дождик мы поехали в Порник — только оттуда прямой поезд в Париж — и первые заняли места в вагоне. Для развлечения взял я себе T. S. F. Но музыка началась, только когда тронулся поезд, и пришлось прервать: контроль. Положил я наушники — и знаете, в лежащих слышно: музит! Проверил контролер мой билет и стал я прилаживаться дослушивать, а Корнетов подал свое удостоверение.

— А билет? — спрашивает контролер.

— Какой еще билет? вот! — показывает Корнетов на удостоверение.

А я знаю, маленький билетик прикалывается к удостоверению, и вижу, нет его.

— Я, — говорю, — заплатил за билет, и вот «пласрезерве»: его выдают только по предъявлению билета.

Но контролеру надо: или билет или плати.

И как это возможно, чтобы потерялся! — Корнетов шарил по своим карманам, я по своим: ничего — ни у меня, ни у него.

— Стало быть, на станции забыли выдать! — сказал я.

Забыли или не забыли, все равно, контролеру подай билет или плати. И пришлось заплатить во второй раз.

И хотя контролер уверял, что по заявлению в Париже деньги нам вернут, меня все это ужасно как расстроило, и вся моя музыка пропала: бросил я T. S. F. — зря только десять франков... хороша и Madame Rogier, не посмотреть! да и Корнетов хорош, принять, не проверив!

И скажу вам, мне даже жутко стало. И всю дорогу — особенно как мосты переезжали — ждал я крушения. Но беда миновала, и в Париж мы вернулись с хорошей погодой.

3. ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Подкова ли действовала — нашел ее Корнетов в день переезда, названная «индустриальной», потому что не лошадиная и не ослика, а шестерня от велосипеда — или эта подкова знаменовала события: найти подкову — к счастью. И то правда: когда лез он на чудесную лестницу в Сент-Анн д'Орей, стражда в своих мучительских черных деревянных «галошах», желания его подымались с ним и достигли одаряющего сердца св. Анны.

Корнетову удалось-таки трехлетний контракт переделать на годовой, из Булони он не уехал, но совсем другое — бессрочно или только до лета. И по заявлению в Париже, как учил контролер, деньги за билет ему вернули, не сразу, через месяц.

А вот мне не повезло: или не так я говорил мои желания, или легко подымался — но зато какой путь поисков отокара! какая ночь на вокзале с летучей мышью! неужто этой страдой я не искупил свою легкость?

Отказавшись от экономических трубок, я не попал в Electro-Lux: говорят: «кризис» — сокращение служащих, и теперь я пошуарист — раскрашиваю платки; и если с трубками было неважно, с платками совсем плохо. И я уж не мечтаю... а когда денег у меня нет, а у меня хронически их нет, я думаю, и у меня такое — «скрипит душа», понимаете, мне надо... только не слов, я чувствую, подходит такая полоса, когда человеку терять уж нечего... постойте, есть выход! русское эмигрантское бюро похоронных процессий! — что еще может быть надежнее — и вне конкуренции и никакого кризиса!

А та полоса Корнетова, должно быть, кончилась, и кончилась не менее чудесно, чем было ее начало.

Как тягостна в Булони осень, когда в лесу облетели деревья, и дождик. Аллея, к которой стремятся из Парижа весной, принимает вид безнадежности, как та дорога болотом от Сен-Назер в Ванн. А еще тягостнее, когда ветер и дождь.

В этот день ветер начал с утра отдирать железные листы с крыши соседнего, пустого дома, обреченного на слом, а к вечеру со всего разлету напускался на лес; на перекрестках крутило. Вечером, возвращаясь из Парижа, Корнетов слез с автобуса «BP» и осторожно стал переходить улицу. И ветер, налетев, сорвал с него шляпу.

Бежать по мостовой страшно: автомобили. И, стоя на тротуаре, только смотрел. А это был аксидан, незарегистрированный ни в каких ажанских протоколах. И видел, как мяли ее колеса автомобилей и резал трамвай, и как, прорезанные, бессильно подымались поля, и опять, очутившуюся под колесами, ее протащили по грязи, и она дрожала лоскутьями. Он ее видел, и это валялась на мостовой не фетровая шляпа, а истерзанный труп, и в этом трупе было еще теплое мясо, как у раздавленного человека или раздавленной собаки. И, как в каждом трагическом случае, чувствовалась тайная необходимость и неизбежность.

Легко, с обнаженной головой, продуваемый ветром, с чувством освобождения от давившей тяжести, Корнетов подошел к калитке на всю Булонь ярко освещенного дома — своей тюрьмы.

Глава вторая
ЗАВАЛЬ*

1. ТЛО

В Париже появился из Мюнхена Ганс Крейслер «изучать русскую литературу». Понятней было бы, если бы Крейслер поехал в Москву... но Крейслер родился в Москве, и ничего нет непонятного, что выбрал Париж.

Он обошел литературные мощи, китов и китообразных, всех бывших и бывавших. И, как всегда бывает с иностранцами, попадал и не туда, пил коктейль с Козлоком, слушал басни Куковникова, провел целый вечер у «залесного аптекаря» Семена Судока. Судок по привычке снабдил его такой потрясающей информацией — тысяча и одна ночь русской литературной деятельности в Париже, энциклопедические предприятия, баснословные гонорары — а чего говорить, писатели нынче свои книги на свой счет издают, прикрываясь еще дышащими, обреченными на издыхание, издательскими книжными фирмами! — Крейслер записывал, записывал, да и бросил — unerhöhrt!

От Судока попал он к Корнетову. Судок в лирическом запале представил ему Корнетова «великим русским писателем, который высится неким Эльбрусом над цепью гор и замыкает цикл развития русской литературы, начинающийся с Симеона Полоцкого» — ну и болван этот Судок! — и Крейслер, не говоря ни слова, снял Корнетова для какого-то мюнхенского «Funkstunde». Ну, потом все разъяснилось. Но, осмотрев собрание пил — весь сверкающий зубатый ряд до той круглой, которая распиливает несгораемые шкафы, и перелистав исторические Корнетовские альбомы и не менее занимательные «дикие» Корнетовские рисунки, Крейслер настаивал на помещение фотографии. Но Корнетов не соглашался:

«Если бы только одни пилы, это было бы в техническом отношении интересно, но при чем моя физиономия за

---

* В этой главе рассказы «Тло» и Аэр» входят в распространенной редакции в мою книгу «Подстриженными глазами». *(Примеч. автора.)*

подписью никому неизвестного — Alexander Kornetow. Уж если вам так хочется, давайте я вас чаем напою, буду рассказывать что-нибудь из своего тла. Вы понимаете, что значит «тло» — «сгореть до тла»? — «Тло» — пол, дно, исподь. А кроме «тла» и еще, что в голову придет — а это самое важное для определения человека «что ему в голову придет». Это и заменит вам мою карточку.

И четыре вечера держал Корнетов своего знатного гостя в очаровании, перебирая в памяти заваль. Не обошлось без чаю и, конечно, с вареньем — горьковатое из гранбери, а на загладку чудодейственная простокваша.

Молоко

Когда я смотрю на карточку моей кормилицы, я думаю: ведь это Россия — сама русская земля, вся-то в цветах: ленты, бусы, кокошник, кружева. Какая нарядная! И какой я счастливый, что родился русским, и русская кормилица меня выкормила и научила ходить по земле.

Евгения Борисовна Петушкова — калуцкая песельница и сказочница, и меня не отделить от нее. Так и на Пятницкую в дом Рожнова она понесла меня к фотографу Мартынову. Фотограф скомандовал: «смотрите, птичка летит!» — и оба мы на птичку встрепенулись, тут он нас и снял.

Мне тогда семь месяцев исполнилось. Много с тех пор прошло — какие события! — война, революция. Мало осталось чего из вещественной памяти, а карточка цела. Но если бы и погибла, образ моей кормилицы живет и сохранится в сказках о «Русских женщинах», от которого неотделим — Россия.

А появилась она в Москве в Замоскворечье не по радости, а по судьбе. Родила она Машутку, с месяц кормила, а тут слышно: мужа ее на войну забрали. Муж ее на Зацепе рабочий на Чугунно-литейном заводе. Она из Калуцкой деревни с Машуткой в Москву и прикатила. Что ей делать? А говорят: такую в кормилицы возьмут. Она согласилась.

«Подержите ребенка, а я обомру!»

Отдала она свою Машутку няньке, обмерла на немножко, — а очнулась и меня взяла к себе. И не одни песни, а и слезы осенили мои первые дни.

О ту пору появился у нас в доме кот. Откуда пришел, никто не знает. И как, бывало, меня кормит, он тут как тут: караулит. А уложат меня в кровать, и он поищется — почешется, свернется калачиком и поет по-своему — Наумка! И всегда чего-то озабоченный, а такая тишина — от его шерстки и дыхания.

Около моей кровати лежала верблюжья шкура — цибики с чаем завертывают в шкуру китайцы — так обрезок: кот на этой шкуре на лысинке и пристраивался. И до семи лет все со мной, а потом пропал.

О Наумке вспоминала и кормилица: ей как позабыть! Забота: муж на войне, и о Машутке. Проснется она ночью: огонек от лампадки да Наумка на лысинке дышит, и тишина.

Я помню, как распеленутый, корчу ноги — дети очень любят, чтобы руками себя за ноги ловить. А кормилица рукой меня тихонько по груди, по животу — «потягунушки — повалянушки!» — рука жесткая, и немножко щекотно. Девять месяцев она меня кормила, и я был с ней неразлучен. И надолго осталось: я долго чувствовал вдруг запах ее молока. И это, как запах «чистого поля» — травы и полевых цветов вдруг повеет в самом каменном городе, в самую бесснежную стужу.

Когда мне было два года, летом я залез на комод и упал с комода лицом на железную игрушечную печку — и я увидел: у себя на белом кровь и в окне из синей тучи белую колокольню, красный с гвоздями забор перед домом и на стене обои — «турки в зеленых шароварах». С переломанным носом и разорванной губой, и не от боли, а оттого, что вдруг увидел — «мир» — я «закатился», и не слезы, липкое — кровь мазала мне рот и руки. В этот памятный день приходила кормилица и принесла мне гостинцу — веник зеленого гороху.

И всегда, как приедет на побывку к мужу, она заходила к нам в дом одна или с Машуткой, моей молочной сестрой. Жестким пальцем гладила она меня по носу, и я чувствовал запах деревенских лепешек, кумач и... молоко.

«Выровнится!» — говорила она.

Но старуха-нянька, глядя из-под очков, качала головой:

«За озорство покарал Бог, и останешься курносым до Второго пришествия».

Я представлял себе «Второе пришествие» очень далеким, таким далеким — невероятным — и чем-то безна-

дежным: «кончится мир» — мой волшебный красочный и звучащий мир. И никак не мог понять свою вину: ведь тут же вертелась Машутка, быстрая и непоседливая, искрящаяся всем существом своим — с лукавыми глазами и непослушным улыбающимся ртом, такая же — и безо всякой кары — курносая, как я.

Мне было восемь лет, я учился в гимназии. Весной неожиданно пришла кормилица, она приехала, чтобы везти в деревню мужа, попал в машину, и ему отняли ногу.

«На войне был и ничего...» — говорила кормилица.

«Такая судьба!» — сказала нянька.

И я видел, как посмотрела кормилица — испуганно и несогласно, так, должно быть, я смотрел, не желая покоряться никакой судьбе, и опущенный рот ее задрожал. Это была последняя моя встреча — и этот образ «непокорности» я храню.

Первые сказки

У меня был приятель кот, такой кот воркотун чудесный, белогорлистая шея, серый хвост и очень усатый, а курлыкал, вроде как разговаривал, Наумка.

Ввечеру перед ужином, я укладывался на пол, у горячей печки, и тут же прилаживалась к печке старая наша нянька и приходил кот, мой любимец. Свет не зажигали в детской, одна лампадка — малый огонек, а ясно: нянька за лампадкой ходила. Кот запевал песню — где-то теперь мой кот усатый, где его душа витает? — запевал Наумка песню, тепло ему, приятно: под полом тоненько скреблась мышка-терстышка, я ему под его белым горлышком шейку почесывал. И нянька начинала сказку: сказывалась сказка о Иван-царевиче и сером волке — любимая сказка.

Я все мечтал обернуться серым волком. И все твердил за нянькой, как скажу, когда, не узнав меня, примется за меня Иван-царевич:

«Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!»

Я все мечтал, я хотел пройти ту смертельную опасность, что выпала на долю серого волка: он для царевича все сделает — из беды выручит, от самой смерти, уж на куски разрезанного, вернет к жизни — а царевич смотрит на него и не узнает, не видит, не узнает серого, и хочет порешить с ним. И я говорю:

— Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!

Так с полным сердцем, верным, готовым к смертельной опасности, я слушал сказку.

По двору дрема бродила, собирала себе наряд, расспрашивала: «где кто спит?» И рыбка-соломенка — ни хвостика, ни ребрышка, одна только спинка — огненная плыла в глазах.

Но бывало, в сумерки — — И это из тех же первых дней. Другое вспоминаю — странное — и легкое и грустное, как тонкий сон.

К нам в дом приходила монашка «белица», помогала в уборке. Она появилась у нас в доме, как когда-то Наумка, и это было в год, как пропасть коту.

И, бывало, в сумерки я любил, когда совсем неслышно, вся в черном, она входила в детскую. Она примащивалась на полу, и я подле: я клал голову в ее колени, и она бережно гладила меня по голове, перебирала волосок за волоском — раскладывала волос к волосу — «искала вошку», а сама рассказывала.

Так не рассказывала нянька, нет, совсем другим голосом, совсем другими словами и про другое, не о Иване-царевиче, не про серого волка — «о лебедях — о кораблях воздушных — о море — о морском царе» рассказывала она сказку.

И я лежал, затаившись, и думал в тонком сне, легком и грустном. И вдруг замолкал голос, обрывалась сказка. И тогда тихонько подымал я голову и с замеревшим сердцем глядел на нее, близко в ее глаза. А в глазах у нее, как море, шла волна за волной.

«О лебедях — о кораблях воздушных — о море — о морском царе» — какие это были странные сказки.

Потом она пропала.

Раз я услышал, как разговаривали большие, нянька сказала:

«Пропала девка!»

И я уж никогда ее не видел — не показывалась она у нас в доме, не приходила в детскую. И больше нигде не встречал: ни в церкви, ни в монастыре, ни на улице — пропала.

И все позабывалось. Давно померла старуха нянька — где-то теперь ее душа отдыхает? И нянька не вспоминалась. Это так понятно — круг станет тесным и все теснее и заметнее потом.

И вот однажды летом в глухой час после музыки проходил я длинными московскими бульварами, и вдруг словно толкнуло меня, и я вспомнил — — и было мне, как в тонком сне, легко и грустно. С замеревшим сердцем я засматривал в ночные глаза прохожим — так вот и увижу, так вот и узнаю... А еще много спустя, в смертельной опасности кругом пропащий — и опять словно толкнуло меня, я на колени стал — нет, в своей беде человек не узнавал меня, а ведь это и есть самое страшное, когда смотрят на тебя и не узнают! — и я просил:

— Не губи меня, Иван-царевич...

Одиннадцать диоптрий

Я с годами заметил, что дни, о которых еще и звания нет и которые, рано иль поздно, а непременно наступят, дают о себе знать задолго до своего наступления: привяжется мотив — музыка или стихи — твердишь, как попугай, а почему? откуда? — ничего не знаю, и только потом поймешь, что все это было не зря, и в этой музыке и в этих стихах ясно выговаривалось то, о чем даже и думать не мог, а вот... это так же, как разгадываешь много спустя странные сны. У всех ли это так? — или не замечают? — или у меня очень резко? — и самое незаметное и глубокоскрытое я чувствую, и вот — «будущее» захлестывает мое «теперь», мой сегодняшний день. Я объясняю эту свою исключительность непохожей жизнью моего детства. И ведь могло бы все быть по-другому, и только случайность; а в «случайности» как раз и выступает судьба — знак судьбы: стало быть так, а не иначе и надо было быть, чему должно быть.

До четырнадцати лет жизнь моя была волшебная. Из этого волшебного мира я и вынес мою изощренность в снах и остроту слуха. Вечером зимой вдруг слышу весенние звуки, подхожу к окну — от фонаря по мокрым плитам тротуара бьется дождик, но в моих глазах весенняя ночь: в теплом свете зеленеют платаны и мои рисунки: они, как сны и слух, из тех же волшебных дней, — память и навык.

Я не художник, но рисовать мне, что горе рыбаку рыбу удить: рисование моя страсть.

Первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони шлепком на спину прохожему — и у того сзади выскакивал, неизвестно откуда, белый ушастый «чертик», больше похожий на зайца, чем на черта. И сколько меченого народу по утрам проникало Введенским переулком и Покровкой — гимназия, где я учился, на Покровке — в «город» на Ильинку, и меченый над меченым, не догадываясь, потешался.

Еще заборы: я не пропускал ни одной остановки — где пишут «останавливаться строго воспрещается», места излюбленные озорниками, неграмотными и близорукими, — и на диком или красном поле забора выводил углем или мелом рожу — да таких носов рожу, насколько размах хватает.

Рисовать козявок в те волшебные мои годы меня не влекло, я их просто не замечал, а все преувеличенно и необыкновенно — «слоновое», как в волшебном фонаре. От «волшебного фонаря» и выходили у меня мои заборные размашистые рожи: пузатый с законченной трубой и толстым, ярко и странно светящимся стеклом, фонарь — я его помню, как себя, и вижу — на глянцевитой изразцовой печке от его волшебного света дрожащие чудовища: люди, звери, птицы, носы, рога и лапы.

В перемену между уроками, когда другие слонялись или зубрили, я влипал в доску и крушил мел, зарисовывая ее до кончика. И только звонок отрывал меня, а заячья лапка или губка стирали с доски мои рожи. Огрызок мела я прятал: я и рисовал и ел его, как едят конфеты.

Я родился близоруким, но об этом никто не догадывался. Мои рассказы и замечания часто вызывали у больших смех и удивление. Меня заставляли повторять и потешались. Я жил в волшебном мире, который был так не похож на мир больших. Все мне было по-другому: какие огромные косматые звезды! а луна во все окно! — и все проникнуто тончайшими звуками. Цвет и звук был для меня неразделен. А лица — только цвет и свет, и только по краскам и осенению я отличал знакомых и различал встречных.

В четырнадцать лет кончился мой волшебный мир и наступила для меня новая жизнь, как у всех, но до сегодняшнего дня я сохраняю отвращение ко всему, что зовется «хорошим вкусом» — к «ласкающей слух» мело-

дии, к «изяществу» костюма и конфетной «пластичности», скажу больше, мне всегда чего-то неловко и не за себя, когда я попадаю в театр, на концерт или в «изысканное» общество. А кончился мой волшебный мир совершенно случайно из-за моей неудачной пробы учиться рисовать.

В воскресенье я пошел в Строгановское училище — по воскресеньям для приходящих бесплатно. Я сел впереди на первую скамейку и принялся за работу: задано было срисовать с натуры какую-то простую геометрическую фигуру. И что разглядел я в ней, какие звезды или какие луны мне представились? — но, когда окончив, я подал учителю, он посмотрел на мой рисунок, потом на меня, и очень строго сказал, чтобы я больше не приходил рисовать.

Через всю Москву шел я, держа в руке мой фантастический рисунок. Мороз, звеня, зажигал разноцветные огни; окна плыли в глаза мне, коля глаза колкою смесью леденцов: у Никольских ворот на лотках продают такую смесь, надо колоть, как сахар. Я был в отчаянии: нарисовать то, что увидел, ведь это и требовалось, но почему же не годен?

И вот тут-то и догадались, что у меня с глазами неладно. А доктор, освидетельствовав, попенял, чего мучили: «одиннадцать диоптрий!» и я надел очки.

И мой красочный звучащий мир погас.

Размеренный, очерченный с крохотными звездочками, далекой луной и с этим, всегда меня раздражающим солнцем — тепло-то я очень люблю, но свет — мне больно, вот мой новый мир. Все другое и сам я стал другой. И только во сне еще мне снилось — мой ушедший от меня мир. И я особенно полюбил цветы: краска или эта форма, мне что-то напоминало.

А долго я не мог освоиться. И до сих пор сохраняю — это из перелома: когда меня спрашивают, я никогда не могу сразу ответить: мне надо какое-то время, чтобы мое глубокое из того мира перевести на слова сюда.

Так вот они какие на самом деле люди и вся эта «натура»! Не было, я больше не видел, осияния — одни резкие черты. Какое безобразие! Там было все ближе, сцепленный, без всяких пустот, а теперь отдельно и замкнуто, с провалами — и какая суровость! Голос учителя, вернувшего мне мой фантастический рисунок, слился с

голосом размеренного, разграфленного на клеточки моего нового беспощадного мира.

Заборы меня не привлекали, и в классе я не подходил к доске, равнодушно я смотрел на мел — потерял вкус. Согнувшись, я рисовал «козявок», доступных только моим глазам — если снять очки и уткнуться носом в тетрадь, когда для нормального рябит. А мысленно — я это приноравливаю ко времени сна — без очков, крепко жмуря глаза, я видел, как в серебряных кругах плыли передо мной знакомые чудовища; а потом они снились. Но пробуждение стирало волшебный образ.

С той поры, как я увидел «нормальный» мир, переменилась моя жизнь. Я ушел в книгу. И в книгах занимало меня то, что было в них из другого мира: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Лесков обернулись ко мне не бытом и философией, а своими снами. «Нормальный» мир, в который меня втолкнул суровый оклик учителя рисования, какой чужой! — мне всегда было чего-то стеснительно и одиноко и больно — и какой жестокий. И наижесточайшим показался мне этот мир не у Достоевского, почти всех героев которого в детстве щиплют, а в рассказах Пушкина и Тургенева, где никого и пальцем не трогают, но где приличие и пристойность «хорошего общества» больнее всякого щелчка.

Раньше я не читал книг, я только рассматривал картинки. Но срисовывать никогда не срисовывал, как никогда не пользовался линейкой и разлинованной бумагой. И пишу я лестницей и никогда не провести мне двух параллельных, непременно скосятся, и все географические карты висят на моей стене криво.

«Козявки» скоро мне надоели — все-таки «натура», а ведь меня по моей памяти влекло к «ненатуральному». И я нашел: это были «сучки» на белом тесе. Всматриваясь, я стал разбираться — и никакому Босху, ни Калло не передать жизни из моего мира «сучков». Еще облака — какая разнообразная чудесная жизнь! Я часами, не отрываясь, смотрел на небо. А в годы революции — время летело, не замечали, как проходили годы, а дни и вечера бывали такие долгие, не знаешь, куда время девать — случайно коснувшись обой, я заметил, что самый материал может дать из себя «небывалый» и «неповторяемый» един-

ственный рисунок, стоит только помусолить пальцем и начать им водить — и я разрисовал все стены пустой нетопленной комнаты: такие получились «видения», что когда придут, бывало, с обыском, и осветят электричеством комнату, взглянут — а в глазах зеленые круги, какие уж там поиски!

А когда перед Пасхой красили яйца и, вынимая из краски, клали на бумагу — расплывшаяся и подтекшая краска глянула на меня знакомым миром: я бережно соберу «испачканную» бумагу и, обводя карандашом пятна или только обрамляя, вызывал образы тех, таившихся в «сучках» белого теса, только они были ярки и нарядны.

Но этого мне было мало, да и какие «сучки» в каменном Париже, нельзя и обои портить, и Пасха бывает только однажды. И вот после всяких неудачных проб — повторяю, к «хорошему вкусу» у меня органическое отвращение! — последнее, на чем я отвожу мою встревоженную душу, никогда не забывая странную мою жизнь далекого детства, я просто углем или химическим карандашом вожу по бумаге. И выходит, посмотрите, я вижу! И обводя карандашами или чернилами, я стараюсь из этой путаницы вывести и не только внятное моему глазу, но и для нормального. Не всегда это удается — да и как угадаешь? И тогда я ставлю подпись под картинкой — а уж там кто как хочет.

А сегодня какой случай: ранним утром, пробужденный пожарным гудком, бросился я к окну и вижу: я увидел красный автомобиль с пожарными, медные каски, и набитые корзины и чаны с мусором вчерашних буат-а-ордюр на тротуаре между платанами, какая-то женщина, нагнувшись, отбирает из свалки поживу, и еще подходит старик за тем же, а за стариком собака. И вдруг я схватился, что вижу это я без очков, а так мне все ясно. И неужели моя жизнь с постонной заботой о «поживе», как достать на завтра, в мелких и с никогда не сводимыми концами расчетах, с долей не той женщины, первой нагнувшейся над мусором, не старика, роющегося за ней, а собаки, неужели эта собачья доля открыла мне ясное нормальное зрение — и я без очков отчетливо вижу с моего верха — с пятого этажа — на тротуаре «ордюры» и над «ордюрами» проворные руки и нос?

Не веря, я еще раз взглянул в окно — из серого, как из облаков, подымали руки зимние сырые платаны, а там — голубое...

И отлегло на сердце. Мой мир со мною! И никакой «случай», никакая «доля» не может его отнять у меня.

2. АЭР

За чаем с брусничным вареньем из гранбери Корнетов продолжает свой рассказ — «для портрета». Его гость, Ганс Крейслер, внимательно прослушавший «тло» и заметивший в своей записной книжке значение этого слова, как «дно», а в скобках «поддонное Корнетова», превратился в неслышного гнома, по-русски «лешака».

Первый Достоевский, вспомнив Маркиза де Сад, в первый раз в «Униженных и оскорбленных» (1861 г.) заговорил о «чистосердии».

«Если бы только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если бы могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться».

Достоевский иллюстрировал такое «чистосердечие» признаниями Валковского, Свидригайлова и Ставрогина (Карамазовы, эта сладковатая кровяная колбаса из Валковского, Свидригайлова и Ставрогина, ничего не прибавят); и Валковский и Свидригайлов и Ставрогин существуют с тех пор, как мир существует, угрызений совести у них никогда не было ни о чем, сама природа им покровительствует, и весь мир может когда-нибудь провалиться, но они всплывут — «они всегда всплывут наверх».

Достоевский «чистосердечно» рассказал не только про это «облюбование мясца», но и про «облюбование мысли». «Чистосердечное» описание «тайны природы», как выражается сам Достоевский, нашло блестящего последователя: Розанов. Да и «куриная запятая» у Джойса и Лоренса не

без Достоевского. Я уверен, что и Джойс и Лоренс читали Достоевского. Ведь вот никому в голову не приходило, а это касается «облюбования мысли», что Ницше читал и «Записки из подполья» (1864 г.) и «Преступление и наказание» (1866 г.), где, как известно, о «сверхчеловеке» все сказано.

Я не буду рассказывать о «тайне природы». Не скажу, чтобы «смрад», это уже чересчур, но признаюсь после Розанова, Джойса и Лоренса пальцы липнут и, точно белки сбиваешь, такой воздух. Попробую еще рассказать, как я узнал мир или как мир меня узнал, что одно и то же. Я называю рассказ мой словом «аэр» — на старинных гравюрах с подписями таким именем подписывалось то пространство над землею поверх воздуха, теперь все знают, стратосфера.

* * *

Я не знал, что я родился с кротиной природой, что не на земле и днем, а под землей во мраке моя стихия, и несу всю судьбу моей природы. Ночными глазами я смотрел на мир — и самая ровная дорога шла передо мной валами, ближайшие дома уходили глубоко в землю, а все, что было дальше, висело над фонарями, крыши поднимались под облака, из труб вылетали черные птицы, и те же самые птицы, но уж не черные, — звезды усаживались на фабричные трубы, когда ночь распахивала огненные жерла окон.

Я был живым свидетелем призрачности мира, на мне оправдывались примеры философов о недостоверности наших чувств. Я мог бы за Гоголем повторить слово в слово: «да, все обман, все мечта, все не то, чем кажется». Брошенная на дорогу палка, с которой Шопенгауэр начинает свое исследование о мире-представлении, для меня действительно превратилась бы в змею, и положенная в головах свитка, от нее Гоголь ведет свою повесть о волшебном мире мары на нашей грешной земле со свиными рожами, мешками золотых черепков, помойными котлами кладов, разлучными гусаками, шинелью, коляской, носом, ревизором, игроками и мертвыми душами, была бы для меня не свиткой, а «свернувшимся дьяволом». То же и с обманчивостью звуков, с них Гоголь тоже начинает свою

повесть о наваждении или оморачивании — об отводящей глаза человеку страсти, да я побледнел бы вместе с Черевиком и Цыбулей, услышав при страшном рассказе какой-нибудь неясный звук «весьма похожий на хрюканье свиньи» и надо было бы Хавронье Никифоровне, не поддавшейся страху, отрезвить меня: «один кто-нибудь, может, прости Господи, угрешился; под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись, как полоумные».

Дневной солнечный мир сам нашел меня и показал себя своей бесчувственной, безвоздушной слепой стихией — меру же и распределение я узнал потом через очки и уравновесил мой собачий слух.

* * *

Когда мне было два года, я захворал скарлатиной. Доктор нашел, что не выживу. Но я поправился. И день моего выздоровления соединяется у меня с памятью о ванне. Я очень хорошо помню зеленую теплую ванну с трухой. Меня посадили в нее распухшего и задыхающегося, и вдруг я затих: глотая воздух, как рыба, я перебирал пальцами траву, стараясь поймать, и удержу в руке скользящие теплые струи. С тех пор я различаю воду и не глазами, а изнутри; потом уж я увидел ее и полюбил в Океане — прародине моей и всех жизней.

Когда мне было шесть лет, умер отец. Это случилось в середине мая. Я помню ярко — зеленую весеннюю траву на дворе дома, а день был пасмурный. И в церкви, когда я подошел прощаться, и меня подняли над гробом, и близко наклонили к лицу, я помню: белое, такой лунной белизны я только раз видел, и холодное лицо, и по белому струйка густой крови от носа к подбородку. Зеленая трава, застывшее белее белого лицо, сползающая кровь — сказались во мне словом молитвы, которую я впервые услышал: «земля еси и в землю отъидеши». С тех пор я различаю землю, и никак не могу ее представить себе горсткой песчинок, которую гордый лунный «Гоголь» поднял со дна Моря для солнечного Демиурга, чтобы сделать над водой настилку — «сотворить землю», но всегда в цвете весенней зелени до зелени лунной и в теплоте крови до льда камня.

Вскоре я узнал огонь, но не так, как бы мне подходило по спутанности моих глаз, — я не схватился за пламя

свечи, я не сунул руку в жаркую печку, нет, я его узнал глазами. Меня разбудили рано утром: пожар!

И прямо с кровати в одной рубашке я подбежал к окну: напротив горел сахарный завод. И я увидел глаза: их было много, и все они, как один, с голубыми белками зеленые — они закрывались и раскрывались, нестерпимые по своему жгучему взгляду. Раньше я никогда не плакал: я кричал от боли и закатывался в сухих рыданиях, но этот взгляд меня прожег до крови, и я заплакал: это были первые слезы.

Нас, «уличных», подобралась стая самых озорных. Из всех я был младший, — мне только что исполнилось семь. Коноводить я не мог, да и куда мне с моими глазами, меня и прозвал «крот», но, оставаясь в стороне, я никогда не плелся в хвосте, я был зажигой: я затевал самые рискованные головоломные затеи. И мои товарищи, доверяясь мне, не раз попадали в дураки, но бывало и хуже, и как часто подбитые под глазами фонари выдавали всех с головой. А меня это очень занимало, и не было ничего такого, перед чем бы в затеях моих я остановился.

На фабричном дворе, где мы жили, перестроили один корпус под квартиры служащих. Под крышей был просторный чердак со слуховым окном. Этот чердак мы облюбовали для голубей. И, прежде всего, соорудили западню: перед окном устроена была площадка, наверху окна укреплена сетка, — можно и опустить и можно поднять, как хочешь. Теперь надо заметить, когда по соседству гоняют, но чтобы голубей было немного, и выпускай своих; голуби обыкновенно пристают к стае, и какому-нибудь новенькому легко ввиться в твой круг; а когда нагоняются свои и опустятся на площадку перед окном, тут и приставший за ними, дергай веревку, опускай сетку, — голубь твой. По чести, надо бы вернуть его хозяину, но почему-то «хозяева» никогда приставшего не возвращают, а выдержав на своей голубятне, выдают за своего, если только сам он домой не явится. И это тоже надо в расчет принять: голубь памятлив — его и продать можно без всякого риска: вернется.

Вот как мы все наперед сообразили; и какая голубятня! А голубей у нас не было. А скоро установилась за нами кличка «голубятников»: всякое воскресенье, после ранней

обедни, мы отправлялись с кошелкой на Трубу и там бродили, присматриваясь и приторговывая голубей. И ни для кого не было тайной, что единственный способ иметь голубей было для нас: украсть. А это-то и не удавалось: торговцы никогда не оставляли нас одних.

Какими чудесами, все равно, только в «шкуле», где хранились бабки, обнаружилось несколько двугривенных, а Крышов, самый ловкий из нас, хвастал, что купил себе серебряные часы «по случаю». И на эти чудесные деньги были куплены голуби. А месяца через два мы имели полный завод: одних выменивали в надежде, что вернутся, — они и возвращались; других продавали, в тот же день подманивали; появились и выводки; и всякой масти — и серые, и белые, и хохлатые, и мохноногие, и палевые, и турмаки, кувыркающиеся при полете. И только не было, и об этом только и было разговору: египетских. Никто их никогда не видал, но заправские голубятники на Трубе не раз поминали, как особенную редкость: египетские, которым и цены нет. И мы рассчитали, что если продать всех наших голубей и всех подманить, и еще раз продать, хватит и на египетских.

Я любил смотреть, как гоняют голубей: в голубом-высоко они представлялись мне белыми и алыми листьями, а когда летели назад, с каким шумом! точно кулаки чьих-то протянутых рук ударяют о площадку, покрытую подсевом, пометом и перьями. И как все мы мечтали о египетских, я мечтал, хоть один раз, самому погонять голубей: мне никогда не давали, боялись, упущу.

В воскресенье, как всегда, после обедни, все отправились на Трубу. Кроме меня. Я не пошел, я вернулся домой. И прямо на голубятню. И на меня приятно дыхнуло: помет, перья, подсев. Я выпустил голубей, взял шест и начал махать, как это делали другие. Утро было горячее, звонкое. И мне казалось, там вверху, — то ли яблоня осыпается алыми лепестками, но падая, лепестки не упадают, как это бывало только во сне. И вдруг я услышал странные звуки, и мне чего-то легко стало, точно сам я, как голубь, за голубями поднялся: наши голуби приманили египетских! Опустив шест, я слушал. А когда взялся снова и посмотрел вверх — в блестящей пустыне света плыло масляно-золотое солнце. И не помню, сколько стоял я,

дожидаясь: голуби не возвращались. Я испугался. Но что же, хуже будет, если застанут. И я тихонько спустился с голубятни и незаметно юркнул в комнаты.

И потом, как я ни уверял, что не трогал я голубей, что или сами они улетели, или их украли, — мне никто не поверил. Весь день я просидел в комнатах, боялся нос высунуть на волю. Но когда пришел вечер, и в комнатах стало скучно, стоило только меня позвать, и я со всеми побежал на гигантские качели. Я позабыл! Но никто не [мог] позабыть сегодняшнего утра. И когда разбежавшись, я высоко поднялся над землей и полетел и мне было легко, — — кто-то со всего размаху ударил меня кулаком под грудь: зеленая трава, как вода, зеленью разлилась в глазах, и, задохнувшись, не помня себя, я кувырнулся носом в землю. Так открылся мне воздух.

* * *

В ту осень мне в памяти встреча, много раз потом я вспоминал о ней и не мог разгадать. На Земляном валу, по Басманной, и в Лефортове ходил юродивый, — святой человек. Звали его «Пластырь»: очень помогал во всех бедах и напастях. Ходил он с палкой, как слепой, хотя на глаза не жаловался, а говорили про него, что от него ничего не скроешь, насквозь человека видит. Его и побаивались и ухаживали. С детьми он был всегда ласков. Собаки его не трогали, и дети не боялись. Но и самые озорные при нем не вызывали.

«Прекрасным сентябрем»... — с этим гоголевским определением у меня всегда соединялось «серебро»: чистота и звон, — в такой ясный нежаркий вызванивающий день мы гурьбой возвращались из училища по Старой Басманной. И у церкви Никиты Мученика мы его заметили. Я различил его по особенному свету, ни у кого я такого не видел, серебро в голубом. Мы приостановились, ждали, что он нам что-нибудь скажет, отчего бывало всегда весело, и еще какое-то любопытство всегда тянуло посмотреть на него поближе: он не похож был ни на кого, — ни на каких фабричных, ни на каких купцов, ни на каких учителей, — не молодой, не старый, и стар, и молод, лицо его просвечивало — и это поражало, а разбитая кастрюлька, которая моталась у него на груди, вызывает

жалость. Поравнявшись с нами, он споткнулся, и я почувствовал: на меня смотрит — и я не узнал его — густой, серый дым, вскипая, искрами лился из его глаз. И вдруг, запрокинув голову, под жалкий звяк кастрюльки, он судорожно нагнулся, и плюнул мне в лицо и еще и еще, — и что-то кричал, угрожая. Потом ворча, сторонясь, прошел.

Я стоял один, все разбежались. Я никак не мог понять, что такое я сделал, или какое черное пятно разглядел он у моего сердца?

В нашу приходскую церковь на моего умершего старика-священника назначен был молодой, только что окончивший академию и еще не опоповившийся. Мы прислуживали в церкви, и он особенно занялся нами. И такое у нас пробудил рвение, помню, к исповеди мы готовились, как на экзамен: все свои грехи каждый из нас выписал на листке, чтобы не позабыть чего. В длинном перечне всякого озорства у меня было написано: «обижал животных», — и священник, дойдя до «обиженных животных», улыбнулся. А вот теперь, когда стоял я один на тротуаре, я почему-то вспомнил этих обиженных безгрешных животных, и еще я вспомнил Дон-Кихота... Я вспомнил, как Мариторнес и дочь гостинника ночью подманили Дон-Кихота к слуховому окошку и доверчиво протянутую его руку привязали уздечкой, а сами скрылись, и Дон-Кихот повис, подвешенный за руку... мне это очень понравилось, я на месте Мариторнес то же бы сделал, но теперь мне было жалко Дон-Кихота.

Так и осталось загадкой и для меня и для других этот «жест» святого человека, прозорливца, овеянного в моих глазах серебром и лазурью. И только много спустя я понял. И странно, как это я понял: прошлым летом один любитель-фотограф вздумал снять меня на воздухе, и снял; а когда проявил пластинку, оказалось: стоит лошадь.

Толстой заметил, что бывают такие сны, которые обнаруживают характер человека — его природу: в таком сне весь человек, как он есть. В «Анне Карениной» характеристика Облонского дается его сном о поющих стеклянных столах и маленьких графинчиках, они же оказываются и женщинами. Вот — мне недавно приснилось, сном я и закончу: он отчасти тоже разгадка моей загадки.

Мне снилось, иду я по зеленой густо-заросшей дороге, это где-то тут под Парижем, в пасмурный день. Навстречу автомобиль. Я посторонился и вижу: идет женщина в темном, высокая, и, видно, больная, едва подвигается, и я подумал, что ж это, или слепая, что не сторонится? И хочу крикнуть ей, а уж автомобиль на нее, перекувырнул — и я вижу, как она приподнялась на корточки и руками что-то придерживает: ранило ее, а может, внутренности? «Господи, хоть бы простыню дали!» — ясно услышал я ее голос. А никого кругом, только я. Но я сделал вид, что не слышу. Я повернулся и поскорее пошел, свернул на боковую дорогу: там, в конце дом, — двери и окна настежь — посреди стол, покрытый газетами, и больше ничего, а я знаю, что это гастрономический магазин...

3. ЕРАЛАШ

Александр Александрович Корнетов продолжает занимать своего знатного немецкого гостя. Ганс Крейслер, отрываясь от чаю, что-то записывает, но его записи, я это очень хорошо знаю, не имеют никакого отношения к рассказу Корнетова: через два дня Крейслер возвращается в Мюнхен, а надо еще успеть повидать кое-кого из русских, — в Париже русская литература неисчерпаема, а кроме того, сделать покупки: Париж — дешевые устрицы.

Ни рыба, ни мясо

Вы, конечно, читали о споре между Оценочным Комитетом Эссекского графства и представителем Кольчестерских устричных промыслов: подлежат ли дополнительному сбору устричные промыслы наравне с рыбными или, что то же, рыба ли устрица? Как вам известно, вызванный из Лондона ученый эксперт решил спор в пользу Оценочного Комитета, ссылаясь на Ричарда II (1377—1399), установившего, что устрица рыба. Так и осталось, что, с точки зрения права, устрица — рыба.

Но кто же она на самом деле?

И, в самом деле, ведь это очень любопытно: весь Париж с сентября по апрель питается устрицами, и есть такие любители, что и хлеба не надо, подавай устриц.

Позвольте, я прочитаю вам ответ нашего баснописца Василия Петровича Куковникова, читанный им на Международном Конгрессе Истории Наук и Техники, у небезызвестного «залесного аптекаря» Семена Судока в Булони, под председательством Льва Шестова. Я получил копию доклада от Судока в его собственноручной транскрипции, так что невозможно сказать, что Судок и где Куковников — «аптекарь» и «баснописец» — два сапога пара.

«Из всех насекомых, населяющих земной шар, устрица самое любопытное и привлекательное, как по физическому устройству, так и по своим душевным качествам. Я причисляю устрицу к насекомым, и на это у меня есть глубокие основания, и, что устрица, действительно, насекомое, а никакая не рыба, — полюбуйтесь вы на ее физиономию, ну, что в ней рыбьего, и плавать она не умеет, а ползает по морскому дну, икры не мечет, и ни удочкой, ни неводом, ни вершей ее не поймаешь, но она и не млекопитающееся, как утверждает Иван Козлок, я убедился после многих лет тщательного изучения жизни устриц. Многократные химические исследования, производившиеся при самых благоприятных условиях, каждый раз приводили к отрицательным результатам при моих попытках обнаружить следы молока или молочных соединений в составе устриц. И легенда, будто Тутанкамон каждое утро приносил в жертву Аммону-Ра чашу устричного молока, только легенда, т. е. символ духовного явления, а явления духовного мира не подлежат ни историческим, ни биологическим законам, и, в этом смысле, кит искони рыба, а устрица — корова».

«В течение последних десяти лет над изучением жизни устриц трудились самые выдающиеся светила научного мира. Но только теперь, при всеобщем кризисе, широкие массы начали сознавать всю пользу, которую можно извлечь из последовательного изучения этого поразительного насекомого».

«Изучение живого организма должно начинаться с рассмотрения дыхательных органов. Устрица, как и человек, дышит воздухом, и уже по одному этому явлению обнаруживается наше духовное родство с устрицами. Дыхание

устрицы равномерно и постоянно, — нормальная взрослая устрица, при обыкновенных условиях, производит от 42 до 44 вдыханий и выдыханий в минуту. Всасывая свежий морской воздух, устрица задерживает его в своем теле, причем так называемые «инертные газы» воздуха (неон, аргон и другие) вступают в соединение с углекислыми солями, находящимися в легких, и образуют своего рода кислоту, которая в устрице соответствует крови человеческого тела. Точнейшие исследования установили, что эта «устричная кислота» является одним из самых мощных противоядий при отравлении цианистым калием и, кроме того, замечательна тем, что в ней без следа растворяется конский волос. Очищенный, таким образом, воздух вместе с «кровью» проходит по всем венам устрицы, причем, надо заметить, что, не имея сердца, устрица распределяет движение «крови» исключительно лишь усилием воли. Вот почему всякие нервные заболевания, имеющие столь роковое влияние на правильное действие воли, так опасны для устриц».

«Природа, одарившая всех живущих инстинктом самосохранения, дала и устрице средство бороться с раздражающим действием внешнего мира: устрица обладает твердой роговатой оболочкой, через которую не могут проникать резкие шумы и грубые сотрясения. В моих изысканиях я обратил особое внимание на влияние различных звуков на устриц. При помощи усовершенствованных приборов, мне удалось установить, что устрица среднего развития реагирует вполне определенным образом на слуховые раздражения. В своих первых опытах я пользовался обыкновенным камертоном, и обнаружилось, что дыхание устриц учащается при многократном исполнении мажорной гаммы, особенно фа-диез. При помощи микрофона мне удалось установить и зарегистрировать ответные звуки устриц. Основываясь на этих результатах, я направил свои дальнейшие исследования на изучение влияния человеческого голоса на устриц».

«Устрица не рыба и не млекопитающееся, устрица насекомое, принадлежащее к семье альбатросов, и фонетическая жизнь устриц началась после Вавилонского столпотворения».

Билис

Позвольте вам представить Аарона Львовича Билиса. Пользуйтесь случаем, оставьте вашу записную книжку, забудьте все ваши дела и смотрите весело: он нарисует вас таких размеров, — и образ Ганса Крейслера останется в веках, как образ вашего чудеснейшего соотечественника капельмейстера Иоганна Крейслера, выдуманного Э. Т. А. Гоффманом.

Билис русский, родом из Одессы. Только раннее детство его прошло в России, годы ученья — Аргентина. Потому и называет себя аргентинским художником. А теперь сделался парижским, и может называться и парижский, и аргентинский. В Париже два года: он был один из первых, перелетевших Океан, правда, с пересадками... за славой Линдберга Билис никогда не гнался. В Париже на Пляс де ла Конкорд встретил его ирландский писатель Жорж Репей (Reavy). Этот Репей и ввел его в парижские литературные круги.

За два парижских года Билис нарисовал всех знаменитых французов. Весной на выставке показывалась его французская галерея: кого только нет, — от самых вершин, — Валери и Андрэ Жида, и есть знаменитости — ученые, доктора, юристы, маршалы, музыканты и актеры. Их знает Париж, а значит, все знают, — и глядят они, как живые, только что заговорить не могут; но эта область «парлярного искусства» — не Билиса, и такими задачами он не задается.

Билис, прожив всю жизнь в Аргентине, к великому своему счастью, не разучился по-русски и не позабыл своей родины — России. И как же было не возникнуть «русской галерее» и к парижско-аргентинскому титулу не прибавиться — «и русскому». А произошло все случайно и неожиданно.

Надо было так случиться, что в Париж на Святки приехал из Белграда полковник Махин; надо было, чтобы в русский Сочельник назначена была ночная траурная процессия — канун похорон маршала Жоффра; и надо было Рожественскому вечеру быть таким мглистым и пронизывающе-сырым.

Есть голос и власть крови, и не менее властный голос земли: земля волнует, как кровь; можно изжить и кровь

и землю, но это не всякому дается, и сколько примеров как раз обратных: без земли и без «своих» человек пропадает.

Билис сознавал себя и всегда чувствовал, несмотря на всю Аргентину, русским, и эта крепь была у него по земле, — Россия, где он родился, первые впечатления детства и первая любовь. И в русский рожественский сочельник его взволновало не «С нами Бог», не «Дева днесь», а «Ночь перед Рождеством», — никогда незабываемая черная, заваленная снегом земля, неизбывный Гоголь, — «последний день перед Рождеством прошел; зимняя ясная ночь наступила; глянули звезды...»

Билис не мог усидеть в своей комнате. Но не одна эта «Ночь перед Рождеством» выгнала его на улицу, ночная траурная процессия на Шанзелизе, — факелы, музыка и войска: гроб с прахом маршала Жоффра должны были выставить под аркой Этуаль у могилы «Неизвестного Солдата» и перенести на ночь в Нотрдам, — весь Париж собирался к арке и по путям. В эту ночь было особенно жутко, как было жутко на похоронах маршала Фоша: не освещенный, а высвеченный Париж, нагроможденный Париж казался сумрачным и пустынным, и все жались друг к другу, — так бывало в Византии, в Константинополе на триумфальных похоронах византийских императоров.

В то самое время, как Билис, очутившись на Монпарнассе, стоял у освещенного «Куполя», названного так по-гоголевски за свою сплющенность, Махин, решивший в этот день по старине поститься до звезды и достаточно отощавший, остановился у того же кофе поискать, не блеснет ли где хоть какая козлявая звездочка, — но скажу, если бы над Парижем зажглись и самые крещенские звезды, все равно, рекламные огни, сверкающий Ситроен погасил бы и самые пронзительные стальные, облескивающие Россию. Но Махин стоял и упорно всматривался в мглистое, низко спускающееся сырое небо, — в беззвездную парижскую ночь.

«Я как взглянул на полковника, — рассказывает Билис, — так даже сердце вздрогнуло: вот, думаю, Россия».

Действительно, кто встречал Махина, это очень понятно: Махин — старовер, сохранивший все черты и стать Ав-

вакумовой России, и если надеть на Махина стрелецкую шапку, не надо и гримироваться, — живой памятник, Москва XVII века.

«С Фёдора Евдокимовича все и началось: он крестный моей русской галереи».

В первый же день Рожества, не откладывая, Билис сидел в отеле на Конвансион и рисовал Махина. Лебедев зашел поздравить Махина. Познакомились. И на следующий день Билис сидел на Данферрошеро, рисовал Лебедева.

И потянулись с Данферрошеро дороги, и в Париже и за Париж — в банлье: Кламар, Ванв, Мэдон, Булонь. Билис, вычистив свою аргентинскую трубку и туго набив французским капоралем, с утра отправлялся с альбомом на русскую работу, уверенный, что Лебедев бывший министр, только вовсе не морской, а путей сообщения.

За месяц были нарисованы двенадцать портретов: музыканты, художники, философы, писатели и персоны, всем известные, как Чижов, Емельянов, Макеев, Пытко-Пытковский, Бахрах.

С Куковниковым было и занятно и ответственно. На сеансе присутствовал самый единственный англичанин Жорж Репей, который встречал Билиса в его первый парижский день на Пляс де ля Конкорд. Этот Репей затеял перевести басни Куковникова на английский. Сеанс — час и двадцать минут. И за этот час, объясняя англичанину «темные места», Куковников поднял такое басенное тло, Билис и Репей помирали со смеху. От портрета все в восхищении.

И, как всегда бывает в «плановых делах», не обошлось без приключений. Билис, нагруженный портретами, спешил на свою выставку, и автомобиль наскочил на автомобиль, в котором сидела дама, выехавшая в первый весенний день прокатиться в Булонский лес. Дама отделалась ахами и приятной встречей, а Билис, заглядевшись, угодил носом в железный подрамник и очнулся только в госпитале.

Портрет «залесного аптекаря» Семена Судока и портрет Ивана Козлока нарисованы после «аксидана», когда из-под повязки, скрывавшей лицо, смотрели на натуру два, единственно уцелевших, пристальных глаза потерпевшего, но неунывающего художника, — то ли еще бывает на белом свете!

4. ПРОСТОКВАША

Одна из самых характерных черт А. А. Корнетова: бережливость. Москва и Петербург, а стало быть, вся Россия, да и в нынешней СССР у старожил — «глав и оснований» русской земли, памятен Корнетовский веревочный клубок, выросший к 1917 году в астраханский арбуз.

Смеялись: какие пустяки — и зачем такой огромный — из обрывков составленный, растущий со всякой завязанной покупкой. А как пришла нужда, в годы всеобщего учета, вспомнили: «цел ли клубок?» — «Целехонек!» — И потянулись к Корнетову: одному дай кончик, другому намотку, третьему хоть обрывышек — клубок и пошел в ход.

И в Париже — за десять лет — все мы его хорошо знаем: веревка французская, — русской и на разводку не осталось, разве берлинской кое-где пропущено инфляционной, — клубок растет.

За десять лет Парижского быта установилось и вошло в поговорку: есть кофе «Петушковский» — спитой кофе; есть чай «Унковский» — знаменитый африканский доктор с самим Николаем Александровичем чай пил, но в заварке не перенял Бердяевской пропорции: чай-бурда, напоминающий и цветом и вкусом слабительную травку — thé Garfield; и есть «Корнетовская» простокваша.

Выбрасывать скисшееся молоко рука не подымается: сам Корнетов простокваши не ест, но знает, что среди знакомых есть большие любители. Вот он ее и копит, как веревку: слой за слоем — и получается крепь и острота невообразимая. От времени простокваша уплотневает, верхушка ссыхается зеленоватой корочкой — такой горшочек, а влезло несколько литров молока, франков на десять. Не всякий выдержит. Бывали случаи молниеносные — жертвой пали кое-кто из молодых «философов», живущих в Кламаре.

Говорили, что этот соблазнительный корнетовский экстракт по действию превосходит подгорелое варенье: варенье с подозрительным шоколадным сиропом специальность Корнетова, а идет все от той же бережливости.

Корнетов варит варенье из гранбери, вроде нашей брусники, да займется чем-нибудь и забудет, и только тогда

бросится на кухню, когда чад пойдет: тут он в кастрюлю воды бухнет, вскипятит и варенье готово. Много от этого варенья пострадало музыкальных имен: называли Балдахала, но я заметил, что Балдахала баранками соблазнить ничего не стоит, а на такое едва ли поддастся и, как ни уговаривай, ему всего ложечку облизнул и сыт; но кто оказался не подвержен, это П. П. Сувчинский, недаром слава — светящийся камертон, три блюдечка с верхом слизнул и хоть бы что. А что это за варенье, я испытал на собственном опыте: случилось в метро на Камброне, а мне на Итали надо, хорошо еще что был со мной Полетаев, он в этих делах вертел — «демаршер», а то, как говорится, не добежишь, проглотил я крепительную пилюлю и дотерпел.

Корнетов своего немецкого гостя угостил и простоквашей и вареньем, но Ганс Крейслер — у них дисциплина — попробовать не отказался, но не набросился, чтобы ахнуть зараз, и все обошлось благополучно.

И еще есть у Корнетова страсть — редкий разговор обходится — Византия. Непременно расскажет какую-нибудь византийскую историю. К чему-нибудь придерется: «вот, — скажет, — такое уж было в Византии!» — и начнется. Матерьял у него богатый: десять заграничных лет собирает книги о Византии — есть у него Шлюмберже, Диль, Васильев, Успенский, Кулаковский, нет только Крумбахера; и это мечта Корнетова — достать Крумбахера.

Разговор зашел о вероломстве и предательстве — тема злободневная. Достоевский говорит, что «человек деспот от природы и любит быть мучителем», а я добавляю — «и подлец», и это такое органическое в человеке, что и бороться с этим свойством зря.

Это и был повод для рассказа из Византийской истории. А кроме того память Шлюмберже — Густав Шлюмберже умер в мае 1929 года. Корнетов и вызвался рассказать историю, вычитанную из любимых книг своей Византийской книжной казны.

Братья

Есть страны, обреченные на страдание. Тысячу лет и больше Армения несет свой тяжкий крест. Но было время,

когда трудами мудрости и веры Армения жила свободно и высоко. Был царь Гаджик: и пока он царствовал, страна работала и отдыхала, а умер, и все пошло прахом.

У Гаджика было два сына: Иоанн Смбат и Ашот. Царство перешло к старшему Иоанну, но Ашот был гордый и не хотел подчиниться брату. Ашот собрал недовольных Смбатом и обратился к Сенахириму Ахруни, царю страны, окружающей озеро Ван. Сенахирим послал Ашоту людей и денег, и Ашот выступил войной на брата. Долго тянулась война, никто не побеждал. Тогда армянский патриарх Петрос Гетадарец и грузинский царь Георгий вступили в спор братьев и войне был положен конец. Армению разделили на две части: Иоанн Смбат оставил за собой свою столицу Ани; Ашот взял ту часть, что граничила с Персией и Грузией. И был уговор: если умрет Иоанн, вся страна переходит к Ашоту, а если умрет Ашот, все достанется Иоанну.

Иоанн был крепкого здоровья и умирать не собирался. Что было делать Ашоту? — и он отправил посла к грузинскому царю сказать царю: «иди войной на моего брата». И когда грузинский царь вышел против Иоанна, Иоанн откупился, уступив Грузии три крепости. Ашот остался с носом, но не оставил своей мысли погубить брата. Ашот послал сказать Иоанну: «я болен, при смерти, не хочу умереть, не увидев тебя, прости и спеши ко мне!» Иоанн поверил. Но войдя в дом Ашота, понял и упал на колени, моля брата о милости. Ашот сказал: «царство твое переходит ко мне, а тебя я заточу в крепость». И тайно велит своему другу Анирату: «возьми моего брата, отведи в пустынное место и убей!» Анират поклялся, и с Иоанном пошел в горы. На пути вынул нож, но раздумал. «Ашот приказал тебя убить, я не могу сдержать клятвы, беги в свой город Ани, а я скроюсь у арабов в Двине, там меня и с собаками не сыщут». Иоанн стреканул в Ани, Анират к арабам. И опять остался Ашот на бобах. Но тут его история кончается, очередь за братом.

В те времена с востока подходило новое «безбожное» племя, в чьи руки через четыреста лет перейдет «богохранимый» Царьград. В Царьграде правил Василий Болгаробоец (976—1025) — болгарским пленным он велел выколоть глаза, оставив сотого кривым, чтобы кривой вел сотню ослепленных, и отослал пленных на родину. Между

этим «болгаробойцем» и «безбожными» турками очутился Иоанн, как пойманный зверь. Чтобы найти защиту от турок, Иоанн послал Василию грамоту, нарушая договор, заключенный с братом Ашотом; «когда я умру, писал Иаонн, мой город Ани перейдет к тебе и к твоим преемникам, а не к Ашоту и его детям». А был этот город Ани из городов самый громкий, высоко в горах стоял он, десять раз по сту и одна каменными похвалами подымались к небесам Божии церкви, как когда-то московские сорок-сороков благовествующей России. Василий не дурак, грамоту припрятал, чтобы предъявить, когда умрет Иоанн. Но Иоанн был живуч и Василий не дождался, сам помер.

Царем сделался брат Василия Константин VIII (1025—1028), старый и слабый. Дни его были сочтены. Перед смертью он призвал армянского монаха Кирака, проживавшего в одном из бесчисленных монастырей в Царьграде, и передал ему грамоту Иоанна: «мне пора отойти в вечность, — сказал Константин, — и не время заниматься разбоем, возьми грамоту и отнеси своему царю и скажи, чтобы свое царство отдал своим преемникам». Кирак грамоту взял в обе руки, но нести к Иоанну и не подумал, а зашил ее в антиминс и оставил лежать в своей келье: на этой грамоте кое-что можно со временем заработать — бумага без тиража. И тут кончается история Иоанна, который ничего не знает и всех боится, только не Кирака, и о нем будет еще слово.

После Константина правил Роман III (1028—1034); о его последних минутах живописно рассказал Псел:

«Император собирался отпраздновать наше Общее Воскресение (Пасху) и в то же время готовился назавтра явиться на торжественный всенародный праздник. И так до рассвета он идет, чтобы выкупаться в одной из дворцовых бань, расположенных вокруг его покоев, и его больше не вели за руки и он не был близок к смерти. В веселом расположении духа он поднимался, чтобы вымыться и умаститься, очистить тело очистительными снадобьями. И так он входит в ванну, сначала тщательно вымыл голову и потом начисто вымыл тело. Его дыхание было легким, и он вошел далеко в ванну, которая была глубока по середине. И сначала он один плавал с удовольствием и двигался с легкостью, выплевывая воду и прохлаждаясь с большой приятностью, после чего неко-

торые из его свиты вошли в воду, чтобы поддержать его и отдохнул бы, как полагалось по обычаю. Сделали ли эти люди, войдя в ванну, что-либо недоброе с императором, сказать точно я не могу. Достаточно лишь того, что лица, которые сравнивают и сближают эти действия с другими, говорят, что когда император по своему обыкновению окунул голову в воду, эти люди надавили ему затылок и держали его под водой долгое время, и, оставив его так, сами вышли. Тело его, почти лишенное дыхания, поднялось на поверхность и покачивалось, как пробка. Немного отдышавшись, он понял в каком находится положении, и протянув руку искал кого-нибудь, кто бы ему помог встать. Один из присутствующих, видя его положение, смилостивился над ним, протянул ему руку, вытянул его из воды в самом жалком виде и, взяв на руки, перенес на койку. Тогда кто-то крикнул, и собрались другие люди и сама императрица без телохранителей, как бы под гнетом ужасной печали. Насмотревшись на него, она вышла, убедившись собственными глазами, что он не выживет. А он, испустив глубокий и тяжелый вздох, ворочал глазами; он не мог выговорить ни одного слова, но знаками и движениями головы объяснял желания своей души. Видя, что никто его не понимает, он закрыл глаза и быстро стал дышать, задыхаясь, после чего внезапно из его широко разинутого рта полилась черная сгустившаяся жидкость: прохрипев два или три раза, он испустил дух».

Когда в Пасхальную ночь — и выбрать же такое время для расплаты! — в Царьграде так жалостно помирал всеми покинутый Роман, Иоанн Смбат и в ус не дул в своем давно запроданном Ани, и грамота его, зашитая в антиминс, лежала себе полеживала в келье Кирака, и Кирак усердно молился над ней. И как только по смерти Романа взошел на престол Михаил IV (1034—1041), не мешкая — пришло-таки время реализовать бумагу! — явился Кирак во дворец и продал грамоту Михаилу. Осыпанный золотом, вознесся монах превыше св. Софии, и с его рук и из-под черной, теперь золотой мантии, сыпалось чистое золото. Этим и кончается история Кирака и начинается всеобщий «дерапаж» или по старине сказать «не одна-то во поле дороженька пролегала».

Через шесть лет умер Иоанн Смбат, и Михаил, как тогда-то Кирак, не мешкая, послал к его племяннику

Гаджику, требуя на законном основании сдачи Ани и всего Армянского царства. И пошла потасовка. И так до бесконечности, как нет конца человеческой подлости, или и без всякой подлости, — «просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут».

Глава третья
ЮНЁР

В литературной парижской газете «Les Nouvelles Littéraires» есть такой иллюстрированный отдел — интервью «une heure avec...». Попасть в этот отдел все равно, что получить Нобелевскую премию, только совсем не надо во фраке перед шведским королем позировать, а сиди себе дома: на весь свет имя, издание книг обеспечено, А ведет этот отдел Frédéric Lefèvre — «лефевр», что значит, человек, знающий больше всех Ларусов: он все и во всем — историк, математик, философ и музыкант. Беседа ведется вопросами. И, что замечательно, сразу и не уловишь — очень тема сурьезная, а вчитаешься, и невольно приходит в голову, что в ответах знаменитостей есть что-то знакомое, когда-то читанное — «Сатирикон».

У Корнетова собрано «Les Nouvelles Littéraires» номер к номеру со смерти Барреса, со дня въезда Корнетова в Париж и памятной ночи, проведенной с чемоданами в «доме свиданий», куда с вокзала, проплутав по отелям впустую — «все занято» — завез его небезызвестный Иван Козлок.

Находясь в положении «шомера» и «питаясь сомнительными матерьялами», я этих «юнёров» достаточно начитался, днюя и ночуя в Булони у Корнетова. Из русских я не нашел ни Шестова, ни Бердяева, хотя они и числились в кандидатах на Нобелевскую премию, равно как и Осоргина с Алдановым, а попали только двое: Анна Хигерович («Медведка»), эта «ветвь от ствола Толстого и Достоевского», по меткому определению одного из бесчисленных французских рецензентов, с которых спрашивать нечего, и Андрей Яковлевич Левинсон, художественный критик, известный как в России, так и за границей; ожидается Яша Шрейбер.

Я решил попробовать счастья: будут ли мои «юнёры» удачнее моих экономических газовых трубок или доведут до какой еще неизвестной, а по жгучести все превосходящей зоны — впрочем все равно, теперь я безработный, как метье, деваться мне некуда. Последняя моя надежда — перебили таки у меня и этот проект: «русско-эмигрантское похоронное бюро» — собственными глазами читал объявление в «Последних Новостях» и в «Возрождении»... «под руководством б. директора петроградского центрального похоронного бюро — при бюро имеется одежда на умерших, русский фасон гробов, монахини для чтения Псалтыря, заморозка умерших, отправка и приемка умерших во все страны света» — «Во все страны света!» — нечего тут и соваться: чтецом над покойником я могу, в факельщики тоже, а насчет заморозки... Так я и решился на «юнёр».

Корнетов не одобрил моего названия.

— Засоряете язык, — сказал Корнетов, — и притом «юнёр» совсем не подходит: с обозначением времени связывается таксировка, можно взять на час такси, и вообще в играх, а кроме того, французское «une heure» в этом смысле вовсе не равняется занятому или прогуленному часу, это так только «как говорится», а лучше назовите «полчаса с таким-то».

Городецкая предлагала свое «в гостях»... ну, а если знаменитость пожелает разговаривать в кафе? Африканский доктор советовал «визит».

— Ни в «гвоздях», ни «висит», — сказал баснописец Куковников, — «почесал» хорошо, но лучше «на два слова». Поезжайте в Комар, там живет «масло питателей» — большой матерьял.

Василий Петрович Куковников, как свойственно всем баснописцам, любил игру слов, а вовсе не подражал Джойсу, хотя и был большой поклонник и одолел «Anna Livi Plurabelle» по-французски.

Я совсем было согласился, но меня сбил Балдахал: по-русски, говорит, будто бы правильнее «на пару слов». Нет, возьму для заглавья «юнёр» — и звучит приятно и созвучно «iunior»: как младший подымается в старшие, так с моей легкой руки, из моего «юнёра» прогремят знаменитости на все страны света.

Мне пришло в голову начать с критиков. От Корнетова я узнал, что в Париже четыре знаменитости: Гофман, Лебедев, Емельянов и Макеев.

Для проверки адресов я отправился по указанию Корнетова к моему тезке Семену Петровичу Судоку, известному под названием «залесного аптекаря». Судок составлял книжную хронику для газет и знал всех писателей. После уж мне открыли, что занимается он по преимуществу «ложной информацией» и, хотя делает все это исключительно для оживления рынка, сведения его давно нигде не печатаются; но тогда я ничего этого не знал.

Узнав, что я от Корнетова, Судок с необыкновенной готовностью вызвался помочь мне. И по привычке, должно быть, воображать вещи, события и имена несуществующие, как подлинно и бесспорно существующие, называл меня не Полетаевым, а monsieur Lefèvre.

Каких только имен я не наслушался, да что имена! — всякого по имени и отчеству и, конечно, подробный адрес с указанием подъезда, этажа и направления двери — «à gauche» или «à droite» — и при этом точный маршрут: автобус, метро, сентюр — и все это на бумаге разрисовал с красными, синими и зелеными крестиками, означающими остановки, а стрелкой обозначил, как переходить улицу, а под стрелкой человечка, т. е. меня, гордо вступаю к подъезду — «так что и консьержку не надо беспокоить!» Разрисовывая, ударился в мелочи и подробности: кто с кем в соседстве, и что вокруг находится — строят дом (торчит «кран») или ломают, или еще держится здание, обреченное на слом (подпись «руина»), или где церковь близко, или кладбище, или просто каштан.

Увлекшись толковым рисованием, Судок называл меня не «monsieur Lefèvre», а просто «mon pote». И попутно рассказал о своем «copain», тоже по информации, с которым он, как «frangin», и у которого «le blair» — любую новинку из воздуха вынюхает, а «les arpions» — поспеет всюду и при этом «ribouis» бессменно пять лет, как В. В. Розанов, а «ses tifs», когда сигнализируя своим «pépin», он бежит за автобусом, вскочит, шляпу не носит, как хвост кометы, и может «jaspiner» обо всем, куда Lefèvre — monsieur Piedplat словом «la caboche» (голова)!

В руках у меня была карта генерального штаба, но от пестроты, арго и мелочей разобрать ничего нельзя было, все перепуталось и все имена выскочили из памяти. Одно только и запомнил и то, потому что в училище в хоре пел, Бимоль: тут вот на плане лев нарисован — это Лев

Шестов, а с этой стороны скрипичный ключ, вроде нот, — квартира Бимоля.

Корнетов картой остался очень доволен, и сам подрисовал каких-то фигурок с нимбами: эти фигурки означали его самого, шествующего со мной к этому единственно запомнившемуся Бимолю.

— Беймолю, — поправил Корнетов, — Беймоль, хотя тоже критик, только с него начинать не советую: делу корысти не будет, и те, кто читал, и те, кто ничего не читал, единогласно сходятся, что понять, что он пишет, ничего нельзя.

Корнетов был в очень хорошем расположении и чего-то смеялся сам с собой и лукаво посматривал. Верно, этот Судок чего-то там смастерил, и такое художественное: глазам веришь, а нет ничего. Корнетов и сам большой выдумщик, про это все знают.

И я воспрянул духом: дело мое выгорит, и кто знает, понемногу приучусь, понаторею и со временем прославлюсь, ну не monsieur Piedplat, а вроде Лефевра. Не надо будет и голову ломать: в самом деле, чего еще недостает русской эмиграции? — есть «Музыкальное Общество», открыли «Похоронное Бюро», все, все, как было в России, разве что недостает...

Остановка с «юнёрами» была чисто программная; какие вопросы должен я задавать, чтобы пыль пустить по-лефевру, обнаружить свои познания и разносторонность, и показать лицом знаменитость.

Помогая Корнетову в хозяйстве, я старался думать в направлении вопросов. За несколько дней у меня сложились три основных.

У всякого есть наболевшие вопросы, и у меня есть такой животрепещущий: «вспомоществование». И мне кажется, что этот вопрос общий, присущий большинству русских, живущих за границей.

Когда объявили о «Зарубежном Съезде», у кого только не возникала мысль, и я со всеми спросил себя: «а не будут ли выдавать вспомоществование»? И когда приехал из Берлина философ И. А. Ильин и Корнетов мне сказал, что пойдем на лекцию, я опять невольно спросил себя, хотя никакого намека не было в программе, все о том же «вспомоществовании». И когда я читал о переезде в Париж Альфонса испанского и как ни мало русских за-

ходили к нему на rue de Rivoli с выражением своего сочувствия, я подумал: верно имеется в виду «вспомоществование» и не пойти ли и мне? И сегодня я вырезал из «Последних Новостей» — «Дело Нансена» и все с тою же мыслью — нищенства, проникшего все мое существо:

«...опубликован призыв к созданию фонда Нансена для продолжения начатого покойным гуманитарного дела. Фонд должен будет, между прочим, питать средствами международное бюро по делам беженцев...»

Я подчеркнул «питать средствами». Это и будет мой первый вопрос: «Каково ваше мнение о «Деле Нансена» и не ожидается ли выдача вспомоществования?» Второй вопрос должен обнаружить мою разносторонность: я спрошу о самой модной болезни, и почему идет дождь? Третий вопрос мне внушила литературная газета, прекратившаяся на пятом номере за ненадобностью: эмиграция в литературной газете не нуждается! — в этой газете была анкета: «Какое произведение вы считаете самым выдающимся за последнее пятилетие», а я спрошу — «какое самое скучное?» И последний вопрос: «Как вы работаете?» — без этого ни один Лефевр не обходится.

Я поспешил открыться Корнетову. Но Корнетов меня не одобрил.

— Конечно, — сказал Корнетов, — спрашивать вы можете все. Но вы хотите получить ответ и напечатать ваш ответ. А разве возможны такие вопросы: «Какое самое скучное произведение?» Вы думаете, этот вопрос не задавался, и вы первый? — ошибаетесь. НАШИ КРИТИКИ до вас спросили себя, и ответ готов, но ни один из них, даже самый отчаянный Беймоль, не посмеет сказать громко. А если бы какой-нибудь Пытко-Пытковский сболтнул и вы бы записали, ни один редактор, даже сам Чижов, вас не напечатает, или сделает так, что из вашей статьи из набора выпадет строчка и именно как раз та, которой вы хотели щегольнуть. Вы правильно заметили о «вспомоществовании», да, всеобъемлющее нищенство, я это знаю на себе очень хорошо, но забыли другое, всегда сопутствующее нищенству: боязнь, кругосветную робость. И эту боязнь, эту оробелость в десятый, независимый свободный год за границей я тоже на себе чувствую. Вы затронули литературные обычаи, но то же и везде. За двенадцать лет эмиграции, из «скрывшейся по европейским

лесам России» вылезают и показываются взаправдашние Гоголевские рожи, и эти рожи объявляют себя неприкосновенными или, как говорится, «для Сатирикона нет тем». Вы меня поймете, если я скажу так: только человек со средствами, действительно независимый, мог бы использовать эти рожи. И редактор, который откажется напечатать ваш ответ, прав: если бы, повторяю, какой-нибудь Пытко-Пытковский сболтнул, только будьте уверены, настоящий Пытко-Пытковский «Русской Культуры», где библиографический отдел, т. е. отзывы о книгах, угодных редакции писателей, по меткому определению того же отчаянного Беймоля, характеризуются одним словом «Захаровский котелок», настоящий словодышащий Пытко-Пытковский, безмятежно чувствующий себя под этим автоматически приподнимающимся и опускающимся «котелком», никогда не сболтнет. Вы исходили весь Париж с вашими экономическими газовыми трубками, мороча головы, помешанные на экономии сантима, но вы еще новичок в русском «стомиллионном» Париже. «Стомиллионный» Париж! Русская провинция — густейшая с судами, пересудами, сыском, домыслами, «ножкой», подсидкой и клеветой. Париж, где по слову баснописца Куковникова, 14-го июля в праздник «взятия Васильева» танцует день и ночь и этот «стомиллион», какие видел я рожи — реминисценция из «Вия» — эти «пирамиды с языком наверху», это «черное со множеством рук», это «красновато-синее с двумя хоботами», это «тонкое и длинное из одних глаз» или только «крылья и хвосты». Вы посмотрите, сколько обнаружилось за последние годы «разложившегося элемента» — самое страшное, потому что с глаза никак не распознаешь, что за «крылья» и что за «хвост» — люди, одержимые ложью, прогнившие ложью: круг действий — среди «ненужных», а таких пруд пруди, соблазн — обещания, а ведь в отчаянии человек чему-то поверит: и если вы не пропащий, а только пропадающий, столкнувшись с таким «разложившимся» и расплевавшись, все-таки останетесь в дураках; или, полюбуйтесь на это глубокомыслие непременно «активных» — вот опошленное, самое выветрившееся, ничего уж в себе не содержащее слово! — на этих с воробьиным клювом, а наскоком ястреба — какая гномическая галерея. А попробуйте кого-нибудь затронуть, и не обрадуетесь. В 1906 году, после первой революции, в разгар всяких

петербургских «Жупелов», затеяли наивные люди где-то в Костроме свою «Головешку» («Головешка» — тысяча лет ей и идет со «Скверного анекдота» Достоевского), выпустили номер с изображениями и пародиями, конечно, на своих соседей — в провинции все соседи — так редактору загадали дорожку! Да не в переносном смысле, не иносказательно, а в самом прямом: на тротуаре от его подъезда до редакции всякое утро работали молодцы — за этим дело не станет! — как выйдет, да еще близорукий ногой и угодит, что ни шаг, то увяз, а кому не случалось ногой попадать, ничем не счистишь, трава не берет. Так «Головешка» и прекратилась: «не тронь наших». Нет, вы это оставьте, это не дозволено, и не вините редактора: кому охота мараться!

Корнетов был в «абличительном» ударе, но, выговорившись, вдруг пришел в умиление и покрыл «рожи» — «несчастьем», в котором очутился этот «стомиллион», согнанный вольно или невольно с родной земли и обреченный на долю Лазаря питаться крохами — «и собаки, походя, тебя облизывают».

— Я вам хочу дать совет, — сказал Корнетов, — чтобы действовать наверняка, перед вами открывается блестящая будущность, но дело трудное: легко сказать — Лефевр! Есть темы, вызывающие у людей при всяких обстоятельствах самое доброе расположение и у самых суровых, даже у этих «с воробьиным клювом, а с наскоком ястреба». Эта тема, извините, что говорю прямо... но слово это, как говядина, санскритское и несет в себе признак «обилия» и «тепла». В этой теме глубокий смысл, потому что у нормального человека оно одного порядка с едой: а о еде, как известно, охотно разговаривают, никому не наскучит. Когда, бывало, в самую жестокую пору в России я рассказывал «денежный», но никогда не сбывшийся сон нашего знаменитого археолога Ивана Александровича Рязановского, как приснилось ему, что случился с ним грех, и видит он не то что холмик, а пирамиду выше своего роста — «хожу, говорит, вокруг, не знаю что делать!» — так знаете, одно добродушие светилось в самых упорных и самых закоснелых глазах. Вот что-нибудь в этом роде и спросите: не было ли каких знаменательных сновидений и не играло ли роль пищеварение? И еще есть тема — вечная любовь. Только обязательно должна быть любов-

ность, чтобы не сбиться на похабный анекдот или скабрезный вопрос. А похабщина — это кощунство. Розанов тысячу раз прав. Правда, на кощунство есть любители, но не все, и я скажу — «несчастные». А эта любовная тема неисчерпаема и совсем безобидная. Это тоже можно. Спрашивайте — самый последыш с удовольствием ответит, и всякая козявка свое сочинит.

Признаюсь, весь этот разговор, что можно и чего нельзя, меня поколебал. Но за чаем я стал перебирать в памяти все свои познания в области дозволенного, и целый вечер прохохотали. Да, и в моей жизни были всякие удобные и неудобные положения. В особенности развеселил Корнетова мой рассказ, как я летом под Парижем попал ночевать в один дом, и дверь наружу оказалась заперта...

* * *

Я решил начать с Гофмана. Я читал Гофмана. И одно это имя меня привлекло. «Может быть, — думал я, — этот Гофман родственник тому Гофману, а если и не родственник, его знатное волшебное имя делает его любопытным: имена даются неспроста». По плану Судока Корнетов мне объяснил, как проникнуть в дом, в какой идти коридор, и в какую постучать дверь направо.

Из всех дней самое для меня счастливое — воскресенье. И в этом мое горе — в воскресенье все присутственные места закрыты. На воле после дождей было тепло, перед домом распустился каштан, а солнце такое весеннее, так все высвечивало, что полуразрушенный дом — «руины» — теперь показывал все свои незаметные зимой прорехи, и в первый раз резную чугунную дверь.

Гофмана я нашел без всяких затруднений. И, когда меня окликнула консьержка, я только рукой махнул: «сам де знаю». Но самого Гофмана мне не удалось видеть. Встретил меня мальчик, я думал, что это секретарь, но он говорит, что «он — Ростик», чудесный мальчик.

Ростик рассказал мне басом, что папа пишет историю русской литературы, и показал мне коллекцию марок. Я все-таки не удержался и спросил, как его папа думает о «Деле Нансена»: «питать средствами»? На это Ростик рассказал мне историю, как у его папы ученики вытащили 1000 франков из портфеля, и как это было трудно назад

получить деньги, потому что «gosses» на эти деньги купили шоколаду и съели. Потом Ростик показал мне своего любимого сибирского кота; кот спит на папиной кровати, блохи вылетали из него, как искры; я тихонько его под шейкой погладил, но кот не обратил никакого внимания.

Видно было, что Ростик заботится о своем отце; на крохотном столе, какие даются в меблированных комнатах, навалена была бумажная куча — это та самая «история русской литературы», которую папа пишет для профессора Легры и в этой куче Ростик распоряжался, как среди своих, трудно различаемых «людоедских» марок; и когда что нужно, папа забывчивый, он ему из этой кучи и вынимает.

— Папа пишет только о гениальных! — сказал Ростик на прощание.

И проводил меня до метро и дорогой все предупреждал — осторожно: автомобили! — чудесный мальчик.

Я рассказал свою первую неудачу Корнетову. Корнетов, знавший Гофмана с Петербурга, стал уверять меня, что это вовсе не Ростик со мной разговаривал, а сам Гофман, потому что хорошо помнит: как знает Гофмана, Гофман всегда писал «историю русской литературы». И только вечером — воскресенье — когда пришел Ростик, Корнетов мне поверил.

В понедельник я отправился по плану того же Судока к Макееву. Совсем близко и план отчетливый: крестики означали кладбище, и показано было зеленым «сосочком», где на лестнице зажигать электричество — «потому что, предупреждал Корнетов, если подыматься впотьмах, наверняка шею свернешь».

И все началось очень удачно. Макеева застал, сам Макеев и дверь мне отпер. И чай предложил — внимательный человек. Пошли вместе на кухню чайник поставить. Сразу видно, любитель чаю. Только одно скажу, приемов не знает: надо бы ему у Корнетова хоть урока два взять — заварка, хоть и довольная порция, а поверхностная, выплывают чаинки, кипяток не крут.

За чаем я ему открылся, что обращаюсь к нему, как к известному критику, и первый вопрос: его мнение о «Деле Нансена» — «Питать средствами»?

— Я вовсе не критик, — сказал Макеев, — у меня есть две английские книги...

Но я не поверил. «Как же так, думаю, Корнетов рекомендовал? Или это у них такой прием, чтоб уклониться от

прямого ответа?» А когда Макеев узнал, что я от Корнетова, он очень развеселился и показал мне свои картины.

— Люблю красочки, — сказал Макеев, — осенью журнал «Числа» устраивает выставку рисунков французских и русских писателей: Валери, Кокто, Жакоб, а из русских — Поплавский, Шаршун, и я дам кое-что. Мне очень понравились рисунки, все в красках — лесные виды и опушки, несколько портретов, между прочим и Корнетов с камертоном.

Узнав, что я «шомер», Макеев дал мне 10 франков. Простились мы очень сердечно.

Домой я шел пешком. И взяло меня раздумье; а что, если все это так, нарочно? И этот Судока план генерального штаба? Судок — обманщик, теперь мне это открыл Корнетов: «ничего особенного, ложной информацией питается».

«А что если, — думал я, — ни Лебедева, ни Сушилова вовсе не существует? А если и существуют, то, как Макеев, по какой-то своей специальности: рисовали картины или пишут по-английски...»

В газетах я критических отделов не читаю, потому что я и без указки разбираюсь, какие книги на железную дорогу, какие в библиотеку, и что читать глазом, и что перебирая губами. На вечерах же у Корнетова я много встречал всяких критиков — и Петушкова, и Пытко-Пытковского и Птицина, хорошо знаю Перлова — Константин Сергеевич! Но никогда не видел Лебедева или Емельянова.

И когда я чистосердечно высказал Корнетову свои сомнения и, что после Макеева, я спутался и не уверен в существовании Лебедева с Емельяновым, Корнетов обиделся:

— Больше всего я не люблю, когда мне возражают, — сказал Корнетов, — если Макеев не пишет критических статей, то это еще ничего не значит, критиком он всегда может быть. Если бы он захотел.

Я собрался идти к Лебедеву, потому что, по словам Корнетова, это один из самых умных и подмечающих критиков и, несмотря на всеобщее оробение, бывает иногда очень смелым, а кроме того, потому что живет на Монпарнасе. В Булони скучно и особенно скучно, что лес, как стена, отделяет от Парижа и кричи не кричи, туда не донесет, а оттуда автомобили — счастливые, которые могут приехать и вернуться. Без Парижа скучно и покинуто, а без предлога попасть в Париж, не выберешься.

Но Корнетов сказал мне, что Лебедева нет в Париже, что он отдыхает в Ницце. И показал на карте Ниццу. Я никогда не был в Ницце и испытываю необыкновенное чувство, когда говорят «Côte d'Azur» — мне всегда кажется, что это тот самый рай, который Бог насадил для Адама и Евы, чтобы потом прогнать.

Корнетов советовал идти к Емельянову. Но это дело не просто: надо наперед, как Лефевр, запастись всякими знаниями и не показаться тем дураком, который думает: что ни спрошу, все ладно! и не подумает, что «вопрос» — это все. И дал мне прочитать книгу: В. Н. Мочульский, «Следы народной библии в славянской и древнерусской письменности». Одесса, 1893.

— Человек праведной жизни, — говорил Корнетов, — единогласный отзыв всех его учеников и слушателей его лекций в Сорбонне. И от себя скажу, нежнейшей души, единственный в Париже, говоря словом его любимого Дон-Кихота, — Боже мой, сколько вчерашних друзей готовы тебя, забившегося в угол, копытом пнуть! — единственный в наш предательский век, обладатель Волшебного меча Амадиса и шлема Мамбрина.

В вечер я одолел «Следы народной библии» и другую книгу того же автора «Малороссийские и петербургские повести Гоголя», Од. 1902. Я очень волновался. Я чувствовал, что «юнер» с Емельяновым будет для меня решительным. А скажу по правде, неудачи с Гофманом и Макеевым приводили меня в отчаяние, и передо мной открывался единственный исход — ехать в Испанию; по-испански я не говорю, но в Берлине в унтергрунде меня часто принимали за португальца.

* * *

Ночь я спал тревожно: все время я задаю себе вопросы, но вместо ответа мне задают вопросы. И это было мучительно: не успевал я придумать ответ, меня перебивали. Я совсем запутался. Актер Громов, в роли хозяина бистро из «Потопа» без всякого молотка и камня магическим движением разбил всю стеклянную посуду — рюмки, стаканы, графины, блюдечки из-под варенья, бутылки, оставив мне один сифон. А перепуганная кошка нагадила мне на руку. И я проснулся с бодрым чувством: сон означал и к деньгам и славу.

Пожалуй, следовало бы предупредить Емельянова, чтобы не вышло недоразумения. Но Корнетов мне сказал, что предупреждать бесполезно: на письма в Париже отвечать не принято, и как правило — письма пишутся только тогда, когда это нужно пишущему, но не тогда, когда нужно написавшему, ожидающему ответа. Единственный способ — нахрапом: застанешь, хорошо, не застанешь, туркнись и еще раз или, как сказал бы Шипрут из Туниса, «арвуар мэрси».

Спозаранку вышел я по указанному адресу — плану Судока. Адрес был особенно разукрашен: человечка, в котором я узнал себя, подталкивала сзади нелепая задорная фигура — сам Судок, направляя прямо к подъезду, а кругом стрелки и подписи, куда не надо смотреть, чтобы не сбиться — Шрейбер, Шклявер, Оцуп, Зноско-Боровский, Кельберин и с особой подписью «временно»: Бахрах. Все эти имена соседей Емельянова я за дорогу выучил наизусть. И опять без всяких консьержек, как к Гофману и Макееву, нашел искомую дверь. Я постучал. И на довольно-таки зверский оклик, — если бы в такую минуту заставили меня написать мое имя, я непременно бы из Полетаева сделал Попаева, — пробормотав про себя, я вошел в комнату.

Несмотря на ранний час, Емельянов был не один. И, кажется, попал я не вовремя: Емельянова рисовал аргентинский художник Билис. Я вошел в самую неподходящую минуту: Билис трудился над самым деликатным, стараясь уловить неуловимое — улыбку. Видимо, оклик сбил всю композицию. Начинать разговор в такую досадную минуту нечего было и думать.

Емельянов смотрел строго и величественно: белый с красным ободком бумажный крест придавал еще большее величие. Африканский доктор потом объяснил мне, что этот орден «морских свинок», означающий рыцарское посвящение, выдан Ивану Андреевичу Козлоку Бахрахом.

Около Билиса сидел молчаливый ирландец Жорж Репей, спутник Билиса, который, как говорится, «держал кисточки»; кисточек у него никаких не было, потому что Билис рисовал углем, а имел он в руках огромный альбом — портреты французских писателей и прочих знаменитостей, украшенные самыми фантастическими орденами.

Мне показалось подозрительным присутствие на таком раннем сеансе знакомых: баснописец В. П. Куковников и

африканский доктор. Точно они сговорились? Или подосланы Корнетовым для проверки? Но, может, это случайность? Я поздоровался и присел к столу ближе к Репею.

Куковников что-то тихонько говорил африканскому доктору. Я понял, что разговор медицинский. Африканский доктор, не говоривший тихо, ответил отчетливо:

— Мало кала.

И эта повторяющаяся «малокала», звуча, как «марокара» прорубала шепот Куковникова.

— В Гересгейме, близ Дюссельдорфа, — громко сказал Куковников, заметив, что я прислушиваюсь, — рабочие нашли на кладбище клык мамонта длиной в сорок метров. Полагают, что клыку 50 000 лет.

— Нормальное кало должно быть маслянистым и парным! — сказал африканский доктор и, обведя унылым взглядом комнату, закурил.

В это время настойчиво постучали. И опять хозяин зверски окликнул. Это была делегация: Андреев и Сосинский пришли просить прочитать в «Кочевье» о Джойсе, о его новом произведении «Work in progress». Емельянов знаком показал, что согласен, но что он прочитает о Чехове.

Я воспользовался минутой: Билис уронил уголь и Емельянов нагнулся ловить. И я проговорил мой первый вопрос о «Деле Нансена» —

— «Питать средствами»?

Но к моему несчастью Билис взял другой уголь. И вместо Емельянова мне ответил африканский доктор: по его глубокому убеждению, эта выдача наверное будет тем, что согласится ехать в колонии, и что у него имеются точные сведения, к кому обращаться за справкой.

— Какая самая модная болезнь? — продолжал я заученное, уже обращаясь к доктору.

— Попугаева, — сказал африканский доктор и опять посмотрел уныло, — самая модная, наблюдается она у любителей верховой езды или, как говорится, у трубочистов.

Билис заканчивал. Я понял, что теперь можно. Я поднялся от Репея ближе.

— Почему идет дождь?

— Кора отсырела, — не глядя, коротко ответил Емельянов.

Неожиданность ответа меня обескуражила. Я приходил в совершенное отчаяние: уж никаким Лефевром, а Юрием Дориомедовым, проникшим к недосягаемому Моруа, хотел я быть. И вдруг меня осенило:

— Откуда это у русских имя и отчество, и есть ли еще у какого-нибудь другого народа?

— Справьтесь у Солнцева.

Жорж Репей «складывал кисточки». Емельянов поднялся.

— Как вы работаете! — проговорил я, не слыша своего голоса.

Емельянов разминался и отряхивался.

— Все думают, что мы, ученые, сидим в библиотеках. А на самом деле мы проводим большую часть дня на остановках, дожидаясь автобуса, или «бегаем» по урокам и часами выслушиваем идиотские ответы наших учеников.

Я поспешил заявить, что я не насчет уроков, а от Корнетова.

— Затеяли юнер.

— А вы знаете, — сказал Емельянов, — интервью пишут те, кого интервьюируют. Чего ж вы молчали? У меня всегда на случай заготовлено! — и он взял со стола от Куковникова два листка и подал их мне.

Как я был счастлив! Стало быть, напрасно я голову ломал. Так просто! И мы простились очень нежно.

Я понимаю, прощаются всегда нежнее, чем встречают. И хотя под этой нежностью, Бог знает, какие скрыты пожелания, и я наверное знаю: «черт унес» и «отвязался наконец» — но этого никогда себе не скажешь, и нежные прощальные слова вселяют в душу признательность к человеку.

Я не помню, как я очутился в Булони.

Ничего не говоря, я подал Корнетову мои счастливые листки. Я торжествовал. Начинается новая эра: я — Лефевр. И за судьбу моего «юнёра» нечего беспокоиться. Напиши я сам, и, чего доброго, откажут — Полетаева еще никто не знает! — но когда я скажу, что писал Емельянов, автор свиданий «Возвращения Джимма», или сам Лев Шестов, я уверен, передо мной откроется вся пресса.

Корнетов бегло просмотрел листки и молча вернул их мне:

МАТЕМАТИКА

«Мать-и-матика, Мать-и-мачиха. Математика моя мачиха. Но мачиха добрая и понимающая. Математика мне не родная, но сродни. И многое она мне объясняет. Особенно значительны и полны намеками на жизнь духа дифференциальные уравнения. Уравнение — это намек на неизвестное в словах известного. Для прозорливого, для понимающего — неизвестное ведомо и знакомо, но для других оно еще не открыто. Шекспир — один из самых великих математиков. Мне всегда казалось, что любовь Гамлета к Офелии выражается уравнением:

$$\frac{d^2x}{dt}+\frac{dx}{dt}+K^2x=d$$

Когда я в первый раз прочитал: «Я так люблю тебя, как сорок тысяч братьев любить не могут...» — я был потрясен. Это точное определение доступно лишь гению. Точнее словами сказать невозможно. Также меня поразило определение Жарри: «Бог есть кратчайшее расстояние между нолем и бесконечностью», т. е. между «ничем» и «всем», ибо Бог «все» создал из «ничего». Жарри мне чужд, но у него есть замечательные открытия, напр., где говорится, что «когда вскрыли череп убитого ажана, нашли, что он был набит вчерашними газетами...»

У меня в глазах позеленело. И сквозь зелень я увидел Корнетова, улыбавшегося во все свои ореховые глаза. И по его улыбке вдруг я понял эту «комедию ошибок»! — мне стало ясно, что ни у какого Емельянова я не был, а по обманщицкому плану Судока попал к кому-то... может и к Козлоку? Конечно, к Козлоку: и подпись — «Иван Козлок» и орден Козлока — африканский доктор так прямо и сказал: орден «морской свинки» Бахрах выдал Ивану Алексеевичу Козлоку». И я почувствовал: моя голова, если вскрыть череп, была набита Козлоками, Судоками и планами Судока... слипшимся комком плутни.

А на другом листке без подписи единственная строчка:

«...и не каждый дурак на интервью годится...»

Часть четвертая

Глава первая
КАМЕРТОН

1. КРАН ГИППОПОТАМА

За недели, какие прожил я в качестве «шомёра» у Корнетова, делая безуспешные попытки к чему-нибудь пристроиться, я присмотрелся к его жизни, и мне бывало не очень весело, и особенно досадно на свою беспомощность: куда уж кому-нибудь помочь, когда сам — из помощи! Я только теперь отчетливо увидел и понял, в каком он отчаянном круге. Если я в настоящее время «шомёр», но я знаю, рано иль поздно, я достану работу, потому что дело мое полезное, все же занятия Корнетова были и есть бесполезные, и человек он ненужный. Знал ли он, что он ненужный, не знаю. Он любил повторять, точно бы в оправдание своего хронически-безработного положения, Гоголевское витийство, что «человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему жить в безнуждьи и в довольствии». Мысль зернистая, только никак тут не связывается и ничего не оправдывает. Или это очень трудно сказать себе, что ты сам по себе, по своему складу ни к чему, и вот отчего все.

У каждого есть что-нибудь заветное, сопровождающее его до смерти, и часто таким бывают сущие пустяки: ложка, шапочка, брелок, лента... у меня, например, этот мой «похвальный лист», выданный мне в приготовительном классе, и не за какие-нибудь выдающиеся успехи, а за чистописание. И зачем я этот «лист» таскаю с собой? — да будь еще он первой степени, а то ведь второй. Конечно, поправить на первую очень просто, бумага достаточно истрепалась за все мои дороги, да все думается: себя не обманешь и судьбы не переменишь. А если все-таки подделать? И почему судьбу не переменишь? — ведь как часто бывает в жизни: вдруг...

А у Корнетова его камертон. Единственное, что он вывез из России, этот камертон. И этот камертон был тот знак, который отличал его от других, и та заветная вещь — бесполезная, с которой он не расставался на всех путях своей жизни.

Корнетов имел звание учителя музыки, хвастал своим слухом и точностью, вспоминал своего приятеля Слонимского, у которого образцовый слуховой аппарат — «абсолютный слух». Но этот замечательный Слонимский, как я узнал, дирижировал оркестром в Бостоне, а не менее замечательный Корнетов что-то не слышно, чтобы имел уроки, да и инструмента у него никакого не было, один камертон. Да и мудрено: в Берлине или Париже русский учитель музыки — ну, Костанов не в счет, Костанов профессор «ненормальной консерватории!» — а таких «нормальных» тут на каждом углу: учитель.

Дни Корнетова проходили в хозяйстве, чтении и рисовании.

Рисовал Корнетов странное, ни на что непохожее: сам он объяснял эти странности своей близорукостью.

«Когда в 14 лет я надел очки и увидел совершенно другой мир, я понял, что нет никаких постоянных форм, и то, что принято называть «натурой», есть не что иное, как шаблоны, выработанные каким-то средним глазом. Вы понимаете, какая для меня цена вся эта ваша хваленая «красота» с ее гармоническими эпитетами».

Корнетов раскрашивал куклам морды, сумочки и платки — все, на что была мода в Париже. Вот тут-то за раскраской он и открывал свои художественные Америки. Разноцветную пронизанность вещей — это дыхание вещей изображал он елочками, спиралями и крестиками; движение выражалось у него в расчленении, он уверял, что трехногих и многоголовых ему случалось встречать, и неоднократно. И воображаете, какая получалась ерунда. А главное, — ни для кого. И много ли это давало ему? Ведь его случайный заработок держался на добром к нему расположении художников, промышлявших подсобными работами, сам бы он ни по чем не достал и такой работы, просто не сумел бы объясниться или не там бы дожидался, где следует ждать, и всегда было бы: «в следующий раз». Наш известный художественный критик К. С. Перлов подговаривал Корнетова в компанию на железную дорогу

переносить тяжести — но какой же Корнетов кабестанщик: если с него три пота спустить, от него ничего не останется; Перлов не чета, а и то зажердел на кабестане и никаких художественных критик не пишет, так только маленькие заметки по антропософии. К лету обещал Сергей Сергеевич интересную работу: чистить змеиные кожи; можно выработать до 20 франков, а называется «таннёр».

«Мне бы ну хоть сколько-нибудь заработать!»

Корнетов так это сказал, точно совестясь, — что и мне стало совестно. Домой он вернулся очень расстроенный: я понимаю, ему хотелось книгу купить, а уж какие там книги! И еще скажу, обыкновенно да и я говорю не так: «заработать», я всегда чувствую мое право, но чтобы совестно — в первый раз слышу. Да, эта «совестная» интонация вырабатывается от хронической бедности и от сознания своей ненужности, как вырабатывается напуганная высматривающая походка: Корнетов ходил наклонно — на левый бок даже в комнате, где не было никаких переходных металлических блях — не угрожали никакие автомобили, и осматриваться нечего было.

И я думал: почему это наши патриотические писатели, добирающиеся до всяких национальных корней, чтобы осмыслить общественные потрясения русской и европейской жизни, почему они? — хотя бы в щелку, заглянули вот сюда, где мы сидим с Корнетовым? — ведь тогда многое бы стало ясным. Нет, одним разбоем и завистью никак не объяснишь, ну, скажите, куда спрятать или как обойти это «совестно», когда бывает человеку совестно не потому, что бы он сделал что-нибудь дурное, а вот как сейчас Корнетов: «мне бы ну хоть сколько-нибудь заработать!»

В нашей квартире вдруг обнаружилось необыкновенное явление: точно не могу сказать после кого это, а наверное никто из нас тут не виноват, а случилось, потому что так надо и иначе не могло быть. В уборной взбесился водопровод: стоит только спустить воду, и такая подымется музыка, такой неистовый клекот со свистом и переливами, и бьет и клокочет и вырывается ужасным кликом, самым поддушным до жути, я заметил, ровно восемь минут, а по грому и встряске без конца. Соседи с шестого этажа стучат — на четыре этажа вверх добирается эта музыка, думают, что мы с Корнетовым безо времени на каком-

нибудь «rugissement de lion»* забавляемся. И что ни делаем, ничего не помогает. Я и за цепочку легонько дергал, думал, что от срыву, нет. И такое чувство, что от этих китайских брусков, трещотки и львиного рыку весь дом взорвет. Конечно, надо было сейчас же заявить консьержке, но как только собирался Корнетов заявлять, а он предварительно репетировал, заглядывая в словарь, музыка прекращалась. Время проходило, и вдруг опять. Особенно, скажу вам, стеснительно бывало ночью.

Мы готовились к Пасхе. Решено было в четыре руки — все самим. Корнетов знал старинные рецепты, да и я стал припоминать, как это у нас бывало. Но у Корнетова, я это и раньше замечал, необыкновенная во всем поспешность: ему непременно надо загодя все подготовить — соберется ли куда-нибудь вечером, с утра начинает сборы, так и во всех делах. Так и с миндалем вышло.

Для паски обязательно надо миндаль. И он этот миндаль, обварив, очистил и смолол в понедельник — две глубокие тарелки с верхом. И тогда только хватился, что до пятницы, как класть миндаль в протертый творог, от него и звания не останется: мокрый — заплесневеет, не уберечь. Еще в среду бы, а то в понедельник! А ведь все потому, что надо все загодя, не торопясь — второпях или вдруг Корнетов ни на что не способен, ни сообразить, ни найтись. И вот с этим заблаговременным миндалем под «львиный рык» всю неделю мы и возились: перекладывали с тарелки на тарелку, чтобы как-нибудь до пятницы сохранить.

Тоже загодя, ничего не поделаешь, такая повадка, чуть ли не на Благовещение заказал Корнетов «окорок», ну, не какой-нибудь взаправдашный, это так только для слова: окорок, а просто ветчина, чтобы, как полагается, была на Пасху ветчина со шкуркой, и из этой шкурки потом суп варить, — в России варили гороховый, а в Париже картофельный, протерев. И в Великую субботу нам его принесли: я, как взглянул, и глазами не поверил.

— Посмотрите, — говорю, — Александр Александрович, какой притащили!

Действительно, окорок — на всю неделю, да и приходящих можно угостить, все равно, не убережешь: ис-

* «Львиный рык» — барабан с пропущенной через мембрану струной. *(Примеч. автора.)*

портится. А уж какой суп наварим, — вон и косточка. А дух, ровно в колбасной. Наш художественный критик К. С. Перлов читал у Корнетова на Святках свой ответ на новогоднюю анкету в шанхайской газете: «ваше заветное желание» — что не надо ему ни золотых, ни серебряных гор, а пусть его приятель Козлок откроет колбасную, а он заходил бы к нему копченым воздухом подышать; все смеялись, а я ничего смешного не нахожу: потому что дух колбасный все превосходит. И рассуждаем: что это значит — окорок необозримый! — либо сверхъестественное, загодя назнаменованное «львиным рыком», либо демпинг: за такую цену никак невозможно!

Отнес я окорок на кухню. Занялись яйцами. Корнетов, осторожно вынимая из краски яйцо, бережно кладет его на особую бумагу, чтобы было где, не стесняясь, расплываться краске и выходили б на бумаге всякие рожи, не поддающиеся никакому воображению человеческих рук, если даже водить карандашом по бумаге с закрытыми глазами. Он себе яйца красит, а я только вид делаю: у меня в голове окорок.

Нашел я, наконец, предлог, будто тряпку забыл, да на кухню, да тихонько ножом отхватил, так кусочек, и без хлеба, хлеб-то там, где Корнетов, неловко, да не надо и хлеба, хотел и еще, только-только подровнять, и только что наметился, хвать — звонок.

Шофер:

— Ошибка, — говорит, — с окороком, ваш этот! — и подает.

Я очень испугался: думаю, товар испортил, что делать?

— Сейчас, — говорю, — un moment! — да кое-как сало примял, шкурку натянул и загиб такой сделал, как бывает от копченья.

Шофер его в обе руки, наш-то он в одной принес, прощайте!

Корнетов спрашивает: в чем дело?

— Ничего, — говорю, — с окороком ошибка: чужой принесли, а теперь обменяли.

Я думал, это его очень огорчит, но вижу, никакого впечатления; понимаю: не окорок, он и за яйца (куриные) только держится, а в голове у него кулич.

Булонь не Париж, думали отдать в ближайшую булочную, а не берут: нет места; а в другую — далеко, с

тестом в трамвае не разъездишься. Наша консьержка Madame Bellegueule предложила у себя: у нее «фур» — углями топит, ей и отдали. По расчетам Корнетова кулич с час уж как готов, а консьержка не приходила. Да и пора в церковь: надо загодя — под Пасху все идут и теснота невозможная. Я собрался было наведаться, а Madame Bellegueule тут как тут — несет, и по лицу ее видно в меру его зеркальности, что дело неладно.

— Два часа в духовке, боюсь, сгорит.

А и гореть-то нечему, одна черная корка, едва лучинка проткнулась, а на лучинке тесто — внутри, стало быть, сырье.

— Mon mari... — сказала консьержка, известно, без «мари» никак не обойдешься: высший авторитет, без которого и в ломбарде ничего не примут и который все контракты подписывает, — mon mari говорит, бумаги много наклали.

А то как же, без бумаги?! не бумага, просто духовка никуда, «фур». Пропал кулич. А какой матерьял, сколько труда — час растирали, три часа месили — тридцать желтков, шестнадцать белков, три стакана молока, два фунта сахара, пять фунтов муки.

И помирились на том, что хоть какой самый дешевый по дороге у церкви купим, а из этого сухарики сделаем: придет Козлок — Козлок все съест, да и я помогу — откровенно говоря, для меня даже приятнее сухарики, чем свежий.

И пошли в церковь. И угодили первыми — за шесть-то часов охотников забираться немного найдется. Выбрали местечко сбоку, чтобы потом влезть на скамейку, и все будет видно, и никто не толкнет. А пока что сели дожидаться. Я и вздремнуть успел — с куличом и паской возиться, одно что раз в году! — а соседи спали на оба и со свистулькой, а это значит, в полном расположении и безмятежно, видно, тоже готовились. И как началась служба, думаю, теперь пора лезть: взял я Корнетова за руку под мышку, чтобы подсадить и, должно быть, неловко ухватил, сразу он весь передернулся, но на скамейку поднялся легко. А я за ним.

Пасхальная служба для Корнетова действительно праздник. Все-таки как-никак Корнетов «сердитый», тиран со своими повадками, и все не по нем, все недоволен, а тут

хоть бы раз огрызнулся. Никогда еще такой толкучки не бывало, прут ни на какую стать. И жара, как в аллюминиевой корзине Пиккара. И если бы не Пасха, трудно себе представить, чтобы выдержать такой жаркий час. Язык высох, в горле першит, облизываешься, а не помогает.

Кончилась заутреня, пошел народ христосоваться, мы и спустились со скамейки. Думали дождаться обедни и после Евангелия, а уж дышать нечем, и пришлось повернуть на выход.

А как по воздуху прошлись, отдышались, забрали кулич и с куличом подвигаемся. А уж так распарились, пешком возвращаться нечего и думать. На углу стоят такси. Очень обрадовались: шофер русский и тоже из Булони. Ехать нам будет спокойно, на Молитор крюку не даст. Такси с дребезгом, сразу видно, только что на ночь, да как-нибудь доедем.

— Мосье, — говорит шофер Корнетову, — закройте окошко: вам дуть будет.

Окно — к шоферу: одна половина открыта. Корнетов подергал — прикроет, да что-то не так — и опять спустится. А ветер в грудь так и содит. Постойте, я понажал, чтобы покрепче, да вверх как садану, стекло и треснуло.

И без того дребезг да еще и осколки кусками отваливаются. Так шоферу прямо на шею. А шофер хоть бы раз обернулся. Дорога показалась долгая — я все за осколками следил. И наконец-то приехали. Стали расплачиваться.

— А как, мосье, насчет стекла?

И такую заломил цену, я и погорячился.

— Это, — говорю, — вы обязаны были окно закрыть.

— А вы не обязаны были стекло разбивать.

А Корнетов толкает:

— Пасха!

И заплатили.

— Уверен, — говорю, — стекло было треснуто; видит, дураки обрадовались, и захотел воспользоваться, не слушать бы: пускай сам закрывает.

Выпили мы чаю, съели по кусочку паски — удалась паска, и где миндаль, где творог, не различишь, а легка, как мороженое. Да Корнетов предостерегает: на ночь наедаться не следует.

*

У Корнетова двое штанов: парижские просиженные, бессменные, если не прикрыться «египетским таблие» (фартук), названным за клетчатый рисунок «египетским», у постороннего глаза разбегаются; и другие, берлинские парадные — восьмой год, а складка наутюжена, как новенькие, а надеваются в большие праздники да если случится в концерт. По случаю Пасхи в берлинских сбегал Корнетов за газетами. Сидит, в Алданова уткнулся. А я зверем: стекло в голове, и кто еще знает, не придется ли еще платить за ошибочный окорок, ведь два куска отхватил!

Никогда не было такой весны, такой зеленой, и тепло. Ходили к Пасхальной вечерне. А на Шанзелизе прямо лето. Со цветами возвращались домой.

А уж Козлок щерится у калитки с такой вот троицкой веткой. Я этого Козлока после моего злосчастного «юнера» и в какой угодно толпе и без света ни с каким Сушиловым не спутаю.

Первый — Козлок. А за Козлоком кто цветов, кто яйцо, кто ветку. И кого только не было: обсели стол, как у справочника на почте.

Музыки у Корнетова никакой. Камертон не считается. В соседнем доме на пятом этаже заводят по вечерам граммофон — с открытым окном слышно. Но хоть ночь и теплая, да не летняя, да и неудобно — и как ни дирижирует Корнетов, все-таки прорвет, и заговорят в три голоса, не порядок. Я воспользовался нашей сверхъестественной музыкой: я тихонько выходил и спускал воду.

Корнетов рассказывал о всяких новых диковинных инструментах, лукаво намекая, что и эта музыка, а она, как нарочно, гремела и урчала всеми своими китайскими брусками, трещотками и львиным рыком, эта наша музыка не случайное явление, не водопад, не мельница и не отдушина, а организованное, а называется «robinet de l’hippopotame». И даже те, кто, не обознавшись, на водопровод подумал, поверили, слушали и удивлялись.

И как всегда, заговорив о музыке, Корнетов помянул того знаменитого Слонимского, который, облетев со своим антильским оркестром Америку, летит в кабинке III-го класса в Париж. А от Слонимского разговор пошел вообще

о знаменитостях — неисчерпаемая тема для незнаменитостей, и любимая.

Я присутствовал, и не однажды, на вечерах, посвященных Шаляпину, Рахманинову, Стравинскому, Горовицу: с какой страстностью и восхищением рассказывалось о их успехе, и это было совершенно бескорыстно и с тем преувеличением, с каким только мать рассказывает о своих детях.

А Козлок и вправду под «кран-гиппопотама» — вот как называется в воображении Корнетова наша сверхъестественная музыка! — молчком все сухарики подъел и мне ничего не попало. А «залесный аптекарь» Судок и куличные крошки подлизнул — чисто, как кипятком вымыто.

Я заметил, обыкновенно разговор в Париже непременно переходит к запеву: «а помните, как...», но у Корнетова я не слыхал, чтобы говорилось о «прекрасном невозвратном». Темой всегда был сегодняшний день. Надо было ожидать, что и на этот раз будет, как всегда.

Я сосчитал, вместе с нами семнадцать. Из постоянных не было неизменного Балдахала. О Балдахале и заговорили.

Балдахал устроился и не в каком-нибудь Судане на сладкое крокодилье мясо, среднее между рыбой и курицей, а здесь в Париже: Балдахал занял такое место, о котором никто не мог и мечтать — Балдахал «дегустатор».

— Если великие художники, — сказал Козлок, — Шекспир рождается один в столетие, дегустатор родится в два с половиной. И никому неизвестно, какие способности болтаются у каждого из нас между зубами. Дегустатору пить не надо: возьмет на язык и скажет, что и какого года. Но слава Шекспира бесконечна, а языковая способность дегустатора кратка, как жизнь: вдруг отшибает, как память. И как Бетховен оглох, Гомер ослеп, так и Балдахал обезвкусит, и тогда мы его увидим снова среди нас за этим столом.

Балдахал — историк-педагог, в Париже устроился гарсоном при лаборатории, уволенный за сокращением из лаборатории, ходил продавать чулки, но с чулками дело не пошло и поступил он «кавистом» — чистить и таскать бочки. Товарищи попались веселые. Рассказывать о «русском стиле» дело пропащее, Балдахал рассказал о своем чудесном явлении: у Балдахала, как известно, по утрам

встает где-то в пищеводе вроде штопора. Всем это очень понравилось, и Балдахал превратился в Тирбушона, а с этого и началось его счастье. Из сочувствия стали его подпаивать, а подпивши, да еще по-французски, Балдахал так о своем штопоре рассказывал, все со смеху помирали. А только замечают, что Тирбушон на хорошее падок и нипочем не обманешь: с глотка обнаружит. Старший «копэн» донес «патрону», что есть такой «рюс»: все сорта и всякий год скажет. Но старого «бонзу» не проведешь, наперед решил над этим рюс сделать «бляг»: пригласил его к себе и велел подать под видом «Бордо» не то что «rouge ordinaire», а самого «Aramon». Но шутка не удалась, даже и на язык не взял, по запаху догадался. И стал вдруг из Тирбушона Monsieur Baldas, дегустатор. А цена его языку независима ни от каких фондовых котировок и не сегодня-завтра сверх всяких наград получит он звание «conseiller honoraire du commerce» за интернациональное сближение с другими народами, вот и говорите, что судьбу не переделаешь! но и нет ничего странного, что и водиться ему с Корнетовым теперь не пристало.

Сочинил ли Козлок эту историю о Тирбушоне, приписав ему способности Санчо Панса, ни у кого даже вопроса не поднималось: ведь так всем хотелось чего-нибудь удивительного, какого-нибудь чудесного превращения, обхода не обходимой судьбы — ни у кого не было никакой надежды не то что вылезти в люди, а хоть как-нибудь удержаться в том хроническом пропаде, в котором кто из нас не побирается.

Тирбушон толкнул на рассуждения о самом выгодном «метьэ». С языка перешли к носу. Кто-то вычитал в газетах, что какая-то Mlle Monduel — «olfactrice»: нюхательница духов получает за свой нос 200 000 франков. По общему признанию «абсолютный нюх» встречается еще реже и ценится выше абсолютного языка дегустатора.

— Острое обоняние заменяет глаза, — сказал баснописец Куковников, — слепые крысы носом различают, как через микроскоп.

И каждый из нас невольно потягивал носом, но из табаку, цветов и того особенного пасхального запаха ничего не вынюхивалось, а виделось все то же: стол в цветах, блюдо из-под паски, съеденной без остатка, пустая жестяная коробка из-под сухариков, блестящая тарелка

без единой крошки, и канареечные чашки, штук десять, но без окурков — Корнетов не любит, когда окурки кладут на блюдечко, для чего есть пепельницы — устричные раковины, и удобно и моются легко.

Козлок, не чувствующий в себе никаких выдающихся способностей: ни носа, ни языка, ни уха, но страстное желание стать «порядочным человеком», заявил, что он готов за 500 франков съесть дохлую крысу, но художественный критик Перлов соглашался и за 200.

И разгоряченный разговором — ведь есть же на свете и талант и удача, а не только одна ненужность без срока! — не проронивший ни слова Ростик Гофман, прощаясь, попросил Корнетова указать руководство:

— Как добывать золото и о способах промывки, или какой-нибудь учебник.

Золотом, залежи которого хранились в кладовых Banque de France и не требовали никакой промывки, кончился пасхальный весенний вечер.

*

Я мечтал поступить в «кав» (винный погреб) и сделаться дегустатором. Тирбушон ничего не подозревал о своем чудодейственном языке, и кто знает, может, мой и потоньше. Я уже видел себя дегустатором. И пусть год я буду владеть моим языком, но за этот год я достану столько, сколько во всю жизнь не заработаю. И что можно заработать? Или какие средства может дать «честный» труд? Скотскую жизнь и только. Но разве можно помириться со скотскою жизнью? Когда на глазах идет широкая жизнь: что хотят, то и делают. И какой-нибудь государственный деятель, правящий этими скотами, едет отдыхать в кругосветное путешествие. Я еще не встречал, чтобы от «честного» труда человек благоденствовал, жил по-человечески, я всегда видел, что это человеческое достигается либо дегустаторством либо разбоем...

.....лестница крутая
меня вела на башню; с высоты
мне виделась Москва, что муравейник;
внизу народ на площади кипел
и на меня указывал со смехом...

Я думал рассказать Корнетову мой пушкинский сон, и не попытать ли нам обоим счастья на язык или на нос, но Корнетов был в таком жалком виде, у меня язык не повернулся.

Вчерашний день я не слышал от него никакой жалобы, а сегодня — больно: не может поднять руки. И я сразу понял: конечно, когда я подсаживал его на скамейку лезть, что-нибудь неловко и сделал.

Компресс в таких случаях никогда не мешает. И целый день Корнетов просидел с компрессом. А я уж на задних лапах хожу, боюсь потревожить и, точно нарочно, все задеваю. Чувствую себя виноватым: какую беду наделал. И всегда вот я так, я только теперь понял всю вредительную мою природу. Компрессы я менял добросовестно, а руке не легче.

Корнетова угнетало еще и то, что он не может пройти в церковь — на единственные пасхальные службы любимых распевов; и чем все кончится? Очень это было тяжело слушать. Тут-то я и вспомнил вернейшее средство и стал уверять Корнетова, что рука непременно поправится, и хоть на «отдание», а он пойдет в церковь. А вспомнил я — есть такая «шестовская» мазь — философ Лев Шестов советовал баснописцу Куковникову прибегать во всех случаях, как простудных, равно и общего недомогания, а называется «sloan», на этикетке Ничше с невозможнейшими усами, а дух — «муравлиный спирт».

На ночь я этим самым муравьиным слоном руку ему и натер, у самого слезы бегут — такая крепь, забинтовал потуже и уложил спать. Я так был уверен, что Ничше за ночь всю боль выгонит. А между тем, вижу, что Корнетов спать не собирается, а настроился привидения видеть. Сам он мне недавно читал и теперь, глядя на него, я вспомнил:

«Привидения являются только больным, но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе. Привидения — клочки и отрывки других миров, здоровому человеку их незачем видеть, здоровый человек есть наиболее земной человек, должен жить одною здешнею жизнью для полноты и порядка, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше».

И всю ночь Корнетов ни на минуту не заснул, но показывались ли ему «клочки и отрывки», не знаю, ничего я не знаю: вывих или кость треснула? или еще что бывает, если подсадить человека, ухватя под мышку?

Днем пришел африканский доктор. Вид у него свирепый, голос на самую большую залу Плейель: но никогда не пугает: никакого вывиха, кость в целости, но ни к чему было и компрессы, да еще и одеколоном смачивать.

— Фиброзная ткань порвана, — сказал африканский доктор, — единственное средство — массаж.

А как тут массировать, когда вся рука сожжена — а все это от «шестовской» мази, едучая, от нее! — вот и волдыри, ясно, ожог. Только и можно что вокруг. Африканский доктор так и начал вокруг. И вижу, полегче стало.

Но тут опять неожиданность. И неужто все это дело рук «гиппопотама»? Madame Bellegueule принесла квитанцию платить «тэрм». Контракт на год — за последний «тэрм» идет «гаранти» — залог, и остается только за воду и «шоффаж». Но, оказывается, за «шоффаж» (отопление) два счета: один, как полагается, за последние три месяца, а другой — неожиданный — и когда же, наконец, все эти неожиданности, без которых не обходится ни один «тэрм», ни один переезд, ни один шаг на чужой земле, перестанут пугать, а все будет предвиденно или не так, ко всему, и не к такому еще будешь готов? — и этот неожиданный счет — отопление за всю зиму — называется «сольд». Кто думает, что «сольд» — дешевка, распродажа остатков, тот глубоко ошибается: бывает «сольд» совсем недешевый. В доме 12 квартир, а занято 4, хозяин и разложил уголь на четырех.

— Ну не разбойник ли, — говорю, — и за что? за отопление пустых квартир?!

Африканский доктор советовал не платить. А я это очень хорошо знаю, проще нет ничего, как советовать. А главное, кажется, что доброе дело делаешь. И если порассмотреть все эти наши добродетели, пожалуй, от добра только имя останется. Ну как же не платить: в контракте говорится, что «шоффаж» столько, сколько выйдет угля... Я бы и не сказал Корнетову, чтобы не беспокоить его, да нет у меня ничего. И заплатили.

И мне этот «сольд», как тогда под Пасху стекло.

Африканский доктор массировал каждый день. И к субботе никакой «фибры»: рука, как была. И Корнетов на Отдание пошел в церковь — хоть в последний раз, а услышит пасхальное. А я к жерану. Я заявил, что в июле Корнетов переедет — контракт кончился; а о разбойничьем «сольде» ни слова, как будто так и полагается. Будь это свой, пошумел бы, и не раз и не такие бывали у меня всякие перелицовки, а тут, совершенно откровенно скажу, побоялся.

Африканский доктор обратил внимание на нашу сверхъестественную музыку, что даром она нам не пройдет. Он заметил, что каждый раз, как подымается «львиный рык», водяной счетчик усиленно работает, и «даже неестественно». Но ведь это вторую неделю — вот еще неожиданность! И я признался, что никакого «гиппопотама» у нас нет, его выдумал Корнетов для развлечения, ведь у Корнетова один-единственный камертон и никакой музыки, а что все это совершается в уборной — вторую неделю!

Покончив с «фиброй», африканский доктор принялся за поиски в трубах какой-то «ненаходимой дырки» — свища, от которого, по его мнению, и начинался «антильский концерт». И немало провозившись с трубами, повертывая и закручивая краны, подвинчивая и отвинчивая винты в резервуаре и даже зачем-то в раковине, спустил, наконец, воду — и к великому нашему изумлению вода простучала в трубе по-человечески — наш «гиппопотам» пропал.

На Красную горку мы проснулись, как выпаренные — конец напастям! — и какими глазами посмотрели мы на мир Божий — а этот мир, и Бог его знает, почему был, как всегда, прекрасен в своей вопиющей нестройности, стройный переменами, никогда не наскучивающими; загадками, никогда не разгадываемыми; мыслью, всегда беспокойной; желаниями неутомимыми и жестоким, потому что безразличным, но и не безразличным человеческим сердцем.

На Красную горку Козлок женился. Мы были на свадьбе. А после венчанья у Козлока. И тут произошло, — могу удостоверить, что залесный аптекарь Судок совсем ни при чем, — квартира крохотная, Козлок сговорился с соседями, в двух квартирах и решено было гостей при-

нимать, и фотограф снял группу «новобрачный в кругу друзей» да не в Козлоковой, а в соседней квартире, и вместо Козлока наш художественный критик Перлов стоит, а за молодую — Медведка, даже незнакомая Козлока.

2. ИНТЕГРАЛЫ. СОНОРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Корнетов вернулся взволнованный: он не ошибся, на одной из Морисовских колонн ему бросилась в глаза афиша — рядом с Падаревским под Хенкиным стояло знакомое имя: «Николай Слонимский: американская, антильская, мексиканская музыка, саль Гаво».

Это был тот самый Слонимский, о котором столько раз я слышал от Корнетова. Как у ольфактера абсолютный нос, у дегустатора язык, знаменитый Бостонский дирижер имел абсолютное ухо, или, говоря иносказательно: человек с абсолютным слухом отличает звуки, отстоящие друг от друга на $^1/_{16}$ тона, собака — на $^1/_{64}$, Слонимский же мог в муравьиной куче по муравьиному голосу определить, кто из муравьев взял неверную ноту.

Корнетов, имевший глубокие сведения в поваренном искусстве, не Максим Максимыч, но было в нем что-то от лермонтовского штабс-капитана, когда он рассказывал о Слонимском. Когда-то еще в Петербурге Слонимский, тогда вундеркинд, в первый раз выступал с Корнетовым на вечере, вот какая давность, и какая должна быть у Слонимского неизгладимая память — первое выступление! Слушая Корнетова, казалось, что Слонимский прямо с аэродрома из Бурже прибежит в Булонь. Корнетов не говорил «сейчас прибежит», а — «обязательно явится». Прождав весь день, к вечеру, когда не было никакой надежды, что Слонимский явится. Корнетов говорил, как трудно организовать концерт и какая канитель репетиции, и что надо обязательно ждать завтра билетов.

Ни завтра, ни послезавтра билеты не получились. Корнетов, так много говоривший о «бостонском чуде», утрясся и даже сказал, что в американской музыке ничего не может быть оригинального и подобные концерты его вовсе не интересуют. Затем, не называя имен, прошелся о учениках и знаменитостях.

«Учителя помнят своих учеников, но ученики забывают, — говорил Корнетов, — это общее правило. А зна-

менитость — они только о себе, и собой заняты: кто о них, что сказал, и где какой похвальный отзыв написан — и другой раз странно слушать, ну, добро бы еще кто, а то какая-нибудь гуголица или «с голоса», слова которых ничего не стоят, ведь вся эта свора запоет другую песню, как только изменятся обстоятельства. И откуда это самоупоение? Или это в природе всякой знаменитости? Знаменитость подобна замурованному — есть у человека непреодолимая страсть липнуть к поднявшимся, уцепиться хоть за ноги знаменитости и тем самым самому стать выше — вот этот налип, как стена, за ним ничего не видно и ничего не слышно».

В день концерта получились билеты. Корнетов уверял, что так и думал, получатся с опозданием. С утра начались приготовления. Выходы Корнетова так редки — целое событие. И тут случилось самое невероятное.

Ходить с Корнетовым — сущее горе. Я выверил по плану дорогу в Гаво: подражая «залесному аптекарю» Семену Судоку, разрисовал на листке со всеми подробностями, обозначив и те улицы, куда не надо заворачивать. Но ведь Корнетов, чтобы перейти улицу — не только настоишься, его ожидая, а успеешь и в бистро сбегать и у киоска газеты посмотреть, и этого никакими и самыми кратчайшими планами не предусмотришь; и притом всегда спорит, что идем не туда, и тянет в противоположную сторону, а ведь это, если поддаться, может спутать всякие планы. А кроме того, откуда он взял, неизвестно, но он уверил меня, что американские концерты начинаются с запозданием, ровно на час, и торопиться нечего.

Вышли мы вовремя. С четверть часа ждали автобус. Или наши часы отставать стали, или эти мучительнейшие переходы через улицу?

Скажу кратко: когда мы наконец добрались до Гаво, концерт кончился, — выходили. Но Корнетов стал меня уверять, что это антракт, и мы вошли — мы застали какую-то несчастную пару у пустых вешалок, но и это были не слушатели, а служащие.

Я молчал. Я знаю, Корнетов не любит, чтобы ему возражали. Но, к моему удивлению, он отнесся спокойно. Я заметил это его спокойствие в самых досадных случаях; я это приписываю нашей прошлогодней авантюре с поездкой в Сент-Анн-д'Орей, и убежден, что если бы теперь

случилось сделать четыре пересадки и на каждой ждать по четыре часа, он спокойно и терпеливо ждал бы, не бросаясь зря к поездам другого направления. Он только заметил, когда позорно мы возвращались домой, и сказал это на русском языке, или басенно говоря по Куковникову, на «ежике», членораздельно, безо всякого раздражения, расстраивающего речь, что на второй концерт, ввиду дальности расстояния, надо выйти спозаранку, за час, и обязательно проверить часы — часы Корнетов не перевел на летнее время, и они у него отставали ровно на час.

На второй концерт мы явились спозаранку. Да и начинать, как видно, не очень-то торопились: Корнетов оказался прав, такой американский обычай: на час с опозданием. И опять вышло недоразумение — ну, никогда-то, ничего-то, чтобы гладко, и это не во мне, я, может быть, и «шомёром»-то сделался не по себе, вы чувствуете мою досаду? — на билетах «prix réduit» не было надписи «sans taxe» и мы заплатили по 10 франков, а между тем видим, другие проходят безо всего. Корнетов тоже схватывался — и главное, что другие проходят безо всего, но когда начался концерт, все забыл.

Корнетов не давал мне покою: он подталкивал меня локтем, заставлял следить не только за палочкой дирижера, а и за его ногами — а дирижер работал за совесть с рук и до ног, раздвигая их, сдвигая, приподнимаясь и притопывая. Корнетов еще шептал что-то, но я ничего не понял.

Я не специалист, музыка для меня развлечение — мне показалось все очень длинно и монотонно; монотонно — не плохо, но когда долго одно и то же, то очень скучно. Но что и меня прошибло — это заключительная «звучащая геометрия» Эдгар Варез — «интегралы».

Есть в природе человеческого голоса такие звуки, которые идут из подгрудной глуби. Наблюдали ли вы пение спящего, когда снятся ему страхи — какие странные звуки! и если источник их перевести вовне, они кажутся доходящими из-за тысячи километров, но от этих звуков вы непременно проснетесь с забившимся сердцем. Слышали ли вы голоса «порченых», которыми когда-то колдовала «Святая Европа», и которые «бесновались» в России у мощей, святых колодцев и чудотворных икон, а может — и теперь «кличут» на заповедных местах, для остекливш.егося глаза пустых, но не впусте для «одержи-

мого», — и если не слышали, так я вам скажу, что это те же самые звуки подгрудной глуби до клокота из-за тысячи километров. Музыка Шенберга и Вареза уходит в эти звуки или перевивается этими звуками. В человеческой природе есть своя стратосфера, до которой «так», «нормально», не доберешься, а если это перевести на музыку, надо сказать, что «стратосферические» звуки требуют каких-то других, новых, инструментов: «львиный рык», «китайские бруски», трещотки, кран гиппопотама. Вы чувствуете, как мир прорывает — ив этом прорыве высказывается «подсознательное» и вычудывается «подгрудное». У Вареза есть и еще — и в этом его «сонорная геометрия» — шумы города: работа по металлу на бетонных площадках.

В «Интегралах» — все, какие есть, громы, рушатся в медь. И чтобы не расплющили и не оглушили, дирижеру надо было подняться к самому их горлу и, ухватив, отпустить в лад.

Корнетов не толкал меня, я видел собственными глазами, как золоченая верхушка Эйфелевой башни золочеными переплетами сверкнула над головой дирижера, а руки его застыли аэропланами.

После аплодисментов мы поспешили за «кулисы». Проталкиваясь по коридору. Корнетов показал мне весь музыкальный Париж. И из всех мне запомнился Борис Шлецер — череп, набитый граммофонными дисками, и Сувчинский. А за кулисами было два центра, и вокруг толкучка. Эдгар Варез показался мне такой огромный, как все его зычные трубы, и Слонимский перед ним, по словам Корнетова, все такой же самый, как когда-то в Петербурге, вундеркинд, но для меня — укротитель львиного рыка. Корнетов стал протискиваться к Слонимскому, а меня толкнул подойти к Варезу. Дело было не легкое, пришлось работать и руками и ногами. И я протолкнулся.

Всю дорогу до самого дома Корнетов объяснял мне всякие музыкальные тонкости; иллюстрируя, напевал, и я ничего не понял, мне показалось, а может, так оно и было, очень «дико» и не похоже ни на какую «музыку», но я одно понял, почему так часто в разговорах поминался Слонимский.

И на другой день, к удовольствию Корнетова, мы нашли рецензию о концерте и с первых же строк узнали кудрявое

перо нашего художественного критика К. С. Перлова: «Как солнечный луч, прорезавший туман, приносит радость, а подчас и надежду сидящему в заключении, так и антильский концерт бостонского дирижера Н. Л. Слонимского, специально для этого приехавшего из Бостона в Париж, внес оживление в местное русское общество и рассеял туман, сгустившийся годами над нашей «стоячей колонией».

3. КИЛОМЕТР

Всем нам очень хотелось, чтобы из А. А. Корнетова вышел писатель. Но все его литературные попытки оканчивались неудачей. Единственный рассказ о «украденной тряпке» — герой рассказа нашел у себя на окне тряпку — тряпка упала с верхнего этажа — тряпка ему понравилась и он ее забрал себе, а когда хватились, отдавать и не хочется — этот пустяковый рассказ, почему-то названный «Буйволовы рога», напечатали благодаря стараниям нашего художественного критика К. С. Перлова. Рассказ появился под псевдонимом «Мартын Задека», но это имя волшебника, разгадчика снов и прорицателя судьбы, неизменного спутника Соломоновых сонников, в дальнейшем не помогло: ни одна редакция не хотела печатать рассказов Корнетова.

И действительно, какие пустяки эта самая «украденная тряпка», да и все остальное — под эту «тряпку». И притом никакого размаха — писателя измеряют километрами, за это он и гонорар получает, а у Корнетова с куриный носок все его повести, какой же еще гонорар!

Да и сам Корнетов это хорошо понимает:

«Тема моя пустяки или, как говорится у Достоевского, мизерная, с ударением на «и», нелитературная, и по другому не умею».

То же и с его рисунками: или ничего не разберешь, или какие-то «ожидания автобусов», «complet» — пустяки.

И может быть, чистка змеиных кож — теперешнее занятие Корнетова, — эти кожи употребляются для сумочек, — больше пристала к нему, чем беллетристика и рисование. Хотя неисповедимо, сколько народу этим занимается, и кому никогда не приходило в голову делаться писателем, и успевают.

Несколько лет назад Корнетову удалось побывать в Праге и Карлсбаде. Описание исторического города и знаменитого курорта — тема самая любопытная, и мы настояли, чтобы Корнетов бросил свои излюбленные «тряпки» и сел сочинять рассказ о Праге и Карлсбаде. Это уж наверняка напечатают.

«Но у меня никак не выйдет километра!» — отнекивался Корнетов: писать для него сущая мука, я это понимаю.

«Так можно еще завитушку прибавить, — убеждал африканский доктор, — какой-нибудь ваш рисунок из парижских автобусов».

И Корнетов послушал — целый месяц ждали — и вот, пожалуйте: «километр»!

Не знаю, на мой взгляд «километра» не получилось, и даже с автобусными рисунками. А ведь это очень трудное дело и незавидное «мэтье» — писать, когда твое письмо, где каждое слово взвешено и распределено, оценивается не по весу и строю слов, а на печатный километр!

Прага
Самоцветное

По дороге первая: береза. Белая береза — вестница далекой России — холмы и норы. За холмами тесно дома. И сразу: мосты. И один из мостов — как сквозь сон — зачарсванный. Волнистая кирпичная кровля, а над: железная стража — башни. А выше — над мостами, над волшебным Карловым мостом, поверх башен высоко на холме в небо столповной свечой собор св. Вита. Это — перепутье между Третьим Римом — Москвой и «вечным городом» Римом. Это — зелено-солнечная в даль, далеко открытая с Града в ясный день, угрюмая — туманная стель — в пасмурье, «золотая», «стобашенная», колыбель славянского слова, это — Прага.

— Русский?

— — —

— Россия!

— — —

— Далеко —

— — —

— Про-сим!

«Россия» — из самой глуби сердца, и желанное, прозвучавшее по-московски «просим» — моя первая встреча в Праге, как по дороге в Прагу белая береза — первая родная весть.

Утро: прямо с базара в Град. Под стенами Града в саду — в сад завел меня мой спутник-вож — орлы и медведи: сибирские медведи ходят лапами мягко. Поклонился я орлам, поздоровался с медведями: умные «они»! — про медведя говоря «он», потому что человек медвежьего имени не знает, а если бы знал, много открылось бы ему — медведь не простой! И с миром пошли в Собор.

Вот где явственно перепутье: Восток и Запад, путь трех царей-волхвов. Поклонился я «епископу» — за его веру. Спутник мой вож объяснил мне, что этот «епископ» тайну исповеди не выдал, и за то со стены его сбросили в реку. Поглазел на стройку — каждый век свой камень! — пожелал нашему веку довершить башню.

— А какие в Библиотеке рукописи, — подстрекал меня вож, — Евангелие с миниатюрами XI века, Апокалипсис на глаголице.

К полдню поспели к Ратуше под Часы. На площади у витрин с цветными яркими платками терпеливо ожидаем нетерпеливой стеной таких же любопытных: как будут бить часы. Стали мы за час — но вож мой не вытерпел, потащил в «каварню» подкрепиться, и прозевали часы — жди еще час!

Ждем и еще час. Разговор о Часах — «часовой мастер»...

— Заковали его на цепь и ослепили: чтобы неповадно.

— И вовсе не заковали, а просто ослепили: чтобы неповадно.

— Нет, сначала заковали — чтобы неповадно.

И я за то, что мастера заковали. Да и как же иначе — такой хитрец, если он такое выдумал, так от такого — — Да и нельзя было по-другому, ведь это, как сквозь сон — зачаровано! — как волшебный Карлов мост, единственный на земле! — проснешься и нет: ни Моста, ни Часов.

Нет, я въявь слышу — я смотрю-слушаю: Часы бьют! Апостолов я видел — все двенадцать прошли под бой, и Петуха слышал — ка-ак закукурекал! а Смерть-то с косой упустил.

— Не туда глазом смотрели! — упрекал меня и точно чему-то радовался мой вож, — а как она махала! так вот косой — так петушка, по петушку.

От Часов пошли на Карлов мост. Я ходил по мосту и не верил, смотрел — — нет, и наяву я видел: вот золотое Распятие, Богородица, Святые, Короли, а сбоку из-за моста дозором Рыцарь со львом. Уходить не хотелось.

Днем — Музей. И опять в Град — «св. Георгий»...

— А вот, посмотрите, эта башня, — толковал мне вож по пути, — она вся из человечьих костей — первая была тюрьма в мире!

Солнце пошло на запад, сумерилось, когда вышли мы на золотую улицу к «домикам алхимиков»: в стене — кельи, только что нос просунул.

Да иначе и невозможно, надо ото всего уйти — в стену, и затвориться в стене и от цветных ярких платков и от базара, надо — чтобы только нос просунуть, такое, и под бой часов, забывая часы, весить и мерить, познавать и ведать. Я знаю, не золото, это золото-слово! — разложить слова и из слов составить слово, найти закон слова — меру слова — вес слова...

Вот он, очаг — словесная наука, за которую Прагу чтит весь мир!

Поклонился я стене — сколько веков работы под ее низким сводом! — помянул алхимиков.

И с вечерней горы я смотрю вниз — а там что? — вечер затуманил город — как сквозь сон — с башнями над волнистой, уже черной кровлей тесно прижавшихся домов — там строят жизнь, там крепнет любовь к земле, там борьба — «чтобы всем жить было довольно!». А тут — без чего не красно никакое довольство, и все надоедает, тут — чем жив человек — познание и ведение — усилие человеческой воли овладеть стихией, подчинить и самих демонов — найти золото — золото-слово — ведь слова быстролетны и слова тускнеют! — из разноцветных найти самоцветное и путеводное слово.

Совсем смерклось и зачернилась дорога. Тут мой вож «подождите!» — дрыгнул комариными ножками да в щель на огонек и — пропал.

Я шел один так — без дороги, думал о словах — о слове: где вера, перед которой сами поднебесные стены только плетень, а юность так безумна и мечта горда — «если бы на земле утверждено было кольцо, я повернул бы весь свет!»

Я думал о словах-легендах и о легендах-снах, вспомнил Зейера — его сон и легенду и вдруг подумал:

«Да ведь где-то тут жил Фауст — конечно, Фауст жил в Праге!»

И сейчас же подумалось:

«Фауст — и Мефистофель!»

И вдруг, как из земли, мой странный вож — и как ни в чем не бывало. И не узнать: на комариных ножках модные ботинки — узейшие носки, как лыжи.

И он повел меня, скользя по камням — не поспеешь! — совсем в другую сторону, совсем не туда.

«Музыки! — подумал я, — я хочу музыки, через музыку: чтобы до самой души коснуться».

— С музыкой, а как же! — и он взял меня под руку и в подворотню.

У фонаря он обернулся — и я увидел: бело-алый «пошет» языком через всю его рожу.

— «Бон-боньерка!»

— — — — — — — — — — — — — — — —

А наутро — в дорогу.

Вспоминаю ночные рассказы в винарне о виноградной Словакии, о ученой Моравии, о Подкарпатской Руси — где «говорят по-русски». И опять на дорогу, как встреча.

— Россия!

— — —

— Далеко —

— — —

— Про-осим.

Карлсбад

К еленьему скоку

Охотился Богемский король Карл IV в Богемских горах в самой дебри и напал на оленя. И такой чудесный этот олень: копыта серебряные, рога золотые — заглядишься. Погнался король за оленем, да не тут-то: прыток — не поддается. И охотник не простой, так по пятам, не отпускает. Свита перепугалась: не простой олень, худо б не вышло. А олень: куда деваться? — скок на скалу — да со всего размаху вниз: и угодил в Шпрудель. «Где, где олень?» — «Сорвался!» Тут король и вся его свита потихонечку со скалы спустились — жалко, нельзя упус-

тить: королевская добыча! Смотрят: олень в речке, а пар от него — глаза застилает. Опустили градусник — и глазам не верят: +73 С. «Вот так речка!» Вынули бережно оленя — вареный! — и с оленем назад на скалу и на скале поставили. Олень и окаменел.

Так открыли Шпрудель.

Это было в 1349 году.

И с той поры со всех концов света потянулся народ к Оленю — к «еленьему скоку» — zum Hirshensprung за шпруделем — «живой водой». И из всех дорог эта дорога к оленьему скоку самая дорогая в мире, но и память — незабываемая.

Я ждал Карлсбада десять лет и вот дождался. Купил я себе дудочку-кукушку — такие кукушечьи волшебные свистульки только и есть в Богемии — и улиткой потащился на самую высокую гору к Оленю.

По дороге, кукуя в волшебную дудочку, выкликал я птиц — за годы много воды утекло: как все другое, и тоже! По-прежнему «изверги» стучат молоточками в своих подземных домах. Слышу, в Купальскую ночь было большое собрание — со всех гор со всего света собрались глазатые в колпачках: из Центральных гор по подземным дорогам пришли рыжие разтэры, а с Кавказа черные цепкие: чего-то знают, чего-то ждут, чего-то вдруг замолчали — — под землей идет работа!

«А помните, старик из Галиции, который по 40 кружек в день шпруделю пил, помер!»

Так в разговорах о земном и подземном добрался я до Оленя.

Поздоровался я с Оленем — Олень все так же каменный стоял на скале, сторожил «живую воду».

Взял я травки пучок — какая весенняя! и желтых листьев ветку и полез выше, куда только Петр лазил. Теперь-то не велика хитрость: всюду дорожки, стрелки, надписи.

На Петровой скале памятник: дважды ездил Петр в Карлсбад (1711 и 1712 г.) — сидел в шпруделе, пока не слезала кожа; ведь и в московской самой горячей бане такого нет жара — +73 С. Был в Карлсбаде и царевич Алексей (1710 и 1714 г.) и Анна Петровна (1716 г.). На

памятнике стихи в две колонки: на одной французские — Baron Alfred de Chabot, 1835; на другой — кн. П. Вяземский, 1853 г. и немецкий перевод, septembre 1866.

Majestueux rochers, géants de la vallée,
Votre aspect imposant exalte la pensée,
Eveille dans les coeurs des sentiments nouveaux,
Et rend plus cher encore le beau séjour des eaux!
L'âme sur ce rocher n'est-elle pas émue?
Ce symbole sacré. qui s'offre à notre vue.
Qui de Pierre le Grand dans les bras Cut pressé.
Au pied duquel par lui ce souvenir laissé (M.S. P. I.)
Ne révèle-t-il pas à toute la contrée,
Que par ce grand génie elle fut visitée,
Carlsbad avec amour conserve dans son sein
Les précieux objets travaillés de sa main,
Aussi que dans Saurdam ce créateur sublime
Frèquente l'artisan que sa présence anime,
Se mêle à ses travaux, à ses fêtes, ses jeux;
Les cibles de son tir sont encore dans ces lieux.
Mais que vois-je? D'aspect sur ce sommet tout change;
Hier, pour y parvenir, il fallait être un ange!
Accessible aujourd'hui, le burin avec art
Grave sur le granit l'immortel nom du czar!
Noble chef du pays! Gloire vous soit acquise!
Qu'un puissant Nicolas cette action transmise,
Indique avec quel art vous savez honorer
Celle qu'a votre garde il daigne confier.

Великий Петр! Твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный,
И здесь, средь гордых скал, твой образ незабвенный
Встает в лучах любви, и славы, и побед.
Нам святы о тебе преданья вековые,
Жизнь Русская тобой еще озарена,
И памяти твоей, великий Петр, верна
Твоя великая Россия.

O grosser Peter! Jede deiner Spuren
Für Herz des Russen ist ein heilig Denkmal!
Dein herrlich Bild hier unter stolzen Felsen
Erglaenzt im Liebe, Rhum und Sieges strahl.
Was uns bekannt von Dir, ist uns ein Heiligthum,
Ganz Russland's Leben ist von Dir durchglüht.
Freue der Erinnung deiner, Grosser Peter,
Die Russland gross in alle Zeit erbluht!

Взял я и от Петра память — зеленую ветку. И, только было приноровился — спуск очень трудный, вижу, на

скамеечке мой пражский вож Евгений Комаров: запыхается, платком вытирается.

«Э... думаю, — да он еще выше куда поднимался! Хоть выше и некуда, разве что к «Трем Крестам!»

А Комаров увидал меня и рукой как прикрыл: «не хочу с вами и разговаривать».

— Ничего вы не видели.

— Как? Я от Оленя.

— Не Оленя, а вчерашний день.

Тут только я и вспомнил, что вчерашний день — самое близкое расстояние земли от Марса,

— Ждите теперь еще сто лет, — Комаров искренно возмущался, — ведь если залезть на Венеру и заглянуть на землю, земля покажется как огненный Марс, а вчерашний день...

Комаров нарочно приехал из Праги и без ночлега провел две ночи в горах под открытым небом и сегодня после обеда возвращается в Прагу.

Отдышавшись, рассказал он мне диковинки с наблюдением над Марсом, прошедшую ночь.

* * *

— Еще загодя мы обсели все горы, боясь приближаться к «Оленьему скоку»: тут были установлены всякие взрывчатые аппараты для сигнализации. Вооружившись закопченными стеклами — незаменимая предосторожность от оптической иллюзии и дифракции прибора! — ждали мы с нетерпением полночи. И ровно в полночь заработали металлические снаряды — тысяча ракет самых пульких запущено было на Марс. Наступило молчание. И вдруг послышался голос — глухо, но достаточно внятно: «Чего вы шумите? — — говорите по-русски!» Так все и ахнули: «говорите по-русски!» Марс между тем подошел совсем близко. Я навел закопченное стеклышко и, верите ли, явственно увидел: через весь Марс — Обводный канал.

Двадцать три дня прожил я в Карлсбаде. Лечение теперь не четыре недели, как раньше, а рассчитано на три: больше бедноте не поднять, даже при всяких льготах.

* * *

На Марктбруне в галерее выставлены диаграммы: с 1851 года ведется счет, когда съехалось в Карлсбад до 5000, и вот в 1911 достигло высшей цифры — 70 000! Смотрел я на диаграммы — на эти «без прикрас» кривые, где яснее ясного видно, чего натворила война! Понемногу восстановляется. Но нет уж того, победнее стало, потоще и табак — египетские Режи — без духу. И модницы и франт, старые гайяры и фарсеры, но не гурьбой, а так — как мышиный «тмин» на бумаге.

* * *

Двадцать три дня прожил я на строгом монастырском режиме: надо было в три недели наверстать и четвертую. Все дни в молчании и только что волшебная дудочка, да эта единственная встреча у памятника Петра на Оленьем скоке. И за эти дни я видел чудеса: на моих глазах желтые белели и из угрюмых превращались в приветливых; я видел совсем развалившихся и замечал, как с каждым днем человек собирался и вот опять на ногах шел за «живою водой». Я видел чудеса и не мог не поверить Гете: «Ich danke den Karlsbadern Wässern eine ganz neue Existenz».

На вокзале в Егере дожидаюсь поезда в Париж а вдруг вижу: из Берлинского вагона Соломон Познер с чемоданом.

— Как? — говорю, — зачем? — знаю хорошо, Познер ни на что не жаловался и никаких ему вод не надо.

— А вот затем, — сказал Соломон, — еще покойный дед говорил: всякому человеку хоть однажды надо — Карлсбад.

4. ФАКУЛЬТАТИВ

Париж — город ожидания и отчаяния, ну и еще чего-то... Люди, имеющие собственные автомобили, а равно и не имеющие, любят утешать своих ближних, живущих на дальнем расстоянии, легкостью и удобством путей сообщения:

«...да от вас два автобуса, и рукой подать — метро».

А задумывались ли вы, что это значит: на улицах Парижа, где столько автобусов, — литерных, циферных, бисных и линейных, откуда эти пешеходы, спешащие не на любовное свидание, и не где-нибудь на Больших Бульварах, а на замухрыстских Конвансионах, Алезиях, Вожирарах и Дуплексах, и не потому, что бы на «карнэ» не хватило, пошарьте, в любом кармане, и не одна, и со всеми «тикэтками», и это не гулящие и не из крайней бедности, а это те, живущие на тех самых остановках с безнадежно-обещающей надписью: «arrêt facultatif», что значит, сколько руками ни маши, все без толку, это именно те самые, на которых оправдывается мое определение, — это люди, перемахавшие себе все руки и отчаявшиеся.

Но и не на одних только «факультативах», на вернейших «терминусах» — на истоках автобусной жизни и завершения — как часто — вот вам наглядный пример: Вехин —

Вехин, навсегда отчаявшийся, но с необыкновенной живучестью напролом всякому отчаянию, вот и теперь вышедший на экстренное интервью с каким-то кинематографическим Гомоном, ждет на углу Араго: и, как на грех, нет... как назло, никакого, — ни H, ни U; плюнул и пошел.

*

А вот, полюбуйтесь, наш художественный критик, вещающий на Корнетовских воскресных вечерах, Константин Сергеевич Перлов, толчется на законнейшей остановке под пыльным ветром. Перлов — человек покладистый и до всего зоркий, вином не балуется, работает с усидкой и толковый: десять раз одно и то же говорить не приходится, — личность представительная, — английский боцман, только без трубки, и слова не выжмешь, языком не чешет, тоже и до курбетов не охотник, носиком не подденешь, солидный, и в деле не дурак — со сметкой, в долгах же отчетливый, поверишь, не обманет, а как пишет! сейчас у всех художников, только и есть имя: Константин Перлов; может и о музыке, и о балете, — звали в «Числа», почему ж и о Лифаре не сказать глубокомысленного слова? — да отказался, ни на какие сделки не согласен, из-за сомнительных выражений в рассказах, нарушающих

благопристойность, да и «внутреннему мораторию» подчиняться не желает. Очень жаль, что не удалось вам познакомиться, — замечательный.

Да, в хорошую погоду, и когда некуда торопиться, хорошо поглазеть на этих отчаянных, спешащих, и на еще терпеливо, и уже нетерпеливо ожидающих, но в дождь, а хуже под ветром, а еще хуже, когда, как сейчас, крутит пыль... позвольте, у меня и в мыслях нет и никогда не было поступать в ажаны, и не гожусь я, какой я ажан! зачем же мне такая немилосердная тренировка, но, главное, я чувствую, что опоздал. Если еще тебя ждут, то можно и опоздать, но когда ты сам чего-то ждешь, — я это так хорошо по себе знаю, когда спешишь, чтобы застать и попросить денег. Впрочем, тогда одно к одному: и автобус бежит, только не тот, которого ждешь, и дом пробежишь, где тебя больше не ждут: опоздал! у Достоевского в «Бедных людях» все это описано, и вернее не скажешь, и еще там есть замечательное, когда у человека «душу ломит», потому что и удача может так шибануть, что ахнешь.

Но вы только посмотрите на нашего баснописца Василия Семеныча Куковникова, перед глазами которого бежит автобус — дождался! — вы только вглядитесь, какое умиление разливается по его истерпевшимся глазам.

«...и опять пробежал!» — говорит он по-русски, хотя его никто не понимает.

«...и опять «complet», — а это все понимают.

Но бывает еще вроде «комплэ», хотя без одного пассажира, а называется «dépôt» — и это тоже все понимают.

И единственный, ну, этому во всем везет, — вы думаете? Нет, совсем не везет, вот свалилось счастье. Сколько ждал, и все мимо или не то, а тут единственное место и в руках очередной номер, самый первый, — это Семен Петрович Полетаев, бывший пласье экономических газовых трубок, а теперь «шомёр», имеющий все права, как говорится, на свободу околевать. Он ухватился за входную цепочку такими клещами, ни пинком, ни подгузком не спихнуть уж. Я бывал этим последним, — вскочившим, за которым спускается дощечка с надписью «complet», я

знаю этот звериный упор и чувство своих вклещившихся пальцев, — двух выросших из тебя удавов. Мне иногда казалось в такие удачливые минуты, что я на голову выше самых высоких голландцев, и хорошо помню, как весь Париж смотрит на меня, задрав голову, как на какой-то воздушный «восклицательный знак», — Париж, отчаявшийся и отчаянно машущий руками. А ведь минуту назад раздавленный, оплеванный какой-нибудь счастливо впихнувшейся харей с прилипшим к губе окурком, — курит еще мерзавец! — и вот занявший место, все равно какое, неважно, сам с папироской, я чувствовал в себе такую уверенность, такие вдруг нахлынувшие силы, и никакого великодушия, никакого сожаления, плевать мне на всех и все.

Глава вторая
НА КРАЙНИЙ КАМЕНЬ

1. ИДИЛЛИЯ

А ведь какой этот мошенник Козлок, другого имени нет ему и не придумаю. Балдахал объявился, но ни в какого Тирбушона он не превращался и никаким дегустатором не делался. И вообще с ним никаких происшествий — застрял в лифте с молоком, но это не историческое. А ведь я так поверил.

Балдахал в доказательство показал язык — ну, самый обыкновенный язык в сосочках, едва ли что способный отличать, кроме горчицы и сахара. И тут же откровенно признался, что к винам не способен и никакой «кавист».

— Не иначе, как Иван Андреевич Козлок с кем-нибудь меня спутал.

Не спутал, а нарочно голову морочил, чтобы потом, высунув свой каверзный язык, над нами смеяться.

Я не ошибся: Козлок все это дегустаторство сочинил для смеха. Козлок на свои мошенничества смеялся в одиночку и в самое непоказанное время — ночью, высунув язык под одеялом, вдруг, уж засыпая, вспомнив. Одинокий смех у человека самый смешливый, а физиологически самый возбудительный: от такого смеха умирающий может не только очнуться, но и в самом прямом смысле воскреснуть.

— А как вы живете, — спросил Балдахал, — вижу, не весело. И никуда не собираетесь?

Куда уж! Надо квартиру искать и перевозиться, — сказал я, — теперь по случаю кризиса весь Париж в Париже залетует.

Признаюсь, хоть я и говорил так, но больше потому, что не имел никакой возможности уехать, и вот приплел этот кризис, а на самом деле мне очень хотелось, хоть и «шомёру» устроить себе «ваканс» и обязательно с приключениями, чтобы потом вспомянуть было,

Корнетов никак не отозвался. Корнетов был доволен: хоть одно лето никто его бередить не будет и насильно никуда не потащит.

Неподвижность Корнетова и цепкость к месту, куда его забросило, превышали всякое воображение: когда рассказывают, как живут люди в тундрах или на каких-нибудь отрезанных от всего живого островах — есть такой остров и здесь на Океане: Иль-де-Сен — ничего удивительного и противоестественного, эти «необитаемые» острова и тундры населены Корнетовыми.

— А знаете что, я ни в какие дегустаторы не поступал, но мое отсутствие все-таки неспроста, — сказал Балдахал, — только вчера я освободился, а занят я был на Колониальной выставке: надо было наладить доставку в рестораны всяких «колониальных» продуктов. И надо сознаться, справились отлично — «je ne suis pas dans la mouise или dans la purée», как говорят мои «копэны», а по-русски: «не с пустым карманом». И вот что я придумал: «вы правы, по случаю «шомажа» Париж залетует в Париже, во всяком случае количество «вояжеров» сократится. Давайте поедемте, куда никто не ездит, а если и ездят, то одни чудаки и сумасшедшие: «Pointe du Raz».

Балдахал показал на карте крайний камень в Атлантическом океане — там, где «необитаемый» остров «вдов» Иль-де-Сен, населенный Корнетовыми. А схватился он за этот Пуант-дю-Раз, я вспоминаю: все дело заварил бывший сосед Корнетова Monsieur Dorat, неизменный «Escalier-de-service» Корнетовских воскресных вечеров; прошлым летом знакомые таскали его на этот «Пуант-дю-Раз», о котором он рассказывал нам с ужасом — как должен был под ветром на веревке лазить над самой океанской крутью,

что потом три недели жил в Нанте, и все-таки не очухался. Этот рассказ произвел на всех нас неизгладимое впечатление, но ехать туда и самим проделать веревочные упражнения никому из нас и в голову не приходило.

— Я все расследовал, надо сначала попасть в Кэмпер, а из Кэмпера на отокаре.

— В такую даль, да и денег неоткуда взять, — сказал Корнетов.

— Как вам не грех говорить о деньгах, я и пришел за тем, что я вас везу на этот Пуант-дю-Раз. И вы должны согласиться. Мы товарищи. Сейчас у меня есть и вам думать нечего. И вовсе никакая даль, для вас все будет далеким, кроме вашей комнаты.

И Балдахал по свойственному ему упорству, как наладил этот «Пуант-дю-Раз», ничем его не собьешь. И это как со своим «русским стилем»: ведь книгу его никто не покупает, а он второй том написал... «и третий напишу, — говорит, — плевать мне: никто не покупает! Не на покупателя пишу, а потому что хочу и мне самому интересно, это дело моей жизни, и без меня никто такого не скажет!» — упорный человек.

Я-то не прочь, и даже очень бы хотелось — торчать в Булони лето совсем не казисто, еще в Париже я понимаю, но здесь — ни то ни се. Вся остановка за Корнетовым. Не прошлое лето, когда его можно было взять не говоря ни слова и распоряжаться, как хочешь: теперь Корнетов ссылался на неустройство — наперед надо квартиру отыскать и переехать.

Все разговоры о квартирах, будто ввиду кризиса отдают даром, а в некоторых случаях при передаче не только никаких «репризов» и отступных, а предлагают какие-то «въездные» до 1000 франков, называли даже имя: Ежов 1000 дает! — все эти надежды оказались такой же ерундой, как и всякие слухи из «достоверных источников», а Ежов действительно, боясь упустить лучшую квартиру, в отчаянии как-то говорил, что готов пожертвовать 1000 франков, но в конце концов передал квартиру безо всякой отчаянной тысячи, а имя его все еще повторялось и во множественном числе. А все потому, что всем очень хотелось, чтобы квартиры отдавали «даром»: новых домов настроено было — куда ни взглянешь, квартиры стояли пустые, на каждом доме вывеска: «appartements à louer», но цены

было недоступные и при передаче, как и раньше требовали «реприз» — какой-нибудь протоптанный прошмыганный бобрик, вылинявшие шторы, развалившаяся этажерка — и всю эту ветошь и дрянь оценивая в тысячах. И понятно, Корнетов ни о чем и думать не мог, кроме как о устройстве — отыскать квартиру и переехать.

А ничего подходящего не было — мы натыкались на мародеров. Я видел, что Корнетов с каждым днем озабоченнее, а про себя скажу: я готов был взять бомбы и ходить из дому в дом и бросать — другого средства на эту паразитическую сыпь я не представлял себе.

Балдахал стоял на своем: высокие цены и мародерство от Колониальной выставки, но к октябрьскому «тэрму» цены упадут, — искать квартиру надо в сентябре, а пока что ехать на «Пуант-дю-Раз».

И Корнетов согласился: его соблазнил не «крайний камень», а Кэмпер и дорога к этому «камню» — древние города и святыни Бретани: Плозевет, Одриен, Сен-Тюжан, Пон-Круа, Конфор, Дуарненез, Локронан.

Я опять за Корнетова ездил к «жерану». И «жеран» согласился ввиду пустующего дома оставить за Корнетовым его квартиру за половинную цену до октября «pour garder les meubles», т. е. под склад его книг.

Балдахал оказался неотложным, он даже испугал Корнетова: Балдахал появился и не с пустыми руками: через своих «колониальных» знакомых он достал льготные и полульготные билеты. И как неожидан был его приход после пропада, украшенного и расславленного Козлоком, так неожиданно — Корнетов жаловался, что и собраться не дали, Корнетов не успел приучиться вставать рано, а он всегда с неделю тренируется перед отъездом, — снялись мы с места и тронулись в путь без оглядки.

2. КЭМПЕР

В дороге ничего особенного не случилось. День, конечно, выбрали мы неудачный: в субботу много едут. И в Нанте при пересадке вскочили не в «рапид», как нам указано было, и который ждали мы два часа, а в обыкновенный, который битком набился, и, кто не поспел, стоять пришлось. Но чем дальше, тем становилось просторнее, и с Ванн осталось нас в вагоне совсем немного.

И тут Корнетов всех взбаламутил: уж темнеть стало, и он по своей слепоте Кэмперле принял за Кэмпер: «приехали!» — и хотел ссаживаться, и мы с Балдахалом, не разобрав хорошенько, полезли за ним, — хорошо, что сосед матрос остановил. Будь у нас деньги, нечего было бы и схватываться — Кэмперле так Кэмперле, рассуждали же дорогой, что хорошо бы и в Ванн побывать, а тут случай сам привел.

От Кэмперле до Кэмпера дорога промелькнула, не заметили — всего одна остановка — и до чего Россию напомнило: самый воздух русский и поля, и деревья, и лес, который растет по старине со мхом, не отшлифованный и не расчисленный.

А ведь очень все вышло по-глупому. «Рапид» на целый час обогнал нас, а этот час перевернул нашу судьбу. Наконец-то и мы приехали — перетряслись — все бока отсижены, но это пройдет. Погода прекрасная, станция веселая. Приехали, а не знай, где перебыть ночь. И не в субботе дело, а совсем непредвиденное, что угодили на ярмарку — «фуар»: нет свободных комнат. На такси объездили все отели: везде занято. Попади мы на «рапид», еще возможно, что и нашлось бы — все расхватали «рапидисты». И вернулись мы на вокзал — неужто наша такая судьба: дежурить ночь на вокзале! А только видим: как раз против вокзала ресторан «Cheval noir» — мы в эту «Шваль» — имя-то какое, точно на смех! — и что же вы думаете, оказалась незанятая комната. Конечно, на эту «шваль» вряд ли много охотников найдется, но все-таки лучше, чем на вокзале или за 16 километров трястись, куда нам в отелях указывали. А цену заломили безбожную — ведь кто ж его знал, что ярмарка! а и хозяину упустить случай тоже не рука, может в году только и есть: ловить дураков, но и деловым человеком воспользоваться.

Комната на вид, хоть и без лоску, одеяла на кроватях времен короля Градлона, но паркет, как каток, только почему-то нет звонков. А нам с удивлением говорят: «да и звонить незачем, «le cabinet» против вашей комнаты». Никогда не думал, что «кабине» со звонком связан, ну, да что рассуждать, хорошо еще, что хоть в «шваль» попали. А «кабине» действительно против: шумновато будет, но и не заспишься, к обедне вовремя поспеем.

После самого невообразимого «динэ» — подавали, что попало: артишок с омлетом, жареную рыбу и такой крепости говядину, куда топор — слону клыками не прободать, а продолжался «динэ» с час и под такой крик и не то, что по пьяному делу, а такая привычка кричать — ярмарка, обращающая всех в цыган. Я посмотрел на часы: было десять — еще ранний час, но выйти походить по городу не было желания. Наученные горьким опытом, захватив лимонаду, стали мы подыматься на верхотуру ночь перебыть — шли в шесть ног, но лестница оступчатая и такая стучащая — как двенадцать копыт топало.

И улеглись. Я долго не мог заснуть. Мне все казалось: кто-то ползет. Я тихонько вставал, подходил к окну. Прямо над крышей соседнего старого дома висела комета — 1 500 000 километров делает в сутки, проносясь мимо Земли, какая! а незаметно. За домом лаяли собаки — так лают только в деревне за разросшимися коноплями у дальних соседей. Потом началось топанье по лестнице не в двенадцать, а в трижды двенадцать копыт — это возвращались жильцы по своим стойлам. Шипела вода, бойко работал «кабине». Но всему бывает мера, даже и непривычным к сидру, заменяющему «пюргос». Мимо нашей «Швали» прошли подгулявшие, горланили. И под их не луженое горло последним издыхающим сипом ворчали автомобили. Ближе, чем собаки, провизжали женские голоса, не то запустил кто пятерню слишком далеко, не то просто от удовольствия. Но и этим естественным звукам дан был исход и успокоение. И вдруг раздался необыкновенно жалобный «писк», такой жалости рулады я еще не слыхивал: она тянулась, как тянучка, и в ней было столько и уныния и чего-то до-голи смешного. Не раскрывая глаз, я чувствовал, что не могу удержаться — мой рот расходится в улыбку. Это был какой-то окончательный и освобождающий звук, после которого наступила полная тишина — все соседи заснули, и Корнетов и Балдахал дышали ровно, да и я, должно быть, в лад с ними с моей застывшей улыбкой, потому что больше ничего не помню. Я помню из другого мира: я складываю слова из мыльных пузырей, и выходят целые фразы, они летают разноцветными гирляндами и, хотя понять ничего невозможно, но у меня такое чувство, что я выхожу победителем. А проснулся я на петушиный крик. И опять

началось копытное топанье по лестнице, и заработал «кабине».

Решили сначала пройти в Катедраль на мессу, а потом посмотрим, не освободится ли где комната: к «Швали» мы не подходили, хотя на блох я зря погрешил — на простынях не оказалось никаких следов.

* * *

Всякий город имеет свой запах. Париж в ясную осень на Авеню Мозар пахнет устрицами, виноградом и только что выпущенными книгами осеннего сезона. Кэмпер — и это больше, чем в воздухе, это где-то на языке — вкус копченой andouille de guéméné и с колбасным запах сидра до вкусовой горчинки. Нас сразу обдало, когда мы пробирались по набережной Одет, глазея на бесчисленные мостки: что ни дом то мост, и с каждым мостом дух крепче.

Св. Корантэн пожалел нас — а какой чудесный орган в его Катедрале, не знаю, какая молитва или гимн в конце мессы: играли на низах глубоко и так отчетливо, как выговаривает, и такой мир, такая заботливость — голос нечеловеческий, но человек. А может, доктор Лаеннек — его памятник тут же на соборной площади, видно, добрый был, тоже не оставил без внимания. Нам повезло — после мессы забрали мы наш «вализ» и перебрались в лучший отель на набережной: единственная освободившаяся комната досталась нам, а цена чуть побольше «Швали». Но зато и комната, действительно, без начищенности чисто, это сразу видно, и по ночам наверное так не топают и такого безудержного нет крика, хотя морды и наглые, те же барышники. И Бог знает, за кого там нас приняли в этом «Парке». Отель для американцев, и конечно, мы к ним не подходим.

В понедельник ходит отокар в Пуант-дю-Раз. Надо как-то до завтра перебыть и еще, вернувшись, одну ночь, и домой. Да на большее и не хватит. Балдахал пересчитал и не раз, всю мелочь вывернул, нет, не хватит. А глаза-то разбежались: можно было бы во вторник в Сен-Геноле проехать. Плохо то, что в этом «Парке» обязательно: или бери «дежене» или «дине», а так на своей колбасе не полагается.

Целый день мы слонялись по городу — от Локмарии до св. Матфея и от св. Матфея до Локмарии. Корнетов, привыкший сидеть или суетиться в своей комнате, тащился, как обреченный. Ему это путешествие было очень чувствительно. Зашли опять в Катедраль, думали и за «вепр» орган сыграет что-нибудь такое. Но верно, не всегда такое бывает: никакого голоса мы больше не услышали. Что ж, ведь устроились, слава Богу. И в самом деле, не нами одними и заниматься: и святым и добрым людям столько еще забот и еще столько тут же бродит неприкаянных или таких, перед отъездом я слышал: «поселились они в подвале, но и в подвале оказалось для них слишком дорого».

От Корнетова я узнал, что есть три аномалии: «amour» (любовь), «délices» (отрада) и «orgue» (орган) — в единственном мужеского, а во множественном женского, и, стало быть, надо говорить: «quelles belles orgues!»..., а какие прекрасные есть органы — и никогда не надоест!

В сумерках Корнетов рассказывал о короле Градлоне, жил в Кэмпере, о его дочери, черной волшебнице, погубившей знаменитый город Ис и погибшей в море; о двух свирепых псах, их держал король впроголодь для охоты, они же решали судьбу, и суд их был беспощаден.

«Недалеко от Кэмпера в лесу Невет жил святой человек Ронан. Родом он был из Ирландии и пришел в Бретань, как в пустыню. Он был так чист помыслами и так желанен в чувстве, что звери и птицы его слушали, а людям от его взгляда и слов становилось легко. Жена лесника, который заботился о святом, потеряла ребенка и в смерти его обвинила Ронана, будто он колдовской своей силой ночью обращается в зверя и пьет детскую кровь. По доносу Кэбан, привели Ронана в Кэмпер и король Градлон задумал испытать, прав Ронан или виноват? — и выпустил на него своих псов. Услышав голос святого, псы вдруг притихли и с нежностью стали лизать ему руки».

Корнетов нам и место показал, где это происходило — рю дю Шапо-руж против св. Матфея.

Поздним вечером, пропустив и самое запоздалое «дине», мы вернулись в наш американский «Парк».

* * *

Окна нашей комнаты на набережную. А на другом берегу Одет — «фуар». И днем была музыка, а теперь началось невообразимое: все карусели, все тиры работали, как утренние и на ночь «кабине» в Швали. Нет, еще пронзительнее: карусель с каруселью не в лад. И не было чародея, который овладел бы ярмарочным разладным адом — этим «Enfer de Plugoff», а такой звуковой массе позавидовал бы сам Эдгар Варез, автор «Интегралов» и «Аркан».

Корнетов под музыку спокойно заснул. Заснул и Балдахал. А я и тут не могу. Я попробовал закрыть окно — музыка стала глуше, но душно. И пришлось открыть — и музыка с еще большей настойчивостью затопала в ушах.

Перед сном Корнетов читал нам Достоевского, и теперь мне вспомнилось литературное признание, написано до каторги.

«Что тебя мучит? Бедность, нищета? но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь, никто тебя и знать не хочет; так свет идет. Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали, а ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя — твои будущие товарищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но со злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут, как праздник, праздновать каждую твою ошибку (будто кто-нибудь был без ошибки!). Ты же заносчив, ты часто некстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда — ты будешь один, а их много; они тебя истерзают булавками».

Корнетов, отдавая все должное, поднимал ошибки тех первых литературных лет Достоевского: какая словесная фальшь «Честный вор»...

Корнетов, должно быть, прав: надо говорить своим голосом — теми самыми словами, какими говоришь самому себе, и никогда никого не представлять: «как при чтении не следовать актерским шаблонам, так и в письме не надо актерничать; актерство в рассказе затрет и самые замечательные наблюдения — в «Честном воре» «ползучая вина» едва внятна из-за искусственной манеры рассказывать: Достоевский «играет» отставного солдата — из бывалых людей».

Корнетов старается, пишет — в эмиграции все становятся писателями — а я еще пока только присматриваюсь. Что еще запомнилось? — Украшения речи и сравнения — этот пестрый мундир, в который наряжают героя, так что и лица его не видишь. До сих пор это держится в литературе, а называется «пирожничество» — «пирожники» по преимуществу поэты, пишущие прозой. Сравнение должно выходить само собой: когда сегодня за принудительным «денеже» подали спаржу, я вдруг вспомнил нашу хозяйку в «Швали».

И вспомнив хозяйку «Швали», так напоминающую вареную спаржу, я мысленно начал свой дневной поход от Локмарии до св. Матфея по улицам с названиями городов, окружающих Кэмпер и уводящих к тому крайнему камню — цели нашего путешествия — Пуант-дю-Раз.

Я вспоминал рассказы Корнетова о Бретонских святых — всю археологию, с которой связан был дневной осмотр старинного города.

«Что я вынес из этого осмотра для сегодняшнего дня? — Вот мое чувство: судить о настоящем, рассматривая вчерашний день, все равно, что говорить о вчерашнем вкусном обеде. Нашлось ли хоть что-нибудь в сегодняшнем дне от прошлого?— — »

В карусель — в эту музыку «Enfer de Plogoff» стали врываться новые звуки: визг — до свиного.

«Ну, что ж, были святые — какие чудесные легенды! а вот «фуар», карусели и этот человеческий визг — безостановочный и бесконечный. Пока какая-нибудь безымянная планета, пересекая земную орбиту, не упадет на Землю: упадет в океан, и поднявшаяся волна смоет все живое, а ударит в Эйфелеву башню, весь земной шар сгорит за какой-нибудь час, и вся мудрость человеческая,

рукописи и книги, и первое и единственное из чувств человеческих любовь — дом человека — обратятся в пепел. Но пока что жизнь на земле продолжается — природа произрастает. И это все?»

И вдруг я вспомнил: на мессе в Катедрале я заметил мальчика — с каким чувством и усердием наклонив голову, он замирал, впору только взрослому, и ноги его тоненькие без чулок вытягивались и не вздрагивали.

«На чем была сосредоточена его мысль? Какой грех? Или дома в семье тяжко? Ему не больше десяти. Но он уже проснулся, как Неточка Достоевского: «в половине девятого вдруг пробудилась, как от сна, а до того никакой памяти». Или это будущий Корантэн? Во всяком случае не безразличный и ни подо что не строющийся, а ведь самое ужасное, это строющийся под «добрых»! — и не в гуще визгов природы, один. Или будущий Лаеннек?»

И вспомнив этого Корантэна-Лаеннека, такого молчаливого наперекор «фуарным» визгам, я увидел нашего соседа по «дежене», как он ест палюрдов и омара.

«Добродушный веселый человек — наш Monsieur Dorat — ничего злого, а ведь есть в человеке неистребимая злоба, не стираемая никаким «крещением» — никакой религией и никакими «духовными словами» — и приятный, но и вся его жизнь в этих палюрдах и омаре, он может думать и ждать их, как визжащие на карусели ждали музыки — «Enfer de Plogoff». И так было всегда и в археологии и в сегодняшнем дне, и это совершенно нормально и ничуть не бесстыдно, и Корантэны и Лаеннеки вышли из этих визгов и палюрдов. Так, стало быть, что же?»

Но я жаловался, я возмущался и не мог заснуть.

Только в полночь музыка прекратилась, но долго еще шумели на улице — долго не могли успокоиться, расходясь по домам и стойлам. А когда человеческое кончилось, в плотине водопадом зашумела вода.

3. ПУАНТ-ДЮ-РАЗ

«Не хвались, идя на рать...» — стих вдохновенного Асконченского, этого патриота Севастопольских времен, прозвучал во мне непроизвольно, когда ранним утром заработали «кабине» нашего американского «Парка», воз-

вещая, что наступает минута, и через какой-нибудь час мы очутимся на «крайнем камне» с одиноким островом, отрезанным от всего живого, а населенного Корнетовыми — людьми упорными, несмотря ни на что, — Иль-де-Сен.

То, над чем каждый из нас смеялся в Париже, встречая переполненные отокары — «дураков везут!», ожидало вас перед подъездом нашего пробуждающегося «Парка». И, обернувшись в «дураков», мы заняли места рядом с такими же «дураками». И заранее можно было сказать, на чем их глаза будут останавливаться.

Весь отокар восхищался картинами природы.

Археология скучна, если не знать истории. А картины природы утомительно однообразны. И гоняться за «видами» — пропащее время. Хорошо, когда они сами собой встречаются, — этим и хороши всякие поездки: посмотреть в окно, а, насмотревшись, отойти. Поля — везде поля, лес — везде лес, и море — море. И без передышки восхищаться — не понимаю.

И до чего опять напомнило Россию, именно Россию, а не индустриализирующегося СССР, — вот молотьба цепами, вот старики, сидят на пыльной площади, или неожиданный цвет городов — как в России в каком-нибудь заштатном, а котором никто и не вспомнит, — розовые дома в Пон-Круа, и старинные церкви — «шапели», сверстницы Благовещенскому собору в Сольвычегодске, эти живые музеи — в церквах совершается служба, и ладанный дух и свечи оживляют занумерованное — этот драгоценный фонд для археолога и ничего не говорящие надписи для туриста, восхищающегося видами природы.

О Бретонских святых сохранились одни легенды и сказки. И под этими легендами хранится образ непреклонного «живого», а не только живущего человека и память воли; веет нашим Архангельским, Вологодским и Олонецким севером — дремучее есть и в этой чудесной полосе Океана, не такого сурового, как исконный русский — Ледовитый.

Деревянная скульптура, чугунные гробницы и иконы сохраняют лицо святых: св. Тюжан — мудрый, спокойный взгляд все победившего в себе человека и рядом взбешенный пес, которого он держит на цепи или просто без

всякой цепи; а когда я увидел гробницу — лежащего св. Ронана, его слушались птицы, и никогда не обижали звери, — «а который не мог сдержать своей природы, понуро отходил, поджав хвост», — какой кроткий взгляд! я не мог оторваться, я все хотел вспомнить.

И дальше всю дорогу я думал о нем, — это была встреча со знакомым, с которым связано было когда-то в жизни столько хорошего, но которого я позабыл, и вдруг опять увидел.

Я не смеялся над соседями, умилявшимися видами природы. У каждого свое, или каждый по-своему плох. И у каждого есть что-то, когда он думает так, как я, о встрече — долго хранилось в сердце и позабыл и вдруг вспомнил! — или когда, не думая, глядят не отрываясь на тихо переливающийся разноцветный Океан в Дуарненезе.

Мне вспомнилось, как однажды в церкви какая-то монашка прикладывалась к образам, она тыкалась всю службу: в житейском дома эта монашка, должно быть, очень канительная со своей чересчур уж простой и даже назойливой верой в «скоропослушницу» и в какого-нибудь Лесковского «венчального батюшку», и лучше не иметь с ней дела, изведет, но, тычась, она была так умилительна и так трогательна, как и не она; какой-то не из клира, а по усердию, читал за дьячка канон — и даже по голосу, не глядя, было ясно, что человек он так себе, как это часто, чаще, чем думаешь, бывает, не скажет «нет», а смолчит, если это неудобно, т. е. невыгодно, и поддакнет, когда требуется, но с каким умилением он выговаривал слова, и стал совсем не похож на себя. И я тогда подумал: это умиление тычащейся монашки и умиление усердного чтеца и то чувство, с каким я за всенощной заслушиваюсь, когда поется знаменитый догматик, это то общее, что красит не мои, а «наши» минуты в нашей серой «бездохновения» жизни. И это же всеобщее умиление меня и помирило с соседями.

Так, от Святого к Святому, от камня к камню, по прекрасной дороге — их «тропкой» — лесом, полями и берегом добрались мы до крайнего камня, где ни деревца, ни травки, а один ржавый колючий мох — Пуант-дю-Раз: остров друидесс, поминаемый в «Martyrs» Шатобрианом — Иль-де-Сен с маяком фар д-Арман; бухта Бэ-де-Трепассе,

загон всего, что погибает в Океане, и кипящий Анфер-де-Плогов.

* * *

За проводниками стадом потянулись туристы, и из нашего американского и из других подъехавших отокаров. Проводники вели по скалам, где Океан, превращаясь в белых взвихренных драконов, взвихрял синего цвета море.

Тащиться в хвосте и слушать проводников предоставляется любителям видов. И мы отделились. Мы шли без дороги над пропастями. Картина получалась живописная, на которую обратили внимание и проводники, и все устремляющееся стадо отокаров.

Корнетов в своих парадных лакированных ботинках — не из щегольства, а старые его, служившие пять лет, отслужили, — в берлинском инфляционном сером пальто поверх двух свитров и с теплым вязаным платком на руке, — взяли на случай, — шел, не глядя на взвихряющийся «ад», — не может глядеть вниз, предупреждал! — шел, ступая по скользящим камням, на одной ноге, чтобы сохранить равновесие; за ним Балдахал, вытянувшийся, выше своего роста, — я подозреваю, со вставшим от волнения штопором в пищеводе; а за Балдахалом — ведь только и можно, что гуськом — ваш покорный слуга Полетаев, единственный, как полагается, по таким кручам, в парусинных туфлях. Когда карабкались над пропастью, это еще ничего, но когда, потеряв терпение, задумали подняться на скалу, чтобы выйти на дорогу, все человеческое кончилось.

На четвереньках — я, не глядя, видел, каким вниманием мы были окружены! — с ухваткой за камни, обрываясь от скользины, медведями, кружа, подымались мы по скале. И, казалось, совсем близко, а чем дальше, тем труднее становилось, и последний каменный выступ, торча в глазах, не поддавался руке.

Какая-то босоногая девочка, для которой никаких скал не существовало, продав альбом с видами, стоющий несколько сантимов, за три франка, помогла Корнетову.

И первое, что я услышал, когда с исцарапанными руками мы поднялись на ноги и «ад» остался у нас позади, первое слово — «идиоты».

— Только идиоты могут ездить на Пуант-дю-Раз. Ну, что еще унизительнее, — карабкаться на четвереньках? И вниз я не могу смотреть, я предупреждал.

И каждому из нас было теперь непонятно, зачем мы спускались за стадом, зачем лазили по крутизне, когда отсюда вот — все видно, весь бледный, белее белого от сини, «ад», и совсем безопасно?

— Ничего нет интересного и смотреть нечего. Взглянули и довольно, и еще на веревках лазить я не согласен.

Корнетов ворчал всю дорогу — мы шли по колючему ржавому мху к отелю. Корнетов готов был, хоть сейчас, назад ехать, но этого никак нельзя было, отокар не одних нас привез и отвезет, когда стадо налюбуется видом.

И опять Корнетов помянул свой петербургский зарок после экскурсияльной поездки на Иматру — не связываться ни с какими общественными организациями, которые никогда к добру не приводят:

— Изволь дураком ждать два часа, да еще заставят обедать.

* * *

От крабов, что ли, хотя для русских рак привычное блюдо, во всех московских пивных с сухариками давали приложением не бесплатным к пиву, или от кофею — набухают «шикоре» (цикорию) ни на какую стать, а скорее всего от несвойственной человеку прогулки на четвереньках, только после часового «дежене», вышли мы из отеля с такой тяжестью, словно уху молоком залили. Корнетов решительно отказался лазить с веревкой над еще другими, неосмотренными «адами», да и у меня и Балдахала в таком переполненном состоянии не было никакой охоты.

Отделившись от стада, которое за проводником направлялось поближе посмотреть маяк и «необитаемый» остров, когда-то самый волшебный, где жили девять друидесс, а теперь живут одни Корнетовы, мы тихонько побрели по берегу высоко над вихрящимся Океаном. Идти было безопасно, Корнетов мог смотреть вниз: не круча, и все видно и от «стада» далеко. Мы выбрали укромное местечко и после всех волнений расположились на отдых: времени до отъезда было достаточно.

День был чудесный — слава Богу, что не дождик, и куда бы нам под дождем! — большое солнце, жгучее с налетающим ветром, а ветер неспокойный,

А когда пришел срок стаду, мы забрались в высокий отокар. И опять по прекрасной дороге от Святого к Святому, от камня к камню — их тропкой — лесом, полями и берегом возвращался наш отокар, увозя в Кэмпер туристов в самом удовлетворенном чувстве. Ведь они побывали там, куда и птица не заносит человечьих костей, и где лишь ветер гуляет неспокойный, — сколько рассказов разнесется по белому свету, непременно расскажут о веревке над «адом», при воспоминании будет у рассказчика замирать сердце, и я уверен, помянут и о нас — о невиданных орлах на крайнем камне: сером, коричневом и на белых лапах.

* * *

Последняя ночь после встряски прошла, как и первая. Вынужденные по правилам отеля спуститься к «дине», и, не притронувшись ни к каким палюрдам, мы вернулись в нашу комнату и за лимонадом — пить страшно хотелось — Корнетов читал рассказ Лескова о «делах природы» по обнаженности или «чистосердечию», как выразился бы Достоевский, не уступающий ни Джойсу, ни Лоренсу, а называется «Зимний день».

По словам Корнетова, в русской литературе есть три писателя мятежного духа: Лермонтов, Лесков и Блок. Корнетов советует читать Лескова с первой до последней страницы, чтобы «окунуться и надышаться стихией русского слова».

«Говорят, что у Лескова — карикатура, какой вздор! Карикатура — особый дар глаза: карикатурист Гоголь и Достоевский, а Лесков рассказывает о том, что видел, и душа его — его Лиза, Лидия — мятеж».

Все это я наматываю на ус, может и мне пригодится: в самом деле, все пишут, посмотрите, на моих глазах гремят Козлок, Перлов, и никакого у них мятежа, а я, может быть, родился революционером...

После Лескова Корнетов и Балдахал под карусели, не визжащие — будний день, и дождь — осенний, заснули, «как убитые». А я долго ворочался и прилаживался: я все еще продолжал путь от камня к камню.

«И стоило ли затевать эту поездку, чтобы, в конце концов, угнездиться орлами на крайнем камне»? И, засыпая, отвечал себе: «стоило, хотя бы из-за дороги, — из-за все дальше от белых взвихряющихся драконов-василисков, и эта встреча...» И опять я вспомнил Ронана.

* * *

Утро в день отъезда я теряюсь. Влияние Корнетова? Или сказываются десять лет «не по-своему». Мои мысли распуганы, и ничем не подманишь. Я укоряю себя в малодушии — неужто нельзя привыкнуть? Я всегда волнуюсь. Я чувствую себя отдельным, незащищенным — жизнь идет своим чередом: на вокзале приходят и отходят поезда, в Париже сдаются квартиры по той самой высокой цене, какая была в мае. Monsieur Dorat отправляется в четыре на Молитор купаться, и, наконец, здесь в бюро пишется счет, ну, совсем так же, как американцам, нашим вчерашним спутникам, с которыми за всю дорогу мы не сказали ни слова, и которые не узнали нас в орлах на крайнем камне, чудаки, они убеждены, что у каждого из нас есть какие-то акции, понижающиеся и повышающиеся, и никогда не поверили бы... Балдахал сосчитал все свои деньги, — счета мы очень боялись. Но к нашему счастью, нам хватило и мы расплатились.

И дернула же нас нелегкая согласиться ехать на вокзал в отдельном автомобиле. Мы загодя поехали бы на вокзал, сдали бы наш «вализ» и спокойно сели бы в поезд, а теперь мы оказались связанными. Кто ж из порядочных людей спозаранку на вокзал едет? — нас повезли за полчаса. И тут-то вот и произошло.

Перед нами при сдаче багажа оказалась американка с тяжелыми кофрами. Но это еще с полбеды: что наш пустой «вализ», что нагруженные кофры, свесить одна минута, только за наш «вализ» ничего не полагается, а кофры бесплатно не возят. Но у американки мелкая монета — тысячефранковый билет, а где же это на станции в Кэмпере менять 1000 франков — в кассе такой наличности нету. И пока-то кассир ходил куда-то в «Шваль», а вернулся, оказалось, что с американки еще надо «су», — а какое же у американки «су»? — и об этом подробнейшие объяснения кассира, который не может делать никаких

скидок, даже самых минимальных. Так время-то и ушло. Мы с Балдахалом остервенели: ну, чего торгуются, у американки оказалось десять сантимов, ну, дай их за одно «су» и дело с концом, нет, спорят. Наконец-то, свесили наш «вализ», написали квитанцию, сунул ее Балдахал с билетами и пошли садиться.

Контролер: «билеты?» Балдахал вынул и подает билет. А ведь нас трое. Где билеты? Неужто у кассира остались? Корнетов уверяет, что это так и полагается, один билет на три персоны: «мы вместе!» И ведь до чего убедительно, контролер поверил. Только ни я, ни Балдахал не верим. И это была отчаянная минута: для любителей видов природы было на что полюбоваться, — как три орла, бросились мы назад, расталкивая очередь, к опустевшему «гише», и стуча клювами по решетке, птичьим криком, в котором слышалось единственное французское слово «муа-муа», звали кассира. Сбежались и кассир и его помощник, выскочил начальник станции, весовщик и другие служащие даже из соседнего здания почты, даже — я ее узнал — хозяйка «Швали», похожая на спаржу: зрелище незапамятное — французы это любят. И тут у Балдахала вставший от волнения штопор в пищеводе вдруг опустился: он раскрыл свою записную книжку, а там и другие билеты — как положил с багажной квитанцией, так и лежат себе целехоньки.

И когда мы шли к контролеру, чтобы показать не один, а три билета, перед нами расступились. Но сами мы только в вагоне вздохнули — кончилось.

— И когда это мы поумнеем? — ворчал Корнетов, — или так нам на роду написано?

Глава третья
ПРЕССИНГ

1. ПУСТЯКИ

И весна и Пасха были особенные. Несмотря на «шомаж», кто на последние, а кто в долг, но все сделали, чтобы по-человечески встретить праздник и разговеться, как в России. И из всех — всех больше старался африканский доктор: африканский доктор объяснял всем, что это его

десятая Пасха в «изгнании». И чего он только не заготовил: какие колбасы — была и самая нежная кроличья, и самая замечательная с фисташками заячья, а какой окорок, вина, куличи и паски, и все эти душистые и вкусные вещи красовались со цветами, как полагается в Пасху; если заглянуть в щелку, так подумаешь, что находишься не в Отой, а в Таганке.

В Пасхальную ночь африканского доктора видели и на Дарю и в Сергиевском подворье: обычно наводящий гнетущее уныние и тоску крайней своей озабоченностью, а вот и узнать нельзя: беспечный, торжественный — во фраке ходил он и в церкви и по церковному двору и со всеми христосовался, насилием в губы. С ним можно было сравнить только не менее мрачного и вдруг просиявшего бывшего фотографа Сундукова, у которого от беспрерывного христосованья нижняя губа автоматически выпячивалась в пустоту и к предметам неодушевленным, ловя. И было, как в летнюю ночь: чуть накрапывал теплый дождик — лягушкам в большое удовольствие, а выходящим из церкви — легко дышится.

Отстоять обедню в Сергиевском подворье, куда собираются профессора и ученые, и где нет никакой тесноты и давки, как на Дарю, куда идут все, африканский доктор в величайшем благодушии и не один, а с теми избранными счастливыми гостями, которых пригласил к себе разговляться — десятая Пасха в изгнании! — возвращался компанией домой на ночном автобусе. И дорога была любопытная: и когда это случай такой выпадет — посмотреть ночной Париж с его огнями и развлечениями — автобус бежал бульварами на Пигаль.

Но удивление его с дорогой не только не кончилось, а когда переступили порог, дошло до — — гости остолбенели: если бы такое в шутку... либо во сне приснилось — нет, трудно себе представить — все вверх дном, весь пасхальный стол, с такой заботливостью убранный, как зубом сорван, на полу, и все вдребезги. Ни окорока, ни заячьих колбас, ни куличей, ни пасок, а бутылки расшвырены — те, что закупоренные, с пробками, а те, что были откупорены — пустые, и вокруг лужа, а уж битой посуды — тюк. «Воры?» — африканский доктор бросился к телефону: «конечно, воры!» — но виновато юркнувший под стол Флитокс все разъяснил, И как все оказалось

просто и какие пустяки: африканский доктор, продержав с неделю на диете своего Флитокса, уходя в церковь, загнал в соседнюю комнату, но позабыл запереть, и вот Флитокс распорядился и подчистил до — — яиц, даже и самой малой скорлупки признака не было. «Два десятка, — жаловался доктор, — два десятка схряпал!» И осталась гостям одна копченая веревочка от окорока — пес ее обнюхивал, а то б и того не попало.

О съеденном пасхальном столе у африканского доктора говорили всю Пасху и после Пасхи, а сам доктор имел такой вид, словно бы его самого съели: «не доглядел!»

Поэт Козлок, расчетливый и сообразительный, и, вопреки своим «кладбищенским стихам», всегда веселый и в беспечном духе, большой плут, а по быстроте кузнечик, задумал по-весеннему омолодиться, зашел в «прессинг» и, просидев без штанов с час в кабинке, вышел освеженный, как в новеньких; и с голосом, как дерево, и слухом врозь, насвистывал. Козлок еще не схватился, что у него в заднем кармане приколотая английской булавкой картдидантитэ и последние, на всякий случай, сто франков исчезли бесследно, счищенные чистильной машиной — дело человеческих плутовских рук.

О попавшемся в «прессинг» Козлоке скоро все узнают: Козлок сам будет всем рассказывать о своих вычищенных штанах. И никто ему не поверит — невероятно! да и не таков Козлок, чтобы забыть осмотреть карманы, и только Пытко-Пытковский, его спутник в комиссариат и в префектуру, засвидетельствует истинное происшествие: «не доглядел!»

«Прессинг» вычистил Флитокса: об африканском докторе, забывшем запереть свою голодную собаку, забыли, а Козлок, забывший осмотреть свои штаны, на «прессинге» устраивал дела — только и было разговору: штаны — Козлок.

Так вот и катится жизнь от пустяков к пустякам, а заканчивается пинком в великую пустоту — и над этой пустотой я вижу мать, как молча лежит она ничком на земле, и в эту пустоту, я вижу, молчаливые льются слезы — Афанасий Иванович в своей жаркой печали, видение Гоголя из глубочайшего сна, и это правда о человеке — и эта несчастная мать и эти слезы — любовь.

«Прессинг» ли счистил или подъела собака — какие пустяки! и конец: великая пустота! — и стоит ли так волноваться?

Да как же не волноваться? И разве в «живой» жизни, в заботах каждого дня, с надеждой и разочарованием, с удачей и бедой, скажется что-нибудь — «пустяк»? Собрался Корнетов на другую квартиру в город, а как хватился — переехать-то не на что: «деменажеман» — вещь дорогая! а стало быть, изволь и третий год сидеть в Булони между лесом и церковью, а на лучшие дни надежды никакой.

И Корнетовские воскресные вечера прекратились. На дверях все видели — карточка, но не «комплэ», как когда-то, а печатными буквами: «воскресенья отменяются», и в скобках — «подсовывайте под дверь условиться о дне свидания».

И давно бы пора: как знаменитые французские сливы вырождаются, так выродились и Корнетовские вечера. Ведь кто и хотел бы, с теми Корнетову и поговорить не удавалось: толкучка; приходили не к Корнетову, а назначая свидания у Корнетова, как в кафе; не спросясь, приводили своих знакомых, но самое зло и разложение — налетчик: пользуясь открытыми дверями, пошел народ совсем ни при чем, как на — — «пассаж клютэ».

«Отмененные воскресенья» — последняя новость вычистила из памяти Козлокский «прессинг», заговорили о Корнетове: почему и отчего так случилось? десять лет держалась толкучка, а на одиннадцатый — хлоп! — и крышка? Но наперед скажу: как съеденный африканский доктор, как вычищенный Козлок, так и отмененный Корнетов скоро забудется; забвение и есть тайна непрерывности живой жизни, а если бы все помнилось, жизнь прекратилась бы, просто не было бы ни сил, ни охоты устраивать африканские пасхальные разговенья, ни чиститься в «прессинге», ни отдавать в воскресные вечера свою комнату на поток.

В воскресенье Корнетов проезжал в Булони по Жан-Жоресу из дальней аптеки — пути Корнетова известны: бистро за папиросами, почта и аптека. Не доезжая церкви, около «маршэ», трамвай приостановился пропустить похоронную процессию.

На улице, как всегда в воскресенье, около рынка народ и у торговцев на тротуарах, где «поют», зазывая покупа-

телей, рекламные «шантеры», много любопытных кольцом друг за другом, как на крючке. Да и утро было свежее и ясное — зрелое, как на лотках виноград: соблазн и лакомство парижской осы. Корнетов вышел на площадку — все равно скоро соскакивать — и, когда процессия поравнялась с трамваем, снял шляпу и, вглядываясь, так и остался со шляпой в руках! — в «шеф-де-серемони», выступавшем с булавою, он узнал бывшего своего соседа писателя и переводчика мосье Дорà.

«Так вот чем кончилась таинственная поездка в Сирию! И все слухи — «застрял в дельте», объясняющие двухлетнее молчание соседа, только знак о необычайном превращении и неизбежном конце».

А как достойно Дорà исполнял свою новую роль крокмора: в его медлительности было столько значения, а в выражении усталых глаз, перечитавших столько книг мельчайшей печати — и эти его переводы бесчисленных страниц! — столько безусловной судьбы и смиренного покорства. И разве когда-нибудь мог он подумать стать вождем последнего поезда человека? Перед ним расступались, останавливались автомобили, прохожие снимали шляпы.

— Мосье Дорà, вас ли я вижу? — крикнул Корнетов.

И показалось, Дорà вскинул глаза... нет, Корнетов не ошибся: это был сосед — и то же самое неизменное выражение, с каким рассказывал он о литературных новинках — о Мориаке, Жироду, Сэлине, Монтерлане или о каких-нибудь морских деликатесах — о «крашу», «петонклях», «куто», «палюрдах», сопровождая восхитительным «délicieux», «épatant» и даже высоким «fameux». Но только на мгновенье — и опять глаза его устремились туда — на эти рельсы, катящиеся к вечному, немому «терминюсу», и никакого внимания по сторонам, да и не к лицу ему, олицетворяющему и слепую — здесь, и зоркую — там судьбу.

Если бы не отмененные воскресенья. Корнетов рассказал бы «всему Парижу» о своей необыкновенной встрече, и на несколько дней мосье Дорà, шеф-де-серемони, а вовсе не съеденный нильскими крокодилами, был бы темой для разговора.

Дома Корнетова ждала большая неприятность: сквозняком хлопнуло дверью, и дверное граненое стекло точно кулаком кто звезданул, но не упало, но и тронуть страшно: упадет.

* * *

Когда я пришел вечером в понедельник, я застал Корнетова в большом волнении: как вынуть стекло, чтобы не обрезаться? Хоть я и не стекольщик, но в моем теперешнем «метье» — я маляр, а наше «малярное дело, хитрее и лукавее его нет», мы и со стеклом свычны. И я, не уронив и осколочка на пол, вынул стекло по кускам.

Куски оказались самой затейливой формы.

Корнетов вдруг оживился:

— Меч Амадиса! — показал он на самый изогнутый и зазубренный.

— Меч... но какой Амадис?

Корнетов с упреком посмотрел на меня:

— Мечта Дон-Кихота.

А ведь мне и в голову не пришло про Дон-Кихота. И жалко выбрасывать. Да и невозможно: такое стекло заметно — «карро де катедраль!» — непременно узнает консьержка, а заменить нечем.

И немедленно были вылиты девять хрустальных мечей: куски разбитого стекла, разложенные по столу, перевиты серебряной ниткой, место клинка — серебро из-под чаю «лион», а сверх — бледно-синей бумагой и на наклеенном белом подпись: «меч Амадиса Дон-Кихот».

Так и совсем по пустяшному случаю в Париже появилось девять рыцарей пламенного меча. И хотя «журналь офисиель» об этом никак не обмолвится, «весь Париж» только и будет говорить, что о рыцарях, пока и такое, ничем не гасимое пламя, вздутое автором Дон-Кихота, не погасит какой-нибудь пустяковый случай: исчезнувший турецкий офицер с похабными усами.

В рыцари попал сосед Курятников и, конечно, профессор математики Сушилов, который, по обыкновению, обиделся. А про себя скажу, Корнетов и мне меч предлагал, но я отказался: уж очень мне памятно происхождение, не могу всурьез принять, а на высокое звание «литейщика» я согласен: была и моя работа, ведь одному Корнетову со стеклом никак не управиться — все б себе пальцы изрезал.

В качестве «литейщика» я ходил к Сушилову объясняться. Я ни слова не упомянул о ветре, который такую беду наделал — стекло дорогое! я только сказал, что если бы это был простой кусок стекла, и вместо ордюра по-

павший на стол к профессору, было бы обидно, но граненое стекло — «карро де катедраль», перевитое серебряной ниткой, и серебряный клинок, да ведь это конструктивная работа! — и где угодно можно повесить на стену вместо примелькавшихся цветов и лишенных всякой изобретательности натюрмотов, и притом подпись, которая и простое стекло скрасит: «профессору Сушилову меч Амадиса. Дон-Кихот».

И не столько моим словом, а чувством моих слов, я убедил: при мне Сушилов и на стенку повесил свой «пламенный меч» рядом с другим Корнетовским подарком необыкновенным натюрмортом — «Рыба — в туфле».

2. ПИСЬМО ДОСТОЕВСКОМУ

«Поэты, эти огни, излетающие из сердца народа, вестники его сил», говорят больше, чем народ, из которого они вышли, больше той земли, на которой они родились, и их голос — глас «самосознающей природы». Из Толстого и Достоевского узнаешь о самой завязи «живой жизни» — как строится она на земле, о чем люди живы: и какая несхожесть! но и самое противоположное — правда жизни. И больше, чем для истории литературы, а для истории человеческого самосознания важна каждая их строчка. Но разве не любопытны их корреспонденты — уж одним обращением своим заявляющие о своем полном одиночестве среди живых, живущих на земле без оглядки. Автор письма Достоевскому, один из самых смирнейших, кого я встречал в Париже за эти годы, по профессии он... теперь устроился: разносит творог, масло; а может и настоящие сливки, от какой-то русской фермы в Париже.

С болью и горечью пишу я эти строки — пропащие, потому что за ними ничего не вижу. А ведь это очень горько и больно, когда впереди — ничего. Я так себе и говорю: жизнь моя пропащая... «От страдания ведь убежал! Было указание — отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом». Эти слова ваши, Федор Михайлович, жестокий приговор, много они объясняют и для многих: я только тут ясно понял, что такое возмездие. Но к себе я никак не могу применить его. И то, что я очутился за границей, оторван от России, живу «под

покровительством Божьим», как дикий зверь, но с газом, электричеством, лифтом, свободно, не отбывая никаких повинностей, никому не отдаю отчет в своих мыслях, что хочу, то и думаю: все это нисколько не меняет моей судьбы. Я ни от чего не убежал — мне и очищаться-то нечего: ведь моей прошлой жизни в России, как и теперешней, едва ли бы кто позавидовал! Никогда никакого страдания я не боялся — «хотя бы оно было бесчисленно». Но всегда я был малодушный и нетерпеливый: со скрежетом и отчаянием переношу физическую боль и мучаюсь от зябкости. Малокровие ли мое и мои нервы — мои рефлексы? ко мне и прикоснуться нельзя, привскочу, и на стук всполошусь до дрожи, а в несчастных случаях — в столбняке, я как дурак, со мной пропадешь. И что еще ужасно — моя неизгладимая зрительная память: посмотрю — и уж никогда не забуду ни человеческих страданий, ни молчаливо плачущей беды животных. И вот в таких-то путах, кроме всего, и нищета забивает — а самое горькое, я это чувствую, что дух борьбы покинул меня, и вылезти на свет Божий нет у меня никакой надежды. А как мне хочется тихих минут, непрерывных, запишу хоть эти мои мысли — о моем пропаде. И еще я люблю вслух читать книги... И не из одних только книг, а и по себе знаю: есть боль жизни, и без этой боли нет жизни, это что-то вроде музыки; и еще есть радость жизни, и без этой радости нет жизни, это — любовь; а есть еще и обрадованность и без этой обрадованности неполна жизнь — это те вдруг слезы, но не горечи, а любви, «когда ангелы Божии радуются на небесах», это то кроткое прощение большого человеческого сердца, когда на мой вопрос: «простится ли мне?» — я слышу ответ: «и не вспомянется!», это тот властный подымающий голос, прозвучавший однажды человеку в его последнем пропаде: «возстань и гряди!» Вот круг моего чувства к жизни, которая непременно боль и непременно радость и, как особый дар, обрадованность. И вот остается мне на мою последнюю долю — одна только боль...

Рассматривая в иллюстрированных приложениях портреты знаменитостей, я как-то подумал: какой это секрет в их лицах — черты какие делают их знаменитостями? И сравнил себя. И еще подумал: но ведь все эти знаменитости, как толкачики, и век их — предвечерний луч,

и все-таки — и опять сравнил с собой. Нет, я никогда не попаду в их, хоть и однодневную, но громкую галерею. Разве чего-нибудь сделать для «хроники»? — но для этого прежде всего и обязательно «действие», а я только и хочу, чтобы меня не трогали, мне труден каждый шаг, каждое слово, трудно нагнуться, меня не соблазнила бы находка, хоть я и с остервенением мечтаю найти, ну не миллион... мне трудно ответить на «здравствуйте» даже как сегодня, когда такой пасмурный успокаивающий день. Для «хроники» я никак не матерьял и газеты на мне никогда не разживутся. Такой уж я есть и ничего тут не поделаешь. Но у меня ни к кому зависти и никогда я не метил в знаменитости, я только приглядывался и, странно сказать, почему — да просто чтобы не походить на самого себя. И никто не виноват в моем пропаде. И вообще, отыскивать виновных в своей участи дело бесполезное. А просто я таким зародился.

Родился я богатым, но только богатым взглянул я на мир, тем дело и кончилось. И когда моя нога коснулась земли, сразу и попал в круг бедных, и навсегда. С детства я был незамечаемый. Но это тоже произошло не сразу. Сначала говорили о моем счастье — я родился «в сорочке», и хотя известно было, что акушерка украла эту «сорочку», я оставался и без доказательств особенный, отмеченный. В моей ранней памяти много лиц — много рук, по которым я хлопаю моей рукой «на счастье»: я приносил людям счастье — от меня шла удача и успех в задуманных делах. И почему-то вдруг меня забыли: или я потерял мой счастливый дар, и это заметили и перестали доверять мне. И больше я не помню никаких протянутых рук за моей рукой. Я не знал почему так произошло, и никто мне про это не говорил. Но во мне кипело. Не помню, что меня такое обидело, какой это был последний толчок, но я решил все мое сжечь. Из кубиков я сделал печку, в эту печку положил всякого сору и поджег. Поджег — и не убежал. Дети обыкновенно подожгут и сейчас же бежать, я недавно вечером видел тут у нас на пустыре, где щебень и растет репей — земля «продается», на моих глазах подожгли и бросились кто куда — все такие лет по двенадцати, как у вас рассказано в «Карамазовых». А мне и пяти не было. Печка моя хорошо загорелась и, следя за огнем, я не чувствовал никакого страха, я только

из-чувствовал из самых глубей моего всполохнутого сердца, как с занявшимся пламенем тает моя обида — какая-то первородная обида, еще не сказавшаяся во мне словом. Огонь заметили вовремя, печку погасили, но меня не наказали, мне только сказано было, что «с огнем нельзя играть». И с этих пор я забросил все мои игрушки. А свою заброшенность я сознал позже.

Мне было шесть лет. Как-то летом, в пасмурный вечер, я забрался под террасу — дом, где мы жили, стоял на окраине города — под этой террасой сложены были доски. И там в темноте, в теплой сырости, я вдруг все понял и вышел, точно похоронив что-то. Меня никто не видел, только наша дворовая собака, она проходила мимо террасы, спокойно помахивая хвостом, и мне показалось, одобрила меня. Я вышел на свет другим: там, сидя в темноте, я поклялся вернуть свое счастье. Я вышел затаившимся, настороже.

А ничего не изменилось, хуже того, я вскоре заметил, что на мне лежит печать «недоверия». Точно за то мое счастье, которое вдруг изменило, перестали мне верить... За все время моего детства я вспоминаю единственного человека, который ко мне отнесся не как все. К матери приезжала ее знакомая, бывшая гувернантка. В ее приезд весь дом для меня освещался: почему-то из всех детей она выбрала меня и всегда со мной занималась, расспрашивала о книгах, которые я читал без разбору. Я и книги-то стал читать не от пытливости, а чтобы как-то выделиться — переделаться — стать не самим собой — и, став другим, обратить на себя внимание. Недоверие ко мне меня мучило. С этой Бертой Адольфовной, как мне казалось, доверявшей мне, связано у меня представление и до сих пор оно живо, как о чем-то стеклянно-блестящем, точно эта бесцветная немка, всегда одетая скромно, была увешана стекляшками и гарусом, и все на ней стеклянно звенело до ее слов с неверным произношением и нерусскими оборотами. И после ее посещения я ходил, как поднятый, я повторял немецкие слова, но воображал я себя французом, нашим классным надзирателем, необыкновенно живым и всегда веселым, и я, совсем невеселый по моей природе и никак не живой, а чересчур медленный, подписывался на своих тетрадях по-французски, потом буду себя воображать англичанином.

Я теперь понимаю, эти превращения мои были лазейкой — чтобы только не походить на себя. Учился я хорошо. Да иначе и не могло быть, ведь в этом было единственное мое спасение. Но меня прямо ошеломило, когда на первую мою университетскую работу о хитиновой пластинке у какой-то инфузории мне ничего не нашли другого сказать, как убийственное для меня: «неужто это вы написали?» И еще один случай: я обыкновенно часами читал себе вслух и научился читать громко и отчетливо и однажды выступил на вечере — чтение мое понравилось. И знаете, что я услышал? — «вот неожиданно, сказал один из устроителей, какая у вас дикция!» Но почему ж неожиданно? Я и раньше стеснялся себя, а тут просто возненавидел. «Что же это такое, думал я, отчего мне никто не верит? Что мне сделать, чтобы я был, как все? Ведь нельзя же ходить среди людей с такой Каиновой печатью!» И я старался перенять у других, которых принимали всурьез, их манеры, их голос и даже их мысли, чтобы только, скрыв себя, на их плечах, бесспорных и признанных, выбраться в люди. А кроме вреда ничего не получилось: свое я загнал так, что и при желании-то трудно было его отыскать, а чужое меня запутало. Я говорил — и не верил моим словам с чужих слов, я встревался — и не верил этим моим фальшивым подражаниям. И если мне когда-то не доверяли, теперь я сам себе не верил. Так замкнулся круг. И в эту отчаянную полосу моей жизни я сделал непоправимые ошибки, за которые мало что стыжусь, но и до последнего дня несу кару. И я понимаю: то, что есть — к чему пришло в конце концов, тому и должно было быть.

А как прекрасен мир со всеми его «ошибками», за которые, вы правы, человека нельзя винить — да, можно винить только самого себя и отвечать перед самим собой! — как богата жизнь с ее болью, с ее радостью и обрадованностью. «Только бедный человек, говорите вы, может знать, как плох человек...», но позвольте мне добавить: «и как хорош человек!» и это я готов повторять тысячу раз. Ну, сами посудите, можно ли было вынести жизнь простым смертным в России в годы военного коммунизма, если бы люди не помогали друг другу? И это я говорю из живой жизни. Я никакой «революционер», но когда я читал, как бросали бомбы, у меня сердце

загоралось. Я и сам не знал, что только с революции я вздохнул, точно стена рухнула. Но судьбы моей это не изменило, а пожалуй, еще яснее стало мне мое самое глубокое — моя роковая запутанность, результат долгой работы, только бы не быть самим собой, та путаница, за которую я отвечаю всю жизнь. И как это трудно и больно отвечать, когда все сознаешь и нельзя вернуть! Еще в Москве я начал писать. Мои рассказы не хуже других. Но у многих из нас или нет ничего за душой или очень бедно, и часто вместо «потока мыслей» бесстрастный «поток слов». Конечно, кто еще, как вы, не нарушая приличий, с откровенностью до бесстыдства, сумел всего себя выложить со всей своей тайной! Но у второго круга писателей, про нас и говорить нечего, при ограниченном зрении, слухе, чувстве и памяти совсем нет и смелости, чтобы взять и бухнуть всю подноготную, пусть хоть крупицу. Напротив, все, чтобы скрыть и эту крупицу: и для этого — и «поток слов» и внешние прискучившие события. Литературные произведения в большей части своей и есть набор таких искусно-расшитых скрывающих покровов, нелегко и догадаться, что именно закутано, какая «ошибка» или какой грех или какая страсть в навязчивой ли мысли или в неизбывном желании, то самое настоящее — самое живое — из «ошибочного» мира. И я думаю, в то первое, когда откроется что-то за нашим чувственно-временным миром, там — в великой пустоте, в этой «пауковой» бане человек чувствует себя до такой степени бедным без слов и искусственно оплетающих мыслей, которые скрывают самое главное и простое, чем он жил — мучился и радовался на земле. И если суждены встречи и в этой пустоте — на «том» свете, как должно быть редко кто друг друга узнает.

И я, разве я смею рассказать, а если и посмел бы, то сумею ли рассказать — — а это оттуда, из той полосы жизни, когда я перестал верить себе...

Я вижу человеческую душу в ее физическом состоянии, застигнутом, остановившемся во времени: я вижу человека — видали ли вы таких, идет неуверенно, в сущности, без всякого права на существование, а живя на положении дикого зверя, как-то ухитряющегося быть на земле среди высчитывающих свой бюджет, сам без всякого бюджета, хронический «шомер», «лишенец», и не по декрету, а что

еще жесточе, по своему какому-то первородному существу ненужного и неподходящего, идет и все губами как будто от спазмы слюну глотает, смиренно уступающий дорогу и готовый всегда первый с вами раскланяться, и не потому, что хочет, а потому что не может иначе, да и нельзя иначе, готовый на все унижения, именно унижения — и ничего-то, ничего не поделаешь! Так это я самый и есть. И вдруг оказывается — получаю в подарок хрустальный меч: я «рыцарь пламенного меча!»

А знаете, на чем бы я душу отвел — знаю, желание мое невозможное и никак не исполнимое. Но это мое чувство, как тогда, как я задумал сжечь все... Больше всего не выношу я «легкости», той самодовольной легкости, которую я всю жизнь домогался усвоить себе... а ведь без этой легкости, куда ни пойдешь, не обойдешься. Так вот бы я и прошелся по мюзик-холлам, дансингам, ночным кабакам, — по всем этим танцулькам, где так легко веселиться и в руках у меня — не хлеб, там не нуждаются, а только бомбы!

Что ж, если никакие революции ничего не изменили и нет никакой надежды изменить человека, вы правы, для его же пользы — вернуть его в лоно и очистить воздух: ведь не только от гнусности и подлости человеческой и всякой путаницы, добавлю и за себя, но и от пустой самодовольной легкости «дышать нечем».

3. НАД МОГИЛОЙ БОЛДЫРЕВА-ШКОТТА. 1903—1933

Когда гроб показался во дворе Монпарнасской церкви — медленно и важно, а этот двор мне, как тюремный в Таганке, я вспомнил — вот точно так же Шкотт вошел к нам на Villa Flore, где мы жили в 1927 году, — и я узнал ее в этом дощатом, очень узком, медленном и важном гробе, как тогда в его очень узком, но опрятном пиджаке, — «глядела бедность».

Последние дни Пасхи — «Христос воскресе», с которого начато и кончено отпевание, и за этим необычным — пасхальным — и при виде черным покрытого и бедными цветами, но цветами! гроба — не чувствовалось смерти. И только там, на дальнем, открытом, как среди пустого поля, Тиэ, когда в одну из узких, рядами заготовленных ям упали первые комья — твердый ком за комом, —

земля о деревянную крышку гроба, — этот обратный звук вскрику человека, впервые увидевшего свет, — последний безответный из мира, я всем существом моим до дрожи ощутил глухой и непреклонный голос смерти, но и понял, что уж больше не надо «думать», по крайней мере весь кошмар верональной температуры кончен... а о снах в бестемпературном «смертном сне» я не подумал.

Жизнь Шкотта за эти шесть лет с нашей встречи — круг напряженнейших дум, суровый литературный путь, тяжелая физическая работа и тяжкий недуг.

«А ведь и самому упорному надо какую-то передышку! ну, просто выспаться, переменить место, — тогда и в самом тягчайшем недуге освеженные силы дадут надежду!» Это я сам с собой — не могу помириться, чтобы взять так и — кончить бесповоротно.

А какие они — крокморы! засыпали да не совсем — стоят над незасыпанной: «лопаты на три осталось, завтрашний день кончим!» И догадываться не надо: дал кто-то пять франков — смотрим: а уж все и готово. Дали еще — и уж крест воткнут, цветы кладут. «Такое их мэтье!» — сказал кто-то. Ну, точно дети.

В памяти о человеке всегда остается, хотя бы и последняя мелочь, но что особенно тронет и станет незабвенным: это тогда, еще в первое знакомство на Пасху принес Шкотт маленькую ветку сирени, и веткой-то нельзя назвать, а так лапасток какой-то от ветки с белыми звездочками-цветами, ветку, из которой — — и я вспомнил, как однажды в Петербурге, тоже на Пасху, прислали нам «добрые люди» корзину с ландышами — «прямо из Ниццы» — и стоила она шестьдесят рублей, как объяснил посланный, а потом уж в Париже я не раз видел такие корзины, — удивительные свежие ландыши! — но никогда я не видел и только однажды такую ветку, из которой — «глядела бедность», и перед ее болью в вихре моих мыслей и глуби моих чувств осветился стол, комната. Villa Flore, Avenue Mozart — весь Париж. И теперь я все беспокоился о наших последних цветах: ведь крокмору — дело привычное — и не заметит, и не заметишь, сапогом смахнет! — венок от «Технической школы», где последние годы учился Шкотт, к кресту поставили и от креста дорожкой цветы тех, кто в последний раз вспомнил, и вижу, наши — желтые ромашки — память о его материнской родине России, и ландыши.

«В ваших странствиях, Иван Андреевич, дорога привела вас на Villa Flore в мой мир «по карнизам» и мир «слова», вы ступили на трудный путь «слова», но слово — «слово без денег, будь оно и самым раскаленным, оно бескровно, ничего!» и что я мог и что могу сделать для устройства литературных дел? — ничего. А моя работа — впрочем, разве я мог удивить вас и самой беспощадной требовательностью? — вы такого крепкого корня: вам напролом и упор — наследственная стихия».

Родословие Шкотта — от «старого Шкотта» — Джемса, Якова Яковлевича, память о котором долго хранилась на Москве: «распахать всю русскую землю усовершенствованными орудиями и научить русских детей английскому языку!» — вот с какой затеей приехал Шкотт в Россию сто лет назад. Сын его Александр был женат на тетке Лескова, и в судьбе Лескова семья Шкоттов имела решающее значение.

Имя Лескова Иван Андреевич слышал с детства, но близости никогда не чувствовал. Не Лесков, а Достоевский, и особенно «Необходимое объяснение» Ипполита из «Идиота» и Кириллов из «Бесов», вот куда обращены были глаза Шкотта.

Умный, а это большая редкость, начитанный, и это нечасто, не пустой человек и не легкий — ответственный, и без этой «шутливой беззаботности», хорошо читал и хорошо смеялся... и большой искусник — делал тонкие миниатюры на слоновой кости и решал головоломные задачи, он добился бы своего и стал бы в литературной работе мастер.

Весной 1927 года перед своей поездкой в Нормандию на работу в Коломбеле в первую нашу встречу Шкотт принес сказку в стиле Леонида Андреева беспредметную, где действует Электрон, Океан и Голоса. Но в разговоре выяснилось, что у него есть русская память — повесть «Мальчики и девочки», погребена в «Современных Записках», а, кроме русской памяти, есть и наблюдения над «живой жизнью» русских в Париже, — ряд рассказов: «Пирожки Ивана Степаныча». С этих «пирожков» и началось его литераторство под фамилией Болдырев.

На металлургическом заводе, где работа была очень деликатная, — «постоянно на сквозняке или иногда при-

ходится под дождем все восемь часов», а после работы в комнате-казарме на четырнадцать человек, Шкотт «настойчиво и упорно» писал «Цветную сумятицу» — его третья тема: «сон и безумие».

«Мальчики и девочки» вышли в 1929 г. отдельной книгой в издательстве «Новые писатели» — «Москва».

Но ни «сны», ни «пирожки» не вышли и продолжения не появлялось, — впрочем, где и появиться? А тут еще «требовательность к себе» и «ответственность» — наварзать-то легко и даже очень, Шкотт очень хорошо понимал всю смехотворность и всю жалость звания «искусственного» писателя или славу «кинематографического» мотылька.

С кладбища нас вез товарищ Шкотта дальними путями, но дорога не показалась утомительной: говорили о Шкотте и его судьбе — невеселое решали — и какой это холод и черствость — круг человеческой доли — на глазах погиб человек! — и со словами руки у меня горели. На набережной недалеко от Сен-Мишель автомобиль приостановился — затор — я заглянул в окно: седые, еще седее показались мне камни Нотр-Дам! — и вдруг на узком тротуаре среди локтями пробивающих себе дорогу... и я узнал ее — «глядела бедность» — это моя — неразлучная сестра со всей ее болью, гневом и моим несмирным смирением.

4. НА ВОЗДУШНОМ ОКЕАНЕ

Какой срок жизни надо человеку, чтобы начались традиции? — Десять лет. И это вовсе неспроста — такой срок: «давность». И по римскому закону книга, изданная десять лет назад, принадлежит общественному достоянию, и автор освобождается от гонорара или вроде как бы перестает существовать на белом свете, хотя пить и есть просит. За десять лет у кого из русских, живущих за границей, не оказалось такого уголка на чужой земле, который стал бы своим — к которому тянет, несмотря ни на что, как только к тому, что полюбил. Ведь любовь тем и красна, что никогда не за что, а так, «потому что», т. е. бескорыстно.

Для меня таким уголком на чужой земле стал Океан, и я его чувствую, как свое, не почему, т. е. люблю. Я

называю его «воздушный», потому что море безбрежно, и, где начинается небо, не различаю: мое окно через зеленый виноградник переходит, как в это утро, в коричневую, цвета ореха, маслянистую шкуру плывущего безглазого, с пепельным хвостом, загибающимся и распущенным высоко над виноградником. По ночам этот хвост убирается мелкими звездочками. Но я полюбил не тихие звездные ночи, а бури со свистящим, ничему не покоряющимся, не знающим ничего, кроме себя, ветром: извеяв и извив все это безбрежно-дышащее, вдруг разлетывается свистом, и это не праздный, раздражающий свист, но слово угрюмой безгласной, только ворчащей, «бормочущей» стихии — моего воздушного Океана. И как мне не любить этот свист — прaслово — слово, которому я отдал жизнь. И еще я люблю в дождик идти по дороге, не заботясь, что промокли мои парусиновые туфли, и очки, как заплаканы: в мелкий морской дождь я чувствую свежее дыхание скрывшегося за тучами Океана; Океан ушел туда, и вот плывет надо мной, и это его легкое спокойное дыхание выговаривается у меня словом: «медведь», «пихта», «кипарис». В шорохе пихты и кипариса, как и в медвежьем тепле, есть и заботливость, — ну, что ж, что промочил ноги, подсушит, не Париж, никакого гриппа! — и навеянность, и этот сказочный вей не извне, а в твоих мыслях, это сон самой темной глуби, это напархивающее слово размышлений, в конце которых самосознание, это память — и первая и последняя. А у кого же нет такой памяти и озарения, и как не любить этот морской дождик: ведет, как волна, идти и мечтать.

Полжизни я прожил на Москва-реке, полжизни на Неве, я речной, плаваю и ныряю, как рыба, — конечно, речной-то не настоящий, не Волжский, не Камский, а московский мелководный и питерский «скованный гранитом», и знаю, не на реке, а только в безбрежном и бурном я нашел свое и полюбил, теперь я это могу сказать, когда исполнился срок — десять лет.

* * *

На Океане только и есть: или буря или тишина. Закутанный туманом Океан спит, и оттого тишина. И петух Бабиляс уверен, что все еще ночь, схватится и запоет.

А все то же — тихо — и моим глазам тихо — там серые тихие тучи, а в комнате — мухи.

И это не «жужжит и бьется муха, ударяясь с налета о стекло» — страж навсегда проколотого сердца (Достоевский) и не «тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший» — поблескивание неугасимого сердца в запутавшихся мыслях Толстого, — ни единого звука, а только беззвучный перелет моей живой мысли.

Я люблю утро — только утром мысли так ясны и во всех извивах уловимы — я люблю утро и печальное, как сегодня, и бурное, как вчера.

Рассеется туман, и в раскрытое окно мне видно, как плывет Океан — его необозримая чешуйчатая дышащая спина. И не только чувствую я живое в этом поднимающемся от виноградника — над виноградником Океане, и любимое, куда ведут все мои летние дороги из Парижа, на моих глазах вырос и развился Морис с его десятилетней памятью, связанной с моей.

Я начал с археологии — с неписанной памяти чудесно положенных и поставленных нечеловеческой силой побережных камней. С Морисом выходил я в лунную сверкающую ночь, светящуюся всем безбрежным серебром, к дольменам и менгирам, и каких кориганов мы не навидались, различая их в притаившихся тенях, и было очень страшно, но мы боимся не кориганов, а собак и быков. И об этом Морис вспоминает, только он уж не боится ни собак, ни быков, и мне кажется, что и в кориганов он больше не верит. На мое замечание, что в Париже «заяц Барбазон» о нем справлялся, Морис улыбнулся, и по этой улыбке я все понял. Да и как же иначе — такой возраст, вся его душа в этой жизни, в этом мире, на этой земле и мысли здесь, а чудесное — какой-нибудь вызванный мною к жизни заяц Барбазон, лютен Мурион, сово-пес Упу, бурящая Уль, все это «клочки и отрывки» какого-то другого мира ушли из его глаз.

После археологии я взялся за историю, я читал легенды о «святых», окрестивших все эти загадочные камни. Мы мечтали пройти освященные дороги до «крайнего камня» — Pointe de Raz, где море и скалы и единственный остров одиноких — île de Seine. Не все; но по многим дорогам я прошел за эти годы, побывал и на «крайнем камне». Наши мечты были ярче и они живы в Морисе,

который вспоминает мои рассказы о Броселианском лесе, о Мерлине, о каменном поле Корнака и о девяти друидессах острова Сен.

Теперь я смотрю, как обрабатывают виноградник; меня радует, когда среди голых скал я встречу игольчатую стальную мельницу «эольен», добела вертящуюся под непокорным, ничему не покоряющимся, а вот попавшимся ветром, или когда у дикой скалы под обрывом подымается гигантская сосновая или каштановая удочка, неподъемная, а заманивающая в свою сеть тысячу рыб — «каррелэ». Когда мы шли по дороге, Морис показал мне два трансформатора — один для освещения коммуны, другой для города, и водил на электрическую мельницу. Работа человека будет третьим пластом памяти Мориса.

Когда-то Морис собирал обожженные спички: из пробок и спичек он делал кориганов; теперь Морис собирает все — все, какие есть на этикетках крашеные картинки, и из-под шоколада Сюшар: ему надо триста Колониальных видов, а у него и дюжины нет; и начал коллекцию марок. Всякий день оба мы ждем полдня — пэр Журдан, достопримечательность коммуны, о котором идет слава, что никогда ничего не ест, но ежедневно выпивает 80—90 стаканов вина, не считая добавочного коньяка, рома и водки, летом, чтобы освежиться, зимой, чтобы согреться, пэр Журдан — «фактер» принесет письма: я жду чудесных вестей, Морис — волшебных марок.

* * *

Любимец Мориса — Кори, рыжий кот с зелеными глазами. Морис обращается с ним, как и все дети, он мучит своего любимца, но кот все терпит, и нарочно поддается, если чувствует, что это Морису приятно. За «деженэ» и «динэ» Кори и Морис неразлучны. Кори лежит на полу справа хвостом ко мне, чтобы как-нибудь случайно не встретиться со мной глазами.

Чудесные дела творятся на белом свете: при первой нашей встрече Кори меня смертельно забоялся — он бросился из комнаты на двор, и со двора через виноградник к берегу, вскочил на рыбачью лодку, и только на другой день его нашли на острове. Вот какой страх нагнал я на

кота, и с тех пор он ложится хвостом ко мне. А когда однажды мы встретились в коридоре, двери были закрыты, убежать некуда, кот обмер — дух вон и лапы кверху! — но стоило мне выйти, он поднялся, как ни в чем не бывало. Неисповедимо!

Когда-то в раннем детстве, проходя по железнодорожному мосту, я испугался встречного поезда и с тех пор боюсь провалов и собак. Но столкновения в житейских делах и особенно один случай изменили мои чувства. Провалов я по-прежнему боюсь, я не могу подыматься на колокольни, заглядывать в пролеты — молодой русский маляр, спец по высотам, получающий 25 сантимов за каждый рискованный метр, уверял меня, что все это дело привычки — если б привычка! как часто, засыпая, я вдруг невольно начинаю представлять себе, что на страшной высоте карабкаюсь по карнизу и с ужасом чувствую, что о сне уж нечего и думать. Но собак я больше не боюсь: я заговариваю с ними, я знаю, у них нет никаких «двойных мыслей», и они это чувствуют и со мной всегда ласковы. А от собак перешло и к другим животным и даже звери в клетке внимательно на меня смотрят. Да и собачьи хозяева — Париж город собачий — встречаясь со мной, глядят, как на знакомого, только что не раскланиваемся. И не могу понять, откуда такой страх передо мной у несчастного Кори?

Или ревность? — но ведь Морис его мучает и кормит, а я ничего не беру от Мориса, я же подкладываю ему на тарелку — Морис любит косточки даже от сардинок и шкурку, все равно и колбасную.

Когда Кори, не смея поднять на меня глаз, чувствует, что я на него смотрю, он начинает выделывать хвостом такие веера, словно бы хвост его не из шерсти, а из перьев.

Случай с Кори — хорошо еще, что знакомый рыбак принес домой, а то пропал бы кот! — этот небывалый случай потрясающего страха обошел всю коммуну, и соседским детям очень захотелось посмотреть на меня, и еще потому, что я не француз, а они видели только французов, и говорю по-русски. И вот на закате они явились гурьбой — Синет, Бебер, Птижан и Фифин. Меня к ним вывел Морис и заговорил так быстро, что я ничего не понял. И, не зная, что им сказать — по-русски-то я

знаю — я трижды громко прокуковал. Как они были довольны, и еще потому, что им дали по огромному куску хлеба, густо намазанному вареньем. Влипая пальцами, ртом и носом в сладость, они глядели на меня с таким счастьем с таким восторгом, и я еще раз прокуковал, еще громче.

А вскоре они опять явились, чтобы заявить мне, что они тоже знают по-русски, и в один голос выкрикнули единственное слово: «квост».

* * *

Самое излюбленное у детей — хвост. На этом держится величайший соблазн: «дерни собачку за хвостик». Смотрят ли картинки, всегда можно сказать, на что прежде всего обратится внимание: именно на хвост — есть ли хвост? Когда я рисую картинки, я всегда должен где-нибудь сбоку нарисовать два хвоста, похожих на плетки, один покороче, другой подлиннее и с неизменной подписью: «et personne n'y comprend rien», «никто ничего не понимает и никому невдомек». А эта таинственность из тех легендарных «пережитков», на которые теперь Морис улыбается.

Пэр Гийю, слава которого не уступает славе Журдана, автор знаменитой «серпан де-ла-каллож» — таинственной змеи, которую никто не видел, но которая, он, Гийю, знает наверно, живет в соседней деревне Каллож и ночью выходит на дорогу, рассказывал, что он тоже знает такого человека, который может поднять и перенести в любое место неподъемный менгир или дольмен: человек этот на гусиных лапах в красном фартуке и с четырьмя пальцами на левой руке — Бугр-Бугр, и его тоже, как «змею-каллож», никто никогда не видел.

Морис ни в змею, ни в Бугр-Бугра больше не верит.

«Хвост!» — повторяет он свое любимое русское слово, выговаривает его на французский лад: «квост».

И этот «хвост» весь день и надо и не надо. И Синет, и Бебер, и Птижан, и Фифин повторяют за ним, и я уверен, вся коммуна щеголяет этим русским «хвостом» — пэры, бономы и бонфамы — деды, отцы, тетки и дяди.

И когда я рассказал о «Колониальной выставке» и, конечно, о освобожденных зверях, в воображении Мориса возникла завлекательная картина: освобожденные, пасу-

щиеся на воле звери, в их числе и лягушки и крокодил, а в центре слон — слон Бабар стоит на выставке, чтобы трогали и дергали его за хвост и, само собой, за известную плату: тронуть — 50 сантимов, дернуть — 1 франк.

— Бесплатно можно только кормить слона хлебом.

* * *

Ничего подобного я не видел, что увидел в это утро. И это бывает здесь раза два в году, когда все «бономы» и «бонфамы» в ужасе несчастного Кори забиваются за шкапы, под гигантские кровати, зарываясь в подушки и шепча заклинание св. Варваре, покровительнице артиллеристов, великомученице Варваре, цветку из короны Господней: «когда гром грянет, св. Варвара заступит»:

Sainte Barbe
fleur de la couronne
de Notre Seigneur!
Quand le tonnerre tombera
Sainte Barbe m'en gardera!

Морис в моего зайца Барбазона больше не верит, — а какой чудесный этот Барбазон, какие носил «сюссетки», липнущие к губам, так что и разноцветную бумажку съел бы; и в змею Каллож не верит, — а какая эта змея пронырливая и, если, бывало, не тыкать маленькими вилами в живую колючую изгородь, нельзя и по дороге бегать; и в Бугр-Бугра не верит, — а этот гуселапый Бугр-Бугр может и не только исподъемный менгир или дольмен, а захватит четырьмя пальцами весь дом и со всеми кроликами в свой красный фартук, не крякнет, только и видели; но в «святую бороду» и «пять цветков Божьей короны» Морис верит — и в грозу шепчет заклинание, принимая св. Варвару за пятицветную бороду, по созвучию «cinq» и «sainte».

Sainte Barbe,
Cinq fleurs de la couronne
de Notre Seigneur!

. . . .

Я проснулся от грома — живя столько лет на Океане, я услышал гром в первый раз. И вот что я увидел из

окна: туча не плыла, как это обыкновенно бывает, туча стояла, и видно было, где начинается, и где конец. Ни капли дождя. Молнии сверкали непрерывно — змейками с громом падали они в виноградник. И только, когда этот грузный, насыщенный огнем и громом черный остров вдруг сорвался, хлынул дождь.

Гроза продолжалась с четверть часа, но, по сверканию молний и грохоту грома — ужасным, казалась бесконечной. На дороге было так тихо, как в глухую ночь — куда девались автомобили, и все «бономы» и «бонфамы», они как вымерли! И в доме было тихо, как в час, когда перед сном я читаю вслух, и только шипел электрический провод да по углам шепталось:

Sainte Barbe,
fleur de la couronne
de Notre Seigneur.
Quand le tonnerre tombera,
Sainte Barbe m'en gardera!

Около дома на дороге два громоотвода, и бояться нечего, и все-таки страшно. Чего же люди боятся? Или своей неизвестной судьбы, которую не отведешь громоотводом?

А как было мирно потом, как ясно море и чисто небо, какая свежая прозрачность — мой воздушный Океан.

День прошел, как пролетел, уверенный и довольный. После «динэ» свет не зажигали. И у влажных окрашенных стаканов остались за столом. Жермен, Сюзанн, Пьеретт — тетки Мориса — изнывающие по женихам, пели о Коломбине и Арлекине: «вы, только вы...» или по-русски — «один, ты один...»

Arlequin rêve à Colombine,
Les hirondelles à leurs nids,
Les buissons verts à l'églantine,
Moi, j'ai mon rêve aussi —
C'est vous, rien que vous
Ce rien pour moi, c'est tout.
Je rêve à vos yeux;
Ce rêve est mon aveu,
L'amour me conduit
Il va. je le suis,
Toujours et partout
Mon horizon c'est vous.

Я сижу за столом с Морисом. Ему всегда чего-то неловко, когда поют. Я понимаю, он стесняется, он никогда сам не осмелится вдруг при всех запеть. Морис — мой товарищ — мой «копэн», «mon pote»: я тоже никогда не осмелюсь вдруг запеть. И мне всегда чего-то неловко, когда поют —

Tout en rêvant dans la nuit sombre,
Je dis votre nom à mi-voix.
Les yeux fermés, je vois une ombre.
Et l'ombre que je vois...

Морис — единственный. И виноградник, и много земли, все — ему. Из него выйдет хороший хозяин, он и теперь знает столько технических названий, и мне, выросшему в городе, никак не заучить. Будет ли он счастлив с такой большой землей — в наше время, когда на Колониальной выставке в Париже освобождены звери, а на моей родине земля ничья, и не лучше ли не владеть никакой землей! У них есть ферма, на ферме дом, в доме сено, зерно и машины. Когда Морис будет большой, он в этом доме устроит три комнаты: в одной будем жить мы, в другой он и его «фамм» и в третьей Бебер без «фамм».

— Когда я буду большой, — говорит Морис, — вы приедете ко мне, и мы побежим в сад и перетрясем все деревья: яблони, груши, персики, сливы — все съедим, а потом будем лазить на сено...

Пению не видно конца, как нет, и нечем утолить мечту.

Морис клюет носом. Мне пора: я прощаюсь — я целую его глаза — «les yeux noisette».

Часть пятая

МЫШЕОНАЛЬНО

1. ПОЛЕТ НА ЛУНУ

«Луна такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся на луне».

Гоголь. Записки сумасшедшего

«Страхов мне говорил: «представляйте всегда *читателя* и пишите, чтобы ему было совершенно *ясно»*. Но сколько я ни усиливался представлять читателя, никогда не мог его вообразить. Ни одно читательское лицо мне не воображалось, ни один оценивающий ум не вырисовывался. И я всегда писал *один*, в сущности — для себя».

К этим словам Розанова надо прибавить, что «в сущности» так всегда все и писали от Вавилонского столпотворения до Ничше и от Ничше до Валери, такова природа всякого искусства; и еще к слову «всегда писал один»: один? — то-то и есть, что никогда не один! — в каждом человеке не один человек, а много разных людей. И всегда и все писали от Вавилонского столпотворения и до — —, и сами того не подозревая, для многих.

На существовании в человеке многих держится искусство редактора: редактор ведет разговор с этими многими, которые живут в нем, и по их вкусу подбирает материал. И это надо принять и запомнить, ведь какого-нибудь «читателя вообще» в природе не существует, и редактор порнографического журнала сам и есть первый похабник, а вовсе не «читатель», на которого он непременно укажет. На этого не существующего, но требующего «читателя», как на не существующего и тоже требующего «зрителя», во все времена ссылались в оправдание собственной своей

пошлости и всего, что печаталось или представлялось «на дурака». Мысль, высказанная Сервантесом триста лет назад, живет и в тридцать третьем: «виновата не публика, будто бы требующая нелепых зрелищ, а те, кто не умеет показать ей ничего другого», — а я добавлю: «и не может».

Подобно редактору, подбирающему материал, расценивает и автор свое произведение.

Вот я говорю тем, кто живет во мне: мой рассказ можно читать как с конца, так и с начала. Кто из вас любит животных, начинайте с конца: история нечеловеческая — трагическая судьба кота Кузи, задушенного колесом автобуса. А начало рассказа: человеческое — о человеке с гипертрофией чувствительности или «со вздохом» по Розанову в противоположность «культурному сухарю»... но я уверен, кто прочитает о коте Кузе, непременно захочет узнать и об этом гипертрофическом человеке, без чувства и сердца которого никто бы и не заметил Кузю — одного из тысячи парижских «ша» и с судьбою тысяч. А кто охотник до снов, начинайте с середки: вот вам подлинный сон со всей затейливой «мышеональностью» — (от слова «мыш» и «машина», употреблено Слепцовым (1836—1878), — этот бесконтрольный, но стройный подсознательный процесс в противоположность дневному бодрствующему, всегда контролируемому сознанием, впрочем на проверку совершающемуся, хоть и с математической точностью, но тоже «мышеонально». И еще — любителям слова, а таких живет во мне много и разных: вам памятно облетевшее и тысячу раз повторенное литературными и не литературными «убедительными» дураками Толстовское о Леониде Андрееве: «пугает, а мне не страшно», — много я думал, что бы это такое не в слове всегда самодовольного дурака, а в устах Толстого, и думаю, что дело идет о способе описания чувств: ведь такие слова, как «страшно», «больно», «ужасно» — пустое место, и только образ наполнит и оживит их и только в образе, немые, они зазвучат: я делаю такой опыт при передаче «пропада», «стыда» и «боли» — моя «красная луна низко над Парижем» и «женщина в гастрономическом магазине». Вот и все. А в заключение о моей затее: и как было не затеять этого вступления, когда из года в год мне все уши прожужжали «читателем», мне — одному из самых усердных читателей и самоотверженных, с моим

хроническим конъюнктивитом, читателю взволнованному, перебирающему строчки голосом, и, может быть, единственному из всего «стамиллионного» русского Парижа, снующего с ненасытной парижской кооперативной мышью — изголодавшимся тоненьким мышонком — вокруг железной, обвитой электрической проволокой — без всякой надежды на корм! — звучащей Эйфелевой башни.

* * *

Катастрофы, совершающиеся под землей — землетрясения, и те, что совершаются на земле — войны, революции, кризисы, и, наконец, космические — над землей — бури и кометы, а также трагедии в судьбах человека или трагические изъявления его творческой воли, созидающей и разрушающей, все эти катастрофы действуют на человека и на все живое. Это действие воспринимается разно и не всяким, а иногда просто не доходит, застревая в путях, как космические лучи в земной атмосфере. И ты можешь рвать и метать, грозить всеми грозами — и ничего не изменится, никто даже и не чихнет — и как спокойно спал, так и будет спать — твои пожелания не пройдут дальше твоего собственного измученного сердца. И это надо иметь в виду и не очень-то винить в толстокожести, хотя кожа у человека, надо отдать справедливость, довольно-таки плотная. Но попадаются среди толстокожих необыкновенно восприимчивые, чувствующие не только около, а и на расстоянии, и эта порода человеческая — сущие мученики.

Корнетов принадлежал к разряду чувствительных. И в этом было его счастье и несчастье: счастье — потому что мир его чувств был необычайно богат; несчастье — уж очень обременительно, когда все трогает.

«Бывает иногда такое состояние, — говорил Корнетов, — хоть на люди не показывайся, но и одиночество не помогает: стены проницаемы, и во сне — сны».

Африканский доктор, славившийся в Париже своим диагнозом, определял состояние Корнетова, как «гиперсансибилите» или просто говоря — «космический перепуг».

И вот в то самое время, как Пиккар подымался в стратосферу, Корнетов, имея в руках один лишь заветный камертон, попал на луну: в жестяном ящике, напомина-

ющем самый обыкновенный «буат-дордюр», а по-русски в «мусорном ведре», вдруг поднялся с земли и вышел прямо на луну. «Если не почувствовать, что находишься на луне, можно и не догадаться, только очень пустынно». Единственный человек, кого он встретил и сразу узнал, это была Лиза — Лиза не из «Вечного мужа», с таким жаром описанная Достоевским, а ее «крестовая сестра» — Лиза из «Записок из подполья», жизнь которой пошла «на обтирку». И он понял, что эта Лиза и есть душа луны — единственная обитательница и хозяйка. Лиза была такая же самая, как и в жизни у Достоевского, с мученическим взглядом и жалкой улыбкой... но, увидев Корнетова — может быть, ее поразило его серое, за десять лет достаточно поношенное, просетившееся пальто «Берлинской волны», или камертон, с которым он не расставался, держа в руках, как светильник — Лиза вдруг переменилась: и не просящий робкий взгляд, а свет успокоенного человека, нашедшего, наконец, свое место, осенил ее лицо. Нет, она нисколько не удивилась, что пред ней живой человек прямо из той «слякоти, мрази и мокрого снега», где когда-то жила она, не видя жизни и теплоты сердца, «без воздуха».

«Вы пришли сюда, — сказала она, — и за вами еще другие придут... и то, что вы коснулись (словом она не сказала «луны», но это понятно) — вы нарушили: разве жить без воздуха можно? И ваше присутствие здесь передастся дальше, — и она показала рукой в межпланетные пространства,— там это почувствуют и непременно кто-нибудь захочет посмотреть, и оттуда явится, а это очень опасно». И это «опасно» сказалось у Корнетова не словом «человек», а как что-то безликое, деформированное — «возмездие»,

И в ту же минуту он представил себе с такою ясностью, как бы видел живыми глазами наяву: осенний теплый вечер, он идет по аллее из Булонского леса, а над Парижем чуть выше над домами огромная красная луна, и не может он отвести глаз и смотрит, не отрываясь, смотрит на эту, точно из-под земли неизбежно поднявшуюся над Парижем немую, окровавленную голову — в эти слипшиеся глаза, в эти ноздри, сочащиеся кровью, и до черноты густо запечатанный искривленный рот — — и вдруг почувствовал, как за спиной вдруг поднявшись, налитое огнем

дышит на него — этот смертельно-синий дышащий столп оттуда — «возмездие».

Корнетов с болью зажмурился, готовый пропасть...

Я знаю этот пропад... мне очень знакомое чувство. Я раз видел в русской гастрономической лавочке, как вошла одна женщина, я ее сразу заметил, не покупательница, такая она была серая, ну, как тень, серая, и такая просетившаяся дрянь на ней, что только одна видимость, но все тщательно подшито, поштопано и приглажено, и ни слова она не сказав, молча стояла она с выжженными от слез мучительно-безответными глазами, и хозяйка как-то привычно и тоже молча подала ей чего-то и, приняв пирожок какой-то с капустой, эта серая тень истерпевшегося человека — и моя безысходная боль и мой жгучий стыд перед чем-то — бесшумно вышла, и в ту же минуту я увидел: по противоположному тротуару проходил господин в белых элегантных штанах с собакой.

Корнетов с болью зажмурился — — да, эта просторная комната с низкими сводами, где вдруг очутился Корнетов, комната Валерии! — из «Песни торжествующей любви»: «все стены выложены мелкими голубыми изразцами с золотыми «травами»; тонкие резные столбы из алебастра подпирают мраморный свод; самый этот свод и столбы кажутся полупрозрачными... бледно-розовый свет отовсюду проникает в комнату, озаряя все предметы таинственно и однообразно». Но не лунная Тургеневская музыка — этот последний голубой отсвет Гоголя — а приглушенный граммофон из ресторана на пляже, окрыленном пижамами — этими искусственными крыльями, так просто, без всяких Малайских чудес, под свист и завыванье затейливых волчков и трещоток разрешающими всякую любовь, и торжествующую и неторжествующую — с вероналом или светильным газом. —

Корнетов мысленно посмотрел на географическую карту — их у него на стене много, и потому они и без стены всегда у него в глазах: «должно быть, Каспийское, — подумал он — а вот и острова, описанные Писемским в «Путевых очерках». Но это было не Каспийское, а Средиземное — остров Поркроль: Сушилов в трусиках промелькнул между чахлыми, безнадежно склоненными к земле деревьями, наводящими скуку.

«Но надо отдать справедливость, — сказал Сушилов, — больше всего человека интересует его «прикрытый стыд». Я говорю это, как критик. В самом деле, в литературе чего прежде всего ищут? — А жаль, что не знают латыни: какие имеются фундаментальные исследования, ни в одном и самом «правдивом» романе вы не найдете столько описаний, но я уверен, что в конце концов и эти «описания» также станут не нужны, как ваши набившие оскомину пустые «описания природы». Но надо отдать справедливость... как я в такую даль забрался, не понимаю, брожу по лимонным рощам или сижу под пальмами, а сам все удивляюсь!»

«Были б только деньги, с деньгами и до Сиракуз доберешься!» — сказал Корнетов — и, продолжая думать о Поркроле, мысленно рассматривал открытку: пять лет получал он такую в конце августа от Сушилова, неожиданно очутившегося теперь в Палермо, и в каждой каждый раз Гоголевскими словами расхваливал живописность безнадежного острова... «поодаль, в стороне, темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес».

Черный бархатный полог, закрывавший скучно-синеватый цвет, скользя, отодвинулся и в розовую комнату Валерии вошел «философ» Пугавкин. Корнетов смотрел на Пугавкина и глазам не верил: три года не видались: — три года прошло с тех самых пор, как переехал Корнетов в Булонь, а Пугавкин вернулся в Москву — похоронил, и вот совсем, как живой, только лицо съежилось, застыв в какой-то притворно иронической маске, и не поймешь, глядя, в чем правда, и где обман.

«Разве у вас в Париже не увлекались всегда романами Толстого и Достоевского, идеи которых сейчас осуществляет советское правительство, — сказал Пугавкин, глядя куда-то в бок, и вдруг переведя глаза на Корнетова, с злобой усмехнулся. — «Механизм и пружинка!» — прочитайте Слепцова: «Письма о Осташкове», это про нас».

«Но я был уверен, что вас...»

«Нет в живых?» — Пугавкин снял с себя шапку и запустил в Корнетова. И что странно: под шапкой у него оказалась еще шапка, он и ее швырнул и схватился за третью, снял с себя четвертую — «это у нас, осташей, такая повадка, всех закидаем!» — и он снимал все новые и новые, заваливая шапками волшебную комнату Валерии.

И розовая стена вдруг поднялась, как паутинная завеса, и открылось море — Корнетов никогда не видел Средиземного моря — а было это Средиземное море голубое самой небесной голуби и дышало теплом.

«Дочь маршала Сушилова! мар-ша-ла-су-ши-лова!» — закричал пустынным голосом африканский доктор из Дагомеи, и под этот тонкий металлический выкрик луна зашла за облако, и Корнетов, снова поместившись в «ордюр», вынырнул как водолаз, и очнулся опять на земле.

*

Но всполошил его не лунный сон, источники которого — реминисценция из Достоевского и Тургенева, чтение Слепцова и Писемского, известие о полете Пиккара, описание казни на Араго и всякие «пакты», и одно постороннее обстоятельство, не связанное ни с книгами, ни с газетами: в эту ночь Корнетову в ухо влетела бабочка — только-только что засыпать стал, укутавшись, как всегда, с головой, а она и влетела, чем и объясняется заключительный металлический «маршал Сушилов», разрешивший сон, — бабочка под утро вылетела из уха на волю, и Корнетов проснулся.

* * *

У Корнетова случилось большое несчастье: единственное живое существо среди его одушевленных книг, и всегда с ним, любимый его кот — Кузя трагически погиб. И Корнетову его так жалко — «как человека жалко!» — говорит Корнетов. А ведь человека, я это теперь так ясно понял, бывает очень жалко. И вспоминая Кузю, Корнетов вспоминал навязчиво, как только, вдруг возникающий в памяти, приснившийся сон: огромный красный месяц над вечерним Парижем и безликое деформированное, неизбежно поднявшееся за спиной — этот дышащий смертельно синий пламенный столп, и что сказалось словом «возмездие».

«Кузя попал вечером под автобус, и задушило колесом: смерть последовала без всякого мученья. Приехал автомобиль и увез — из шкурки сделают воротник. Ласковый был Кузя, лапку давал. Родители его французы, два ему

года, чисто русского воспитания — только по-русски и понимает. Лежал он, как тигр: любимое место — на шее; обнимет и спит. Питался говядиной и молоком, но больше всего любил сушеные грибы. Жил монахом. Большой охотник душить воробьев и мышек — это ему положено! — голову съест, а туловище принесет для выброса. Аккуратный: в мокрую погоду не впрыгнет на кровать, пока не вытрешь ему лапы. По утрам особенно курлыкал: здоровался — и волочил хвост. А когда ему объясняешь о птичках, что нехорошо душить — он мордочку повесит и, поджав хвост, пойдет — все понимал. Любил целоваться: усы торчали — кактус. И вот — под колесо, и задушило: то ли птички пожаловались? — не надо было трогать! Жалко Кузю. И памяти никакой не осталось. Хоть бы хвост... Не такие деньги — 20 франков, на собачьем кладбище похоронил бы».

2. ВОРОВСКОЙ САМОУЧИТЕЛЬ

У Корнетова есть «несгораемая» тетрадь, в которую записывает он не какие-либо выдающиеся события общественной жизни, регистрируемые газетами, а всякую мелочь из нашей «живой» подъяремной жизни. На этой «несгораемой» тетради общая надпись из Достоевского: «сытый голодного не разумеет, но и голодный голодного не всегда поймет», — и мелкими буквами, как подзаголовок: «матерьялы для воровского самоучителя». А назвал он тетрадь «несгораемой», потому что все эти мелочи из непоказной живой жизни неминуемо сгорят, и останется только пепел да «вечная память», а записанные — и самые мельчайшие — будут жить, т. е. продолжать гореть — каким пламенем, все равно, но не умрут: человек и человеческая природа в них наизнанку со всеми потрохами и духом.

«Хорошее отношение! — говорит Корнетов, — если мне человек в зубы не дал, я готов сказать и говорю, что он хорошо относится, да так и всякий скажет, кто живет, как я, «Богом-хранимый», т. е. брошенный людьми».

Как-то вечером зашел Козлок. Козлок — мошенник, но добрый человек, сам предложил: «если вам надо будет, напишите: сотняшку, другую всегда могу». А Корнетову очень кстати: накануне закрыли газ, закроют и электри-

чество: «Чего писать, мне сейчас нужно». — «Так я вам завтра же в конверте и пришлю». — «А не пропадут?» — «Ну, вот еще, всегда посылаю и никогда не пропадали!» Козлок это сказал так уверенно, что никаких сомнений не могло быть, и очень растрогал Корнетова: виданное ли дело, человек сам безо всяких просьб помочь вызвался! Прошел день — никакого конверта. И еще день — ничего. Корнетов забеспокоился и решил написать Козлоку: послал ли он конверт и не пропал ли? Ответа не получил. Да и никогда не получит.

Вот уж больше недели, как ждет Корнетов обещанных денег, за эту неделю закрыли и электричество, — по опыту скажу: не хитро человеку зимой пропасть, а летом — сам Бог велит! И при всей своей склонности все объяснять не злыми побуждениями человека, а всякими неблагоприятными обстоятельствами, только представляющими поступок человека злым, не может он найти никакого оправдательного объяснения и не может понять, за что это поступил с ним так жестоко приятель — и как раз в такую крутую пору.

«Самый легкий способ ни-за-что, ни-про-что вызвать у человека самую искреннейшую благодарность, — записал Корнетов в свою «несгораемую» тетрадь, — посули послать денег в конверте, суммой не стесняйся, это тебя ни к чему не обязывает. Никогда он твоих обещанных денег не дождется, и винить ему некого, и ты всегда прав останешься: «деньги посланы, но пропали!... тысячу раз не пропадали, а вот — пропали!»

«И какой подлец человек, — говорит Корнетов, — случись у кого беда, ответ всегда готов: «теперь всем плохо».

Петушковы — это те, у которых коллекция марок, и когда собираются к ним гости, они эту коллекцию показывают и тем охоту к пустословию отвлекают: хороший способ и ничуть не обидный занять гостей и не наслушаться всякой «дряни» и не личной, о которой Леонид Андреев заметил, выразившись так об откровенных признаниях пьяниц, нет, а всяких и непременно позорных слухов и фактов о знакомых, которых только что нет за столом или только что из-за стола вышли.

Анна Ивановна вязаньем занимается, а Петр Петрович писал для газет по естествознанию и числился «иногородним сотрудником», т. е. печатали его раза четыре в год — «и всякий раз, как гонорар получать, — говорил Петушков, — такое чувство, точно идешь за вспомоществованием». А Петушков в своем деле большой мастер и следит за наукой, ну, и у него это есть, какая-то побочная страсть к беллетристике, или это пореволюционное извращение? — экономисты литературной критикой занимаются, и воображаете, какая выходит юмористика! а художники и биологи рассказы пишут. С прошлой осени в Париже выходит семейный литературно-критический журнал на пишущей машине «Оплот» под редакцией Алексея Николаевича Варгунина, к литературе не имеющего никакого отношения, но это по сложившейся в эмиграции традиции самое нормальное явление; журнал юмористический. Главные сотрудники журнала: сестра Варгунина, ее муж, отец и сестры мужа, и приятель Варгунина Петушков, рассказ которого и появился в «Оплоте». По словам профессора математики Сушилова рассказ Петушкова, если и не литературное явление, то во всяком случае не хуже тех, которыми заполняются наши висящие на волоске журналы: написан в Прустовской манере и очень ловко сделан, только не Пруста, а томительное словесное вступление в рассказе Достоевского «Хозяйка» вспоминаешь при чтении, но за это никак нельзя взыскивать — Петушков «подпольным» Достоевским не собирается сделаться и совсем не Пруст, а Петушков — глаза у него болят и всякие внутренние недуги, и жизнь его в этом Прустовском Париже — «если думать, что с нами завтра будет, с ума можно сойти!»

Безвыездно десять лет в Париже решили Петушковы «ваканс» себе устроить: не на Океан, не в Пиренеи и не на «кот-дазюр», куда тянет русских, а в Страсбург — на Страсбургский собор посмотреть и на месте попробовать «Страсбурга пирог нетленный». По словам баснописца Куковникова, Страсбургский собор на «буйволовых рогах» стоит, — Куковников в Страсбурге не бывал, но по путеводителям все знает, знает и то, что когда-то, в старину, при Соборе жила ясновидящая из Литвы — «лаума» — пророчествовала по-русски, теперь на этом месте входные билеты продают: в полдень астрономичес-

кие часы с движущимися фигурами посмотреть и искусственного петуха послушать.

«А другую достопримечательность, называется «Старая Франция» — дома с мезонинами вроде «птичников», — можно за полчаса на трамвае объехать и безо всяких особых билетов».

Списались Петушковы с русским пансионом, «где им будет дешевле», вот ответ:

«Цена 200 франков в месяц (комнаты сдаются здесь помесячно, исключая гостиниц) или же 10 франков в сутки, как хотите. Пансион за двух человек 35 франков в день! Утром кофе с булочками и маслом, в 12½ ч. обед мясной и ужин по желанию мясной или овощи, все на масле, и десерт».

Чего еще нужно? — три-четыре Страсбургских дня, на большее нечего и рассчитывать, пройдут «на масле», «с булочками», «по желанию», и не заметишь! А кроме того, Петушков верил в перемену места: выедет он из Парижа — на свет не смотрел бы, а вернется — опять на все готовый, лишь бы глядеть на мир Божий.

Уж в дороге были предзнаменования — да кто это вовремя спохватывается! — всякие предзнаменования только потом объявляются предзнаменованиями. У Петушковых «пляс-резервэ» и над их местами висят билетики с надписью «люэ», т. е. занято, а вот дама — самая Страсбургская, необъятная ни за что не хочет пустить Петушкова на его место, на котором лежит чья-то мужская необъятная шляпа; а место Петушковой — шляпа обыкновенная и охраняет ее пожилая обыкновенная дама. Но все доводы Петушкова, что под шляпами — «места наши», обе дамы, и обыкновенная и необыкновенная, заявили одновременно, что они американки — не говорят ни на каком языке. И пришлось Петушкову, изловчившись, ухватя чужую необъятную шляпу, переложить на полку к кулуарам и, не смотря ни на что, решительно сесть на свое место; да так и Петушкова на свое место села.

«Мне казалось, что хоть и темновато будет, но за то подобное соседство, что удобства 1-го класса! — рассказывал потом Петушков, — но я ошибся: дама 1-го класса, по крайней мере, в пять раз превосходящая меня, немилосердно сжала меня в полуоборот и сверх всякой возможности выпустила такие твердые кости, — как самые

упрямые доски скотского вагона. Ну, разве это не предзнаменование! И только — с дорогой — ей пришлось помириться, села она по-человечески, и, притиснутый к окну, я сразу почувствовал — и! куда в 1-м классе! — она выпустила из себя такую теплую подушку, что не только подостлалось под меня, а и покрыло всего, как бархатом. Чего больше желать человеку в дороге? — и если бы не такой садящий в окно ветер...»

Американская Страсбургская дама была самой судьбой послана: и надо было уступить место ей и ее мужу, американскому портному, а самим занять места к кулуарам — — купе, как в бочке, и нечего думать закрыть окно, и вот ветром забило Петушкову его больные глаза. В таком «слепорожденном» состоянии приехали Петушковы в Страсбург. И все оказалось не так, как думалось, или надо держаться правила: «наперед не увидев, не заказывай комнату!» — комната грязная; деревянная короткая кровать — взрослому с грехом пополам, а скорее всего детская, Петушкову постелили на диване голубую «перинку», но и диван — «чтобы гости недолго засиживались», и наутро не то клоп, не то хуже — клопиная шкурка. А вместо того, чтобы сейчас же перебраться в отель, Петушковы остались. И пошла самая беспорядочная жизнь: беспорядок, какой только может быть у русских с русскими, — все не вовремя, и хваленое масло с булочками, прогорклое, а хозяйка — тут-то вот и сказалось дорожное «слепорождение» — сразу видно, что добрый человек, и очень словоохотливая: нет такой добродетели, не в пример прочим, которой бы она не отличалась, и милосердное ее сердце, и усердие к церкви, и бескорыстие, — сотый раз слушают Петушковы со своего сказочного «кумова» дивана, и вечер добродетели заключается неизменным, что «никогда французы не поймут русских, и русский русскому должен помогать». Три ночи провели Петушковы в русском пансионе — за эти мытарские ночи Петушков совсем расхворался — отсчитала хозяйка 220 франков, как в самом шикарном «грандотеле», и осталось у Петушковых только-только что на обратный билет в Париж. И что замечательно, хозяйка считала себя совершенно правой: ведь в ее письме написано ясно — «цена 200 франков в месяц (комнаты сдаются здесь помесячно,

исключая гостиниц) или же 10 франков в сутки, как хотите», она за три ночи и взяла, как за месяц, 200 франков да за диван 20. И она была совершенно права, больше того, она еще и доброе дело сделала — «русский русскому помогать должен!» — она ничего не взяла за еду, и совесть ее была спокойна. Петушковы же из ее письма ясно поняли: «или же 10 франков в сутки, как хотите», — и, по их расчетам, считая 10 франков в сутки, за три ночи с едой и даже с диваном никак не выходила такая огромная сумма. Но от неожиданности, да и баба-то, надо быть, вгорячах очень крикливая, расплатились, не споря. И получив от Петушковых 220 франков, — нашла дураков! — она, провожая их, по русскому обычаю, Петра Петровича перекрестила, а Анну Ивановну крепко поцеловала.

«Если вы встретите человека, который скажет вам, что он никогда не врет, это значит, что перед вами первейший лгун, и ни одному его слову верить нельзя. Если же человек начнет хвастать своими добродетелями, а попутно порицать других, без чего никак не обойдешься, по глубокому опыту говорю, что перед вами если не отъявленный мерзавец, то наверняка корыстнейшая стерва, заводящая всю свою самохвальную музыку, чтобы, расчистив себе дорогу к вашей доверчивости, надуть вас самым мошенническим образом».

И, записав о случае с Петушковыми, Корнетов закрыл свою «несгораемую» тетрадь, но мысль его не замкнулась: ему вспомнилась только что прочитанная Лесковская «Воительница», ее «прекратительная» жизнь, ее «мерзавные» мерзости, но о которых рассказывает она простодушно, с невозмутимой уверенностью в своей правоте и со спокойной совестью.

«Что же такое совесть? Какая цена этому последнему решающему голосу — «демону», осуждающему или оправдывающему человеческие поступки? Столько ли на свете совестей, сколько изворотов «мерзавных» мерзостей? И совестливый человек с «угрызением» совести и бессовестный без всяких угрызений — какая разница? Ведь то, что для Лескова «мерзавные мерзости», для Домны Платоновны — доброе дело, и «совестливая» Страсбургская хозяйка, спокойно принявшая от Петушковых последние их деньги, какая разница от какого-нибудь «бес-

совестного» стрелка, который на вокзале вытащил бы у Петушковых из кармана? И, может, лучше было бы оставить это деление на «совестливых» и «бессовестных» и перестать ссылаться, как на что-то безупречное и вне подозрений «обнаженную совесть» человека. И что говорит ему его собственная совесть? — зачем эта вся его «несгораемая» затея: сохранить тленный позор — изнанку человеческого нутра с потрохами и духом? и что для него и кому что от этого — ничего не изменится!»

И совесть его жаловалась: ее словами повторял он над своей «несгораемой» тетрадью: «я не хочу — я знаю — и не только человеческий позор».

Если человеческий «позор» для кого-то может быть добром, значит, «добро», которое хочет человеку человек сделать, может быть самым настоящим злом. Домна Платоновна сводит Леканиду с «генералом», оберегая ее от проституции и избавляя от последней крайности по формуле: «любовь и польза»! Но и еще: всякое «доброе» дело вызывает, кроме благодарности, конечно, если оно, действительно, — по человеку доброе, еще и чувство зависти и обиды у обойденных, а такие всегда будут. Благотворительный концерт, с которого мне ничего не попало!

И вот, когда совесть Корнетова, жалуясь, говорит, что не хочет «позора», и что знает и не только этот позор человеческий, — но что же? что еще знает его совесть? — я договорю: боль, — боль, это чистейшее чувство — горький цвет жизни. Незабываемые страницы Толстого, Гоголя, Достоевского пронизаны этой болью: боль — это музыка, и без этой музыки — книга только сухая печатная бумага.

Я сегодня, как раненный этим чистейшим чувством, точно мне душу прокололи, и вот она встрепенулась, и я смотрю на свет, как в первый раз, и все повторяю, как вдруг опомнившийся, что всю мою жизнь я только об этом и рассказывал, но только теперь понял, что это и есть самое важное — именно боль — горький цвет жизни. И горечь его цветет везде, где только есть жизнь. И эта собака, я так ее ясно вижу, как она облизывается покорно: ждала неделю, другую, третью, — обыкновенно ей присылали сухариков, очень вкусные! но хозяин ее поссорился

и не видится с тем знакомым, который присылал сухарики; ведь собака не скажет, но она поняла, что поссорились, и покорилась — больше ждать нечего! но в этом ее облизывающемся покорстве, в этих глазах ее, которые скажут, не язык, — я чувствую боль. Русская дама рассказывала своей соседке в трамвае про свою сестру, оставшуюся в Петербурге, как за эти годы она ослепла, — «и все на ней истлело, вся в паутине!» — и я представил себе, как бы видел ее так ясно до боли, ослепшую, и как, покинутая, она шарит рукой — и все ее безответные мольбы, и все ее, ей надорвавшие сердце, проклятия, — и как затихла и ее закрыла паутина, я чувствовал всю ее боль до последней боли затихшего человека в паутине, — она тоже от своей тлеющей боли облизывается, как собака! Барышня к празднику убирала комнату — стряхивала пыль с книг, и надо ей на стул стать, она сняла с себя туфли — я вошел в комнату, когда она, стоя на стуле, перетирала тряпкой книги на верхней полке, и я сразу увидел ее дырявые заштопанные чулки, — когда она была в туфлях, это было совсем незаметно, но теперь, — из этой заштопки «глядела такая бедность», и от этих бедных глаз весь мир для меня, как затрелил, и я узнал эту музыку, — боль. Вот уж который вечер, проходя мимо нашей консьержки, я вижу, как сидит она, глубоко задумавшись, у стола над тетрадкой, а по сторонам ее дети терпеливо, два мальчика с тоненькими носиками, как рисуются иллюстрации к сказкам, два суслика. Я сегодня не утерпел и вошел к ней посмотреть, над чем это она так убивается, — и оказалось: «проблэм» — решает задачу, задача немудреная, но ей-то, едва грамотной, — задача эта неразрешимая, и когда она мне все это объяснила, смотря на меня мучительно безнадежно, и я видел, что вот-вот заплачет, и рядом этих сусликов, которых для теплоты она кладет головой к радиатору, и наутро они выскакивают и как очумелые бегают, этих сусликов, для которых она старается, но не знает правил и не может решить задачу, а надо, — завтра спросят... и вдруг знакомое чувство забарабанило меня и зазвучало, и я узнал этот голос — это боль. Я метался, как это часто со мной в метро, перепутав направление, и вижу Мордасов — я ему очень обрадовался: он-то мне точно скажет. История Мордасова очень обыкновенная: еще в

Петербурге поступил репетитором, решал детям — двум сусликам — задачи, а кончилось тем, что мать сусликов разошлась с мужем, и в революцию он с ней и с сусликами приехал в Париж. Мордасов человек смирный, домашний, но не может видеть равнодушно ни одну «юбку», — такое тоже очень обыкновенное, ну, «не может». Тринадцать лет жил он хорошо, над задачами голову не ломал, суслики выросли, спокойно, и всегда одет чисто, — у жены были деньги, — а тут вдруг вижу пальто на нем рыжее — то самое, в котором в революцию в Париж приехал, зачем-то хранили, — это пальто меня страшно поразило, и я вспомнил, зимой кто-то рассказывал, что Мордасов разошелся, т. е. попросту, его выгнали... И когда я спросил, как он живет, а сам подумал, что вот выгнали... «По случаю кризиса — сказал он, отвечая на мои мысли, и видно было, тяжелая жизнь наступила после тринадцати лет ничего неделания, — по случаю кризиса!» — и облизнулся, как та собака, где «поссорились». И на меня как блеснуло — и я узнал этот свет — горький цвет — боль.

Боль — она и в большом дыхании — в весеннем благословении жизни — в этом «Да воскреснет Бог» — в гимне воскресению — и в вое ветра, который я слушаю, присмирев, и в моей жгучей памяти, и в лунном затишье, и в ночных голосах «чистого поля», — я узнаю ее голос, и с голосом мне светит горький цвет жизни, без которого нет жизни. И вот перед лицом этой боли я становлюсь на колени и прошу, — о чем прошу, не знаю, — и о чем просить и чего хотеть, глядя в пустые безответные глаза?

3. ШИШ ЕЛОВЫЙ

Корнетов терпеть не мог начатых и незаконченных дел. Неоконченные постройки, недописанные строки, на полуслове остановившийся разговор — все, где не хватает воли или выдумки, вызывало в нем возмущение. Представьте себе, как возмущала его легенда о Вавилонской башне...

«В последнюю минуту, — говорил он, — общий язык потеряли, кто в лес, кто по дрова, и пропало дело — величайшее и единственное, когда-либо возникавшее в голове человека: хозяйничать на земле и на небе! — и с

такими несметными средствами все пошло прахом в вечный укор человеку».

«О этом человеке, — продолжал Корнетов, — Гоголь отозвался: «свиные рыла», а Достоевский — «глупые зверские хари», да при этом еще «указующие на тебя пальцем». Я не согласен: и не зверские, и не свиные, а человеческие, только человеческие. А вообще говоря, во всяком человеке надо подозревать свинью...»

И всякое «недо...» — «недостройки» и «недосказы» называл Корнетов «куснуть и бросить». Тут он был сущий тиран и истребитель. И действовал беспощадно. Если бы была у него власть, ну будь он каким-нибудь Си-Магомет-Эль-Мокри, по струнке которого, в обаянии его воли, движутся и останавливаются «массы», круто пришлось бы, ни на что не посмотрит, и не разжалобишь, — и какая невероятная скучища поползла бы в мире или, просто говоря, загнал бы.

«Принудительный труд! теперь это модная тема, — говорил Корнетов, — в богатых салонах, где ломится всякая прислуживающая и выслуживающаяся сволочь, животрепещущий вопрос, благо самим можно ничего не делать. «Принудительный!» — скажите, пожалуйста, какое открытие, или о чем ни болтать, лишь бы болтать... Человек лодырь, это всякий про себя знает, а ума ни на столечко, чтобы, свою же выгоду соображая, без палки что-нибудь делать, и по доброй воле — век будете ждать, не дождетесь, чтобы пальцем шевельнул. Да впрочем так оно везде велось и ведется и не мытьем, так катаньем, всегда было и есть «принуждение». И это в самой природе жизни на проклятой Богом земле, пока человек есть человек, у которого не хватило воли, а был случай, землю соединить с небесами — снять с земли ее отверженность, освободить и сделать себя свободным. А пока что, Блейк прав: «один закон для льва и вола — принуждение». И если говорить по совести, чего бы я сам хотел, так скажу прямо: ничего! и вовсе я не чувствую себя околевающим животным, которое ищет уединения и только уединения, чтобы околеть, нет, у меня вдруг закипает такое сердце... впрочем, все равно, делать-то я ничего не хочу — хочу «баклуши бить», «в потолок плевать» или, есть еще «гонять собак», а по-современному — газеты, кафе, театры, вы-

ставки, путешествовать и безответственно философствовать, т. е. вести жизнь, как «хорошие люди», перед которыми ломают шапки и которым говорят «приветственные речи» и для которых только «первые места».

И еще Корнетов не выносил, как говорили в старину наши общественные дамы, «кислых физиономий». Человека, впадавшего в уныние, он презирал. «Уныние» связывалось у него ни с каким грехом, как это в исповедальных требниках или у Нила Сорского в его скитской лествице, а только с достоинством человека, который все-таки оставался и после вавилонского позора носителем гордой мечты о «своеволье» и еще мог на многое «посметь». Уныние он объяснял все той же «божественной» ленью, этим соблазнительным «почил от дел» — единственным, кажется, воспоминанием, вынесенным из райской жизни, и после райского расплева убийственной отравой всех человеческих возможностей, источником рабства и поддержкой и поощрением волевых акул.

«Уныние, — говорил Корнетов, — унизительнейшее состояние бессилия, не просто расписка в своем ничтожестве, а засвидетельствованный документ; унылый человек — самый благодарный матерьял для всяких подлостей: если уж сам себя признал мразью, то еще одно новое паскудство эту мразь только размажет, не больше, и кроме того — самый послушный матерьял для этих ваших «акул» и «международных разбойников», для всех этих свиных рыл и звериных харь, указующих на вас пальцем, непроницаемых и не отравляемых никакой совестью, ведь и совесть подделывается! но которым без человеческого матерьяла никак не обойтись, или издохнуть; и наконец унылый человек опора всего «мирового зла», прикрытого и разукрашенного в ночь, но от которого при свете дня с души воротит».

Корнетов рвал и метал. И не столько уныние мое так будоражило его, как собственное возмущение, что его, как он выражался, индивидуальность попрана: с осени отменив воскресенья, он был убежден, что приток посетителей урегулируется и получится отбор — без налетчиков, да сначала так оно и было, но с течением времени в назначенные вечера стали приходить не только те, кому было назначено, а еще и те, кому сами назначенные от себя назначали для каких-то своих целей, и получилось

такое безобразие, как в прошлую зиму, когда комната Корнетова обратилась чуть ли не в дом свиданий.

«Противопоставлять унынию гордость, — продолжал Корнетов, — какая уж там гордость! Нет, гордость давным-давно сломлена, и от нее одни лохмотья, а называется чванством и хвастовством. И этот смешной чванливый наряд очень подходит к человеческому лицу, какое вырисовывается, как говорит баснописец Куковников, «на аркане современности». Лицо среднего человека размазано в две краски или — две посадки: носом вверх и носом вниз. Если вы просматриваете газеты, вы знаете, в какой еще невероятной ерунде погрязает человечество: тысячелетние предрассудки живут, как освященные традиции, я читал, что японского императора можно воспринимать только «духовно», и оттого его фотографии завешивают, а уж написать с него портрет нечего и думать; а читали вы, как где-то в Карпатах хоронили ведьму — «к левой ноге привязана была подкова, чтобы помешать ведьме выйти из могилы, на ее теле нарисовали большой крест, рот забит маком, по трупу долго били лопатой, а затем глаза закрыли двумя луковицами и во дворе сожгли на костре все метлы», и обезвреженная ведьма из могилы не вышла и привидением не появилась, но стала всем во сне сниться — из ночи в ночь, и уж больше нет никакого средства, все метлы сожжены, а страха не выжжешь... или эти дурацкие церемонии и всякие формальности — традиционные, торжественные цилиндры и шутовские факельщики, парадные формы, «обезьяньи» ордена и знаки. И этими показными пустяками, возведенными в догму, забиты головы. Нет, смотрите так: не вниз и не вверх, а в себя — ваше уныние и ваше хвастливое чванство одной природы.

Ни о каком чванстве не могло быть и речи, я сидел с опущенными руками — осенью устроившись по малярному делу, я продержался до весны, а весна нынче на десять дней против всех весен, вот, значит, с каких пор я попал в шомаж и снова приютился у Корнетова. Советовали мне заняться по примеру Курятникова разноской молочных продуктов, но, как известно, кто только теперь этим не занимается и, кажется, вся клиентура исчерпана. Предлагали мыло купить за 10 франков и найти трех покупателей, чтобы каждый из них в свою очередь нашел

трех, сулили 1000 франков — дело верное, остановка лишь за 10 франками! Меня соблазняло возобновить мое искусство интервьюера, но, когда я вспомнил скандальный финал моего «юнёра», я опускал не только руки, а и нос.

Корнетов, лучше меня понимая всю мою неподготовленность, не сомневался в моих способностях — он вообще про всех думал, что всякий все может, лишь бы была страсть и решимость.

— О дураке я не говорю, с него нечего взять, а вам стыдно: надо с другой стороны подойти, а дела не бросать; а не с другой, так с третьей. И так до бесконечности или, как говорили в войну, «до победного конца», а до войны — «до полного политического и экономического освобождения».

И Корнетов научил меня так: ничего самому не выдумывать — головы нечего ломать над вопросами, коли нет их, а сколько ни шарь, ничего не подденешь! — а взять готовое. В журнале «Мысли» есть такой вопрос: «для кого писать?» — и есть ответ: один говорит — «надо писать для читателей, для всех, для большинства, для массы, и как можно проще и понятнее», а другой говорит — «не для кого и не для чего, а для того самого, что пишется и не может быть не написано». Взять эти «Мысли» и пройти по знакомым и, ничего не говоря, раскрыв страницу, показывать, а ответ пусть каждый напишет.

— А со своим пером не лазить, — сказал Корнетов, — и без того в одном Париже изведено бумаги на глупости такое множество, что, если на Конкорде построить дом в пять этажей, можно его книгами весь завалить с чердаками и подвалами, да еще возов с сотню на «кэ» вдоль набережной стоять останется.

Корнетов дал мне книгу «Мыслей», и я воспрянул духом. И без всяких поддельных надувательских планов, будто бы облегчающих достижение намеченной цели, а на самом деле ведущих к мошенническим Козлокам, ограничив себя хорошо знакомым отрезком — Булонь и, выбрав трех: Шестов, Куковников, Судок — я вышел, чтобы не бросать начатого и закончить мое дело интервьюера.

А чтобы не сказали, что это одно и то же, Корнетов придумал другое название: не «юнёр» уж, а по-русски — «шиш еловый».

У Льва Шестова

Лев Исаакович Шестов в Булони за церковью. Если у Корнетова день и до глубокой ночи трамвай лязгает — и который это из них, белый 23-ий или желтый 25-ый или оба стараются? — с открытым окном себя не слышишь, у Шестова и без радиоприемника всякое слово уловимо в те вечерние часы, когда за день нагрохотавшиеся упорные грузовики, выглотнув последний бензин, машинно окоченевают.

Живет Шестов отшельником — «Лев эрмит», и только что в лес. Есть у него такие часы, искусного устройства механизм немецкой работы: по словам баснописца Куковникова, как выходит из дому, тоненькая такая проволочка, где маятнику полагается, и ногу Шестов себе этой проволокой обмотает, и пока ходит, и часы идут, а вернется домой, проволоку отвяжет, и часы остановятся. Так по часам по лесу и гуляет — часов шесть, и говорит, что это нисколько не утомительно, и всем рекомендует: очень полезно.

А в Париже редко. Разве какая «меблированная» особа показать себя в Париж приедет, Томас Манн или сам Пиккар, и устраивается «рэсепсион», по старине «сход», по современному «собрание», а если для зверей — «сходбище». Только на эти «рэсепсионы», а то все дома. Забежит Оцуп с «Числами», Пытко-Пытковский с «Искусственным градом», Куковников с баснями, Судок с «хроникой»; заедет из Кламара по пути на Монпарнас Бердяев, пошумит-пошумит и дальше — читать лекцию; и как это его хватает! да еще из двадцати пяти часов книги пишет совсем уж в безвременье; и говорит, что это нисколько не утомительно, и всем рекомендует: очень полезно.

Бердяев когда-то при зарождении русского марксизма шел в паре со Струве — «Струве-Бердяев», потом с «Вех» с Булгаковым — «Бердяев-Булгаков», а тут в Париже вошло в поговорку: «Шестов-Бердяев». И оба они очень хорошие сердечные люди и друг с другом большие приятели, а какая противоположность: пойдешь за Шестовым, не поспеешь к Бердяеву, погонишься за Бердяевым, упу-

стишь Шестова. Корнетов говорит, что, если вынести за скобку показательные рэсепсионы Шестова и религиозно-философские заседания Бердяева, то никакого и противоречия не будет, а останется Шестов-Бердяев: книга. Я так и сделаю, благо на рэсепсионы меня не зовут, а на заседания, не имея дара слова, не хожу, — я буду читать их книги.

В час двадцать-пятый по-бердяевски, вышел я к Шестову для вопрошания: «для кого писать?» А в то самое время, как я готовился в свой анкетный булонский обход между лесом и церковью, в Париж приехал датский писатель, родственник Киркегарда: узнав, что Шестов читает в Сорбонне лекции о его знаменитом предке, заинтересовался книгами Шестова, и написал в их датских «Последних Новостях» статью, в которой оценивал Шестова, как первого из современных философов — выше самого Бергсона. И условлено было, что Киркегард* в сопровождении Яши Шрейбера придет в гости к Шестову, чтобы познакомиться. И как раз, как Шестов ждал датского гостя, я и позвонил, держа наготове «Мысли», чтобы, от себя не говоря ни слова, показать страницу с животрепещущим вопросом. И к еще большему моему смущению Шестов принял меня за Киркегарда и сказал мне самую французскую любезность и только удивился, почему я один без Яши. Я поспешил его успокоить, что с Яшей я еще не знаком, а что я от Корнетова, его соседа и почитателя, и что сам я, Полетаев, стараюсь вникать в его книги и уже кончаю его полемику с Гуссерлем. А чтобы не сказать чего невпопад, Гуссерля я не читал, я поскорее раскрыл «Мысли» и подал Шестову. И к ужасу моему заметил, что раскрыл не ту страницу. Шестов заинтересовался, надел пенсне и прямо на подчеркнутое.

А подчеркнуто было Корнетовым самое трогательное и самое жалостное из всей Парижской литературы «физиологического» направления по определению Сушилова, и с чистосердечным заключением:

---

* На самом деле никакой Киркегард не приезжал и не уславливался, все это измышления «залесного аптекаря» Судока, исправлявшего рукопись несчастного интервьюера. *(Примеч автора)*

«...жалость к мозгу, которому хочется развлечений, жалость к губам, которые ищут прикосновений; жалость к дьяволу, тоскующему в костях; о, жалость к...»

— В Киеве был телеграфист Вася Кабанчик, — с необыкновенным добродушием отозвался Шестов, — как сейчас вижу: Вася Кабанчик! всем его Бог обидел, ни росту, ни виду, но в одном не обездолил; так он, бывало, зайдет в загончик, станет и стоит, на себя восхищается.

— Я совсем не про это место... — перевертывал я страницы, — я насчет вопроса Михаила Андреевича: «для кого писать» — у Слонима «портреты советских писателей» без генеалогии в противоположность советским — где все происходит от Алексея Максимовича — Парабола, — плел я сам не зная чего.

Шестов, заметив мое смущение, вышел поставить воду кипятить — за чаем веселее разговаривать.

А у верхнего соседа собака — прямо над головой; я эту собаку видел, попав, как всегда, этажом выше, хороший пес! — и вот третий месяц не может собака привыкнуть, и днем и ночью по комнате бегает — и как бегает. И действительно, не скажешь, что одна, а штук шесть их там — двадцать четыре лапы. И пока о собаке разговаривали — трудно человеку, а зверю еще труднее привыкнуть! — вода в чайнике выкипела. И пришлось снова ставить.

Шестов все беспокоился, что нет Киркегарда. Шестов купил для него печенья подороже, чем обыкновенно. Печенья, конечно, не пропадут, с чаем и я подберу.

Шестов подарил мне свою новую книгу: «Скованный Парменид». Пять лет лежала — издать книгу без гонорара большое счастье, да никто не соглашается, изволь сам платить за издание — так и лежала, и только благодаря Бердяеву, наконец, вышла, да еще и гонорар заплатили. Если бы Бердяев похлопотал о Балдахале — о его «русском стиле»! — да видно за всех нельзя, или наверняка уж никому не выйдет.

А Киркегард, конечно, не придет — иностранцы по гостям так поздно не ходят. Киркегард с Яшей сидели в устричном ресторане на Пляс-де-Тэрн, только что кончили

раковый суп, принялись за черепашьи яйца, разговор у них самый оживленный. Какая там Булонь! Но как все-таки философы доверчивы и наивны: ну, зачем датский писатель пойдет к русскому эмигранту? что за интерес? — даже и ничего такого, чтобы подходило к «curiosité» — никакой «диковинки», а кроме того «отсталость» — кому же не ясно, что пятилетка победила! да и вообще, как теперь выяснилось, в эмиграции ничего нет замечательного, ни Льва Толстого, ни Достоевского!

За чаем с Киркегардским сухим печеньем Шестов вспоминал литературную старину: Киев, Петербург, Москву — Водовозова, Челпанова, Жуковского, Волынского, Розанова, Минского, Гершензона, — как тогда было просто и даже ссорились добродушно.

— И в гости ходили друг к другу запросто: условишься, бывало, в девять, а заберешься с шести, да еще кого-нибудь прихватишь с собой для компании, вот как жили, и ни у кого никаких двойных мыслей не было!

— А как же насчет Михаила Андреевича: «для кого писать?» — спросил я, ободренный чаем.

— А помните, что записал Ницше, окончив «Menschliches Alzumenshliches»?

Я молча подал приготовленный листок: Корнетов предупреждал, что Шестов любит выражаться по-латыни и, чтобы не перепутать, держать наготове карандаш и бумагу.

— Mihi ipsi scripsi? — сказал Шестов, — давайте, я запишу.

Прощаясь, я обратил внимание на часы в прихожей — «гулящие»: искусного устройства механизм немецкой работы. Шестов вышел меня проводить. Дорогой, памятуя слова баснописца Куковникова, я пристально смотрел на его ноги, ища проволоку, и действительно повыше каблука на задниках что-то поблескивало.

— Mihi ipsi scripsi! так и передайте Слониму, «написал для самого себя».

И мы простились. Я было уж к калитке, притушил папиросу, и обернулся. Вижу, Шестов под бензинной кишкой стоит — кому-то автомобиль нацеживают — и машет мне.

— Вспомнил, — кричит, — еще из Горация.

Я и вернулся — и как это он под кишкой не боится, Корнетов никогда не стал бы: еще взорвет!

— Из Ars poetica, — сказал Шестов, — si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi, — «если хочешь заставить меня плакать, сам наперед испытай боль».

«Вернувшись домой, пошел дождь», как говорит Балдахал, и я записал слово в слово Шестовский ответ.

Баснописец Куковников

О Шестове говорить как-то неловко: Шестова все знают, и, если кто не читал его книг, то наверное хотя бы имя слышал. Так принято думать. Так говорят, замкнувшись на каком-нибудь отрезке, как я сейчас, изо всего «стомиллионного» Парижа, ограничив себя Булонью и не всей даже, а «от леса до церкви».

И пусть Шестов, нарушая свою ежедневную прогулку по лесу, ходит на рэсепсионы с «меблированными» знаменитостями и разъезжает по всему свету на философские конгрессы, и вот этот Киркегардовский панегирик в датских «Последних Новостях» и похвальный английский отклик на книгу «На весах Иова» и «Последние Новости» печатают о его лекциях в Сорбонне особо, как о лекциях генерала Гулевича, а много ли и сколько наперечет знают его из «большинства», из «массы», из этих «всех» этого русского «стомиллионного» Парижа, имеющего безобидную наглость судить и о литературе — а то как же, всецветный, не поддающийся никаким дождям эмпермеабль и книга одно и то же! — и с судом которого по смыслу Осоргинской формулы «писать для читателя» следует писателю считаться? нет, ни «Россия разложившаяся», которой на все наплевать, ни «Россия натурализовавшаяся», которой, кроме своих дел, ни до чего, ни «Россия подъяремная», обреченная на черный труд на фабриках и заводах, чтобы как-нибудь прожить и имеющая для духовной пищи какого-нибудь многотомного пустослова или, по Шестову, болвана, переведенного на восемнадцать языков, ни «Россия, охраняющая русскую культуру» с ее органом «Русская культура», единственным на весь Нансеновский мир и, надо отдать справедливость, по скуке превосходящим все, какие были «Русские богатства» и горьковские «Сборники Знания», это «Россия», стоящая вне «русской литературной культуры» и для которой Го-

голь, Толстой, Достоевский — пустое место, а высшее достижение, как говорит Корнетов, «девять фельетонов с описанием природы» или пустейший пересказ пошлейшего немецкого модерна, и писатель расценивается по читаемости — «я обошел все библиотеки, — признавался Корнетову редактор «Записок», — я просмотрел все вышедшие книги нашего журнала и оказалось, статьи Шестова не разрезаны, чего ж вы хотите?»

Ничего. И редактор прав. Шестов всегда был и есть «бесполезный» писатель, и Шестовские вопросы станут вопросами всякого русского культурного человека. А пока знают Шестова и ценят такие, как Корнетов, к которым и я теперь записался — «Россия», которую можно сравнить по бесприютности с собакой, потерявшей хозяина.

Так о Шестове. А что сказать о баснописце Куковникове? Если бывают круглые дураки, так этот Куковников для заграничного читателя «круглый незнакомец» и имени его даже и такого Шестовского — неразрезанного не существует.

Василий Петрович Куковников не писатель, он лишь в «рассеянии сущий», с Берлина басни пишет — с Берлина и пошло ему название «баснописец» — Fabeldichter aus Tiergarten или просто «Kalenderdichter». А впервые и единственный раз напечатали его в Париже, но с такими несуразными опечатками, а главное с пропуском строчек по соображениям типографским, ввиду экономии места, что и сам он, читая свое, никак не может добраться до смысла, а запраторив черновик, не может восстановить оригинал. Куковников — книжник, любитель книжного почитания, неисповедимо очутившийся за границей: все книжники Куковниковского склада улитки или черепахи — малоподвижны, живут, где повелось и сживаются со своими книгами неотрывно — покинуть книги им все равно, что дать отсечь себе руку или выколоть глаз, нет, больше, они согласятся и на отсечение и на потерю глаза, лишь бы оставили с ними книги. Бывший младший регистратор Государственной Думы, а здесь в Париже, в категории «собаки, потерявшей хозяина», вяжущий свой бесконечный джемпер и довольствующийся для «поддержания сил» столь малым, — нормальному человеку и

представить себе трудно, — безропотно проводил дни или, как говорили о нем его приятели, — «живет тихо и радостно».

Чтение книг — все. И способ своего чтения применил он и к джемперу — вот почему этот джемпер у него такой бесконечный, и в результате так мало вырабатывает: другой на его месте за тот же срок три свяжет, а он и один — до половины еле-еле. А читает он не только глазами, как это принято, а переговаривает — так читают иностранные книги не владеющие языком — каждое слово на язык берет и губами перемалывает; книга для него, как партитура для музыканта. И любит докапываться до самых «хвостиков», говоря словами Гоголя.

Мне запомнилось его замечание в разговоре с Корнетовым о знаменитой «Пушкинской речи» Достоевского.

«Вы думаете, так взволнованно говорил Достоевский о Пушкине... ничего подобного: о себе и только о себе. А о Пушкине или ничего не говорящее: «Пушкин явление пророческое, потому что в его появлении заключается нечто бесспорно пророческое»; или провинциальнейшую ерунду о каком-то чудеснейшем «даре перевоплощения в душу чужого народа», — о каком-то исключительном даре, какого даже и у Шекспира не было — — да позвольте заметить, что и ни у кого не было, и кто ж это не знает, а лучше всех сам Достоевский: никакого перевоплощения нет и быть не может, а пущено для красного словца критиками для невзыскательного читателя. Но главное, и об этом все уши прожужжали: восторг Достоевского пред Пушкинской Татьяной: Татьяна — идеал русской женщины, и восхищение ее верностью. Очень вам благодарен. Точно все забыли «Дядюшкин сон»? С 1859 года, правда, много прошло. Или не читали? Татьяна — «настоящая русская женщина», «тип положительной красоты», «апофеоз русской женщины», «благородным инстинктом она чует правду и знает, где ее искать» (слово в слово откуда-нибудь из Писемского, из «Старческого греха» или «Людей сороковых годов!»)... и, вспомнив свою Лизу из «Записок из одполья» «вот еще Лиза... в «Дворянском гнезде», — поправился Достоевский. И Тургенев, принявший эту вырвавшуюся Лизу за свою из «Дворянского», даже прослезился. А Достоевский перешел к Онегину и Татьяне: Достоевский вдруг перевопло-

тился в свою красноречивую Марью Александровну Москалеву, а может и «Взбаламученное море» вспомнил и «Тюфяк» Писемского... Пронзительная мамаша бобы разводит, а слушатели уши развесили. Выйти замуж без любви, любя другого, «для матери» — — да прочитайте вы «Дядюшкин сон», там все, все доводы до «прекрасного и высокого», ну, конечно, и «угрожающая нищета» не была забыта, «по миру пойдем, если...», все раздирающие слова — «единственное спасение», и что, отказавшись, «ты убьешь мать» — — и Татьяна согласилась, а ведь это же самая настоящая проституция — ведь это Соня Мармеладова. И я уверен, что в петербургском генеральском доме где-нибудь на Английской набережной, на бархате, «удобно», под какой-нибудь горностаевой мантильей Татьяна вздрагивала, как Соня под своим «семейным зеленым платком», и, как у другой Сони — Писемского, наутро, после брачной ночи тряслась голова и рука. И потом встреча на «шумном бале», Онегин у колонны... и этот наменитый стих, потрясший наивных слушателей — «но я другому отдана и буду век ему верна». Так все и ахнули: какая невообразимая верность! Еще раз очень вам благодарен. Или забыли «Записки из подполья»? С 1864 года прошло тоже не так мало. Или не читали? Там эта верность по-другому называется... есть, видите ли, известные обязательства перед хозяйкой дома, долг верности «публичному дому» и еще — и на это нет ни письменных, ни устных условий, это само собой, с ночами вырабатывается, это — «вынутость воли», «опустошение», человек сживается со своей неволей. И пусть после свидания с Онегиным, все вспомнив, Татьяна издрожится, а не «посмеет». И не в словах дело — «прекрасные и высокие» употребляются человеком столько, что в бумажки превратились, и самые «высокие и прекрасные» в руки взять, запачкаешься. Но в чем же дело? откуда эта взволнованность? Да очень просто и ясно: Достоевский хотел сказать и всеми словами сказал: идеал русской женщины — «жертва». И Тургеневская Лиза ни при чем: Тургеневская Лиза никакой жертвы никому не приносит, Тургеневская Лиза — «с-мирение»: чтобы подняться духовно, надо смирить свои чувства. Тургенев прослезился не вовремя, ему надо было растрогаться при слове Достоевского: «смирись гордый человек», — ведь единственный понял и выразил,

что такое «отречение» — Тургенев. Но при чем тут Пушкин? Впрочем, так это и полагается: самое заветное никогда не говорится от «я», а всегда в третьем лице — такова форма публичной исповеди, потому что, по Достоевскому же, «в первом все это стыдно рассказывать».

Я это упоминаю, чтобы дать хоть какое-нибудь представление о Куковникове. Могу и еще привести пример, тоже книжный. Книга для Куковникова все.

Куковников пришел к Корнетову в воскресенье в баснописном ударе — «по причине хорошей погоды»: все книжники зябкие и жалкие, а чуть выдастся теплый день, и обращаются они во львов со всем неистовством своего согретого, теперь оттаявшего, а в стужу отверделого, вооображения, и при всей своей органической неподвижности легко заносятся, готовые к кругосветному путешествию и полету в стратосферу. Этим грехом грешил Корнетов и недаром любимым его чтением были путешествия и география. Куковников всегда носит Корнетову чего-нибудь к чаю — так повелось еще с Петербурга.

— На сей раз, — сказал Куковников, — я вам принес из Ходасевича, — и подал Корнетову газетную вырезку: «...в стихотворении «Буря» Пушкин написал и напечатал в «Московском Вестнике» 7-ой стих в таком виде: «И ветер вóил и летал». Эта форма поныне считается «ошибочной». На эту «ошибку» тогда же указали и Пушкину (кажется, указал Фаддей Булгарин), и стих был переделан: «И ветер бился и летал».

А на мое недоумение, почему «вóил» неправильно, а «выл» правильно, Куковников сказал:

— Есть глагол «вóить-вóил» и есть глагол «выть-выл». Обе формы имели одинаковое обращение в России, употребляются и теперь в С.С.С.Р. В литературе привилось «выть-выл», и потому эта форма называется «литературною», а «вóить-вóил» областною. Но вот был, оказывается, случай, когда и эта областная форма могла стать литературною, и все говорили бы и писали бы, смотря по надобности и «вóить» и «выть». И это мог бы сделать Пушкин. Пушкин и написал и совершенно правильно — «и ветер вóил и летал», и натолкнулся на грамматику — грамматика дело почтенное, но как часто попадает она в руки тупиц: «вóил, — сказал грамматик, — употреблять нельзя, слово не литературное, ошибка!» Будь Пушкин

тверд в русском языке, да он и разговаривать не стал бы с этой безухой трухлой, но откуда могла быть у Пушкина твердость? — и он поверил: ошибка! — и свое звучное «вóил» заменил немым «бился». Пушкин мог никогда не слыхать формы «вóить», а как дети, по чутью языка, непосредственно из «выть» сложил «воил», а дети всегда так скажут.

Куковников любит стихи. И не может слышать, когда читают актеры.

— Актеры, — говорит он, — относятся к стихам по-смердяковски. Актер, читающий стихи, как прозу, нарушая ритм стиха и тем самым не замыкая рифмы, не может не повторить за Смердяковым: «стихи вздор; это чтобы стих, то это существенный вздор; кто же на свете в рифму говорит? и если бы мы стали в рифмы говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали? стихи не дело».

И еще позвольте привести из литературных опытов Куковникова — рукопись хранится у Корнетова, «впечатления на лекции Ивана Ивановича Ильина». Напечатать не удалось, а теперь нечего и думать: редактор скажет, что «будет вовсе непонятно, почему молчали, почему вдруг заговорили!» — есть такой паскудный ответ: когда молчат, это ничего, а если, хоть и с запозданием, вспомнить и тем исправить литературную подлость, самую подлую, какая только есть, «замалчивание», это неудобно: «что скажут?» А все равно скажут, я скажу: все редактора бессовестные! А «впечатления» Куковникова очень для него характерные: в них его любовь и оценка слова; а называются «слововедение»:

«В эмиграции есть два Ильина и оба профессора, и их никак не следует путать: про одного говорят, что это тот самый, что на «Шестодневе», Владимир Николаевич, Парижский; про другого — на «Гегеле», Иван Александрович, Берлинский. Я имею в виду того, который на Гегеле, его лекцию о «национальном характере». Председатель, запутавшийся в бесконечно-малых, представил аудитории Ивана Александровича — Арсеньевым: «слово принадлежит Ивану Александровичу Арсеньеву». И это произвело потрясающее впечатление: одни поняли так, что у Ивана Александровича есть псевдоним — «Арсеньев», другие же, что попали не в ту аудиторию, а третьи,

у них-то и было самое жуткое — перед ними на кафедре стоял Иван Александрович Ильин, а вместе с тем он же был и Николай Сергеевич Арсеньев или, как уверяли потом... Николай Николаевич Алексеев. И было такое, как во сне снится, расчленение зрения. Так без всяких опровержений прочитана была лекция в двух частях с перерывом. Та часть лекции — географическая — «Россия есть игра природы», показалась слушателям слишком общедоступной, «на дурака», а от себя скажу, что «дурак» ни при чем, а что «рекой» человеческую душу не измеришь, и ни «лес», ни «гора» не оградят ее, и «морем» она не разделяется. О другой же части лекции — «словесной» ничего не говорилось — не по ушам. И эта часть, оставшаяся без внимания, по своим словесным сочетаниям сложнейшей конструкции, была истинным наслаждением для любителей слововедения. Сравнить ее можно с видением князя Андрея из «Войны и мира»: «...князь Андрей услыхал какой-то тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «пити-пити-пити» и потом «и ти-ти», и опять «и пити-пити-пити», и опять «и ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок и лучинок. Он чувствовал, что ему надо было старательно держать равновесие для того, чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки — — Вместе с прислушиванием к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный окруженный свет свечи и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его». Да, это был подлинный словесный гнозис, покоривший редких, но внимательнейших слушателей, расходившихся с «Арсеньева» в сырую, как осень, неприветливую, по календарю весеннюю, парижскую ночь».

Ничего так не ценил Куковников, как слово. В этом была его страсть и его сокровище. Когда объявили борьбу с «денационализацией» и «против утраты русскими детьми духа русской народности», и когда стали печататься отклики авторитетнейших писателей, Куковников пришел в уныние.

Один из писателей предлагал, перечисляя «больные слова», выбросить и слово «утихомирить», означающее «утишить» (тихо сделать) — «умиротворить» (помирать) — «устроить», как несуразное и втершееся, происходящее не иначе, как от фамилии «Тихомиров». Другой не меньший знаток, ссылаясь на «слух», объявил, что «садить цветы» нельзя, а надо «сажать», а людей в тюрьму надо «садить», а не «сажать», хотя испокон веку по слуху, т. е. по чутью языка, всегда говорится «садил сад», «садить огурцы», а в тюрьму на русской земле всегда «сажали» (и «посадили» и «засадили»), но никогда не «садили» — «немчина не сажати в погреб Новегороде» — так с XII века (Мир. грам. Новг. 1199 г.).

— Мне спор этих книгоедов напомнил, — сказал Куковников, — когда-то в «Русском Богатстве» Михайловский по поводу языка Петра Бернгардовича Струве рассказал анекдот о встрече двух немцев: один говорит: «я только что стригнулся», а другой его поправил: «неправильно, надо говорить стриговался».

* * *

Корнетов предупреждал: если я застану Куковникова за работой, дело мое пропало — пока не кончит своего вязального урока, подступиться к нему невозможно.

— Помните, как жили мы в Кербелеке, — сказал Корнетов, — а перед нашим окном один «bonhomme» пропахивал виноградник: tiouk-tiouk-tiouk — nom-de-Dieu, mais... luîo (и раза два кашлянув) ouau! (остановка) и опять «тьюк-тьюк-тьюк». Так и Куковников со своим джемпером.

К моему счастью Куковников, как раз, окончив работу, пил чай с баранками «в тишине и радостно».

— Всякий день Бога благодаря за баранки, — сказал Куковников, — уж думал к здешнему приучиться, и ничего, но и удовольствия никакого не было, и вдруг чудесным образом объявились.

Я знал от Корнетова эту его слабость — баранки. Куковников питался овсянкой и эти баранки с чаем. Случались и такие, что и ножом не возьмешь и без молотка не обойдешься, по каменности превосходящие всякие сухари, — их называл Куковников «петровские», подразумевая давность — петровское время, а вовсе не Петра Петровича Сувчинского, как утверждал мошенник Козлок, дуря над дураками. И еще любил Куковников чаю попить с вареньем: лесная земляника или малиновое, но это бывало только по большим праздникам.

Корнетов достал у «Рами» земляничного варенья. Передав Корнетовский гостинец, я, ничего не говоря, раскрыл «Мысли» с животрепещущим вопросом «для кого писать», и на этот раз благополучно — не Поплавского, а ту самую, какую нужно.

— Сейчас, — сказал Куковников, — я вам из Гоголя.

А я вынул и держал наготове карандаш и бумагу.

— Помните о дамах, требующих героя «без пятнышка?» Это по поводу «Мертвых Душ». Вот ответ Гоголя: «он (автор) не имеет обыкновения смотреть по сторонам, когда пишет. Если и подымет глаза, то разве только на висящие перед ним портреты Шекспира, Ариосто, Фильдинга, Сервантеса, Пушкина, отразивших природу таковою, как она была, а не какою угодно было некоторым, чтобы была». Или вот еще отзыв Гоголя о «Вечерах», которые он называл «поросенком» и видел в них лишь «хвостики» своего душевного состояния. Но я скажу в «Вечерах» — «корни», весь Гоголь до своего рокового конца — до той «черствости», которую почувствовал и объявил себя «оглашенным», до своей «угольной черноты», на которую жаловался Оптинским старцам или, говоря словами Брюсова, до своей «испепеленности», обреченный сгореть, как Петро в «Майской ночи» или как псарь в «Вии». «На меня находили припадки тоски, — говорит Гоголь, — мне самому необъяснимой... чтобы развлекать себя одного, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, и кому от этого выйдет какая польза».

Гоголем вышел я от Куковникова.

Лгать

«Язык на то и дан человеку, чтобы лгать»... Вдохновительница лжи — сама чудеснейшая природа. Сколько ни есть охотничьих рассказов изустных и печатных — первое тому и неопровержимое свидетельство. Литературный родоначальник лжи — Фальстаф. А за Шекспиром врут у Гоголя, у Достоевского и у Писемского. Врет в «Ревизоре» Хлестаков и в «Мертвых душах» Ноздрев с точнейшими подробностями, которые, утончаясь, «теряют всякое подобие правды и даже просто ни на что не имеют подобия». Врет в «Идиоте» Достоевского генерал Иволгин со своей болонкой, паж Наполеона. Врет Антон Федотыч Ступицын у Писемского в «Браке по страсти» и «Русских лгунах» со своим паркетом, на котором изображено Бородинское сражение, а ему вторит Коробов со своим будильником, который будит не трескотней, а выкрикивает человеческим голосом: «вставайте! вставайте!» да еще с прибавлением: «вставайте, Клеопатра Григорьевна!» — называя по имени мать Коробову. И во всей этой лжи, начиная от Фальстафа до «Клеопатра Григорьевна, вставайте» человек рассказывает о никогда не бывшем, а лишь желаемом, как о происшедшем на самом деле или «сбыточные и обыкновенные вещи, но только они с ним не случались и не могли случиться» — ведь и «паркет» и «будильник» приобретены по случаю, когда «водились свободные деньги», которых никогда не было ни у Ступицына, ни у Коробова. И рассказ ведется никогда не безразлично, так как в природе самой лжи — огонь и опьянение: лгуны всегда заносятся, всегда горячатся, а мелкие врунишки улыбаются. К этому разряду лжи относится всякая реклама изустная в громкоговоритель и печатная на роскошной бумаге, реклама торгово-промышленная, банковская, политическая и литературная от дружественных отзывов о книгах и театре до побивших рекорд иллюстрированных отечественных «наших достижений» с эйфелеобразными Маниловскими бельведерами и улыбающимся заключенным в Соловках.

Есть чисто женская ложь и всегда о любви, эта ложь для украшения бедной или несчастной жизни — врет Мавра Исаевна, тетка Писемского, в «Русских лгунах», врет Настя в «На дне»; и кто не встречал женщин, для которых два ваших безразлично сказанных слова получают

глубокое значение, и вы непременно попадаете в число влюбленных, а ваш случайный взгляд будет жить для нее, как — «как он на меня смотрел!» Есть женская ложь общая с мужской, ложь всяких пролаз для достижения своих целей. А есть и еще ложь — «человек лжет словом, делом, помышлением» и — — «телом», эта ложь любовных историй, слова в которых так однообразны и приемы не оригинальны, что им может поверить или ребенок или дурак; кто не знал дам, уверявших каждого из своих поклонников, что он первый! Но и самые затертые слова и самые невероятные по наивности объяснения в этих историях убедительнее всяких искусных и хитрых слов: так велико обаяние и чары — немая ложь тела. В литературе неисчерпаемый перечень всяких комедий, водевилей, фарсов с веселым окончанием и насмешкой над одураченным героем, но бывает и с трагическим концом: рассказ Леонида Андреева «Ложь».

«Залесный аптекарь» Семен Петрович Судок врал, как художник, — его ложь была бескорыстной игрой: ведь признак художественности и есть «ни для чего», «само собой» и «для себя». Судок носил парик — а где вы теперь увидите парик, разве на сцене! — и носил он парик не для форса, чтобы молодиться, а по каким-то причинам, более глубоким и уважительным — пронырливый и всезнающий Козлок нес невесть что.

Только потому, что я всегда был вне литературного и книжного круга, я не знал, что такое «залесный аптекарь» и о таинственных подробностях с париком пропустил мимо ушей, и вот почему однажды — не хочется вспоминать старое! — я так доверчиво попался на его удочку, и на собственном опыте знаю его аптекарские замашки и уверен, что не иначе, как рогатый.

«Ничего не поделаешь, надо принимать жизнь такою, как она есть, — сказал Корнетов, — а вот Семен Петрович с этим никогда не согласится: вся его жизнь — сплошная выдумка».

Судок был автором берлинского «Цвофирзона». И этот «Цвофирзон» (Zwovierson) — «свободное философское содружество» можно рассматривать, как образец его литературных упражнений: ни слова правды. Два года (1921—1923) мутил Судок этим «цвофирзоном» русский Берлин,

в те годы самую многочисленную эмигрантскую колонию. По его милости возникла нашумевшая полемика между «Рулем» и сменовеховским «Накануне»: обе враждующие газеты были введены в заблуждение его вымышленными литературными сообщениями, появившимися тоже по недоразумению в третьей берлинской газете с переменным названием. Был затронут и аристократический Париж, тогда с высокой валютой; из парижан в аптекарском «Цвофирзоне» принимал деятельное участие Лев Шестов, на самом деле не имевший никакого отношения ни к «аптекарю», ни к его художественной затее. Рассказывали, что Шестов, наконец, решился было напечатать опровержение, но к великому своему изумлению узнал в одной из парижских редакций, что опровержение уже напечатано, и, как впоследствии выяснилось, такое опровержение входило в выдумку Судока. Не осталась и Рига без отклика: не вымышленный, а действительный Петр Моисеевич Пильский письмом в редакцию отказывался от какого-то измышленного Судоком Петра Прокопова, выдававшего себя за ученика Пильского по Петербургской школе журнализма, Два Берлинских инфляционных года, если судить по информации Судока, представляли необычайно кипучую деятельность в искусстве и литературе, или вообще говоря, на культурном фронте: русский Берлин, если еще не превратился, то был накануне превращения в Афины, а до сих пор не засыпанный ров Е. Д. Кусковой не только сравнялся, а еще, как память, цвел цветочной клумбой — хлестаковскими курьерами летали из России в Берлин и из Берлина в Россию художники, писатели, ученые и музыканты. Стабилизация марки разбила все мечты и планы Судока. И с «Берлинской волной» Судок перекочевал в Париж. (Мы приехали вместе — 7 ноября 1923 г., держу в памяти для картдидантитэ). Но этот Париж ничего не имел общего с тогдашним Берлином: инфляционный Берлин, связанный с живой Россией и по свежим воспоминаниям выехавших за границу и по общению с приезжающими из России, был столицей, Париж же, теперь не высокой валюты, принявший в себя такие две разные волны, как Константинопольская, память которой держалась на «гражданской войне», и эта наша Берлинская, пережившая всю революцию в Москве или в Петербурге до нэпа, становился провинциальнейшим городом русского

«стомиллиона». И с каждым «беженским» годом или с каждым годом «в изгнании», как любят выражаться никогда никем не изгнанные, явившиеся за границу с разрешения и даже в командировку, провинциальный дух концентрируется, проникая душу русского парижанина. Все, что есть характерного для провинциала, с годами распустилось в русском «стомиллионном» Париже, в самом совершенном виде. И разве это не провинция: выпуская книгу, пишут предисловие, заявляя, что предлагаемый рассказ, написанный от «я», совсем не надо понимать, что автор описывает себя, свою жизнь; или, скажу про себя, ничего нельзя написать из нашего житья-бытья, непременно найдется кто-нибудь, кто узнает себя, и бывали случаи, что отказывали печатать и возвращали рукопись «из-за личных намеков» — ну, скажите, пожалуйста, точно, напр., расстройство желудка такая уж индивидуальная болезнь? И хотя я печатно заявлял и еще раз заявляю, что я, как и всякий писатель, подчеркиваю п и с а т е л ь, а не описатель, пишу только и только о себе, свое и о своем, — подите, сговоритесь! Впрочем, что такое провинциал, лучше не скажешь, чем Достоевский:

«Инстинкт провинциальных вестовщиков, — говорит Достоевский, — доходит иногда до чудесного и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов».

Всем памятна история с Грешищевым и Очкасовым — имена, взятые Судоком из старинных документов. Эти почтенные люди — подьячий Федор Грешищев (1707 г.) и дьяк Федор Очкасов (1653 г.), по сообщению Судока появились в Париже и организовывают фантастическое книгоиздательство: от справочников до всевозможных энциклопедий, полных собраний классиков и уже приступили к переизданию Словаря Даля и Макарьевских Великих Четий-Миней. Прочитавшие заметку, «вестовщики» немед-

ленно объявили, ссылаясь на точнейшие и верные сведения, что Грешищев и Очкасов «подосланы большевиками» или просто известные большевики; писателей предупреждали не участвовать в их журнале, — я забыл сказать, что Грешищев и Очкасов собирались и журнал издавать по типу «Современных Записок» — а не-писателей остерегали: не знакомиться. В Париже трудно было развернуться Су доку: а и вправду при таком всепроникающем глазе лучше помалкивать. Между тем и редакции газет, давно подозревавшие Судока в шельмовстве и надувательстве, перестали печатать его информацию, даже самую невиннейшую и правдоподобную, а это случилось после вымышленного сообщения о новом парижском журнале «Щипцы»: обиделись литературные дамы. Пробовал Судок через третьих лиц и не своим почерком, но «аптекарский» стиль выдавал его. И я могу точнейшим образом засвидетельствовать, со слов Корнетова, что появившаяся в рижском иллюстрированном «Огоньке» фотография, сделанная якобы в день чествования нашего знаменитого поэта по случаю тридцатипятилетия его литературной деятельности: «маститый поэт в кругу своих почитателей», а «Огонек» с этой фотографией, на которой изображенные лица ничего не имели общего с подписью, в том числе и то лицо, которое представляло юбиляра, пришел в Париж как раз в день чествования, — дело рук вовсе не Судока, а его последователей и подражателей. Или это правда, что нет ничего заразительнее, чем ложь? Все, конечно, свалили на Судока. И с этой юбилейной подложной фотографией кончилась его парижская деятельность. Говорили, что, изверившись в Париж или, точнее, потеряв доверие Парижа, перенес он свою «аптекарскую» деятельность за Океан и упражнялся в американских изданиях. Но этого я не могу утверждать: возможно, что и тут опять какие-нибудь последователи и подражатели: ложь и в самом деле чрезвычайно заразительна.

Отправляя меня к Судоку, Корнетов предупредил, что не надо носить никаких баранок, ни земляничного варенья, а что лучшего ничего я не придумаю, чтобы задобрить Судока, если расскажу ему какую-нибудь литературную небылицу.

— Ну, скажите, что в «России» появится критическая статья о «Числах».

Но я еще только входил в литературный круг и не мог понять, в чем тут небылица: я еще не знал никаких литературных мерзостей, вроде бойкота — или замалчивания, широко практикующегося в эмигрантской печати. И я пошел к «залесному аптекарю» с пустыми руками и... ключом на языке.

* * *

С неудачного и скандального прошлогоднего моего «юнёра», я боюсь Судока. Ведь это его мошеннический «план» привел меня не к критику Емельянову, а к Козлоку. Я не верю ни одному слову. И никак не пойму, в чем секрет его обмана — ведь все знают и всякий раз попадаются! — и чего его тянет измываться над людьми? Игра ли тут какая: сочинив невероятный «слух» или «событие», он радовался больше того, кому вероломно выдавал за истинное происшествие. Или в этом удовольствие — видеть другого человека пораженным и растерявшимся — ведь сообщения Судока всегда сенсационные?

Когда в газетах сообщается о каких-нибудь сенсационных событиях, которые завтра же будут опровергнуты, а бывает, что и в том же самом номере на следующей странице, как это было с отречением Альфонса в пользу Хуана, тут ничего нет удивительного, дело житейское и в газетном обиходе известное, а называется «стрельнуть». Или, как это раньше бывало с корреспонденциями из СССР, которые сочинялись даже и не в Риге, куда проникали обреченные смельчаки на «активной платформе», нет, а все тут же в Париже или под Парижем. И это понятно: надо же как-нибудь выбиваться — жизнь наша отчаянная! — ведь это то же, что «организационные» расходы в любом предприятии. Но какое-нибудь письмо из СССР, заканчивающееся «мы вас ждем» — тут дело не в корме и стрелять нечего, тут бескорыстнейшее мошенничество или как хотите называйте, но дело чисто — ради самого безобразия. Судок играл в свои выдумки, как дети в игрушки, и чем больше выдумывалось, тем сильнее разгоралась охота: выдумывать его страсть. Это была Гоголевская черта — Гоголь выдумал себе всю свою жизнь и ни одно его признание нельзя принимать за чистую монету, и Судок врал, только без Гоголевского

таланта, и уж без всякого применения, не считать же в самом деле информацию, при напечатании которой он всегда радовался, как в первый раз напечатавшийся. А так как эта его сочинительская страсть не поощрялась, а заглушить ее все-таки ничем не заглушишь — не верю я, когда говорят, «загубили талант»! — он радовался и всякому дураку, который, как я, развеся уши, мог выслушивать его вздор и небылицы.

Судок мне очень обрадовался. Я это сразу почувствовал. Он точно только и ждал меня, чтобы всласть насытить свое плутовское воображение и безответственно обмануть. Но я, уж раз ожегшись на его советах, держался настороже. Я все-таки думал, что ему будет совестно за его «генеральные штабы», легко и просто безо всякой консьержки приводящие прямо — к мошеннику Козлоку.

Судок только что проводил своего приятеля Monsieur Piedplat. Я убежден, что этот Пьепля был такой же перец и, конечно, самый настоящий «стрелок» или, по словам Судока, «голова» (un bonzig), который может использовать всякую «дрянь» (le mégot) и «зашибить куш» (le pèze): большая иностранная пресса только и держится такой «информацией», а поставщики сенсаций в большой цене.

На этот раз Судок называл меня иронически «сокровищем» (mon loustic). Он был под обаянием своего французского друга, вставлял французские слова; в его голосе звучало добродушие; и все-таки выходило так, что не он мне, а я ему чем-то насолил — удивительная наглость! И такой оборот меня забеспокоил, но, вспомнив наказ Корнетова не вступать в пререкания — сердце у Судока подымчиво, а по-басенному «рубит лорь иглать», я, скрепя сердце, раскрыл «Мысли» и показал животрепещущий вопрос: «для кого писать»?

Судок смотрел на меня насмешливыми глазами: он явно издевался надо мной. Мне это показалось очень обидным.

— Толстой требовал и от себя и от других, чтобы писали для всех, для большинства, для массы и как можно проще и понятней! — не вытерпел я и выскочил с Толстым.

— Не всякую строку в лыко, — скороговоркой сказал Судок, передавая мне книгу, — что же, что Толстой!

говорить все можно. А Толстому и надо. «Все, большинство, масса»! — более неопределенного и переменчивого поискать, не найдешь: в Париже «все», т. е. улица, одно, в Шанхае другое, в Москве третье. Пялить глаза на всех, глаза потеряешь. Впрочем, у Достоевского хорошо сказано: пялить-то часто нечего и при всем желании, потому что «не видят и вовсе не увидят — нечем видеть». А Толстому было чем смотреть и он видел. Толстой черкал и перечеркивал целые страницы — и не зрячесть же «всех» этих «московских читателей» толкала его руку — Толстой добивался ясно и отчетливо выразить мысли. А говорить можно все, что угодно. А Толстому и надо. Толстой, освобождаясь от «предрассудков», разложил литургию и очистил от «чудесного элемента» евангельские рассказы и написал «чудеснейший» рассказ «Хозяин и Работник» и не менее чудесную сказку о «Трех старцах». Зря было божественные чудеса вычеркивать и разоблачать таинства, а вот, подите ж, для чего-то понадобилось! Смердяков говорит о «Вечерах» Гоголя: «про неправду написано». Совершенно верно. Только два писателя и писали про «неправду»: Гоголь и Толстой. А Достоевский — только правду... «от гориллы до уничтожения Бога, и от уничтожения Бога до...» и никакого обмана, никакой тайны обмана, вы не понимаете? Ну какая же это «правда» — Гоголевский полет на ведьме или разговор с человеческой душой или этот Толстовский окликающий голос «Хозяина» или свет в конце дыры, куда проваливается Иван Ильич? Толстой самый крепкий и самый «неправдашный» и самый из всех верующий. И покорил-то он «всех», «большинство», «массу» своей этой крепостью и ни с чем не сравнимой верой в чудодейственность человека, в котором и свет... а на ваш вопрос вот вам ответ из Достоевского: «если такое чувство (жажда славы) сделается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уже не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт, т. е. любовь к искусству, единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава; когда С. берет смычок, *для него не существует ничего в мире, кроме его музыки*».

Я чувствовал, что если настаивать на записи, Судок не удержится и что-нибудь прибавит, совсем не относящееся, я поспешил проститься. И хорошо сделал, по

взблеснувшим его глазам я понял, что сейчас начнутся выдумки.

— Читали вы в сегодняшней газете о «сыворотке против лжи», — сказал Судок и, нарочно это он или нечаянно, снял парик и, уверяю вас: на голой его голове я увидел два совершенно одинаковых рога, а отступя посередине третий — кривой! — представляете, как возмутились лгуны, — продолжал Судок, — они, а они ведь это мир! соглашаются на всеобщий конец мира, лишь бы защитить свою честь. А какое было бы потрясающее зрелище: человечество, лишившееся своей испытанной защиты исконной от гориллы до...

Без оглядки я проскочил в дверь на волю.

И не помню, как я шел по Жан-Жоресу. Голова моя пылала, глаза жгло — на свете больно, я шел, не смотря, а все видя, я раздавал затрещины налево и направо, расчищая себе дорогу — к Гоголю, Толстому, Достоевскому.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ

Я никогда из-за своего пропада не желал никому беды и не злорадствовал; оттого ли, что глубоко сознаю, что исправить ничего нельзя, и никакие, самые «пророческие» вдохновенные, проклятия ничего не изменят, а физическое истребление, на что я совсем не способен, самообман и со всеми его последствиями очень тяжелыми, как для себя, так и для других. Предоставляю другим — кто как хочет и может: воистину, все позволено.

Человеку все позволено и... прощено. Это говорю я не из какой-нибудь теории, вымученной за все мои напряженнейшие дни и жестокие ночи, всегда на волосок от какого-нибудь сумасброднейшего поступка, я говорю это из наблюдений, вольных и невольных, и столкновения моего до — синяков с живою жизнью: так не только всякий думает, а и поступает, а какими словами выражаются и выражаются ли, неважно; но это так.

Прожил я жизнь не без воли — я хотел быть всегда сам по себе и все делать по-своему, и все делал по-своему, несмотря ни на что. Пустые люди, описанные Чеховым, — Чехов потому и пришелся по вкусу: рыбак рыбака... — мне чужие; и пропад пустого человека, а это

тоже Чеховская тема: как такой человек пропадает — не мой пропад. У меня было и есть упорство; начатого я никогда не бросал; не поддавался и никаким соблазнам; не опускал рук ни при каких и самых трудных обстоятельствах, которые подымались и окружали меня непрошибаемыми стенами; верил и верю человеку — да, не «все-равно» и не «все-одно», и это из моего глаза, из моего слуха и из моего сердца, а ведь проще простого поддаться самому безнадежному, а в сущности самому успокоительному «всеобщему и однообразному подлецу»; верил и верю в человеческую волю — в это никогда не удовлетворяющееся, настойчиво требующее «хочу», и в человеческий труд — в это в меру сил «могу» — но сам-то я за всю мою грозную жизнь путного ничего не сделал, и в этом сознании моем, что так-таки не сделал и не сделаю, и есть мой пропад. Последняя попытка проявить себя — сделаться писателем, ни к чему не привела: я знаю и не обманываю себя и не обольщаюсь, что мера моих сил — возможности мои очень ограничены или, выражаясь образно: «однодневная всеобщая забастовка» и другого, хоть тресни, не придумаю, и имени Корнетова вроде как бы и не существует. И мне осталось одно, на это я имею право: «свидетельство о бедности».

В «кассе шомажа» уполномоченный — писатель моего возраста, выпроваживая меня — а как по-другому сказать, не знаю: он так размахивал передо мною моим прошением, что я невольно пятился к двери...

«Возможно, — сказал он, наступая на меня, — вы не можете уловить духа времени».

«Мне хотя бы какое-нибудь свидетельство!» — говорю я в дверях уж.

Но вместо ответа он по-товарищески подал мне руку. И я узнал в нем самого себя, разница была только в том, что он еще не сомневался в своих возможностях и все относил к «духу времени» — к современности, под которую он по своему возрасту не подходит или, выражаясь образно, ему в голову не пришло бы на демонстрации бритвой подрезать жилы лошадям.

И вот я хожу с еще не подрезанными жилами, куда только можно, и куда нельзя, за этим бедным свидетельством — сам-то себе я его давно выдал.

Вчера заходил Козлок — мошенник и плут, но добрый человек и с ним нетрудно. С тех пор, как мошенник промудровал надо мной, дано ему имя Аркалай. И потому ли, что зовется «поэтом» — все волшебники поэты, — заходит Козлок всегда с литературными новостями, а если ничего нет, сам сочинит: что Козлок, что приятель его Судок — одного укуса и уксуса.

Козлок не без удовольствия передал мне все ходячие догадки, а и собственные домыслы, кто именно подразумевается из общих знакомых в «Шише еловом», исправленном предательской рукой «залесного аптекаря» Судока. Мне, знавшему подлинно в оригинале и в исправленном виде, и как составлялось это Полетаевское интервью, жутко было слушать, просто не верилось — в какой, значит, спертой тесноте живем мы, и как надо потерять всякий глаз и чутье к человеку, чтобы так перетолковывать.

Но Козлок сделал вид, как будто это не к нему, а к Тирбушону. И, подхватив «Тирбушона», рассказал о его загадочном пальце: у Тирбушона, по уверению Козлока, — «сам признался» — не растет на руке на левом мизинце ноготь — явление необыкновенное, и как был месяц назад, так и теперь, все в одном положении, а на других пальцах растут нормально, и он их подрезает, иначе б выросли когти — что все это значит?

— Тирбушон показал мне палец, — рассказывал Козлок, — вижу, ничего особенного, а он мне говорит: «значит, скоро будет война!» И признался по секрету, что уж потихоньку начал собирать пробку из-под бутылок и ночью, когда засыпают соседи, приклеивает фотографическим клеем эту бутылочную пробку рядами по стене своей меблированной комнаты.

Но самое главное: «письмо Ромэна Роллана». Козлок достал это письмо у Швабрина, и было ясно, что копия, но по своему природному мошенничеству выдавал за оригинал. Ну, пусть будет оригинал.

Ромэн Роллан, прочитав французский перевод «Крестовых сестер» или, как он называет «Inferno», делает такой вывод, что никто из героев «Буркова дома» не может построить новую жизнь, и чтобы построить новую жизнь, надо создать новую человеческую расу — другого человека, не Маракулина.

«Vous êtes un des hommes qui avez annoncé et préparé le tremblement de terre qui a jeté à bas la maison Bourkov... — Mais où sont, dans votre livre, «les maîtres d'oeuvres» (au sens «gothique»: les architectes) qui reconstruiront une maison meilleure? Marakouline ne le peut point, ni aucun de ses compagnons de chiourme. C'est une nouvelle race d'hommes qu'il faudrait faire. Le vieil Adam est-il assez jeune encore pour planter dans le venire d'Eve une graine drue, non mordue par le ver du péché originel et par la vermine des autres moisissures ramassees au long des siècles?... Qui sait? Je lui crie: «Vas-y, vieux père!» Il n'en coate rien, d'essayer! Rien de plus, en tout cas, que d'attendre que la maison, ou lui, tombe».

Козлок дал мне на прощанье десять франков «на бедность»; Ромэн Роллан взбудоражил мои горящие горькие мысли о человеческой бедности, и я все думал, пока не закрутило в сон.

Я увидел себя лошадью с подрезанными жилами, мне очень хорошо запомнились мои острые движущиеся лошадиные уши; ногам моим больно и не знаю, куда мне их девать, и эта лужа крови, и не могу я никак выразить словом моей боли и моего страха — я питаюсь сеном, я бессловесный, Козлок в рыцарском одеянии, не Аркалай, Амадис, кружил передо мной, сапогами размазывая кровь; он, должно быть, только что спрыгнул с меня. Если бы он догадался остановить кровь! И он взмахнул рукой, как летучая мышь крылом, и я превратился в человека. Ромэн Роллан заставляет меня прочитать на вечере Пытко-Пытковского из Лермонтова: «и жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка»... — я упираюсь, но потом начинаю раздумывать. И вижу, как по горизонту бегут волки — облака! — злые с поднятыми лапами, как слоны, и кто-то — Лермонтов? — говорит мне: «надо затушить огонь и затаиться!» И мы с Козлоком залили камин и прижались к стене. И я видел, как за поднявшимся дымом, окутавшим стену, не заметив нас, пробежали волки. Тут я проснулся с чувством, что беда миновала.

Какое ясное утро — первый весенний день! «И жизнь, как посмотришь»... — вспоминаю сон, — но эти Козлокские десять франков и никуда мне не надо идти за свидетельством... да и не знаю я, к кому еще обратиться?

Я иду так по нашей улице — свободный от «бедности»; «бедностью» в старину называлась «тюрьма». «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка»...

«Ветхий Адам», нет, просто старик Адам, потому что «ветхий» предполагает другого «нового» — «поновленного», омоложенного «благодатью». «Старик Адам» — у старика «задатки» еще имеются: первые весенние дни, — я чую, — «станок поставил». И я нарисовал картинку — все, что я встречаю днем или ночью во сне, я всегда рисую: вот на нашей улице, с такими выгибами, что встречным, не толкнув друг друга, не разойтись, «mademoiselle Pédon et son cabot» (подпись к картинке) — неизменный и верный ее Тотор, встретив на таком неминуемом выгибе тротуара неизвестную мне Флоранс, первые заявили о весне. Проходивший мимо кюре уткнулся в молитвенник, очень заинтересовались ребятишки — они гурьбой шли из школы, ища «авантюр» — и как обрадовались невиданному осьминогому чудовищу: на одном туловище по концам две морды! А мадемуазель Пэдон, крепко держа на ремне своего Тотора, наблюдала первое явление весны — этот первый весенний клич, и с таким сияющим лицом — однажды в год ей выпадает такое счастье! — можно было смело сказать, что от ее лица и исходил и свет и тепло первого весеннего дня. С этого дня я с нею раскланиваюсь, а знаю ее и ее кабо еще с осени. Тотор питается из ордюров: поздно вечером, когда я подходил к калитке, Тотор, выпростав морду из «пубеля», схватил меня за рукав. Я уверен, что он меня принял за свежий ордюр: я с моим образцовым «анализом» и выброшенные кости, ботва и всякая полежалая дрянь — никакой разницы! И тут, в это яркое утро, никакого стеснения: так естественно и ему повезло — случайная встреча с Флоранс. И никогда не поймет, если я скажу: «и совсем не случайная» — ведь и хозяин этой Флоранс стоял тут же и изводил своими разговорами — известный «кабо!» — счастливую, счастливей своего «кабо», мадемуазель Пэдон. Тотор делал свое дело, чего ж стесняться!

Старик Адам! ты этого никогда не поймешь и никогда не примешь... о «деловых отношениях» мечтал, кажется, единственный Розанов, но как это чуждо в веках сложившейся «человеческой природе» с ее «грехом» и

«стыдливостью». И старик, наверное, там где-нибудь за пустырем устроился, загороженный от любопытных глаз соблазнительной рекламой: «buvez les vins du Postillon», и, если бы увидел меня, близорукого, открыто смотрящего на мир со всем моим сознанием всего значения веса и тяготы «природы», «греха», «стыдливости» и «предрассудков» и горчайшим чувством моим перед «человеческой бедностью» и перед своей «беднотой», или увидел бы уткнувшегося в молитвенник кюре, который, предполагается, не смотрит по сторонам и ничего не видит, что вокруг, очень бы сконфузился, ну, и не обознался бы, как Тотор, принявший меня за ордюр, и когда окончится церемония, повторяю, задатки еще имеются, туркнется за хлебом и говядиной — и мясные и булочные тут же, где живописно расположилось осьминогое чудовище о двух мордах по концам. А хороша будет порода: отец и мать сытые, и виден хозяйский глаз — чистые, умные зародятся псы, ласковые собаки с тем особенным запахом здоровой псины... Одну такую на днях переехал автомобиль: с улицы перенесли ее на тротуар к угловому колониальному магазину, где за покупку неохотно выдают обещанный талон — надо набрать сто талонов, чтобы получить премию! — и уж как бывают довольны, если покупатель не напомнит, а я никогда не напомню по моей «запуганности» — и откуда это у меня такое прогрессирующее «стеснение»? — или это никогда не покидающее меня «стоит ли? и неловко!» — «случайно или забыли?» — «и разве это важно — талон и какая-то пустяковая премия?» На тротуаре около методически мелющей электрической кофейной мельницы — не могу помириться, что где-то в Бразилии жгут и топят тысячи мешков кофею! — носом к мельнице, распространяющей чудесный запах наперекор выбивающемуся чаду тут же поджариваемого кофе, лежала задавленная автомобилем собака, и все прохожие останавливались. И я, сквозь чад вдыхая кофейный воздух и негодуя на американское сожжение — какая скаредная расчетливость и алчная безрасчетность! — я тоже постоял над мертвой собакой: она была прекрасна и ее лоснящаяся шерсть — волк, не собака! Человек умирает семейно, зверь в одиночку, а тут у всех на глазах — труп: какое кощунство! Человеку в его «грехе» открылась «смерть», человек — «царь времени», не больше, но перед «без-

грешным» зверем только жизнь и гнетущее предчувствие и в этой бесконечной жизни никакой тайны, ничего, чтобы скрываться или скрывать. Да такой и в голову не придет заводить плутню с премированными талонами или, когда мне не на что кофе купить, сжечь тысячи мешков, на которые не находится покупателя. У этих безгрешных зверей, которые легко могут обознаться с голодухи, как в случае со мной, и нисколько не стесняющихся воспользоваться «естественным моментом» и как часто одураченных — ведь Тотор убежден, что «нашел» Флоранс, а вовсе не то, что бы свел его хозяин, уговорившись с мадемуазель Пэдон! — у этих простодушных зверей нет никакого «первородного греха», ничего они не преступили — не нарушили никакой заповеди, у них только «кровь» и только «от крови» и «по крови», и ничего «не взыскуется» и один закон — безусловное: «множьтесь и наполняйте землю», по нюху подбирая себе пару. Вот и весь круг — собачья или лисичья или еще какого зверя зверовича судьба! но эта задавленная автомобилем — разве это не взыск? Так ли это, что и в безгрешном мире не взыскуется...? Но я не могу представить себе, чтобы и у них возможна была вдруг вонзающаяся в сердце боль, — та боль, которую Гоголь подметил в песне, «всегда неразлучной с унынием», та самая боль, которая настигает человека и в райском безмятежном житии «Старосветских помещиков», которая неожиданно, точно из-под земли подымется, и всякому покою и тишине, всякому «счастью» конец. Грех и добавлю: плач о грехе — боль, смерть — вот круг человеческий, человеческая судьба. А ведь и эта задавленная собака, ничего не подозревая, с «чистой совестью» уверенно перебегала на ту сторону, торопясь по тому же самому благословенному «производственному» делу, и вот наскочивший автомобиль хлоп колесом — прямо по брюху — и дух вон, и ни капельки-то крови! — а за что? — за неосторожность и неосмотрительность? Нет, что-то и у «безгрешных» взыскуется. Или неосмотрительность, за которую так бесповоротно и жестоко поплатилась она — и это то же, что «обозналась»: ведь другой на моем месте обознавшегося Тотора, принявшего меня за свежий ордюр, мог вгорячах так саданнуть — и подвернувшемуся под тяжелую руку Тотору ничего не осталось бы, как, подняв лапы кверху, издохнуть.

И тут ясно, да, какой-то взыск — расправа за «житейское», может быть, за глупость, но никак никакой «первородный грех». «Первородный грех» — человеческое и только человеческое: боль и та бездонная чернота в самом существе человеческом, от которой в мире пролито так много слез и было и есть ожесточение. Все эти ожесточенные религиозные споры в Византии о словах, и только о словах, споры, кончавшиеся преследованиями, заточениями и казнью, и то же при инквизиции, — и при этом все «за совесть» и «по совести». Жалко мне собаку — жалко зверей с их откровенно перекатывающимися шариками, когда, помахивая хвостом, бежит который-нибудь по своему, мне непонятному делу. Конечно, и никакой нашей «совести», бессовестные — ни один зверь не съедает другого по совести, это только люди — их преимущество! — ни совести, ни гениальности, и вообще никакого «порока», никакого «уклона природных свойств» — уклона от нормы, от того, что выработалось в веках и стало привычным и с веками утвердилось, как «закон природы». Я думаю не о пьяницах, к которым чувствую непреодолимое влечение и знаю, как трудно иметь с ними и самое пустяшное дело, или какое надо иметь терпение и выдержку, чтобы что-нибудь сладить наверняка; я думаю не о игроках, которых мне жалко и за которых страшно — испытывать судьбу не безнаказанно! — знаю, что азарт и риск может погубить всякое дело, хотя, как и всякое, настоящее дело и делается-то при непременном условии азарта и риска; я думаю не о «истекающих» женщинах, которые безудержно лгут и не властны победить в себе этот «порок», хотя бы и раскаивались и мучились, их постоянная неверность подточит всякое дело; я думаю не о «свистунах» — «аривистах», для которых вы всегда только одна из ступеней той лестницы, по которой они карабкаются, чтобы выйти в люди, и неверны, как эти изолгавшиеся от «недержания» женщины, неисправимые... впрочем, нет, я вспомнил средство из Шахразады, этих еще можно поправить, если окурить их фардж парами уксуса с алоэ или, по Гоголю, плюнуть в их хвост; я думаю не о дураках — этих недорожденных с органическим пороком полузрения, полуслуха, получувства. Я думаю о Эдипе, о сыновьях Лота и о многом, что остается скрыто и тайной даже для ближайших, о чем «история умалчивает»

и что можно иногда узнать из подрооных «мелочных» биографий великих людей, а больше из их творчества, где уж не может быть никакой подделки под «приличие». И только через «порок» — «преступление» мне представляется единственная возможность «открыть тайну», «разгадать загадку». Надо как-то «разладиться», как-то поступить «наперекор», «противоестественно», иначе сотрет, сровняет — ведь каждый самостоятельный шаг человека, только и только для него имеющий значение, как и все открытия, все чудеса... ученые, святые, пророки и просто человек, которого различаешь из толпы, никогда не от согласия, а всегда от нарушения принятой и установившейся «нормы» или от уклона от этой нормы. С папироской вальяжно никаких дел сделать невозможно, разве что пройти за нуждой. И мне кажется, что «физиологическое» направление в литературе — описание всяких «нужных» дел и лирические слащавые размышления о этих делах, ничего не откроют о человеке, о «тайне» человека — все эти дела естественные, а там, где дело идет только о естественном, там ноль — пустая бумага. И так же мне представляется и разговор и сочинения о предметах «важных» и «значительных»: ни разговор, ни сочинения ничего не могут представить ни важного, ни значительного, если говорится или пишется с той же самой легкостью, с какой рассказывают анекдоты или о знаменитых выеденных яйцах: можно нагородить тысячу великих имен и ничего не останется, и вовсе не из-за неуменья выражаться, а только из-за легкости сердца. Только питаясь и только ведя «нормальный» образ жизни, далеко не уйдешь. Горная болезнь начинается на высоте 5300 метров, и на высоте 7-8000 метров необходимо дыхание искусственным кислородом и, стало быть, чтобы овладеть пространством, требуется уклон от нормы. Есть «физическая» стратосфера, до которой проникнуть так, без чего-то, обыкновенным порядком никак невозможно, а есть и «духовная» стратосфера, до которой, ведя нормальный образ жизни, никогда не доберешься. Да, надо и на какой-то духовной высоте искусственнное дыхание, и это давно поняли — и что такое, на самом деле, оккультная гимнастика с «выхождением из себя» или хлыстовские — скопческие радения, изощренность дервишей и чудеса йогов, имясловство «старцев», ведовская

мазь, пост, ночные стояния, оскопление, и всевозможные виды «переключения» или, наконец, совсем незаметный для глаз «чудаческий», а в сущности подвижнический образ жизни ученого? И есть еще одно неписаное средство, не зарегистрированное ни в каких скитских уставах и «лествицах», это игра самой судьбы: всякие несчастные события в жизни с непременным изводящим душу терпением, выбивающие человека из нормы, вырабатывают в человеке силы дышать на той духовной высоте, где нормальный человек, привыкший к удобной обстановке, задохнется, и никогда не осмелится погрузиться или, что то же, подняться. И еще есть — тут работа природы, ее «слепых» сил — так уж бывает устроен человек с «уклоном», не «под стать», с «пороком», «ненормально», или перестраивается той же природой — в детстве Гоголь слышал полдневные окликающие голоса; оттого ли он слышал, что у него болели уши или у него уши деформировались, потому что он слышал голоса, не воспринимаемые нормальным ухом?

Старик Адам! за пустырем ты работаешь не на порок... все эти гениальные, эти извращенные, эти святые, эти пророки — ну что может быть противоестественнее, как Исаия, который ел человеческое кало, об этом я узнал у безумного Блейка, которого жизнь вот уж крутила! — да, все эти безумцы, маниаки — великие изобретатели, но они же и разрушители. А вся ведь цель и все устремление построить на земле такое крепкое основательное здание, такой новейшей сверх-американской конструкции Бурков дом, чтобы никакого уж «inferno» — никакой «преисподней» с ее мучением и мечтой о свободе, с этими непрерывными муками, прободающими и самый упорный камень пещеры, куда загнан человек на свою волю в кромешной тьме. Но что надо для «райского» блаженства на земле, чтобы, наконец, настала безмятежная жизнь? А прежде всего: ограниченные умственные способности и без всяких острых углов, тупо — Достоевский это очень остро почувствовал, когда из своего «подполья» посмотрел на метущийся человеческий мир с его мечтою о райском блаженстве, как я сейчас из моей воли, свободный от своей бедности — мадемуазель Пэдон еще больше сияет, февральское солнце еще светлее, и какое ясное небо! «Деятель — тупица»! — а как же иначе; никакой раз-

бросанности и чтобы никаких звезд не хватать, никакого полета в стратосферу, довольствоваться малым, только этим начертанным кругом, сесть на какую-то постоянную диету — разумность, рассудительность, трезвость — «mange, obéis et dors» — ешь, слушайся и спи! — «attention et obéissance» — внимание и повиновение! — я слышал такую науку детям, которые за «динэ» уж очень приставали со своим «почему» и «зачем». Да, старик работает на «нормальное» — на нормальнейшее — на такое, что вошло в закоренелую привычку и в мыслях и в чувствах и отлилось в крепчайшую форму, и чтобы никакой «боли» — боль есть начало страха, а страх начало смерти — на «бессмертие!» Иначе к чему и огород городить.

А может, все это только мое воображение по желаемому — эта вечная моя тревога, постоянное беспокойство, изводящая бедность и отчаяние перед человеческой беднотой! — или внушено заражающим зрелищем осьминогого чудовища — по концам о двух мордах с высунутыми языками — кульминационный пункт и снисхождение благодати зачатия! — цветение первородного сгустка крови. За пустырем пусто. Старик вдруг проснулся — острая боль укусила его, и он сразу понял: воспаление той самой железы, которая и есть все его первородное существо — первородный сгусток крови. Он завернулся с головой в одеяло и затих, прислушиваясь к резкой кусающей боли; и одно желание: дождаться, дотерпеть, когда успокоится. А это нестерпимо яркое первое весеннее утро в окно, и надо вставать, а на свет не глядел бы!

Но если я ошибся, и у старика все в порядке, и никакого приступа боли, и от напряжения вытягивается для какого-то равновесия язык, и язык его красен, как у Тотора — —

> «Я ему кричу: «валяй, старик!» Попытаться ничего не стоит. Не больше, во всяком случае, чем ждать пока не развалится дом или он сам — —».

А любопытно бы взглянуть, какая такая за пустырем Флоранс... какая из виртуознейших среди белых, черных, коричневых и желтых, столько раз описанных Шахразадой, какая... а может быть, и никогда не проходившая «науку любви» и не Амадиса, а восточных гаремов, а просто наделенная одним природным инстинктом, я встречал таких, только и заметных по расширяющимся ноздрям и

беспокойству, а служит в каком-нибудь почтовом бюро. Но я не могу забыть и счастливую мою соседку — и разве уж такое это счастье быть только зрителем! Какие у мадемуазель Пэдон чистые, глупые глаза! Одинокая, только и развлечения, что этот ее «кабо»! Но посмотрите, как она раскраснелась, ее горячие губы пышут, как и ее ноздри, все лицо сияет... и почему не она?

Но что меня вдруг осенило: старик Адам... да ведь у тебя была и другая привязанность и совсем из другого мира: ее ноздри не расширены и никакой этой виртуозности белой, черной, коричневой и желтой, и не человек она, а джинния — эта «сверкающая резкая красота» — у Гоголя она обращается в собаку, и синяя с горящими глазами пьет детскую кровь, выбирая самых одаренных природой — кровью, чтобы перевести на какую-то высшую ступень, ближайшую к своему миру джиннов, т. е. истончить и окончательно «опорочить» — сделать не «под стать» и не как «все». Такая не заведет себе «кабо» и, держа на ремне, весну открывать в качестве зрительницы никогда не согласится и не станет, как эта с раздувающимися ноздрями беспокойно приподниматься... Гордая и непреклонная, вдохновительница мечты «станем, как боги», никогда не удовлетворяющаяся никаким райским безмятежным блаженством, бунтующий мятежный дух, из-за которого человек и стал человеком со своим первородным грехом, отравой этого духа — и это правда, о «грехопадении во сне», да только во сне могла явиться так ярко мечта и вызов: «станем, как боги!» — «сверкающая резкая красота», от которой больно глазам и нормальному человеку беспокойно — «не надо» и «оставьте меня в покое», вот что подымается у нормального при встрече. И этот сверкающий дух, показавший Гоголю Вия, а Достоевскому Тарантула, есть не что иное, как бунт против этого Вия и Тарантула, этой всемогущей слепой силы, «темного корня мирового бытия», и бунт и мечта о каком-то доме для человека — не «inferno», но никогда и не конурке, хотя бы и оборудованной по последнему слову техники, а годной для ограниченного «механического» человека, этого идеала нормального человека — «мастера» новой человеческой расы. И, может быть, весь пыл старика, у которого была и другая роковая привязанность — «сверкающая резкая красота», вдохновлен этой мечтой, и новая

человеческая раса, начало которой кладется сейчас за пустырем, приготовит такую революцию, которая не оставит камня на камне от всех этих строго распланированных конурок райской собачьей жизни.

Вспомнив о десяти франках — вчерашний дар «на бедность», я зашел в наше бистро купить папирос. Я с утра не курил и, закурив «bleue», самое крепкое, вдруг очнулся, и спросил у бюролистки, как зовут их собаку:

— Три года по утрам встречаю вашу собаку.

— А вам на что?

Я смутился.

— Так, — сказал я, — всякий день ее вижу.

— Зозо, — неохотно ответила бюролистка, — только она за чужими не идет.

И я понял, почему неохотно: и какое надо мне еще свидетельство о бедности? — ясно, она подумала, взглянув на меня, что я хочу подманить Зозо.

5. КУАФФЕР

Мне очень жалко бывает детей, так жалко, что и сказать не могу. В этой моей жалости есть общее с моим чувством к животным: дети, как и животные, сказать не могут.

Из всех детей последней моей встречи мне жалко Альфреда. И не могу я его забыть.

Альфред младший из всех, ему десять лет. Есть и еще моложе — Бебер, но Бебер сам себя называет Картуш, и часами бегает с двумя разбойничьими револьверами и всех «пугает»: один револьвер его, а другой его сестры Синет, которой некогда играть в разбойники. Мать у них умерла, и только бабушка, — и вот Синет за хозяйку. Она ровесница Альфреду, а совсем, как маленькая фам, — с приемами фам-де-менаж, и когда я попросил ее что-нибудь спеть, она сначала жеманничала, потом согласилась и с час пела без всякого слуха с их носовой оттяжкой, так что я не знал, как ее и остановить, и все одно и то же, представляя зверей и птиц. Есть и еще моложе Бебера, — брат Альфреда Ренэ, я его принял за девочку, говорит кончиком языка: «бонжул»... Но другие-то все — те, что составляют «Рожерскую Академию», — все сверстники и старше Альфреда: двенадцать лет.

«Академией» назвали, конечно, большие: L'Académie de la Rogère — «Рожер» — деревня. А назвали так за грамматические неправильности и коверканье слов.

Большие часто говорят о политике: из русских имен повторяется Сталин, с ударением на «лин». И вот получилось: «президент Советов Нафталин». А из диктовки — очень понравилось о Полифеме: «одноглазый монстр!» — и Улис превратился в Утис: «предводитель греков Утис», «cependant Utysse, cherchait le moyen de se tirer de l'antre...». Никто не видал арбуз, но слышали и говорят «пастек»; «шеф дынь — «паскет». Вместо «волоса», — les crignasses. Вместо «il a plu» — «il pleuva». И всевозможные «мо де Селин». Никто из больших не читал Селина, знают по имени из газет. И не от Селина идут у детей всякие «флофля» и «шиши», а из общего источника народной речи.

На каникулах не все время устраивается «тур де Франс», а каждый что-нибудь делает. Один на пляже продает газеты, другой рассыльный мясной; кто на рыбной ловле — за палюрдами и мулями; есть и гарсон — этого я не видел.

Единственный, пожалуй, Морис бьет баклуши, и все-таки и ему находится занятие: он вроде «грума» и за молоком. Только он не очень-то исполняет свою должность: у него один неизменный ответ: — «tout à l'heure»; а кто не знает продолжительности этого «сейчас».

Все «госы» курят — вся рожерская Академия. Морис мне сказал, что уж три года, как курят, — весь класс; ну, не по-настоящему, а только дым пускают. Все они себе и профессии выбрали: кто кем будет. И не столько сами они, сколько внушено им.

Морис — ветеринаром. Морис любит животных: коров, лошадей, собак; из картона он вырезает коров — единственные еще сохранившиеся игрушки; и любимый его кот Кори, с ним, я слышу, по утрам он разговаривает, как с человеком. Конечно, Морис хотел бы быть «казак рюс» и джигитовать или быть бы ему «la princesse noire Zama et l'énigmatique Karmox»; казаков он видел три года назад на работе и до сих пор помнит, так его поразили лошади и ловкость, а черную принцессу Заму и Кармокса нынче на Пасху в бродячем цирке. Или быть

бы ему шоффером Ситрона и мчаться за рулем в автокаре, заломив каскетку: курить и разговаривать с ним запрещается. Морис собирает использованные тикетки, — ведь он только будущий ветеринар! — и самая любимая его игра в автокары, конечно, никогда не обходится без аксиданов: то бензину не хватает, то шина лопнет. С автокарами вообще по дороге не случалось несчастья, а с автомобилями, и особенно местными, очень часто. Один «боном» побил рекорд, — пятьдесят и один несчастный случай за лето: завел такую привычку — как в дороге, спать, ну, и понятно, то наскочит на километрический камень, то угодит в канаву. Морис, как и все его копэны по Академии, велосипедист и хотел бы участвовать в «тур де Франс», как это он видит в газете с портретами, где все участники на одно лицо без всякого различия, и так легко увидеть себя, и только не хватает подписи! Рисовать Морис не любит, он срисовывает, потому что заставляют, и, главным образом, департаменты, чтобы знать все префектуры и супрефектуры. И единственное, что он рисует охотно, по совести, — не географическое, а согнутого велосипедиста: шесть фигурок с «départ» до «arrivée», означая отход и прибытие деревьями. Но, говорят, ветеринаров мало, и быть ветеринаром выгодно, а, кроме того, «животные чище человека». Что выгодно, это Морис очень хорошо понимает, но о преимуществе животных трудно понять. Он привык слышать «саль бет», «саль кошон», — он еще не столкнулся с волосатым «грязным» человеком, про которого наши старообрядцы говорят: «образ Божий в бороде, а подобие в усах», — с этим венцом творения: «саль ом». А этого «грязного человека» описал со всеми физиологическими подробностями Селин, столкнувшийся в своем «путешествии на край ночи», где «chacun pour soi, la terre pour tous» и где «la vérité, c'est la mort; il faut choisir, mourir ou mentir». Морис думает, что этот Селин только собиратель словесных «куйонад»!

Ближайший копэн Мориса — Жан Купе. Из всех он самый элегантный, отец его портной; и глаза у него стрельчатые, живые, он очень нервный, вздрагивающий, — будущий учитель (instituteur). Лучшая коллекция марок, есть и персидские, только нет эстонских, и много собрал он изображений птиц; если собрать целый альбом, выдадут

часы, и все этих птиц собирают, только до часов еще много пустых страниц, едва ли когда дождутся. И ничего Жан не боится, только боится диких свиней, — Адонис! А когда я ему сказал, что есть еще страшнее кабана: вместо носа хвост, а зубы, как обглоданная кость, это я из Чеховской Каштанки, он только перемигнул, — «да это слон!». Но на мой вопрос из «Полуношников» Лескова: «кто написал Апокалипсис Иоанна Богослова?» — Жан, как и другие Рожерские академики, не мог ответить, он только вздрагивал, должно быть, напряженно думал: «не знаю», сказал он. Тогда, чтобы облегчить, я спросил: «а кто написал Лэ Мизерабль Гюго?..»

Будущий учитель — Ренэ Дюран, один из всех что-то уж понимает и это заметно в его взгляде и в его улыбке, другой, чем у остальных, — все эти «госы» совсем-совсем еще дети! — впрочем, Ренэ исполнится тринадцать. А его брат Морис — Морис Второй, белый, как только что выструганная доска, он будет плотник; отец у них плотник. А Бенжамен Пере с фантастической шевелюрой, — «криньяс», — будущий механик (mйcanicien); он выше всех, и самый ловкий, и большой акробат, и лучше всех держится на велосипеде, и плавает без всяких поясов, — «ас»! Пти Жан Легран будет хозяином (cultivateur), он пасет коров: Люно, Кокет, Жонет и Миньон. И Бебер Герен-Картуш, он тоже хозяин, он тоже пасет коров.

— А у нас есть куаффер! — сказали мне дети.

Я не поверил: ну, ветеринар, учитель, слесарь, хозяин... но думать сделаться куаффером?

Оказалось, есть такой:

— Альфред Бертран.

Очень меня этот куаффер заинтересовал, и мне обещали показать его, да все не удавалось.

* * *

Денационализация шла полным ходом. Вся коммуна выкрикивала русские слова. Когда проезжал автокар, дети кричали по-русски: «осторожно!». По вечерам доносились тоненькие голоски: «слишу!». И не только палки, а и огромные сломанные ветром суковатые ветви-рогатки превратились в «Калечину-Малечину»: «Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?» Пришлось мне кричать: «atten-

tion!» — когда по дороге, не обращая внимания на автомобили, дети скакали, держа палку на пальце: «сколько часов до вечера?» — и считая: раз, два, три, четыре, пять, шесть... — у кого дольше продержится — sept, huit, neuf... Грандмер Бебера, покачивая от удивления головой, повторяла за Бебером на его непонятный вопрос: «что говорит птичка: спать пора! повтори!».

— Спад-парад.

— Спать пора! — наставлял Бебер на бабушку свои два разбойничьи револьвера, — повтори.

Но бабушка никак не могла выговорить по Беберу.

— Чучела-чумичела-гороховая куличена! повтори!

Да, и «Чучела-чумичела» стала своей со своим неподдающимся «чуч-чум», ясно выговаривался детьми. На какой далекий океан занесло его прямо из Москвы! Я нарисовал детям чучелу, его мышиную мордочку о тонких жердястых ногах. Я познакомил детей и с моим «фейерменхеном», — на голове колпачок и нос колбаской; в Париже его называют «пти-мосье», а здесь, на Океане, он превратился в «пти боном».

Дети очень были удивлены, что я режу хлеб тоненькими ломтиками и с этими ломтиками, намазав маслом, пью кофе.

— Это не по-французски, — говорили они, и им очень хотелось, чтобы я по-ихнему, намазав большой кусок, обмакивал в кофе, — так вкуснее!

Но я и не попробовал, — я никогда не буду и думать по-французски, но я невольно употребляю французские слова, когда мог бы сказать по-русски. А дети — или тут магическое действие моей «чучелы-чумичелы?» — стали, вместо французских, говорить русские, и что у них вошло в обиход, это наше «нет», как будто родились с ним:

— Не-ет.

Так и проходили дни в науке, и забыл я о куаффере.

А тут такой случай. Захворала мать Мориса: простудила горло. Она главная, на ней кухня, и все в доме разладилось. Приходил доктор: «ангина». Но ничего опасного: не «пюльтасё» с высокой температурой, а легкая форма — горло как зацвело ландышами, и называется «мюгэ», дал полосканье. И все-таки вечером Морис бегал к «сорсьер» — «бонфам», у которой берут молоко. Но вернулся ни с

чем. Это случилось под Успеньев день, и, оказывается, в эту пору никакая ведьма не будет колдовать: канун праздника и весь завтрашний день проведет она в молчании, сосредоточив все свои мысли на своем, и не дай Бог пропустить этот день — потеряешь всю свою силу на целый год! Общий ли это ведовской обычай — такие зарочные дни, и колдунья из Медвежьего оврага по нынешней Опошнянской дороге в ста шагах от Диканьки так же под Успенье и весь Успеньев день сидит, не сходя, в своей хате, не достучишься! — не знаю. Колдунья велела прийти Морису после праздника на наш ореховый Спас.

Старшие иронически относились к колдунам и колдуньям и в хорошие минуты посмеивались над суеверием, но в трудные прибегали, как к «народной медицине», еще действующей и неисследованной на родине Пастера: «не мешает попробовать!»

И Морис опять бегал к «сорсьер» и на этот раз вернулся не с пустыми руками: принес вроде хвоста белый из скрученной ваты, пропитанный чесноком — носить, повязав горло, неделю.

Мать Мориса повязала себе вокруг шеи хвост и к вечеру повеселела: понемногу откашливается, и глотать легче.

Издалека я видел однажды эту «сорсьер» — гнала коров, немолодая уж, но крепкая. Жаль, не пришлось поглядеть поближе.

Мать Мориса, почувствовав себя совсем хорошо, снова стала за плиту, и все было вовремя и порядок в доме. За «динэ» разговор шел о колдуньях, рассказывали всякие случаи — и во всех случаях ясно было действие гипноза, но и еще что-то было, какое-то знание, которое из книг не вычитаешь и не так усваивается, как наша наука. Может быть, это наследство «сверхъестественного» — остаток знания друидов? И эта «бонфам» — друидесса? И опять смеялись.

— Пэр Патлэн рассказывал, — передавали, смеясь, — чтобы сделаться колдуньей, жена его, стоя спиной и не оглядываясь, поймала крота.

Как Морису не понятно, что «животные чище человека», так я не понял, что тут такого, стоя спиной, не глядя,

поймать крота. Мне объяснили. И я понимаю, сколько значения было в этих словах пэра Патлэна.

На другой день дети принесли мне мертвого крота. И так смотрели, будто сами они управились с «кротом», как заправские колдуны, — конечно, не они это поймали, а кот Фрипон, и не не глядя, как бонфам-сорсьер, а самым зверским приемом, притаившись и зорко — в кротиный час. Я всего рассмотрел крота — его медвежьи лапки и свиное рыльце, и потрогал: какой мягкий! Нет, он совсем не «саль бет». Раздумывал о нем — о его странной судьбе с его зрением наоборот: что нам свет, ему тьма. Хотелось мне его живьем посмотреть. Звали меня караулить в кротиный час — в те часы, когда крот роет землю, и целый час я прождал, вот из-под земли покажет свои когтистые лапки — да терпенья не хватило. Нет, из меня никогда не выйдет колдун!

И тут опять говорят — слышу — куаффер Альфред.

— Куаффер Альфред, — говорят, — внук этой бонфам сорсьер.

И совсем неожиданно я его увидел.

Случайно заглянул я в окно на дорогу — на море что-то не просто поварчивало, верно, к ночи разыграется буря, — как я люблю это дикое море, гул и крик ветра, эти темные первородные голоса — которым в ответ мой голос моего сердца — та же буря и ночь! — и вот в траве около виноградных гряд увидел я: видит — зеленый, как трава, и с тоненькой шейкой, как стебелек.

И когда я рассказал, что видел странного мальчика, и почему он неподвижно сидел в траве?

— Да это и есть куаффер Альфред. Перед бурей у него болит сердце, вот он так и сидит неподвижно.

— Но почему он такой зеленый?

— Слабый, питается плохо: мули, палюрды — вот и все, и никогда не дают мяса.

Я подумал: от бедности.

— Нет, — говорят, — вовсе не бедные: отец служит на железной дороге — чистильщик вагонов, мать — хозяйка, продает молоко, бабушка — сорсьер. Совсем не бедные. Это мать и прочит его в куафферы: выгодное мэтье.

А вскоре и появился Альфред.

Затеяли сниматься. Собрали всю Академию: Жан, Ренэ, Бенжамен, Морис, Морис Второй и Альфред. И тут я разглядел его: его глаза — зрачки, как палочки. Он робко поздоровался со мной: такое было, что убежит. И когда все смеялись, он ни разу не улыбнулся. Жалко мне его было, а и еще жальче стало: сразу видно, больной. Пробовал я с ним заговаривать, но на все мои вопросы он отвечал как-то вздохом из вздоха: «вв-уй». Или молчит.

Сниматься ему понравилось. И с этого дня он стал приходить: он был уверен, что будут сниматься каждый день. Его кормили. Потом он играл в автокары с Морисом.

Дети ни во что не верят. Они переняли «Калечину-Малечину» и скачут с палкой, они повторяют «Чучела-чумичела», все заключая неизменным полюбившимся «не-ет». И когда я попробовал рассказать какие это странные духи водятся на русской земле — все они только улыбались: нет никаких духов, и все это только сказки...

— Не-ет!

Поздним вечером я провожал Мориса к колодцу, — колодец в подвале. Морис боится ходить один, и я нарочно пошел проверить. Да, он боится, ему просто жутко: в подвале темно и сыро. Но это пройдет.

В церкви давали концерт: приезжий украинский хор — униаты. И когда запели о «Почаевской Богородице» — в угой песне собрано столько боли векового народного горя, и последняя мольба и единственная надежда; от внезапной радости умирают, но плач о грехе и плач о беде, когда нет избавления, это такая боль, и все взвеяно песней... которая и каменного тронет — Морис зевал, посматривая на программу, скоро ли кончится. И потом, во время «бенедиксион», под колокольчик Морис нагнул голову и оставался неподвижен до колокольчика: потому что боялся кюре, как темного и сырого подвала, — «кюре очень строгий, и его никто не любит».

— А Альфред во все верит! — сказал Морис.

И, действительно, когда я рассказывал Альфреду всякие чудеса, и арабские — из Шахразады, и наши — из «Посолони», про кикимор, боли-бошку, куринаса и про джиннов, и как «гуль» — наша «полудница» подстерегает одиноких путников и губит, и как я видел здесь, на берегу: — ни лица, ни глаз, только ноги и хвост —

— Вв-уй.

И как Калечина-Малечина прыгает в сумерки на своей одной ножке, одноглазая и однорукая —

— Вв-уй.

Альфред один из всех верил в «серпан» — в ту самую змею, которую никто никогда не видел и которая в лунные ночи появляется на дороге и «ходит», ест «мюры» — ежевику. И верил в «бугр-бугра»: боном на гусиных лапах — его тоже никто не видел — в красном фартуке, на левой руке четыре пальца, а может перенести любой и самый тяжелый камень — менгир.

И когда я Альфреду показал на каменной стене вырезанную в осеннюю бурю отчаянным хлестом прутьев странную фигуру с лицом нечеловеческим — «эспри дома» — домового —

— Вв-уй.

И мне его было очень жалко: без улыбки, бледный до зелени и эти глаза... — «С ума сойдет, с такими глазами плохо кончают!» — вспомнилось, сказала мать Мориса.

— Ты будешь куаффер? — спросил я Альфреда.

— Вв-уй.

— Но ты хочешь быть куаффером?

Но, вместо ответа, на меня глядели глаза со зрачками, как вытянутое язычком пламя, глаза, видящие больше — чего никто не видел, может быть, переданные от его бабушки — «сорсьер».

6. АКРОБАТ

Зосима Злобин весной появился в Париже из Москвы с театром Мейерхольда. И до глубокой осени не оставлял нас, днюя и ночуя в нашем Булонском вертепе: наша квартира — под боком лес, из Парижа нарочно приезжают, а нам за дверь и попал.

Зосима стихами не занимался — нынче всякий лентяй пишет стихи — молчальник по природе. Не одиночка, в Вологде такие нетопыри водятся в изобилии: леса, реки и белые ночи с комарами замалчивают душу.

Акробат, — выйдешь с ним на Елисейские поля, наше avenue Jean-Baptiste-Clement идет до остановки автобуса «колесом», прохожие только пучат пялки, а автомобили рукой машут, скрежеща: «salaud». Или примется прыгать

с палкой через голову, и все на людях, смотреть жутко: вот шею себе свернет, а бережливому страшно за его палку, выдержит ли и надолго ль?

Зосима и фокусы показывает, глазам не поверишь. Не говоря ни слова, воткнет себе в руку английскую булавку, зашпилит и, передохнув, вытащит. И получается только ссадина, ни кровинки.

Много тыкать он не соглашался, а очень это всем нравилось: «проткни еще!» — так скажут: на противоприродное глаз человеческий жаден.

И в хиромантии немножечко понимал: по руке судьбу расскажет — в линиях и загибах по пересеку доберется до самого «было» и «будет». И на картах погадать может. Я ему подсовывал Сведенборга и тибетские Бурхан-Манд-шишира, — «не годятся». Я понимаю, ему давай не картинки, была б масть и число: самоговорящие картинки закрывают соображение и догадку и гасят игру гадальщика.

С фокусами выступал Зосима на Тверском бульваре, когда по образу «Ломоносова» появился он из Вологды на Москве. Это было в годы «военного коммунизма», и не очухаясь, попал он в клещи кругосветного мошенничества по «бедовому декрету». А пришел он из Вологды в Москву учиться. Да всему. Как когда-то и я, попав в Университет, мечтал пройти все факультеты. Колесо и палка обратили на себя внимание. И первой премудростью среди наук, которую постиг он, были танцы. Бросил он Тверской бульвар и заделался учителем танцев.

С лица мало заметный: безрастительная, серая вздернутая маска с крепким белым оскалом, но мне знакомое и памятное по старинным гравюрам: шпильманы, игрецы и гудцы. И особенно глаза — побуревшая китайка окружила их, будто выжжено, а из выжига бесцветные, они светили и таращились.

Жадность его к образованию, все знать и всему научиться, превысила всякие примеры из нравоучительных книжек: он садился за книгу и не прерывал чтения, пока не кончит, случалось — с утра до глубокой ночи.

Появление в России за последние годы «Бенедиктинских» ученых трудов с указателями только и мыслимо при таком вот упорстве и непрерывности.

Вечерами, как всегда, я читал вслух. С каким неморгающим вниманием он слушал меня. Особенно его тронула

сказка Л. Н. Толстого о «Трех старцах» — это восхищающее чудо — крылья веры, а из Тургенева «Живые мощи» в моей редакции (снимаю сюк и сахар с барской манеры сказа) — какая горечь жизни. И из Слепцова «Питомка» — о утрате и ожесточенных поисках навсегда утраченного.

Зосима, не в пример другим наброжим, помогал нам в хозяйстве. Впрочем, мы были исключением. В Париже с кем только он не познакомился, и все были для него «сосок»: ему надо было всех использовать и урвать все, что только возможно, чтобы осуществить свою заветную мечту.

Он приехал в Париж вовсе не для того, чтобы учиться, а чтобы, как сам он признавался, «стереть в порошок Европу» и своим акробатическим искусством побить морду и самому первому европейскому гимнасту.

Время показало, что на «колесо» и «перепрыгную палку» зевали только мы, да наши булонские соседи, а тем, кто в этих акробатических делах разбирался, ничего особенного, и что тут этого добра не занимать стать. И пришлось подумать о возвращении в Россию.

Прощались мы по-братски, мне было очень жалко Зосиму: размахнуться впустую. В прежние годы ехали в заморские страны уму-разуму набраться, а его дернуло — знай наших!

На эту удочку не один Зосима попался, ну, и в том толк, без задору не проживешь.

Часть шестая
НА РОЖОН

Глава первая
Ы

Со стиснутыми зубами я прохожу по улицам — я выбираю самые широкие, самые людные, рассвеченные в огнях рекламы и налитые до лони человеческой кровью — последняя и каждая кровинка моей крови горит.

Раз в Париже я захворал: «зона» — на груди огненный крест — ногтями б с мясом было мне содрать этот мой крест! А теперь горит здесь — моя душа огонь. Перед своей совестью я говорю: поделом. Но я не все понимаю: за что? Или надо было так вобраться и затихнуть, как бы не быть? — нет... В какой проклятый час я покинул Россию — или, как это называется, эвакуировался? И ведь кто еще убежал? — уехали буржуи и другого выхода не было, их расстреляли б, или «идейные», которых все равно, в лучшем случае, выслали бы, но мне-то? — какой-то незаметный бухгалтер, бывший пласье газовых экономических трубок, а теперь хронический шомер, всю жизнь толкавшийся по хозяевам. И вот двенадцать лет, и за эти двенадцать лет... Ну, пусть и впроголодь, на своей земле я что-то да делал бы и даже на каторге или как это по-современному? даже и голодать, то для чего-то, а здесь — одна холодная белая площадь, как стена — пустыня — Конкорд, и один исход: либо веронал, либо «руки вверх!» Я подвожу итог. Спрашиваю себя, чего во мне нет и не было, а не то, что во мне есть.

Первую часть «Дон Кихота» мы прочитали с Корнетовым под знаком «злого течения созвездий», когда он вынужден был «ведьмой»-консьержкой покинуть квартиру и переехал в Булонь; вторую часть через три года под тем же «знаком», когда «злые волшебники», объединив-

шиеся в самое богатое акционерное общество, через своих «жеранов» — Артамошку и Епифашку погнали его из Булони. И вот что скажу: в этой мудрой, хоть и чересчур пространной книге про меня ни строчки: «рыцарь печального образа» — намека нет на Полетаева; или это я — «рыцарь львов?!»

Только сегодня после стольких месяцев я встретил Корнетова.

Вечером с Тирбушоном — в кафе «Де Спорт» у Порт-Дотой. В кафе музыка — в этом кафе под музыку, мне вспомнилось. Корнетов провел свой прощальный вечер с Борисом Савинковым. Я люблю музыку — венгерские танцы, и для кафе не требовательно, не Вагнер. А Савинков — «рыцарь львов»? А вот про Тирбушона есть в «Дон Кихоте»: его «русский стиль» — и разве это не безумие? я слышал, с какой горечью он говорит о критике — я понимаю, для него ощутительна вся фальшь, так называемых, «русских ритмов», и за слово он готов — Аввакум! а еще — дегустаторство, и тут уж не Дон Кихот, а Санчо Панса: и Санчо Панса и весь его род — дегустаторы; а, кроме того, Тирбушон сообщил мне по секрету, что летние два месяца он провел на Литве, подходил к самой границе и тихонечко аукал туда, в СССР — Россию, но чтобы я никому об этом ни слова: Тирбушон, как и Дон Кихот, верит в злых волшебников и самым могущественным Аркалаем для него — Козлок. Люди делятся на неспрашивающих — все постигших, и на вопрошающих, а вопрошающие — или это те, кто задает праздные вопросы, и таких большинство, или те, как Кирик, испытующие истину, — я и то и другое. За летние месяцы я перечитал Чехова. Не все понимаю: очень часто, так часто, как ни у кого из русских писателей, в описаниях слова рифмуются.

— Что это, новое ощущение ценности слов? — спросил я Тирбушона.

— Да ничего тут нового. Сказать «небрежность» нет, это наша искусственная грамматика-тиски, искажающие лад русской живой речи, а бывает, и от хлыстовства: у Писемского в «Плотничной артели» старичок-плотник «девушник» говорит в склад... — сказал Тирбушон и с ужасом озирнулся: конечно, где-то тут же в кафе, прячась за столиками, прислушивался коварный Козлок.

И вдруг входит Корнетов.

Я потому и люблю музыку — для меня она, как самая едкая эссенция. И мне стало очень стыдно, ведь я покинул Корнетова как раз в его тягчайшую минуту — «Семен Петрович, так вы придете?» — «Да». — И исчез. Я не говорил, как это говорится — «с какой стати», а просто тихо-смирно отошел, чтобы не ввязываться в историю — подлая черта, я и из России-то убежал по этой подлости.

Появление Корнетова было так неожиданно, как если бы какой-нибудь парижский монсиньор вошел в дансинг. Я сразу понял, что он без пристанища. Я это хорошо понимаю, и не то страшно, что не к кому пойти, а когда некуда возвращаться! — и он, прирожденный сидень, бродит, а это все равно что рыбе летать или курице плавать, — и вот по памяти зашел в это кафе.

Как-то я отдал белье прачке. А потом другой. Старая пришла, говорю: «скажу, когда надо», — и не сказал, конечно, а она ждет; идешь по улице, кланяется. Так и Корнетов, завидя нас, кланялся. И этот поклон его едче самой венгерской музыки.

Под музыку за чаем — Корнетов пил с жадностью: с соленого, должно быть, — «ничего в душу не идет, одна ослиная колбаса!» — и рассказывал.

Кое-что я знал стороной — и как добрая «лесавка»-консьержка согласилась спрятать его вещи, и как «лесавые», «полевые», «водяные» — для Корнетова все, как в сказке! — запаковывали его книги и тайком таскали ящики на седьмой этаж в пустую комнату; и о многом догадывался — Корнетов говорил, что у него такое чувство, как в пожар, когда выбрасываются, очертя голову, с пятого этажа, и я представлял себе, как в последний срок с каким чувством он выходит на волю, чтобы никогда не возвращаться на свою бывшую квартиру, но я не знал, что в последний срок Корнетов ходил с флюсом: «за щекой канадское яблоко!» — и в таком-то маскарадном виде, оруженосцем рыцаря Зеркал, вышел на желанную волю; не знал я и того, что, околачиваясь под Парижем, Корнетов простудился и долго хворал: воспаление легких.

Подобно тому, как в разговоре с грубой двуногой скотиной, рука сама по себе подымается треснуть и такой «образ Божий», на котором припечатано «наглец и негодяй», так — стоит только тронуться с места, и пошел и пошел. Так и Корнетов. Мордобой в жизни Корнетова сыграл роковую роль — однажды в молодости рука не

удержалась и пострадало официальное лицо при исполнении служебных обязанностей, и кончилось ссылкой в административном порядке, а вся жизнь вверх дном. Но дело сейчас не в мордобое, это только к сведению.

В июльское жаркое утро — с утра нечем дышать, жарко! — когда Корнетов, «очистив» квартиру, незаметно с одним маленьким чемоданом вышел на волю, началось его странствие.

«Странствующие рыцари», по уверению Дон Кихота, были, но хотя бы и не было никакого Амадиса, ни «пламенного меча», я говорю за Сервантесом: странствующие рыцари есть и были. И что есть самого живого в жизни, как не легенда, — которая живей и которая крепче самой «живой жизни», обреченной тлению и огню? и что может быть увлекательнее странствия? — и даже странствование, вынужденное «злыми волшебниками», объединившимися в акционерное общество, какое это счастье!

Корнетов чувствовал себя на своей воле и совсем свободным, — да, это было большое счастье! — но и глубоко несчастным: жаркое июльское солнце — озноб. И с первых шагов — а можно и так: с первых шагов его собачьей доли сама жизнь посмотрела, как это июльское солнце, знобящим глазом.

— Не все понимаю, — сказал Корнетов, и в его улыбке засветилась та знакомая боль, беспомощная, но и не мирящаяся.

К столику незаметно подошел Козлок. И на вызывающий глаз Тирбушона — «Аркалай!»— он только отмахнулся своим красным насмешливым ртом:

«Ы! ну вас!»

Или захотелось ему послушать «бездомного человека», — на всякой беде можно сплести гадость! — музыка надрывала душу и драла слух.

Глава вторая
НА КАТОРГЕ

Я как-то понял, что все мы здесь на каторге, и притом на бессрочной каторге. Для меня вдруг осветились многие из наших поступков, только и объяснимые нашим бессрочно-каторжным состоянием.

Все друг друга ненавидят: везде одни враги. Если не открыто, то втихомолку каждый норовит нагадить другому. Постоянно шепчутся, озираясь. Какой-то всеобщий страх, что кто-то другой помешает и вырвет из рук. И это не от жадности, а от разъедающей нищеты. И никакой чести — это чувство за все эти годы выжжено и следа не осталось. И слова «заступиться» как не существует. Есть лицемерие, — но оно никого не обманывает: давно уж никто никому не верит. Но за то подхалимство и лесть действуют во всей своей силе и открывают верный, испытанный путь: может быть, это единственный способ достигнуть цели.

Те из каторжников, кто сумел захватить власть, мудруют над попавшими в зависимость каторжниками, и издеваются. Такая уж подлая натура. Или не в природе, а от развращающей привычки иметь дело с тупицами и всегда во всем согласной бездарностью. Но и то сказать: некуда деваться и поневоле согласишься.

Я принадлежу к каторжникам, всегда от кого-нибудь зависящим, я постоянно испытываю свое терпение, и надолго ли еще моей выдержки, не знаю, а знаю, что мое чувство не может — и должно как-то выразиться, и выразится безобразно и грубо, отчего первый сам же я и буду терзаться. Я никогда не был рабом, но если даже за эти годы я стал им, все равно, приходит срок, и рабы возмущаются. Друг про друга говорят одни гадости. Сочинить что-нибудь позорящее, оклеветать — первое удовольствие. И это стало второй природой — нашей каторжной природой. Сюда же относится и постоянный обман. Что говорить: русские избегают иметь дело с русскими.

Но не может быть, чтобы только одна дрянь заполняла русский Париж! Нет, это каторга сделала свое дело: за двенадцать-пятнадцать лет Эмиграции — вот ее работа! Но ведь человек в основе своей не изменяется — в этом убеждают все потрясения, которым мы были свидетели, — и каким человек родился, таким и умрет, несмотря ни на что, а обстоятельства его жизни лишь помогают развиться его свойствам; и если я говорю «дрянь» и ссылаюсь на каторгу, то само собой, и без каторги этой дряни были корни.

И все как-то навыворот. Мне вспоминается, как один — вы его знаете, приятель баснописца Куковникова, по су-

ществу никак не принадлежащий к кодлу парижской дряни, однажды по дружбе рассказал мне одну гадость. И, кажется, ясно, чтобы разъяснить, надо было бы указать мне, кто автор, но дознаться мне не удалось. «Я дал слово не говорить!» — сказал он. И соблюдая свою чистоту — слова он не нарушит! — он при всей своей дружбе не подумал обо мне, как же мне-то быть облепленному грязью? И понимает ли он, что при моей «грязи» его «чистота» ничего не стоит?

Всегда настороже: всего можно ждать. Многое за эти годы перестало трогать: привычка. Да и не только привычка. И то, что когда-то вызвало бы негодование и многократное: «какая подлость!» — теперь беззвучно выражается бессильным: «мерзавцы!» Или подлым отмахиванием: «не мое дело!» — а чаще покорным молчанием. Смиренное молчание! — какой грозный знак, что жизнь задушена. Но чего другого ждать на каторге, с которой никуда-то не убежишь.

Да, только смерть раскроет перед нами дверь на свободу.

И признаюсь, неоднократно я готов был открыть газ — единственный для меня доступный способ освободиться, но меня останавливала мысль, что мошенник Козлок не замедлит и напишет обо мне свои воспоминания: «А. А. Корнетов в музыке и каллиграфии».

Козлок, забросив свою фотографию — проявлял любительские снимки — специализовался на новом литературном жанре: он первый начал вслед за бесчисленными мемуарами, составляющими главный фонд эмигрантской литературы, свои, как бы назвать? — свои «смоты»; этими «смотами» очень точно определяется его сплетническая память о покойниках.

Вот и сейчас он расселся, уставился на меня, ловит каждое мое слово — ему безразлично, от какого «проколотого» сердца все мои слова, мои горчайшие признания и, может быть, отчаяние; на его поминальном кануне всегда оказываются и все те гадости, которые принято говорить друг про друга, вообще все, что «говорят».

И тянется жалкая жизнь. Ведь дело присходит в блестящем, блистающем Париже! И эта нищенская безнадежная жизнь закована в железные «термы» и последние сроки: квартира, налог, электричество, газ, вода, страховка и

всякие регистрации. И в этой каторжной жизни единственные встречи, где отдыхает мой измученный глаз: дети.

Чаще эти встречи — в метро. С детьми я здороваюсь, переглядываемся, а если удастся, и разговариваю. Дети понимают на всех языках, и с ними меня не стесняет мое французское произношение и не останавливает, если заговорю по-русски. И меня не стесняются. И я всегда радуюсь, что меня не боятся, радуюсь, что черные бури, терзающие мое сердце, не захлестнули меня, и еще есть ясность и тишина в моем сердце: ведь только через эту ясность и тишину глаза мои не пугают. Но чаще и чаще я схватываюсь, что наша общая каторга и моя, данная мне способность не только смотреть, но и видеть, и не забывать, различающая каторгу и под этой внешне блестящей чужой некаторжной жизнью блистающего Парижа, задувают и гасят последний свет моего сердца.

Крысиная доля

«Крэди мюнисипаль» или по-нашему ломбард, на рю де Ренн — дорога известная.

Я принес два пикейных одеяла — московские, привезенные вот уж двенадцать лет из Петербурга вместе со всякими тряпками и рваньем и неизменным, всегда особенно береженным, примусом, одеяла потертые, но еще крепкие и чистые, без пятнышка. Я все боялся, что дадут за них три франка, как совсем недавно оценили мое берлинское десятилетней давности зимнее пальто, и встрепенулся, когда выкликнули мой номер, — нет, я не ослышался: пять франков. Успокоенный, сел я на скамейку ждать.

Когда я еще стоял у окошечка, развертывая одеяла, какая-то, усевшаяся на самом краю, ногами путалась, я это почувствовал, но не посмотрел, а теперь вижу: крыса. Да, это была голодная молоденькая крыса, она и присоседилась к окошечку, зорко посматривая на заклады, и лапками так делала в воздухе, — но корму ей не предвиделось: закладывали фотографические аппараты.

И вот вошла какая-то, и как она шла, чего-то морщась, и не то от головной боли, не то неловко ей было, а, может, очень не хотелось или тоже беспокоилась, как и я, входя, что вдруг да не примут или дадут три франка,

что, за вычетом на метро, и совсем ничего, и как она присела на скамейку: два у нее свертка и еще корзиночка вроде сухарницы, — все обратили внимание, и крыса глазами насторожилась.

Свертки были туго завязаны, морщась, мучила она свои пальцы с накрашенными масляннистыми ногтями, как миндаль, а узелки не поддавались. Одета она была чересчур легко, — ну, да и благодать на воле, ведь под вечер от дневного зноя дышать нечем! — на ней было фисташковое платье и так ее облегало, словно, кроме этого платья, ничего на ней не было, и только серые шелковые чулки и туфли с блестящими пряжками. На голове белесая вязаная шапочка, и сама она серая, чуть подпудренная, а волоса крашенные, с зеленью. Наконец-то, развязала она, — и из свертков показалось: это была материя — что-то очень мягкое — гранатовые куски: бархат? Да, бархат, — я это видел по крысе, — по ее взблеснувшим глазам, — я видел кровавое мясо с тонкой полоской теплого жира — румстек. Она подала и корзиночку: безделушки — слоники и какие-то в тонких рамках карточки — мелочь под отдельный номер.

Бархат оценили, как мои одеяла, пять франков.

Губы ее искривились, и глаза вдруг опустели.

— Пятна и дырки! — объяснял оценщик.

А за слоников и карточки — ничего.

Как ничего! Она не хотела брать корзиночку.

Вышел главный, плотный господин, и такие вот неискусственные плечи с оседланным очками клювом — безошибочно работает и носом и глазами одновременно. И мне вспомнился ростовщик из «Петербургских трущоб» — такого ничего не тронет, да его и не тронули ни кривящиеся губы, ни пустые глаза бело-серые, как волчья ягода.

С нумерком и непринятой корзиночкой села она на скамейку.

«Откуда? — с пляжа?» — почему-то подумалось, или по сезону пришло такое на мысль за легкость ее фисташкового платья, — «или прямо с дансинга? — нет, покинутая своим ами?»

Она вдруг жалко сморщилась, точно хотела чихнуть, да неловко, и задержала.

«Конечно, покинутая. И этот гранатовый бархат-румстек — последнее — пять франков!»

И опять она сморщилась, но не так, — и пальцы ее с маслянистыми крашеными миндалями вздрогнули — —

«Больше ей нести нечего».

И мне ее очень жалко стало. Все ее существо, всю ее покинутость я как бы принял в себя, не думая и не раздумывая, — одним моим вскипевшим чувством без мысли, почему и отчего.

Она поправила шапочку и, стараясь казаться не такой, поднялась и, держа обеими руками такую легкую корзиночку, — слоников и карточки, пересела.

Я сидел, спиной к ней, глазами к крысе, а видел ее — видел, как она морщилась и вздрагивала, еще больше посеревшая за эти минуты под моим глазом. И чувство мое — моя жалость — не покидало меня.

Почувствовала ли она, — но вдруг поднялась и пересела на скамейку против меня.

Но чем я могу помочь ей, я такой же пятифранковый? И что станется от моего глаза, моих тысячи глаз, — разве могу я, даже приняв в себя все и вся до последней бедовой ночи, а скорее до тягчайшего рассвета сегодняшнего нестерпимо знойного дня, снять с нее ее пропад?

Но она больше не морщилась — окаменела? или успокоилась?

И я вдруг вспомнил взгляд, с каким провожала меня незнакомая женщина, когда однажды, поднявшись из-под налетевшего на меня автомобиля, помятый, в ссадинах и синяках, а, главное, испуганный, я нетвердо шел домой, и этот взгляд — я помню — точно протянутые руки. Да и недавно еще в метро — и этот взгляд я тоже помню: с таким же точно взглядом поднялась какая-то и предложила мне свое место — очень я был измучен.

Выкликнули крысу. И я поднялся.

И когда крыса нагнулась над прилавком, показывая свои «бумаги», я видел, как на спине ее ощетинилась жесткая шерстка. В лапках понесла она свои пять франков — глаза ее горели с аппетитом, точно сыр несла она в свою норку. И я, получив крысиную долю, не оглядываясь, пошел к выходу.

В это время в ломбард входила женщина с девочкой, девочка отстала от матери и, увидев меня, испугалась и

побежала. Я невольно остановился. И видел, как мать зовет девочку и улыбается ей. «И чем это я испугал так?» И вдруг глаза мои встретились с той: получив свою крысиную долю, она шла к выходу.

Воображаю, как шарахались дети от Достоевского с его «адом в сердце и адом в мыслях!»

Проходя по переходам в метро Мадлэн, я встретил женщину с грудным ребенком и двое еще около нее: мальчик и девочка. Я, и туда когда ехал, заметил ее: без кровинки, как лист, в черных очках, — и у меня тогда сердце сжалось, и, как всегда, я спросил себя: как это возможно, чтобы матери с детьми стояли в проходах метро и просили подаяние? — и ответил себе со всем ожесточением моего кричащего сердца без всякой мысли, поможет или не поможет... что нет другого средства положить конец этой жестокости, как взорвать эти переходы. А теперь я вспомнил «Петербургские трущобы»: «А правдашные эти дети? — спросил я себя — или подставные, взятые напрокат?»

Проклиная бедность и мошенничество, я продолжал свой черный путь. Вся мерзость каторги заливала меня, я это чувствовал обонянием. Или крысиная доля сыром дышала на меня? И никакого я не чувствовал сострадания.

С растрепанным полураскрытым ртом, никогда не сжимающимися губами, — таков оказался сосед мой в вагоне метро, — и это человек? А эта — против меня — линялая, с глазами волчьей ягоды — это тоже человек? А кем сам я казался, скорченный в черный комок, об этом я не думал.

Глава третья
ТРАКТИРНЫЕ ОБОИ

«Александр Александрович Корнетов отравился светильным газом».

Я ничего не знал и в самый неподходящий час, утром, отправился на его новую квартиру Rue Boileau, не столько поздравить с новосельем, сколько с получением большого подаяния: «залесный аптекарь» Судок уверил меня, что

на долю Корнетова при дележе милостыни пришлась большая сумма — три тысячи франков.

Лев Шестов, премудрость которого, смею сказать, я постиг окончательно — зря не прошло для меня мое многолетнее ватажение с Корнетовым и Куковниковым, верными почитателями философа, с которым, кстати сказать, наш «баснописец» даже шапочно знаком, — делит весь род человеческий на две категории. Первая категория: «Дураки Первого сорта» — эти «первого сорта» больше, чем «понимают», и с ними можно разговаривать и иметь дело. Вторая категория: «Дураки Второго сорта» — эти «второго сорта» только понимают и с ними можно говорить, но не обо всем, и не всякое дело делать. А уж дальше за «дураками» идет, по моим догадкам, необозримое поле — круг «болванов» со всеми оттенками человеческого тупоумия, тупой убежденности и самодовольного чванства. И с этим кругом «красавцев» как разговор, так и дела очень ограничены: можно говорить о квартире, о фамм-де-мэнаж, о консьержке, и как все дорожает или, наоборот, какая дешевка — «сольд», и что те, кто считался богатым, разорились, а где найти новых богачей, неизвестно, — и никогда не предъявлять к ним никаких требований, относиться снисходительно и терпеливо, как к «обиженным Богом», и, само собой, не огорчаться и выслушивать самые их «разумные» практичные советы и «общие места».

«Дурак второго сорта» обязательно дружески вам заметит, что вы дорого платите за квартиру, и сошлется на знакомого, который платит гораздо меньше. За годы нашей тесной жизни как-то безо всякого предварительного соглашения выработалось правило: в разговорах с «дураками» уменьшать квартирную плату, и это помогает, — конечно, с «дураком»; от «болвана» же нет никакой защиты: «болван» никогда не простит вам вашу чистую комнату, и, сколько бы вы ни платили, ему все покажется дорого, а для вас «не по средствам», он даже обидится — он вам будет тыкать каким-нибудь Шибзиком, — «живет в Булони в одной грязной комнате с клопами и белыми египетскими тараканами и, представьте, не жалуется!»

За годы моей жизни у Корнетова я немало наслушался всяких благожелателей, для которых, я не сомневаюсь,

величайшим удовлетворением было бы узнать, что наконец-таки Корнетов нашел себе угол в какой-нибудь порожней заброшенной собачьей конурке и платит сто-двести франков в год. И они правы: Корнетов, ничего не имея, имел право только на собачью конурку. Но, право же, Шестовского терпения и снисходительности или, говоря прямо, презрения у меня еще нет, и я всегда возмущусь.

Очень больно сознаться, но должен — говорю это только самому себе — я должен причислить себя к тому необозримому полю — к кругу «болванов», которыми отнюдь не следует возмущаться, а принимать, как «игру природы»: если над человеком так бессовестно мудруют, а на своих ошибках он ничему не научился, ну, разве ж не «болван?» Очутившись на положении «шомера» и хватаясь за всякий заработок, я попался на удочку по своей доверчивости и, что говорить, по невежеству, — в вопросах литературы я школы никакой не проходил и совать нос мне не следовало, а я взялся за такое ответственное, как «юнёр-авек», и, прошибшись, уж по своему азарту вылез с «шишом-еловым» (вольный перевод французского «юнёр-авек», за что был осмеян и пристыжен «аптекарем» Судоком, но теперь-то... и кто такой этот Михаил Андреевич, на которого «аптекарь» так убедительно ссылался, мне даже в голову не пришло спросить фамилию.

Я пришел к Семену Петровичу Судоку, — Судок слушает по радио разговоры с Москвой и все знает, — я пришел посоветоваться, спросить его мнение: ехать мне в Россию или не ехать? А он по своему «аптекарству» забил мне голову, ссылаясь на какого-то Михаила Андреевича, впрочем, о поездке в Россию мнение его очень определенное, и для меня теперь все ясно: всего выгоднее говорить, что «собираешься ехать, а вовсе не ехать».

— Ехать в Россию не только можно, но и должно, если вы чувствуете себя русским, хотя и присоединяете в карт-дидантитэ к вашему — «russe» — «ref.», — начал Судок свою «аптекарскую» завитушку — принято пугать не столько голодом, сколько «деморализацией», а на самом деле, ничего тут нет особенного, явление это — кругосветное; какой-то философ сказал, что «эмиграция — сок России», так, позвольте, уж если этот «сок» считает своею священною обязанностью доносить друг на друга, чего же вы хотите... Только, все равно, хотите вы ехать, или не хотите, вас не пустят; будь вы какой-нибудь Пытко-

Пытковский, а то невидаль — Полетаев! Белобандит! Белобандиты всякие... и что вы умеете? — зайцев к Рождеству чучелы делать или эти ваши газовые экономические трубки? да и по-французски: заставь вас с каким-нибудь заезжим франтом разговаривать, и вы такой «ландеман» пустите носом, не спорю, ну, «ри», вместо «рю» вы не скажете, вы, как это теперь принято с немецкого, русский с «пупа до маковки», а «рикают» только венгерцы... нет, вы лучше говорите, что едете в Россию, вообще говорите, что хотите, будьте марксистом, теперь это модно, да прочитайте хоть Дебагория-Мокриевича — все наши марксиствующие шалопаи с Дебагория пошли, а главное безответственно и никакого риску, — случись демонстрация, да вы и тут не обязаны, как иностранец. Надо как-то сегодняшний день прожить, вот и все: ведь все мы смертники, понимаете!

Тут-то вот он и помянул Корнетова и, ссылаясь на Михаила Андреевича, стал бессовестно уверять меня, что в Париже раздавали подаяние, какой-то иностранец...

— Корнетову выдали три тысячи, идите, поздравьте, а там видно будет. Даст.

И дал мне мошенник новый адрес Корнетова со всеми подробностями, какие полагаются, и чего совсем не следует, а только путает.

— Квартира блестящая — трактирные обои — на дверях зеленая наклейка: «висит зеленое и поет», не надо и консьержку беспокоить.

Не откладывая в долгий ящик, наутро я и пошел к Корнетову. Я не собирался беспокоить консьержку и уверенно стал подыматься по лестнице и на лестнице столкнулся, — должно быть, дочь консьержки:

— Корнетов газом отравился! — сбегая, второпях сказала она.

Дверь с зеленой наклейкой: «висит зеленое и поет» — была не притворена, без звонка я вошел в квартиру и сразу сообразил, что туда: пунцовыми цветами обои — только это не трактирные, а в семейных номерах Полуярославских бань предбанник. Я заглянул в кухню — окно растворено, но газ чувствуется. И в комнате. И сразу мне бросилось в глаза: два письма на столе — одно Корнетов, — «предсмертное!» — подумал я, а другое — подпись неразборчивая.

* * *

«Monsieur,
Cette maison étant malheuresement très sonore puis-je vous demander de chercher à faire le moins de bruit possible, d'éviter le soir de marcher avec souliers (sauf si vous recevez du monde, bien entendu), de fermer doucement les portes et de déplacer les meubles avec précaution? Car nous sommes obligés de nous lever le matin, assez tôt, et il nous arrive assez souvent d'être réveillés, en plein sommeil, vers minuit ou une heure et de ne pouvoir nous rendormir que difficilement. Pour ma part je fais mon possible pour ne point trop vous deranger quand j'étudie mon violon; je joue le plus souvent en sourdine et je me déplace de temps en temps.

Excusez notre demarche et recevez. Monsieur, je vous prie, l'assurance de notre respectueuse considération».

*

«J'ai bien recu votre petit mot et je regrette que vous ayez été incommodé par les bruits qui résonnent dans cette maison qu'à juste titre vous qualifiez de sonore. Pour ma part je dois dire que je m'efforce toujours de faire le moins de bruit possible. Chez moi je suis toute la journée en pantoufles et je ne déplace jamais les meubles en les heurtant. Quant aux portes de mon appartement, elles sont toutes ouvertes. En tant qu'homme de lettres, je mène une vie sédentaire parmi les livres et suis, par nature, aussi peu bruyant que possible.

Que voulez-vous, c'est l'architecte qui a bâti ainsi cet immeuble! Ainsi, par exemple, losque vous jouez du violon — ce qui ne me gène du reste nullement — le chien de mon voisin se met à hurler; de plus ce pauvre chien a pris l'habitude d'aboyer éperdument chaque jour de minuit à 1 h., lorsque son maître est absent. Tout être vivant se manifeste ainsi par des bruits et seuls les habitants des nécropoles observent un silence absolu.

Soyez certain cependant que je ferai tous mes efforts pour vous éviter le moindre dérangement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

A. Kornetoff»

Но я не успел сказать себе, что непременно бы сказал: «и из-за таких пустяков...» — и только самое глубокое, что сказалось еще на лестнице, переговаривало досадно: «пропали мои деньги!» — как вдруг, неслышно в своих туфлях появившийся в комнате, стал передо мной Корнетов, — таким я его никогда не видал: с трясущимися руками, сощуренный, — должно быть, очень голова болит.

— Я нашел «фюит», — сказал он и, засветив свечку, приготовленную для всеобщей забастовки, повел меня в кухню.

Проснувшись в то утро с головной болью. Корнетов не сразу сообразил: газ! — и только необычное явление: трясущиеся руки — толкнули его проверить. Обойдя со свечкой кухню, он нашел, наконец, утечку — «фюит»: пламя появилось на закрытом счетчике у винта выше ручки. Только потому, что Корнетов никогда не интересовался счетной газовой книжкой, а стало быть не представлял себе всей опасности своих опытов, он, затушив, еще раз поджег, и еще раз над счетчиком появилось пламя. И теперь он знал причину, почему у него трясутся руки и трудно ему от головной боли смотреть на свет. С трясущимися руками, не глядя, поднялся он на пятый этаж в поисках консьержки и, наконец, нашел ее с пылесосом. Консьержка сквозь пылесос посоветовала позвонить в газовое общество. Совсем растерявшись, — он и не отравленный не может по телефону! — вернулся к себе и еще — и это в третий раз — поджег, чтобы удостовериться, не ошибся ли? — но пламя опять вспыхнуло, как и в те разы. И тут он догадался: надо консьержке дать и чтобы сама позвонила. И вот когда он подымался к пылесосу, держа в трясущейся руке два франка, вошел в квартиру Полетаев.

Мне тоже никогда не приходило в голову читать правила в газовой книжке и я совершенно спокойно наблюдал, как Корнетов влез на табуретку, но только что потянулся к счетчику с зажженной свечкой, позвонили: оказалось, из Газового общества вызванные по телефону. Не туша свечки. Корнетов полез было и им показывать «фюит», — и, признаюсь, тут уж я растерялся: потушив свечку, они набросились на нас, и мне показалось — окно раскрыто — за окно вышвырнут, так разъярились:

— Взрыв!

К счастью, пронесло беду — взрыва не произошло. Скрутили проволокой винт, проверили трубки, отметили у себя в книжке и ушли. Трясущимися руками поставил Корнетов чайник, завязал мокрым полотенцем голову и прилег. Расспрашивать, как живется на новом месте, я постеснялся, говорить Корнетову было трудно. Похвалил я выбор — трактирные обои; вспомнил о старой квартире, про бутылочные: и разве можно сравнивать с одноцветными, от которых всегда такая скучища! А тут и кипяток поспел, заварил я чай. Налил Корнетову и себе налил. И вижу, что ему полегче стало, ну, думаю, теперь в самый раз. И, сославшись на Михаила Андреевича, помянул о трех тысячах подаяния и — поздравил.

— Спасибо, — сказал Корнетов, — вы читали Крестовского «Петербургские трущобы?»

— Нет.

— Жаль.

— А разве есть что про нас?

— Отчасти. А кто этот Михаил Андреевич?

Я ничего не ответил: неловко же в самом деле было признаться, что у «аптекаря» я не спросил, — ведь я только самому себе сказал, что я «болван».

— В этих самых «Трущобах», — сказал Корнетов, и как-то из-за своего мокрого полотенца странно улыбнулся, или это от головной боли? — говорит там одна нищенка: «подаянная копейка мимо ладошек пропорхнула».

— А я в Россию собираюсь, — сказал я, вспомнив «аптекарскую» науку, — в СССР! — и посмотрел: какой эффект?

Корнетов лежал с закрытыми глазами.

— Или пойду в монастырь.

Но Корнетов не подал голоса.

Глава четвертая

СЛЕПАЯ

1. НЕ ВСЕ ПОНИМАЮ

В вагон вошла слепая. Ей помогала барышня, а багаж нес господин. И купе наполнилось. Я подумал, что и господин — слепой, но это он закрыл глаза от натуги, обессиленный чемоданами: своим и слепой. Слепая по-

местилась против. Жеманно поправила она у себя на груди искусственные цветы — розовый букетик и осторожно прислонила к выступу высокую белую палку — свой посох. И брезгливое чувство невольно поднялось во мне: около губ было нечисто — у слепых бывает: воспаление кожи, расчесано и чешется, а не посмотреться. Через черные очки чувствовались глаза, но какие — гноящиеся или изъеденные бельмами? И я стал укорять себя: мне она была отвратительна, и хорошо, что не рядом, — — а ведь это такое несчастье, слепая! Я представил себе ее беспомощность, ее покинутость и сознание, что всем в тягость, — и разве кто может полюбить такую?

В купе было душно, еще душнее стало. На каждой станции подсаживались. Заняли весь коридор: ни пройти, ни выйти.

Слепая нервно шевелила пальцами. И барышня — моя соседка повела ее в уборную. И ясно я почувствовал, что моя неприязнь одинока, и мне стало совсем неловко: в проходе сжимались, влипали в вагон, уступая слепой.

Вот тут-то я и разглядел и барышню, помогавшую слепой, — незаметная провинциальная барышня, и господина, как ослепшего от тяжести, — какое-то обваренное лицо, бритый. И я подумал о них, как и о тех, уступавших дорогу, что вот все они просто пожалели человека и смотрят на него, как на несчастного, и в чувстве их нет и тени моего отвращения. «И как это все неверно, — думал я, — будто только простой русский народ способен на такое беззаветное к несчастью первого попавшегося, незнакомого!» — И еще и еще раз я упрекнул свое черное сердце.

И снова, пройдя через тесноту, для нее нетесную, слепая вернулась в купе и, шевеля пальцами, стала примащиваться поудобнее: на лице у нее играло полное удовлетворение. И, усевшись и оправившись, разговорилась со своими спутниками: серенькой барышней и обваренным господином.

Она возвращается с «пелеринажа», а была она где-то около Гренобля — не в Ля-Салет ли? — не все понимаю — и эта белая палка — посох оттуда, и цветы. Она шевелила пальцами по розовому букетику.

«Если бы она видела эти цветы, — подумал я, — никогда бы не прицепила!» Но потом подумал, что слепота.

ни при чем, эти цветы нравятся и зрячей серенькой барышне и этому неслепому обваренному господину. Но какая это безвкусица, церковные сувениры!

«И у нас тоже щеголяли крестиками и образками на розовых и зеленых ленточках, — вспоминал я, — и гуртом на ларьке, и в подвешенных над ларьком было что-то цветное и серебряное, какое-то трудное богомолье с чудесным легким концом, правда, привозили в Россию монахи с Афона всякое «неблаголепие», но такого глазированного, как здесь, я нигде не видал».

Слепая рассказывала о чудесах. Рассказ ее в рекламных выражениях из путеводителей по святым местам: что-то общее с рекламными письмами к патентованным лекарствам.

«Или это совсем другой народ, — думал я, — может, чувство и общее и глубокое, не сомневаюсь, вижу пример, но форма? Какая чужая форма! И святые-то здешние — причесаны и чудеса творят с реверансами...»

Слепая той же самой рекламой продолжала рассказывать, слушатели сочувственно кивали. И, что странно, не было никакой несообразности и в таком самом несообразном — чудеса! — а все смерено, взвешено и оценено.

И я почувствовал, что между мной и ими пропасть, — забыл, что и наши описания «исцелений» не менее слащавы, и, как часто, на дурака, забыл «метания» — поклоны без сгиба колен, — по виртуозности ничуть не уступающие «реверансам», забыл, наконец, что «знаменный» распев не отличишь от «грегорианского». А пропасть шла глубже и дальше: я уж не видел никакой связи между «пелеринажем» и живой жизнью: с «пелеринажем» и без «пелеринажа» — ложь, надувательство и мошенничество — воля и закон: «Великий Маз».

И больше не укорял себя, но и неприязнь забыл, надоело мне. И я схватился за свое, что меня глубоко беспокоило, и лишь отвлекла слепая.

Вот уже с час, а может, и больше, ехал я вслепую — я и представить себе не мог, куда еду: станции все были незнакомые, и сначала я следил по карте около уборной, но пришлось бросить — толкучка, да и зря — таких станций на карте не было. Когда туда ехал, мне виделся берег высохшей реки в песчаных плешах — нынешнее лето засуха — а теперь, если и попадалась река, то

никакого песку, а невозможно, чтобы за месяц произошла такая перемена.

У моей соседки в руках листок и на нем колонкой станции: должно быть, в первый раз едет! Я заглянул и обрадовался: последняя — Paris, Но это только сослепу я прочитал «Париж», это был Санс. А спросить, куда едет поезд, мне было неловко — ведь уж очень глупо: едет человек, а не знай, куда едет. И я решил потревожить мой чемодан, и это совсем не легко, когда так тесно, и все-таки решился, вытащил карту и ищу. И нашел-таки станцию. Но и это меня не успокоило: я ехал не то, что в противоположную сторону, но и не в Париж, а куда-то в Нанси. Ясно было, что я попал не в тот поезд.

Есть всякие автокары. Есть автокар Ситроен — бросает во все стороны, но какая-то все-таки закономерность, а главное есть определенное «complet»; автокар P.L.M. немилосердно подкидывает, и очень это надоедливо, но понимаешь, что такой механизм, во внутреннем же распорядке — одно безобразие. Взял я билет на «терминюсе», а, когда подали автокар, места оказались все заняты — или еще в гараже понасели? — и пришлось стоять. А только что отъехали, на первой же остановке — хоть и говорилось — прямое сообщение, всех нас выгнали, а подъехал другой автокар, и кто как успел вскочить, того такое и счастье: сидячие оказались стоячими, а я сел. И потом на каждой остановке, а всех остановок и счет потеряешь, и как стали влезать — ну, некуда, а лезут — и лезет народ с вализами, с кофрами, с картонками и с собаками, а один даже с ружьем и держит над головой, того и гляди, выпалит, да и от собак тоже не очень весело: не то грызутся, не то играют, а руки прячешь, вот тяпнет. Автокар подгоняется к поезду. А приехали на станцию, дай Бог за полминуты. И все разом на платформу. Два поезда — не все понимаю, да и по близорукости — на одном вагоне вижу «Paris», но вскочил-то я в соседний, не посмотрев. Так вот и еду вслепую.

Слепая перестала рассказывать, и соседям больше нечего было слушать. Господин ковырял в носу, барышня следила по листку станции. Слепая дремала, а, может быть, и заснула, и не было в лице ее никакого жеманства и ничего деланного. И мне ее жалко стало.

«Пока спит, — думал я, — ничего, а проснется — и это очень страшно: ночь и безнадежно. И сколько несчастья в мире! — мне всех стало жалко, — и какая беспомощность и какое глубокое равнодушие!» — и опять я стал о своем думать, — «куда я ехал и куда заеду? И если бы деньги... и что я буду без денег?»

И эта мысль сверлила меня: «что я буду без денег?» А между тем промелькнула станция, я скорее на карту, и по карте вижу: поезд повернул на Париж.

— Теперь рапид! — сказала соседка.

И отлегло от сердца: я ехал, хоть и колеся, в Париж.

И я приладился, отложив мою карту, как слепая свой белый посох. Но я не дремал, мне спать не хотелось. На опроставшемся месте, до того занятом беспокойным «куда?» пошли мысли, — те узлы памяти, которые в каждой жизни называются «мое прошлое». Эти «узлы» были из моего недавнего. А началось оно месяц назад, когда я сидел в Париже на Лионском вокзале, дожидаясь поезда, чтобы ехать в то зачарованное ущелье, откуда сейчас возвращался в Париж, — и, действительно, к моему счастью, ехал в Париж.

2. ДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ

Я сидел в ресторане, четвертый час — дожидаясь поезда. Поезд отходит в полдень. Я забрался спозаранку, — я не из дому, а с другого вокзала: с тех пор, как я вышел на волю в жаркое июльское утро, у меня нет дома, и я перекочевываю с места на место.

На моих глазах подметали, посыпая, и чистили; завтрак гарсонов; я прочитал газету — и мысли мои шли так тихо, так тикали, как во сне. За час стали появляться «вояжеры», одни наскоро пили, их сменяли другие, и из всех задержалось три столика; я сидел у стены — против.

Против за столиком высокий, плотный господин с приставной головой — лицо Гинденбурга, под левым глазом синяк, правая рука на перевязке. С ним дама — она казалась еще меньше рядом, и бледней от своих черных волос. Бурча, он налил себе пива, потом ей. И, отхлебнув, продолжал бурчать: подбитый глаз, не мигая, смотрел куда-то в сторону, здоровый подмигивал. Губы ее опустились, она поспешно отпила глоток и горько заговорила.

Но он перебил. И вдруг она заплакала. И хотелось подняться, взять его же стакан и плеснуть ему в лицо. Больше нельзя было выдержать, она встала и быстро пошла, — и за ней, я узнал эту тень, черное горе. А он остался — приставная голова, подпиравшаяся тугим воротничком, отхлебывала — и разве он был когда-нибудь не прав? И с правом он будет еще и еще выговаривать. Наконец, она вернулась, отпила глоток и посмотрела на него, — мне показалось, виновато. И я понял, что она в большой зависимости и боится его. И опять заговорила, и что-то уж не горькое, а жалкое было в ее словах. А он прихлебывал — он ее не слушал и не смотрел, ослепший в своем праве и чванливой правоте.

Слева за столиком моряк с красным помпоном на шапке и барышня в коричневом. Наклонившись к столу, она что-то старательно выписывала и потом передала ему — свой условный адрес? А если бы она видела, с каким нетерпением следил за ней ее спутник — и как свободно вздохнет он, когда, наконец, простившись, он очутится в поезде один, и потом среди товарищей будет хвастать — мало ли мерзавцев! Но ее глаза неотводно — или она не видит? — но я узнал ее: это сама любовь неотводно глядела на него.

Справа — господин и дама. Пожилой уж, да и она не та. Ему принесли сифон и налили что-то зеленое, а ей кофе. И я заметил, как выпив, он сразу покраснел и заговорил, и эта краска окрасила его слова. А она, слушавшая его с таким интересом, вдруг поморщилась — «действие, кафе-олэ!» — подумал я. Да, я не ошибся: она, пошарив у себя в мешочке, вдруг поднялась и, кивнув, а на лице у нее опять появилась судорожная морщинка! — пошла в уборную. И за время, как она оправлялась в уборной, да ждала — на вокзалах всегда очередь, случилось превращение: то самое зеленое, подкрасившее господина и его слова, исчерпало свою силу, а он вдруг съежился. И вот она вернулась помолодевшая и весело заговорила — да, он достиг цели! — «достиг цели?» — но он сидел опустившийся, и куда девалась краска! — он явно досадовал на свою затею, но уж было поздно. Чудеса природы!

Чудеса природы, любовь — какая это жалкая любовь! — и унижение — «бедность рабства и рабство бедности!» остались в моей памяти, с ними я и вошел в вагон.

И, как всегда, начались недоразумения. Хотя я наверно знал по «справочному бюро» номер прямого поезда, проводник стал уверять меня, что я сел не в тот поезд. И я взялся за чемодан вылезать, но к счастью моряк с красным помпоном остановил меня: ему не в первый раз — никакой пересадки. Не знай, кому и верить! Я остался, но всю дорогу сидел, как на иголках, пока не проехали пересадку. А это называется — «неразбериха». Но остался в памяти и еще «узел» — «культура».

У окна расположились муж с женой, люди почтенные, и все у них в таком порядке и предусмотрено: и как ели и пили и у каждого была книга и иллюстрированные журналы, и как потом немножко заснули. Удивлялся я, глядя: «это и есть культура, — думал я, — и такому век не научишься!» Так и осталось: «культура». Но под самый конец, как вылезать моим случайным и таким непохожим спутникам, случился грех — всего не предусмотришь! Он нагнулся чемодан застегнуть — все в чехлах! — а она полезла чемоданчик снимать; и когда чемоданчик, и довольно-таки увесистый, был у нее в руках, он, застегнув свой, приподнял голову, по голове его этим чемоданчиком и трахнуло. И куда все девалось? Она уж его и рукой трогала: ведь она нечаянно. И ведь ясно, что нечаянно, а было чувство, как нарочно, он грубо отмахивался и огрызался. Так и вышли — трудно поверить, что это были они, мои примерные спутники. Срывая сердце, он грубо, не нес, а тащил, зацепляя за стенку вагона, свой чемодан, а за ним с чемоданчиком она тащилась.

И этот злополучный чемоданчик, разрушивший вернее всякой бомбы ту самую культуру, которой никак не научишься, закрутился узлом в моей памяти, как те ресторанные столики: любовь, природа и рабство.

3. БОРОДА КРЮЧКОМ

Мадемуазель Габриель — моя хозяйка, с нее и начинается мой месяц в зачарованном ущелье. Сухая, длинная, усы и борода да не какая-нибудь — пёнушки, а густая крючком, в первый раз вижу. В моей комнате книжный шкап, книги тесно — неприкосновенные. Но я тронул —

все награды мадемуазель Габриель, когда она училась в лицее — за прилежание, поведение и хорошие успехи. Кроме нравоучительных, в которых мадемуазель Габриель не нуждается, города Франции, а про них читать не к чему — дальше соседнего мадемуазель Габриель не выезжала. Когда я с ней поздоровался, я не почувствовал разницы между ручкой чемодана и ее рукой, нет, ручка была теплее — ведь я нес чемодан! И, ощутив неприятный холод человеческого тела, я пожалел ее.

Но эта жалость была не сострадательная: «никто не польстится, да и невозможно» — «и ноги-то у нее холодные!» — сказал бы Розанов.

И вот, думая о безрадостной жизни таких, всем обездоленных да еще наделенных бородой-крючком, я проходил двориком и вижу: молодой человек вяжет джемпер, а около, склонившись волосатым крючком, мадемуазель Габриель. И я подумал: «племянник». И посочувствовал: одинокие люди, в ее положении, да рад будешь и киселю на вчерашней воде: молодой человек, этот племянник, имел вид замухрыстский, или сморчок.

Мою комнату с наградным неприкосновенным шкапом прибирают не утром, как это полагается, а после обеда: весь дом сдан жильцам, и всем надо, а Клотильда одна. Клотильда немолодая женщина, но по быстроте и молодой не угнаться, а на язык, как заговорит, не унять, и не уймется. Я спросил о молодом человеке — о племяннике, вяжет джемпер.

— Мосье Жак? — ами! — не сказала, а как пролаяла Клотильда, а чтобы рассеять всякие сомнения, а она и сама долго не могла поверить: — спят на одной кровати.

Мадемуазель Габриель занимает самую маленькую комнату, такую никому не сдашь, и в ней только кровать, и даже столик не помещается. Клотильда нарочно спозаранку пришла и прямо к хозяйке и застала...

— Спят на одной кровати! — с удовольствием повторила Клотильда.

А взялся этот Жак очень просто: приехал на ваканс и устроился: — Макро.

Лето нынче жаркое, не запомнят. Я себе представил тесную кровать — с усами и бородой крючком длинная

мадемуазель Габриель и Жак, и какое надо терпение в такую жару вязать джемпер — и как этот Жак ждет-не-дождется осени, когда, наконец, кончится его ваканс: еще остался месяц.

4. ВО СНЕ

Этот месяц мои дни неотличимы от ночей. Я рисовал сны. И если бы не Клотильда, со своими рассказами да еще то, что я все-таки должен был всякий день купить и приготовить себе что-нибудь на обед, я не заметил бы перехода яви в сон и сна в явь.

Во сне со мной совершались такие диковинные вещи — на яву и представить себе не могу. И я схватился: «почему не караются преступления, совершаемые во сне? — разве что-нибудь меняется, если проснулся?» Потом подумал: «карается кровь и боль, а все, что не связано с кровью и болью — вся область духа»... и где же и какая ответственность? Но если «кровь» и есть «дух», то, стало быть, где-то да карается!

Не стоит много рассказывать о приключениях, а бывал я и не раз и смельчаком и храбрецом, тем Гоголевским «высоким» из «Сорочинской ярмарки», который со страху влез в печку и, несмотря на узкое отверстие, сам задвинул себя заслонкой; я без всякого страха переходил самые запутанные автомобилями улицы, и не было ничего от моей мучительной растерянности и бестолковой ненаходчивости, и однажды я проглотил два стаканчика из-под хрену, а другой раз шесть франков в три приема, стоимость автобусного карнэ; я, как ни в чем не бывало, сидел на пеньке в лесу по соседству с медведем, и что-то по-своему мы говорили, понимая друг друга, и сам каменный Бельфорский лев подал мне лапу; я ходил по потолку — я как-то возле своих ног видел этот потолок и раздумывал, что бы такое нарисовать, а безобидные люди, какие-то актеры, желая добра мне, прокалывали шпильками мои пальцы, а сколько раз я, бескрылый, подымался с земли и летал над Парижем, низко над домами, летал я и в комнатах, и не-в-зуб-толкнуть, толокся у экзаменационного зеленого стола, был и в Москве — без документов.

Как беден мой мир, как все мелко и бесцветно и хоть бы одно пустяшное видение, но чтобы в блеске!

О своей бедности и ограниченности я заявлял не раз и теперь повторяю только к сведению. Меня всегда очень смущает «как вы думаете или что вы заметили?» Ведь если бы знали обо мне хотя бы столько, сколько говорят мои сны, никогда бы не спросили: слепота моя засвидетельствована моим «синим с белой наклейкой билетом». Любому хвастуну и обманщику я поверю — или это отчаяние слепит меня и я хватаюсь не то, что за соломинку, а за обнаженный электрический провод. И еще скажу, все эти напасти, обрушивающиеся на меня, все эти наши каторжные годы, как мало заострили мои чувства, и чутье мое — если не бетон, то уж наверно — чертова кожа.

Каждое утро я рисую приснившийся сон. Когда соберется тысяча, у меня будет возможность сделать какие-нибудь выводы, а кроме того — я вычитал в «Похвале глупости» у Эразма Роттердамского ободряющие меня слова — не воспользоваться ли советом Эразма:

«Счастлив сочинитель, послушный моим внушениям, он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум, хотя бы даже собственные свои сны, зная заранее, что чем больше будет вздорной чепухи в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, т. е. всем дуракам и невеждам».

Или все это хорошо и верно для того легендарного бунтующего века? А наш — с его полетом в запредельность и отчаянием обездоленных — бесприютных, бездомных, беззащитных — свободных лишь умирать, этот исторический век, по вздорности превышающий самые подлые века: тупоумие, мстительность, кровожадность — и «великий Маз», Бестия — дух современности — эта единственная живая сила, воля и закон, а герой нашего времени — «мазурик».... мудрый Эразм! как наивна для нас ваша «Глупость», но вы первый положили начало самой человечной горчайшей книги: ключ жизни — «Воровской самоучитель». Очнувшись в бестиарии, я со стиснутыми зубами твержу ваши стабилизованные слова, гарантирующие прямой беспечный путь жизни, вашу «экзистенциальную» заповедь, надежнее грозных Синайских Скрижалей и вернее Нагорних слов невечернего света:

— мешайся в чужие дела!

— натирай себе лоб, чтобы он никогда не краснел!

— давай лишь то, что надеешься вернуть!

— не люби и не ненавидь никого, но суди каждого по своей выгоде!

— толкай локтем всякого, кто попадется тебе по дороге!

5. ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Я нарисовал Соню и Катю: Соня и Катя ловят рыбу, и поймали, а оказалась не рыба, а Тереза. Тереза совсем маленькая, тоненькая и есть в ней что-то серебристое — рыбье, и я ей при первом нашем знакомстве сделал «сороку», и теперь она к всем пристает: «дай руку», а дашь, поплюет и что-то шепчет — «et personne n'y comprend rien», да и как догадаться и кто это знает из здешних: «сорока-сорока, где была — далеко!» У этой Терезы выпадает пупок, несчастная девочка, и носит она резиновый пояс — за этот вот пояс крючком ее и поймали Соня и Катя.

Скажу по правде, ничего подобного я во сне не видел, а нарисовал я детям рыбную ловлю, потому что они узнали, что я сны рисую, и им очень хотелось, и всякий раз меня спрашивают: «не видел я их во сне?»

Соня и Катя — единственные русские в этом зачарованном латинском ущелье. Какие-то богатые алжирцы-французы привезли с собой на лето из Марселя портниху — домашняя портниха. Жила она не в грандотеле, в котором остановились хозяева, а на краю всякого привилегированного жилья снимала комнату, и с ней Соня и Катя. Соня — ее дочь, а Катя — чужая. И это очень меня тронуло: мать Сони, научившаяся мастерству за эти годы в эмиграции — а таких портных полон Париж — и самая грошовая работа для нее большая удача, а вот приютила девочку, у которой никого нет и о своем происхождении только и знает, что «родилась в Африке». И мне как-то стыдно стало, когда узнал и даже сам не знаю — но, должно быть, не то называется жертвой, когда много, а когда нет ничего! — у меня ничего нет, но разве я что-нибудь подобное могу сделать? Скажут, что взяла чужую, чтобы своей не скучать? Да, почему не так, но — «когда ничего нет», вы понимаете? И отношение к детям — я сначала думал, что это сестры.

С матерью я не сказал ни слова, только раскланивался, да и редко ее увидишь, все за работой, а детей редкий день не встречал. И не знаю почему дети пугали меня: «ам!» — и я всякий раз делаю вид, что мне страшно, и они верили, и, должно быть, мой страх доставлял им удовольствие. Да и то: я единственный был русский, который понимал «ам».

Катю я называю «лопаткой», так она худа, и все ее косточки и особенно лопатки, как отдельно, только что кофточкой держатся. Что выйдет из этой Кати, не знаю, а как она смотрит — такие, если переводить на книгу, не для большой публики, но у кого есть глаз, тот заметит. Что она думает? Очень она озабочена, а наверно, что-нибудь да думает; одно она знает про себя, что судьба к ней немилостива: она, например, никогда не выигрывала ни в каких лотереях, всегда впустую.

Соня — ей тоже двенадцать — но про нее никак не скажешь «лопатка», и что ровесница Кати: Соня — маленькая женщина. А между тем, по судьбе своей Катя гораздо старше Сони — в глазах у Сони такая безоблачность, и не думаю, чтобы мысль ее проснулась. Соня добрая, в мать, а про Катю не знаю. Быть добрым — или это большой дар или привилегия, и это мое больное: ну, чем я могу помочь людям? И мне остается одно, и только это дано мне: думать — думать до белой ослепительной искры.

Всякий день я хожу на прогулку, смотрю на деревья. Никогда я не чувствовал их жизнь, как теперь, а почувствовал я в ней кротость — и кротость и милость. Такое было в Филарете и Иоанне, названных милостивыми. И от этой кротости и милости необычайное спокойствие. Я видел однажды, как содрогались кусты: один мальчик, желая показать удаль, вздумал хлестать их палкой — какая это была молчаливая боль в этом содрогании, и какая кротость и милость, когда я остановил: я видел эти простертые зеленые руки — и об этом никак не могу забыть.

Я вышел на свою прогулку к деревьям. И вижу, навстречу — я заметил, Соня так руки на груди держит, не то ей холодно, а ведь жара, не то прячется, а Катя корзинкой помахивает — огурцы. Я ждал, что, как увидят меня и сейчас же пугать, и приготовился, чтобы на внезапное

«ам» и в самом деле не вздрогнуть. Но вот что меня удивило: дети, завидя меня, опрометью бросились бежать.

То, что случилось с детьми утром в тот день, когда они бросились от меня без оглядки — не они меня, а я, стало быть, их напугал, но чем? — об этом узнаю я на другой день, когда все только и говорили о приключении.

В то утро дети ждали в садике около почтового бюро, к ним подошел какой-то... да они его и раньше встречали: носильщик Марсель...

— «Соня и Катя пошли на почту, — рассказывала мать, — и вижу, бегут и обе взволнованные. Соня плачет. И не хотят говорить. Соня говорит, что ей стыдно, и руками закрывает грудь.

В садике к ним подошел носильщик, взял Соню за грудь: «...Je veux coucher avec toi — tu as un trou entre tes cuis-ses, je vais te boucher ton trou, ça va saigner et ça va te faire mal, mais ça ne fait rien...» «пойдет кровь и будет больно, но это ничего!» — повторил он и еще что-то, но они не поняли, они только почувствовали и бросились бежать.

Мать была в исступлении, и первое, что она сказала детям, и это запомнилось, что, если они завидят мужчину, чтобы бежали. Так вот почему со мной так вышло в ту встречу, и почему Соня закрывала грудь, точно пряталась.

— Да он живет против вас — Марсель, ему семьдесят пять лет, — Клотильда только об этом и говорила, — quel bel homme, здоровый как «шваль»!

В этом зачарованном ущелье с римскими памятниками, о которых никто ничего не знает, все знают друг друга.

— Кроткая и милостивая, — говорила Клотильда про жену Марселя, — и самая религиозная во всей деревне. Вышла она замуж, когда ей было сорок лет, и все, что скопила — прислугой раньше была — все ему, и все терпит. А он, и про это все знают, как вечер — караулит, да взрослые с ним не соглашаются, он детей караулит: приманил одну дурочку за фунт слив. Фунт слив... Quel bel homme; здоровый, как «шваль»!

Да ему и не дашь семидесяти пяти лет. Я его однажды потом уже встретил поздним лунным вечером. Надвигалась лунная ночь, улица была пустынна, окна закрыты, ни огонька, и только в отеле одно окно освещено — накануне

умерла девочка, приехавшая с родителями из Парижа, не выдержала этого чудесного воздуха и чудодейственной воды. Я стоял у калитки и мимо меня, таясь, провезли на тачке гроб к отелю — приехавшая из Парижа девочка, которую никто не замечал, теперь превратилась в «кадавр» и все боялись. Я думал об этом странном превращении и страхе, который безотчетно охватывает всех, и, провожая глазами гроб, увидел Марселя. Это был сухой, крепкий, и все в нем как подобрано, никаких мешков и действительно стройный, как выточенный — bel homme,— но только очень все грубо — самый материал грубый, и лицо обветренное. Но откуда эта сила — от чудесного ли воздуха и чудодейственной воды, которая может и погубить, как эту приехавшую из Парижа девочку, или разожженный в крови уголек действовал — Свидригайлов? Неужто оттого, что взрослые не соглашаются, как объясняет Клотильда, т. е. боятся огласки, вот он вышел караулить даже несмотря на «кадавр», который всех разогнал по домам и погасил все огни? Меня поразило, что он говорил детям и что именно и запомнилось: «кровь и боль» — и я чувствую, что не тут ли разгадка, что не в этом ли сокровенном, и оттого-то и преступном, в этой жизни самой жизни: «кровь и боль»?

А жену Марселя я не видел — но «кроткая и милостивая», мне и видеть не надо, я ее, как живую, вижу и понимаю по этим деревьям, на которые хожу смотреть всякий день. И, подумав об этой кроткой и милостивой, я как спохватился: «и самая религиозная во всей деревне» — — а это значит, что все-таки есть какая-то связь пелеринажей с их чудесами и жизнью с ее обманом и ложью, и, может быть, «пелеринажи» и открыли глаза, погруженные в ложь и обман, на эти простертые зеленые руки, какие я чувствую, глядя на деревья, и их кротость и милость.

* * *

История с Марселем произвела впечатление не столько на детей, сколько на мать. Правда, Соня с этих пор все как-то закрывается, словно стыдится. А мать готова была задушить этого «негодяя». Она пошла к нему в дом и при его кроткой жене все рассказала, и та заплакала, а он ломался: ничего подобного, все дети сами сочинили! —

и «тру» и «кушэ», и «кровь» и «боль». Его вызвали в жандармерию. И кто же это не знает, не первый случай: припомнили фунт слив, которыми обольстил он дурочку да и раньше, когда он служил в больнице, он не пропускал ни одной сиделки, за что и выгнали его.

Теперь его арестуют, начнут дело и будет суд. Но мать не согласилась: ей было бы еще тяжелее таскать детей по судам. И ему оставалось только извиниться.

— Извинился, — рассказывала Клотильда, — Марсель извинился, точно это трудное дело: извиниться, — уже негодовала Клотильда, но вся ее ожесточенность заключалась неизменным: — «quel bel homme», здоровый, как «шваль!»

Я от Клотильды слышал и другой рассказ с не меньшим ожесточением, но конец переходил совсем не в восхищение: какой-то приезжий богатый англичанин предложил очень бедной, в бюро служит в грандотеле, сделаться его ами и посулил воспитывать ее мальчика, но та отказалась... она сказала, что она «не продается».

— Упустила такой случай! — говорила Клотильда, как говорила и той несчастной, и в голосе ее звучало явное презрение.

Вскоре после извинения Марселя и произошел случай с приехавшей из Парижа девочкой, которую в лунную ночь задушил чудесный воздух зачарованного ущелья. Я знал все подробности от Клотильды. В ее рассказе поминался «кадавр», произносимый приглушенно и с явным страхом. Но как только в ту лунную ночь — в мою встречу с Марселем — этот «кадавр», внушавший необозримый страх не только Клотильде, я уверен, и самому Марселю, положили в гроб, закрыли крышку и вынесли в церковь, и там на крышку положили цветы, страх кончился — страшное имя «кадавр» больше не произносилось, а разговор пошел о венках: какие дорогие красивые цветы!

Я заметил, что слово «кадавр» — это совсем не русское безразличное «труп» и не древнее «стервь», но я нигде не встречал, и только здесь, такое обоготворение умершего — «покойника» и непременно скрытого под крышкой гроба. Родители умершей девочки люди не какие-нибудь, отец чиновник, и, конечно, расчетливые, и в хозяйстве

«серебос» заменяют обыкновенной солью «de cuisine», но посмотрите, на похоронах: венки выписали из соседнего большого города, и вся церемония обошлась не в тысячу, а в несколько тысяч.

И по крайней мере с неделю Клотильда поминала венки, а если бы она видела нашу Эглиз д-Отэй — эту известную выставку у черного с серебром церковного входа! И только своя беда вытеснила цветы.

У Клотильды была кошка Мими: белая кошка — черное пятнышко на голове, черное пятнышко на хвосте и черное пятнышко на животе. Кошка ученая, сама просилась на двор и ей Клотильда отпирала дверь и, сделав по надобности, кошка возвращалась в комнаты. Клотильда забыла на ночь запереть дверь, кошка туркнулась самостоятельно и вышла, и больше не возвращалась.

— Мими банщик украл!

Клотильда очень волновалась. Не все понимаю. Так и не понял, почему банщик украл кошку, и почему, зная, что именно банщик украл, Клотильда не отберет у него свою кошку.

— Девчонка принесла кошку: «нашла вашу Мими!» — говорила Клотильда, — вижу. Мими: белая, черное пятнышко на голове, черное пятнышко на хвосте, а на брюшке и нет пятнышка. Мими банщик украл!

Я не видел этого банщика, но вот вглядываюсь и вижу, что сосед мой — бритый господин с обваренным лицом поднялся со своего места, и оказалось, что он не кто иной, как банщик; и так же, как выкрадывал он Клотильдину кошку, взял он меня под руку и повел. Я не сопротивлялся. И мы очутились перед пролетом. Я заглянул — земли не вижу. И как я попал на такую высоту, не понимаю. И с ужасом я отшатнулся. Но банщик, не отпуская моей руки, наставил на меня револьвер, и я не успел отмахнуться, искры посыпались из моих глаз и, вздрогнув, я открыл глаза.

Первое, что я заметил, моей соседки-барышни не было — стало быть, Сане проехали. И в нашем купе только бритый обваренный господин и слепая. За окном в мчащейся тьме огни: подъезжаем к Парижу.

И тут произошло — подлинное чудо: на моих глазах слепая сняла свои черные очки — и вовсе никакие гноящиеся, оказались у ней самые обыкновенные и без всяких

бельм глаза. Очки она спрятала в сумочку, а из сумочки вынула пудреницу и зеркальце и, прихорашиваясь, попудрила себе около губ.

Но может быть, я сам слеп или все еще сплю? Я посмотрел на соседа — банщик! — а этот банщик на меня, и я почувствовал, что он смотрит теми же глазами, что и я.

— Да я совсем не слепая! — сказала соседка, жеманясь с той лживой притворной улыбкой, я знаю эту улыбку, это бегающие по домам, переносящие новости, сочинительницы всяких сплетен, расхваливающие самих себя, считающие чужие куски, все эти «переноски», это их улыбка, — а то как же?

И в доказательство, что она и на самом деле не слепая — а значит, мы-то слепые? — слепая потянулась к своему тяжелому вализу снять.

— Зачем же вы заставляли ту барышню? — с возмущением сказал сосед-банщик, он не сказал «заставляли меня», — зачем заставляли таскать ваш вализ?..

И поднялся и, грубо наступая ей на ноги, вышел в коридор.

Вализ был тяжелый, но она справилась легко. И я подумал: «а что ей стоит снять и мой заодно?» А с каким презрением она смотрела — не на меня: перед ней был целый мир зрячих! Только знающий цену человеческому глазу так посмотрит.

Глава пятая
ЭМПЕРМЕАБЛЬ

Я заметил, как часто интересные события дня проходят бесследно и не попадают в мою сонную тетрадь, и теперь я рисую не только приснившийся сон, а и встречи и происшествия из «живой жизни».

Как миновать пожар, который, может, и не приснится никогда, по крайней мере в этой моей бессрочно-каторжной жизни, и только когда-нибудь в другой обстановке и при других обстоятельствах вдруг ни с того ни с сего моя извечная память воспроизведет до точности летний поздний вечер, едкий дым в раскрытое окно, пожарные гудки, шныряющих вдоль улицы и катящихся колесом пожарных

и всю мою тревогу. Горит сосед портной — мосье Шезо, а загорелся по-глупому, не от какого-нибудь короткого замыкания, от которого ничем не оградишься и никак не предусмотришь, а от собственной папироски-капораль, которую оставил, не погася, и ушел, заперев на ночь мастерскую. Ведь снится же иногда из нашего прошлого, такого отдаленного, что из века донесла кровь, которая и есть «дух»... Да, когда-нибудь мне приснится и сам хромой Шезо, каким я увидел его на другой день, пристыженный — еще бы! — и прачка, и гаражист, и переплетчик, и сапожник, и дрогист — все соседи тыкали его в это пасмурное утро: «папироска!» — он стоял с обличающей его папироской у промоченной пожарным усердием суконной рухляди и обгорелого манекена на тротуаре под вывеской, из которой в пожар укорно выпало «l» — «Tail-eur».

И не нарисуй я этого пожара, многое останется непонятным в моей сонной тетради, и прежде всего, почему вдруг сны следующих ночей пошли так живы и разнообразны, и откуда эта приснившаяся гигантская рыба с человеческим лицом и другая в шерсти, а мясолангуста?

Можно ли сказать: «я люблю пожар?» Но я, как помню себя, всегда чувствовал непреодолимое влечение к охваченным огнем зданиям — к полыхавшим московским пожарам, я вдруг как пробуждался: я готов был, бросив ложку, выскочить из-за стола, а улегшись спать, вскочить с постели, я бегал на пожар не только когда горело по соседству где-нибудь на Алексеевских или у Симеона Столпника или у Серебрянических бань, а и за заставу: не отрываясь смотреть на огонь было высшее наслаждение, я упивался этим жгучим блещущим разрушением — иллюминацией, перед которой блекли самые яркие богатые паникадила, вспыхивающие за всенощной на литии под престольный праздник и казавшиеся всегда ослепительными, а уж чадящие на тротуаре между тумб плошки или тусклые стаканчики на проволоке по карнизу забора в царские дни, да их как будто вовсе не существовало. Огненная жертва, которую невольно приносит человек, по своей природе водяной, но дышащий пламенем своего огненного сердца, какая-то очистительная жертва какому-то пожирающему огонь пламенному сердцу, потрясала меня.

Пожар мосье Шезо как бы встряхнул меня, я вдруг ожил и мог так работать, как будто бы месяц я ничего не делал, я как-то отдохнул, и только осталось: ночами я схватывался, не оставил ли на столе у бумаг непогашенную папиросу, и долго мне чудился запах гари.

Или как миновать уличных певцов и музыкантов? Каких музыкантов! — принужденный слушать их музыку, схватываешься, какая беда толкнула на такое бесстыдство — «без зазрения совести», чтобы, выливаясь в разбитом фальшивом звуке, испытывать человеческое терпение. И все это ежедневно и не раз совершается под моим окном, как насилие, как напоминание, нет, больше... И однажды я видел, как ел такой «шантер» — он расположился на площадке у лицея Сей под фонарем: мешок с выброшенными в ордюр окусками хлеба и яйцо.

Или как не нарисовать в мою сонную тетрадь ту переходящую между маршэ д-Отой и Эглиз д-Отой серую под цвет парижских стен, еще не старую, но измученную, как спрессованную, женщину: молча, робко стоит она, протягивая руку. И много ль дают ей и долго ль стоять ей? Я-то не пригляжусь к ней, потому что... но другие, все эти спешащие на рынок или чинно возвращающиеся из церкви, просто не замечают.

Редкое утро — и это тоже должно занять место в моем графическом дневнике — в дождик и ясную погоду, сезоном не стесняются, к задрапированному черным с серебром входу в Эглиз д-Отой под бледный звон колокола, мерно окликающего не рукой звонаря, а электрической кнопкой, подкатывает автомобиль в венках живых цветов, скрепленных на проволоке так искусно, неподвижных, как фарфоровые, а за автомобилем стройной дорожкой провожатые — последний путь. А бывает и без цветов, и так одиноко, что невольно остановишься и станешь, провожая глазами, — последний путь.

В этих встречах моя жестокая судьба. Я узнаю себя и в уличном певце, и в уличном музыканте, и в переходящей истерпевшейся, как окоченелой, женщине, молча протягивающей руку... а «последний путь» — да, ведь это мой неизбывный сегодняшний день, когда с каждым годом уходят, с кем прошла жизнь. И вот подлинно, как во сне, ни с того ни с сего, вдруг, и из такого отдаленного... так появился Мозгин.

— Михаил Матвеич Мозгин! — он развернул книгу и положил передо мной: книга рукописная — полуустав — в современном переплете.

С Мозгиным я никогда не встречался, но фамилию знаю с детства, да и кто на Москве не знал Мозгиных? Дом их в Таганке на Большой Гончарной, где и Поляковых, откуда вышли Брюсовские «Весы» со «Скорпионом» — весь московский символизм, мне ли не помнить. Занимается Мозгин каучуковым делом, торгует в Варшаве, и дела идут хорошо... — построил церковь, содержит священника, тоже и по ветчинной части — в Варшаве ветчина даром, а в Париже кусается. А эта рукописная книга досталась ему случайно — подарок приятеля, есть и надпись, а приятель вывез ее в Варшаву, ухватя, с Москвы.

— Соловецкая челобитная царю Алексею Михайловичу, — сказал Мозгин, — хотелось бы определить и какая цена на такую книгу, в Варшаве говорят, музейная, жаль, что батюшка переплел.

Когда я взглянул на дарственную надпись, мне бросилось в глаза карандашом поставленный год — 1560! и я сразу догадался, что книга побывала в руках у доморощенных любителей-старинщиков, которым при определении рукописи всегда есть где помудровать и душу свою потешить: ну, какой же раскол и царь Алексей Михайлович — 1560 год!

С час проговорил я с Мозгиным, ни словом не касаясь соловецкой челобитной, а вспоминая Москву.

Начали мы с Рогожской заставы и обошли все кладбища, переходя из Андроньева монастыря с знаменитым итальянским памятником-склепом Жилиных, в Покровский с Хлудовскими и Найденовскими могилами, а из Покровского в Новоспасский — выставка московских невест, а из Новоспасского в Донской, а из Донского в Симонов с каменной лягушкой и вереницей порченых и бесноватых, потом пошли по трактирам с Алексеевской на Земляной вал в Таганку, в благочестивой тишине поели блинов у Лопашева, а чай пить по соседству к Лаврову, завел половой орган — сколько воспоминаний! А после чаю прошлись по пивным, посидели у Алексея Иваныча Горшкова, пивная с гуслями у Николы-на-Ямах, а закончили в «Гробу» у Новоспасского, из которого «гроба» один выход — на Хитровку или на Ваганьково.

В среду через неделю условились о свидании.

За неделю я собрал все нужные справки. Переплет кое-где срезал буквы в нумерации листов, но текст не затронут, и варшавский батюшка не так уж виноват. Бумага прошлого века, полуустав нечеткий, буквы косят, не рука старинного писца, этак-то и я напишу. Пятая соловецкая челобитная «о вере» или о «старом пении» царю Алексею Михайловичу 22 сентября 7176 (1667) года, распространенная редакция. Список напечатан у Субботина в «Матерьялах» и у Барскова в «Памятниках». Редкостью не назовешь — ведь не было старообрядческой моленной, где бы не хранился такой список, и о музейности не может быть речи.

Обо всем об этом я подробно рассказал Мозгину, когда в условленный час в среду он снова появился, и в появлении его ничего уж не было от сна, он был так уверен, что челобитная — подлинник, а цена — не жаль будет расстаться и с родовой памятью: Мозгины из старообрядцев, звенигородские. И про то объяснил я, что подлинник никак не книга, а свиток, и по справкам, нигде не хранится — пропал. Помянул я и карандашный фантастический год — 1560, посоветовал стереть резинкой: подымут на смех.

Мозгин, завертывая книгу, глядел растерянно; ведь он рассчитывал по крайней мере на миллион!

— Сколько же я вам должен? — уныло спросил он.

— Да ничего, — сказал я, — дело ясное.

А и в самом деле, если бы еще условились о какой-нибудь цене...

— Не пожелаете ли эмпермеабль?

Тут я вспомнил, что у Мозгина каучуковое дело, а моя давнишняя мечта — эмпермеабль.

— Моя мечта,— сказал я.

И на это Мозгин, как расцвел:

— Самый модный, на подкладке, — сказал он, — для вас по оптовой цене: сорок пять франков.

И сейчас же снял мерку. Записал себе в книжечку. А мне на листке свой парижский адрес с пометкой: «сорок пять франков».

— Завтра же будет у вас, принесет мальчик, а деньги потом.

Завтра у меня будет эмпермеабль! — я не верил себе: может, мне это только снится?

Вот уж год, как я рисую сны, за год я наловчился запоминать их, у меня в тетради более трехсот снов,

жизнь моя расширилась, удвоилась, ночная и дневная реальность одинаково живы для меня, не перепутался ли я? Но у меня сидел живой Куковников, сосед баснописец, при нем я рассказывал о Соловецких старцах, Куковников видел челобитную и не мог не слышать — эмпермеабль! и, наконец, Куковников переписал в мою адресную книжку адрес Мозгина по-французски: Мозгин может только по-русски.

Нет, это не сон. И я верю, соловецкие старцы: старец Кирилл Чаплин, возивший челобитную в Москву, келарь Азарий и казначей черный поп Геронтий, автор и писец «воровской» челобитной, это все они сделали, и вот у меня будет эмпермеабль и в самый дождь, который я очень люблю, но всегда и боюсь, я смело выйду под дождь.

— А если что-нибудь запачкается, вы пришлите, сделаем денетуайяж, — сказал Мозгин, прощаясь, и у дверей еще раз проверил мой адрес, — «чтобы мальчику не ошибиться», и еще и еще раз повторил, что завтра в течение дня у меня будет эмпермеабль; а сам пообещал прийти вечером в субботу: есть у него еще Евангелие, много сотен тысяч стоит, напечатано в России в — 1530 году!

Ошеломленный эмпермеаблем, я пропустил мимо ушей этот, тоже не менее фантастический — 1530 год. Весь следующий день я не выходил из дому, я боялся, придет без меня мальчик, не дозвонится, а оставить эмпермеабль у консьержки не догадается; я даже на угол не выбежал в бистро — и как в дождик или когда совсем нет денег, я свертывал себе папиросы из окурочного табаку.

Беспокойно прошел день: на каждый шорох я подбегал к двери, и до позднего вечера все еще надеялся. Конечно, мальчик перепутал адрес, и надо ожидать завтра.

И всю пятницу я просидел дома, я все ждал, но уж к двери не пришлось подбегать, потому что шорохов никаких не было: все разъехались на «ваканс», и только один буйный сосед венгерец, — но буйство его начинается ночью. Оно и началось: сосед играет в карты, и выпивают. И в эту буйную ночь — о сне нечего было и думать — я решил, что никакого мальчика мне не дождаться, а завтра, как условлено, придет Мозгин, принесет фантастическое Евангелие, захватит с собой эмпермеабль! — и

я невольно думал о эмпермеабле — я видел себя в этом эмпермеабле, мысленно я говорил Мозгину: «нарядили вы меня чучелой!» — а Мозгин, оправляя на мне складки, повторял: «самый» — в эмпермеабле я обходил всех моих знакомых, и, глядя на меня, все удивлялись: «откуда?» — а я отвечал: «соловецкие старцы».

В субботу вечером пришел Куковников и первое, конечно, о эмпермеабле. Он — подлинно не из сна — очень хорошо запомнил несколько раз повторенное Мозгиным «завтра», и очень удивился, что эмпермеабля я до сих пор не получил. А я с минуты на минуту ждал Мозгина, за день я еще больше уверил себя, что Мозгин сам принесет эмпермеабль.

— Да, может, нет такого размера? — догадывался Куковников.

И весь вечер провел я с Куковниковым. Мозгин так и не пришел. Проговорили, как всегда, о книгах.

— Знаете, кого надо читать и учиться? — сказал Куковников на прощанье, — Салтыкова. По силе и яркости, Головлевы идут вровень с Карамазовыми, а описания природы по крепости, только еще можно найти у Толстого, единственные в русской литературе. А определение: «беспредельная светящаяся пустота» не уступит Гоголевской «сверкающей красоте».

С Куковниковым я согласен и думаю, что Салтыков первым начинает второй круг наших учителей: Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский, Мельников-Печерский. А «беспредельная светящаяся пустота», как образ, есть ли что-нибудь ближе в нашей бессрочно-каторжной жизни? У меня в этой «светящейся пустоте» сверкал мошеннический эмпермеабль, самый модный, на подкладке.

На неделе зашел африканский доктор, принес показать свои только что появившиеся африканские авантюры, а кстати и мой эмпермеабль посмотреть — в нашей бессрочно-каторжной жизни даже и сна не скроешь!

По совету африканского доктора я написал письмо Мозгину, не произошло ли какого недоразумения, не забыл на конверте и свой адрес поставить. Ответа не последовало, но и мое письмо не вернулось.

И как же мне в мой сонник не нарисовать Мозгина во всей его красе и себя в эмпермеабле? И какая разница мои сны и действительность: проснулся и ничего нет.

Часть седьмая
ГРУБЫЕ ДНИ

1. НА ХЛЕБ

Больше мне сны не снятся. А это значит, что я погружаюсь в «материю», окостеневаю. С каждым днем неуклонно тяжелое и темное тащит меня, втягивая в себя, глуша мое последнее чувство к сну. Глаза мои видят только то, что доступно человеку при свете дня.

И только осталось: мое чувство, я по-прежнему точно впервые после долгой разлуки смотрю на мир, ставший для меня тесным без сновидений.

В последний раз мне приснилось, будто мне зачем-то надо наверх, и я знаю эту лестницу — крутая с загибами, и уцепилась мне за ноги маленькая старушонка в черном, но я все-таки пошел, тяжело со ступени на ступень подымаясь вверх со своей черной путающейся ношей. Кто-то говорит снизу, что старушонка эта — старая Колотушка, и сердито говорит: зачем я тащу Колотушку наверх чай пить? По голосу узнаю, что это говорит мать, и вспоминаю, ходила к нам в Москве старуха из Андреевской богадельни, Матвеевна, и звали ее Колотушкой, только Матвеевна, как мне запомнилось, хорошая была старуха, приветливая. Хороших людей гораздо больше на свете, чем принято это думать. Это мое убеждение, врывающееся даже в сон, где все навыворот и неожиданно. И вот эта Матвеевна черной цепкой Колотушкой неотцепляющейся тащит меня своей тяжестью за ноги вниз, и я волочу ее со ступени на ступень вверх чай пить наверху. Только очень еще высоко, но уж в маленьком виде виден мне и стол, и на столе чашки, полные с чаем, чуть дымок над чашками, очень горячие, а над столом по стене штук шесть калачей и одна баранка — с картинки, которую я помню, как полюбил картинки смотреть, иллюстрация к яснополянской сказке: «зачем не съел наперед баранку?»

Но тут сон прервали. И оказалось, последний. С тех пор ничего мне не снится — окостеневаю.

А разбудил меня звонок. Кое-как я оделся и к двери. Отворяю. Но совсем это не почтальон и никаких неожиданных денег: передо мной стояла какая-то женфий с раскрытым пакетиком в руке: булавки и иголки. Я их сразу заметил: блестящие с золотыми ушками.

— Зачем мне, — сказал я, — не надо.

Но она не отошла. И со сна и сослепу тычась в раскрытый пакетик, в блестящие булавки и иголки, повторял я:

— Не надо.

И вдруг меня, как кольнуло, и я проснулся:

— Pour acheter du pain!

Она сказала тихо и сухо, и по голосу я понял, что она не пила и не ела.

Оторвавшись от булавок и иголок, я взглянул ей в глаза, и мне очень стало стыдно, что я вырвал у нее это слово. В глазах ее было мне знакомое — в этих выжженных подглазницах переработавшегося человека, — этот окаянный вид, когда целый день работает человек, а в итоге за его работу — ничего! Она смотрела на меня приговоренными глазами молча, и не было в них никакого упрека — это беда глядела на меня, последняя ступень ее, когда «не надо», как я сказал, принимается с каким-то крайним чувством, что «так и надо» — отчаяние.

В тот день я вышел на волю — не по своей, по бедовой. В такую погоду не погуляешь! Блестящие булавки и иголки с золотыми ушками не выходили у меня из глаз. Я знаю, что часто, очень часто, желая отделаться и притом в приличной форме — изобретение человеческой пошлости — на твою беду говорят тебе, что «всем тяжело» — «всем»? — так хотелось бы крикнуть — нет, никогда не всем! всем никогда еще ничего не бывает! И куда мне идти и как быть с моим проколотым сердцем?

Я шел по бульвару Распай. Мелкий холодный дождь и туман срезывали этажи с домов, и улица казалась ниже и теснее, и я чувствовал на себе, как сжимает меня и горбит. Недалеко от Лютеции в одном из выступов в доме, где было наглухо заделано окно, лежала женщина, ничем не покрытая, а как повалилась, и дождик на лицо ей, спит.

«Некуда деваться!» — подумал я.

И первое, что мне подумалось, — мне даже страшно говорить об этом, я как будто заглянул вперед на годы, уж очень что-то знакомое показалось мне. С трепетом я наклонялся и, глядя в ее измученное лицо и уверяясь, что черты не те, но чем-то очень близко... или это печать обреченности? «Не вернее ли было бы в Сену, и конец!» — подумал я. А, может, у нее и была такая мысль, но, видно, последнее утомление, а много, должно быть, эта бесприютная ходила! — а, главное, местечко удобное — каменный выступ — прилегла и заснула.

«Земля уходит, — думал я, — я это знаю, земля уходит от обреченных. И все меньше и меньше становится пространства, где бы стать и держаться, и некого больше покликать, ну, никого нет! и вот наступает — некуда деваться!»

Нет, она с булавками и иголками не ходила... И вовсе не оттого, чтобы, как это еще и теперь говорят, из гордости, мол, человек не попросит — какая жестокая обида для всех нас, когда говорят так, вот для этих, кто ходит по домам с булавками и иголками или поет под окном или просто молча стоит у бистро, когда варят кофе, или около булочной, из окна которой глядят, перемигиваясь, остроносые хлебцы, и кто посмеет бросить всем этим несчастным презрительную кличку! — нет, унижения нет человеку просить человека «на хлеб» или, что то же, хотя бы на один еще день дышать на земле. Она мать той — с булавками и иголками. И вот ее последний сон на воле. За час дождик всю ее до кости промочит, а на завтра, — но не все ли равно, на каком еще каменном сыром выступе досыпать вечность?

Проходя в метро на Мадлэн, я увидел в проходе двух женфий в черном, в таком густо-черном, сонно-черном, как Колотушка-Матвевна из моего последнего сна; одна стояла, влипая в стену и как бы дымилась, а ее спутница, прикурнув к углу, дымясь, спала. Я заглянул в глаза стоявшей — и она посмотрела на меня, и когда наши глаза встретились, в глазах ее блеснула, как иголка. И я узнал ее, это была сестра той, которая разбудила меня. И видно никуда мне не скрыться от моих черных сестер, в глазах которых последним отчаянием взблескивает стальная блестящая игла.

А когда я взял билет и шел к контролю, меня схватила под руку какая-то, я разобрал только ярко крашенные губы, и как-то виновато мигающие глаза; наклонившись, она очень быстро, но я все-таки понял, попросила на билет — и не все ли равно, на билет, на хлеб? — но у меня ничего больше не было, а своего билета я ей не отдал. И она, поспешно выдернув руку, бросилась от меня в сторону.

И я почувствовал себя виноватым — где-то в самой глуби, как в отсвете какого-то огромного сердца, в подглубье моего человеческого, во всю мою долгую дорогу кипела моя вина и чувство ответственности за свою и чужую беду.

Вечером я зашел к Куковникову в Булонь. Несчастный баснописец! больше его джемперов никто не покупает:

нет заказов.

— Мне бы хоть какую-нибудь письменную работу, готов за самое маленькое вознаграждение!

Очень это было тяжело слушать, и особенно мне. Ведь только нас двое во всем Париже, так все и знают — Корнетов и Куковников — хранящих заветы старых русских мастеров-книгописцев. Но кому надо в Париже наше русское искусство? Художники рисуют буквы и могут воспроизвести любой стиль, и работа их имеет художественную ценность, как рисунок, но нам, чистым писцам-каллиграфам, только навыкшим в стилях, только исходящим, продолжающим традицию, и уж по-своему мудрующим пером, все равно, в Париже ли, в России, пропащее дело. Это как какой-нибудь мастер-звонарь в Москве, где запрещен колокольный звон, или в другом русском городе, где стояли и теперь снесены церкви, кому он нужен?

Я знал, что Куковников переписывал юбилейный адрес и получил при сдаче сто франков, да посулили еще добавить «полсапога» после поднесения, но уж давно прошло это поднесение, а о «полсапоге» забыли. Надо было ждать нового юбилея, да что-то больше умирают — или срок, наконец, вышел и вот бессрочно-осужденным приходит чае?

— Я готов за самое маленькое вознаграждение, — повторял Куковников.

И то, как говорил он, и как смотрел, и не на меня он смотрел, а куда-то дальше, точно обращаясь, кто за мной

и за ним, к беспощадной жестокой судьбе и чудодейственно-милостивой, или просто ко всему человеческому миру, который мысленно всегда в жгучие минуты подымается перед глазами человека как на страшный суд, и как он руки так невольно складывал, точно прося, нет, больше, умоляя — так; так просят в последнюю минуту, за которой пропад. Этот голос и эти движения Куковникова, а отчасти, как мне кажется, отголосок из моего последнего сна, вторгшегося в сегодняшний день, пробудили у меня далекую память, и я вдруг вспомнил, что на тот же самый голос тем же голосом и теми же словами, только без «маленького вознаграждения», и также складывая руки и умоляя кого-то, просила мать, чтобы дали ей какое-нибудь дело, работу: она только детьми, как живут матери, для меня это теперь ясно, не могла жить, и само появление на свет детей, всех нас, для нее не было желанным, как это бывает у матерей, и я этим вовсе не хочу сказать, чтобы это был какой-нибудь порок, или, как говорят, «противоестественное»: ведь «естественное» — «природа» разнообразна, и родиться женщиной вовсе еще не значит родиться матерью.

Я никогда не забуду одну Пасху — никогда еще весна не рядила так чудесно своими «трепетными зелеными листочками» — «новорожденными листочками», взятыми Достоевским с московских тощих березок, московские «валы», «поля», пруды и бульвары, кладбища, садики при церквах, палисадники особняков и тянущиеся зелеными притоками Москва-реки бесконечные огороды к монастырям, разливающим свой весенний пасхальный звон от московских застав к Кремлю. После пасхальной вечерни, особенно торжественной, особенно песенной, пришел в дом священник с крестом и, отпев Пасху, под пение «Христос воскрес», христосуясь, подал матери крест приложиться — и вот я, вспоминая, как вижу захлебывающуюся ее от слез, я много потом видел слез, но никогда больше не видел, чтобы слезы так заливали лицо, — а это были последние слезы человека, за которыми пожар — горит душа. Я помню, как старик-священник сказал матери, что надо «терпеть». «Терпеть?» — да и что другое мог сказать старик-священник? «Терпеть? — но во имя чего?» Когда терпит пошехонская Каракатица и все претерпевает, увенчивая свое рабское терпение вольным блаженством

на том свете, верой в расплату на том свете, я понимаю и, может быть, по-другому и нельзя человеку кротко пронести через всю жизнь клеймо раба, но живому человеческому сердцу, человеку пытливому, человеку, никак и безусловно не смиряющемуся, — да еще когда такая нарядная московская весна с листочками Достоевского? Потом, когда мы подросли и многое поняли, но не все, мы давали матери переписывать запрещенные цензурой произведения Толстого, работа большая, но было уж поздно: хряснуло и человек пропал.

Ночи мои бывают ужасны. Иногда мне жутко поднять глаза к незавешенному окну: мне все кажется, кто-то смотрит. Я знаю этот взгляд, все подкашивающий — недоверие. И у меня опускаются руки. Или вдруг я чувствую, что кто-то подходит за спиной, а в глазах — как завеса, что вот-вот разорвется и раскроет пространство, а я схватываюсь, что сейчас закричу и буду кричать... Теперь я понимаю, что мое состояние совсем не болезнь, а это те самые «судороги души», о которых говорит Достоевский, упоминая о минутах человека, ведомого на казнь.

А в ту ночь, когда я вернулся домой из Булони от Куковникова и лег, не засиживаясь — очень устал я — неожиданно я сразу заснул, и в этом внезапном первом сне голову мою расстреляли; я чувствовал приставленный револьвер и даже крикнул, когда увидел ее, расколотой пополам. И потом долго не мог заснуть, я продолжал думать начатое у Куковникова, нет, раньше — с булавок и иголок, разбудивших меня, и под всеми моими думами одна была, и сам я лежал, как уголь.

2. ГОЛЛАНДЕЦ

Как когда-то в Берлине появился внезапно Пильняк, так нежданно-негаданно в Париже голландец Вангруд. Что Пильняк — понятно, тогда молодой литератор, было общее, и о чем спросить, и чего сказать друг другу. Но Карл Вангруд, агент страхования жизни, какими судьбами он попал к нам, неисповедимо.

Карл Вангруд попал к нам, чтобы жрать и разговаривать. «Жрать» не потому, чтобы нуждался, а потому, как сам он выразился, что «предпочитает домашний стол» — в

ресторанах и дерут, и кто их знает, чего еще подвалят. А «разговаривать» — «для практики русского языка».

Всякое утро Вангруд появлялся у нас в 11 пить кофий. Первый кофе он пил в своем отеле по соседству на roe Pierre Guérin — разве это не судьба, соседство?

Утренние часы присутствие постороннего, за которым надо еще ухаживать, сущая напасть. Впрочем, Вангруд с первого дня заявил, что он «не стесняющийся». Он подбирал со стола все, что случалось у нас, добытое правдами и неправдами, пьет и ест медленно, пример, как надо разжевывать и, разжевав, глотать.

После кофею я мою посуду. А он сосредоточенно высиживался, и видно было, старается ни о чем не думать, чтобы не мешать пищеварению. Для меня было самое нетерпеливое ждать это голландское пищеварение. Оправившись, Вангруд уходил по своим делам.

Час наших раздумий — когда нет денег, чай с хлебом заменял обед, а теперь надо было непременно что-то готовить.

К обеду возвращался Вангруд, тщательно мыл руки и садился к столу. И, как за кофеем, жрал со всей медлительностью и расстановкой все, что тащу ему из кухни в «кукушкину». А когда потом на кухне я мою посуду, он усаживался за мой стол писать в Амстердам письма. И писал он не торопясь, с прохладцей и любованием — каллиграф.

Как-то, оттого ли что у меня душа впечатлительная и застенчивая, у меня сорвалось — я заметил, что в отеле есть стол и бесплатно дают бумагу и конверты.

«Но там стол качается!» — отозвался Вангруд.

Высидевшись за письмами, Вангруд уступил мне стол и отправился мыть руки. И то же, как с письмами, не сравнить ни с какою медленностью — в хвосте стоять не так чувствительно.

Обыкновенно всех своих нагброжих привязанностей я водил с собой. Исключение Вангруд. Он самостоятельно с моими рекомендательными письмами шел по нашим знакомым — «для практики русского языка». А если вечер был не занят, за вечерним чаем я читаю — он слушал необыкновенно внимательно, глотая глазами и ухом — «для практики русского языка». Потом разговоривали: он говорил по-русски, а я поправлял.

Книжниками не делаются, а зарождаются. Вангруд не помнит, когда б он не любил книгу, а собирает книги — с колыбели. По крайней мере, в пять лет у него была своя библиотека, собранная на шоколадные и игрушечные деньги.

Из современных писателей он облюбовал меня. У него были все мои книги — и русские и заграничные издания — а все, что появлялось в газетах и журналах, он вырезал и наклеивал.

Чем я его тронул? Мое — такое не голландское. Голландия, оттолкнувшая Петра от природно-московского. Амстердам и Москва, не знаю, с какого конца подойти, такая разноголосица.

Коверкая ударения до неузнаваемости слова, Вангруд на память произносил фразы из моей «Посолони» с той же сосредоточенностью, не спеша, как ел и писал письма.

Другим его литературным пристрастием был немецкий поэт Гундольф из школы Стефана Георге. А все заключает Джойс: Вангруд знал не только «Улисса», но и комментарии.

По-немецки и по-английски он не вывертывал слова, как по-русски, до неузнаваемости.

И очень чувствителен к музыке. Но без толка глухой. Совсем не то что у меня — я музыку чувствую и без оркестра, я вдруг пронзаюсь музыкой, и все во мне поет. У него никакого голоса, о музыке он не «думал», но под музыку он умиляется, как при чтении «Посолони», стихов Гундольфа и страницы «без передышки» Джойса.

За стеной передают Бетховена. Вангруд отодвинул чашку — чай он любит моей заварки — и вдруг поднялся:

Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt...

без слуха на стертых глухих нотах, но как под стать выпевал он этот лавочный пошленький мотив, какой убогой человеческой радости! Вырвавшийся из звездной музыки нечеловеческих высот.

Вангруд приехал в Париж на неделю, а вот уж и третья кончается, прижился, а главное: «практика русского языка».

Рассчитывал я получить деньги, но со мной всегда история: или забывают, или оттягивают. Но с меня-то

ведь требуют, и как объяснишь. Обыкновенно не верят и в лучшем случае с упреком и «вторичным» напоминанием терпят, а то просто требуют без никаких. Денег вовремя я не получил, и закрыли газ.

«Закрыли газ, — сказал я Вангруду, — придется питаться всухомятку».

«А что такое сухомятка?»

«Да так, без горячего».

«Очень интересно. Я буду всухомятку».

Как с газом, так и без газа, всякое утро неизменно в 11 появляется Вангруд пить кофий. Очень хлопотно было на спирту готовить. Медлительность, мне всегда тягостная, для него проходила незаметно, он принимал се за основательность.

А «сухомятка», интересная как слово, ему не очень понравилась: день-два без горячего еще кое-как, а на третий, искренно удивленный, что и опять без супу, он попросил меня написать рекомендательные письма «для практики русского языка», но в такие дома, где едят не «всухомятку».

У всех еще в памяти «6-е февраля», и хотя лето загородило это «парижское восстание», я схватился за него, вспомнив магическое действие моего «вооруженного восстания» на 5-ой Рождественской в Петербурге в 1906 году: случай с Гюнтером. И за кофеем «всухомятку» напомнил Вангруду недавний «трагический» случай, когда на Конкорд какого-то депутата выпороли, и что снова предполагается и потому в Париже небезопасно.

«А я не буду выходить на улицу», — безо всякого беспокойства, а даже с каким-то удовольствием ответил Вангруд.

Где было искать спасения — мое испытанное верное средство, «страшные слова», оказалось впустую. Вангруд не поддался. И мне ничего не оставалось как только покориться своей участи, — как это бывает во сне, терпеть, пока не проснешься.

Так однажды я проснулся: Вангруд, закончив свои дела по страхованию жизни, исчез.

Но долго еще мне помнился этот сон, и если мне случалось при знакомых, однажды получивших мои рекомендательные письма, к слову сказать «возвращается» — у всех расширялись глаза и в зрачках показывался «глаголь» — я читаю «голландец».

Или явление голландца так надо понять, что русскому без голландца не прожить и история России без Голландии немыслима — Петрова печать.

3. БАСАВРЮК

Главный и основной порок современной литературы — отсутствие юмора. Этот порок всеобщий, как в романах, повестях и рассказах глубокомысленных, так и в «глухоголовых», и потому, должно быть, мало кем замечаем. Но мне, отравленному Гоголем, Салтыковым, Лесковым и Слепцовым, всегда очень чувствительно, и признаюсь, редкую книгу удалось дочитать до конца, а рассказы бросаю на половине — нет никакой «физической» возможности: такая неимоверная скучища. А между тем «живая человеческая жизнь», пронизанная трудом и болью, первыми и последними слезами, «живая жизнь», которая дает матерьял для романов, повестей и рассказов, в самом существе своем, как явление ненормальное в мировом строе других жизней, еще недавно бы сказали: «глубоко трагична», — да, глубоко трагична, но не вернее ли будет: «трагична и всегда смехотворна».

У Балдахала завелись в голове под черепом тараканы. Как же теперь быть? — спрашивал он приятелей. Да, ничего, говорят, будут вытаскивать из головы: теперь это совсем пустая операция.

Тараканами, не предвещавшими ничего хорошего, закончился год. Балдахал же и начал новый.

Я вернулся домой поздно и нашел в замочной скважине всунутую записку — листок из блокнота. Оттого, что над ней мудровали, буквы расшатались, едва разобрал:

«А. А. Корнетову. Был и не застал вас дома, пишу карандашом, зайду в в...».

Места не хватило и на самом краешке вроде «в».

Но это оказалось не «в», а «п»: в новый год по старому стилю, в понедельник, ранним утром явился Балдахал. Он выбрал самый непоказанный час, но ведь он предупреждал — записка! — чтобы успеть обойти всех знакомых с последним, только что полученным из Риги известием о предполагаемом разделе России: Украина — Германии, Сибирь — Японии...

— В Кремле сидит мулла, — говорил Балдахал приглушенно и оглядываясь, — всякий вечер со Сталиным чай пьет: Кавказ — Турции.

И эти слова повторял он во всех аррондисманах, где живут русские. И у всех, принимавших всерьез, только на мулле оторопь пропадала. Но были и такие, что и в муллу верили, и в свою очередь, я слышал, передавали знакомым и с теми подробностями, не допускающими никакого сомнения, какой именно чай мулла пьет со Сталиным, и у одних звучало хоть и малоправдоподобно, но по-русски, «Кузьмич», но другие, всевшиеся в Париж, сшибались непоправимо: «лайонс» или на французский лад — «лионский».

Каким только вздором не мутится русский Париж, чему только не поверят в нашей убогой каторжной жизни, ну, про кого только не утверждали с непререкаемой достоверностью, как о кремлевском мулле, что такой-то из знакомых — «я уверяю вас» — подослан большевиками.

Пропадавший с осени Козлок, как на Опошнянской дороге Басаврюк, снова показался в Париже на Московскую Татьяну.

Козлок или Басаврюк, Опошнянская дорога близ Диканьки или блестящий, блистающий Париж, сто лет назад в гоголевский вечер накануне Ивана Купала, или на Московскую Татьяну, празднуемую наперекор в Париже, и разве человек изменяется и за вековой срок изменился? — все те же деньги-деньги-деньги — застывшая блистающая кровь — эти червонцы, превращающиеся в битые черепки, а обладатель в пепел, все то же колдовство — через ту же кровь — все те же страхи — бараньи головы с блудящими глазами, и чарка, кланяющаяся в пояс, и сама дижа с тестом, по-старому вдруг выпрыгнув из рук, подбоченившись, смотрите! как важно пустилась вприсядку, а вечера, когда что-то стучит в крышу и царапается по стене или эти мои, иглами пронизанные, ночи с жалобным воем — страхи, диковинки и чуда, и все то же легковерие и тот же вздор!

Козлок, идя по следам Балдахала, не пропустил никого из знакомых. Рассевшись и уставившись по-басаврючьи, ошарашивал он с первого слова:

— Почему бы вам не поехать в Россию?

Понимал ли он, что своим вопросом он надрывает душу, или ему доставляло удовольствие смотреть, как корчится перед ним человек, который никогда не порвет с Россией, но и не вернется и предпочтет каторгу на чужбине, потому что — как говорит Венявкин, «чувствовать себя на своей родине пришельцем», это больше чем каторга, это — проклятие.

Ответы, и это надо было предвидеть, давали невпопад охрипшим голосом, и только потом уж спохватывались, как надо было бы ответить.

Я понимаю, человек, решившийся вернуться и который **действительно** вернется и не только поедет на побывку, как богатые иностранцы куда-нибудь на Таити, да, такой имеет право спрашивать, и ему всегда ответят, наверное, с волнением, но без раздражения. Но ведь всем было известно, что Козлок не собирался и не собирается возвращаться в Россию. Козлок — я это потом уж сообразил, просто озоровал — басаврючил, подражая безответственным благожелателям или любителям дешевого скандала или тем профессиональным болтунам, которые «возвращаются», торча в Париже.

Как мне известно, Козлок не миновал и Судока. «Залесный аптекарь» Судок, что Виктор Шкловский, за словом в карман не полезет, и вот у кого голос не захрипит, ни при каких.

— Когда же поедем защищать Россию? — спросил Козлок.

— А не придется ли нам самих себя защищать? — спросил Козлока аптекарь.

Да, Козлок взял еще и такую повадку: на литературных вечерах в самую скучную минуту вынет у себя из штанов какие-то шарики вроде конфеток и тихонько соседу в руку, — на, берите! и ни от какого кашля и вовсе они не голубые — это при верхнем свете только кажутся, а зеленые — grains d'Evian.

И все ведь тишком и молчком и как будто из внимательности к вам, а вернется в свою «конуру» и как, поди, григогочет над вами же, истый Басаврюк.

Я знаю случай: старичок пушкинист Сергей Сергеич жестоко пострадал от этих пилюль. И без того слабый, расстроенный, и наутро как схватит: погрешил на каштаны,

что каштанами отравился. Но потом все разъяснилось: накануне несчастный в соседстве с Козлоком лекцию Бердяева слушал и в виду гриппа, по словам потерпевшего, — «фактически три пилюли принял», а четвертую не успел — по ней африканский доктор и дознался, что это за «фактические» пилюли от кашля.

Козлок и меня погубил, только не пилюлей, а предлагать он и мне предлагал, но я вообще из чужих штанов ничего не трогаю, а погубил он меня «Ревизором».

Более скучной пьесы, чем «Ревизор», я не знаю и это несмотря на комические положения, которыми сверкает каждая сцена. Это мое чувство с детства, когда нас гоняли на «Ревизора», как гоняли на «Недоросля», не уступающего «Ревизору» по своей скуке. Я читаю и перечитываю «Ревизора», выговаривая каждое слово из строки в строку, и всегда как новое, и часами готов читать вслух, никогда не соскучусь, но смотреть, как играют на сцене... И когда Козлок предложил мне идти на «Ревизора», я решительно отказался.

Но на то он и Басаврюк, как называли этого бесовского человека на Опошнянской дороге, а в Париже — Козлок. Козлок принялся перечислять всех, кого я встречу в театре, и что-то кодловское Гоголевское зазвучало в его словах.

Передо мною мысленно проходили заманчивые лица, как в «Ночи перед Рождеством» перед казаком Чубом гости, званые к дьяку на кутью. Но не «голова, приехавший из архиерейской певческой, родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса», не «дегтярь Микита», ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие штуки, что все миряне брали за живот со смеху, не «козак Свербыгуз», а сам африканский доктор во фраке довоенного времени харьковской работы, забиравшийся в самые крокодиловы дебри черной Дагомеи, Куковников в пяти джемперах — работа за зиму, не нашедшая сбыта — и который в росчерке мог сделать дюжину завитков и вплести в завитушку, старичок пушкинист Сергей Сергеич, знавший «фактически» Пушкина, куда сам Гофман, что, как если подумать, нечто несообразимое; приехавший из Праги философ Саул в рост Голиафа, говоривший на всех языках — «чревовещатель»,

небезызвестный «залесный аптекарь» Судок, спец по ложной информации, устроившийся нынче в иностранной печати и жаривший по-французски, как по-русски, и, наконец, Замутий, которого Козлок отрекомендовал, как «любителя пожаров», но больше слов не хватило и он только восторженно высвистывал, повторяя: «За-мутий».

И я Козлоку поддался. Тут-то и начались его Басаркуньи проделки, за которые потом я расплачивался жестоким жаром целую неделю.

* * *

За час я был в театре и у входа попал в воронку — таких, как я, безбилетных или по дешевке толклось немало: одни стояли гуськом к кассе и через них проходили, другие протискивались к контролю, но уж без всякой очереди, а напирая, и кто напористее, тот и опережает. Козлок говорил мне, что билет оставлен в контроле, и чтобы я спрашивал Баркова. Но оказалось, что никакого Баркова в контроле нет, и тут какой-то прилично одетый господин, как потом Козлок разъяснил, известный библиофил Галкин, сочувственно стал уверять меня, что, сколько ему известно, Барков давно помер. Если бы соседи хоть боком касались русской литературы, меня подняли бы на смех, но публика все пестрая, и имя легендарного сочинителя рифмованной непристойности никак не звучало. Галкин посоветовал мне обратиться к Налетову, и я стал подходить чуть ли не к каждому, сначала робко, потом осмелел, справляясь, не он ли будет Налетов. А тут оказалось, что и все — кто безбилетные — ждут Налетова, а сам Налетов, ввиду такой массы, где-то прячется, выжидая, чтобы немного схлынуло, и, стало быть, надо подождать. Я выходил на улицу, курил и возвращался в толчею, которая становилась все толчее и нетерпеливее, и какая-то дама, точно ныряя, она показывалась в своем красном берете и впереди и сзади и сбоку, как в волне, и всем предлагала автобусную тикетку — не хватает пятидесяти сантимов! — тикетка была явно проштемпелеванная, и никому из безбилетных не хотелось платить, и наконец уж знакомая ее вынула из сумочки желтую монетку, и появился Налетов. Я получил билет и хотел уж идти на свое место, но слышу, все говорят, что надо

сначала в кассу и не менее десяти франков, и я совсем растерялся, ведь Козлок уверял, что билет бесплатный, и нет у меня таких денег, и, должно быть, от моего волнения как-то так получалось, что у самой кассы меня оттирали. Я не выдержал и огрызнулся, но это был иностранец, по-русски не понимает, он только улыбался; я решил, если платить, уйду домой. И только счастьем в остервенении мне удалось-таки через чью-то голову просунуть в окошечко билет и — судьба! — билет оказался действительно бесплатным — ничего не платить — чисто. Я бросился ко входу, но, как всегда, попал не на ту сторону.

Ложа на четверых — четыре стула вплотную — четвертому сидеть на одной ноге, но все равно, ничего не видно. А между тем в этой ложе я сейчас же заметил: и африканский доктор и пушкинист старичок Сергей Сергеич и Судок с Саулом и втиснувшийся между Саулом и Судоком Куковников, и только не хватало самого Козлока с Замутием. Сидеть нечего было и думать, а за стулом Саула к стенке — я кое-как втерся. А в раз, как подняться занавесу, распахнулась дверь и показался Козлок и с ним Замутий. И тут началось подлинное басаврючье: Козлок потребовал потесниться, чтобы ему и Замутию сесть, но куда еще тесниться, когда ни ногу не вытянешь, ни рукой шевельнуть, ну, некуда! Некуда? — и верите ли, я видел собственными глазами, как мошенник снял с себя пальто и не то, чтобы сбросить, а аккуратно, как на лавку, свернув, положил на голову старичку-пушкинисту, а на пальто свою мерзкую шляпу, и потом, когда уж началось, я слышал, как «покойник» жалобно подал голос, что «фактически ничего не видно».

4. РЕВИЗОР

«Ревизор!» — какая трагедия: без году сто лет назад Гоголь от «классической» постановки «Ревизора» покинул Россию — в чужих краях «разгулять свою тоску», а на современную как бы он ответил?

«Ревизор» словесно выражен совершенно — ни прибавить ни убавить; и свой особенный ритм. При игре ритм невольно нарушается от одного уж передыха и игрой, а слова — как редко звучит слово! а кроме того актерская повадка — идет от дурных пьес и суфлера — вставлять

свои слова, «от себя», или повторение слова там, где значится одно. «Ревизор», как и «Мертвые души» — живые люди, но мертвые души, мертвые, но они не бездушные, а стало быть, ничего от марионеток. Хороших людей на свете больше, чем это принято думать. И с тем же убеждением я скажу, что, как среди хороших, так и среди дурных, Хлестаковых больше на свете, чем это предполагают. Хлестаков — мечта, — мечта уверенная и несомненная: небывшее и невозможное видится человеку, как сама реальность, живое действие, осязаемая вещь, и в такой-то кутерьме и несообразности поток слова перегоняет мысли — словесно «все вдруг и для самого неожиданно» — без языка Хлестаков немыслим. Хороша марионетка! И я отвечу за Гоголя: «классическая» постановка или современная — но уж на земле нет больше места, где бы «разгулять тоску!»

Трагедия Гоголя, о чем он не догадывался, обвиняя актеров и Россию, эта трагедия в том, что «Ревизор» не воплощаем; «Ревизора» можно только читать или слушать. Я слышал Михаила Чехова, как он читал Хлестакова — вот бы послушать Гоголю! — и потом видел, как этот воздушный из актеров, драматический Лифарь, разыгрывал пьяного Хлестакова... Но как же по-другому: Хлестаков пьяный, и что делать актеру, как не следовать указаниям автора? Да, конечно... но изображать пьяного, как и человека с каким-нибудь природным недостатком, ну, заику, — какая дешевка! Гоголю, как и Достоевскому, для обнаружения самых исподних взвивов человеческой души, необходима температура: ведь только при каком-то вывихе, при нарушении нормы, может показаться большее, чем то, что кажется, и вот для Гоголя всегда — «хватил лишнее» или «кровь», а у Достоевского — «горячка».

*

Всю дорогу я продумал: театр, чтение, игра и слово. Гоголь, Достоевский, Басаврюки и Козлоки, безулыбочность, ерничество и штампы современной литературы, бесперспективность литературной критики, скука, раздражение и безнадежность, вспоминался и старичок пушкинист Сергей Сергеич, под пальто, и шляпа Козлока как надгробная плита, просидевший скучнейшего «Ревизора»,

и Замутий, который, судя по улыбке, как смотрел он на наш кавардак с размещением восьмерых в четырехместной ложе, действительно был жог и Козлоку соперник.

На воле дождик прошел, но очень дуло — где-то на Ламанше бури. И я попал в полосу ветра и почувствовал, как все во мне вдруг оледело, и Куковникова вязаная шкурка не защитила меня. Я шел, увертываясь, поворачивая головой из стороны в сторону, но из полосы ветра не выходил.

Подойдя к дому, я заметил, что входная дверь и лестница освещены, точно только что кто-то вышел, и в свете фонаря на тротуаре какие-то женщины: они говорили между собой, не то совещаясь, не то сообщая подробности о известном только им. И когда я поровнялся, они не обратили на меня никакого внимания, точно меня и не было, и продолжали разговор о своем. И я вдруг вспомнил, что однажды я уже видел этих женщин, и так же они что-то говорили, занятые своим, и это было в такой же поздний час — на Эглиз-Дотой пробило полночь. Но, когда это было и что это значило, я не мог припомнить.

Я поднялся к себе, поставил кипяток и за чаем опять раздумался, но не о «Ревизоре», не о литературе, а где и когда я видел этих странных женщин. И невольно стал прислушиваться.

Все наши соседи разъехались, покинув дом: кругом и под нами пустые квартиры; уехал учитель-музыкант, ложившийся в десять и не допускавший после этого часа никаких признаков жизни у своих живых соседей, сгинули и беспокойные венгерцы, в Будапеште ли, здесь ли, только уж в другом картье, безобразничать. И по ночам было очень тихо и только со двора от переполненного ордюрами «пубеля» вдруг развизжатся крысы, и опять затихнет, как вымерло.

* * *

А в эту ночь и крысы примолкли и, кажется, спать бы да спать. А вот — не спалось. Думал я длинными фразами, но которые никак не могли окончиться и снова начинались, но также не заключенные выговаривались сначала. Только под утро я заснул, и поднялся мутно с тяжелой головой и в глазах режет.

«После театра, после духоты, после всякого басаврючья!» — подумал я.

В таком состоянии я не смотрю, и только под ноги, чтобы не оступиться. Так спустился я с лестницы. И когда растворил дверь — меня вдруг залило черным. И я проснулся.

Я сразу вспомнил, где и когда я однажды видел вчерашних странных женщин у дома: в доме покойник.

Трепетно прошел я мимо катафалка, на котором лежал серебряный крест и кропильница, мимо завешенных стеклянных дверей консьержки. Я перебрал всех знакомых: кто же? И подумал, что консьержка, которая неделю, как не показывается: грипп.

В бистро я купил себе папирос, и скорее домой — мне показалось, очень холодно, и накрапывает дождь. У дверей я прочитал траурное объявление: «Мадам...» имя незнакомое, «урожденная...» тоже не знаю, 32-х лет, и все, что полагается, перечисление рода и родственников, вынос в $3^1/_3$ дня.

И как странно, минуту назад... а теперь совершенно безразлично прошел я мимо катафалка, точно всегда он стоял, черный с серебряным крестом и кропильницей, и распахнул черную с серебром тяжелую портьеру, как обыкновенную штору.

На лестнице я встретил консьержку, и она со своей всегдашней печальной улыбкой — загадка, которую я не могу разгадать, такой печали, а, может быть, с тех пор, как зуб выдернули, Бог знает, отчего такое бывает? — и она повторила незнакомое мне имя «Мадам...»

— Очень жалко: остались дети, мальчик и девочка.

— Отчего же это? — спросил я.

И она как-то особенно подчеркнуто громко:

— В три дня от гриппа.

И опять повторила, что жалко: остались мальчик и девочка.

И я вспомнил, я встречал даму на лестнице с девочкой, и девочка всегда со мной здоровалась, беленькая, вся в белом, маленькие такие ручки: «бонжур!» — и мальчик, лет шести, в сером, часто он обгонял меня и тоже всегда остановится, и только на этих днях, вспоминаю, я встретил его, он подымался и, мне показалось, чем-то встревожен и озабочен.

Весь день я не мог спокойно присесть к столу, следя за часами. Я подходил к двери и прислушивался: понесут по лестнице мимо наших дверей. А от двери я переходил к окну, и стою у окна.

Шел дождь и после двух стало сумрачно, как в вечернис сумерки. Я видел, как подъехало несколько автомобилей и вынесли венки. Прохожие как-то приторапливались, мужчины снимали шляпу, женщины крестились. Против гараж. Какой-то старик и с ним дама, перейдя улицу, стали у входа в гараж. Старик утирал платком глаза. И я подумал: это отец. И еще какой-то в сером появился в гараже, и отец вынул из кармана письмо и передал ему, и я видел, как в сером, читая, заволновался. И я подумал: — да и она была высокая! — это ее брат. И увидел, как по той стороне медленно и важно шел главный «крокмор» в треуголке. И точно из-под земли перед домом появился большой черный автомобиль с черным флажком. Подходили последние минуты. Я подошел к двери и стал прислушиваться. Но никаких шагов, и только гудел ветер. И я вернулся к окну. Развешивали на автомобиль венки. А в гараже появился, как сосед-гаражист, нет, еще выше, он размахивал руками и, видимо, был недоволен, и ему отец не показал письмо. Это — муж: «мосьё...».

И вот вынесли гроб — его вынесли и несли к автомобилю с той поспешностью, как убирают леса на стройке, когда окончен дом, — очень узкий показался мне. Легко вдвинулся он в автомобиль, закрыли дверцу. Гаражистый муж мосьё сделал знак, и все пошли из гаража на улицу к автомобилю. Автомобиль тронулся.

Я приоткрыл окно. Я видел, как тот самый мальчик в сером, я узнал его, без шапки шел впереди за автомобилем и почему-то делал большие шаги, точно скачет или боялся, что не поспеет. И мне его очень жалко стало.

Улица опустела. Затихший дом наполнился звуками. А сумерки с дождем, вычеркивая еще день жизни, впустили ранний вечер. Я зажег лампу. Присел к столу.

И мне почудилось, будто гудит сирена, но я спохватился, нет, это водопровод, дом у нас «сонорный» — каждый звук отчетлив, а с водопроводом это часто бывает, гудит. Но это был не водопровод и не сирена — гуд, совсем близко. Я встрепенулся и увидел: сидит против меня немного сбоку у стола — —

Она была так же одета, какой встречал я ее с девочкой на лестнице, вся в черном, но лицо — должно быть, сильный жар! — лицо ее светилось и свет, как капельки воды, собирался вокруг лица и таял, отливаясь кровью.

— Сколько ни заработаешь, все равно налог! — сказала она спокойно.

А я подумал: вернулась! детей жалко: мальчик и девочка. Своя жизнь пропала — туда и дорога, но с ними-то как ей было расставаться!

— А денег нет, — сказала она.

— Вы, может быть, чаю хотите? — спросил я.

Но она ничего не сказала, и не уходит. Вижу, не хочется ей уходить.

— Я пойду, — сказал я за нее.

И она поднялась через силу — не хотелось! — и пропала.

Я сижу у стола к окну, в незавешенном окне мне ясно виден зеленый абажур. И только где-то в голове гудело: «вернусь».

5. СЛУЧАЙ ИЗ «ВИЯ»

Я ни на что не жаловался и голова не болит, а температура все подымалась. Спать я не мог. Лежа, рисовал. Так прошла неделя. За всю неделю со мной была одна только книга: в который раз я перечитывал «Вия», не разгаданного исследователями Гоголя, и, как загадка, всегда завлекательного.

То, что панночка, поднявшись из гроба, шла по церкви, беспрестанно расправляя руки, как бы желала поймать кого-то, а во вторую ночь, вперив мертвые позеленевшие глаза, ловила философа Хому, это понятно — это возмездие за его преступный полет на ней. Но превращение панночки в труп... — как возможно, чтобы «страшная сверкающая красота» вдруг посинела, как человек, уже несколько дней умерший? Этот вопрос не выходил у меня из головы, поддерживаемый моей высокой температурой.

Иногда я спохватывался: ведь нигде Гоголь не прибегает так откровенно к своему излюбленному приему — «с пьяных глаз», как в «Вии», чтобы показать нечто скрытое от «трезвых», те самые «клочки и обрывки» другого мира,

о которых будет рассказывать в своей «горячке» Достоевский. И нигде, только в «Вии» с такой явной насмешкой над дураками применяет Гоголь и другой свой любимый прием: опорачивание источников своих чудесных «откровений» — «и разве разумный человек, — говорит он, подмигивая лукаво, — может поверить такому вздору?»

В первую ночь перед тем, как идти в церковь читать над панночкой, философ подкрепил себя доброю кружкой горелки, а кроме того наслушался всяких страшных рассказов, действие которых могло быть сильнее всякой горелки. Только безразличное слово пусто, страшное же, проклятое, как и обрадованное, хмельно и заразительно. Правда, рассказы не заслуживают никакого доверия: рассказывал человек с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату, Спирид, о псаре Миките, на котором ездила панночка, как на коне, и который сгорел сам собой, как Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала» — «куча золы и пустое ведро», вот и все, что осталось. И другой рассказчик — козак Дорош — со слов козака Шептуна, который «любит иногда украсть и соврать без всякой нужды», как Шепчиха видела собаку, в которую обернулась панночка, и как на ее глазах из собаки снова стала панночка, но с лицом не панночки «сверкающей красоты», а была вся синяя, а глаза горели, как уголь. И еще всякие несообразности: «к тому ведьма, в виде скирды сена, приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови».

Перед второй ночью философу дали для подкрепления кварту горелки и он съел довольно большого поросенка, — «и какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове». А перед третьею и последней ночью, за ночь поседевший, он потребовал снова кварту горелки и после попытки убежать вытянул вместе с поймавшим его Дорошем немного не полведра сивухи.

«За ужином он говорил о том, что такое козак, и что он не должен бояться ничего на свете. «Пора, сказал Явтух, пойдем». — «Спичка тебе в язык, проклятый кнур!» — подумал философ и, встав, сказал, — «пойдем». Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал со своими провожатыми. Но Явтух

молчал; сам Дорош был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей, и самый лай собачий был как-то страшен — «Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк», — сказал Дорош. Явтух молчал. Философ не нашелся сказать ничего».

*

И тут опять начиналась моя мысль — мой вопрос: как возможно, чтобы «страшная сверкающая красота» вдруг так резко изменилась: посинела? Но я так ничего и не решил. При высокой температуре вопросы жгучи и сами по себе в ответах не нуждаются. В этом и есть болезнь.

А когда температура упала и я обратился в лягушачье состояние — ниже 36-и — и как это лягушки плодятся?! — я прислушивался, как перестукивает мое ослабевшее сердце. И если что думал, то не о «Вии» — мне не вспоминался поразивший меня голос Явтуха — голос судьбы: «пора», — ни звучащие в вое волков «клочки и обрывки» другого мира, ни власть темной мысли, засевшей в голове, как гвоздь, — я думал, как быть мне дальше, когда от слабости закрываются глаза, и одно желание: найти какие-нибудь средства, выпить кофею, что ли, и такой крепости, которую не выдержит и самое из самых турецкое сердце, но лишь бы только почувствовать себя нормальным.

*

Лягушкой, глотая воздух, я вышел на волю. Моя первая встреча — Птицин. Давно я у них не был и ничего не слыхал, разве что одно, как теперь говорится, что «всем тяжело».

Сам Птицин добродушно врет: все так и знают, привыкли: «о чем бы Птицин ни рассказал, все врет». Вранье его лирическое, никого не обижает. Это «Редактор», прозвище нашего общего друга, носящего такое почтенное имя, им самим присвоенное: «Редактор», лишенный всякого воображения и не имея ни столечко юмора, «Редактор» говорит только «правду», но какая это правда! Обыкновенно все сводится: кто, где и когда вас ругал. Нет, Бог с ней, с этой «редакторской» правдой, не «правда», а великий грех — ссорить людей. И Птицина «неправда» мне кажется куда «правдивее».

За мои отсутствующие дни, когда я измерял температуру и раздумывал над «Вием», я был вычеркнут из жизни, а между тем произошло много всяких событий, как внешних — «парижских», так и внутренних — «каторжных». Было что порассказать Птицину, было где и развернуться.

Да, необыкновенные вещи совершаются на белом свете!

Где-то в XV арондисмане в самой «каторжной» воронке затеялось необыкновенное литературное предприятие, какая-то несбыточная «История России» — от начала русского государства до «литературные побеги» в эмиграции. Весь пишущий русский Париж был занят: Козлок писал «мировую войну», Полетаев — «побеги», а Птицин...

— Историю о генералах.

Я ушам не поверил: Козлок, Полетаев — «война», «побеги», все это из жизни...

— Как о генералах, о каких генералах? — спросил я, как сто лет назад Бетрищев, — генерал не вообще, не в «общности», а «отечественный», 12-го года, спросил Павла Ивановича Чичикова.

— Историю о генералах гражданской войны, Козлок, — повторил он, — «мировую войну», а я «историю о генералах».

И я не мог не поверить.

«Стало быть, подумал я, литературные явления могут чудесным образом воплощаться в жизни: вдохновение — вздор. Чичикова осуществляет Птицин в Париже и в ус себе не дует — что ж тут такого? — по программе: «История России»!

И я представил себе: как эти несметные генералы, военные и штатские, регистрируются у Птицина и какой великий соблазн выдать себя за генерала, чтобы попасть в «Историю России». И почему я не генерал, и никаким боком, ни вообще, ни в общности, а ратник ополчения 2-го разряда... а какая у меня есть фотография, любительская и без знаков отличий, но сколько достоинства...

— Я понимаю, — сказал я, — сочувствую. У Щедрина...

Но Птицин перебил меня, продолжая свои необыкновенные истории.

Опыт первой «воздушной обороны» произвел самое неожиданное действие. Ни один француз и представить себе не может, что почувствовалось на «каторге» в том несчастном отчаянном круге тех русских, кто за 15-12 лет, откладывая или по другой причине, не брал картдидантитэ.

«Старичка повара у Бурьяновых знаете? Так вот, когда завыла сирена и все автомобили остановились, несчастный влез в гард-манжэ, вообразив, что это окличка на неимеющих документов и что теперь уж его обязательно поймают, и так влип, нечеловечески втиснувшись в узкий, перегороженный ящик со свежей провизией, что не было никакой возможности вытащить его, когда сирена перевыла весь свой механически-зловещий вой, на который едва ли кто обратил внимание. Старый человек, — продолжал Птицин, — сами понимаете, не за что ухватиться, а слов не слушает. И щекотки не боится. И все такое... а случай с Балдахалом!» — сам себя перебил Птицин.

Балдахал, наш общий приятель, да его в Париже все знают, автор многолетнего труда, не нашедшего издателя: «История русского стиля» от Аввакума до Пришвина, кажется, единственный не приткнувшийся к «Истории России», впрочем, понятно — «за ненадобностью». Большой чудак и «провидец».

Балдахал собственными глазами видел, как на собрании на Монпарнасе среди философов, обсуждавших животрепещущий вопрос о литературной премии за лучшее сочинение, и как раз в то самое время, когда Козлок («подосланный большевиками») взял слово, указав, что в качестве судей надо привлечь самые широкие круги, не имеющие никакого отношения к литературному мастерству, как например, союз «каторжной иглы», вдруг показалась баранья голова, ну точь-в-точь как в «Вечере накануне Ивана Купала»:

«Баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки».

— А знаете ли вы, — сказал Птицин, — в Париже образовался комитет и приступил к выработке программы «обильного пищепитания парижских мышей»? Куковников, не подававший прошения о зачислении его в этот комитет, неожиданно получил извещение, что его забаллотировали.

И бросив Балдахала, Птицин ухватился за Куковникова: тоже необыкновенный случай.

Куковников обнаружил у себя пакет с подтопкой для камина: лежит завернутый в газету на ящике в прихожей.

Откуда? И кто мог оставить? У Куковникова камина нет, стало быть, исключается прежде всего сам хозяин, и подозревать его в рассеянности не следует. Припоминает: был Лифарь, да, только Лифарь, и у Лифаря он заметил какой-то пакет или портфель, нет, пакет. И хотя это ни с чем несообразно, ну, сами посудите, Лифарь, имя которого с восхищением произносит весь Париж, а слава затмевает громчайшие мировые имена, Лифарь, которому принадлежит единственное слово из всех, которые сохранятся от наших бездарных дней, претендующих на великие слова, провозгласивший «свободу и независимость танца» — как однажды поэты провозгласили «независимое слово», музыканты — «музыку», художники — «живопись», и воплотивший свое слово в «Икаре», зачем Лифарю подтопка и вообще есть ли время бегать в лавочку, ну, за папиросами — еще туда-сюда, это еще вообразимо, но за подтопкой? Куковников решил, что пакет Лифаря.

— И всем показывает: храню, говорит, до востребования. А между тем, — Птицин даже всхлипнул от вдруг осенившей его мысли, — а между тем, у Куковникова, исчез сверток с сухариками для «неизвестной собаки».

Птицин явно перепутал меня с Куковниковым; но я не возражал; действительно, однажды еще перед Рождеством, произошла такая путаница: кто-то по спешке взял у меня сверток с сухариками для «неизвестной собаки». Куковников никаких сухариков не собирает.

— Марья Петровна, — продолжал Птицин, — ела компот и в черносливе ей попался — сначала трудно было разобрать, что это за невиданная слива, а как стала приглядываться, видит: шоколадный петушок. А обедавший у нас Замутий откусил яблоко, а в яблоке косточка вишневая. И это как раз накануне — у нас большое несчастье, — померла наша фамдемэнаж мадам Рожье, вы ее наверное помните, замечательно кроткая женщина. И какой со мной случай, прямо из «Вия»...

Я насторожился: случай из «Вия» — это как раз мое. Но Птицин пообещал: в следующий раз — ему еще трудно рассказывать: жутко.

А никуда я не хожу — много всяких «потому что».

Потому что редкий вечер, засидевшись куда за полночь, не спохватишься, как мало часов и сколько бы надо часов, чтобы все мои затеянные дела переделать; а тут еще и

моя медлительность: над каждым делом, и самым несложным, я должен непременно копаться, а, стало быть, мне часов требуется гораздо больше, чем другим и совсем не «скоропалитным»; а если вспомнить, что есть еще и на всякий день еще обязательное «потерянное» время — на кухне, то и при всем желании не больно расходишься.

А еще я никуда не хожу, потому что незачем.

Не люблю веселых дураков, с которыми равняется восторженный болтун; не люблю анекдоты — «пустое время», не люблю — как передаются и принимаются сплетни.

По Гоголю люди делятся на «человека-бабу» и «человека-не-бабу»: человек-баба верит больше слуху о человеке, чем самому человеку; человек-не-баба верит человеку, а не слуху о человеке; «когда человек-баба, говорит Гоголь, торжественно заявит, что он больше ничего, как баба, то тотчас и перестанет быть человеком-бабой!» — чего, добавлю от себя, никогда не бывает; а ведь этой «бабой» земля выбабилась, и что может быть паскуднее...

Не люблю легкости, которая стоит грубости, а человек-легкий и человек-грубый — такими на свет родятся и уж ничего, сама исправительная каторга не исправит, и против которых нет защиты.

Не люблю выспрашивающих и всегда корыстно и советчиков, которым до тебя нет никакого дела. А если вспомнить и всю тяготу возвращения домой — ожидание автобуса, и как всегда холодно, и от ветра не спрячешься, нет, ходить по гостям — пропащее время.

Вот и сижу дома.

Конечно, по беде-то бедовой, и хочешь-не-хочешь, а должен и несмотря ни на что — никогда я не помирюсь, но смиряюсь. Конечно, есть и исключения: старичок пушкинист Сергей Сергеич — и нет никакой «физической» возможности, а выберешься, или к тому же баснописцу Куковникову или к библиофилу Галкину: им-то хорошо известны все мои природные недостатки и моя жалоба на ограниченность и краткость часов — и никогда не посетуют, если проходит месяц и другой и третий, а меня нет.

Признаюсь, посули мне Птицин рассказать случай не из «Вия», а из «Шпоньки», я бы еще подумал, во всяком случае несвойственной мне быстроты не обнаружил бы,

хотя Птицины не за горой, не надо никакого автобуса. И вовсе не потому, чтобы не ценил я «Шпоньку» — произведение блестяще-законченной формы, а для дураков «без конца».

И вот в дождь, а я иду к Птицину.

Я иду по нашей рю Дотой, глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться, но весь я — в «Вии», которого перечитал за всю мою странную болезнь с высокой температурой, но без всякой боли.

Вий! Вий — не «черт» с рогами, хвостом и копытом, и никакой «демон», не оперный и не монастырский, Вий — это сама завязь, исток и испод — живое сердце жизни, «темный корень» жизни, земляная, неистовая, непобедимая сила, «вверху которой едва ли носится дух Божий», слепая — потому что беспощадная, и глазастая — потому что безошибочная в выборе, обрекая на гибель, из ею же зачатого на земле среди самого косного и самого совершенного, не пощадившая однажды и самое совершеннейшее, Вий — а Достоевский скажет: Тарантул.

Весь охваченный Вием, я вдруг увидел себя забившимся за иконостас, невидимым для подземных крылатых чудовищ с отвратительными липкими, залупленными хвостами, и все различающим из-за своей засады в трепещущей от свечей, облитой светом церкви в третью и последнюю роковую ночь: я видел, высоко со стены из перепутанных волос-паутины два светящихся глаза с поднятыми немного вверх бровями и над ними, дрожа, спускались клещи и жала из стеклом-переливающейся, налитой, как пузырь, голова-груди тарантула; я видел синюю, оскаленную, стучащую зубами и взвизгивающую — а еще так недавно «страшную сверкающую красоту» — простирая руки, задыхаясь от мести, она ловила; я видел, как философ, этот избранный ею из бестий бестия, песенный кентавр, посмевший наперекор ее воле смертельно прикоснуться к ней, избранной и вещей, к ее «резкой сверкающей красоте», в первую мертвую ночь открывшей ему всю вину его, когда поглядела на него закрытыми глазами и из-под ресницы ее правого глаза покатилась слеза, и он ясно различил на щеке ее, но это была не слеза, а капля крови, и обезумев от страха, подгрудным голосом, как во сне и исступлении, не различая букв, перепутав все строчки и

забыв все псалмы, он не кричал уж, а давясь, дико выл, вывывая — «Ой, у поли могыла»... я видел Гоголя, какая грозная тишина в его виновных глазах! как много пережглось в нем и все было растерзано — приближалась расплата; я видел, как в затихшую и вдруг присмиревшую церковь под отдаленный вой волков — нет, как будто выл кто-то здесь — ввели косолапого дюжего человека: он был, как корень, весь в земле, прилипшей к нему комками, отваливавшимися густо запекшейся кровью, тяжело ступал он, длинные веки опущены до самой земли, а лицо у него было железное; его привели под-руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Гоголь — —

* * *

Птицин встретил меня необыкновенным случаем — но без этого он не может: такова его природа выдумщика. В прошлый раз «история о генералах», которую он пишет по примеру Тентетникова, о генералах не «вообще» и не в «общности», а гражданской войны: ученый комитет, образовавшийся в Париже, для выработки юбилейной программы «обильного пищепитания мышей»; Лифарь и Куковников с его таинственным пакетом с подтопкой для камина; а теперь Сергей Сергеевич: старичок пушкинист Сергей Сергеич «опился дешевым молоком!»

— И надо же, что и у Годфрэна и в молочной против и в той, что против знаменитой булочной Гошэ и в «лявишер» молоко — двадцать сантимов литр. Сергей Сергеич и повадился: где литр, где пол-литра. Африканский доктор говорит, случай неизвестный в медицине: откачивали, как утопленника!

Но я пришел не за молочными чудесами, а за обещанным случаем из «Вия». — Птицин спохватился: «Вия» он нарочно перечитал, но он никак не похож на «философа» и никакого за ним нет преступления, чтобы наперекор — не помнит в своей жизни никакого полета, и ни в какие заклинания не верит, и, как всем известно, непьющий.

— Большое несчастье для нас: умерла мадам Рожье! Вы ее помните? Пять лет она приходила к нам. Последние годы два раза в неделю. На нее все можно было оставить и с деньгами не торопит: всегда подождет, когда будут. Теперь мы все сами. На кухне висит ее «таблие», не

трогаем, вроде как живое, рука не подымается. В последний раз оба мы вышли, оставив ее убирать, а вернулись, ее уж нет, кончила и ушла. Так и ушла. От ее мужа получили письмо, что грипп: 41,3. Плохо, думаем, 41, да еще 3, не выдержит. Прошла неделя, ждем, и другая, а на третью — извещение с черной каймой: Мадам Рожье, 39 лет, и всякие подробности и где похороны и где должны собраться проводить. Сижу я ночью на кухне — ночью я на кухне курю, и вдруг чувствую, сзади подходит — а вижу я ее перед собой, как отражение, идет по коридору. И мне нисколько не страшно. Кротости она была необычайной, за пять лет ни разу я не рассердился на нее. И мне вспомнилось, как она рассказывала, что дома она всегда поет, но какой у нее голос, мы так и не слыхали, а судя по тому, как она чихала, голос у нее был полный, скорее низкий. И еще мне припомнилось, она говорила, что много читает, а когда я ее спросил о Пэги или слышала она что об Андрэ Жиде и известен ли ей один из искуснейших современных поэтов Поль Элюар, оказалось, имена эти ей незнакомы, впервые слышит, а читает она «les romans policiers», а кто автор, не помнит. Она шла по коридору, не глядя, и вдруг остановилась, увидала меня, — «Мосье!» — — — И во вторую ночь, опять за папиросой, я почувствовал, опять — и вижу, подходит — как всегда, она кротко смотрела, ясно было, она видела меня. Глаза у нее обреченные, но сама она этого не замечала, и когда однажды я спросил: может быть, у нее что-нибудь с сердцем? — такой взгляд я замечал у сердечных больных, или было очень тяжелое в жизни, почему она так смотрит — эта кротость и такая глубокая печаль? «Нет, — сказала она, — я всегда веселая, и если было трудно... в войну редкий день не приходилось высиживаться в погребе (она из Па-де-Калэ), но вот когда после войны захворал муж, да, было очень трудно». Она не профессиональная фамдеменаж, лишь временно взялась за работу, а когда дела поправились, ходила только к нам, не хотелось оставлять, привыкла; и даже в манерах ее появилось что-то мое. «Нет, мне и во сне ничего не снится, а с гостями в кафе я одна разговариваю и всех занимаю, и только в таких случаях курю!» Вспомнив ее рассказы, я невольно показал на папиросы — так живо я ее видел. — «Мосье!..» она этого не сказала, но губы

ее шевельнулись. — — — А на третью ночь, в день похорон, войдя в кухню, я потрогал висевшее ее «таблие», я сделал это так, а до тех пор не решался, я был взбаламучен своим «каторжным» и вообще «человеческим». И за папиросой я раздумывал о подлой человеческой материи, о подлости самого основного вещества человеческой породы — изобретательная жадность, обман, вероломство, лицемерие, — ну, скажите, есть ли что еще паскуднее, как «всеобщая жертва», этот призыв к человеческому благородству, или как часто теперь повторяемое, что... «и всем тяжело»: жертву всегда приносили только те, у кого и без того хребет надломлен, а ссылка на «всех», нисколько не поправляя дела, утешает только говорящих, а авторитетнейший и безапелляционный «глас народа», пустивший в мир столько клеветы?.. И вдруг я почувствовал, подходит. И увидел: она шла по коридору, как и в первую и вторую ночь, но совсем не так, как в те ночи: она как-то на носках скользила, опускаясь на каблуки и притоптывая, руки она держала перед собой, пальцы ее были напряженно вытянуты и весь ее негритянский индефризабль вздыбился, как от ветра, лицо без кровинки с синими, как впадины, подглазницами, никакой кротости, никакой желанности в ее ужаснувшемся взгляде — видела она меня или не видела, но я видел, что идет уверенно прямо на меня. И я не выдержал, поднялся, погасил электричество и, не обертываясь, тихонько вышел из кухни. — — — И что меня поразило: такая воплощенная кротость и вдруг так измениться! Я смотрю очень трезво, я не верю ни в какие привидения, но как объяснить... или это взбудораженная ожесточенная моя мысль так ужасно извратила кроткий человеческий образ?

«Сочиняет!» — подумал я и сейчас же спохватился: — ну даже если и сочинил — Соня в «Войне и мире» сочинила, что, гадая, будто бы в зеркале увидела, и сочинение ее оказалось вещим. Наивные люди думают, что сочинение — здорово живешь, и не задают себе вопроса, почему что-то сочинилось. Человеческая мысль возникает не из пуста! — и вспомнив свои мысли над «Вием» в свою странную болезнь с высокой температурой без всякой боли, я сказал:

— Петр Петрович, мысли не из пуста, а также и представления: «страшная сверкающая красота» в страш-

ных глазах философа вдруг посинела, но ведь что-то наперед напугало глаза, как растерзало и ваши мысли о человеческой породе! И скажу вам, а это я давно понял, что самый испод, самая завязь этой породы — что-то очень темное, и ничего нет удивительного, если.

6. БОЛТУН

1

Я учился с Иваном Федоровичем, но не в Гадячском поветовом училище, а в Московском университете, и нашим учителем был не Никифор Тимофеевич Деепричастие, а Василий Осипович Ключевский. Мы с Иваном Федоровичем были последние, заставшие его знаменитый курс русской истории. Ивану Федоровичу фамилия была Алатин, но все мы называли его Шпонькой: с первой же лекции прозвище, как печать, ему оттиснули, и все четыре года он ходил под таким названием, добросовестно нося его и едва ли догадываясь*.

Тетрадка, куда он записывал аккуратно давно изданные и без изменения читаемые профессором из-году-в-год лекции, всегда была чистенькая, всегда облинеенная, нигде ни пятнышка; сидел он всегда смирно... и всегда был предупредителен и не отказывал ни в ножике — очинить карандаш, ни в записках — перед экзаменами, и всегда с неизменным предупреждением: ножа не завалять, а лекций не запачкать.

«Робость была неразлучна с ним» — ни на каких сходках, ни в каких кружках Иван Федорович не участ-

---

* Принято думать и такое мнение не только читателей, но попадается и у исследователей Гоголя, будто «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» — произведение незаконченное: нет окончания! На самом же деле повесть о Шпоньке совершенно законченная: литературная форма «обрывка» (рукопись была растащена на пирожки); центр и заключение повести — «бессвязный сон» Ивана Федоровича, исповедь Гоголя. А судьба Шпоньки — «совершенно новый замысел тетушки» — — а кому не случалось встречать в своей жизни Ивана Федоровича, а иногда и участвовать, как действующее лицо или в качестве зрителя, в той следующей главе, которую, как литературный прием, следуя Вальтер-Скотту, обещает Гоголь, оканчивая или, как хотите, обрывая повесть.

Иван Федорович живой человек и за окончанием его «повести» стоит ли тащиться куда-то в Гадяч да разыскивать Степана Ивановича Курочку, хотя Курочку и легче-легкого узнаешь, потому что «ни у кого нет панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сюртука», а по размаху рук — ветряная мельница, покойный Гадячский заседатель Денис Петрович прав. *(Примеч. автора)*

вовал, и кроме как на лекциях в университете, да на Арбате дома, в Большом Афанасьевском, вы его не ищите, все равно не встретите.

Из университета, за все четыре года не пропустив ни одной лекции, он шел домой и «упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе». Его родоначальник Иван Федорович Шпонька в часы неслужебные «то чистил пуговицы, то читал гадальную книгу, единственную, и то потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели»... Ничего подобного! наш Иван Федорович никаких мышеловок не ставил, да в доме и мышей не водилось, он или подклеивал книги — приводил в порядок свою огромную библиотеку, или читал. Читать Иван Федорович не только любил, как любят и чтением занять время, чтение было для него все. Читал он все — и по истории — любимое, и беллетристику, находя ее в общем мало оригинальной; а и действительно в «адюльтерах» все, кажется, способы описаны, и повторение уже скучно.

Иван Федорович «не допускал к себе скуки» — все часы его были заняты. Сами посудите, сколько написано книг, и все следовало бы прочитать, но если даже и не все, все равно, веку человеческого не хватит; а приведение в порядок библиотеки — ведь ни с чем нет более грубого обращения, как с книгой, тут не только повадка, а какая-то общеобязательная норма: страницы надо выправить, разгладить, а книгу занумеровать.

И это совсем неверно — очень уж у нас в критике все легко решается! — ну, какой же Шпонька бездельник, какой вздор! По начитанности Иван Федорович был первый среди нас, а все мы тоже не бездельничали. За Иваном Федоровичем никак было не угнаться: любую справку — он помнил безошибочно год издания и даже страницу, а чего, чего он не перечитал!

«Вообще он не был щедр на слова» — что и говорить, такого молчальника вряд ли сыскать: из него надо было слова вытягивать, и только на книжные вопросы, но всегда обязательно подумав, он не замедлит ответом.

Книга и сблизила нас.

Я довольно часто бывал у него в Большом Афанасьевском, реже он заходил ко мне на Собачью площадку. И

должен сказать, посещения его бывали всегда очень тягостны. Сидит и молчит. Но главная беда еще впереди: сидит, молчит и уйти не может, точно ноги его кто держит или пуды навешаны, не может подняться. И так проходил час и другой. Не совсем это ловко, а приходилось выпроваживать: скажешь, пора; или рано вставать, или голову сочинишь, разболелась.

Экзамены Иван Федорович сдавал блестяще — образцово, как его родоначальник Шпонька в чине прапорщика образцово командовал в П* пехотном полку в Могилевской губернии, но странно, при всей своей книжности, он не мог осилить и написать курсового сочинения. И если кончил университет, то об этом постарались все мы. Откуда это? — неужто робость? а сама робость?

2

Ни отца, ни матери. Оба умерли тогда еще, когда Иван Федорович ничего не мог помнить. А жил он у тетушки и у дядюшки на Арбате. Тетушка — Софья Артуровна, дядюшка — Григорий Григорьевич.

Тетушка была в свою родоначальницу Василису Кашпаровну, хотя как всякие последствия человеческого рода, была помельче и никак не сказать, что «рост имела почти исполинский», но и не малявка, и с большим характером, «и хоть кого умела сделать тише травы и, без всякого постороннего средства, негодящего или по-советски «разложившегося», а по-здешнему «кадавра», сделать «золотом, а не человеком».

Дядюшка Григорий Григорьевич, женившийся на Софье Артуровне — обстоятельство непредусмотренное Гоголем — и тем самым благополучно соединивший Хортыще и Вытребеньки, был все тот же гоголевский Григорий Григорьевич и, когда валился на постель, казалось «огромная перина легла на другую» и «в левом ухе у него сидел таракан», правда, зашептыванием таракан давным-давно, предпочитая московскую кухню, вышел из уха, но Греходей Григорьевич берег таракана, чтобы, когда надо, на законном основании не отвечать на вопросы: «ей-Богу, ничего не слышу».

И дядюшка и тетушка, и кто больше и кто меньше, трудно сказать, оба обладали замечательным даром Ивана Ивановича, того самого Ивана Ивановича, «на дворе у которого ходили индейки такие жирные, что даже противно было смотреть», а Иван Иванович, как известно, был один из тех, которые «с величайшим удовольствием любят позаняться услаждающим душу разговором и будут говорить обо всем, о чем только можно говорить».

С тех пор, как Иван Федорович помнил себя, он помнит, что тетушка и дядюшка говорят. Говорят и говорят. И никому нет возможности вставить слово. И от гостей, приходивших в дом, у Ивана Федоровича остались одни междометия. И еще он помнит, и это было единственный раз: поддавшись словесному примеру старших, он при гостях попробовал сам что-то рассказать, но тетушка перебила его, назвав при всех «болтуном». И, надо или не надо, поминала ему этого «болтуна», так что на всю жизнь у молчальника Ивана Федоровича осталось, что он «болтун».

Еще до гимназии наняли для Ивана Федоровича гувернантку-француженку; читать по-французски он научился, но разговаривать — научились тетушка и дядюшка и с таким выговором, как будто родились не в Могилевской губернии, а в департаменте Сены, Иван же Федорович двух слов связать не мог. Да и не мудрено: лишенный всякой практики — и удивительно то, как он еще и по-русски не разучился!

А тетушка действительно «горячо любила племянника»: все ему приготовлено, всякое желание его предупреждается, не требовалось даже междометий, — Иван Федорович чуть заметным движением руки или кивком давал знать, хочет он или не хочет, а чего — об этом догадывалась тетушка.

За годы наловчившись на разговорах, тетушка и дядюшка достигли такого словоизвержения, которому позавидовал бы любой ученый оратор, — на то оно и Москва, где искони зарождались или становились «эпохиальными» говорунами. Я думаю, что и Иван Федорович от природы вовсе не был молчальником и, может быть, «болтун», запомнившийся на всю жизнь, был самым его сокровеннейшим и только похороненным словесностью дядюшки и тетушки. Окончательно же заколотила развившаяся с годами робость от постоянной опаски «сболтнуть».

Кончив университет, Иван Федорович на службу не поступил. Тетушка боялась, что он еще так молод и рано ему заниматься делами. Но дядюшка решил, что все-таки надо приучаться к делу, и одно время Иван Федорович с час ежедневно проводил у дядюшки в кабинете: заклеивал конверты. Это было еще в Москве. А с переездом в Петербург, и это единственное служебное дело отпало: в Петербурге у дядюшки оказался секретарь.

Иван Федорович спал до завтрака, а встав из-за стола, уходил с книгой, выражаясь по-арабски, в «покой уединения» и там с книгой просиживал — до обеда. Первое время он запирался. Но тетушка, контролировавшая его письменный стол, нашла у него Крафт-Эбинга. Это была та самая «Половая психопатология»... книга, испещренная латинским текстом и доступная только докторам и гимназистам... Тетушка в латыни не разбиралась, но кое-какие объяснения по-русски ее насторожили. И она объявила Ивану Федоровичу, что «молодому человеку» сидеть, запершись, неудобно. А Ивану Федоровичу все равно, запираться или не запираться. И после тетушкина замечания он сидел с полуоткрытой дверью.

И это как-то само собой вышло, что его единственное место в доме, защищенное от дядюшкиных и тетушкиных разговоров, оказалось, выражаясь по-арабски, «комната отдохновения».

После обеда всякий вечер он уходил из дому — в кинематограф, в театр, в концерты, на публичные лекции, и возвращался поздно, когда и тетушка и дядюшка спали.

Наши дороги разошлись.

Я жил в Петербурге, но не встречался с Иваном Федоровичем, как раньше. Но мы и не раззнакамливались. Год, даже два нет Ивана Федоровича, и вдруг явится. И все, как бывало и в Москве, сидит и молчит, все трамваи пропустит, не может подняться. Говорил он только о книгах, т. е. отвечает на мои вопросы. Но кое-что я узнал от него о нем самом. Не легко это мне досталось, да и ему не совсем: приходилось клещами вытягивать каждое слово.

Дважды он собирался жениться. И оба раза дело не вышло. Но ни тетушка, ни дядюшка, казалось бы — — нет, они не только не были помехой, а скорее поощряли. Но ведь иначе и не могло быть. Неужто робость?

Правда, при молчаливости — в его любовном объяснении что-то было от родоначальника Шпоньки, паузы в четверь часа, и с историческим: «летом очень много мух». И все-таки объяснился. И дважды.

В первый раз после трудного объяснения, посещая дом невесты, он всякий вечер садился играть в баккару со своей будущей тещей. И так из вечера в вечер. А через год узнал, что его невеста выходит замуж и свадьба назначена, узнал, конечно, последний. Да все равно было уж поздно, и ничего не оставалось, как, хоть и поздно, прекратить баккару.

И опять пошла жизнь в «покое уединения» за книгой.

А вторая женитьба — тут уж никакой баккары, а сущие пустяки. Дядюшка уехал в свое Хортыще и застрял там по каким-то хозяйственным делам: какую-то «комбинацию» затеял он с Иваном Ивановичем, тем самым... Опять не без труда объяснившись со своей новой невестой, Иван Федорович поехал сказаться дядюшке, а кстати получить деньги на свадьбу. Говорил, что пробудет не больше недели. А вышло не так: шесть месяцев прошло, и за все это время он ни разу не написал невесте. И дядюшка, казалось бы, ни при чем — — дядюшка ему говорил и не раз: напиши! Иван Федорович собирался писать, и все откладывал. Неужто от робости? А выехать из Хортыща он не мог, как не мог уйти «из гостей»: встать и уйти. И когда, наконец, он вернулся в Петербург, и не с пустыми руками, невеста его была невестой другого.

3

Как прожил Иван Федорович революцию, я не знаю. Однажды в самый мор и бедовый изворот проходил я по Кирочной мимо их квартиры, нарочно заглянул в окно и у меня осталось, что в квартире никого, пусто, — значит, подумал я, или попали в чеку или на утёк. Потом уж я узнал, что Григорий Григорьевич помер в Петербурге, как тогда говорили, «от большевиков», т. е. от тифа, а Иван Федорович с тетушкой эвакуировался. А узнал я это много спустя, когда после Кронштадтского восстания и сам «эвакуировался» и очутился за границей.

Ивана Федоровича, грех сказать, за все эти годы я ни разу не вспомнил!

И вот в Париже, лет шесть назад мы встретились на рю Дарю после всенощной. Не знаю, каким я сам кажусь, но Ивана Федоровича я сразу узнал, хотя и полысел он, серый, и никак не скажешь «молодой человек». И мне почему-то вспомнилось: въезд его родоначальника Шпоньки на свой хутор Вытребеньки, как одна из собак «лаяла издали и бегала взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: „посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человек!“» Но сосредоточенность, это бывает от постоянного напряженного чтения, осталась у Ивана Федоровича неизменною: а сколько он на своем веку прочитал книг!

Прежде всего я спросил о дядюшке и тетушке. Тут я и узнал о Григории Григорьевиче: «помер от большевиков», а тетушка Софья Артуровна померла в Константинополе.

У Ивана Федоровича осталась привычка начинать слова с усилием, точно задерживая чёх, но нельзя было сравнить, как овладел он собой! И только при упоминании о тетушке как-то робко оглянулся, или вспомнил ее меткое «болтун».

— Схоронил честь честью, — сказал Иван Федорович, — еще средства были, памятник поставил и в церковь дал на помин; отец Серапион, вы знаете? хороший батюшка, с мощами ездит, он обещал присматривать.

Но какими судьбами попал Иван Федорович в Париж и как в Париже устроился — без тетушки-то и без дядюшки? А об этом я узнаю на следующий день. Иван Федорович отыскал меня, чай пили, за чаем и разговаривали: нет, Иван Федорович куда стал речистее и без всяких клещей.

Из Константинополя перебрался Иван Федорович чудесным образом: если бы не отец Серапион — отец Серапион его и вывез с мощами в Париж. И тут нашел он себе подходящее дело: «похоронный агент».

Меня это нисколько не удивило: «похоронный агент». Да, это действительно подходящее дело! И почему-то вспомнилось, что родоначальник Ивана Федоровича, гоголевский Шпонька — из Могилевской губернии.

У него собралась порядочная клиентура среди эмиграции, и он отдается похоронному делу, как когда-то чтению книг. — А его библиотека? — Все пропало. Но понемногу восстановляет. И прежде всего купил «Мертвые души». А теперь у него берлинский Толстой без сказок, и До-

стоевский, и Пушкин, и Лермонтов и один том Гончарова «Обломов».

Конечно, вспомнили и прошлое, Москву и нашего учителя Василия Осиповича Ключевского, и как Иван Федорович не мог написать курсового сочинения. Иван Федорович мечтает купить «Курс русской истории». Наступило молчание. Как и прежде, он никак не мог подняться и уйти.

«И как это он с покойниками управляется, — подумал я, — в этих делах рассиживаться не полагается!»

Но выпроваживать его, как бывало, не было духу. Я прибрал стол, вымыл чашки. А Иван Федорович все сидит в молчании. И далеко за полночь, пропустив автобусы и метро, пошел он пешком с Порт-Рояль к себе на Шардон-Лягаш.

Один раз и я был у Ивана Федоровича. Это когда уж переехал к нему по соседству на Буало. Он занимал комнату с кухней во дворе; окно в окно соседей. И все у него было аккуратно, как когда-то на Арбате, в Большом Афанасьевском и потом на Кирочной в Петербурге. Теперь у него был и «Курс русской истории» Ключевского и разрозненный Лесков.

Но главное, чем он гордился, это коллекция покойников: писатели, артисты, художники, политические деятели, умершие в эмиграции. И тут же, как приложение, туго набитый конверт с вырезками: «кандидаты».

С кем только Иван Федорович не был знаком: он называл мне такие имена, которые встречал я только в газетах при перечне присутствующих на панихидах — есть такие неизменные, в реальном существовании которых я сомневался.

Иван Федорович был никакой политик, и если бы не тетушка, никогда бы из России не уехал, но эмигрантскую жизнь — точнее, эмигрантскую смерть он принимал близко к сердцу. Если сравнивать его с зарубежными энтузиастами, его можно было бы сравнить с В. С. Куковниковым, только Василий Семенович одержим «образованием», Иван же Федорович — «погребением».

— Знаете, — сказал я, — против всего можно действовать, а тут уж ничего не поделаешь.

— Совершенно верно — — ничего.

4

Живя по соседству, я и потом несколько раз встречался с Иваном Федоровичем.

В последний раз перед Пасхой, помню, изумительный день — весна.

— Весна! — «деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зеленела свежею зеленью...»

Но Иван Федорович был озабочен и не обращал внимания. И когда я вспомнил ему из его Могилевской губернии, я заметил, что и эти весенние Гоголевские строки не тронули его. Должно быть, если бы и классическую «косьбу» помянул, которая «доставляла неизъяснимое наслаждение кроткой душе» его родоначальника — —

Казалось бы, что чем больше помирают, тем для него было выгоднее, такое уж «мэтье»! — за переговоры с похоронным бюро он получал процент — средство для существования. Но это было для него совсем неважно, он был мастером своего дела: как-нибудь похоронить, это не в его правилах. А кроме того, для своих надо было постараться: чтобы и хорошо и недорого.

Иван Федорович жаловался, что несмотря на кризис и всеобщее разорение, а для русских обнищание, похоронные цены нисколько не уменьшились, как и лекарства в аптеках, а сообразно с общим положением стали прямо недоступны. И вот он изыскивает всякие средства, чтобы найти возможность урегулировать «столь существенно-важное дело».

— Положение катастрофическое! Последнее, что остается от человека — его похороны, и они должны быть справлены не как-нибудь, чтобы только с рук сбыть: жил-жил человек, а пришел конец, и вроде как свезут тебя на свалку!

Иван Федорович предсказывал, что если сейчас же чего-то не сделать, дело обернется так, что никакое похоронное общество не согласилось хоронить русского, и вся эмиграция очутится в критическом положении:

— Негде похоронить — не на что.

Иван Федорович чуть ли не каждый день бывает на похоронах, осмотрел все кладбища, знает все парижские похоронные бюро и вступил в переговоры. Он надеется, что после Святой ему удастся кое-что осуществить.

— И тогда дело будет спасено.

Какая уж тут «косьба»!

И, глядя вслед Ивану Федоровичу, давно похороненному дядюшкой и тетушкой, я не мог остановить своих мыслей, продолжая свою весеннюю — Гоголевскую память:

«...единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер — и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено все: красная степь синеет и горит цветами: перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор; и все не молчит ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то тут, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вокруг котлов садятся усатые косари; пар от галушек несется; сумерки сереют...»

А теперь конец июля. Опустевающий Париж. Мне это на руку, не так страшно переходить улицы. У остановки автобуса около Эглиз д'Отой я заметил Ивана Федоровича.

Не могу сказать, но какая-то в нем произошла перемена. Он меня еще не видит. Он куда-то смотрит — но с какой уверенностью — это совсем не Иван Федорович!

Я его окликнул — и он мне очень обрадовался, точно меня ему и нужно было. Я подумал, что начнет свое — о покойниках, о том магическом средстве, над которым раздумывал, спасая русское похоронное дело.

Но он ни словом не обмолвился о похоронах. Он взял меня за пуговицу, и что-то трогательное и просительное зазвучало в его голосе:

— Александр Александрович, я вас прошу, не откажите: завтрашний день, — и он передохнул, волнуясь, — позавтракать со мной!

Я стал отказываться. Мне было совсем не до завтраков: это нарушало мой опыт питаться сыром и помидорами, что не требовало никакой кухни и стоило не очень дорого, а кроме того, идти в ресторан, где летом такой ужасный воздух — и не могу я смотреть, как едят мясо.

— Очень прошу, — повторил Иван Федорович, — вы единственный; Василий Осипович! наш учитель, — помните? Вы меня обидите.

И мне ничего не оставалось, как согласиться.

Иван Федорович назвал один из лучших ресторанов на рю де Риволи.

Мне показалось немного странным: не дешево обойдется. Но может быть, за это время, Иван Федорович попал в счастливцы национальной лотореи? Ведь кто-то же да выигрывает! Козлок выиграл однажды, если не врет, тысячу франков, Саул — пятьсот, а африканский доктор по кофейным «партисипасионам» всякий раз то четыре франка, то франк, а непременно, и, как человек «не пьющий», тут же на эти деньги покупает себе кофе с новым «партисипасионом», и так...

— Так непременно, жду! — крикнул Иван Федорович, необычно легко и ловко вскочив в 25-ый.

На следующий день, вспоминания обещание, я попрекнул себя — какая глупость! — и взяло раздумье: не ходить, послать «пнё». В самом деле, тащиться на рю де Риволи, и если даже Иван Федорович заплатит, все равно, без денег неудобно. Но и на «пнё» жалко — сколько лежит на душе ненаписанных писем, и все из-за этих марок.

5

Ровно в два я был на рю де Риволи.

Когда при входе в ресторан я назвал Алатина, там это было совсем не неожиданно: фамилию произносили без всяких затруднений, как очень хорошо известное, и при этом с каким-то даже почтением. Вот тебе и Иван Федорович!

И, когда я поднялся и вошел в зал, я почувствовал себя очень неловко. Одет я был по-домашнему, а, между тем, все было необыкновенно торжественно: парадный зал, двенадцать столов на двенадцать приборов каждый, в лоханках шампанское, цветы, отдельный стол с ордёврами — и чего-чего там не было! А по стене шикарные гарсоны.

Кроме меня, и это для меня совсем неожиданно, были уж какие-то приглашенные, мне неизвестные и, как видно, незнакомые друг с другом: заговаривать не решались и

только посматривали они друг на друга; у некоторых в руках я заметил скомканное «пнё».

А, может, я не туда попал? Со мной это случалось и не раз. И я опять называю Алатина. И тут имя его повторяется без всякого коверканья и, как внизу, с каким-то даже почтением. Ничего не понимаю — и откуда это у Ивана Федоровича такая слава? Я отдал шляпу и взял номерок. И что бы это такое значило и по какому случаю?

Подходили все новые приглашенные, знакомые и незнакомые.

Я увидел и очень известных в эмиграции, можно сказать, самых китов: генералы, юристы, доктора и кое-кто из писателей с «супругой», как пишут в панихидных отчетах. Кое-кто и из «кадавров» явился, как дамских, так и мужских, известных «всему Парижу». Всеми повторялось имя Ивана Федоровича. Явно, и это я тоже заметил, что не только для меня, но и для всех банкет был неожиданным: всякий предполагал, что он единственный, приглашенный Иваном Федоровичем.

А подходили все новые и новые. И одни были одеты, как я, по-домашнему, но были и предусмотрительные. А были и совсем не по залу, прямо с работы: несколько шоферов в кепках. Были и с семьями. Какие-то пришли из Бианкура: муж, жена, двое детей и бабушка.

— Иван Федорович пригласил, — объяснял глава семейства, простой человек, должно быть, шомажный слесарь от Рэно, — непременно приходите, и чтобы с детками!

Очень это было трогательно, но и непостижимо — зачем это все?

И все наши явились: и Козлок — вон он, мошенник, около ордёвров, как лиса, носом сучит, и Куковников Василий Семеныч, по случаю теплой погоды всего только в двух джемперах, и Птицин с Марьей Петровной, натощак, поди, и дома ничего не готовили, и Полетаев со своим портфелем, и африканский доктор, этот знает весь церемониал: во фраке, как полагается, и черный галстук бабочкой, и Замутий с Саулом или Саул с Замутием, и Балдахал, и «залесный аптекарь» Судок, окончательно «денационализировавшийся», очень смешно, в котелке под француза, и библиофил Галкин с толстенною книгой «Пушкинский временник», гляжу, и старичок пушкинист Сергей

Сергеич — Сергей Сергеич плохо слышит, и, чтобы не ошибиться, к уху приставил руку, так и идет.

Кто-то сказал, что ожидается духовенство.

Не было только самого Ивана Федоровича.

И теперь знакомые и незнакомые и, без всякого оглядывания, говорили друг с другом. Тут вот и выяснилось, что большинство из приглашенных получили сегодня утром «пнё». Всех занимал вопрос: по какому случаю Иван Федорович собрал всех — приборов было на сто сорок четыре, а нас явившихся — до пятидесяти, все-таки! И кто-то заметил, что недешево обойдется это удовольствие. И так как всем было известно, что Иван Федорович живет никак, то не пришлось бы платить, надо наперед выяснить, сколько. И это говорилось не просто, мне послышалось — раздражение. А кто-то сказал, что Иван Федорович наверно о нас забыл —

И вдруг появился Иван Федорович.

Одет он был парадно. А смотрел — и теперь я понял, в чем его перемена: он был необыкновенно спокоен, уверен и... доволен, вот не сказать бы: Иван Федорович — «неразлучная робость».

Все набросились на него, как мухи на мед: кто с вопросом, кто с упреком — и зачем такое затеял, такое ли время — банкеты? и по какому случаю? и что это обойдется недешево и, может быть, сейчас бы уговориться, чтобы заплатить всем, и сколько на каждого?

— Ваше дело пить и есть, не беспокойтесь!

Иван Федорович сделал шаг и остановился.

И все невольно отступили.

— Господа, я всем вам обеспечил место.

При этих словах — и это в первый раз я говорю не только за себя, а и за всех: за генералов, за юристов, за докторов, за писателей, за шоффёров — за всю нашу каторгу сознательную и бессознательную! — любопытство и нетерпение возросло до крайности, особенно же для безработных и кандидатов: место — где? какое?

— На кладбище Тиэ, — не без гордости сказал Иван Федорович, — я приобрел там три дивизиона и построю часовню.

— Что обеспечил? — приложив руку к уху, перебил старичок пушкинист Сергей Сергеич, до которого только что дошло: «обеспечил».

— Могилу, — сказал Иван Федорович.

— Что-что?

И, так же приложив руку, только ко рту, не к уху, повторил Иван Федорович раздельно:

— Мо-ги-лу.

И на эту громовую «могилу» — кто куда.

Первый выскочил Шуцкий, ему это очень просто, пальто он предусмотрительно не отдал, а держал на руке, а за Шуцким улепетнул африканский доктор, не имеющий обыкновения носить «головного убора»; побежал и Птицин, а за ним было и Марья Петровна.

— Куда вы? — Иван Федорович ухватил Марью Петровну за подол, и не хотел отпускать.

Отбиваясь, Марья Петровна взвизгнула, и визгом окончательно все смешала.

Козлок мне потом признавался, что его подмывало крикнуть: «будут стрелять». Но и без Козлока эта мысль промелькнула у многих.

Старичок пушкинист Сергей Сергеич, разобрав, наконец, какое такое обеспечено ему место, под всеобщее смешение, бросился к окну — очертя голову бросаться, и выбросился бы благополучно, но, потеряв равновесие, не подпираемый подпорочной палочкой, рассыпался на мелкие кусочки, и что было Пушкин, и что Сергей и что Сергеич — все смешалось.

Мне напомнило Берлинскую трагическую стрельбу... Тогда тоже вот так пришлось «отпрянуть», и кто-то из отпрянувших в исступлении страха завяз в окне.

Саул при всей огромности своей, не имея никакого желания подставляться под шальную пулю, лег для безопаски на пол. И я видел, как Куковников в своих джемперах вдруг распухший, как распаренный, не совсем удачно перепрыгнул через него, пырнув ногой в живот, так что Саул от неожиданности испустил голодный вздох, и чьи-то ноги в американских желтых ботинках на толстой резиновой подошве торчали из-под белоснежной скатерти, торчали, дрыгая и не без хвастовства, в полной уверенности, что в скрыти и безопасности, даже и тогда, когда и стрелять было некому и из пятидесяти «обеспеченных местом» едва ли не все оказались «отпрянувшими».

Было очень жалко бианкурцев — такую даль, пешком! и ведь, поди, не евши! — они так и пошли, и бабушка.

Хозяин ресторана никак не мог понять: что случилось и почему такая стремительность? Никакой стрельбы не было слышно, да и Марья Петровна взвизгнула для нас пронзительно, а до низу не донесло.

Но кто уж ничего понять не мог, это сам Иван Федорович.

Из неотпрянувших остались: Саул, Замутий, Козлок и двое мне неизвестных. Потом оказалось, что это бывшие знаменитые музыканты, Вилкин и Тарелкин — так что можно было в заключение, если б захотеть, и похоронный марш послушать.

Но обошлось без музыки.

Лоханки с шампанским убрали. Ордёвры поредели: дорогие исчезли, а так какие-то сардинки и креветки, и только что на размах расставлены, а если собрать, и уголка не навалишь — бедновато. И всего один гарсон да и тот не то торчит, не то пропал: горчицы не дозовешься.

У Ивана Федоровича денег никаких, он и опоздал-то оттого, что с Шардон-Лягаш на Риволи пешком пришел — все какие у него были, все на «пнё» истратил, всю ночь писал. И завтрак мы на себя взяли — все равно Саул за всех заплатит.

Говорил один Иван Федорович. Он описывал нам прелести Тиэ — три дивизиона — на сто сорок четыре покойника — число приглашенных на банкет. И подробно распространялся: проект часовни. И как отец Серапион, хороший батюшка, будет служить панихиды. А завтра состоится другой банкет, и он назвал ресторан на пляс Вандом, тоже недешевый, приглашения разосланы.

— Три дивизиона, — повторил он, — я всем обеспечил место.

Нам с Иваном Федоровичем по дороге. А музыканты пошли в тот ресторан на пляс Вандом, о котором проболтался Иван Федорович, пошли предупредить.

Иван Федорович и в метро продолжал о трех дивизионах. Но я, как его дядюшка, Григорий Григорьевич, сослался на таракана: «ничего не слышу». И все обошлось благополучно. До самых дверей я проводил его, пожелав — «спокойной ночи».

6

Взбудораженный, один Иван Федорович.

И его необычная речь «болтуна» и завтрак с вином и накануне бессонная ночь за писанием бесчисленных «пнё» — — и когда, наконец, промечтав весь вечер, в поздний час, не раздеваясь, заснул он, более взбудораженный сон едва ли кому снился: это был сон без пробуждения — окончательный — сон, переводящий в другой мир, — это был «смертный» сон.

Ему представилось, что под утро он вернулся из церкви с тетушкой и дядюшкой. А живут они во втором этаже отдельный зал. Время: Пасха, и в то же время Рождество. В раскрытое окно виден лес — черные ели крестят в багровом небе зимнего заката. Дядюшка и тетушка вышли прогуляться по лесу. А он остался один. И слышит, внизу под дверью разговор по-французски, и понимает, про него это: хотят воспользоваться, что он один, без тетушки и дядюшки и залезть к нему.

«Кураж! кураж!» — говорит кто-то внизу под дверью, ободряя других.

Он поскорее тихонько вниз: там «общежитие». Проходя по коридору, встретил он мальчика — на птицу похож, и девочку, как мышь. «Из общежития!» И отворил дверь из коридора. А там — кто сидит на нарах, кто ходит — слоняется, как в карантине. Народу много.

«Кураж! кураж! — говорят ему, — не беспокойтесь!»

Ободренный, он пошел назад. Поднялся к себе во второй этаж. И когда отворил дверь, со всех сторон протянулись к нему руки. И он не успел ни отскочить, ни увернуться, как руки больно вонзились в него — это те, что сторожили под дверью и без него влезли! От боли и страха он только и мог крикнуть:

«Так не поступают и с эфиоп...»

Когти вонзившись, разорвали на нем одежду, а с одеждой сорвали с него кожу. Горя, обнаженный, он вылетел в окно — и проснулся.

И чувство необыкновенное какой-то необычайной свободы вдруг охватило его. И легко ему было, как без тела — он Иван Федорович, болтун, теперь всемогущий — — Но глаза его встретились, и чего-то страшно: в комнату

через окно, прилепившись к карнизу, заглядывал мальчик с птичьим лицом, а за спиной его мелькала, цапаясь за плечо, девочка-мышь. Иван Федорович вскочил к окну, срыву распахнул окно: Москва!

Москва золотом сияла перед ним и так это близко, как ранним утром из окна вагона, подъезжая к станции Рогожской. Без труда он нашел Арбат — Большой Афанасьевский и Серебряный, церковь, где дядюшка был церковным старостой; Моховую — университет — «Василий Осипович!» повторял он; книжный магазин Карбасникова и Метрополь, куда заходил он в редакцию «Весы» за изданиями «Скорпиона»; Пречистенский бульвар, где, крылатый, из огня слитой Гоголь, зябнет черной холодной лягушкой; Данилов монастырь — могильный камень: «горьким словом моим посмеюся»; Даниловское кладбище с такими высокими разросшимися березами рукастыми из «Страшной мести» в вороньих косматых гнездах — отчетливо донесся вороний крик из пасмурного дня и на ярко — до́ крови желтых сырых могильных холмиках малиновые бумажные цветы — могила отца, которого он не помнит; Покровский монастырь с восьмиконечными Хлудовскими крестами, какой-то не кладбищенский, всегда-то солнечный и что-то от дороги из Леонова в Останкино, памятной из «Тысячи душ» Писемского, — могила матери, которую он не помнит; Калитниково кладбище — убежище бедноты, и Ваганьково — московские литераторские «Волковы» мостки — — Но это не Калитниково и не Ваганьково, теперь он ясно видит, а Пер-Ляшез, а там — Монпарнас, Пасси, а вон — Банье, Иври, Клиши — и все это от Пер-Ляшез до Клиши принадлежит ему!

Не задерживаясь, Иван Федорович вышел.

И, проходя мимо консьержки, первой объявил ей, что скупил все кладбища Парижа — и место всем обеспечено! Еще хотел он предупредить консьержку, что ожидает президента республики, который непременно явится его поздравить — но уж президент вошел и пробирался к лифту: Иван Федорович узнал его по цилиндру.

«Мосьё Лебрен!» хотел он окликнуть, но, только махнув рукой, — «подождет!» — пошел к двери.

И когда растворил он дверь, спутники его: мальчик с птичьим лицом и девочка-мышь, предупредительно и както воровато прошмыгнули вперед.

Очутившись на улице, от воздуха, что ли, еще больший почувствовал он прилив нечеловеческой силы и свободу. И по мере того, как подымался он по Шардон-Лягаш, он скупал все новые и новые кладбища, — он, Иван Федорович, болтун, теперь всемогущий, и дана ему власть: обеспечив место русской эмиграции, каторге сознательной и бессознательной, и всему парижскому свободному населению двадцати арондисманов и со всеми банлье, он нашел средство и обеспечить место всей Франции — «от народного фронта до круа-де-фё», и Лиге Наций с советом, председателями, комиссиями и канцелярией. Лиге Наций с пятьюдесятью государствами, и Третьему Интернационалу со всеми «рулевыми». А дойдя до остановки автобуса у Эглиз д'Отой, он скупил весь земной шар от полюса до полюса.

Мальчик с птичьим лицом уж висел у него на руке, а на плече сидела мышь.

Жалко ему весь мир — этот мир «проклятьем заклейменный»: сколько веков! — жил-жил, а как пришел конец, и вот свезут тебя, как на свалку. Нет, он, Иван Федорович, болтун, теперь всемогущий, и дана ему власть: всему миру обеспечит он место! От полюса до полюса — и он увидел ясно ледяные поля на юге и ледяные поля на севере — и в этих белых сверкающих пустынях он построит по часовне, отец Серапион будет служить панихиды.

— Отец Скорпион, — кричал Иван Федорович, — от полюса до полюса — Могилевская губерния — я всем обеспечил место!

И, крича на всю улицу «от полюса до полюса», беспокойно подвигался он по рю д'Отой к Порт д'Отой, надсаживаясь перекричать кладбищенскую галку: мальчик с птичьим лицом, бросив его руку, поднялся на воздух и галкой кричит над ним, а смирно сидевшая на его плече мышь вдруг юркнула ему за ворот под сорочку и бегала по нем.

— Я всем обеспечил место! — в неистовстве ловил он и никак не мог поймать на себе мышь, — вместо! вместо! — кричал Иван Федорович подгрудным, приглушенным криком глубоких жутких сновидений и бесноватых, выкрикивая из последних свое последнее еще живому миру.

У Готфрэна продавали молоко за 20 сантимов литр. Я ходил всякий день поутру и выстаивал в очереди.

Возвращаясь домой, я приостановился на углу рю Пьер Герэн, чтобы осторожно с молоком перейти на ту сторону.

От Эглиз д'Отой, торопясь, шла женщина и, показывая встречной к Эглиз д'Отой, возбужденно сказала:

— Какой-то сумасшедший, нет никому проходу, всех хватает!

7. ПАМЯТИ ЛЬВА ШЕСТОВА

Последнее напечатанное Льва Шестова — о Бердяеве: последний рассвет — на рю Буало: окна клиники против нашего окна. Это судьба. И этой судьбой однажды соединило нас, и на всю жизнь. Да иначе и не могло быть. Во всех моих «комедиях» Шестов играл неизменно главную роль да и в нашей литературной «горькой» участи было похоже: оба мы были «без пристанища» — с неизменным редакционным отзывом «не подходит» или деликатно сказанным «нет места» или обнадеживающим безнадежным «в следующий раз». А познакомил нас Бердяев, всеми любимый и всегда желанный. Был конец ноября, но не Бодлэровский, с болью глухо падающими дровами для камина, а киевский — этот сказочный захватывающий душу вестник рождественских колядок, с теплым чистейшим первоснегом. На литературном собрании, доклад В. В. Водовозова. Бердяев повел меня куда-то вниз и не в «буфет», как я подумал, или мне так хотелось выдумать, а в «директорскую» с удобными креслами. «Да где же тут Шестов?» И вдруг увидел: за конторкой под лампой... сидевший снял пенснэ, поднялся, мне показалось, что очень высокий и большие руки, — конечно, «Лев Шестов»! Это и был Шестов. «Рыбак рыбака видит издалека!» — сказал он и на меня глянули синие печальные глаза. Таким я его вижу. И вот, взглянув на него в последний раз в его последнее ноябрьское утро в воскресенье, я увидел, как на мой пристальный взгляд синий печальный свет заструился из-под сомкнутых век, и улыбкой осветилось бескровное застывшее лицо.

«Человек» — я говорю о человеческом мире — пропадает именно от своей тупой «разумности» и холодной «расчетливости», этот самообманывающийся непогреши-

мой «математикой» игрок! А что это так, не надо и смотреть, чтобы почувствовать, что творится вокруг, какое бездонное горе разливается по миру в этом мире заочных бумажных приговоров, теоретических программ, без слуха к живой трепещущей жизни. Шестовское «безумие» — «апофеоз беспочвенности» был вызов именно этой мировой бездушной машинности, этому подлинно бесчувственному идолу, «логилизирующему сухарю», для которого горячее человеческое сердце с его безграничной волей и чудесами — **сапогом!** —: «дважды два четыре!» А ведь за каждый вызов по установившимся законам жизни («природа» богаче, глубже и разнообразнее, но как-то так повелось и одно из случайных стало нормой!), за каждое наперекор какому-то «ровнению» — так это не проходит. Жизнь ему и показала: годы высиживался он в Коппе под Женевой, а тут по три часа в день шагал в Булонском лесу. «По-нашему не согласен, так вот же, поди посиди или погуляй, посмотрим!».

Мне с моим взбалмошным миром без конца и без начала, Шестов пришелся на руку, легко и свободно я мог отводить свою душу на всех путях ее «безобразия». И моим «фантазиям» Шестов верил, доверчиво принимая и самое «несообразное». И никогда я не скажу, говоря «никому нет дела!», чтобы хоть когда-нибудь при этой отчаянной мысли я назвал себе Шестова. Как один из старших моих братьев, Шестов учил меня житейской мудрости на манер Гофмановского кота Мурра: воображаете, какая выходила ерунда! И еще потому мне было легко с ним и свободно — вот кто не деревяшка, не эти безулыбные, лишенные юмора трезвые люди, среди которых дышать нечем!

«Беспросветно умен», так отозвался о Шестове Розанов, а я скажу и «бездонно сердечен», а это тоже дар: чувствовать без слов и решать без «расчета».

«Лев Исаакович, ты «понимаешь», я поднялся по этой веревке на страшную высоту, крепко вцепился, под ногами пропасть, заглянуть вниз... ветер меня разносит и мой голос сливается с его щемящей бурей, и какие-то остекленелые надутые куклы, они стояли рядами в этом вихревом пространстве, бездушные, они караулили мое подрыгивание на веревке, но я поднимался выше. Ты на путях своего духа в этот миг говорил с Сократом. Я провожал тебя до предела... А эту горстку земли я бросаю тебе в могилу».

ЧИНГ-ЧАНГ

Китайская казнь: осужденного разрезают на тысячу мелких кусков.

Слово принадлежит автору идиллии «Учитель музыки», героем которой является Александр Александрович Корнетов, его знакомые и приятели.

Прошу не путать никого с Александром Александровичем Корнетовым, ни из его знакомых и приятелей, это я сам.

Имя Корнетову дано было еще в Петербурге в честь Александра Александровича Блока, а фамилия «Корнетов» не столько инструментальная по профессии учителя музыки, сколько кавалерийская: заветная мечта Александра Александровича, которую он неоднократно высказывал, — «быть бы мне лихим корнетом, ездить на коне, как у Толстого в «Войне и мире», выделывать всякие ухарские штуки!» — фамилия Корнетов дана по контрасту с его небоевым образом жизни.

Я — и Корнетов и Полетаев и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок и Куковников и Птицин и Петушков и Пытко-Пытковский и Курятников и, наконец, сам авантюристический африканский доктор. Все я и без меня никого нет. Да иначе и невозможно: писатель описывает только свой мир и ничей другой, и этот мир — его чувства и его страсть.

Или, как выразился бы профессор математики Сушилов, тоже один из героев идиллии: «Корнетов и его знакомые — мои эманации, расчленение моей личности на несколько отражений моего духа».

Что-нибудь внешнее, постороннее, что называется «не-я», «другой», для писателя только матерьял и, если он чув-

ствует в нем себя, он его примет — «заживет» в нем. Так совершилось превращение Толстого в Наташу Ростову, в Анну Каренину, в Катюшу Маслову; а Тургенева — в Лизу, в Ирину, в Елену; а Лескова — в Лизу Бахареву. И точнее следовало бы сказать не превращение, а переодевание — очень яркий пример: переодевание Толстого в мужиков во «Власти тьмы».

Писатель подбирает матерьял по себе и через этот матерьял познает себя. Трагедия Гоголя и заключалась в том, что ад — I часть «Мертвых душ» был в нем, а с чистилищем — II-ой частью «Мертвых душ» он никак не мог справиться: и что мог он сказать доброго о человеке, когда по его собственному признанию в себе не находил добра, а что было доброго — жалость («Шинель») и любовь («Старосветские помещики») — сгорело; а так как «Мертвые души» — дело жизни Гоголя, то ему ничего не осталось, как обречь себя на смерть.

«...и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас, как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть».

Эти слова из «Сна смешного человека» — подлинно сна Гоголя.

Литературное произведение или «изящное», как говорили в старину, противополагая «статьям», — ключ для познания автора: по роману, повести и рассказу можно больше сказать о авторе, чем из самой подробнейшей его биографии, написанной кем-то, а ведь для писателя это очевидно, что кроме как о себе, о своем мире чувств, мыслей и слов никто никогда еще не мог написать ни одной путной строчки, т. е. чтобы было живо и кровно, а не пусто, в одних бледных словах.

«Всякий не может судить, как по себе», — говорит Достоевский на жаргоне Кириллова.

Кому же, как не Достоевскому, знать, какая цена «миру» и что из этого «не-я» делает писатель. Достоевский встречался с женщинами не высокой духовной ценности, но в нем самом была «жертвенность» и он наделил ею, как

высшим идеальным признаком, духовно-сомнительный матерьял своих встреч. Так вышли живые и кровные, как будто в природе существующие. Соня, Наташа, Катерина Ивановна. У Лескова — я беру первого из второго круга писателей — душа мятежная и мятежная Лиза Бахарева («Некуда») живая, но «жертвенности» у Лескова не было и его «жертвенная» Александра Ивановна Синтянина («На ножах») — только в словах.

Литературные произведения для писателя все, но не следует искать в них биографическую последовательность, и фактов из его «живой» жизни.

Самое сокровенное у Достоевского: тайна «жертвы» — наслаждение мучением — этот «красненький паучок» Ставрогина и Лиза Хохлакова, которой сочувствует мыслью Иван Карамазов и сердцем Алеша — весь Достоевский. Лиза читала в какой-то книге, как распяли четырехлетнего мальчика, сначала обрезали пальцы, а потом распяли, прибив гвоздями к стене, мальчик умер через четыре часа: «я иногда думаю, что это я сама распяла; он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть: я очень люблю ананасный компот».

Лизы Хохлаковой в природе не существует, эта Лиза больше, чем в природе, она в самой завязи «страдного» мира и вот вышла из измученной души Достоевского, и в «живой» жизни Достоевского было это чувство, но «фактически» ничего подобного не было.

И до чего явственно выступает это «фактическое» несовпадение, я могу показать на моей идиллии.

А. А. Корнетов — учитель музыки, но какой же я музыкант? Правда, я учился на корнет-а-пистоне у Александра Александровича Скворцова. А. А. Скворцов горбатый и кругом одинокий, был на редкость добродушный и не столько учил меня музыке, сколько философствовал, а учил он меня бесплатно; к концу лета мне пришлось бросить ученье и не потому, что охоты не стало, а из-за инструмента: купил я его на Сухаревке, прельстившись дешевкой, двадцать копеек, и сначала дудел ничего, а потом пистоны стали забухать и как нарочно на самых интересных местах, или таким выпалит дудом — А. А. Скворцов жил в одном из переулков знаменитой Соболевки, ближе к Грачевке, люди там ко всему привычные, и то жаловались. Вот и вся моя музыка. Правда, у меня

есть камертон, вывезенный неизвестно зачем из Петербурга в августе 1921-го года и прошедший со мной через Нарвский карантин. Правда и то, что у меня есть повадка «учить» — давать советы и не только в литературных, а и в житейских затруднениях. В литературе еще кое в чем могу принести пользу по своим «грехам» — долголетнему ремесленному опыту, но в жизни — что я могу в жизни среди всей этой гоголевской чепухи, сумятицы, бестолочи и «слепого тумана», где поистине «какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски, без смысла, без толку смешал вместе» или, выражаясь словами профессора математики Сушилова, где «сцепление образов и суждений происходит по совершенно неожиданным бессмысленным ассоциациям, а бессодержательные определения прикрывают настоящий мотив действия».

В этой жизни я безглазый и путного от меня ничего. Я это хорошо знаю по себе — по своим постоянным промахам: у меня нет ни сообразительности, ни находчивости. Все мои предвидения — ерунда: я вопреки всякой «очевидности» все толкую в хорошую сторону, а всякие предзнаменования сулят мне всегда только хорошее — и можете представить, какой жестокий отпор получают все мои действия! Так и в судьбе других: что бы такое было, если бы кто-нибудь вздумал меня послушать — какое горчайшее разочарование ожидает его.

Все мои советы, от которых я не отказываюсь и ручаюсь, что принесут пользу: или кулинарные или гигиенические. И тоже, строго говоря, ерунда порядочная, но по крайней мере безвредно. И все это я называю: «мой эликсир жизни».

1) Обержину варить в кокоте: на дно немного масла, затем нарезанная не очень тоненькими ломтиками обержина, а сверху луку и чесноку, можно еще прибавить немного картофелю, а наливать воды в кокот ни в коем случае не надо, надо подливать на крышку, и чуть маленький огонек, через час обержина готова, и тогда положите сметаны, и еще раз вскипятить. Вареная обержина напомнит вам грибы, но грибы есть не безопасно, столько случаев отравления, а обержина совершенно безвредна. Я ее не люблю, но многим она нравится.

2) Если вы чувствуете тяжесть в желудке, примите на ночь ложку парафина и ничего уж не пейте, а на другой

день перейдите на овсянку и, Боже вас сохрани, ни капельки молока, а на ночь грелку — грелку лучше класть поперек...

Но тут, вы догадываетесь, начинается Корнетов и его приятели, т. е. весь страждущий мир: он наводит меня на этот мой «эликсир», и без него мне никак было догадаться подмечать за собой дар практической мудрости и домостройства.

Как заваривать чай и сохранять его крепость и запах, как варить кофе — об этом подробно расскажет Корнетов. Добавлю еще от себя: если вы хотите срезать мозоль на ноге, не задирайте ногу, как это на рисунке Гойа, а поставьте ногу на табуретку и не берите острых ножниц — медленно, но верно, а главное безопасно маленькие ножницы, сломанные и затем отточенные, с туповатым концом, и лучше всего предварительно отпарить ногу.

Как заделывать на зиму щели в окнах и в дверях, как растапливать камин и, открывая и закрывая дверь, регулировать приток воздуха — всякий камин разжигается по-своему, и еще многие полезные советы я могу дать или не-я, а мое какое-то именное расчленение: Корнетов, Куковников, Судок, Козлок и другие.

Но никто из нас не умеет ни укладывать вещей, ни запаковывать, а также отыскивать по путеводителю поезда, и всегда все у меня чего-то боятся, хотя я все делаю, чтобы постичь тайну упаковки и железнодорожный тариф и расписание поездов, и найти в себе и в своих расчленениях и смелость и отвагу.

То ли я родился напуганным: я слышал от матери, что при моем рождении ее напугали. Но я не помню, чтобы в детстве я был пугливый, и никогда мне не было клички: «трус» или «баба», — я не плакал, не нюнил, как другие дети. А вдруг я как-то понял, что всю жизнь внушал себе «ничего не бояться» — стало быть, я всегда боялся, всегда был трус, но и всю жизнь больше всего меня возмущали «трусость» и «легкость». А ведь у Корнетова боязнь всеобъемлющая: от автомобилей до консьержек. И когда однажды он заявил: «я спрашивать никогда не буду, а напролом пойду, куда мне нужно!» — все присутствующие тихо засмеялись. Впрочем, у Корнетова все белье с меткой «А. А.», а наметил он, чтобы в «купальне не обменяли», хотя, как известно, в купальню он никогда не ходит.

Или это верно, «кто победит боль и страх, тот сам Бог будет», а значит, удел человека — бояться.

К моему «Эликсиру» и всяким домашним наставлениям я присоединил бы матерьялы для «Воровского самоучителя» А. А. Корнетова. В этом «Воровском самоучителе» — горький опыт, потроха человеческой натуры. Я во всем согласен. Но озорной параграф: «как извести на каком-нибудь блестящем вечере не менее блестящего спортивного молодого человека» — это уж никак не мое. В «Самоучителе» сказано: «надо целому ряду лиц в известные промежутки времени подходить к намеченному лицу и, извиняясь, справляться, не знает ли, где находится уборная?» Я и на вечерах не бываю, а если случалось, я с самого прихода охвачен беспокойством, как мне домой возвращаться, и уж мне не до уборной!

Главные советчики Корнетова по составлению «Воровского самоучителя» Куковников и «залесный аптекарь» Судок, побивший все рекорды в ложной информации, оба вышли на свет, как результат «Чинг-Чанга»: распластав себя, я одну из моих частей — «басенную» назвал Куковниковым, а «озорную» — Судоком и начал наблюдать за ними и они, отчлененные от меня, зажили своей самостоятельной, независимой от меня жизнью.

Вот почему: при всей моей информаторской страсти, Судок — я и не я. И даже Балдахал-Тирбушон со своим «русским стилем» — а, кажется, чего мне ближе: русский лад моя страсть и ревность. И баснописец Куковников, питающийся овсянкой, черным хлебом и баранками, живущий «тихо и радостно» и неразлучно с книгой — как я ему сочувствую: книга тоже моя страсть и я — за овсянку. И это относится к моему «Эликсиру»: «есть как можно меньше: садиться за стол однажды в сутки и подыматься из-за стола легко!» Я — за овсянку, но меня можно соблазнить и устрицами, и осетриной, а чего бы я особенно хотел, так это «жить тихо и радостно», как баснописец Куковников.

На долю Куковникова досталась та моя часть, которая «желает тихости», тогда как другие части вопиют, немирные и неумеренные. И еще в Куковникове больше, чем у кого, бедности. И вообще все окружение Корнетова — «бедные люди». И это от меня, это тоже исконное мое, как боязнь.

Я заметил еще в раннем детстве: на меня нападал какой-то изныв, словами он выговаривался так: «я хотел бы быть совсем бедным!» Со стороны, если бы можно было подслушать мои слова, было бы очень смешно, да и сам я впоследствии схватывался, какой еще недостает мне бедности? Но я понимаю так: с первых моих лет я встречал еще беднее моего воображения, и их бедность надрывала мне душу. И как надо ослепнуть или как очерствить свое сердце, чтобы не заметить в идиллии Корнетова этой страды бедности!

В «Эликсире» есть совет освобождаться от власти вещей — и в этом есть связь с моим изнывом: «быть совсем бедным». Но «Эликсир» имеет в виду не только «опустошение» и «расточение», а и практически-полезный совет: освобождаясь от вещей, человеку легко передвигаться — переезд на другую квартиру всегда хлопотен из-за вещей. И единственное исключение: книги — книг может быть библиотека.

Меня всегда возмущает, когда я вхожу в бескнижный дом. Я не принимаю никаких отговорок — все отговорки вздор. И я понимаю, что значит: «когда и книги не на что купить!» — это мера последней бедности.

И всегда у меня шевельнется еще другое чувство и одна из моих тысячных частей раскалена не докрасна, а добела. И как тут жить «тихо и радостно»? Но из этого же негодующего чувства — «от противного» я называю мою повесть «идиллией» — да иначе и не представляется мне затеянная каторжная хроника.

Да, человек человеку не только бревно. И мои «крестовые сестры» все погибли бы, если бы было не так. В моих пожеланиях и в моей вере — биографичность. И мне надо было какой-то «дух», какой-то заключительный акт «вдохнул жизнь», а без этого ни одна из моих тысячных частей не зашевелилась бы и не отозвалась. И этот дух — я, моя вера и мои пожелания.

К моему «Эликсиру» относится и еще один очень мучительный для меня совет: «перед отъездом заблаговременно, ну, недели за две, следует тренироваться в рановставании». Я это всем очень советую, чтобы, не надеясь ни на какой будильник, приучиться самому вставать рано и не торопясь ехать на вокзал. Да ключи загодя проверить, чтобы не вышло, как всегда со мной: чемодан

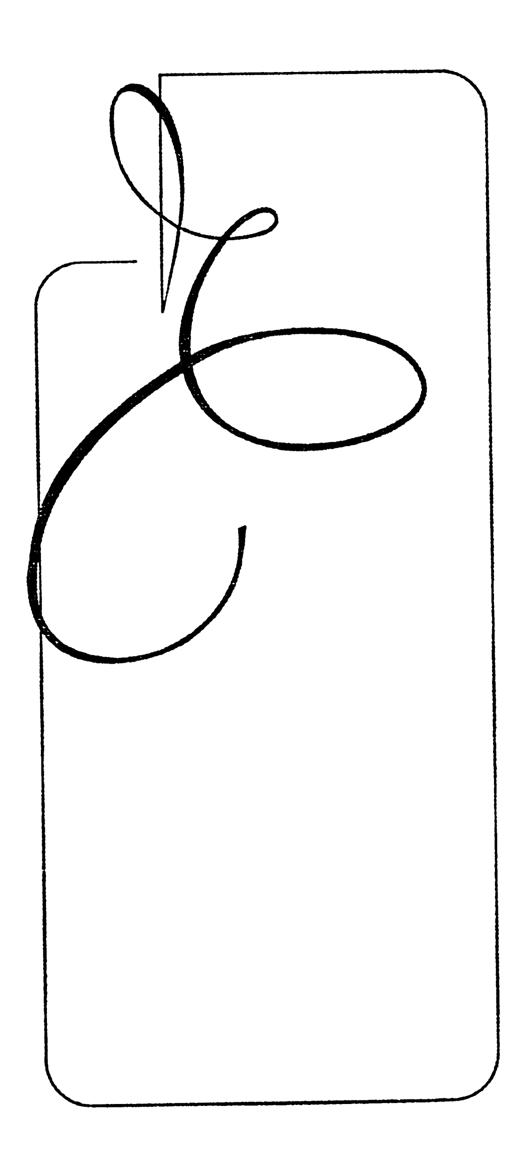
примят и закрылся, а ключ не подходит и нигде не могу найти, спрятал отдельно, чтобы не спутать, а куда спрятал, не помню.

Но я никогда никого не заставлял, и вообще во мне нет никакого тиранства. А Корнетов со своими повадками мог извести человека. Корнетов тиран и маниак: его археология и его коллекционерство, разве это не одержимость! Маниак и Балдахал со своим «русским стилем». Брюсов в своем дневнике — ноябрь 1902 г., перечисляя новых своих знакомых, обо мне написал такие строки: «еще какой-то из Вологды Ремизов. Этот Ремизов растерянный маниак». Да, маниакальность это одно из моих тысячных расчленений.

Книга идиллии кончается трагически: Александр Александрович Корнетов вместе со мной, и тут есть биографичность, в канун войны и своего пропада.

А как бы мне хотелось видеть Корнетова, хотя бы на один час жизни, уверенным и в собственном доме, без этой всегдашней точащей заботы найти и сохранить за собой угол. Чтобы его выход я мог бы сравнить... вы наверно замечали, когда Monsieur, он же и Mari, выходит из «cabinet»: какая уверенность и самоутверждение и какая почтительность в движениях и на лицах домашних — этот выход самая значительная минута среди всех часов дня, значительнее даже того часа, когда Monsieur, он же и Mari, «принимает пищу». Но тут опять выступает Корнетов с его излюбленной реминисценцией из Раблэ.

ПРИЛОЖЕНИЯ



ВОРОВСКОЙ САМОУЧИТЕЛЬ

1.

Самое верное и выгодное в житейских делах: «отрицательная реклама». Трубить, скажем, о вреде табаку и в то же время заведи табачную фабрику и продавай папиросы в каких-нибудь особых «символических» коробках, вкладывая листок вредной рекламы — «табак — яд, но наш-де табак», одним словом, кроме пользы, ничего. Тоже и в питейном и в проч. делах, также и в литературных: ведь лучший способ обратить внимание публики на произведение — ругать и выругивать автора систематически, надо и не надо, при всяком удобном случае.

2.

Хорошо еще на костюмированном вечере или «в пользу» на благотворительном выбрать самого шикарного «молодого человека» (возраст неважно!), только бы с претензией и, отрядя стаю, один за другим пускай подходят, справляясь: «извините, пожалуйста, не знаете ли, где уборная?»

3.

Если стянешь, например, картину, а ждешь к себе ее хозяина, советую, убери со стены на время, а то он может заметить, спросить: «откуда?» — и сразу и не найдешься. На случай: единственный выход — вали на Пильняка, что подарил-де Пильняк! Пильняк же в Москве, ищи — свищи!

4.

Расстроить человека очень просто: хорошо рассказать дурной какой-нибудь отзыв. Приходи и прямо: «Слышали, что про вас такой-то?» — И жарь, чего хочешь, всему поверит. И пользуйся случаем: себе.

5.

Очень действует: приходить не вовремя «на одну минутку».

6.

Посулить денег, обнадежить, разгласить, чтобы все знали — и ничего не сделать и притом так смотри, будто ничего никогда и не обещал.

7.

Скорая помощь: иди и проси за многих — наверняка всем откажут.

8.

Взять рукопись, посулить устроить — и держать. Попросит вернуть, не отвечай, и так порядочно выдержав верни. Да тот уж рад, что получил (дубликата обычно не бывает), не спросит: и почему? Благодарить будет.

9.

11-я: «не зевай!»
12-я: «ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами!»
13-я: «прелюбы сотвори!»
14-я: «укради!»
Впрочем, это всякий дурак знает!

«АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА[1]

Алексей Михайлович Ремизов работал над повестью «Учитель музыки» в тридцатые—сороковые годы, завершив ее в начале 1949 г.[2] В окончательной редакции произведение — это монтаж различных материалов и своеобразных жанров, органично сливающихся воедино.

В «Учителе музыки» отдельные главы и разделы, которые появились в печати еще при жизни Ремизова, соединены (часто в переработанном виде) с заново написанными страницами и совершенно новыми главами. «Много времени занимало составление и подготовка к печати книг и корректура, — вспоминала о тех временах Наталья Викторовна Резникова. — При составлении своих книг Алексей Михайлович часто пользовался уже напечатанными в газетах или журналах произведениями. Мы вырезывали тексты длинными ножницами и наклеивали их на белые листы бумаги, нумеровали страницы и делили на главы. <...> Сам Алексей Михайлович считался только с датой выхода книги, иногда состоявшей из частей, только что написанных, рядом с другими, уже давно появившимися в печати в разных углах земного шара»[3]. Эта необычайная «конструкция», редко применяемая в литературе, напоминает ремизовские абстрактные картины — коллажи, где он соединял наклеенные цветные бумажки с графическим рисунком.

Первоначальный замысел «Учителя музыки» возник у писателя примерно в 1930—1931 гг., когда он перерабатывал некоторые свои произведения, ранее изданные в Петербурге, для пражского журнала «Воля России». Здесь впервые был точно определен жанр новой книги. Если раньше это были короткие рассказы и очерки, то теперь — «стоглавая повесть» воспоминаний под общим названием «Учитель музыки»[4].

Картина эмигрантской жизни Парижа 1924—1939 гг. создана в «Учителе музыки» из обрывков воспоминаний и личных переживаний Ремизова, перемежающихся многочисленными ссылками и цитатами из его любимых писателей. Началу повествования предшествует (выражение Ф. М. Достоевского) «предисловный рассказ» о главном герое А. А. Корнетове и о других действующих лицах, об их характерах, мировоззрении и вообще о жизни русской интеллигенции в Петербурге начала XX в.

---

[1] Первоначальный вариант статьи опубл.: Ремизов А. Учитель музыки. Каторжная идиллия. Подгот. к печати, вступ. статья и примеч. Антонеллы д'Амелия. Paris, [1983]. С. I—XXXIII.

[2] Дата последнего предисловия — 1 марта 1949 г. О своей работе над повестью Ремизов писал Н. В. Кодрянской 10 февраля 1949 г.: «Все сижу над *Учителем музыки*, проверил сто страниц» (Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах Париж. 1977. С. 113).

[3] Резникова Н. В. Огненная память. Berkeley, 1980. С. 111—112.

[4] Новое заглавие и портрет героя — «учителя музыки» А. А. Корнетова впервые появились в журнале «Воля России» (1931. № 1/2. С. 3).

«Учитель музыки» — печальное путешествие по лабиринту личной и общественной памяти, в котором перекликаются «бытовые мелочи» жизни русского рассеяния и авторские отступления о литературе, о процессе творчества и о любимых писателях: «чародейнике» Гоголе, страдальце Достоевском, лукавце Розанове. Эта книга — мозаика из коротких рассказов, литературных очерков, жизненных сцен, путевых заметок, сказок, некрологов, которые то следуют друг за другом, то сливаются воедино, не соблюдая хронологической последовательности.

В окончательном варианте, подготовленном самим писателем, текст состоит из 7 частей с предисловием и послесловием. В свою очередь каждая часть делится на многочисленные главы, подглавки, разделы и подразделы. «Я рассказчик на новеллу, не больше»[1]; «я никакой романист, а я пытался, но не вышло. У меня нет дара последовательности, а все срыву»[2], — подобные утверждения не раз встречаются в ремизовских письмах, дневниках и записных книжках. Анализируя ход собственного авторского мышления, Ремизов сам как бы подсказывал подход к своим произведениям: «Процесс моего письма: от книг, памяти (воображения), от пламени моих чувств и ритма (словесное выражение). Воображение — игра памяти. Мое от жизни — мои courts métrages: из туманности событий я выбираю образ. Череда этих образов дает картину жизни»[3].

Кинематографическим приемом монтажа коротких сцен Ремизов точно «снимал» необычайный фильм о жизни русской интеллигенции в изгнании, в котором его личный опыт символизировал опыт целого поколения. Современная Франция является лишь фоном этой картины; взгляд писателя постоянно обращен к далекой России: и это не только Россия его «спутников жизни», но и Русь летописей и житий святых, легенд и сказок.

Отъезд из России воспринимался Ремизовым трагически, как вечная разлука с любимой землей. Случайное совпадение в датах — писатель уехал за границу в день кончины Блока — приобрело в его глазах символический смысл. Граница, которая отделяет Запад от русской земли, была уподоблена Ремизовым той «тесной огненной грани», которую дух Блока переходил в то «суровое августовское утро» 1921 г.[4] Как и многие русские интеллигенты в рассеянии, он остро ощущал угрозу потери своей истории, культуры, языка. С этой угрозой писатель боролся всю жизнь, настойчиво обращаясь к прошлому России, используя необычную автобиографическую форму, в которой обстоятельства собственной жизни непрерывно связывались им с историей

---

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1956. С. 109.

[2] Там же.

[3] Там же. С. 135.

[4] Ремизов А. М. К звездам / Ремизов А. М. Ахру. Повесть петербургская. Берлин. 1922. С. 8.

русской культуры и языка. В годы европейского изгнания он прибегал к разнообразным литературным жанрам — от повести и эпопеи до рассказа, интермедии и интервью, — стремясь передать опыт своего поколения, обреченного на языковое и культурное разобщение, и создать *образ* писателя «непризнанного, отталкиваемого и гонимого жизнью и людьми»[1].

Восприятие себя как человека ненужного и отталкиваемого было присуще Ремизову с самого детства: «Я и на свет появился — хочется сказать „по недоразумению“, нет, другое слово: рождение мое не по желанию»[2]. Детство в мрачной обстановке, денежные проблемы, житейские трудности и ссылка обострили его страдальческое восприятие мира и чувство «гонимости», непонятости. Уже в 1913 г. Корней Чуковский закончил статью о раннем творчестве Ремизова словами: «...постепенно от горя, от испуга. от тошноты, Ремизов перешел к проповеди этих своих ощущений, стал требовать их и от нас, возвел свои раны в закон»[3]. В Европе, в тяжелых условиях эмигрантской жизни, с утратой родной почвы и близких ему по духу друзей и читателей, чувства отверженности и отъединенности усилились. При этом надо отметить, что в реальности подобное авторское самосознание существовало параллельно с широким признанием Ремизова со стороны как русской эмиграции, так и французских литераторов[4]. В годы эмиграции столь характерные для дореволюционного периода его творчества темы отчаяния и кошмара так же разрабатываются автором на материале событий собственной жизни.

Сложная полифоническая структура, характерная для ранних произведений Ремизова, сменяется в европейские годы монологическим повествованием, объединяющим автобиографию и дневник, историческую эпопею и изложение снов, пересказ легенд и сказок, литературную критику и рассказы, письма и рисунки. Так создается своеобразное «автобиографическое пространство»[5], куда входят не только тексты, привычно определяемые как «автобиографические», но также и те, в которых автор с помощью самых разнообразных форм и приемов стремится создать *образ* самого себя. Главное, что заботит писателя, — это проникновение в глубину человеческой души, в «подонное» человека, раскрытие смысла человеческой жизни. Голос рассказчика сопровождает и объясняет происходящее, объединяя личные и общественные события, личное и историческое время. «Вся моя жизнь прошла с глазами на Россию. Что занимало

---

[1] Резникова Н. В. Огненная память. С. 133

[2] Ремизов А. М. Иверень. Berkeley. 1986. С. 16

[3] Чуковский К. Ранний Ремизов / Чуковский К. Собр. соч. В 6 т. Т. 6. М, 1969. С. 317.

[4] См.: Резникова Н. В. Огненная память. С. 138.

[5] См.: Lejeune P. Le pacte autobiographique. Paris, 1975. P. 13—46, 311—341, Je est un autre. L'autobiographic, de la litterature aux medias. Paris, 1980. P. 32—59.

русского человека? Какие назову его любимые книги, любимое чтение? Назову, что знаю и что вызвало во мне отклик, отозвалось в моем сердце как пережитое мною, когда я писал. Старинная русская повесть для меня не только пересказ, а выражение моих чувств, содержание повести для меня материал»[1].

Такой подход мало похож на обычное автобиографическое повествование, а скорее является выражением особого отношения Ремизова к «чудесному и сказочному» миру писательства. В дневнике (запись от 24 августа 1957 г.) он сам так ограничил рамки своего «автобиографического пространства»: «всегда я чувствовал боль жизни и отверженность. И я спросил себя, кому и чем я сделал дурное, почему боль и отверженность — основа моей жизни? И стал я сочинять *легенду о* себе или, по-вашему, „сказывать сказку“»[2]. Определение слова *легенда* как священного предания, поэтического «сказания о чудесном событии», дает ключ к пониманию автобиографической формы Ремизова, которая строится по образцу житий святых, включает в себя и реальные события, и фантастическое видение мира «подстриженными глазами».

Как в театральных представлениях украинского вертепа сосуществуют планы библейской истории и светской драмы, так и в автобиографическом пространстве Ремизова параллельны ряды событий русской истории и обстоятельств личной жизни писателя. Старинные тексты позволяют ему переосмыслить прошлое, вслушаться в лад «подлинной» русской речи и сквозь призму исторического прошлого выразить свое собственное видение мира: «чтение материалов возбуждает память. Какое-нибудь одно слово, один образ — и перед вами раскрываются двери и вашей уже памятью вы попадаете в волшебное царство»[3].

Обращение Ремизова к древнерусской письменной традиции резко отличается от отношения стилизатора: в этой традиции писатель стремится найти основу для нового языка современной литературы, не имитировать, а воссоздать ее угаснувшие черты. При этом ему не всегда нужны сюжеты древнерусских текстов. От них он иногда заимствует только «общие очертания» жанров — поучений, слов, — связывая их патетический тон (неотделимый от синтаксиса) с современной публицистической темой.

Память Ремизова подобно памяти Пруста идет путем неожиданных связей, но не опирается на чувственные ощущения. Она оживает от слова, от книги, от размышлений над русской культурой. Как признавал сам писатель в книге «Подстриженными глазами»: изучение старых текстов «оживило мою древнюю память: в моих „реконструкциях“ старинных легенд и сказаний

---

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 113.
[2] Там же. С. 125.
[3] Там же. С. 202.

не только книжное, а и мое — из жизни — виденное, слышанное и испытанное. И когда я сидел над старинными памятниками и, конечно, неспроста выбирал из прочитанного, а по каким-то бессознательным воспоминаниям — „узлам и закрутам" моей извечной памяти»[1]. Сказочные события никогда не связаны с конкретным местом и временем. Подобно этому писатель в двадцатом веке вновь переживает события прошлых времен: «я беру место и время, что мне ближе по моему чувству»[2]. Натолкнувшись на легенды, разными путями попадавшие в Россию, изучив их по разным источникам и вариантам, Ремизов переписывает их своими словами, «на свой глаз и ухо», через свой опыт и жизненную философию[3].

Писатель-эмигрант, чтобы не потерять ощущение своего места в историческом времени и пространстве, чтобы сохранить связь с прошлым, был вынужден полагаться на собственную память. Он использовал ее для преодоления того барьера, который революционные потрясения, а затем эмиграция воздвигали между миром Российской империи и жизнью СССР и Русского Зарубежья. История современности — это история разрыва. И, чтобы не чувствовать себя исключенным или даже уничтоженным, Ремизов стремился во всех своих автобиографических текстах подчеркнуть свою причастность к России, неотрывность от ее культуры: «Русский, Россия — через всю мою жизнь. Пишу по-русски и ни на каком другом. Русский словарь стал мне единственным источником речи. Слово выше носителя слов! Я вслушиваюсь в живую речь и следил за речью по документам и письменным памятникам»[4].

Контакт Ремизова с миром происходит через книгу. Для него книга — это мир, и мир — это книга. «Источник у меня единственный: книга»[5], — писал он неоднократно и вновь повторит в «Учителе музыки»: «мир Корнетова — книга. События жизни — хроника для него, как улица, куда он выходит всякий день и не может не выходить. Призраки его мысли и призраки чужой мысли, его собственная мысль и мысль о мыслях, чувства, слова и мелодия без слов и мысли — это то, что всегда окружает его, движется с ним в живой жизни».

Очарованный книгой, Ремизов не живет в ограниченном времени и пространстве человеческого существования, но в бесконечном мире литературы, где поколение сменяет поколение и исторические эпохи не имеют границ. Для писателя встреча с книгой[6] — как встреча с живым существом, которая дает

---

[1] Ремизов А. М. Подстриженными глазами. Париж, 1951. С. 132.

[2] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 113.

[3] Резникова Н. В. Огненная память. С. 112.

[4] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 42.

[5] Ремизов А. М. Подстриженными глазами С. 223.

[6] См.: d'Amelia A. A. M. Remizov. L'incontro con il libro / Ricerche slavistiche. 1970—1972. P. 95—107.

смысл и значимость его человеческому и творческому опыту, обогащает его исторической памятью прошлого: «я рассказываю, что вычитал из книг, — мои встречи с мыслями и образами, а образы и символы для меня больше, чем знаки, а подлинно живые существа»[1]. Не случайно среди самых живых воспоминаний детства — семейная библиотека с ее старыми книгами в кожаных переплетах. А главное горе старости — невозможность чтения и прямого общения с книгой, когда из-за пропадающего зрения оставалось рассчитывать лишь на дружеское чтение вслух.

Через книги Ремизов переживает все времена мировой культуры: от далекого прошлого до современности. Описывая исторические события, он воспроизводит их как этапы собственной жизни, соединяя читанное и пережитое. «Попалась легенда, я читаю и вдруг вспомнил: я принимал участие в сказочном событии. И начинаю по-своему рассказывать»[2].

Исчезает временная последовательность, исчезает жесткий порядок дней и событий. Отдельные моменты и периоды истории сливаются воедино, «тогда» прошлого и «теперь» настоящего более неразличимы — они равноправно входят как элементы времени автобиографического повествования.

Написанное Ремизовым за полвека, по его собственным словам, есть не что иное, как исповедь («Все, что писал и пишу, все автобиография»[3]), где автобиографическое «я» передает его осмысление личных, исторических и сказочных событий. На чужбине особенно углубилась его страсть к «пересказам» старых русских текстов: «автобиографическим» материалом стало и все наследие русских сказок, легенд и апокрифов. «Среди материала я искал народную мудрость: докука русского народа, его обдумывание и ответы на вопросы жизни. И балагурье. Чудесное, странное в житейском: пример — опыты в „Пятой язве“. Много рассказов в „Учителе музыки“»[4].

Стремление передать сложившееся у него представление о Древней Руси и взглянуть на самого себя как неотъемлемую частицу русской истории и культуры — важнейшие характеристики ремизовского автобиографического пространства. Как вспоминал Е. Замятин: «Ремизов — все еще тянет соки из той коробочки с русской земли, какую привез с собой в Берлин»[5].

Страстный и любопытный читатель, внимательный и строгий филолог, исследователь древнерусских письменных памятников,

---

[1] Ремизов А. М Подстриженными глазами. С. 238.
[2] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 132.
[3] Цит по. Мазурова А. Разговоры с Ремизовым / Дело, 1951, № 4. С. 29.
[4] Кодрянская Н Алексей Ремизов. С. 116.
[5] Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1967. С. 204.

как оригинальных, так и переводных, Ремизов в годы своей жизни в изгнании составил богатый свод «автобиографических» произведений, который отражает все разнообразие и богатство русского культурного наследия. Взятые вместе, эти произведения напоминают то собрание древнерусской церковной книжности, очаровавшее его с детства и известное под именем «Великих Четьих Миней», в состав которых должны были войти не только жития всех святых, но и вообще все книги (кроме летописей и хронографов), которые допускались к чтению на Руси. Природа автобиографического свода Ремизова сложна и разнообразна. Она соединяет в себе два направления мемуарной литературы: «летописное», где в центре внимания автора прежде всего стоят события, свидетелем или участником которых он сам оказывался; и автобиографическое, «центростремительное» по отношению к личности писателя, его внутреннему миру и процессу письма.

Ремизовская автобиографическая *легенда* объединяет в себе разные повествовательные жанры: историческую повесть, рассказ, сказку, литературный портрет, пересказ древних текстов, путевые заметки. Образ писателя, очерченный на фоне такого разнообразного материала, строится по образцу жизнеописания святых и мучеников древнерусской литературы. Подобно тому, как в житиях отражались и реальные события из жизни святого и сказочно-фантастические легенды о нем, так и в автобиографическом пространстве Ремизова в житейские эпизоды проникают сказочные элементы. Сама память писателя выбирает и связывает события и воспоминания, не подчиняясь календарному времени.

Писатель неоднократно определял некоторые свои произведения как книги воспоминаний, стараясь организовать их в строго хронологическом порядке[1]: «Подстриженными глазами» (1877—1897), «Иверень» (1897—1905), «Петербургский буерак» (1905—1917), «Взвихренная Русь» (1917—1923), «Учитель музыки» (1923—1939), «Сквозь огонь скорбей» (1940—1943). И все же история ремизовското «я» более сложна и богата, чем биографическое членение его жизни на детство, отрочество, ссылку, начало литературной деятельности, период второй русской революции, годы изгнания. Ремизовское автобиографическое пространство включает в себя и осмысление прошлого через документы; и музыкальную партитуру воспоминаний, оркестрованную вокруг «узлов и закрут» жизни; и слияние дневной реальности со снами. При этом писатель стремится выразить себя не только письменно, но и устно (в интервью) и в графике.

Сложное переплетение тем, мотивов и форм книги «Учитель музыки» является как бы синтезом различных видов ремизовской

---

[1] См.: Ремизов А. Подстриженными глазами. Перечень на обороте заднего форзаца.

художественной «памяти», отразившихся в его концептуально значимых произведениях периода эмиграции.

Одним из них предстает «археологическая память». Среди первых книг, опубликованных Ремизовым в Берлине сразу после отъезда из России, были «Ахру» (1922) и «Кукха. Розановы письма» (1923).

В повести «Ахру» Ремизов описывает свою петербургскую литературную деятельность, рисует портреты друзей и попутчиков — от Блока до Серапионовых братьев, передает атмосферу Дома искусств и Дома литераторов. За всем этим возникает картина послереволюционной России и трудного «житья-бытья» самого писателя. Впервые слышится жалоба и тот всхлип отчаяния от сознания безвозвратности изгнания, которые позднее мрачным рефреном зазвучат на каждой странице «Учителя музыки».

В книге «Кукха. Розановы письма», где воспроизводится предреволюционная эпоха, этого отчаяния нет. «Кукха» — это «память житейская и семейная»[1] о дружбе двух литераторов. Их письма образуют композиционный скелет «Кукхи», вокруг которого строится рассказ о встречах и дружбе Ремизова и Розанова, об их семейных и литературных судьбах.

Письма оживляют память: строчка письма или выражение Розанова пробуждают одно за другим воспоминания — и рассказ развивается, как было и у Розанова в «Опавших листьях», где прочитанная фраза или неожиданная мысль становились поводом для философского размышления или житейского вывода. «Кукха» — не эпистолярный роман, но книга воспоминаний, пробужденных письмами.

Восстанавливая в своих сказках традицию народных сказочников, в каллиграфии — традицию книгописцев, а в «археологических» текстах — традицию летописцев средневековой Руси, Ремизов составляет из старинных документов два поразительных «апокрифа» — книги «Россия в письменах» (1922) и «Пляшущий демон» (1949), в которых средневековые русские и славянские документы чередуются с воспоминаниями автора, с рассказами о его пристрастиях и литературных встречах.

В «России в письменах» «археолог языка» Ремизов обращается к древним текстам, прослеживая изменения языка в веках. Эта книга «представляет собой частично публикацию подлинников, частично стилизацию архивных документов, относящихся к различным этапам исторического прошлого России»[2]. В книге, которая и по своему типографскому исполнению напоминает средневековую рукопись, встречаешь заволжский часовник, ки-

---

[1] Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 9.

[2] Гречишкин С. С. Архив Ремизова (1877—1957) / Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977. С. 26—27.

евский церковнославянский патерик, старинные письма, историю серебряного ковша Петровской эпохи, древнюю азбуку на четырех языках, описание волшебных гадальных карт Сведенборга и даже запись, сделанную в форме креста. Сам процесс общения со старой книгой, сами обстоятельства поиска или иного документа «включают» память Ремизова-рассказчика, вызывая свободный поток воспоминаний и размышлений.

В «Пляшущем демоне» толчок к воспоминаниям дают встречи «живые и книжные». Завороженный хрониками и летописями, Ремизов возвращается во времена Ивана Федорова, участвует в поджоге первой русской типографии, присоединяется к последователям Аввакума, принимает участие в разбойничьих делах Ваньки Каина. Ремизов чувствует, что не он отбирает материал, но материал сам ведет его за собой: «само выбиралось, что было в веках под мою руку и шло к моей руке. В сказках продолжал традицию сказочников, а в письме — книгописцев»[1].

Другой особый вид памяти Ремизова можно назвать «переплеском сна в явь». Когда в его воспоминаниях возникает недавнее прошлое — фактически современность с ее революционным вихрем и переломом, автобиографический текст Ремизова приобретает новую литературную форму и необычную структуру, где сливаются реальные и воображаемые события, историческая хроника и описание снов. Именно в таком «переплеске» из яви в сон изобразил Ремизов русскую революцию, «редчайшую по красочности, ярчайшую и умную хронику революционных лет»[2] в повести «Взвихренная Русь».

Это произведение, написанное в начале эмигрантского периода творчества, порывает с «диктатурой» литературных жанров, объединяя в одно целое рассказ и эпопею, летопись и литературную критику.

Во «Взвихренной Руси» реальнейшие факты и житейские наблюдения пронизаны сновидениями. Сны всегда играли в жизни Ремизова особую роль. Так, в письме от 20 июля 1948 г. к А. Ф. Рязановской он отметил: «всякий день мне снятся сны — моя вторая жизнь, и все в ней по-другому и я непохожий»[3]. Сон для Ремизова отнюдь не бегство в нереальный мир, но скорее прием обогащения реальности. Сон «соучаствует» с реальностью, отражаясь как часть ремизовского «я» в рамках текста. Читая «Взвихренную Русь» без помощи типографского приема — смещения снов в правую сторону страницы, — невозможно было бы отличить описание сновидений от реальных событий. Переплетая сны с историей революционной России и с событиями личной жизни того периода, Ремизов вводил их

---

[1] Ремизов А. М. Подстриженными глазами. С. 45.

[2] Филиппов Б. Заметки об А. Ремизове / Русский альманах. Париж, 1981. С. 230.

[3] Собрание Резниковых (Париж).

в круг своего автобиографического пространства, где они заняли то же место, что и реальные исторические события.

Тот же прием «переплеска сна в явь» используется Ремизовым в повести «По карнизам». Меняется только изображаемое время (1921—1923 гг.), появляются собеседники — немцы, переделывающие его имя в Ремерсдорф, возникает новое место действия — Берлин. «По карнизам» — это «повесть о жизни за границей, тоже про чудесное, тоже легенды о человеке и о судьбе человека»[1]. Впервые в образе писателя-рассказчика, в соответствии с традициями житий святых, возникают черты христианской жалости и смирения. И бытовые зарисовки мелочей жизни: ссоры с консьержками, комиссариаты, ломбарды, меблированные комнаты, долги, мытарства в поисках денег воспринимаются как иносказания о положении человека в мире и вообще о смысле человеческой жизни. Ремизов полностью разовьет этот прием в «Учителе музыки», где рассказ о бытовых тяготах эмигрантского существования, разработанный в духе средневековых житий-легенд, символизирует тяжелый жизненный путь человека.

Все годы писатель наряду с литературным «дневником» ведет и «графический дневник» своей автобиографической *легенды,* который он рисует в различных альбомах ежедневно, едва проснувшись. Эти абстрактные и «визионерские» картины в своей совокупности представляют очевидную параллель его литературному творчеству. Они — своеобразная попытка с помощью графики расширить автобиографическое пространство, пользуясь «зрительной» памятью. Когда слова не могут полностью выразить мысль или переживания, когда языковая условность не соответствует душевному движению писателя, он прибегает к иной знаковой системе — к графике. В этих рисунках Ремизов часто воспроизводит композицию своих автобиографических текстов: в центре картины располагается главный герой или описанное событие, а вокруг образы снов и мечтаний, портреты друзей, зарисовки жизненных сцен. Таким образом параллельно языковым и жанровым поискам писателя возникает в парижские годы и его графическая автобиография: лица, фигуры, сны, любимые чтения, встречи — еще одно свидетельство его стремления как можно подробнее сохранить историю своей жизни и жизни своего поколения. В годы эмиграции у Ремизова формируются целые графические альбомы, предваряющие и подготавливающие его письменную работу. Писатель остро чувствовал единство слова и графики. Языковые и графические знаки для него линейны и потому «одной породы», в то время как «слово —

---

[1] Мочульский К. А. Ремизов. Образ Николая Чудотворца / Современные записки, 1932, № XLIII. С. 479.

музыка — живопись — танец, это „единое и многое“, и у всякого свой ритм, своя мера. Слово вдохновит музыканта, но читать под музыку не выйдет. То же с живописью: картина вызовет слово, но живописать слово — пустое дело»[1].

В автобиографическом пространстве Ремизова слова и графические изображения связаны теснейшим образом, как в древнерусских произведениях — письменность и живопись (фрески, иконы и миниатюры). Ремизовская графика изображает те же события, что и его автобиографические тексты, и использует сходные приемы: тут и там произвольно объединяются исторические эпохи; персонажи снов неотличимы от реальных лиц; прямые и изогнутые линии рисунков делят изобразительное пространство, подобно главам и параграфам пространства письменного. Фантастические образы «зрительной памяти» Ремизова — эти как бы висящие в воздухе фигуры с иератическими жестами и часто с нимбами, эти странные чудовища из снов — родственны образам старинных русских миниатюр и сказочным существам полотен Босха и Брейгеля.

В этом чудесном мире писатель узнает свое видение окружающей реальности и, как миниатюрист Древней Руси, стремится добавить второй, изобразительный рассказ, параллельный рассказу письменному.

Композиция ремизовских автобиографических текстов последних лет подчинена музыкальному построению, симфоническому началу. Главы начинаются песенным повторяющимся мотивом — припевом памяти, которая уходит в подводный поток мыслей, воспоминаний и желаний.

Интермедия «Мышкина дудочка» (1953) сложена как музыкальная партитура с припевом. Действие в ней развертывается в доме, где писатель прожил свои последние парижские годы. Время и место действия — годы второй мировой войны в поврежденном бомбардировками Париже.

«Мышкина дудочка» повествует о происшествиях и деталях повседневной жизни обитателей дома номер 7 по улице Буало, об их ежедневных занятиях. Каждый случай есть повод для Ремизова вспомнить о прошлом: о литературной и театральной Москве былых времен, о русском языке и магии слова. Существование обитателей дома на улице Буало протекает и в реальном Париже, и в некоем магическом пространстве и оборачивается то будничной повседневностью, то некиим «театральным действом».

Непроницаемость внешнего мира, ощущение отьединенности и горькой отверженности — самые характерные черты этого

---

[1] Ремизов А. М. Пляшущий демон. Париж, 1949. С. 9

«действа»: «загнанный я чувствовал себя на месте, и это мое чувство пронизывалось болью. Я понял, что только загнанный я живу и для меня стало „жить“ и „боль“ одно и то же»[1].

Все автобиографические произведения, созданные Ремизовым в последние годы, и особенно «Учитель музыки», содержат эту настойчиво повторяющуюся тему отверженности, одиночества и страдания. Даже в «Подстриженными глазами» — наиболее светлой, солнечной из всех автобиографических книг Ремизова, настоящее — это время скорби и слепоты, время эмиграции и исключенности из жизни, тогда как прошедшее — это идиллия, счастливый мир детства.

«Подстриженными глазами» — это «прапамять» писателя, его возвращение к самому себе, к своим сознательным и бессознательным темам; попытка самоанализа. Это — рассказ о самом процессе ремизовского воображения, книга о творческой жизни человека, вглядывающегося в самого себя и в окружающий мир необычным взглядом; повествование о том, как из разнообразных неудавшихся попыток найти себя в самых разных видах искусства рождается писатель.

Ощущение одиночества, отверженности и обреченности обостряется, когда ремизовская мысль обращается к настоящему. И в записях Н. Кодрянской (ее разговоры с Ремизовым в 1950-е годы), и в своих последних автобиографических сочинениях писатель истолковывает свой литературный и жизненный путь в духе жизнеописаний святых мучеников, видя в нем несомненное сходство со страдальческим опытом православных святых и с горестной судьбой лидера русских старообрядцев XVII в. — «неистового» протопопа Аввакума. Язык написанного им «Жития» вместе с языком апокрифических и канонизированных житий святых сильнейшим образом повлиял на язык Ремизова, в особенности на его лексику, одновременно и ученую, и народную[2]. Своеобразная стилистическая манера Аввакума — нарушение всех литературных традиций, неровный ритм повествования, презрение к всякой «украшенности» речи, отчетливо ощущается в языке и стиле Ремизова.

Многие страницы поздних книг Ремизова рождены под знаком «Жития протопопа Аввакума». Как для «Жития», так и для автобиографической прозы писателя характерно стремление увидеть за повседневными мелочами вечный, непреходящий смысл бытия, найти в малом и личном общечеловеческое. Но если средневековый духовный мир позволял Аввакуму видеть за всеми перипетиями своей судьбы Промысел Божий, то в со-

---

[1] Ремизов А. М. Мышкина дудочка. Париж, 1953. С. 7.

[2] La vié de l'archiprêtre Avvakum écrite par lui-meme, et sa dernière épitre au tsar Alexis, traduits du vieux russe avec une introduction et des notes par Pierre Pascal. Paris, 1960. P. 54.

временном бурном течении истории Ремизов не видит ни смысла вечности, ни высшего духовного порядка. Революционный перелом эпох, стремительное движение личной и мировой истории глубоко ранили писателя, «огненным вихрем» прошлись по его судьбе. Эта «открытая рана» особенно замечается во фрагментарности последних автобиографических текстов, в которых представал конечный вариант его *легенды.*

В 1949 г., перерабатывая материалы для окончательной редакции «Учителя музыки», Ремизов предварил текст кратким предисловием, в котором раскрыл свой замысел: включить эту повесть в число своих автобиографических страниц. «„Учитель музыки“ — моя бытовая автобиография». И если в первом варианте заключительной главы «Чинг-Чанг» он писал: «прошу не путать меня с А. А. Корнетовым, ни с кем из его знакомых и приятелей», то в окончательной редакции писатель, напротив, подчеркнул автобиографический характер текста: «прошу не путать никого с А. А. Корнетовым, ни с кем из его знакомых и приятелей, это я сам».

«Учитель музыки» и есть та легенда, в которую превращает Ремизов свой парижский быт: постоянная нехватка денег, утомительные поиски квартиры, переезды с одного места на другое, беседы и ссоры с консьержками и соседями, изобретение фантастических занятий, сулящих богатство, неудачные поездки на отдых — все, что так отравляет ежедневную жизнь человека, становится материалом «творимой легенды» писателя.

Как один из последних народных сказителей, Ремизов обращается к бездонному запасу памяти, откуда черпает и биографические, и исторические материалы, составляя из них «стоглавую повесть». Уже сам выбор прилагательного «стоглавая» передает ремизовскую мечту о бесконечной книге — «Тысяче и одной ночи» человеческой памяти, которая оживляет прошлое магической силой слова рассказчика.

В «Учителе музыки» бытовые эпизоды перемежаются с сюжетами, заимствованными из журналистской хроники; рассказ о сибирских колдунах соседствует с воспоминаниями детства; за ними следуют африканские сказки; описание путешествий и паломничеств; размышления о человеческом страдании, написанные в форме письма Достоевскому; рассказы из византийской истории; литературные портреты Шестова и Болдырева-Шкотта; авторские отступления о Гоголе и чарующей неповторимости его произведений.

На каждой странице «Учителя музыки» ощущается присутствие великих литературных предшественников и «спутников» Ремизова — Достоевского и Гоголя. От Достоевского идет обостренное восприятие жизненных страданий, глубокое сочувствие человеческому несчастью, стремление найти объяснение человеческой судьбе; от Гоголя — тяга к чудесному, ирреаль-

ному, фантастическому в человеческом существовании. Трактовка персонажей, гиперболические образы, введение снов в словесную ткань текста, само искусство слова и литературная форма роднят «Учителя музыки» с рассказами Гоголя. Как отмечал сам писатель в «Учителе музыки», открытая форма «неоконченных» рассказов-параграфов повести восходит к гоголевской повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»: «Принято думать и такое мнение не только читателей, но попадается и у исследователей Гоголя, будто „Иван Федорович Шпонька и его тетушка" — произведение незаконченное: нет окончания! На самом же деле повесть о Шпоньке совершенно законченная: литературная форма „обрывка"...».

Необычности материала «Учителя музыки» соответствует и новаторское отношение автора к языку. У Ремизова — своя оригинальная концепция развития русского литературного языка, который, по его мнению, был «испорчен» создателем искусного «плетения словес» (XV—XVI вв.) и стал звучать для русского уха как латынь. Современный же язык для него оторван и от старой письменной традиции, опиравшейся на «природную» речь, и от современной устной речи. По мысли Ремизова, задача современного русского писателя — оживить и соединить устный народный и литературный слои русского языка, передавая и в письменном слове живое звучание, интонацию и «музыку» устной речи: «я всю мою жизнь притягиваю слова, чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым сердцем, мои словесные уклады»[1].

Ремизовское отношение к слову ярко проявляется и в его делении писателей на два типа: «одни писатели идут намятой тропой — простой дорогой с готовым словарем, с установившимся взглядом на вещи, мысли и события, без всякого намека на свой взгляд, свое ухо и свою руку, и даровитейшие из них — летописцы — могут оставить большую писанную память в книжную казну. Другие же писатели прут напролом, проминая и пробивая тропу, со своим словом, ухом и рукой и даровитейшие из них — строители — могут оставить не меньшую писанную память и пример»[2].

Ремизов относил себя к «писателям-строителям», которые всегда ищут живое слово, выражение, не боясь ни неологизмов, ни просторечных выражений, не сковывая себя рамками академической грамматики. Во всем творчестве Ремизова словесный поиск направлен на то, чтобы выявить «закон слова — меру слова — вес слова» («Учитель музыки»), чтобы слово проявилось во всей полноте его значения, звучания, графической выразительности.

---

[1] Ремизов А. М. Подстриженными глазами. С. 202.
[2] Ремизов А. М. Крашеные рылá. Берлин, 1922. С. 42.

В языковой ткани «Учителя музыки», еще более сложной, чем в его предыдущих вещах, особенно заметен один прием: текст насыщен французскими словами в русской транскрипции и французскими выражениями, набранными курсивом. Эти слова и выражения играют в тексте «Учителя музыки» роль, во многом аналогичную лесковскому приему переосмысления иностранных терминов в духе «народной этимологии». Лесков стилизовал иностранные термины под разговорную народную речь. Ремизов, употребляя русифицированные французские слова и непереведенные французские выражения, стремился с наибольшей точностью передать разговорную речь и стиль мышления русских эмигрантов во Франции. Не удивительно, что количество этих французских вкраплений в последних главах, написанных в 1940-е годы, заметно выше, чем в первых главах, созданных еще в 1930-х годах. Влюбленный в живое слово, Ремизов стремился воссоздать безостановочный поток воспоминаний, воспроизводя на письме мелодию, интонацию и дыхание устной речи. Как признавал сам автор, в «Учителе музыки» он делал «всякие опыты со словом», стараясь, например, «построить фразу — одним духом без остановки сказано, полстраницы без точки»[1].

Впервые в ремизовском автобиографическом пространстве повествование ведется в третьем лице — прием, неоднократно использованный в прошлом, от мемуаров Цезаря до мемуаров аристократов XVII в., и часто употребляемый в автобиографиях духовных лиц, в которых авторы говорят о себе как о рабах Божьих. Этот прием позволяет Ремизову сохранять дистанцию между собой как автором и образом самого себя, позволяет отрешиться от субъективности и вынести изображаемые события в объективный мир истории, придавая повествованию сверхличный характер,

«Легенда» А. А. Корнетова рассказывается его другом Полетаевым. Вокруг героя и рассказчика вращаются их знакомые и друзья, реальные и вымышленные, с которыми они делят все трудности жизни в изгнании. Некоторым из выдуманных персонажей Ремизов дает и свои литературные псевдонимы (например, Куковников, Судок) — еще один знак автобиографичности этого текста. «Учитель музыки» объединяет в себе черты романа и автобиографии. От романа — полифония голосов: это разные персонажи-свидетели со своим собственным языком, характерами и жизненными историями. От автобиографии — придание герою Корнетову и рассказчику Полетаеву некоторых черт самого автора вплоть до того, что он вовлекает их в ситуации, реально происходившие с ним. Из безошибочно узнаваемых характеристик Ремизова, приписываемых Корнетову и другим персонажам, — патологическая боязнь, любовь к

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С 217.

старым буквам, интерес к древним рукописям, увлечение рисованием, любовь к гнезду-квартире и, особенно, глубоко укорененная связь с русским языком, культурой и историей. В заключение Ремизов раскрывает свой прием: «Я, — и Корнетов и Полетаев и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок и Куковников и Птицин и Петушков и Пытко-Пытковский и Курятников». При чтении первых глав читатель ощущает ту сложную фабульную игру, с помощью которой автор создает свою *легенду* и свой образ. Ремизов рисует фигуру рассказчика Полетаева, который, в свою очередь, повествует о Ремизове-Корнетове и о его жизни с иной точки зрения — внешней, *не-личной,* более беспристрастной. Но на самом деле это точка зрения авторского двойника, который рисует образ Корнетова, заданный ему Ремизовым. Временами рассказчик Полетаев и Корнетов меняются местами: автор забывает свою игру и заменяет «я» Корнетова личностью рассказчика. Портрет «себя-Корнетова», рисуемый Ремизовым в «Учителе музыки», — это лишь фрагмент более сложного и богатого автопортрета, созданного им в своем автобиографическом пространстве. Это трагический портрет писателя, осужденного на «свободу» изгнания.

Семантику звукописи Ремизова позволяет лучше понять толкование символики начальных букв, данное мастером русского авангарда, другом Ремизова Велимиром Хлебниковым. Оно привлекает внимание к букве **К,** с которой начинаются имена многих персонажей «Учителя музыки» и многие ключевые слова, такие, как «каторга», «казнь», «кошмар», «крыса», «крот». Хлебников отмечал: «**К** начинает слова около смерти: колоть, (по)койник, койка, конец, кукла (безжизненный как кукла), или слова лишения свободы: ковать, кузня, ключ, кол, кольца, корень, закон, князь, круг, или малоподвижных вещей: кость, кладь, колода, кол, камень, кот (привыкающий к месту)»[1].

Символическое истолкование Хлебникова помогает разглядеть в «Учителе музыки» не только повесть о парижских годах Ремизова, но и притчу о гибельной окостенелости человека, оторванного от своего языка и культуры, о горькой замкнутости человека в самом себе, в своем доме, в своей комнате-келье-каторге, притчу о человеке, приговоренном к *не-зрению,* к «крысиной доле», к утрате сказочной и игровой стороны существования. «Учитель музыки» перекликается со страдальческими переживаниями и жалобами «Жития протопопа Аввакума». Но Аввакум описал «путь к вольной смерти»[2], Ремизов же — «вольный» затвор изгнания.

Антонелла д'Амелия

---

[1] Хлебников В. Собрание сочинений. М., 1928—1933. Т. III. С. 205.
[2] Ремизов А. М. Встречи. Париж, 1981. С. 110.

КОММЕНТАРИИ

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. Каторжная идиллия

Впервые опубликовано: Ремизов А. Учитель музыки. Подготовка к печати, вступит. статья и примеч. А.Д'Амелия. Paris: LA PRESS LIBRE, [1983]. (УМ)

Публикации отдельных частей, глав и разделов.

Предисловие. Впервые: Воля России (Прага), 1931, № 1/2. С. 3—4.

Часть первая. Петербургские Святки и Летопроводец.

Публикация отдельных глав первой части:

Гл. I. Тысяча съеденных котлет. I) Впервые: рассказ под загл. «Глаголица»: Речь (СПб), 1911, № 354, 25 дек.; 2) То же, в сб.: Ремизов А. Весеннее порошье. СПб., 1912. С. 211—228; **II)** под общ. загл. «Учитель музыки» и подзаг. «Тысяча съеденных котлет» / Воля России (Прага), 1931, № 1/2. С. 4—19.

Гл. II. Оказион. I) Впервые: рассказ под загл. «Оказион» / Заветы (СПб.), 1913, № 12. С. 13—34; 2) под загл. «Оказион» <части 1 и 4 расширенной редакции> / Ремизов А. Весеннее порошье. С. 231—236, 244—256; **II)** под загл. «Покаянный рассказ. С покойника. Доисторическое» / Новая нива (Рига), 1926, № 39, 9 окт.; **III)** под общ. загл. «Учитель музыки» и подзаг. «Оказион» / Воля России (Прага), 1931, № 1/2. С. 19—34; **IV)** под загл. «Эмпермеабль» / ПН, 1934, № 5024, 25 дек.

Гл. III. На птичьих правах. **I)** Впервые: рассказ под загл. «На птичьих правах» / БВ, 1915, № 15920, 25 дек.; то же, в сб.: Ремизов А. Среди мурья. М., 1917.С. 45—56; **II)** под общ. загл. «Учитель музыки» и подзаг. «На птичьих правах» / Воля России (Прага), 1931, № 1/2. С. 34—43.

Часть вторая. Парижское воскресенье.

Публикция отдельных глав второй части:

Гл. I. Буйволовы рога. I) Впервые: под загл. «Буйволовы рога. Парижская легенда» (в составе: разд. «Китайский повар», «Complet» / ПН, 1929, № 2958, 28 апр.; **II)** Воля России (Прага), 1931, № 7/9. С. 563—574.

Гл. II. Счастливые слоны. I) Впервые: 1) под загл. «Счастливые слоны. Парижская легенда (1. Греческий огонь. 2. Ветчина с горчицей)» / ПН, 1929, № 3105, 22 сент., 2) под загл. «Счастливые слоны. Парижская легенда (3. Эмблема счастья)» / ПН, 1929, № 3154, 10 ноября; **II)** Воля России (Прага), 1931, № 7/9. С. 576—596.

Гл. III. Железные сапоги. I) Впервые: 1) под загл. «Парижские легенды. Попугаева болезнь» (в составе: разд. «Попугаева болезнь», «Шато») / ПН, 1930, № 3371, 15 июня, 2) под загл. «Съеденное сердце (1. Посвященный. 2. Куси)» (в составе: разд. «Съеденное сердце») / ПН, 1930, № 3496, 18 окт., 3) раздел «Черные сказки»: а) под загл. «Три сказки (Откуда рыба в море. Первые слезы.

Мудрая черепаха)» / Звено (Париж), 1923, № 44, 3 дек, б) под загл. «Нигерские сказки (Рыба. Черепаха, Кабильская сказка. Первые слезы)» / Москва (Чикаго), 1931, № 12. С. 2—3; раздел «Забытый юбилей» / ПН, 1930, № 3564, 25 дек; II) Воля России (Прага), 1931, № 10/12. С. 691—727.

Часть третья.

Публикация отдельных глав третьей части:

Гл. I. Индустриальная подкова. Впервые: 1) разд. «Zut» под загл. «Индустриальная подкова» / Числа (Париж), 1931, № 5. С. 108—143; 2) раздел «Три желания» под тем же назв. / СЗ, 1931, № XLVII. С. 65—85.

Гл. II. Заваль. Впервые: 1) разд. «Тло»: а) частично, под загл. «Ералаш» / Русский магазин (Таллин), 1930, № 1. С. 5; б) частично, под загл. «Свой мир» (разд «Одиннадцать диоптрий») / Русский магазин (Таллин), 1930, № 1. С. 5—7; в) ПН, 1931, № 3798, 16 авг.; 2) разд. «Аэр» / ПН, 1932, № 4057, 1 мая; 3) разд. «Ералаш (Ни рыба, ни мясо. Билис)»: а) под тем же загл. / ПН, 1931, № 3763, 12 июля; б) под загл. «Руска галериа сликара А. Л. Билиса», подпись-псевдоним «Вас. Куковников» (перев. на сербс.) / Руски Архив (Београд), 1931, № 13.

Гл. III. Юнёр. Впервые: Сатирикон (Париж), 1931, № 20, 15 авг, № 21, 20—22 авг.; под тем же загл., подпись-псевдоним «Вас. Куковников» (перев. на сербс) / Руски Архив (Београд), 1931, № 13.

Часть четвертая.

Публикация отдельных глав четвертой части:

Гл. I. Камертон. Впервые: 1) разд. «Кран Гиппопотама» / СЗ, 1932, № L. С. 96—112; 2) разд. «Интегралы. Сонорная геометрия»: а) под загл. «Intégrales Géométrie sonore» (текст — на рус. яз.) / Кино (Париж), 1931, № 12; б) под загл. «Интегралы. Звучащая геометрия» / Русский инвалид (Париж), 1932, № 41, 22 мая; 3) разд. «Километр»: а) под загл. «Самоцветное» (в составе подгл. «Прага») / ПН, 1924, № 1358, 28 сент.; б) под загл. «Километр» (в составе подгл. «Прага. Карлсбад») / Мир и искусство (Париж), 1931, № 13; в) под загл. «К Еленину скоку» в составе второй части подгл. «Карлсбад») / Звено (Париж), 1924, № 82, 13 окт.

Гл. II. На крайний камень. Впервые: 1) разд. «Кэмпер» под загл. «На крайний камень (1. Кэмпер)» / ПН, 1932, № 4148, 31 авг.; 2) разд. «Пуант-дю-Раз» под загл. «На крайний камень (2. Пуант-дю-Ра)» / ПН, 1932, № 4183, 4 сент.

Гл. III. Прессинг. Впервые: 1) разд. «Пустяки» Под тем же загл. / ПН, 1933, № 4385, 26 марта; 2) разд. «Письмо Достоевскому» под тем же загл: а) ПН, 1933, № 4407, 16 апр.; б) НРС (Нью-Йорк), 1954, № 15534, 7 ноября; 3) разд. «Над могилой Болдырева-Шкотта» под тем же загл. / ПН, 1933, № 4453, 1 июня; 4) разд. «На воздушном океане» под тем же загл. / ПН, 1931, № 3971, 13 дек.

Часть пятая. Мышеонально.

Публикация отдельных разделов пятой части:

Разд. I. Полет на луну. I) Впервые: Мышеонально. Полет на луну [с рисунками А. Ремизова] / За рулем (Париж), 1933, № 6; II) под загл. «Мышеонально (Из стоглавой повести «Учитель музыки»). Полет на луну» / НРС, 1954, № 15408, 4 июля.

Разд. II. Воровской самоучитель. Впервые: под тем же загл. (краткий вариант) / ПН, 1933, № 4477, 25 июня.

Разд. III. Шиш еловый. Впервые: под тем же загл. / Числа (Париж), 1933, № 9. С. 57—88.

Разд. IV. Свидетельство о бедности. Впервые: под тем же загл / Встречи (Париж), 1934, № 5. С. 195—203.

Разд. V. Куаффер. Впервые: под тем же загл. / ПН, 1933, № 4582—4583, 8—9 окт.

Разд. VI. Акробат. Впервые: под тем же загл. / НРС, 1952, № 14820, 23 ноября.

Часть шестая. На рожон.

Публикация отдельных глав шестой части:

Гл. I. Ы. Впервые: под тем же загл. / ПН, 1934, № 4784, 29 апр.

Гл. II. На каторге. Впервые: под тем же загл. (сокр. вар) / ПН, 1935, № 5043, 13 янв.

Гл. III. Трактирные обои. Впервые: под тем же загл. (сокр. вар.) / ПН, 1934, № 4756, 1 апр.

Гл. IV. Слепая. Впервые: а) под загл. «Слепая (1. Не все понимаю. 2. Дорожные узлы. 3. Борода крючком)» (сокр;. вар) / ПН, 1934, № 4881, 4 авг; б) разд. «Во сне» / Русский инвалид (Париж), 1935, № 79, май; в) разд. «Приключение» под загл. «Слепая (5. Приключение)» (сокр. вар) / ПН, 1934, № 4888, 11 авг.

Гл. V. Эмпермеабль. Впервые: под тем же загл (сокр. вар) / ПН, 1934, № 5024, 25 дек.

Часть седьмая. Грубые дни.

Публикация отдельных разделов седьмой части:

Разд. I. На хлеб. Впервые: под тем же загл. / ПН, 1935, № 5159, 18 мая.

Разд. II. Голландец. Впервые: под тем же загл. / НРС, 1952, № 14834, 7 дек.

Разд. III. Басаврюк. Впервые: под тем же загл. / ПН, 1935, № 5238, 27 июля.

Разд. IV. Ревизор. I) Впервые: под тем же загл. / ПН, 1935, № 5267, 25 авг; **II)** Вторая часть разд. (от «на воле дождик прошел, но очень дуло..» и до конца) — под загл. «Но сердце не отпускает» / Мышкина дудочка С. 22—26.

Разд. V. Случай из «Вия». Впервые· Вторая часть разд. (от «А никуда я не хожу.» и до конца) — под загл. «Без начала» / ПН, 1935, № 5389, 25 дек

Разд. VI. Болтун. Впервые: под тем же загл. / СЗ, 1936, № LXI. С. 114—136.

Разд. VII. Памяти Льва Шестова. Впервые: под тем же загл. / ПН, 1938, № 6451, 24 ноября.

Чинг-Чанг. Впервые: под тем же загл. / СЗ, 1933, № LI. С. 265—272.

Рукописные источники:

«Учитель музыки» — планы, черновые материалы к книге. Соответственно по каждой главе. планы, наброски, черновые и беловые автографы вариантов глав, корректуры газетных публикаций с авторской правкой. Крайние даты документов· «1929»—«1938». — ЦРК АК. Кор. 15. Папки. 17—42, Кор. 16 Папки 1—8, **«Учитель музыки»** — планы, черновые материалы к книге, <1930—1940-е> — Собрание Резниковых; **«Учитель музыки. Повесть»** (гл. «Тысяча съеденных котлет», «Оказион», «На птичьих правах») — черновой

автограф с правкой. Дата: «1930», правка — <1940-е>. — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 8. 36 л.; («О Достоевском», «На воздушном океане» [варианты глав кн. «Учитель музыки»] — черновой автограф с правкой, «1931—1950») — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед хр. 9. 41 л ; **«Учитель музыки. Повесть»** — черновой автограф глав, не вошедших в окончательный текст, «25 апр<еля> 1950». — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 24. 50 л ; **«Учитель музыки. Каторжная идиллия».** Ч. I—VII. — Наборная рукопись книги. Беловой автограф, авториз. машинопись, печ. тексты. Дата: «1 марта 1949» — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 7—9. 398 л.; **«Учитель музыки. Каторжная идиллия».** Ч. I—VII. — Наборная рукопись книги. Беловой автограф, авториз. машинопись, печ. тексты. Дата: «1 марта 1949» — Собрание Резниковых.

В настоящем издании «Учитель музыки» публикуется по наборной рукописи из Собрания Резниковых (Париж) с исправлением опечаток по варианту наборной рукописи РГАЛИ.

Текстологическая история книги «Учитель музыки» еще ждет своего изучения. На основе предварительного анализа рукописных источников и публикаций можно сделать ряд предварительных выводов. Замысел «Каторжной идиллии» относится к концу 1920-х гг. Первоначально рассказ о безрадостном настоящем (тема «Учителя музыки») был соединен с повествованием о становлении личности писателя, чья реальная жизнь соединена с светлым бытием его духа, легко меняющего времена и пространства. В начале 1930-х гг. этот замысел претерпел изменения, в результате чего Ремизов стал параллельно работать над двумя книгами: «Учитель музыки» и «Подстриженными глазами». О единых истоках обеих книг свидетельствует наборная рукопись первоначальной редакции книги «Подстриженными глазами» (Бахметевский архив), героями которой являются персонажи «Учителя музыки». Подробнее см. комментарии к кн. «Подстриженными глазами» (т. 8 наст. Собр. соч).

Время создания Первой редакции «Учителя музыки» можно примерно датировать 1931—1934 гг. Об этом свидетельствуют письма к Ремизову друзей и редакционных работников, относящиеся к тому времени. В начале 1931 г. В. Б. Сосинский отвечал Ремизову на его письмо, касающееся планов публикации нового произведения: «Очень нравится мне идея напечатания «У<чителя> М<узыки>» в «В<оле> Р<оссии>» — хотя досадно, что ее («В<олю> Р<оссии>») никто не читает, а ведь «У<чителя> М<узыки>» должно прочесть как можно больше народу (ужели «Совр<еменные> Зап<иски>» — заказаны) (ЦРК АК). Когда вопрос о публикации хотя бы части повести в «Воле России» был решен, М. Слоним сообщал Ремизову 3 февраля 1931 г.: «...получил Вашу повесть «Учитель музыки» и очень Вас за нее благодарю. Она пойдет в номере «Воли России», выходящем 15 февраля» (ЦРК АК). В «Воле России» (1931, № 1/2) текст Ремизова был опубликован под заглавием «Учитель музыки. Повесть. Часть первая» и предисловием: «*От редакции:* некоторые части глав появились в периодической печати, как отдельные рассказы, или, по терминологии художников, как „этюды“, в целом же предлагаемая повесть, являющаяся первой частью эпопеи „Учитель музыки“, печатается впервые» (Там же. С. 3). Примечательно указание на необычную жанровую структуру нового произведения: эпопея состоящая из повестей. После появления первой части в журнале М. Слоним писал Ремизову 11 апреля 1931 г : «Очень мне хочется для „Воли России“ получить вторую часть „Учителя музыки“, может быть я ошибаюсь,

но кажется мне, [это. — *Ред*] самое замечательное, что Вы написали после „Взвихренной Руси“» (ЦРК АК). О ходе публикации повести свидетельствует письмо к Ремизову его давнего друга В. В. Перемиловского от 29 июля 1934 г.: «Вы пишете, что I ч<асть> „Учителя музыки“ почти закончена — ненапечатанной лежат „Слепая“ (после этого письма ч<асть> „Слепая“ появилась в «П<оследних> Н<овостях>»). И там же, Вы говорите, что „Трактир<ные> обои“ — конец I ч<асти>. Нельзя ли было бы просить Вас прислать перечень глав „Учителя музыки“, поскольку они появились в „П<оследних> Н<овостях“» (ЦРК АК) В ответ Ремизов прислал Перемиловскому план своего произведения. «**Учитель музыки** / **Книга I** / На воздушном океане / **Часть первая** / *Гл. I.Тысяча съеденных котлет* / 1) Личность / 2) Самое страшное / 3) Нойда / *Гл. II. Оказион* / 1) Чертова рюмка / 2) Автомобиль / 3) Погасили / *Глава III. На птичьих правах* / 1) Диковинка / 2) Волчий век / 3) Современный маньяк / 4) Басаркуны / **Часть вторая** / *Гл. I. Буйволовы рога* / 1) Китайский повар / 2) Complet / 3) Ночь / *Гл II Счастливые слоны* / 1) Греческий огонь / 2) Ветчина с горчицей / 3) Эмблема счастья / *Гл. III. Железные сапоги* / 1) Попугаева болезнь / 2) Съеденное сердце / 3) Забытый юбилей / 4) Черные сказки / **Часть третья** / *Гл. I. Индустриальная подкова* / 1) Zût / 2) Три желания / 3) Дело в шляпе / *Гл. II. Завал* / 1) Тло / 2) Аэр / 3) Ералаш / 4) Простокваша / *Гл. III. Юнёр* / **Часть четвертая** / *Гл. I. Камертон* / 1) Кран гиппопотама / 2) Интегралы / 3) Километры / 4) Факультатив / *Гл. II. На крайний камень* / 1) Идиллия / 2) Кэмпер / 3) Пуант-дю-Ра / *Гл. III. Прессинг* / 1) Пустяки / 2) Письмо Ф. М. Достоевскому / 3) Над могилой / 4) Полет на луну / 5) Воровской самоучитель / 6) Свидетельство о бедности / 7) Шиш еловый / **Часть пятая** / 1) Куафер / 2) Ы / 3) Слепая / Чинг-чанг» (Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемиловскому. Подгот. текста Т. С. Царьковой, вступит. статья и примеч. А. М. Грачевой / Рус. лит., 1990, № 2. С. 221—222). В посланиях Перемиловскому Ремизов сообщал о ходе своей работы над книгой «Учитель музыки». Из этих доверительных писем можно сделать вывод (распространяющийся и на другие работы Ремизова), что *он считал творческий процесс законченным только тогда, когда рукопись появлялась в печати в виде отдельной книги* (См.: Там же. С. 218—222). В связи с этим прекращение последовательной публикации книги в «Воле России», а также продолжение печатания отдельных глав и разделов в периодике было для Ремизова стимулом продолжения работы над *фактически* законченным произведением, но остававшимся *незавершенным с его точки зрения — т. е. не опубликованным целиком в виде книги.* Творческая работа над текстом продолжалась. «Каторжная идиллия» разрасталась, вбирая в себя как новые события парижской жизни, а также события «ментальные» — этапы дальнейшего духовного развития писателя. Изучение промежуточных редакций текста — задача дальнейших исследований.

В итоге окончательная редакция «Учителя музыки» была завершена в начале 1949 г. Из-за столь длительного процесса создания произведения и его частичной публикации в 1930—1940-е гг. в периодике в этой редакции остался разнобой в датах, отражающих время написания отдельных частей повести («седьмой год в изгнании», «десятый год в изгнании» и т. п.).

Упоминание о работе над окончательной редакцией «Учителя музыки» зафиксировано в письме Ремизова Н. В. Кодрянской от февраля 1949 г.: «.. как бы я хотел, чтобы вы прочитали эту «Идиллию» <...> это мечта о радости

жизни из кипучей горести жизни. Моя автобиография» (Кодрянская. Письма. С. 113).

В процессе работы над книгой план и композиция «идиллии», как ее часто называл Ремизов в своих письмах, претерпели значительные изменения. Прежде всего резко увеличился ее объем. Так, в феврале 1949 г. Ремизов писал Кодрянской: «Мучаюсь над «Учителем музыки». Все это автобиография, как и «Les yeux tondus»... Из последних глав поправляю свои ошибки. И какая-то черная боль (Ихнелата) вскипает. Будет всего один экземпляр. Пока все «Идиллия», но конец — «Письмо Достоевскому» полное отчаяния (написано в 1933 году, весной на Пасху)». (Кодрянская. Письма. С. 112). Напомним, что в окончательной редакции «Письмо Достоевскому» входит в третью главу четвертой части, за которой следуют еще три.

В рассказе «Чинг-чанг» (1933), который позднее станет послесловием к книге, говорится о «стоглавой идиллии, заключающей в себе 25 глав» — свидетельство того, как Ремизов первоначально представлял себе размер повести, которая в окончательной редакции состоит из предисловия, семи частей и послесловия. Кроме того, в варианте оглавления «Учителя музыки», сохранившемся среди рабочих материалов писателя в Собр. Резниковых, были указаны главы, позднее исключенные автором. Такие, как, например, глава «Басаркуньи сказки» (1925). Ремизов планировал, но так и не включил ее в первую часть повести. А рассказ «В сияньи голубом», по плану предназначавшийся для третьей части, был включен Ремизовым в книгу «Мышкина дудочка».

Рассказы-воспоминания, кочующие из одной книг в другую, весьма показательны для творческого процесса Ремизова. Писатель вновь и вновь возвращался к любимым темам и образам и вводил их — то с небольшими изменениями, то с основательными переработками — в свои книги. Так, например, главы «Тло» и «Аэр» из «Учителя музыки» под новыми заглавиями и в переработанном виде были включены в книгу «Подстриженными глазами».

Ремизов стремился сохранить в письменном тексте все возможности устной речи. В «Учителе музыки» сказки и легенды соседствуют с описательными главами, с изображением мелочей повседневной парижской жизни. Хронологическая неточность Ремизова во многом объясняется свободой устного рассказа, в котором эпизоды прошлого передаются вольно, иногда с большей долей выдумки, и реальнейшие факты перемежаются с плодами авторского воображения. К этой свободе устного рассказа, многократно усиленной страстью писателя к литературной игре, восходят и многочисленные изменения и переделки, привносимые Ремизовым и особенно заметные в тех двух главах — «Юнер» и «Ералаш», где он рассказывает о парижской «культурной жизни», произвольно меняя собственные имена героев повествования — своих современников. Так он заменяет имена живших в Париже русских писателей и критиков того времени именами других, не реальных лиц литературного мира.

Если хронист запоминает и документирует события, то рассказчик воспроизводит их, обогащая вымышленными происшествиями и игрой фантазии. Он не стремится к точной передаче прошлого, как сделал бы историк, но излагает факты, воспроизводя их сквозь призму собственного опыта. Так Ремизов вводит происшествия рассказов своего петербургского периода в ткань «Учителя музыки», представляя их как этапы своей автобиографии.

Тон устного рассказа поддерживается и частым использованием глаголов

настоящего времени во втором лице единственного числа — прием, предполагающий наличие слушателя. Об этом свидетельствуют многочисленные изменения в окончательной редакции. Кроме того, в «Учителе музыки» писатель устраняет ссылки на авторов цитируемых им фраз: отрывки из классиков — прежде всего любимых им Гоголя и Достоевского — даются в кавычках, но без прямых ссылок. Рассказчик приводит выражения и суждения классиков, но не заботится сообщить об их источнике, вычеркивая фразы вроде «по выражению Достоевского» или «такое есть у Достоевского», «писал Гоголь» и т. д.

Перерабатывая ранее опубликованные отрывки и рассказы в автобиографическую повесть, Ремизов использует следующие приемы: а) Корнетов и другие персонажи наделяются безошибочно узнаваемыми автобиографическими чертами; б) вымышленные имена ряда персонажей заменяются именами реальных лиц, послуживших прообразами ремизовских героев; в) времена повествования часто переносятся из прошлого в настоящее.

Особенно интересна эволюция, которую претерпевает образ Корнетова. Действительный статский советник — главный персонаж дореволюционного ремизовского рассказа «Глаголица», став героем первого варианта будущей повести (1931), превращается в учителя музыки, которому Ремизов придает многие собственные черты. Вводя «Глаголицу» в состав «Учителя музыки», Ремизов также вносит многочисленные изменения в изображения среды и самих событий, представленных в раннем рассказе. Так, друзья, посещающие дом Корнетова, которые в «Глаголице» характеризовались обобщенно, по принадлежности к той или иной профессии, в «Учителе музыки» получают собственные имена. инженер Дымов, певец Труханов, моряк Мукалов и т. д.

Подготавливая окончательную редакцию «Учителя музыки», Ремизов внес последние уточнения в имена персонажей. «Писатель Судок», оставаясь псевдонимом самого автора и самостоятельным персонажем, одновременно идентифицируется им как К. И. Чуковский; «известный Иван Александрович Электрический» становится И. А. Рязановским-Электрическим; философ Быков, учение которого определялось как «мистическое бродяжничество», назван, по имени своего прототипа, Бердяевым. Аналогично реальные лица, которые в ранних редакциях обозначались писателем только по имени и отчеству (Павел Николаевич, Владимир Николаевич, Маргарита Борисовна, Ростик и т. д), в окончательном варианте выведены под своими реальныим фамилиями: Павел Николаевич Милюков, Владимир Николаевич Лебедев, Маргарита Борисовна Исаева, Ростик Гофман и т. д.

В последнюю редакцию «Учителя музыки» Ремизов добавил и новые автобиографические эпизоды, например, детали своего отъезда из России, карантина в Нарве и т. д.

Трагическое восприятие действительности характерно для многих произведений Ремизова. Однако новые главы, включенные в состав «Учителя музыки», и многочисленные вставки, внесенные в ранее опубликованные рассказы, отличаются особенно мрачным тоном. Описание событий и мелочей парижского быта пронизано мыслями о безнадежности положения эмигранта и беспросветности эмиграции-каторги. В предисловии к книге, написанном в марте 1949 г, Ремизов отметил, что «незаметно идиллия перешла в „каторжную идиллию с припевом — пропад“»; и в заключительной главе «Чинг-чанг» «стоглавую идиллию» заменяет «каторжная идиллия», а «затеянный стоглав» становится «каторжной хроникой».

К существенным новациям, внесенным Ремизовым в окончательную редакцию повести, относится правка текста, обусловленная изменением его отношения к Советскому Союзу в послевоенные годы. Составляя окончательный текст «Учителя музыки», писатель старался устранить все «антисоветские» высказывания, вычеркивая фразы и абзацы, которые могли быть поняты как враждебные по отношению к СССР.

Ремизов внес многочисленные изменения в типографскую композицию страниц, которой он всегда уделял много внимания, видя в ней способ передать на письме звучание и интонацию голоса писателя-рассказчика: «знаки препинания — и запятые, и всякие многоточия и тире — дают *интонацию*. Рукопись приближается к партитуре» (Кодрянская. С. 140.) Повествуя о своей судьбе, Ремизов-рассказчик искал в «Учителе музыки» новый тон и новые «жесты», соответствующие своему трагическому настроению. Со страниц повести исчезли некоторые интонационные знаки, из фраз выброшены условные союзы, уменьшены абзацы. Вся типографская структура страницы стала более сжатой и единообразной; повествовательный материал часто иначе разделен внутри одной и той же главы, появились новые разделы и подразделы, соответствующие другому порядку расположения воспоминаний. Ремизов сам не раз подчеркивал значение подготовительной работы над материалом: «вставки, сокращения, интерполяция, распространение, амплификация, не надо никакой морали. Образ не нуждается в подписи. По материалам — надо приспособлять и к своей земле (обстановке) и к своим чувствам и понятиям» (Кодрянская. С.131—132).

Повествовательная форма окончательной редакции «Учителя музыки» соответствует мучительному душевному состоянию Ремизова в кругу парижской эмиграции и «приспособлена» к выражению настроения периода трагических послевоенных лет, проведенных им в полуслепом одиночестве. Автобиографическая легенда подверглась значительной стилистической обработке: изменилась звуковая ткань текста, основанная — как и во всех произведениях Ремизова — на интонациях живой речи. Но живая речь, которая слышится в страдальческой интонации последней редакции «Учителя музыки», передана писателем без использования ряда ритмо-мелодических приемов, присутствующих в первых редакциях уже напечатанных глав.

В «Учителе музыки» повествовательный сказ Ремизова утратил фольклорный лад, столь типичный для его петербургского периода: теперь почти не используются обратный порядок слов, повторяющиеся эпитеты, внутренние рифмы, утрачена общая напевность речи.

Анализ редакций и вариантов «Учителя музыки» позволяет проследить настойчивое стремление Ремизова соблюсти в тексте те строгие законы стиля, которые он сформулировал в своих последних записях о писательском труде: «сочетание слов проверять на слух. Полоть фразы, выпалывая речевые приставки вроде «же», «уж». Вычеркивать синонимы и повторения — не рефрен и припев. Забыть метрические и паспортные признаки, кроме особых, и что труднее всего, выжечь формулы выражений, клише... Искусство — выбор и порядок». (Кодрянская. С. 140—141).

С. 7. *Легенда о Александре Александровиче Корнетове...* — Слово «легенда» впервые появляется в 1931 г. в журн. «Воля России», когда Ремизов, перерабатывая рассказ «Глаголица», усилил его автобиографический характер. Имя

А. А. Корнетова впервые появилось в этом рассказе, который, как вспоминал Ремизов в разговорах с Н. В. Резниковой, он обсуждал до публикации с А. А. Блоком (см.: Александр Блок. Новые материалы и исследования. ЛН. Т. 92. Кн. 2. Москва, 1981. С. 99). Изначально образ Корнетова имеет полигенетический характер. Среди его более прямых реальных прототипов сам автор, детстве учившийся играть на корнет-а-пистоне у учителя музыки Александра Александровича Скворцова (см. гл. «Музыкант» кн. «Подстриженными глазами»), и ученый-медиевист, знаток глаголицы, профессор Петербургского университета, статский советник Илья Александрович Шляпкин Он также преподавал русскую палеографию в Императорском Петербургском Археологическом Институте, его ученицей была С. П. Ремизова-Довгелло, и тогда же состоялось его знакомство с Ремизовым. В рассказе «Глаголица» (1912) обстоятельства биографии и жизни героя были настолько сближены с реалиями судьбы и быта И. А. Шляпкина, что в академических кругах дискутировался вопрос о «пасквильном» характере ремизовского рассказа. Подробнее см.: Грачева А. М. Из истории контактов А. М. Ремизова с медиевистами начала XX века (Илья Александрович Шляпкин) // ТОДРЛ. Т. 46. СПб., 1993. С. 158—169. В 1929 г. в Париже Ремизов на своем литературном вечере читал рассказ «Буйволовы рога» (первая глава второй части «Учителя музыки»), объявленный в программе как «рассказ из «парижских легенд» из повести "Глаголица"» (см.: Б<ез> п<одписи> Вечер А. М. Ремизова // Москва (Чикаго), 1929, № 7 С. 24). Новое заглавие «Учитель музыки» и портрет А. А. Корнетова как «учителя музыки» появляются только в 1931 г. в ж. «Воля России».

С. 8... *боязнь его всеобъемлющая...* — О своей всеобъемлющей боязни Ремизов пишет в кн. «Подстриженными глазами» (гл. «Домашний маляр»).

...писал письма и всякие дружеские послания «глаголицей». — Глаголица — древнейшая славянская азбука, созданная в IX в., по мнению одних исследователей, просветителем св. Кириллом (Константином, 826—869 гг.), по мнению других — его учениками. С середины 1910-х гг. Ремизов свободно владел глаголицей и неоднократно употреблял ее в переписке (см : Алексей Ремизов и древнерусская культура. С. 78—91). К. Федин вспоминал «забавные ремизовские документы, сплошь увитые его замысловатыми росчерками, вязь из букв и слова, с печатями, заключавшими в себе чертовские знаки, изображения уродов и непонятные надписи глаголицей, которую Ремизов изучил совершенно» (Федин К. Горький среди нас. Москва, 1968. С. 114).

...нет у Корнетова ~ орленого золотого значка Археологического Института... — Характерное для Ремизова «прояснение» давнего прототипа героя — профессора Археологического Института И. А. Шляпкина. Ср. в тексте рассказа «Глаголица» (1912): «...Корнетов не ученый ~ нет у него ~ орленого золотого значка...» Т.3 наст. Собр. соч. С. 211).

С. 9. *Маниак...* — Ср. упоминание о Ремизове в «Дневниках» В. Я. Брюсова: «Еще какой-то из Вологды — Ремизов. Они сидят там, в Вологде, выписывают Верхарна, читают, судят. Этот Ремизов немного растерянный маньяк» (Брюсов В. Я. Дневники. 1891—1900. Москва, 1927. С. 122). В дневниковой записи от 28 марта 1957 г. сам Ремизов вспоминает свое литературное выступление и тетрадь с текстом «Шурум-Бурум», посланную из тюрьмы мэтру московских символистов: «Через год Брюсов вернет ее с памятными словами. Парчовый лоскут на сером сукне. Я понял, Брюсов хотел сделать

прозу как конструкцию без всякого цвета, без всяких завитушек — не напоенное слово, сухое, точное. В дневнике XI. 1902 г. В. Я. Брюсов запишет «маньяк». Как это верно сказано: моя одержимость, словесная страсть никогда не гасла и не остывала. В жизни я слежу, как звучит, слово для меня первое» (Кодрянская. С. 318).

С. 10. *Пауль Рюкерт из Митавы ~ немецкий поэт'* — Как установила Е. Р. Обатнина этот персонаж имеет двух прототипов: 1) немецкого поэта, знакомого и посетителя дома Ремизова Ганса фон Гюнтера (1886—1973); 2) тестя брата писателя — Сергея — Федора Ивановича Рюккерта (см. коммент. к Т. 3 наст. Собр. соч. С. 630).

Жил Корнетов на Кавалергардской... — Ремизов жил по адресу: Кавалергардская ул., д. 8, кв. 28 с августа 1906 по июнь 1907 г. См. также его воспоминания: «...с 5-ой Рождественской мы переехали на Кавалергардскую в достраивающийся дом Пундика „просушивать стены"» (Кукха. С. 45). См. также ассоциацию названий комнат квартиры с названиями помещений в квартире Шляпкина (см.: Грачева А. М. Из истории контактов А. М. Ремизова с медиевистами начала XX века (Илья Александрович Шляпкин). С. 158—169).

С. 11 .. *на Рожество...* — В некоторых главах «Учителя музыки» Ремизов пишет слова согласно их произношению, а не правописанию, используя — по его выражению — «фонетическое правописание» (Подстриженными глазами. С. 37). См. также: «.. по-русски говорили: дожь, надежа, рожество, хожение, «д» с XIV века (сербский подарок)» (Кодрянская. Письма. С. 133). В данном издании сохранены варианты авторского написания одних и тех же слов.

...в день Симеона-Летопроводца 1-го сентября ~ справлял Корнетов «кудесовы» поминки — хоронил муху, блоху, комара... — «Существовало поверье, что с этого дня прекращают свою жизнь мухи, тараканы, клопы и другие насекомые. На севере России бытовал обычай хоронить мух. Молодежь, в основном девушки, делали из овощей ~ гробики, клали в них пойманных мух и предавали земле. ~ кто-нибудь ~ должен был ~ приговаривать: ~ „Мухи вы мухи, комаровы подруги, пора умирать"» (Праздники и знаменательные даты православного и народного календаря. Сост. А. В. Козлов. СПб., 1993. С. 165).

С. 14. *...писатель Иван Козлок ~ мы только что переехали на новую квартиру в дом Хренова.* — Образ этого героя также имеет автобиографическую основу. С сентября 1910 по июнь 1915 Ремизов жил на Таврической ул., д. 3в, кв. 29, в «доме Хренова». В кн. «Подстриженными глазами» Козлок — прозвище учителя чистописания Ивана Алексеевича Иванова (с. 46). В «Мышкиной дудочке» «Козлоки» — общее имя для случайных посетителей. Расшифровка текста «Учителя музыки» представляет значительные трудности, ибо Ремизов, по своему обыкновению, описывая реальных лиц, употребляет то их подлинные имена, то изобретенные им прозвища. Одновременно он вводит в повествование выдуманных персонажей или наделяет их своими собственными псевдонимами («баснописец» Куковников, «залесный аптекарь» Судок). Еще до революции он изобрел «некий таинственный орден, созданный им, — «Обезьянья великая и вольная палата» или «Обезвелволпал». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей-писателей: Е. И. Замятина, П. Е. Щеголева, „Серапионов"» (Эренбург И. Люди, годы, жизнь / Эренбург И. Собр. соч. В 9 т. М., 1966. Т. 8. С. 435). В свою обезьянью палату Ремизов играл всю жизнь. См. также: Обатнина Е. Р. «Обезьянья Великая и Вольная Палата» А. М. Ремизова:

история литертурной игры. Автореферат кандидатской диссертации СПб, 1998 18 с Многие имена и прозвища в «Учителе музыки» восходят к этой ремизовской «игре» «Почти у всех знакомых Алексея Михайловича (многие были членами Обезьяньей Палаты) были прозвища: Утенок, Мэнада, Нерпа, дядя Комаров, Копытчик, Нонн (бывшая Стрекоза обезьянья), Листин, Каракатица, Верховая, Эмир обезьяний, Муфтий (И. А. Бунин), Игемот-Деспот, Протопоп обезьяний (профессор Паскаль), Куафер обезьяний, Странник и т. д. (Резникова. С. 132).

С. 14. *Чуковский* Корней Иванович (наст. имя.: Корнейчуков Николай Васильевич, 1882—1969) — писатель, литературовед, друг Ремизова, «кавалер» Обезвелволпала. Чуковскому принадлежит одна из самых значительных статей о раннем творчестве писателя под загл. «Ранний Ремизов» (1913) — см: Чуковский К. И. Собр. соч. В 6 т. М, 1969. Т. 6. С. 297—317.

С. 15. *Я тогда сказку про «мышку-морщинку» писал..* — Отсылка к автобиографическому факту. См.: Ремизов А. Морщинка. Сказка (СПб, 1907) В изд. «Сказки обезьяньего царя Асыки» (Берлин, [1922]) сказка называлась «Мышка-морщинка».

С. 16. *...правовед Сухов...* — Согласно предположению комментатора рассказа «Глаголица» Е. Р. Обатниной прототипами этого образа могли быть трое ремизовских знакомых, посещавших писателя на Кавалергардской улице, — выпускники Училища правоведения А. А. Трубников (1883—1966), С. Н. Тройницкий (1882—1948) и М. Н. Бурнашов (см. коммент. к Т. 3 наст. Собр. соч. С. 631).

С. 19. *Нойда* — об источниках ремизовских сказаний о нойдах см. коммент. к Т. 3 наст. Собр. соч. С. 631—632.

С. 22. *...нашел в Далмации остров Крък...* — Неточная автореминисценция. Старославянское слово «кържъ» (карканье) было использовано в ремизовской легенде «Едина ночь» (1913), источником которой была древнерусская «Легенда о покаянии князя» (см. Т. 6 наст. Собр. соч).

С. 24. *...моряк Мукалов..* — Мукалов Николай Константинович — революционер, моряк, друг детства Н. А. Бердяева, знакомый Ремизова по Вологодской ссылке. См. о нем в кн. «Иверень» (гл. «Имена») и коммент. к Т. 8 наст. Собр. соч. С. 666.

С. 25. *...был у меня приятель Петр Прокопов...* — Прапорщик Петр Николаевич Прокопов, знакомый Ремизова, упоминается в Дневнике писателя 1917—1921 гг. и в кн. «Взвихренная Русь» (см. «Аннотированный именной указатель» к Т. 5 наст. Собр. соч. С. 673).

...как приехал в Париж... — Впервые Ремизов посетил Париж в 1911 г.

С. 26. *Дамский сак* — женская верхняя одежда, короткая и просторная, с рукавами и воротником.

«оказион» (от *фр.* «occas'on») — по случаю.

С. 28. *...автомобиль'* — варианты осмысления ремизовской словесной игры см. в коммент. к рассказу «Оказион» (Т. 3 наст. Собр. соч. С. 634).

С. 29. *Шестов* Лев (наст. имя: Шварцман Лев Исаакович, 1866—1938) — философ и литературный критик, один из ближайших друзей Ремизова. В 1895—1914 гг. Л. Шестов жил преимущественно в Швейцарии (Коппе, около Женевы), в 1914—1920 гг. — в России, с 1920 г. — в Париже. Как вспоминает Н. Кодрянская, Ремизов «Только с Львом Исааковичем Шестовым и Андреем Белым был на ты» (Кодрянская. С. 92). См.: Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ре-

мизовым / Вступит. заметка, подгот. текста и примеч. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // Рус. лит. 1992. № 2, 3, 4; 1993, № 1, 3, 4; 1994, № 1, 2.

С. 31. *...подъезжал я к нашей земле: ну, какая ни есть, а своя ~ а по порядку и мы научимся..* — Отсылка к лейтмотиву известного сатирического стих. А. К. Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева» (1868): «Земля наша богата, // Порядка в ней лишь нет».

С. 33. *Варламов* Константин Александрович (1849—1915) — знаменитый актер, выступавший на сцене Александринского театра.

С. 34. *...покинул он свое долголетнее насиженное гнездо ~ пришлось тащиться ~ до Песочной ~ квартира Корнетова № 3 .* — С июня 1915 по июнь 1916 г. Ремизов жил на Песочной улице в доме 8, кв. 3.

С. 38. *Рязановский Иван Александрович* (1869—1921?) — историк-архивист, археолог, библиофил, юрист, один из ближайших друзей Ремизова и его консультантов по древнерусской литературе. В Обезвелволпале носил титул «князя обезьянского». Является героем, а также прямым прототипом персонажей многих произведений Ремизова («Пятая язва», «Неуемный бубен», «Плачужная канава», «Крашеные ры́ла», «Кукха», «Ахру», «Взвихренная Русь», «Подстриженными глазами», «Петербургский буерак» и др). В поведении отличался склонностью к чудачествам. См. его характеристику в кн. «Кукха»: «Великий князь обезьяний носит электрический пояс <...> До возведения в князья обезьяньи был и судьей и следователем и при губернаторе состоял, но как-то так случалось, за поперечность верно и самоволье, в нагрдах и чинах его обходили, и за всю свою долгую службу имел он единственный орден, а чин самый маленький» (Кукха. С. 111—112). См. также коммент. к роману Ремизова «Плачужная канава» (т. 4 наст. Собр. соч).

Писатель Зерефер (псевдоним), нашедший свою линию в чертовщине.. — Полигенетический образ. Один из его прототипов — литератор, библиограф Владимир Николаевич Княжнин (наст. фам. Ивойлов, 1883—1942), которому Ремизов дал прозвище «Зерефер», восходящее к бесу — персонажу древнерусской «Повести о бесе Зерефере». См. коммент. Е. Р. Обатниной к рассказу «На птичьих правах» (Т. 3 наст. Собр. соч. С. 638). С другой стороны, образ имеет автобиографический характер — Ремизов обыгрывает свое увлечение 1910-х гг. — создание патериковых рассказов, повествующих о борьбе монахов с бесами.

С. 46. *...искренне веруя, что Корнетов китаец.* — Ремизов не раз подчеркивал внешность «китайца», свои китайские «каллиграфические повадки» и вообще свое «духовное родословие» с Китаем, увлечение «китайской мудростью», философией и сказочным миром. Он неоднократно сравнивал себя как странника «по чудесному востоку, родине сказок, расшитых цветных ковров и шелка, мечетей, узорных кумирен и непревзойденной каллиграфии» (Подстриженными глазами. С. 84).

...Корнетов до гостей разглаживал оберточную бумагу ~ а из этой бумаги, подрезая, сшивал тетради. — Автобиографическая деталь. Начиная с периода революции 1917 г., Ремизов вклеивал приходившие к нему письма и добавляемые к ним материалы (газетные вырезки, деловые документы и т. д) в самодельные тетради из оберточной бумаги. Подобные конволюты сохранились только в ЦРК АК.

Пытко-Пытковский. — По устному свидетельству Н. В. Резниковой, — это псевдоним Петра Петровича Сувчинского (Шелига-Сувчинского, 1892—1985) — из-

вестного музыковеда, музыкального и литературного критика, публициста, одного из зачинателей евразийского движения. Сувчинский познакомился с Ремизовым в Берлине и в дальнейшем стал одним из его близких друзей и консультантом по вопросам музыкального искусства, и в особенности древнерусского церковного пения. Он помогал Ремизову при работе писателя над кн. «Подстриженными глазами». См. его характеристику, данную Ремизовым: «Меня всегда радует П. А. Сувчинский: с ним в кукушкину входит музыка» (Кодрянская. С. 43).

С. 47. *Бердяев* Николай Александрович (1874—1948) — философ, критик и публицист, близкий друг Ремизова. Их знакомство началось 1902 г. в вологодской ссылке. В 1905 г. именно Бердяев помог Ремизову перебраться в Петербург и устроиться на работу в журн. «Вопросы жизни». Его дружеская помощь писателю в публикации его произведений продолжалась до смерти философа. Об их взаимоотношениях см. текст и комментарий к кн. «Иверень» (Т. 8 наст. Собр. соч.). См. также оценку личности Бердяева в дневниковой записи Ремизова от 31 декабря 1957 г.: «В его душе бьет ключ (источник) радости. Такое мое первое впечатление в Вологде (1902). И неизменно до его смерти — последняя встреча ноябрь 1938. Из всех моих современников Бердяев и Андрей Белый гениальны... Бердяев, не одаренный словом, словесно беспомощный и не книжный, а чем объяснить его словесный напор, силу его бессвязных фраз. Бердяев и внешне был отмечен: внезапной судорогой искажалось его лицо, сводило руки, сзади подхлестывало, подымало на воздух» (Кодрянская. С. 305).

Корнетов марки не собирает — это у Петушковых большой альбом.. — В кн. «Мышкина дудочка» упоминается, что «Бердяев собирает марки, малоазиатские и бельгийские» (Мышкина дудочка. С. 134).

С. 47—48. *Старые марки Корнетов употреблял для своего архива ~ по одному экземпляру вклеивал он в свои самодельные географические альбомы...* — Реалия творческой работы Ремизова. Экземпляры подобных альбомов сохранились в архиве А. и С. Ремизовых в ЦРК АК.

С. 49. *Якобсон* Роман Осипович (1896—1982) — известный лингвист и литературовед. Один из основателей московского и пражского лингвистических кружков, позднее в США профессор американских университетов. Знакомый Ремизова с конца 1910-х гг.

...не Вологда и не Пенза, а какой-то Усть-Сысольск ~ у всякого есть до всего дело... — Ремизов, перечислив города, в которых он жил под надзором полиции и в ссылке с 1897 по 1903 г., вспоминает также о светлой стороне тех лет — дружбе и взаимовыручке ссыльных.

...спрашиваете о Бадине, а он, говорят, в Дагомее доктором. — Возможно, намек на многолетнего друга Ремизова Владимира Николаевича Унковского (1888—1964) — журналиста, прозаика, знакомого писателя с 1911 г., по профессии — врача. После эмиграции Унковский некоторое время работал по специальности в Африке, за что получил у Ремизова прозвище «Африканский доктор».

С. 50. *...в Нарве в карантине...* — После отъезда из Петербурге 5 августа 1921 г. Ремизовы «приехали в Ямбург, где поезд простоял весь день и всю ночь. Дорога продолжалась пять дней. В Нарве — одиннадцатидневный карантин. И только утром 23 августа они добрались до Ревеля» (Резникова. С. 61).

«Complet» (фр.) — свободных мест нет, все заполнено.

С. 51. *...прошение в Комитет помощи писателям и ученым о вспомоществовании...* — Имеется в виду «Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции (1921—1939). Основатель Комитета — Н. В. Чайковский, председателями были: С. А. Иванов, С. Г. Сватиков, И. Н. Ефремов. Целями Комитета были организация моральной и материальной помощи и поддержки ученым и писателям, помощь молодежи для вступления в высшие учебные заведения, организация ежегодного Дня русской культуры и пр. (См.: Головенченко А. Ф. Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции / Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918—1940. Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 205).

С. 52. *biscuit de mousseline (фр)* — букв.: бисквит из кисеи.

С. 53. *Африканский доктор.* — См. воспоминания В. Н. Унковского: «Под титром «африканского доктора» я стал одним из героев многочисленных ремизовских рассказов и его книги „Мышкина дудочка"» (Унковский В. А. М. Ремизову — 80 лет / Возрождение. 1957. № LXIV. С. 52—57). См. также коммент. к с. 49.

С. 54. *«Милюков со Струве играют в шахматы».* — На литературных вечерах, организованных для сбора денег в помощь нуждающимся литераторам, «происходила встреча людей, которые политически на ножах и личного общения между собой не имели <...> Дон Аминадо в своих воспоминаниях рассказывает, как на одном из таких писательских балов, в виде особого аттракциона, редактора «Последних Новостей» П. Н. Милюкова и редактора «Возрождения» П. Б. Струве, постоянно полемизировавших и в эмиграции лично почти не встречавшихся, усадили за шахматной доской <...>, а знаменитый шахматный чемпион А. А. Алехин изображал арбитра» (Струве Г. Русская литература в изгнании. 2-е изд., испр. и доп. Paris, 1984. С. 197).

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, до революции лидер партии кадетов и редактор газ. «Речь»; в эмиграции редактор газ. «Последние новости». Ремизов вспоминал: «В мучительных и резких „узлах и закрутах" моей извечной памяти я различаю встречи и имена. Среди имен неизгладимо: **Милюков.** С его именем соединилась для меня блестящая полоса, из которой высвечивают письмена: свобода <...> До Парижа я не встречался с Милюковым. Я участвовал в «Речи» как гастролер: через Д. А. Левина, приятеля Льва Шестова, меня печатали на Пасху и на Рождество, и дважды в году я бывал в редакции; и на вечерах у А. В. Тырковой (Вильямс) кого-кого я не видел — и Родичева, и Изгоева, и Д. И. Шаховского (изумительное лицо, как с иконы), и П. Б. Струве, но только не Милюкова. Память мою, связанную с его именем, я навсегда сохранил, я читал и его «Очерки по истории русской культуры», и «Государственное хозяйство в России первой четверти XVIII столетия». Но только здесь на «каторге» мы встретились» (Встречи. С. 279, 284—285).

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — философ, историк и экономист; один из лидеров катедов, редактор журн. «Русская мысль» и «Освобождение», участник сборника «Вехи» (1909); в эмиграции — редактор журн. «Возрождение».

С. 55. *Гоу-Ян-Сиу* (в современной транскрипции Оуян Сю, 1007—1072) — один из «Восьми великих» поэтов эпохи Сун (960—1279). Автор-составитель (совместно с Сун Ци) «Новой истории династии Тан».

С. 58. *...в сумрачном Отэй.* — В транскрипции французских имен и географических названий Ремизов использует разные варианты (например, «Auteuil» он пишет то «Отэй», то «Отой»). В издании сохранена авторская вариантность правописания.

«Климаты» (фр.: «climats»,1928) — название романа Андре Моруа.

С. 59. *...Корнетов там — где кинематограф...* — Отражение житейской реалии парижского быта Ремизова. См. воспоминания Н. В. Резниковой «В конце 20-х годов Ремизовы стали думать о перемене квартиры: квартира на авеню Мозар стоила слишком дорого. Было очень жалко расставаться с прежней обстановкой и сложившимся бытом. Ремизовы сняли немеблированную квартиру в Латинском квартале, на бульваре Поль-Руаяль, на пятом этаже, купив на выплату немного мебели. Внизу дома был расположен кинематограф. Алексей Михайлович считал это опасным в смысле пожара, он об этом подробно пишет в главе «Узлы и закруты» в книге *Подстриженными глазами*» (Резникова С. 91). На бульваре Пор-Руаяль № 11 Ремизовы жили с ноября 1928 до мая 1930 г.

...начищенной в «тримэстр» — ко дню платить за квартиру... — См. у Н. В. Резниковой: «Каждые три месяца возникал вопрос «терма» (от франц. terme, срок платежа за квартиру) и всякий раз требовалось настоящее чудо, чтобы найти эти деньги. Бедность, а главное, неуверенность в завтрашнем дне всю жизнь точили и преследовали Ремизовых. Но они были не единственные, можно сказать, что бедность была общим достоянием эмиграции» (Резникова. С. 136).

С. 60. *«Les Nouvelles Littéraires»* — еженедельная газета, выходящая в Париже с 1922 г., посвященная литературе и искусству, где в тридцатые годы были опубликованы переводы рассказов Ремизова.

С. 62. *Шлюмберже* Густав (Schlumberger Gustav, 1844—1929) — французский историк и археолог, крупный специалист по средневековой нумизматике и византийской сфрагистике.

Кулаковский Юлиан Андреевич (1855—1920) — профессор Киевского университета, специалист в области истории Древнего Рима и Византии, автор фундаментальной «Истории Византии».

Успенский Федор Иванович (1845—1928) — русский историк, член Российской Академии наук. В 1894—1914 гг. директор Русского Археологического Института в Константинополе. Автор «Истории Византийской империи».

Васильев Александр Александрович (1867—?) — историк-византинист, ученик В. Г. Васильевского, профессор Петербургского университета с 1912 г., автор известных работ по истории Византии.

Диль Шарль (Diehl Charles, 1859—1944) — французский историк-византинист, автор многочисленных работ по истории Византии.

С. 63. *«Греческий огонь»* — горючее вещество, применявшееся византийцами в военном деле.

С. 64. *Росков (фр.:* Roskoff) — один из городков Бретани, где Ремизовы проводили лето в тридцатые годы (см. гл. «На крайний камень»).

С. 66. *...пара слонов...* — В разговорах с Розановым Ремизов часто шуточно эротически обыгрывал образы этих животных: «Слоны» — это «обладающие сверх божеской меры» (Кукха. С. 35).

С. 67. *Баугкин* — по архивным данным можно предположить, что под этим «псевдонимом», возможно, имеется в виду знакомый Ремизова с 1910-х гг., писатель Петр Петрович Потемкин (1886—1926).

С. 68. *Marché aux puces* (*фр*)[1] — «блошиный рынок» — барахолка.

С. 69. *...сама кукушка, запрятавшись в своем кукушечьем домике...* — В гостиной у Ремизовых висели стенные часы с кукушкой, откуда и название комнаты — «кукушкина». См. свидетельство Кодрянской. «Кукушка — дыхание дома, ее голос внятен и в исторической кухне, и в каштановой рукописной, и в *караульной* и по всему цветному коридору» (Кодрянская. С. 33).

С. 70. *..устроить где-нибудь в Гаво собрание...* — Имеется в виду «Salle Gaveau» — парижский концертный зал, в котором часто встречались русские эмигранты.

La veuve (*фр*) — «вдова» — иносказательное название гильотины.

С. 74—75. *M., L'Administration ~ exceptés* (*фр.*) — Сударь, администрация считает себя обязанной напомнить Вам, что срок Вашего договора истекает и она вынуждена обратить залог в деньги. В связи с этим просим Вас, в кратчайший срок, либо возобновить договор, либо выкупить залог, если Вы желаете избежать его продажи, что неизбежно. // В случае Вашего отказа от залога продажа его может принести прибыль, которую податель расписки имеет право потребовать в течение трех лет, начиная с даты последней операции. // Выплата прибыли осуществляется в I-м Филиале каждый день с 9 часов до 16 часов, без перерыва (кроме воскресений и праздников).

С. 76. *Попугаева болезнь* (*разг.*) — в случае опасности, действительной или мнимой, попугай притворяется мертвым — падает на землю, закатив глаза и окостенев.

С. 78. *Исаева Маргарита Борисовна* — петербургская знакомая Ремизова, жена профессора уголовного права М. Б. Исаева (ок. 1880—после 1948), упоминается в книге «Взвихренная Русь» (см. «Аннотированный именной указатель» к Т. 5 наст. Собр. соч.).

Полякова Александра Михайловна — петербургская, а затем берлинская знакомая Ремизова. Упомянута в кн. «Взвихренная Русь» (см. «Аннотированный именной указатель» к Т. 5 наст. Собр. соч.).

С. 79. *Бернанос* Жорж (Bernanos George, 1888—1948) — французский писатель.

Штейнер Рудольф (Steiner Rudolf, 1861—1925) — известный немецкий филолог, философ, основатель антропософии.

С. 81. *«le feu sacré»* (*фр.*) — священный огонь.

С. 82. *Шато* (от *фр.*: «Château») — замок.

Парис Гастон (Paris Gaston, 1839—1903) — знаменитый французский филолог, академик с 1895 г.

Веселовский Александр Николаевич (1838—1906) — крупнейший русский филолог, глава сравнительно-исторической школы академического литературоведения, академик Российской Академии наук с 1880 г. На протяжении всей жизни Ремизова труды Веселовского были основной теоретической базой его изучения истории мировой литературы. Подробнее см.: Алексей Ремизов и древнерусская культура. С. 30—35.

---

[1] Французские слова, выражения и тексты даны в переводе Н. Л. Дмитриевой, немецкие — в переводе Р. Ю. Данилевского (кроме особо оговоренных случаев)

С. 82. *«Le Rouge et le Noir»* (*фр*) «Красное и черное» (1831), роман Стендаля.

С. 84. *Pension de famille ~ norvegéin.* (*фр.*). — Семейный пансион // в замке // Парк. Поблизости ферма. Чистый воздух. // Тенистые места, прогулки и экскурсии. У подножия холма — река. (Ловля раков, форели). В 3 километрах от главного города кантона Доктор. Аптека. Католическая церковь. Несколько магазинов. В доме электричество. Телефон. Уютные комнаты. Очень хорошая простая кухня, исключительно на масле. Полный пансион. Языки. французский, немецкий, английский, норвежский.

С. 87. *Голятовский Иоанникий* (?—1688) — церковный писатель, архимандрит Черниговского монастыря. Представитель русской схоластической проповеди XVII века (его проповеди были собраны в кн. «Ключи Разумения», 1659 г).

С. 92. *Полетаев Семен Петрович.* — Согласно «Свидетельству о крещении», сохранившемуся в Парижском архиве Ремизова, его крестной матерью была жена купца 2-й гильдии Александра Арсеньевна Полетаева (см: Т. 8 наст Собр. соч. С. 515). В творчестве Ремизова имя Полетаева появилось в изложении шуточных устных рассказов В. В. Розанова: «учитель Полетаев с видением соблазняющих его собак (расск В. В.)» (Кукха С. 21).

«Cinq pièces ~ central» (*фр*) — «пять комнат — две спальни — гостиная — ванная комната — электричество — цетральное отопление».

С. 95. *Андрей Белый* (наст имя: Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934) — поэт, прозаик, литературный критик, теоретик символизма, один из ближайших друзей Ремизова с 1900-х гг. См. данную писателем позднюю характеристику Белого: «Горький, Андрей Белый и я, мы вышли из „Лесов" Мельникова-Печерского. Андрей Белый запутался в антропософии и трескотне Заратустры. О русском ладе, при всей его гениальности он не понял меня — я с ним много разговаривал. Он мечтал стать Гоголем, но его задавили ученые немцы. Я с ним учился в университете: два самых мне близких современника: Блок (Петербург) и А. Белый (Москва)» (Кодрянская. С. 290—291).

С. 98. *...стратеги, куропалаты, протоспафарии, синкеллы..* — военные звания и придворные титулы Византии.

С. 101. *Пришвин Михаил Михайлович* (1873—1954) — писатель, этнограф, литературный ученик и друг Ремизова с 1900-х до начала 1920 гг. Об истории их взаимоотношений см.: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступ статья, публикация и примеч. Е. Р. Обатниной // Рус. лит. 1995. № 3 С. 157—209. См. также воспоминания Ремизова: «Пришвин появился у нас на Малом Казачьем в 1907 г. Его привел Иван Александрович Рязановский. А познакомился я с Пришвиным на вечере на Женских Медицинских курсах. Мое впечатление — черная борода и черный зачес. И растерянные глаза от удовольствия <...> С первой встречи с Пришвиным я замечаю: доверчивый, природа его звериная. А еще простодушие с хитрецой» (Кодрянская. с. 322).

С. 104. *Тер-Погосян* Микаэл — член эсеровской партии, впоследствии эмигрант, упоминается в кн. «Взвихренная Русь» (см. «Аннотированный именной указатель» к т. 5 наст. Собр. соч.).

Expediteur: Poletaef, 26, rue de Chartres, Neuilly sur Seine (фр.) — отправитель: Полетаев, ул. де Шартр, Нейи сюр Сен.

С. 105. *Гофман Ростик* — Ростислав Модестович Гофман (1915—1975) — сын пушкиниста, поэта и критика Модеста Людвиговича Гофмана. См. о нем

в кн. «Мышкина дудочка»: «Ростик с тех пор, как ходить научился, не пропускал ни одного моего весеннего вечера — двадцать чтений, по крайней мере, и на всех вечерах я ему делал особенный «обезьяний» бантик — знак первого и самого главного распорядителя» (Мышкина дудочка. С. 99—100).

С. 113. *Zut (фр.,* разг.) — восклицание, выражающее отрицательные эмоции, эвфемизм слова «дерьмо», часто переводится как «Черт! Черт побери!».

«passage clouté» (фр.) — пешеходная дорожка.

С. 115. *Кост* (Costes Dieudonné) и *Беллонт* (Bellonte Maurice) — французские летчики, которые впервые совершили прямой перелет Париж — Нью-Йорк (1—2 сентября 1930 г.).

С. 116. *«aux bons soins [dae]...» (фр.)* — просьба передать через такого-то... (надпись на конверте).

...упомянул Устрика... — Речь идет о банке «Устрик» (Oustric & Co.), который в июле 1926 г. был в центре финансового скандала. Афера «Устрика» (Affaite Oustric) привела к падению правительства.

Балдахал дал мне адрес ~ в самом Булони... — В августе 1930 г. из-за неприятностей с консьержкой Ремизовы были вынуждены переселиться в Булонь (Boulogne-sur-Seine — 3 bis, av. Jean-Baptiste Clément), где жили до июля 1933 г. «Инцидент был кое-как улажен, но Ремизовым было тяжело жить в постоянном напряжении и они стали искать другую квартиру. В 1930 году они переехали на квартиру за чертой города — в Булони, недалеко от Булонского леса» (Резникова. С. 92).

С. 118. *«parti sans laisser d'adresse» (фр)* — уехал, не оставив адреса.

...закрыл Шахматова «Синтаксис». — Имеется в виду капитальный труд акад. А. А. Шахматова «Синтаксис русского языка» в 2-х вып. (Л., 1925—1927).

С. 119. *...кухня — единственный угол квартиры по душе Корнетову..* — Включение в текст автобиографической реалии быта писателя См воспоминания Кодрянской о семантике этой «исторической» комнаты в квартире Ремизова: «Каких только знатных гостей тут не бывало! Писатели, художники, музыканты — французы и русские: Лев Шестов, Бунин, Шмелев, Замятин, Рерих, Святополк-Мирский, Мочульский, Мейерхольд, Михаил Чехов, Прокофьев, Рахманинов, Цветаева» (Кодрянская. С. 29).

С. 120. *Ключевский* Василий Осипович (1841—1911) — знаменитый историк, член Российской Академии наук с 1900 г. Автор многочисленных работ, среди которых «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871).

С. 121. *«Onze heures du soir?» (фр.).* — Одиннадцать часов вечера?

Смирнов Александр Александрович (1883—1962) — литературовед-медиевист, переводчик, профессор Ленинградского университета. Его переводы ирландских саг (Л., 1929) неоднократно служили текстами-источниками произведений Ремизова, главное из которых — «Тристан и Исольда» (1953).

С. 122. *«Vous êtes menteur!» (фр).* — Вы — лгун!

С. 123. *Monsieur Escalier de service (фр).* — Господин Черная лестница.

«Et voyant ~ zut..» (фр) — «Увидев на воде и на стене, как бледная улыбка отвечает улыбке неба, я воскликну в восторге, потрясая моим закрытым зонтом· «Черт, черт, черт, черт..»

С. 127. *«allez vous en'» (фр)* — убирайтесь!

С. 130. «cinguième à droite» (фр.) — шестой этаж направо.

С. 130. *Слоним Марк Львович* (1894—1976) — литературный критик, в Праге заведовал литературным разделом журн. «Воля России»; в Париже был редактором «Новой газеты» и председателем литературного кружка «Кочевье», позднее — профессор русской литературы в американских университетах. Друг Ремизова, не раз способствовавший публикации его произведений, в Обезвелволпале имел титул «митрофорного кавалера».

Претнар Мирко — словенский поэт и переводчик XX века.

С. 131. *«c'est tout et pas plus» (фр.)* — все и ничего больше.

С. 133. *«prisonnier», «reclu» (фр)* — пленник, затворник.

С. 134. *Arbois de Jubainville,* Henry d' (1827—1910) — французский историк и лингвист, специалист по кельтскому языку и литературе. Названа его работа «Введение в изучение кельтской литературы».

Блейк Уильям (Blake William, 1757—1827) — английский поэт, художник и гравер. Ремизов, который всегда стремился выразить себя как в слове, так и в рисунке, очень интересовался другими писателями, соединявшими в себе литературный и живописный таланты: «Уильям Блейк, и гравер и поэт; Э. Т. А. Гофман и писатель и музыкант, как и М. А. Кузмин. И все-таки остаются непревзойденными „Александрийские песни" Кузмина, а не его музыкальные иллюстрации и „Куранты"; чудесные истории Гофмана, а не его оперы; а гравюры Блейка, по крайней мере для меня, не больше как дополнения к его „Венчанию неба и ада"» (Встречи. С. 223). В Собр. Резниковых сохранился рукописный перевод «Венчания неба и ада» (автограф С. П. Ремизовой-Довгелло).

С. 139. *Федоров* Николай Федорович (1828—1903) — русский философ. Его космическая утопия, изложенная в книге «Философия общего дела», увлекала многих писателей и поэтов конца XIX — начала XX в.

Ницше (Ничше) Фридрих (Nietzsche Friedrich, 1844—1900) — немецкий философ. Первые статьи о философии Ницше появились в России в 90-е гг. XIX в. еще до публикации многих его произведений по-русски («Полное собрание сочинений» под общей ред. Ф. Зелинского, С. Франка, Г. Рачинского и Я. Бермана выйдет в Москве только в 1909—1912 гг.). В частности, в 1892 г. в журн. «Вопросы философии и психологии» была напечатана статья В. Преображенского «Ницше. Критика морали альтруизма». Как свидетельствует Кодрянская: «В то время появилось и другое имя — Ницше, о нем Ремизов узная из статьи Преображенского в «Вопросах философии и психологии» и его взбудоражило. И когда в Пензе он достал «Заратустру», то принялся за перевод. В немецком Алексей Михайлович был увереннее, чем в английском и французском. С переводом Заратустры он как-то справился и послал в «Жизнь». Но ответа не дождался. Это его не смутило. Снова послал перевод в «Жизнь». «Жизнь» — марксистский журнал во главе с Горьким. Ремизов верил в Заратустру и в Горького: обратит внимание — но и на этот раз не получил ответа» (Кодрянская С. 147—148). В настоящее время текст ремизовского перевода «Так говорил Заратустра» не найден.

С. 141. *Шаляпин* Федор Иванович (1873—1938) — знаменитый певец, с 1922 г. в эмиграции. Ремизов познакомился с ним в 1906 г. на литературном вечере. См. его запись: «Читаю главу из «Пруда», как под Пасху мать повесилась. Скандал. За меня Дягилев, Блок, Философов, Бакст. Мережковским «наплевать», а Сологуб на стороне. Познакомился с Шаляпиным» (11-я тетрадь. С. 175 — Собр. Резниковых).

С. 143. *correspondance (фр)* — пересадка.

С. 145. *Monsieur Escalier de service, Monsieur Prix reduit, Madame Place reservée (фр).* — Господин Черная лестница. Господин Сниженная цена. Госпожа Забронированное место.

Пешковский Александр Матвеевич (1878—1933) — русский языковед, исследователь стилистики русского литературного языка.

С. 149. *Je vous salue? Marie ~ Ainsi soit-il (фр).* — Кланяюсь тебе, Мария благодатная, // Господь с тобой, благословенна // Ты в женах, и Иисус, плод // Твоего чрева благословен. // Святая Мария, Богоматерь, молись за нас, // Бедных грешников, теперь и в час // Нашей смерти. Да будет так».

С. 151. *Блуа Леон* (Bloy Leon, 1846—1917) — французский писатель католического направления.

Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт, драматург, литературный критик. Блока и Ремизова связывали многолетние близкие дружеские отношения: «Из разных краев, разными дорогами проходили наши души до жизни и в жизни по крови разные — мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбаламученной вздыбившейся России, а мне — погребальная над краснозвонной отшедшей Русью» (Ахру. С. 17). См. также: Блок А. А. Переписка с А. М. Ремизовым (1905—1920). Вступ. статья З. Г. Минц. Публ. и коммент. А. П. Юловой / Александр Блок. Новые материалы и исследования. ЛН. Т. 92. Кн. 2. М., 1981. С. 63—126; Приложения: 1) Надписи Ремизова на книгах, подаренных Блоку. 2) Воспоминания А. М. Ремизова о Блоке. Публ. Н. А. Кайдаловой и Н. Н. Примочкиной / Там же. С. 127—142.

Поплавский Борис Юлианович (1903—1935) — один из лучших поэтов «второго» поколения русской эмиграции.

С. 153. *Корнетову хотелось посмотреть дом Николазика.* — Согласно легенде, в 1623 г. Святая Анна явилась праведному Иву Николазику (Yves Nicolazic) и указала ему место для строительства часовни. При постройке в земле была обнаружена старинная статуя Святой Анны.

С. 154. *...дом, откуда уходит человек, такой есть в Риме, дом Алексея, человека Божия...* — Имеется в виду одна из древних достопримечательностей Рима — церковь, построенная на месте дома, откуда, согласно преданию, св. Алексей, Человек Божий ушел в брачную ночь, чтобы сохранить чистоту душевную и телесную, и куда вернулся в конце жизни, чтобы умереть неузнанным. В церкви паломникам показывают сохранившиеся от дома колодец и лестницу, под которой, по преданию, скончался святой.

С. 162. *unerhöhrt! (нем.)* — неслыханно.

...цикл развития ~ начинающийся с Симеона Полоцкого... — С именем писателя XVII в. Симеона Полоцкого связана долголетняя полемика А. М. Ремизова против, с его точки зрения, «искажения» русского языка. См. его письмо к Кодрянской от 20 февраля 1948 г.: «И еще — к судьбе русской литературы — Аввакума, заговорившего на природном русском языке, сожгли и в то же самое время возвеличили до звания первого писателя Симеона Полоцкого: писал вирши на «невозможном» языке, искажая русский лад, русские ударения. С этого Симеона Полоцкого (XVII в.) и пошло все литературное разорение, увенчанное Великим Муфтием (И. Бунин). Наше ухо привыкло к искажению, мы и думать-то иначе не можем. И стало нам все наше исконно-русское резко для уха и смешно» (Кодрянская. Письма. С. 86).

С. 162 *...Корнетовские альбомы и ~ рисунки...* — Еще одна легко узнаваемая автобиографическая черта Ремизова. «Последние годы 1931—1949, когда у меня не осталось никакой надежды увидеть мои подготовленные к печати книги, а в русских периодических изданиях оказалось, что для меня «нет места» и я попал в круг писателей, «приговоренных к высшей мере наказания» или, просто говоря, обреченных на смерть, я решил использовать свою каллиграфию я стал делать рукописные иллюстрированные альбомы — в единственном экземпляре И за восемнадцать лет работы. четыреста тридцать альбомов и в них около трех тысяч рисунков. Перечень 157 номеров напечатан в ревельской «Нови», кн. 8. Сто восемьдесят пять альбомов «так или иначе» разошлись» (Встречи С. 225). См. также его автохарактеристику своего художественного творчества в статье *Рукописи и рисунки А. Ремизова,* написанной под псевдонимом В. Куковникова в журнале «Числа» и затем включенной в книгу *Мерлог,* писатель дает автохарактеристику своей работы как рисовальщика «В России немало находится рукописных книг, альбомов, листов, грамот и свитков А. Ремизова В одном из Московских государственных музеев хранится рукописная книга Ремизова «Гоносиева повесть», относящаяся к годам после революции 1905 г Эта паутинная, мелко расшитая буквами книга — начало рукописных работ Ремизова. На рукописно-рисовальные упражнения Ремизова обратили внимание петербургские художники: А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Л. С. Бакст, М. В Добужинский, И. Я. Билибин, С. В. Чехонин, Б. П. Кустодиев, А. Я. Головин Впервые Ремизов выставил свои рукописные завитки в «Треугольнике» у Бурлюков, а впервые рисунки появились в сборнике «Стрелец» у А. Э. Беленсона, автора «Голубых панталонов». В революции из молодых художников очень внимательно отнесся Л. Бруни и Ю. П. Анненков. Деятельное отношение Ремизов встретил в Берлине, познакомившись с Иваном Альбертовичем Пуни и Николаем Васильевичем Зарецким. Через Пуни ремизовский рисунок появился в Das Kunstblatt. August-Heft, 1925, Berlin, а через Зарецкого рисунки и грамота воспроизведены в «Gebrauchsgraphik» 1928, Berlin и «Die Litterarische Welt» № 19, 1926 Berlin» (В. Куковников [Ремизов А. М.]. Рукописи и рисунки А. Ремизова / Числа (Париж), 1933, кн. 9. С. 191—194. О рисунках Ремизова см.: Грачева А. М. Писец и изограф Алексей Ремизов / Каталог. С. 7—10; Д'Амелия А. Письмо и рисунок: альбом А. М. Ремизова / Slavica Tergestina. Вып. 8. Художественный текст и его гео-культурные стратификации. Trieste, 2000. С: 53—76; Грачева А. М. «Круг счастия» — лицевой кодекс Алексея Ремизова / Рисунки писателей. Сборник научных статей. СПб., 2000. С. 200—226; Альбом А. М. Ремизова «Рисунки русских писателей». Публ. и вступ. заметка А. М. Грачевой / Там же. С. 228—249.

С. 163. *...в сказках о «Русских женщинах»...* — Речь идет о сборнике А. М. Ремизова «Русские женщины. Народные образы» (Пг., 1918).

С. 170. *Босх* Иеронимус (Bosch Hieronymous, ок. 1460—1516) — знаменитый нидерландский художник.

Калло Жак (Callot Jacques, 1592[3?]—1635) — французский график.

С. 172. *Аэр* (от лат.: «aer») — воздух.

С. 182. *Гоффман (Гофман)* Эрнст Теодор Амадей (Hoffmann E. T. A, 1776—1822) — немецкий писатель-романтик. См. автокомментарий Ремизова: из писателей «самым близким я чувствую Э. Т. А. Гоффмана; самым созвучным из музыкантов Мусоргского, а из художников назову фламандца Питера Брейгеля.

Мусоргский осуществил музыкальную легенду Гоффмана-Крейслера, а Брейгелю надо было бы родиться со зрением Гоффмана, чтобы чаровать тайной звучащих красок.. Э. Т. А. Гоффман едва ли не самый первый по влиянию на русскую литературу: на Пушкина, Гоголя и Марлинского, а через них на Толстого и Достоевского, или, что то же, на всю русскую Библию, через которую неминуемо проходит всякий русский писатель» (Встречи. С. 212—213).

С. 182. *Репей Жорж* (правильно: Риви Джордж, Reavey George, 1907—1976) — известный английский славист, поэт и переводчик Ремизова и Пастернака. См. также его характеристику, данную Ремизовым: «George'a Reavy'a (Репея) знаю 25 лет, он часто приходил к нам — он по шерсти был похож на свиного поросенка и дверь затворял за собой ногой, как крючком. Великий молчальник — часами мог высиживаться в уголку на диване, молча. Переводил мое. Сюрреалист. Говорит по-русски (его мать русская) и по-французски. Не англичанин, а ирландец» (Кодрянская. Письма. С. 255). В 1930 г. в переводе Риви вышел рассказ Ремизова «Бику» (Alexei Remizov. «Bicou», transl. from the Russian by George Reavey / «This Quarter» (Paris), 1930, t. III, № 1).

Жид Андрэ (Gide André, 1869—1951) — французский писатель. Ремизов с женой перевели его «Филоктет» (Вопросы жизни. СПб, 1905. № 3).

...из Белграда полковник Махин.. — Имеется в виду Федор Евдокимович Махин. См. воспоминания Ремизова: «Полковник Махин, а в эту войну партизанский генерал-лейтенант. Редактор Русского Архива и председатель Белградского Земгора. Оренбургский казак, старообрядец, хорошо читал Библию на голос. В Обезьяньей палате состоял воеводой. Ему я продал за двести франков в 1937 году оригиналы писем для архива Земгора» (Встречи. С. 133).

С. 184. *Лебедев* Владимир Иванович (1883—1956) — деятель партии эсеров; был морским министром в правительстве А. Ф. Керенского. В эмиграции в Праге — один из редакторов журн. «Воля России».

Чижов (псевд: Холмский) Глеб Владимирович (1892—1986) — библиограф, типограф, музыкант, писавший романсы под псевдонимом «Холмский», один из друзей Ремизова с 1910-х гг., в Париже работал шофером такси. В Обезвелволпале имел титул — обезьяний куафер.

Емельянов Виктор Николаевич (1899—1963) — писатель, автор высоко оцененной критиками повести «Свидание Джима» (1936), в Париже был разнорабочим. Близкий друг Ремизова, всесторонне помогавший слепнувшему писателю в последние годы жизни, в частности, читавший ему вслух. См. характеристику Ремизова: «Хорошо еще читает Емельянов, мой субботний и воскресный полуденный гость: в его голосе чувствительная прослойка — *Язык Уложения 1649 года,* как живая речь» (Кодрянская. С. 43). См. также: Леонидов В В., Емельянов В. Н. / Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918—1940. Писатели Русского Зарубежья. М., 1997. С. 165—166.

Макеев Николай Васильевич (1889—1975) — литератор, автор книги «Russia» (New York, 1925).

Бахрах Александр Васильевич (1902—1985) — литературный критик. Вместе с André Maugé перевел несколько глав из книги Ремизова «Мартин Задека» («L'antry secret». Paris, 1947). Автор воспоминаний о Ремизове в кн. «По памяти, по записям. Литературные портреты» (Париж, 1980).

С. 186 *Крумбахер* Карл (Krumbacher Karl, 1856—1909) — немецкий историк и литературовед, специалист в области византийской литературы, основатель первого византологического журнала «Byzantinische Zeitschrift».

С. 190. *Лефевр* Фредерик (Lefèvre Frédéric, 1889—1949) — французский писатель, главный редактор парижской газеты «Les Nouvelles Littéraires», где появились его знаменитые интервью «Une heure avec ..» («Один час с . »), позднее собранные и опубликованные в семи томах — настоящая история литературной жизни Франции двадцатых—тридцатых годов.

«Сатирикон» (СПб., 1908—1914) — еженедельный сатирический журнал, выходивший сначала под редакцией художника А. А. Радакова, затем А. Т. Аверченко.

Осоргин (наст. фам.: Ильин) Михаил Андреевич (1878—1943) — писатель и журналист. До революции был итальянским корреспондентом «Русских ведомостей», а в эмиграции сотрудничал в «Днях», «Последних новостях» и «Современных записках». Высоко ценил литературный талант Ремизова, хотя обижался на последнего за иное мнение о своем писательском даре.

Алданов (наст. фам.: Ландау) Марк Александрович (1882—1957) — писатель, автор исторических романов, пользовавшихся широкой популярностью См. итоговую характеристику Алданова в дневниковой записи Ремизова от 28 февраля 1957 г.: «Провожаю мысленно Марка Александровича в его последний путь, кланяюсь низко. Смотрю на книги — труд его жизни. В русской литературе имя Алданова займет почетное место. Исторический роман: Загоскин, Лажечников, Полевой, Мордовцев, Данилевский, Салиас, Соловьев, Алданов...» (Кодрянская. С. 315—316).

Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933) — критик, искусствовед, знаток театра и балета. В Петербурге активно работал в студиях Дома литераторов и Дома искусств. В эмиграции сотрудник «Современного мира» и «Современных записок».

Шрейбер Яков Самойлович — инженер, знакомый Ремизова, упомянутый в кн. «Взвихренная Русь» и «Ахру».

С. 191. *Гофман* Модест Людвигович (1887—1959) — поэт и литературовед. Эмигрировал во Францию в 1923 году. См. характеристику Ремизова: «Модеста Людвиговича Гофмана я знал в возрасте Ростика, еще до моей первой книги *Посолонь*, а уж и тогда написал он *Историю русской литературы* — здесь, в Париже, издана по-французски в „переработанном виде“» (Мышкина дудочка. С. 99).

С. 192. *«à gauche» ~ «à droite» (фр)* — налево, направо.

mon pole (фр) — мой друг.

...copain ~ frangin ~ le blair ~ les arpions ~ ribouis ~ ses tifs ~ pepin ~ jaspiner, monsieur Piedplat (фр.) — приятель, брат, нос, ноги, башмаки, эти волосы, зонтик, болтать, господин Невежа.

С. 193. *Ильин* Иван Александрович (1882—1954) — философ, профессор философии Московского университета, в 1922 г. выслан из Советского Союза. Многолетний корреспондент Ремизова, в тесном контакте с писателем создавший посвященный ему раздел своей книги «О тьме и просветлении» (Мюнхен, 1959)

С. 194. *...я вырезал ~ «Дело Нансена»...* — Имеется в виду неустановленная газетная публикация, в которой речь идет о продолжении гуманитарной акции по поддержанию беженцев и вынужденных переселенцев, организованной знаменитым полярным исследователем Фритьофом Нансеном (Fritjof Nansen, 1861—1930), который после первой мировой войны был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных; одним из организаторов помощи голо-

дающим Поволжья (1921 г.) и помощи беженцам из Советской России. В 1922 г. деятельность Нансена была отмечена Нобелевской премией мира.

С. 196. *«Жупел»* (СПб., 1905—1906) — сатирический журнал, издававшийся С. П Юрицыным, редактор — художник З. И. Гржебин.

«Головешка». — В «Скверном анекдоте» Ф. М. Достоевского так презрительно назван популярный сатирический журнал «Искра» (1859—1873, СПб, изд. Н А. Степанов и Вас. С. Курочкин), в котором сотрудничали писатели революционно-демократического направления Н. Добролюбов, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин.

...«абличительном».. — прилагательное написано через «а», как в транскрипции Достоевского. См. замечание Ремизова в кн. «Огонь вещей»: «Достоевский подчеркивает «а» по выговору: в этом «а» слышится задор, заносчивость и наглость; это как Бутков в своем *Темном человеке* выделяет «богатый и не-а-бразованный» в смысле презрения» (Огонь вещей. С. 192).

С. 199. *«Числа»* (Париж, 1930—1934) — журнал под ред. Н. А. Оцупа и И. В. де Манциарли. От других тогдашних зарубежных изданий «Числа» отличало «с одной стороны, изгнание политики из журнала, а с другой — внимание, наряду с литературой, к искусствам не-словесным — к живописи и скульптуре, к музыке и танцу и то место, которое уделялось современным течениям в искусстве Запада» (Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 214).

...журнал ~ устраивает выставку рисунков ~ я дам кое-что. — Рисунки Ремизова были представлены на выставке «Exposition d'oeuvres des écrivains-peintres français et russes», организованной журналом «Числа» в галерее «L'Époque» вместе с рисунками, акварелями, литографиями и офортами русских и французских писателей (Ch. Baudelaire, J. Cocteau, A. France, T. Gautier, E. et J. de Goncourt, V. Hugo, M. Jacob, P. Mérimée, A. de Noailles, P. Valéry, P. Verlarine etc).

С. 200. *Мочульский* Василий Николаевич (1856—?) — историк литературы. Отец литературоведа Константина Васильевича Мочульского (1892—1948), сотрудника парижских журналов «Современные записки» и «Звено», профессора русской литературы.

Громов Аркадий Моисеевич (1896—?) — эстрадный артист, который вместе с В. С. Миличем создал на эстраде дуэт сатириков-юмористов (1917—1961). В 1915 г. в Первой студии Вахтангова Громов выступал в роли хозяина бистро в пьесе «Потоп» Ю. Х. Бергера.

С. 201. *Шклявер* Григорий Гаврилович — адвокат, один из друзей Ремизова, постоянно посещавший его дом (см.: Резникова. С. 100).

Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт-акмеист и литературный критик. В эмиграции в 1923 г. — редактор берлинских выпусков альманахов Цеха поэтов. В Париже — редактор журн. «Числа» и сотрудник журн. «Современные записки».

Зноско-Боровский Кирилл Евгеньевич (1912—1966) — прозаик, печатавшийся в журнале «Встречи», сын театроведа, драматурга и мемуариста Е. А. Зноско-Боровского.

Кельберин Лазарь Израилевич (1907—1975) — поэт, литературный критик, участник «Союза молодых поэтов и писателей», сотрудник «Чисел», активный участник собраний и изданий общества «Круг».

С. 202. *Андреев* Вадим Леонидович (1902—1976) — поэт, мемуарист, сын Леонида Андреева Муж О. В. Черновой, входил в число близких друзей Ремизова.

Сосинский Владимир (наст имя: Бронислав, Бронислав Владимир Рейнгольд Брониславович Сосинский-Семихат, 1903—1987) — поэт, писатель, постоянный сотрудник журн. «Воля России», «Своими путями», «Благонамеренный», «Числа». После второй мировой войны, которую Сосинский провел в США, возвратился в Советский Союз. Муж А В Черновой. Многие годы семьи Черновых, Сосинских, Андреевых и Резниковых были близкими друзьями Ремизовых. Вернувшись в СССР, Сосинский пытался добиться издания книг Ремизова на Родине

«Кочевье» — литературный кружок. организованный в Париже по инициативе М. Л. Слонима, собиравшийся с 1928 г. до середины 30-х гг «Он не имел своего печатного органа, но устраивал вечера в форме «устного журнала», на которых читались стихи и проза и давалась критическая оценка произведений текущей литературы как зарубежной, так и советской. Про «Кочевье» говорили, что оно тяготеет к советской литературе (это было верно в отношении самого Слонима), но на собраниях его выступали многие из парижских поэтов и прозаиков — сотрудников «Современных записок» и «Чисел» (Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 210).

С. 203. *Солнцев* Константин Иванович (1894—1961) — эмигрант, в Петербурге учившийся в Императорском Археологическом институте, который окончила С. П. Ремизова-Довгелло. После 1945 г. помогал Ремизову разбирать и систематизировать его архив. В 1947 г. его значительную часть — материалы и письма 1920—1940-х гг. — Ремизов передал Солнцеву для общественного собрания документов — Архива русской эмиграции, который тот хотел организовать в Париже. В дальнейшем Солнцев переехал в Нью-Йорк, прихватив с собой архив Ремизова, и там скончался. Ныне вывезенные им материалы писателя, а также его собственный архив хранятся в ЦРК АК.

С. 208. *Слонимский* Николай Леонидович (1894—1995) — композитор, дирижер С 1923 г. жил в США.

Дни Корнетова проходили ~ и рисовании. — История Ремизова-художника и рисовальщика еще ждет своего исследователя. Писатель всю жизнь занимался рисованием параллельно работе над художественным словом: «Писатели рисуют. Объясняется очень просто. *написанное и нарисованное* по существу одно. Каждый писец может сделаться рисовальщиком, а рисовальщик непременно *писец*» (Встречи С 222). Сам писатель признавался: «я не помню, когда я не рисовал» (Подстриженными глазами. С. 49).

С. 209. *В уборной взбесился водопровод...* — Об этом же пишет Ремизов и в кн. «Мышкина дудочка»: «И мне почудилось будто гудит сирена, но я спохватился, нет, это водопровод, дом у нас „сонорный“ — каждый звук отчетлив, а с водопроводом часто бывает, гудит» (Мышкина дудочка. С. 25).

С. 212. *Mon mari (фр)* — мой супруг.

С. 213. *Пиккар* Огюст (Piccard Auguste, 1884—1962) — швейцарский физик. В 1931 году в полетах на стратостатах достиг высоты 15 780 метров, а при спусках под воду на батискафах в 1932 году — глубины 16 370 метров.

С. 215. *Горовиц* Владимир Самойлович (Horowitz Wladimir, 1903—1989) — американский пианист.

С. 216. *rouge ordinaire (фр)* — красное ординарное.

conseiller honoraire du commerce (фр.) — почетный коммерции советник.

olfactrice (фр.) — специалист по запахам.

С. 219. *Зал Плейель* (Salle Pleyel) — концертный зал в Париже.

С. 221. *Интегралы. Сонорная геометрия.* — См. вторую главу третьей части «Три желания».

С. 223. *«prix réduit», «sans taxe» (фр.)* — сниженная цена, без налога.

Варез Эдгар (Varèse Edgar, 1885—1965) — французский композитор, дирижер. С 1916 г. в США. Автор музыкальных произведений «Интегралы» (1928) для камерного оркестра и ударных, «Ионизация» (1931) для 41 ударного и 2 сирен и «Пустыни» (1954) для электронных духовых и ударных.

С. 224. *Шлецер Борис* Федорович (Boris de Schloezer, 1881—1969) — писатель, литературовед и музыкальный критик, сотрудник французских и русских журналов, в том числе «Современных записок» и «Чисел». Переводчик Гоголя, Достоевского, Шестова и Розанова. Перевел на французский язык легенду Ремизова «Страсти Богородицы» из кн. «Звезда надзвездная» (La passion de la Vierge. Le roseau d'or. Paris, éd. Plon, 1927, № 20).

С. 226. *...Корнетову удалось побывать в Праге и Карлсбаде.* — Поездка Ремизова с женой в Прагу, а также на курорт Карлсбад состоялась в 1924 г. См. карлсбадскую фотографию Ремизовых: Алексей Ремизов. Материалы и исследования. Вклейка между с. 192—193.

С. 228. *...из-за моста дозором Рыцарь со львом.* — Имеется в виду расположенная рядом с Карловым Мостом скульптура, изображающая легендарного основателя Праги — рыцаря Брунцвига. На основе средневековой повести о его жизни и подвигах Ремизов написал свою легенду «Брунцвиг» (1949). Подробнее о истории создания ремизовского произведения см.: Алексей Ремизов и древнерусская культура. С. 201—217.

С. 229. *Зейер* Юлий (Zeyer Julius, 1841—1901) — чешский писатель, представитель так называемой космополитической школы «люмировцев». В его произведениях используются народные сказки, легенды, предания, старинные песни.

С. 231. *Majestueux rochers ~ daigne confier (фр).* — Величественные скалы, гиганты долины, // Ваш величавый вид вдохновляет мысль, // Будит в сердце новые чувства, // И делает еще более дорогим прекрасное жилище вод! // Может ли оставаться спокойной душа на этой скале? // Этот священный символ, предстающий перед нами, // Который сжимал своей рукой Петр Великий, // У подножья которого он оставил это напоминание (M. S. P. I) // Разве этот символ не говорит всей стране, // Что ее посетил этот великий гений, // Карлсбад хранит с любовью в своей груди // Драгоценные предметы, созданные его рукой, // К тому же Саардаме этот высокий творец // Посещает ремесленника, вдохновляя его своим присутствием, // Участвует в его трудах, праздниках, играх; // Мишени для его стрельбы сохранились в этих краях. // Но что я вижу? Все меняется во внешности этой вершины; // Вчера еще, чтобы сюда попасть, надо было быть ангелом! // Сегодня она доступна, и искусный резец // Вырезает в граните имя царя! // Благородный глава края! Да пребудет с Вами слава! // Пусть могущественный Николай, когда ему сообщат об этом деянии, // Отметит, сколь искусно Вы умеете уважать // То деяние, которое он соблаговолил доверить Вашей защите.

С. 232. *...мой пражский вож Евгений Комаров* . — Имеется в виду Евгений Брониславович Сосинский, брат Б. Б. Сосинского, художник, шофер, добрый знакомый Ремизова, имевший прозвище «Дядя Комаров».

С. 233. *«Ich danke ~ Existens» (нем.).* — «Карлсбадским водам я обязан полным обновлением существования».

Познер Соломон Владимирович (1880—1946) — журналист, секретарь Союза русских журналистов в Париже.

С. 234. *Гомон* (Gaumont) — французская кинематографическая фирма.

...наш художественный критик ~ Константин Сергеевич Перлов ~ ни на какие сделки не согласен из-за сомнительных выражений в рассказах, нарушающих благопристойность... — Предположительно под этим прозрачным псевдонимом изображен Сергей Константинович Маковский (1877—1962) — сын художника К. Е. Маковского, поэт, художественный критик, редактор журн. «Аполлон». Маковский по «эстетическим причинам» отказывался публиковать там произведения Ремизова. Последнее на долгие годы определило скрыто неприязненное отношение к нему со стороны отвергнутого автора.

Лифарь Серж (наст. имя: Сергей Михайлович, 1905—1986) — знаменитый французский танцовщик, балетмейстер и педагог, выходец из России, выступавший в антрепризе С. Дягилева, а позднее в парижской Опере. Друг Ремизова, который посвятил ему книгу «Пляшущий демон» (1949).

С. 235 *dépôt (фр)* — [в] парк.

С. 239. *...его соблазнил ~ Кэмпер и ~ древние города и святыни Бретани...* — С 1924 по 1939 г. Ремизовы проводили лето в Бретани на берегу океана, который писатель очень любил (см. гл. «На воздушном океане»).

С. 240. *Градлон* (Gradlon). — Согласно старинной французской легенде, был королем города Ис, славившегося своей красотой. Высокие стены защищали город от моря. Когда город был осажден, дочь короля «по наущению дьявола», явившегося к ней в виде прекрасного рыцаря вражеского войска, украла у отца ключи и открыла ворота неприятелю. Но море поглотило город, который таким образом был спасен от захвата врагами.

С. 242. *andouille (фр.)* — колбаса.

С. 255. *...сто франков исчезли бесследно...* — По устным воспоминаниям Н. В. Резниковой, этот случай реально произошел с Е. И. Замятиным.

С. 257. *délicieux, épatant, fameux (фр.)* — восхитительный, сногсшибательный, замечательный.

С. 258. *...девять рыцарей пламенного меча.* — О создании дружеского общества «рыцарей пламенного меча» А. М. Ремизову писал из Варшавы поэт, критик, эссеист Лев Николаевич Гомолицкий (см. его письма к Ремизову в ЦРК АК).

С. 261. *Родился я богатым ~ тем дело и кончилось.* — Сходное развитие мотива утраченного богатства см. также в кн. «Подстриженными глазами» (С. 21—26).

С. 262. *Я и книги-то стал читать ~ чтобы как-то выделиться..* — Об отношении Ремизова к книгам и чтению см. также: Подстриженными глазами. С. 37, 72—78, 86—92.

С. 263 *Я никакой «революционер»..* — Устойчивый мотив авторской мифологии. О фактическом участии писателя в революционном движении см: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность / Лица.

Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб, 1993. С. 419—437. Также см коммент. к кн. «Иверень» (Т. 8 наст. Собр. соч). Сохранилась поздняя по времени ремизовская оценка своих юношеских политических увлечений· «.. очень я не подходил ни к кому, с кем привела судьба жить Все жили под знаком «революция», а у меня было что-то, что было выше революции У них было общее, а я хотел «по-своему». Начало моей литературы А когда попаду в Петербурге в литературный круг, буду чувствовать себя не лучше, чем среди ссыльных и опять мое «по-своему» будет меня отшибать, да никому это не понравится и тоже мое чувство отдельности, когда случайно попаду (1921—1946) в среду эмиграции (Берлин, 1921—1923, Париж, 1923—) „Ни-куда — ни подо что — ни под кого“». (На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло. Подгот. текста и коммент А. д'Амелия. Europa Orientalis 4 (1985). С. 153).

С. 264. *Еще в Москве я начал писать..* — Речь идет о ранних несохранившихся литературных опытах Ремизова (тетрадь «Шурум-Бурум»), уничтоженных автором в 1904 г. (см.: Встречи. С. 9). Первое опубл. произведение Ремизова: Н Молдаванов [Ремизов А. М] Плач девушки перед замужеством / «Курьер» (Москва), 1902. 8 сент.

С. 265. *Балдырев-Шкотт* Иван Андреевич (1903—1933) — писатель, автор повести «Мальчики и девочки» (1928) В 20-е гг. «у Ремизовых появился другой начинающий писатель — Иван Андреевич Шкотт. Он с большим трудом пробрался в Западную Европу и Париж. В Советской России он был сослан в Нарымский край и бежал оттуда. Его книга *Мальчики и девочки* (воспоминания о московской гимназии) была сперва напечатана в «Воле России», затем издана отдельно. Алексей Михайлович считал его умным и талантливым, ему нравился его упорный характер — «англичанин». Он писал прозу под псевдонимом Болдырев. У Шкотта была очень тяжелая жизнь, он зарабатывал физическим трудом: работал на вокзале на кабестане. Может быть, вследствие удара в голову, он стал глохнуть. Он пришел в отчаяние и покончил с собой, приняв сильную дозу веронала» (Резникова. С. 85). См. также: Леонидов В. В. Болдырев (Шкотт) Иван Андреевич / Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918—1940. Писатели Русского Зарубежья. М., 1997. С. 77—78.

.. вошел к нам на Villa Flore, где мы жили в 1927 году.. — Ремизовы жили на вилле Флора, авеню Мозар 120, с ноября 1923 по март 1928 г.

С. 267. *...дорога привела вас ~ в мой мир «по карнизам»..* — «Жизнь по карнизам» — один из любимых образов Ремизова: «Непохожая жизнь моя шла по карнизам — путям обыкновенным для лунатика, и головокружительным для «нормального» человека, каким я был и есть вопреки свидетельству докторов и доброжелателей. Самое гибельное для лунатика окрик: проснется, и уж несдобровать!..» (По карнизам. С. 8).

С. 270. *...заяц Барбазон, лютен Мурион, сово-пес Упу, бурящая* Уль.. — Персонажи французских сказок.

С. 274. *Sainte Barbe ~ gardera' (фр).* — Святая Варвара, // цветок из венка // нашего Господа! // Когда гром грянет, // Святая Варвара меня защитит'

...по созвучию «cinq» и «sainte» (рус., фр) — ..по созвучию «пять» и «святая».

Sainte Barbe ~ Seigneur! (фр). — Святая Борода // Пять цветов из венка // Нашего господа!

С. 275. *Sainte Barbe ~ gardera' (фр)* — словесная игра Ремизова. Наложение на слова молитвы св. Варваре (см. коммент. к с. 274) семантики значения слова «barbe» как «борода» (см. коммент. к с. 274).

Arlequin rêve à Colombine, ~ c'est vous... (фр) — Арлекин мечтает о Коломбине, // Ласточки — о своих гнездах, // Зеленые кусты — о шиповнике, // У меня тоже есть мечта — // Это — вы, только вы // Это «только» — для меня всё. // Я мечтаю о ваших глазах; // Эта мечта — мое признание, // Меня ведет любовь // Она идет, я иду следом за ней, // Всегда и всюду // Мой горизонт — это вы

С. 276. *Tout en rêvant ~ je vois.. (фр).* — Мечтая в темной ночи, // Я вполголоса произношу ваше имя. // Закрыв глаза, я вижу тень // А тень, которую я вижу..

les yeux noisette (фр) — глаза цвета лесного ореха.

С. 280. *Слепцов* Василий Алексеевич (1836—1878) — писатель-шестидесятник, близкий кругу журн. «Современник» и Н. Г. Чернышевскому, чьи социалистические идеи (равноправие женщин, всеобщий труд) пытался осуществить в организованной им так называемой Знаменской коммуне (1863—1864). Ремизов высоко ценил литературное мастерство Слепцова. См. его дневниковую запись от 3—4 января 1957 г.: «На ночь мне читали, правда с принудкой «Питомку» Слепцова. Какая краткость и острота — свой глаз. Нет, Слепцов глазатей Чехова и словесно Слепцов богаче Чехова. И какая глубина чувств. Тема: потерянное, а искать негде» (Кодрянская. С. 305).

С. 296. *«Уныние» связывалось у него ни с каким грехом, как ~ у Нила Сорского в его скитской лествице...* — Нил Сорский, преподобный (ок. 1433—1508) — монах Кирилло-Белозерского монастыря, организатор скита на р. Соре в Белозерском крае, автор посланий, Предания и Устава, завещания, молитвы, редактор и переписчик книг; первый на Руси организатор скитской формы монашеской жизни. Призывал монахов вести нестяжательную духовную жизнь. При выработке Устава скита ориентировался на «средний путь» между полным отшельничеством и общежительным монастырем, путь, указанный в «Лествице» Иоанна Синайского. В этом аллегорическом сочинении, указывающем «ступени» преодоления на пути духовного восхождения человека к Богу, «тринадцатая ступень» — это борение против уныния и лености (см.: Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад, 1908. С. 209—212).

С. 298. *В журнале «Мысли» есть такой вопрос: «для кого писать?...»* — Ремизов имеет в виду споры об эмигрантской и советской литературе, о цели поэзии, которые происходили на собраниях «Кочевья», «Чисел» и «Перекрестка». Под названием «Мысли» Ремизов зашифровал название журнала «Числа». Его ответ на анкету «Для кого писать?» появился в журнале «Числа» (1931, № 5. С. 284—285). «Нет и не может быть такой оценки литературного произведения: *для кого оно написано?* Литературное произведение — дело жизни. Пишется не для кого и не для чего, а только для самого того, что пишется и не может не быть написано... Для писателя, когда он пишет, не существует никакого читателя» (Там же. С. 284). В кн. «Иверень» Ремизов высказал ту же мысль: « .мне легко будет рассказать о себе, о своих литературных «закутках», условно называя себя «писателем» — мне, писателю для себя, своего удовольствия, сочинителю былей и небылиц в нашей бедной, темной и рабской жизни, — мне, думавшему только о том, чтобы исполнить задуманную или взбредшую на ум

закорючку, и ни разу за всю литературную жизнь не задумавшемуся будет ли толк от моего письма, обрадует ли кого или раздражит, наконец, будут ли читать мое или только взглянув на имя, расплюются. <...> Я никогда не думал ни о пользе, ни о вреде моих книг и не задавался целью пользовать кого или вредить. Передо мной никогда не было „читателя" — для меня удивительно слышать, как настоящие писатели говорят: „мой читатель", или благоразумный совет редактора: „надо считаться с нашим читателем". Сам я в рукописи читал свое <...> и был самому себе беспощадный судья» (Иверень. С. 14).

С. 299. *Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944) — религиозный философ, богослов, друг Н. А. Бердяева, с которым редактировал сб. «Вехи». С 1918 г. — священник. В 1922 г. выслан из России, жил в Праге и позднее в Париже, где стал профессором Богословского института.

С. 300. *Гуссерль* Эдмунд (Husserl Edmund, 1859—1938) — немецкий философ. Статья о нем, обобщающая критику Львом Шестовым гуссерлианской философии, была опубликована в журн. «Русские записки» (1938, № 12; 1939, № 13).

С. 301. *...я насчет вопроса Михаила Андреевича...* — Имеется в виду М. А. Осоргин.

..у Слонима... — Имеется в виду кн.: Слоним М. Портреты советских писателей (Париж, 1933).

...в *противоположность советским — где все происходит от Алексея Максимовича .* — Имеется в виду концепция советского литературоведения, сформировавшаяся на рубеже 1920—1930-х гг. и основанная на том, что «основоположником» советской литературы был Максим Горький (наст. имя: Алексей Максимович Пешков).

С. 302. *...Шестов вспоминал литературную старину ~ Водовозова, Челпанова, Жуковского, Волынского, Розанова, Минского, Гершензона... — Водовозов* Василий Васильевич (1864—1933) — публицист, сотрудник журн. «Современник». С 1920 г. в эмиграции, сотрудник журн. «Руль». *Челпанов* Георгий Иванович (1862—1936) — философ, логик и психолог. Профессор Киевского, затем Московского университетов. *Волынский* Аким (наст. имя: Флексер Аким Львович, 1863—1926) — литературный критик и искусствовед. После 1917 г. занимался изучением балета. *Минский* Николай (наст. имя: Виленкин Николай Максимович, 1855—1937) — поэт-символист и литературный критик, *Гершензон* Михаил Осипович (1869—1925) — историк русской культуры, литературовед.

«Menschliches Alzumenshliches» (нем.). — «Человеческое, слишком человеческое».

С. 304. *«Записки».* — Имеется в виду журнал «Современные записки»

С. 307. *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1936) — поэт, литературный критик, мемуарист, переводчик. См. его раннюю характеристику, данную Ремизовым в письме к жене от 27/28 августа 1908 г. из Москвы: «Ходасевич — червевидный, добросовестный «поэт» без намека на поэзию, но сам себя считает Боратынским» (Ремизов А. М. [Письма к С. П. Ремизовой-Довгелло]. 11-я тетрадь С. 210). В эмиграции Ходасевич много занимался исследованием творчества Пушкина. Будучи сторонником «пушкинского» направления, он критически относился к писательской манере Ремизова — яркого продолжателя «гоголевского» направления русской литературы. Подобное эстетическое противостояние — скрытая подоснова ремизовской иронии над «пушкинскими штудиями» Ходасевича.

С. 310. *Кербелек* (Kerbellec) — один из городков Бретани, где Ремизовы проводили лето. В этом городе происходит действие рассказов «Куаффер» и «Бику».

С. 311. .. *до своей «испепеленности»...* — Отсылка к названию статьи В. Я. Брюсова «Испепеленный. К характеристике Гоголя» (Весы, 1909, № 4)

С. 313. *«Цвофирзон»* — название рассказа Ремизова, опубликованного в изд. «Наш огонек» (Рига, 30 мая 1925, № 22, 30 мая), а затем включенного в неопубликованную при жизни Ремизова кн. «Мерлог» (опубл: Ремизов А. Неизданный «Мерлог». Публ, вступ. ст. и коммент. Антонеллы д'Амелия / Минувшее. Исторический альманах. Т. 3. Paris. 1987. С. 199—261) О шуточном обществе «Цвофирзон» см.: Обатнина Е Р., Белоус В. Г. Берлинская Вольфила (1921—1922)· Хроника / Вопросы философии, 1997, № 7. С. 141—155; Обатнина Е. Р. Царь Асыка и его подданные. История Обезьяньей Великой Вольной Палаты в лицах и документах. СПб, 2001 (гл. «Знаменитые мистификации»); Флейшман Л. В кругу ремизовских мистификаций: «Конклав» Саркофагского / Studes in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography. Essays in Honor of Wojciech Zalewski. Stanford, 1999. P. 145—176.

С. 314. *«Руль»* (Берлин, 1920—1931) — ежедневная газета, основанная И. В. Гессеном, А. И. Каминкой и Д. В. Набоковым, имя которого сохранялось на титульном листе и после его гибели от руки убийцы в марте 1922 г.

«Накануне» (Берлин, 1922—1924) — ежедневная газета под ред. Ю. В. Ключникова и Г. Л. Кирденера, при ближайшем участии С. С. Лукьянова, (Б. В. Дюшева, Ю. Н. Потехина, продолжение журн. «Смена вех».

Пильский Петр Моисеевич (1876—1942) — журналист, критик. Эмигрант. Постоянный сотрудник рижской газеты «Сегодня».

Два Берлинских инфляционных года ~ до сих пор не засыпанный ров Е. Д. Кусковой не только сравнялся, а еще, как память, цвел ~ летали из России в Берлин и из Берлина в Россию художники, писатели, ученые и музыканты. — Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — общественный и политический деятель, публицист, журналистка, мемуарист. «В 1921 одна из организаторов и руководителей Комитета помощи голодающим. За попытку установить контакт с зарубежьем Комитет был разогнан, Кускова, Прокопович и Н. Кишкин арестованы и приговорены к смертной казни, от которой их спасло заступничество Г. Гувера и Ф. Нансена. Кускова и Прокопович, отправленные в ссылку на Север, в 1922 были доставлены в Москву и высланы за границу. Первоначально жила в Берлине, была избрана председателем Политического Красного Креста <...> Устные и письменные выступления Кусковой по вопросам тактики эмиграции по отношению к Советской России были предметом острых дискуссий. В 1922—1926 гг. резко критиковала планы новых военных походов против Советской России, призывала „засыпать ров гражданской войны", считала, что в условиях нэпа в России можно действовать, не отрекаясь от своих взглядов и не приспосабливаясь к большевистскому режиму, а потому усилия должны быть направлены на поиски мирного, но достойного пути возвращения на родину» (Ерофеев Н Кускова Екатерина Дмитриевна / Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. М, 1997. С. 334—335).

7 ноября 1923 г. — дата приезда А. М. Ремизова в Париж.

С. 316. *«Современные Записки»* (Париж, 1920—1940) — крупнейший, наи-

более влиятельный литературный и общественно-политический журнал русской эмиграции, основанный под ред. М. В. Вишняка, А. И. Гуковского, В. В. Руднева, Н. Д. Авксентьева, И. И. Фондаминского. Наиболее значительное из всех эмигрантских периодических изданий, «Современные записки» приютили произведения молодых и старых прозаиков, поэтов, критиков и публицистов нашего века» (Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 50—57). Об истории журнала см.: Вишняк М. В. «Современные записки»: Воспоминания редактора. СПб; Дюссельдорф, 1993.

С. 316. *...после вымышленного сообщения о новом парижском журнале «Щипцы»: обиделись литературные дамы.* — Речь идет о негативном восприятии Мариной Цветаевой одной из достаточно жестоких «шуток» Ремизова — пущенной им «газетной утке» о том, что поэтесса собирается участвовать в некоем новом парижском журнале с «дамским» названием «Щипцы». См. упоминание об этом в письме К. В. Мочульского к Д. А. (в монашестве Иоанну) Шаховскому от 1925 г.: «Марина Цветаева в Париже, но к «Щипцам» никакого отношения не имеет, выдумал Ремизов, хотя и отрицает» (арх. Иоанн Шаховской. Биография юности. Paris, 1977. С. 242)

.. появившаяся в рижском иллюстрированном «Огоньке» фотография. — Речь идет о рижском еженедельном художественно-литературном журнале «Наш огонек», в котором Ремизов сотрудничал в 1925 г.

С. 322. *«письмо Ромэна Роллана».* — Это письмо было напечатано как письмо-предисловие во французском переводе романа Ремизова «Крестовые сестры»: Remizov A. La maison Bourkov (Soeurs en croix). Roman, traduction du russe par Robert et Zénita Vivier, Paris, 1946, éd. du Povois (первый перевод романа появился с предисловием Р. Вивье в 1929 г.: Remizov A. Soeurs en croix Paris, éd. Rieder, 1929).

«Inferno» (um.). — Ад.

Маракулин — главный герой романа «Крестовые сестры».

С. 323. *«Vous êtes un des hommes ~ tombe» (фр.).* — «Вы один из тех людей, кто объявил и подготовил землетрясение, которое обрушило Бурков дом... — Но где же в вашей книге „мастера" (в „готическом" смысле: архитекторы), которые построят дом лучше? Маракулин не сможет и никто из его сотоварищей не сможет. Нужно создать новую человеческую расу. Способен ли еще ветхий Адам посеять в чрево Евы живое семя, семя, не тронутое червем первородного греха и гадами, вылезшими из другой плесени, накопившейся на протяжении веков? ...Кто знает? Я кричу ему: „Давай, старина!"»

С. 324. *...mademoiselle Pédon et son cabot... (фр)* — мадемуазель Пэдон и ее собака.

С. 325. *«buves les vins du Postillon» (фр.)* — пейте вина Постийон.

С. 332. *«bleue» (фр.)* — букв.: голубая. Имеется в виду сорт сигарет.

С. 333. *...«cependant Utysse ~ de l'antre...» (фр.)* — ...«между тем, Утис искал способ выбраться из пещеры».

Les crignasses (фр) — контаминация французских слов: «crinière» — шевелюра и «tignasse» — нечесаные волосы.

«il a plu» (фр.) — шел дождь.

«il pleuva» (фр) — неверная грамматическая форма (контаминация формы «*il a plu*» с прошедшим временем от глагола «pleurer — «плакать» — «il pleura» — «он заплакал».

Селин Луи (Céline Louis, 1894—1961) — французский писатель, языковые поиски которого Ремизов высоко ценил.

С. 333. *«la princesse noire Zama et l'enigmatique Karmox (фр)* — черная принцесса Зама и загадочный Кармокс

С. 334. *«départ», «arrivée» (фр)* — старт, финиш.

...*«chacun pour soi ~ mentir» (фр).* — «Каждый за себя, земля для всех... истина — это смерть; нужно выбирать — умирать или лгать».

С. 335. .. *а кто написал Лэ Мизерабль Гюго?* — Шутка Ремизова. «Отверженные» (по-французски: «Les Misérables») — роман Виктора Гюго.

С. 335—336. *«attention!» (англ)* — внимание!

...sept, huit, neuf... (фр.) — . семь, восемь, девять. .

Я познакомил детей и с моим «фейерменхеном»... — В мире Ремизова всегда присутствовали чудесные куклы, чудища-куклы, магические «чучела-чумичела», материализованные духи его фантастического и фольклорного воображения — чертики из кн. «Посолонь», цверги, маленькие игрушечные звери. Ремизов вспоминал: «В Берлине первым появился цверг — Feuermaennchen и он вызвал во мне целый мир ни на что не похожих существ. Я протянул веревку и они понемногу перешли на воздух. Все берлинские игрушки пропали и только Feuermaennchen со мной. В Париже первым появился Esprit — деревянная конструкция» (Кодрянская. С. 120). О фейерменхене, талисмане берлинской жизни, Ремизов писал в кн. «Кукха»: «...это мой советчик тут, Огневик — Feuermaennchen — заботился о тепле и свете! — сам к нам пришел, за печкой жил...» (Кукха. С. 120).

С. 340. *Злобин Зосима* Павлович (1901—1965) — артист, хореограф, работал в театре Вс. Э. Мейерхольда.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — актер, режиссер, реформатор русского театра. Ремизов познакомился и подружился с ним во время пребывания в ссылке в г. Пензе. В 1903 г. после окончания срока ссылки Ремизов по приглашению Мейерхольда приехал в Херсон на сезон 1903/04 г, где поступил в руководимое им «Товарищество новой драмы» на должность заведующего репертуаром и литературного консультанта. Ремизов сыграл значительную роль в пропаганде европейской «новой драмы». Однако служебные отношения между ним и Мейерхольдом сложились так, что Ремизов был вынужден оставить антрепризу после херсонского сезона, продолжая, тем не менее, статьями и переводческой деятельностью поддерживать новаторские поиски Мейерхольда. Подробнее об истории участия Ремизова в «Товариществе новой драмы» см.: 1) А. М. Ремизов и «Товарищество Новой драмы». Из переписки А. М. Ремизова с В. Я. Брюсовым, О. Маделунгом, Вяч И Ивановым, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, Г. И. Чулковым, А. П. Зоновым, М. А. Михайловым. 1903—1906 / Подгот. фрагментов писем Н. Памфиловой и Е. Обатниной; Сост. и коммент. Н. Памфиловой и О. Фельдмана // Театр. 1994. № 2. С. 104—117, 2) Мейерхольд В. Э. Наследие / Сост. и коммент. О. М. Фельдмана и др. М., 1998. Т. 1 (по указ); 3) Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть II. Одесса. Херсон. Одесса. Киев. (1903—1904). Публикация А. М. Грачевой / Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1996 год. СПб., 2001. С. 153—205. В конце 1900-х—1910-е гг Мейерхольд высоко ценил творчество Ремизова-драматурга (см.: Мейерхольд. Переписка. 1896—1939. М., 1976). В годы второй русской революции Ремизов некоторое время работал под его

руководством в ТЕО Наркомпроса. В последний раз они встретились во время гастролей театра Вс. Э. Мейерхольда в Париже.

С. 341. *...на картах погадать может. Я ему подсовывал Сведенборга...* — Речь идет о гадальных картах, которые назывались «карты Сведенборга». *Сведенборг* Эммануил (Swedenborg Emmanuil, 1688—1772) — шведский философ-мистик. Такие карты имелись у матери Ремизова, и в детстве он многократно видел, как она гадала по ним, предсказывая судьбу (см.: Ремизов А. Гадальные карты. Волшебное / Ремизов А. Россия в письменах. М.; Берлин. 1922. Т. 1. С. 111). Впоследствии Ремизов несколько раз по памяти рисовал колоду из 37 карт. Имеется несколько идентичных комплектов его рисунков (например: РГАЛИ. Ф. 42. Оп. 1. Ед. хр. 44. 37 л.). См. воспоминания о Ремизове художницы Иды Карской· «В Париже он очень увлекался Сведенборгом, и мой муж даже перевел его „Карты Сведенборга“ и помог опубликовать в одной из самых высокооплачиваемых газет — в „Фигаро“» (Карская Ида. Из бесед с В. П. Чинаевым. Публикация В. П. Чинаева и Л. С. Флейшмана / Studies in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography. Essays in Honor of Wojciech Zalewski / Ed. by Lazar Fleishman. Stanford, 1999. С. 221—222). О «картах Сведенборга» ем. также в кн. «Подстриженными глазами» (Т. 8 наст. Собр. соч.).

С. 346. ...в *этом кафе под музыку ... Корнетов провел свой прощальный вечер с Борисом Савинковым.* — *Савинков Борис* Викторович (лит. псевдоним: В. Ропшин, 1879—1925) — один из лидеров эсеров, террорист, товарищ Ремизова по вологодской ссылке, вместе с писателем вступивший на литературный путь. В 1903 г. между Ремизовым и Савинковым был серьезный конфликт, связанный с борьбой за будущее одной из ссыльных — Серафимы Довгелло. Ремизов помог ей отойти от пути революционного террора, на который ее звал Савинков. Впоследствии она стала женой писателя Подробнее см. вступ. статью и коммент. А. М. Грачевой к публикации: Письма А. М. Ремизова к П Е. Щеголеву. Часть 1. Вологда. (1902—1903) / Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 121—177). В дальнейшем дружеские отношения между Савинковым и Ремизовым возобновились. Известный террорист видел в писателе одного из своих литературных учителей. Их контакты не прекращались до последнего возвращения Савинкова в Россию в августе 1924 г. См. воспоминания Ремизова об их последнем свидании в кн. «Иверень»· « ..в Париже в последнюю встречу, совсем незадолго до вашего рокового конца, когда мы сидели в нашем пустынном бистро с музыкой, и мне казалось, что у вас дрожат руки от охватившей вас мысли — я ничего не знал, что вы едете на свой суд, я только чувствовал, что в вашей судьбе настало и идет решающее» (Иверень. С. 271). О взаимоотношениях Ремизова и Савинкова см. также коммент. О. П. Раевской-Хьюз к кн. «Иверень» (Т. 8 наст. изд).

А Савинков — «рыцарь львов»? — Ремизовский некролог Савинкову, затем включенный в кн «Иверень», имеет подзаголовок «Le tueur de lions» *(фр)* — «убивающий львов», отсылающий к названию главы романа-пародии А. Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872). См. подробнее: коммент. к «Иверень» (Т. 8 наст. Собр. соч).

С. 354 *«Петербургские трущобы»* (1864—1867) — роман Вс. В. Крестовского (1839—1895).

Трактирные обои — заглавие главы намекает на последнюю квартиру

Ремизова на rue Boileau: «Второй этаж, квартира Ремизова направо На двери вместо карточки абстрактный цветной рисунок. За дверью длинный пустой коридор, «трактирные» обои — цветы — и за четверть века не выцвели, веселят стену» (Кодрянская. С. 28).

С. 356. *...ссылаясь на какого-то Михаила Андреевича...* — намек на М. А. Осоргина.

С. 357. *Дебагорий-Мокриевич* Владимир Каспович (1848—1926) — видный революционный деятель 1870-х гг. С мая 1881 г. поселился за границей. В 1887—1888 гг. вместе с Бурцевым издавал журн. «Самоуправление».

С. 358. *«Cette maison étant ~ consideration» (фр).* — «Сударь, так как этот дом, к несчастью, очень звучный, могу я просить Вас постараться как можно меньше шуметь, ходить по вечерам без башмаков (конечно, кроме тех случаев, когда Вы принимаете гостей), осторожно закрывать двери и осторожно передвигать мебель? Дело в том, что мы вынуждены довольно рано вставать по утрам, и довольно часто нас будят около полуночи или часа ночи, а снова мы засыпаем с трудом. Что касается меня, я делаю все возможное, чтобы не слишком Вас беспокоить, когда я занимаюсь на скрипке; чаще всего я играю под сурдинку и время от времени меняю место. Простите наше обращение и примите, сударь, уверения в нашем почтительном уважении».

«J'ai bien ~ la plus distinguée» (фр). — «Получил Вашу записку и сожалею, что Вас беспокоят шумы, которые раздаются в этом доме, который Вы справедливо называете «звучным». Что касается меня, должен сказать, что я все время стараюсь как можно меньше шуметь. Дома я весь день хожу в тапочках и никогда не переставляю мебель, ударяя ее. Что касается дверей моей квартиры, они открыты настежь. Будучи литератором, я веду сидячий образ жизни среди книг и по природе я настолько бесшумен, насколько это возможно. // Что же делать, этот дом так построил архитектор! Так, например, когда Вы играете на скрипке — что, впрочем, нисколько мне не мешает — собака моего соседа начинает выть; более того, эта несчастная собака взяла привычку исступленно лаять каждый день, с полуночи до часа, пока ее хозяин отсутствует. Таким образом, всякое живое существо заявляет о себе шумом и только жители кладбищ хранят полное молчание. Будьте, однако, уверены, что я приложу все усилия, чтобы не доставлять Вам неудобства. Примите, сударь, мои уверения в самом искреннем уважении. // А. Корнетов».

С. 372 *«...Je veux coucher avec toi ~ ne fait rien...» (фр).* — «...Я хочу спать с тобой — у тебя между ног есть отверстие, я его заткну, пойдет кровь и тебе будет больно, но это ничего...»

Quel bel homme (фр). — Какой красивый мужчина.

С. 376. *Эмпермеабль* (от *фр.:* «imperméable») — плащ.

С. 377. *«Taileur» (фр)* — портной.

С. 380. *...у Субботина в «Матерьялах»...* — Речь идет об исследовании «Материалы для истории раскола за первое время его существования» под ред. Н. И. Субботина. Москва, 1875.

Барсков Елпидифор Васильевич (18361—1917) — собиратель и исследователь произведений народного творчества и древнерусской письменности. Автор известной работы «Причитания северного края». В 3 т. М, 1872—1886.

С. 381. *...при нем я рассказывал о Соловецких старцах, Куковников видел*

челобитную.. — Речь идет о ранней истории русского церковного раскола середины XVII в. — о сопротивлении монахов Соловецкого монастыря церковным реформам патриарха Никона. См.: Три челобитные. Справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря: (Три памятника из первоначальной истории старообрядчества) / Изд. Д. Е. Кожанчиков. СПб, 1862.

С 386 *Pour acheter du pain' (фр).* — Чтобы купить хлеба!

С. 390. *Пильняк* (наст. фам.: Вогау) Борис Андреевич (1894—1941) — советский писатель. См. его характеристику Ремизовым: «Мой ученик. В Берлине в 1922 году, не покладая рук, отделывал свои рассказы под моим глазом. Я отучал его от школьной грамматики, научил встряхивать фразу, переводя с искусственно-книжного на живую речь; перевертывать слова и разлагать слова — перевертывать, чтобы выделить и подчеркнуть; разлагать — слова излучаются и иззвучиваются. Отвадка от глагольных и ассонансов: в прозе от них месиво, как гугня в произношении, О «щах» и «вшах» ничего тогда не говорил, сам сидел в них по уши» (Встречи. С. 134).

С. 392. *Мое — такое не голландское.* — Всю жизнь Ремизов вел полемику в духе славянофилов против европеизации, против иностранных заимствований, защищая в особенности язык и стиль «до-петровской» Руси. «Бельмом в глазу был для критики мой слог — моя некнижная русская речь (...) Сердятся и сердились главным образом за это мое «русское»: оно представлялось всегда нарочито непонятным, будто я умышленно пишу так, чтобы понять ничего нельзя было..» (Иверень. Л. 7—8).

Гундольф Фридрих (Gundolf Friedrich Gundelfinger, 1880—1933) — немецкий писатель, литературовед и переводчик.

Георге Стефан (George Stefan, 1868—1933) — поэт-символист, по определению Ремизова — «немецкий Малларме» (Встречи. С. 195).

Alle Menschen werden Bruder ~ weilt... (нем.) — Цитата из стих. Ф. Шиллера «К радости» (1785), положенного на музыку Л. ван Бетховеном: «Там, где ты раскинешь крылья, // Люди — братья меж собой» (пер. И. Миримского).

С. 393. *..магическое действие моего «вооруженного восстания» ~ случай с Гюнтером.* — Этот случай описан в главе «Наши гости (1. Вечный)» кн. «Встречи»: чтобы освободиться от «вечного» гостя, немца, никак не хотевшего отправиться домой, Ремизов выдумал какое-то «вооруженное восстание», которое должно было якобы произойти около его дома на Пятой Рождественской.

Гюнтер фон, Иоганнес (Johannes von Gunther, 1886—1973) — немецкий поэт. «„Аполлон“ — это Johannes von Gunther из Митавы — когда он читал свои немецкие стихи, не отличить было — манера, голос, — да это сам Стефан Георге!» (Мышкина дудочка. С. 44).

С. 398 *..Замутий..* — Е. И. Замятин в Обезвелволпале имел титул «епископ обезьяний Замутий».

..спрашивал Баркова ~ Барков давно помер. — Шуточная игра Ремизова. Имеется в виду Барков Иван Семенович (по др. данным — Степанович, 1732—1768) — поэт и переводчик, прославившийся скабрезными стихами, широко расходившимися в списках

С. 400. *Чехов Михаил* Александрович (1891—1955) — знаменитый актер и режиссер МХТа, 1-й Студии МХТ и МХТа 2-го; племянник А. П. Чехова. С 1928 г. — эмигрант. Находился в дружеских отношениях с Ремизовым

С. 407. *..ратник ополчения 2-го разряда...* — воинское звание Ремизова в период первой мировой войны.

С. 413. *«les romans policiers» (фр)* — детективные романы.

С. 419. *Крафт-Эбинг* (Krafft-Ebing Richard von, 1840—1902) — известный немецкий психиатр.

С. 431. *«Василий Осипович'»* — Имеется в виду В. О. Ключевский.

Данилов монастырь — могильный камень.. — На кладбище при Свято-Даниловом монастыре был похоронен Н. В. Гоголь. После уничтожения кладбища его могила была перенесена на кладбище при Новодевичьем монастыре.

С. 431—432. *.. скупил все кладбища Парижа ~ он скупал все новые и новые кладбища...* — История Ивана Федоровича — ремизовский травестийный вариант сюжета «Мертвых душ» Гоголя.

С. 432. *...мир «проклятьем заклейменный»...* — Цитата из стих. Э. Потье «Интернационал» (пер. А. Коца).

С. 433. *Последнее напечатанное Льва Шестова — о Бердяеве..* — Имеется в виду статья «Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия» (СЗ, 1938, № 67).

С. 442. *...матерьялы для «Воровского самоучителя»...* — См. приложение к наст. тому.

С. 443. *Да, человек человеку не только бревно.* — Авторская полемика с концепцией, сформулированной впервые в виде афоризма «Человек человеку — бревно» в повести «Крестовые сестры» и развитой далее в романе «Плачужная канава» (см. текст и коммент. в Т. 4 наст. Собр. соч.).

С. 444. *Mari (фр.)* — супруг.

Воровской самоучитель

Впервые опубликовано: журн. «Ухват» (Париж), 1926, № 5. С. 10.

Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечаток.

Как отмечал сам Ремизов в «Учителе музыки», жанровый прототип «Воровского самоучителя» — «Похвала глупости» (1511) Эразма Роттердамского.

С. 447. *...выбрать самого шикарного «молодого человека» ~ где уборная?* — Включено как неточная цитата в кн. «Учитель музыки» («Чинг-Чанг»).

...вали на Пильняка... — О Б. А. Пильняке (Вогау) см. коммент. к С. 390.

...Посулить денег... — Развитие этого мотива см. в разд. «Воровской самоучитель» кн. «Учитель музыки».

С. 448. *11-я: «не зевай» ~ 14-я: «укради!»* — Ремизовское травестийное «дополнение» к библейским 10 заповедям (Исх. 20, 1—26).

СЛОВАРЬ РУСИФИЦИРОВАННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ СЛОВ

ажан (от *фр.* agent)	полицейский, городовой
аксидан (от *фр.* accident)	несчастный случай
аларм (от *фр.* alarme)	тревога
ами (от *фр.* ami)	друг; любовник
арашид (от *фр.* arachide)	земляной орех
арвуар (от *фр.* au revoir)	до свидания
аривист (от *фр.* arriviste)	карьерист
аршевек (от *фр.* archévêque)	архиепископ
аррондисман (от *фр* arrondissement)	городской квартал
ассансер (от *фр.* ascenseur)	лифт
бавардаж (от *фр.* bavardage)	болтовня
банлье (от *фр.* banlieu)	пригород
бато (от *фр.* bateau)	лодка, судно
бет (от *фр.* bête)	скотина, животное
бенедиксион (от *фр* bénédiction)	благословение
бляг (от *фр.* blague)	ерунда, ложь, вранье
боном (от *фр.* bonhomme)	простак
бонфам (от *фр.* bonne femme)	простушка
буат-а-ордюр (от *фр.* boî te à ordures)	мусорное ведро
ваканс (от *фр.* vacances)	каникулы, отпуск
вализ (от *фр.* valise)	чемодан
вепр (от *фр.* vêpres)	вечерня
винарна (от *чешск.* vinárna)	винный погребок
витро (от *фр.* vitraux, pl.)	витражи
гайар (от *фр.* gaillard)	весельчак
гард-манжэ (от *фр.* garde-manger)	кладовая
гарсоньерка (от *фр.* garçonnière)	маленькая квартира
гиперсансибилите (от *фр.* hypersensibilité)	повышенная чувствительность
гише (от *фр.* guichet)	окошечко кассы
гласьер (от *фр.* glacière)	ледник
гос (от *фр.* gosse, gosses, argot)	мальчик, ребята
гранбери (от *англ.* cranberry)	клюква
дансер (от *фр.* danseur)	танцовщик
дежене (от *фр.* dejeuner)	обед (второй завтрак)
демаршер (от *фр.* demarchéur)	хлопотун, трудяга
деменажеман (от *фр.* déménagement)	переезд на другую квартиру
денетуайаж (от *фр.* denettoyage)	чистка
динэ (от *фр.* dî ner)	ужин (обед)
доместик (от *фр.* domestique)	слуга

женфий (от *фр.* jeune fille)	девушка
жеран (от *фр.* gérant)	управляющий (домом)
жест (от *фр.* geste)	действие
журналь офисиель (от *фр.* Journal Officiel)	журнал правительственных ведомостей
индефризабль (от *фр.* indéfrisable)	перманент (завивка)
кабине (от *фр.* cabinet)	уборная; кабинет
кабо (от *фр.* cabot, argot)	собака
каварна (от *чеш.* kavárna)	кофейня
кавист (от *фр.* cave, винный погреб)	дегустатор
кадавр (от *фр.* cadavre)	труп
капораль (от *фр.* caporal)	марка сигарет
карнэт (от *фр.* carnet)	книжечка автобусных билетов
карро-де-катедраль (от *фр.* carreaux de cathédrale)	витражи собора
каррелэ (от *фр.* carrelet)	род камбалы
карт-дидантитэ (от *фр.* carte d'identité)	удостоверение личности
кафе-оле (от *фр.* café au lait)	кофе с молоком
квартье (от *фр.* quartier)	городской район
компле (от *фр.* complet)	полный, заполненный (мест нет)
копэн (от *фр.* copain)	друг, приятель
кот (от *фр.* côte)	берег
кот-дазюр (от *фр.* cote d'Azur)	Лазурный Берег
кошон (от *фр.* cochon)	свинья
креди мюнисипаль (от *фр.* Crédit Municipal)	ломбард
криньяс (от *фр.* crignasses, argot)	волосы, грива
круа-де-фе (от *фр.* Croix de Feu)	Боевые Кресты (фашистская организация во Франции)
крокмор (от *фр.* croque-mort)	факельщик, служащий похоронного бюро, могильщик
куйонад (от *фр.* couillonade)	сальность, непристойность
куше (от *фр.* coucher)	спать
кэ (от *фр.* quai)	набережная
ландеман (от *фр.* lendemain)	завтра
лож (от *фр.* loge)	швейцарская
локатер (от *фр.* locataire)	жилец, квартиросъемщик
люэ (от *фр.* loué)	сдано (внаем), занято
лявишер (от *фр.* la Vie Chére)	«Дорогая жизнь» (название магазина)
макро (от *фр.* maquereau)	сутенер
мари (от *фр.* mari)	муж
маршэ (от *фр.* marché)	рынок

метье, мэтье (от *фр.* métier)	ремесло, профессия
мо (от *фр.* mot)	слово; острóта
муа (от *фр.* moi)	я, меня
муль (от *фр.* moule)	мидия
нетуаер (от *фр.* nettoyeur)	чистильщик, мусорщик
нор (от *фр.* nord)	север
ом (от *фр.* homme)	человек
ордевр (от *фр.* hors-d'oeuvre)	закуски
ордюр (от *фр.* ordure)	мусор
отокар (от *фр.* autocar)	междугородный автобус
палюрд (от *фр.* palourde)	съедобная ракушка
пан (от *фр.* panne)	авария, поломка (машины)
партисипасион (от *фр.* participation)	участие
пассаж-клютэ (от *фр.* passage clouté)	пешеходный переход
пелеринаж (от *фр.* pélerinage)	паломничество
петонкли (от *фр.* pétoncles)	моллюск, морской гребешок
плас-резерве, пляс-резерве (от *фр.* place reservée)	забронированное место
пласье (от *фр.* placier)	продавец вразнос, коммивояжер
плонжер (от *фр.* plongeur)	мойщик посуды
пнё (от *фр.* pneumatique)	письмо по пневматической городской почте в Париже (пневматичка)
пошуарист (от *фр.* pochoir)	набойщик (тканей)
прессинг (от *англ.* pressing)	прачечная
призонные (от *фр.* prisonnier)	пленник
пти-мосье (от *фр.* petit monsieur)	простак; бедняга
пти-боном (от *фр.* petit bon homme)	"
пубель (от *фр.* poubelle)	мусорный ящик
пуаро (от *фр.* poireau)	лук-порей
пэр (от *фр.* père)	отец (также обращение к священнику)
пюргос (от *фр.* purger)	слабительное
разтэры (от *фр.* rase-terres)	карлики
рапид (от *фр.* rapide)	скорый поезд
рапидисты (от *фр.* rapide)	пассажиры скорых поездов
ревю (от *фр.* revue)	журнал
рю (от *фр.* rue)	улица
рюс (от *фр.* russe)	русский
саль (от *фр.* sale)	грязный, сальный, непристойный
сентюр (от *фр.* ceinture)	пояс; окружная железная дорога в Париже
серпан (от *фр.* serpent)	змея
сольд (от *фр.* solde)	уцененный товар; общий счет
сомье (от *фр.* sommier)	матрас, кровать

сорсьер (от *фр* sorcière)	ведьма
сюд (от *фр.* sud)	юг
таблие (от *фр.* tablier)	фартук, передник
таннер (от *фр.* tanneur)	кожевник
терм, тэрм (от *фр.* terme)	срок платежа за квартиру
терминус, терминюс (от *фр.* terminus)	конечная остановка
тикетки (от *фр.* ticket)	билеты
тримэстр (от *фр.* trimestre)	квартал; плата за 3 месяца
тру (от *фр.* trou)	дыра
тур де Франс (от *фр.* Tour de France)	велосипедная гонка по Франции
тьен (от *фр.* tiens!)	вот тебе; кстати, каково
унтергрунд (от *нем.* Untergrund)	метро
фактер (от *фр.* facteur)	почтальон
фамм (от *фр.* femme)	женщина; жена
фам-де-менаж (от *фр.* femme de menage)	домашняя работница
фуар (от *фр.* foire)	ярмарка
фур (от *фр.* four)	печь; духовка
фюит (от *фр.* fuite)	утечка (газа)
ша (от *фр.* chat)	кот
шантер (от *фр.* chanteur)	певец
шапель (от *фр.* chapelle)	часовня
шарбонщик (от *фр.* charbon)	угольщик
шассер (от *фр.* chasseur)	посыльный
шато (от *фр.* château)	зáмок
шваль (от *фр.* cheval)	лошадь
шеф-де-серемони (от *фр.* chef de cérémonies)	церемониймейстер
шомаж (от *фр.* chômage)	безработица
шомер (от *фр.* chômeur)	безработный
шоффаж (от *фр.* chauffage)	отопление
эвек (от *фр.* évêque)	епископ
эрмит (от *фр.* ermite)	отшельник
эспри (от *фр.* esprit)	дух
этранже (от *фр.* étranger)	иностранец
юнер авек (от *фр.* «Une heure avec...»)	«Один час с...» (рубрика журнала)

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

Бахметевский архив — Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США). Фонд: Рукописи Алексея Михайловича Ремизова (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Alexei Mikhailovich Remizov Manuscripts»)

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)

ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва)

ГЛМ — Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва)

ГРМ — Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Отдел рукописей (Москва)

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва)

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург)

СПбГТБ РО — Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. Рукописный отдел

Собр. Резниковых — Собрание семьи Резниковых (Париж)

ЦРК АК — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»)

Печатные источники

Автобиография 1912 — Ремизов А. Автобиография 1912 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 437—442.

Автобиграфия 1913 — Ремизов А. Автобиография 1913 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 442—445.

Алексей Ремизов и древнерусская культура — Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
Алексей Ремизов. Исследования — Алексей Ремизов. Исследования и материалы: Сб. научных статей и публикаций. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.
Ахру — Ремизов А. Ахру. Повесть петербургская. Берлин: изд. З. И. Гржебина, 1922.
БВ — «Биржевые Ведомости» (Санкт-Петербург).
В розовом блеске — Ремизов А. В розовом блеске, Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.
Весеннее порошье — Ремизов А. Весеннее порошье. СПб.: Сирин, 1915.
Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.
Встречи — Ремизов А. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.
Дневник — Ремизов А. Дневник 1917—1921. Подгот. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1994. С. 407—549.
Докука и балагурье — Ремизов А. Докука и балагурье. СПб.: Сирин, 1914.
Каталог — Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб., Хронограф, 1992.
Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].
Кодрянская. Письма — Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977.
Крашеные рылá — Ремизов А. Крашеные рылá. Берлин: «Грани», 1922.
Кукха — Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.
Мышкина дудочка — Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.
НЛО — «Новое литературное обозрение» (Москва).
НРС — «Новое русское слово» (Нью-Йорк).
НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк).
Огонь вещей — Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954.
Пляшущий демон — Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж: склад издания «Дом книги», 1949.
ПН — «Последние новости» (Париж).
По карнизам — Ремизов А. По карнизам. Белград: Русская библиотека, 1929.
Подстриженными глазами — Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж: YMCA-Press, 1951.
Революционер Алексей Ремизов — Грачева А. М. Революцио-

нер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М., СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 419—437.

Резникова — Резникова Н. В. Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980.

РМ — «Русская мысль» (Париж).

РН — «Русские новости» (Париж).

Рус. лит. — «Русская литература» (Санкт-Петербург).

СЗ — «Современные записки» (Париж).

Сирин 1—8 — Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.

Учитель музыки — Ремизов А. Учитель музыки. Подготовка к печати, вступ. статья и примеч. Антонеллы д'Амелия. Paris: LA PRESSE LIBRE, [1983].

Учен. зап. ТГУ — Ученые записки Тартуского государственного университета.

Шиповник 1—8 — Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910—1912].

ЛН — Литературное наследство.

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы.

Б. д. — Без даты. Кор. — коробка.

НР — Наборная рукопись.

Печ. текст — печатный текст.

СОДЕРЖАНИЕ

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. Каторжная идиллия

Федеральная программа книгоиздания России

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 9

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

Каторжная идиллия

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Е. В. Поляков**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Н. Д. Бучарова**

Лицензия на издательскую деятельность ИД № 05913 от 24.09.01.
Сдано в набор 05.06.2001. Подписано в печать 05.11.2001. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,99 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 27,83 (в т. ч. вкл. 0,03).
Тираж 3000 экз. С—26. Зак. № 1621. Изд. инд. ЛХ-222

ФГУП Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.